

Мак

ТВЕИ

•
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
художественной
литературы



Марк ТВЕН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В 12 ТОМАХ

Под общей редакцией
А.А. ЕЛИСТРАТОВОЙ
М.О. МЕНДЕЛЬСОНА
А.И. СТАРЦЕВА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва

Марк ТВЕН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ОДИННАДЦАТЫЙ

РАССКАЗЫ

•

ОЧЕРКИ

•

ПУБЛИЦИСТИКА

•

1894-1909

Переводы с английского



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1

9

6

7

Редактор перевода

М. Л О Р И Е

Художник

Е. Г А Н Н У Ш К И Н

РАССКАЗЫ

ОЧЕРКИ

ОБ ИСКУССТВЕ РАССКАЗА

*(Юмористический рассказ как чисто американский жанр. —
Его отличия от комического рассказа и анекдота)*

Я не утверждаю, что умею рассказывать так, как нужно. Я только утверждаю, что знаю, как нужно рассказывать, потому что в течение многих лет мне почти ежедневно приходилось бывать в обществе самых умелых рассказчиков.

Рассказы бывают различных видов, но из них только один по-настоящему труден — юмористический рассказ. О нем главным образом я и буду говорить. Юмористический рассказ — это жанр американский, так же как комический рассказ — английский, а анекдот — французский. Эффект, производимый юмористическим рассказом, зависит от того, *как* он рассказывается, тогда как воздействие комического рассказа и анекдота зависит от того, *что* в нем рассказано.

Юмористический рассказ может тянуться очень долго и блуждать вокруг да около, пока это ему не прискучит, и в конце концов так и не прийти ни к чему определенному; комический рассказ и анекдот должны быть короткими и кончаться «солью», «изюминкой». Юмористический рассказ мягко журчит и журчит себе, тогда как другие два должны быть подобны взрыву.

Юмористический рассказ — это в полном смысле слова произведение искусства, искусства высокого и тонкого, и только настоящий артист может за него

браться, тогда как для того, чтобы рассказать комическую историю или анекдот, вообще никакого искусства не нужно, — всякий может это сделать. Искусство юмористического рассказа, — заметьте, я имею в виду рассказ устный, а не печатный, — родилось в Америке, здесь оно и осталось.

Юмористический рассказ требует полной серьезности; рассказчик старается и вида не подать, будто у него есть хоть малейшее подозрение, что рассказ смешной; с другой стороны, человек, рассказывающий комический рассказ, заранее говорит вам, что смешнее этой истории он в жизни ничего не слышал, и он рассказывает ее с огромным наслаждением, а закончив, первый разражается смехом. Иногда, если рассказ ему удастся, он так радуется и так ликует, что снова и снова повторяет «соль» рассказа и заглядывает в лица слушателям, пожиная аплодисменты, и потом снова повторяет все сначала. Зрелище довольно жалкое.

Очень часто, конечно, нестройный и беспорядочный юмористический рассказ тоже кончается «солью», «изюминкой», «гвоздем» или как там угодно вам будет это назвать. И тогда слушатель должен быть начеку, потому что рассказчик здесь всячески старается отвлечь его внимание от этой «соли» и роняет главную фразу так это невзначай, безразлично, делая вид, будто он и не знает, что в ней вся соль.

Артимес Уорд часто использовал этот прием, и когда шутка вдруг доходила до зазевавшейся аудитории, он с простодушным удивлением оглядывал слушателей, как будто не понимая, что они там нашли смешного. Дэн Сэтчел пользовался этим приемом еще раньше Уорда, а Най, Райли и другие пользуются им и по сей день.

Зато уж рассказывающий комический рассказ не скомкает эффектную фразу, он всякий раз выкрикивает ее вам прямо в лицо. А если рассказ его печатается в Англии, Франции, Германии или Италии, он выделяет эту фразу особым шрифтом и ставит после нее кричащие восклицательные знаки, а иногда еще и объясняет суть дела в скобках. Все это производит до-

вольно гнетущее впечатление, хочется покончить с юмористикой и вести пристойную жизнь.

Давайте рассмотрим метод комического рассказа на примере одной истории, которая пользовалась популярностью во всем мире в последние 1200—1500 лет. Она была бы рассказана так:

РАНЕНЫЙ СОЛДАТ

В ходе некоей битвы солдат, чья нога была оторвана ядром, воззвал к другому солдату, поспешавшему мимо, и, сообщив ему о понесенной утрате, просил доставить его в тыл, на что доблестный и великодушный сын Марса, взвалив несчастного себе на плечи, приступил к исполнению его желания. Пули и ядра проносились над ними, и одно из последних внезапно оторвало раненому голову, что, однако, ускользнуло от внимания его спасителя. А вскоре последнего окликнул офицер, который спросил:

— Куда ты направляешься с этим туловом?

— В тыл, сэр, он потерял ногу.

— Ногу, неужто? — ответствовал изумленный офицер. — Ты хотел сказать голову, болван!

Тем временем солдат, освободивши себя от ноши, стоял, глядя на нее, в совершенном замешательстве. Наконец он произнес:

— Так точно, сэр! Так оно и есть, как вы сказали. — И, помолчав, добавил: — Но он-то сказал мне, что это нога!!!

Здесь рассказчик раздражается взрывами громового лошадиного ржания, следующими друг за другом скороткими перерывами, и сквозь всхлипывания, и выкрики, и кашель повторяет время от времени коронную фразу анекдота.

Этот комический рассказ можно рассказать за полторы минуты, а можно бы и вообще не рассказывать. В форме же юмористического рассказа он занимает десять минут, и так, как его рассказывал Джеймс Уитком

Райли, это была одна из самых смешных историй, которые мне когда-либо приходилось слышать.

Он рассказывает ее от лица старого туповатого фермера, который только что услышал ее впервые, — она показалась ему безумно смешной, и теперь он пытается пересказать ее соседу. Но он не может вспомнить ее целиком, у него все уже перепуталось в голове, и вот он беспомощно блуждает вокруг да около и вставляет нудные подробности, которые не имеют никакого отношения к повествованию и только замедляют его; он добросовестно освобождает рассказ от этих подробностей и вставляет новые, столь же излишние; делает время от времени всякие мелкие ошибки и останавливается, чтобы исправить ошибку и объяснить, как получилось, что он ошибся; и вспоминает мелочи, которые он забыл привести в нужном месте, и теперь возвращается назад, чтобы вставить эти детали в рассказ; и прерывает повествование на довольно значительное время, чтобы припомнить, как звали солдата, который был ранен, а потом вспоминает, что имя его и не упоминалось вовсе, и тогда спокойно замечает, что имя, впрочем, и не имеет значения, — вообще-то, конечно, лучше было бы знать и его имя тоже, но в конце концов это не существенно и не так важно, — и так далее и тому подобное.

Рассказчик простодушен и весел, и страшно доволен собой, и все время вынужден останавливаться, чтобы удержаться от смеха; и ему это удастся, но тело его сотрясается, как желе, от едва сдерживаемых всхлипываний, — и к концу этих десяти минут зрители изнемогают от смеха, и слезы текут у них по щекам.

Рассказчик в совершенстве передает простодушие, наивность, искренность и естественность старого фермера, — и в результате мы присутствуем на представлении изысканном и чарующем. Это искусство, искусство тонкое и прекрасное, и только художник может им овладеть, тогда как другие виды рассказов могла бы исполнять и машина.

Нанизывание несурязиц и нелепостей в беспорядке и зачастую без всякого смысла и цели, простодушное невѣдение того, что это бессмыслица, — на этом, сколько

я могу судить, основано американское искусство рассказа. Другая его черта — это то, что рассказчик смазывает концовку, содержащую «соль» рассказа. Третья — то, что он роняет выношенную им остроумную реплику как бы ненароком, не замечая этого, будто думая вслух. Четвертое — это пауза.

Артимес Уорд особенно широко использовал третий и четвертый приемы. Он с большим воодушевлением начинал рассказывать какую-нибудь историю, делая вид, что она ему кажется страшно интересной; потом говорил уже менее уверенно; потом наступало рассеянное молчание, после которого он, как будто рассуждая сам с собой, ронял фразу, не имеющую ничего общего с тем, о чем он говорил раньше. Вот она-то и была рассчитана на то, чтобы произвести взрыв, — и производила.

Например, он начинал, захлебываясь, возбужденно рассказывать:

— Вот знал я одного типа в Новой Зеландии, у которого во рту ни единого зуба не было...

Здесь возбуждение его угасает, наступает молчание; после задумчивой паузы он вяло произносит, как будто про себя:

— И все же никто лучше его не играл на барабане...

Пауза — это прием исключительной важности для любого рассказа, и к тому же прием, употребляющийся в рассказе неоднократно. Это вещь тонкая, деликатная, и в то же время вещь скользкая, предательская, потому что пауза должна быть нужной продолжительности, не длиннее и не короче, — иначе вы не достигнете цели и только наживете неприятностей. Если сделать паузу слишком длинной, то вы упустите момент, слушатели успеют смекнуть, что их хотят поразить чем-то неожиданным, — и уж тогда вам, конечно, не удастся их поразить.

Мне приходилось рассказывать с эстрады страшную негритянскую историю, в которой прямо перед коронной фразой была пауза. Так вот эта пауза и была самым важным местом во всем рассказе. Если мне удавалось точно рассчитать ее продолжительность, то я мог

выкрикнуть концовку достаточно эффектно, для того чтобы какая-либо впечатлительная девица из публики издала легкий вскрик и вскочила с места, — а этого я и добивался. История эта называлась «Золотая рука», и рассказывали ее следующим образом. Можете и сами попрактиковаться, но следите, чтоб пауза была должной длины.

ЗОЛОТАЯ РУКА

Жил да был, это значит, в самых прериях один старый злыдень, и жил он один, совсем один, только что вот жена. Ну, а погода немного и жена померла у него, и он понес ее, понес далеко в прерии и там закопал. А у нее, значит, одна рука была золотая — ну чистое золото, от самого плеча. А он был страх какой жадный, до того, это значит, жадный, что целую ночь после этого не мог уснуть, так ему хотелось эту руку себе взять.

И вот в полночь чувствует: ну нет просто больше его мочи, и тогда он встал, встал, это значит, взял свой фонарь и пошел, а на дворе метель была, метель... пошел и выкопал ее из могилы и забрал ее золотую руку. А после так вот нагнул голову — против ветра — и побрел, побрел, побрел через снег. И вдруг как остановится (здесь нужно замолчать с испуганным видом и начать прислушиваться), а после и говорит:

— Господи, боже милостивый, что же это такое?

Слушал он слушал, а ветер все жужжит (здесь стисните зубы и подражайте жалобному завыванию ветра) — вжжжжж-ж-ж, вз-з-зз; а потом с того, значит, боку, где могила, — голос, даже не голос, а будто ветер попеременно с голосом, толком и не поймешь даже, что к чему:

— Вж-ж-ж-жжж! К-т-о в-з-з-ял м-о-ю-у-у з-з-з-о-л-от-у-ю р-у-у-у-ку? Вжж-дзз! К-т-о-о в-з-з-я-л м-о-ю-у-у з-з-з-о-л-от-у-ю р-у-к-у-у?

(Здесь вы начинаете дрожать всем телом.)

Он задрожал и затрясся и говорит:

— О господи!

Тут ветер задул его фонарь, а снег, значит, в лицо ему налепился так, что прямо дышать нельзя, и он заковылял, по колено в снегу, к дому, чуть жив; а после снова, значит, услышал голос и (пауза)... теперь этот, значит, голос прямо за ним идет!

— Вжж-жжж-ззз! К-т-о-о в-з-з-я-л м-о-ю-у-у з-з-з-о-л-о-т-у-у-ю р-у-у-к-у-у?

А когда, значит, дошел он до выгона, то опять слышит голос — еще ближе, все ближе и ближе, а кругом и буря, и тьма кромешная, и ветер. (Повторите завывания ветра и голос.) Добрался он это до дому — и скорее наверх; хлоп в постель — и накрылся одеялом с головой, и лежит, значит, дрожит весь и трясется — и потом слышит: оно тут, в темноте, — все ближе и ближе. А потом слышит (здесь вы замолкаете и прислушиваетесь с испуганным видом)... топ-топ-топ — поднимается по лестнице! А потом замок — щёлк! И тут уж он понял, что оно в комнате!

А потом он почувял, что оно у его кровати стоит. (Пауза.) А после почувял, что оно над ним наклоняется, наклоняется... у него аж дух занялся от страха! А потом... потом что-то х-о-л-л-о-о-д-н-о-е, прямо около лица! (Пауза.)

А после, значит, голос прямо ему в ухо:

— К-т-о в-з-з-я-л м-о-ю... з-о-л-о-т-у-ю... р-у-к-у?

Вы должны провить эту фразу особенно жалобно и укоризненно, после чего нужно немигающим тяжелым взглядом остановиться на лице какого-нибудь наиболее захваченного рассказом слушателя — лучше всего слушательницы — и подождать, чтобы эта устрашающая пауза переросла в глубокое молчание. И вот когда пауза достигнет должной продолжительности, нужно неожиданно выкрикнуть прямо в лицо этой девице:

— *Ты взяла!*

И тогда, если пауза выдержана правильно, девица издаст легкий визг и вскочит с места сама не своя. Но паузу нужно выдержать очень точно. Вот попробуйте — и вы убедитесь, что это самое хлопотное, тяжкое и неблагодарное дело, каким вам приходилось заниматься.

Знакомо ли вам это чувство? Вот как бывает, когдаходишь в обычный час в комнату больного, за которым ты ухаживал не один месяц, и вдруг видишь, что пузырьки с лекарствами убраны, ночной столик вынесен, с кровати сняты простыни и наволочки, вся мебель расставлена строго по местам, окна распахнуты, в комнате пусто, холодно, голо, — и у тебя перехватывает дыхание. Бывало ли с вами такое?

Человек, написавший большую книгу, испытывает подобное чувство в то утро, когда он кончил в последний раз просматривать рукопись и на его глазах ее унесли вон из дому, в типографию. В час, установленный многомесячной привычкой, он входит в свой кабинет — и у него вот точно так же перехватывает дыхание. Исчез привычный разгром и беспорядок. Со стульев исчезли груды пыльных книг, с полу — атласы и карты; с письменного стола исчез хаос конвертов, исчерканных листов, записных книжек, разрезальных ножей, трубок, спичечных коробков, фотографий, табака и сигар. Мебель опять расставлена так, как она стояла когда-то в незапамятные времена. Здесь побывала горничная, в течение пяти месяцев лишенная доступа в кабинет. Она произвела уборку, она вычистила все до блеска и придала комнате вид отталкивающий и жуткий.

И вот я стою здесь сегодня утром, глядя на все это запустение, и мне становится ясно, что, если я хочу снова создать в этой больничной палате жилую и милую моему сердцу атмосферу, я должен водворить на прежние места всех этих пособников неспешно надвигающейся смерти, должен опять терпеливо ходить за новым больным, пока не отправлю отсюда и его для свершения последних обрядов, при которых будут присутствовать многие, или немногие, как придется. Именно так я и намерен поступить.

I

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ В «ЛОНДОНСКУЮ ТАЙМС»

Чикаго, 1 апреля 1904 г.

Продолжаю по телеграфному проводу свое вчерашнее сообщение. Вот уже много часов этот огромный город — как, несомненно, и весь мир — только и говорит что об удивительном происшествии, которого я коснулся в прошлый раз. Согласно вашим указаниям, я постараюсь восстановить всю эту романтическую историю от начала до завершающего события, происшедшего вчера, вернее — сегодня (считайте как хотите). По странной случайности я сам оказался участником этой драмы. Место действия первого акта — Вена. Время — 31 марта 1898 года, час ночи. В этот вечер я был на одном приеме и около двенадцати часов ушел оттуда с тремя военными атташе — английским, итальянским и американским, чтобы покурить еще перед сном в их компании. Нас всех пригласил к себе лейтенант Хильер — американский атташе. Когда мы пришли к нему, там было несколько человек гостей: молодой изобретатель Зепаник, мистер К., финансирующий его изобретение, секретарь этого К. — мистер В., и лейтенант американской армии Клейтон. Между Испанией и нашей страной назревала война, и Клейтона прислали в Европу по воен-

ным делам. С молодым Зепаником и двумя его друзьями я был хорошо знаком, немного знал и Клейтона. Мы с ним познакомились много лет назад в Уэст-Пойнте, когда он там учился. Начальником у них был генерал Меррит. Клейтон пользовался репутацией способного офицера, но человека вспыльчивого и резкого.

Компания курильщиков собралась отчасти и для дела. Нужно было обсудить пригодность телеэлектроскопа для военных целей. Сейчас это покажется невероятным, но в то время никто, кроме самого Зепаника, не принимал его изобретения всерьез. Даже человек, оказывавший Зепанику финансовую поддержку, считал телеэлектроскоп лишь забавной, интересной игрушкой. Он был в этом так твердо уверен, что сам задержал его внедрение до конца истекавшего века, на два года уступив право эксплуатации какому-то синдикату, пожелавшему демонстрировать этот аппарат на Парижской всемирной выставке.

В курительной мы застали лейтенанта Клейтона и Зепаника, которые горячо спорили на немецком языке по поводу телеэлектроскопа.

— Как бы то ни было, *мое* мнение вы знаете, — заявил Клейтон и для убедительности стукнул кулаком по столу.

— Знаю, и нисколько с ним не считаюсь, — вызывающе спокойно отвечал молодой изобретатель.

Клейтон повернулся к мистеру К. и сказал:

— Не понимаю, зачем вы бросаете деньги на эту безделку? Я держусь того мнения, что телеэлектроскоп никогда не принесет никому ни на грош пользы.

— Возможно, возможно, — отвечал тот. — Все же я вложил в него деньги, и я доволен. Мне и самому кажется, что это безделка, но Зепаник убежден в его большом значении, а я достаточно хорошо знаю Зепаника и верю, что он видит дальше, чем я, — будь то с помощью своего телеэлектроскопа или без него.

Этот деликатный ответ не успокоил Клейтона, наоборот — вызвал в нем еще большее раздражение, и он в подчеркнутой форме повторил, что телеэлектроскоп никогда не принесет никому ни на грош пользы. Он даже прибавил на этот раз: «ни на медный грош».

Потом он положил на стол английский фартинг и сказал:

— Мистер К., возьмите это и спрячьте; если когда-нибудь телеэлектроскоп принесет кому-либо пользу, — я разумею *настоящую* пользу, — тогда, пожалуйста, пришлите мне эту монетку в качестве напоминания, и я возьму назад свои слова. Идет?

— Идет! — И мистер К. опустил монетку себе в карман.

Мистер Клейтон снова начал было говорить Зепанику какие-то колкости, но тот резко перебил его и ударил. Завязалась драка, но атташе поспешили разнять противников.

Теперь действие переносится в Чикаго. Время — осень 1901 года. Как только окончился срок парижского контракта, телеэлектроскоп стали применять повсюду, и вскоре его подключили к телефонной системе во всех странах мира. Так был создан усовершенствованный «всемирный телефон», и теперь каждый мог видеть все, что делается на свете, и обсуждать всевозможные события с людьми, находящимися от него за тридевять земель.

И вот Зепаник приезжает в Чикаго. Клейтон, теперь уже в чине капитана, служит там в военном ведомстве. Возобновляется их старая ссора, начавшаяся еще в 1898 году в Вене. Три раза свидетели их разбирают. Затем в течение двух месяцев никто из друзей не встречает Зепаника, и все решают, что он, очевидно, отправился путешествовать по Америке и скоро даст о себе знать. Время идет, а от него нет вестей. Тогда выдвигается версия, что он уехал обратно в Европу. Проходит еще некоторый срок — от Зепаника по-прежнему ни слова. Но это никого не тревожит, ибо, как свойственно изобретателям и прочим поэтическим натурам, Зепаник время от времени появлялся и исчезал по своей прихоти, даже без предупреждений.

И вдруг — трагедия! 29 декабря, в темном, пустующем углу погреба в доме Клейтона одна из горничных находит труп. Его сразу опознают как труп Зепаника. Этот человек умер насильственной смертью. Клейтона арестовывают и судят по обвинению в убийстве. Его

виновность подтверждается целой сетью точных, неоспоримых улик. Клейтон и сам не отрицал их правдоподобности. Он говорил, что всякий здравомыслящий и непредубежденный человек, читая обвинительное заключение, непременно поверит, что все было именно так; и тем не менее он ошибется. Клейтон клялся, что он не убивал и не имел к убийству никакого отношения.

Ваши читатели помнят, наверно, что Клейтона приговорили к смертной казни. У него было много влиятельных друзей, и они всеми силами старались спасти его, так как не сомневались в его невинности. Я тоже помогал чем мог; мы с ним очень сблизились за эти годы, и я считал, что не в его характере заманить противника в темный угол и там убить. В течение 1902 и 1903 годов казнь откладывалась несколько раз по приказу губернатора; последний раз ее отложили в начале нынешнего года — до 31 марта.

С того дня, как был вынесен приговор, губернатор очутился в очень щекотливом положении: жена Клейтона приходилась ему племянницей. Клейтон женился на ней в 1899 году, когда ему было тридцать четыре года, ей — двадцать три. Брак их оказался счастливым. У них один ребенок, трехлетняя девочка. Первое время жалость к несчастной матери и ребенку заставляла недовольных молчать; но вечно так длиться не могло: ведь в Америке политику суют во все дела, и вот политические враги губернатора стали обращать внимание общества на то, что он мешает правосудию свершиться. В последнее время эти разговоры перешли в открытый громкий ропот. Понятно, что это всполошило партию, которую представляет губернатор. В его резиденцию в Спрингфилд стали приезжать партийные деятели и вести с ним наедине долгие беседы. Губернатор оказался между двух огней. С одной стороны, племянница умоляла помиловать ее мужа, с другой — партийные заправилы требовали, чтобы он, как глава штата, выполнил свой прямой долг и больше не откладывал казнь Клейтона. В этой борьбе победил долг: губернатор дал слово не откладывать казнь. Это было две недели тому назад. И вот жена Клейтона сказала ему:

— Раз уж вы дали слово, у меня пропала последняя надежда: я знаю, вы от своего слова не откажетесь. Вы сделали для Джона все, что могли, я вас ни в чем не упрекаю. Вы его любите, и меня тоже, мы оба знаем, что если бы у вас была возможность спасти его, не роняя своей чести, вы бы это сделали. Что ж, я поеду к нему, постараюсь, как могу, облегчить его долю и утешить свою душу в эти считанные дни, что нам остались, — ведь потом для меня наступит вечная ночь. Вы будете со мной в тот страшный день? Вы не бросите меня там одну?

— Бедное мое дитя, я сам отвезу тебя к нему, и я буду возле тебя до конца!

С этого дня губернатор дал указ выполнять любое желание Клейтона, предоставлять ему все, что могло бы отвлечь его мысли и смягчить тягость тюремного заключения. Жена с ребенком проводили у него дни, я оставался с ним по ночам. Из тесной камеры, где он просидел столько мрачных месяцев, его перевели в комфортабельное помещение начальника тюрьмы. Но он ни на минуту не забывал о постигшей его катастрофе и об убитом изобретателе; и тут ему пришла мысль, что хорошо бы иметь телеэлектроскоп, — может, это хоть немного развлечет его. Желание Клейтона было исполнено. Аппарат достали и подключили к международной телефонной сети. Теперь Клейтон день и ночь звонил во все уголки земного шара, смотрел на тамошнюю жизнь, наблюдал разные диковинные зрелища, разговаривал с людьми, и благодаря этому чудесному изобретению ему стало казаться, что у него выросли крылья и он может лететь, куда хочет, хотя на самом деле он был в тюрьме за семью замками. Со мной он мало разговаривал, и я никогда не мешал ему, когда он, забыв про все, смотрел в телеэлектроскоп. Я сидел в приемной, читал и курил; ночи проходили спокойно, тихо, и мне это нравилось. То и дело раздавался голос Клейтона: «Дайте мне Йедо», «Дайте Гонконг», «Дайте Мельбурн». А я продолжал курить и читать, пока он странствовал в далеких краях, где в это время светило солнце и люди занимались своими обычными делами.

Иногда, заинтересовавшись тем, что говорилось по телеэлектроскопу, я тоже начинал слушать.

Вчера (я говорю «вчера» — вам понятно почему) аппарат не включали, — и это тоже должно быть понятно, потому что это было накануне казни. Скорбный вечер прошел в слезах и прощаниях. Губернатор, жена Клейтона и его маленькая дочка оставались с ним до четверти двенадцатого; у меня сердце разрывалось, глядя на них. Казнь была назначена на четыре часа утра. Сразу после одиннадцати ночную тишину огласил глухой стук топоров, в окна ударил со двора яркий свет.

— Что это там, папочка? — закричала малютка и кинулась к окну, прежде чем кто-нибудь успел ее удержать. — Мама, иди скорее, скорее, — радовалась она, хлопая в ладошки, — посмотри, какую прелесть там делают!

Мать догадалась — и упала в обморок. Это сколачивали виселицу!

Несчастную женщину увезли домой, а мы с Клейтоном остались одни, погруженные в свои мысли, печали, грезы. Мы сидели так тихо и неподвижно, что нас можно было принять за статуи. Ночь выдалась ужасная: на короткий срок вернулась зима, как нередко бывает в этих краях ранней весной. На черном небе не было видно ни одной звезды, с озера дул сильный ветер. А в комнате стояла такая тишина, что все звуки за окном казались еще громче. Эти звуки как нельзя больше подходили к настроению и обстоятельствам такой ночи: порывистый ветер ревел и грохотал по крышам и трубам, потом постепенно замирал с воем и стонами среди карнизов и стен, швырял в окна пригоршнями мокрый снег, который, шурша и царапаясь, осыпался по стеклам; а во дворе, там, где плотники сколачивали виселицу, не прекращалось глухое, таинственно-жуткое постукивание топоров. Казалось, этому не будет конца; потом сквозь завывание бури слабо донесся новый звук — где-то вдали колокол бил двенадцать. И снова медленно поползло время, и снова ударил колокол. Еще перерыв — и вот опять. Следующая пауза — долгая, удручающая, и опять эти глухие

удары, — один, два, три... У нас перехватило дух: оставалось ровно шестьдесят минут жизни!

Клейтон встал, подошел к окну, долго вглядывался в черное небо и слушал, как шуршит по стеклу снег и свистит ветер; наконец он заговорил:

— Прощаться с землей в такую ночь! — и, помолчав, продолжал: — Я должен еще раз увидеть солнце! Солнце! — А в следующий миг он уже возбужденно кричал: — Дайте мне Китай! Дайте Пекин!

Я был потрясен. Ведь только подумать, какие великие чудеса сотворил человеческий гений: зиму он превращает в лето, ночь — в ясный день, бушующую стихию — в безмятежную тишину; он выводит пленника на земные просторы и позволяет ему, гибнущему во тьме египетской, увидеть огненное, великолепное солнце!

Я стал прислушиваться.

— Как светло! Как все сияет! Это Пекин?

— Да.

— А время?

— Время — середина дня.

— По какому это поводу собралось столько народу в таких чудесных одеяниях? О, какие яркие краски, какое буйство красок! Как все блестит, сверкает, переливается на солнце! Что у вас там происходит?

— Коронация нового императора.

— Но ведь она должна была состояться вчера?

— Для вас — это вчера.

— Ах да! У меня все в голове перемешалось за последние дни... На то есть причины... Это что же, начало процессии?

— Нет, она движется уже около часа.

— И надолго она рассчитана?

— Еще часа на два. Почему вы вздыхаете?

— Хотелось бы увидеть все до конца.

— Что же вам мешает?

— Мне надо скоро уходить.

— У вас что, дела?

Клейтон ответил не сразу.

— Да. — Потом помолчал и спросил: — А кто эти люди вон в том красивом павильоне?

— Это императорская фамилия и августейшие гости из разных стран.

— А там кто, в соседних павильонах справа и слева?

— Справа — послы со своими семьями и свитами; слева — тоже иностранцы, но частные лица.

— Позвольте, мне кажется...

Бум! — снова колокол сквозь вой метели. Половина четвертого. Открылась дверь, вошли губернатор и жена Клейтона с ребенком, уже в трауре. Она бросилась мужу на шею с таким плачем, что я, не в силах этого вынести, ушел в спальню и притворил дверь. Я ждал, ждал, ждал, слушая, как поскрипывают оконные рамы и неистовствует ветер. Мне казалось, что так прошло очень много времени, потом в комнате рядом зашуршали, задвигались: я понял, что это пришли священник и шериф с конвойными. Кто-то с кем-то разговаривал вполголоса, потом разговор смолк, и я услышал молитву, прерываемую рыданиями, и наконец тяжелые шаги — это уводили Клейтона на казнь. И внезапно веселый голосок ребенка:

— Что ж ты плачешь, мамочка? Ведь папа с нами, и мы все едем домой!

Дверь захлопнулась; ушли. Мне было стыдно: из всех друзей этого человека, только что ушедшего на смерть, я оказался единственным, у кого не хватило воли и смелости. Я шагнул в приемную. Нет, я буду мужчиной, я тоже пойду с ними! Но свою натуру не переделаешь, от нас это не зависит. И я не пошел.

Я нервно слонялся по комнате, потом подошел к окну, притягиваемый тем магнетизмом, который исходит от всего, что пугает, и, тихонько подняв раму, выглянул во двор. В ярком свете электрических фонарей я увидел считанных свидетелей; жену, рыдающую на груди губернатора; осужденного — уже в черном колпаке, стоящего под виселицей с петлей на шее и со связанными руками; рядом с ним шерифа, готового подать знак, а напротив него — священника с обнаженной головой и евангелием в руке.

— *Я емь воскресение и жизнь...*

Я отшатнулся. Я не мог слушать, не мог смотреть. Я не знал, куда идти, что делать. Ничего не соображая, я машинально заглянул в телеэлектроскоп и увидел Пекин, коронационное шествие. А в следующий миг я уже высунулся в окно и, задыхаясь и лоя ртом воздух, пытался заговорить, — но не мог; я понимал, как важно то, что я должен сейчас крикнуть, и именно поэтому не в силах был произнести ни звука. Священник — да, тот имел голос, а я, когда мне это было так необходимо...

— *И да смилуется господь над душой твоею. Аминь.*

Шериф натянул черный колпак Клейтону на глаза и положил руку на рычаг. Тут я обрел голос.

— Стойте, ради бога, стойте! — закричал я. — Он не убивал! Кто хочет видеть живого Зепаника, идите скорей сюда!

Не прошло и трех минут, как губернатор с этого же места у окна кричал:

— Рубите веревки и освободите его!

Еще три минуты, и все были в комнате. Пусть читатель сам представит себе эту сцену, мне нет нужды ее описывать. Это была какая-то оргия счастья.

К Зепанику, находившемуся в пекинском павильоне, послали человека, и было видно, с каким растерянным и удивленным лицом он его выслушал. Затем он подошел к аппарату и разговаривал с Клейтоном, с губернатором и со всеми остальными. Жена Клейтопа не знала, как благодарить его за то, что он спас жизнь ее мужу, и в порыве чувств поцеловала его на расстоянии двенадцати тысяч миль.

Немедленно были включены телеэлектроскопы всего мира, и несколько часов подряд короли и королевы разных стран (изредка перебиваемые репортерами), беседовали с Зепаником и восхваляли его, а те немногие научные общества, которые до сих пор не избрали Зепаника в почетные члены, поспешили удостоить его этой чести.

Но как же все-таки он тогда исчез? Объяснилось это просто. Он не привык к роли мировой знаменитости, чрезмерное внимание лишало его покоя и привычного уединения, поэтому он вынужден был скрыться. Он от-

растил бороду, надел темные очки, еще кое в чем изменил свою внешность и под вымышленным именем отправился без помех бродить по свету.

Такова драматическая история, которая началась незначительной ссорой в Вене весной 1898 года, а весной 1904 года едва не кончилась трагедией.

Марк Твен.

II

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ В «ЛОНДОНСКУЮ ТАЙМС»

Чикаго, 5 апреля 1904 г.

Сегодня пароходом компании «Электрик Лайн» и далее по электрической железной дороге той же компании прибыл из Вены пакет на имя капитана Клейтона, в котором находилась монета — английский фартинг. Получатель был весьма растроган. Он позвонил по телеэлектроскопу в Вену, вызвал мистера К. и, глядя ему в глаза, сказал:

— Я не стану ничего вам говорить — вы можете прочесать все на моем лице. Фартинг я отдал своей жене. Уж будьте уверены, она его не выбросит.

М. Т.

III

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ В «ЛОНДОНСКУЮ ТАЙМС»

Чикаго, 23 апреля 1904 г.

Теперь, когда произошли последние события, связанные с делом Клейтона, и все кончено, я подведу итоги. Дней десять весь город неистовствовал от изумления и счастья, узнав, как романтично Клейтон избежал позорной смерти. Затем стало наступать отрезвление, людей взяло раздумье, тут и там заговорили: «Но какой-то человек ведь был убит, и убил его Клейтон!» — «Да, да, — слышалось в ответ, — вы правы, мы на радостях забыли эту важную подробность».

Постепенно сложилось мнение, что Клейтон должен снова предстать перед судом. Были предприняты соот-

ветствующие шаги, и дело направили в Вашингтон, ибо в Америке, согласно последней поправке к конституции, внесенной в 1899 году, пересмотр дела не входит в компетенцию штата, а занимается им самое высшее судебное учреждение — Верховный суд Соединенных Штатов. И вот выездная сессия Верховного суда открылась в Чикаго. Открывая заседание, новый председатель Верховного суда Леметр заявил:

— По моему мнению, дело это очень простое. Подсудимый обвинялся в убийстве некоего Зепаника; его судили за убийство Зепаника; суд действовал справедливо и, по закону, приговорил его к смертной казни за убийство этого Зепаника. Теперь же оказалось, что Зепаник вовсе не был убит. Решением французского суда по делу Дрейфуса твердо установлено, что приговоры судов окончательны и пересмотру не подлежат. Мы обязаны отнестись с уважением к этому прецеденту и следовать ему. Ведь именно на прецедентах зиждется вся система правосудия. Подсудимый был справедливо приговорен к смертной казни за убийство Зепаника, и я считаю, что мы можем вынести лишь одно решение — повесить его.

Судья Кроуфорд сказал:

— Но, ваше превосходительство, он же был помилован по этому делу перед самой казнью!

— Это помилование недействительно, признать его мы не можем, ибо подсудимый был помилован в связи с убийством человека, которого он не убивал. Нельзя помиловать человека, если он не совершил преступления: это был бы абсурд.

— Но, ваше превосходительство, какого-то человека он все же убил.

— Это — постороннее соображение, нас оно не касается. Суд не может приступить к рассмотрению нового дела, пока подсудимый не понес наказания по первому.

Судья Халлек сказал:

— Если мы приговорим его к казни, ваше превосходительство, правосудие не сможет совершиться, потому что губернатор опять помилует его.

— Нет, не помилует. Он не имеет права помиловать человека, если тот не причастен к данному преступлению. Как я уже заявил, это был бы абсурд.

Когда суд вернулся из совещательной комнаты, судья Уодсворт обратился к председателю:

— Ваше превосходительство, часть членов Верховного суда пришла к выводу, что было бы неправильным казнить подсудимого за убийство Зепаника. Его можно казнить только за убийство того, другого человека, ибо доказано, что Зепаника он не убил.

— Наоборот, первым судом доказано, что он убил именно Зепаника. Согласно французскому прецеденту, мы обязаны считаться с приговором суда.

— Но ведь Зепаник жив!

— И Дрейфус тоже.

В конце концов Верховный суд пришел к заключению, что ни игнорировать, ни обойти французский прецедент нельзя. Ничего иного не оставалось, и Клейтона выдали палачу. Это вызвало чудовищный шум: весь штат поднялся как один человек, требуя помилования Клейтона и пересмотра дела. Губернатор издал приказ о помиловании, но Верховный суд, как и следовало ожидать, признал его недействительным, и вчера бедного Клейтона повесили. Вся Америка открыто негодует против «правосудия по-французски» и против зловредных человечков в военной форме, которые выдумали его и навязали другим христианским государствам.

Марк Твен.

I

Это случилось много лет назад. Гедлиберг считался самым честным и самым безупречным городом во всей близлежащей округе. Он сохранял за собой беспорочное имя уже три поколения и гордился им как самым ценным своим достоянием. Гордость его была так велика и ему так хотелось продлить свою славу в веках, что он начал внушать понятия о честности даже младенцам в колыбели и сделал эти понятия основой их воспитания и на дальнейшие годы. Мало того: с пути подрастающей молодежи были убраны все соблазны, чтоб честность молодых людей могла окрепнуть, закалиться и войти в их плоть и кровь. Соседние города завидовали превосходству Гедлиберга и, притворствуя, издевались над ним и называли его гордость зазнайством. Но в то же время они не могли не согласиться, что Гедлиберг действительно неподкупен, а припертые к стенке, вынуждены были признать, что самый факт рождения в Гедлиберге служит лучшей рекомендацией всякому молодому человеку, покинувшему свою родину в поисках работы где-нибудь на чужбине.

Но вот однажды Гедлибергу не посчастливилось: он обидел одного проезжего, возможно даже не подозревая об этом и, уж разумеется, не сожалея о содеянном, ибо Гедлиберг был сам себе голова и его мало тревожило,

что о нем думают посторонние люди. Однако на сей раз следовало бы сделать исключение, так как по натуре своей человек этот был зол и мстителен. Проведя весь следующий год в странствиях, он не забыл нанесенного ему оскорбления и каждую свободную минуту думал о том, как бы отплатить своим обидчикам. Много планов рождалось у него в голове, и все они были неплохи. Не хватало им только одного — широты масштаба. Самый скромный из них мог бы сгубить не один десяток человек, но мститель старался придумать такой план, который охватил бы весь Гедлиберг так, чтобы никто из жителей города не избежал общей участи. И вот, наконец, на ум ему пришла блестящая идея. Он ухватился за нее, загоревшись злобным торжеством, и мозг его сразу же заработал над выполнением некоего плана. «Да, — думал он, — вот так я и сделаю, — я возвращу весь Гедлиберг!»

Полгода спустя этот человек явился в Гедлиберг и часов в десять вечера подъехал в тележке к дому старого кассира, служившего в местном банке. Он вынул из тележки мешок, взвалил его на плечо и, пройдя через двор, постучался в дверь домика. Женский голос ответил ему: «Войдите!» Человек вошел, опустил свой мешок возле железной печки в гостиной и учтиво обратился к пожилой женщине, читавшей у зажженной лампы газету «Миссионерский вестник».

— Пожалуйста, не вставляйте, сударыня. Я не хочу вас беспокоить. Вот так... теперь он будет в полной сохранности, никто его здесь не заметит. Могу я побеседовать с вашим супругом, сударыня?

— Нет, он уехал в Брикстон и, может быть, не вернется до утра.

— Ну что ж, не беда. Я просто хочу оставить этот мешок на его попечение, сударыня, с тем чтобы он передал его законному владельцу, когда тот отыщется. Я здесь чужой, ваш супруг меня не знает. Я приехал в Гедлиберг сегодня вечером исключительно для того, чтобы исполнить долг, который уже давно надо мной тяготеет. Теперь моя цель достигнута, и я уеду отсюда с чувством удовлетворения, отчасти даже гордости, и вы меня больше никогда не увидите. К мешку прило-

жено письмо, из которого вы все поймете. Доброй ночи, сударыня!

Таинственный незнакомец испугал женщину, и она обрадовалась, когда он ушел. Но тут в ней проснулось любопытство. Она поспешила к мешку и взяла письмо. Оно начиналось так:

«Прошу отыскать законного владельца через газету или навести необходимые справки негласным путем. Оба способа годятся. В этом мешке лежат золотые монеты общим весом в сто шестьдесят фунтов четыре унции...»

— Господи боже, а дверь-то не заперта!

Миссис Ричардс, вся дрожа, кинулась к двери, заперла ее, спустила шторы на окнах и стала посреди комнаты, со страхом и волнением думая, как уберечь и себя и деньги от опасности. Она прислушалась, не лезут ли грабители, потом, поддавшись пожиравшему ее любопытству, снова подошла к лампе и дочитала письмо до конца:

«...Я иностранец, на днях возвращаюсь к себе на родину и останусь там навсегда. Мне хочется поблагодарить Америку за все, что она мне дала, пока я жил под защитой американского флага. А к одному из ее обитателей — гражданину города Гедлиберга — я чувствую особую признательность за то великое благодеяние, которое он оказал мне года два назад. Точнее — два великих благодеяния. Сейчас я все объясню.

Я был игроком. Подчеркиваю — *был* игроком, проигравшимся в пух и прах. Я попал в ваш город ночью, голодный, с пустыми карманами, и попросил подавания — в темноте: нищенствовать при свете мне было стыдно. Я не ошибся, обратившись к этому человеку. Он дал мне двадцать долларов — другими словами, он вернул мне жизнь. И не только жизнь, но и целое состояние. Ибо эти деньги принесли мне крупный выигрыш за игорным столом. А его слова, обращенные ко мне, я помню и по сию пору. Они победили меня и, победив, спасли остатки моей добродетели: с картами

закончено. Я не имею ни малейшего понятия, кто был мой благодетель, но мне хочется разыскать его и передать ему эти деньги. Пусть он поступит с ними, как ему угодно: раздаст их, выбросит вон, оставит себе. Таким путем я хочу только выразить ему свою благодарность. Если б у меня была возможность задержаться здесь, я бы разыскал его сам, но он и так отыщется. Гедлиберг — честный город, неподкупный город, и я знаю, что ему смело можно довериться. Личность нужного мне человека вы установите по тем словам, с которыми он обратился ко мне. Я убежден, что они сохранились у него в памяти.

Мой план таков: если вы предпочтете навести справки частным путем, воля ваша; сообщите тогда содержание этого письма, кому найдете нужным. Если избранный вами человек ответит: «Да, это был я, и я сказал то-то и то-то», — проверьте его. Вскройте для этого мешок и выньте оттуда запечатанный конверт, в котором найдете записку со словами моего благодетеля. Если эти слова совпадут с теми, которые вам сообщит ваш кандидат, без дальнейших расспросов отдайте ему деньги, так как он, конечно, и есть тот самый человек.

Но если вы предпочтете предать дело гласности, тогда опубликуйте мое письмо в местной газете со следующими указаниями: ровно через тридцать дней, считая с сегодняшнего дня (в пятницу), претендент должен явиться в городскую магистратуру к восьми часам вечера и вручить запечатанный конверт с теми самыми словами его преподобию мистеру Берджесу (если он сообразовалит принять участие в этом деле). Пусть мистер Берджес тут же сломает печать на мешке, вскрыет его и проверит правильность сообщенных слов. Если слова совпадут, передайте деньги вместе с моей искренней благодарностью опознанному таким образом человеку, который облагодетельствовал меня».

Миссис Ричардс опустилась на стул, трепеща от волнения, и погрузилась в глубокие думы: «Как это все необычайно! И какое счастье привалило этому доброму человеку, который отпустил деньги свои по водам и через много, много дней опять нашел их! Если б это

был мой муж... Ведь мы такие бедняки, такие бедняки, и оба старые!.. (Тяжкий вздох.) Нет, это не мой Эдвард, он не мог дать незнакомцу двадцать долларов. Ну что ж, приходится только пожалеть об этом! — И — вздрогнув: — Но ведь это деньги игрока! Греховная мзда... мы не смогли бы принять их, не смогли бы прикоснуться к ним. Мне даже неприятно сидеть возле них, они оскверняют меня».

Миссис Ричардс пересела подальше от мешка. «Скорей бы Эдвард приехал и отнес их в банк! Того и гляди вломятся грабители. Мне страшно! Такие деньги, а я сижу здесь одна-одинешенька!»

Мистер Ричардс вернулся в одиннадцать часов и, не слушая возгласов жены, обрадовавшейся его приезде, сразу же заговорил:

— Я так устал, просто сил нет! Какое это несчастье — бедность! В мои годы так мыкаться! Гни спину, зарабатывай себе на хлеб, трудись на благо человеку, у которого денег куры не клюют. А он посиживает себе дома в мягких туфлях!

— Мне за тебя так больно, Эдвард. Но успокойся — с голоду мы не умираем, наше честное имя при нас...

— Да, Мэри, это самое главное. Не обращай внимания на мои слова. Минутная вспышка, и больше ничего. Поцелуй меня... Ну вот, все прошло, и я ни на что не жалуюсь. Что это у тебя? Какой-то мешок?

И тут жена поведала ему великую тайну. На минуту ее слова ошеломили его; потом он сказал:

— Мешок весит сто шестьдесят фунтов? Мэри! Значит, в нем со-рок ты-сяч долларов! Подумай только! Ведь это целое состояние. Да у нас в городе не наберется и десяти человек с такими деньгами! Дай мне письмо.

Он быстро пробежал его.

— Вот так история! О таких небылицах читаешь только в романах, в жизни они никогда не случаются. — Ричардс приободрился, даже повеселел. Он потрепал свою старушку жену по щеке и шутливо сказал: — Да мы с тобой богачи, Мэри, настоящие богачи! Что нам стоит припрятать эти деньги, а письмо сжечь? Если тот игрок вдруг явится с расспросами, мы смирим

его ледяным взглядом и скажем: «Не понимаем, о чем вы говорите! Мы видим вас впервые и ни о каком мешке с золотом понятия не имеем». Представляешь себе, какой у него будет глупый вид, и...

— Ты все шутишь, а деньги лежат здесь. Скоро ночь — для грабителей самое раздолье.

— Ты права. Но как же нам быть? Наводить справки негласно? Нет, это убьет всякую романтику. Лучше через газету. Подумай только, какой поднимется шум! Наши соседи будут вне себя от зависти. Ведь им хорошо известно, что ни один иностранец не доверил бы таких денег никакому другому городу, кроме Гедлиберга. Как нам повезло! Побегу скорей в редакцию, а то будет поздно.

— Подожди... подожди, Эдвард! Не оставляй меня одну с этим мешком!

Но его и след простыл. Впрочем, не надолго. Чуть не у самого дома он встретил издателя газеты, сунул ему в руки письмо незнакомца и сказал:

— Интересный материал, Кокс. Дайте в очередной номер.

— Поздновато, мистер Ричардс; впрочем, попробую.

Очутившись дома, Ричардс снова принялся обсуждать с женой эту увлекательную тайну. О том, чтобы лечь спать, не приходилось и думать. Прежде всего их интересовало следующее: кто же дал незнакомцу двадцать долларов? Ответить на этот вопрос оказалось нетрудно, и оба в один голос проговорили:

— Баркли Гудсон.

— Да, — сказал Ричардс, — он мог так поступить, это на него похоже. Другого такого человека в городе теперь не найдется.

— Это все признают, Эдвард, все... хотя бы в глубине души. Вот уж полгода как наш город снова стал самим собой — честным, ограниченным, фарисейски самодовольным и скаредным.

— Гудсон так и говорил о нем до самой своей смерти, и говорил во всеуслышание.

— Да, и его ненавидели за это.

— Ну еще бы! Но ведь он ни с кем не считался. Кого еще так ненавидели, как Гудсона? Разве только его преподобие мистера Берджеса!

— Берджес ничего другого не заслужил. Кто теперь пойдет к нему в церковь? Хотя и плох наш город, а Берджеса он раскусил, Эдвард! А правда странно, что этот чужестранец доверяет свои деньги Берджесу?

— Да, странно... Впрочем... впрочем...

— Ну вот, заладил — «впрочем, впрочем»! Ты сам доверился бы ему?

— Как сказать, Мэри! Может быть, чужестранец знаком с ним ближе, чем мы?

— От этого Берджес не станет лучше.

Ричардс растерянно молчал. Жена смотрела на него в упор и ждала ответа. Наконец он заговорил, но так робко, как будто знал заранее, что ему не поверят:

— Мэри, Берджес — неплохой человек.

Миссис Ричардс явно не ожидала такого заявления.

— Вздор! — воскликнула она.

— Он неплохой человек. Я это знаю. Его невзлюбили за ту историю, которая получила такую огласку.

— За ту историю! Как будто подобной истории недостаточно!

— Достаточно. Вполне достаточно. Только он тут ни при чем.

— Что ты говоришь, Эдвард? Как это ни при чем, когда все знают, что Берджес виноват!

— Мэри, даю тебе честное слово, он ни в чем не виноват.

— Не верю и никогда не поверю. Откуда ты это взял?

— Тогда послушай мое покаяние. Мне стыдно, но ничего не поделаешь. О том, что Берджес не виновен, никто, кроме меня, не знает. Я мог бы спасти его, но... но... ты помнишь, какое возмущение царило тогда в городе... и я... я не посмел этого сделать. Ведь на меня все ополчились бы. Я чувствовал себя подлецом, самым низким подлецом... и все-таки молчал. У меня просто не хватало мужества на такой поступок.

Мэри нахмурилась и долго молчала. Потом заговорила, запинаясь на каждом слове:

— Да, пожалуй, этого не следовало делать... Как-никак, общественное мнение... приходится считаться... — Она ступила на опасный путь и вскоре окончательно увязла, но мало-помалу справилась и зашагала дальше. — Конечно, жалко, но... Нет, Эдвард, это нам не по силам... просто не по силам! Я бы не благословила тебя на такое безрассудство!

— Сколько людей отвернулось бы от нас, Мэри! А кроме того... кроме того...

— Меня сейчас тревожит только одно, Эдвард: что он о нас думает?

— Берджес? Он даже не подозревает, что я мог спасти его.

— Ох,— облегченно вздохнула жена.— Как я рада! Если Берджес ничего не подозревает, значит... Ну, слава богу! Теперь понятно, почему он так предупредителен с нами, хотя мы его вовсе не поощряем. Меня уж сколько раз этим попрекали. Те же Уилсоны, Уилкоксы и Гаркнессы. Для них нет большего удовольствия, как сказать: «*Ваш друг* Берджес», а ведь они прекрасно знают, как мне это неприятно. И что он в нас нашел такого хорошего? Просто не понимаю.

— Сейчас я тебе объясню. Выслушай еще одно покаяние. Когда все обнаружилось и Берджеса решили протащить через весь город на жерди, совесть меня так мучила, что я не выдержал, пошел к нему тайком и предупредил его. Он уехал из Гедлиберга и вернулся, когда страсти утихли.

— Эдвард! Если б в городе узнали...

— Молчи! Мне и сейчас страшно. Я пожалел об этом немедленно и даже тебе ничего не сказал — из страха, что ты невольно выдашь меня. В ту ночь я не сомкнул глаз. Но прошло несколько дней, никто меня ни в чем не заподозрил, и я перестал раскаиваться в своем поступке. И до сих пор не раскаиваюсь, Мэри, ни капельки не раскаиваюсь.

— Тогда и я тоже рада: ведь над ним хотели учинить такую жестокую расправу! Да, раскаиваться не в чем. Как-никак, а ты был обязан сделать это. Но, Эдвард, а вдруг когда-нибудь узнают?

— Не узнают.

— Почему?

— Все думают, что это сделал Гудсон.

— Да, верно!

— Ведь он действительно ни с кем не считался.

Старика Солсбери уговорили сходить к Гудсону и бросить ему в лицо это обвинение. Тот расхрабрился и пошел. Гудсон оглядел его с головы до пят, точно отыскивая на нем местечко погаже, и сказал: «Так вы, значит, от комиссии по расследованию?» Солсбери отвечает, что примерно так оно и есть. «Гм! А что им нужно — подробности или достаточно общего ответа?» — «Если подробности понадобятся, мистер Гудсон, я приду еще раз, а пока дайте общий ответ». — «Хорошо, тогда скажите им, пусть убираются к черту. Полагаю, что этот общий ответ их удовлетворит. А вам, Солсбери, советую: когда пойдете за подробностями, захватите с собой корзинку, а то в чем вы потащите домой свои останки?»

— Как это похоже на Гудсона! Узнаю его в каждом слове. У этого человека была только одна слабость: он думал, что лучшего советчика, чем он, во всем мире не найти.

— Но такой ответ решил все и спас меня, Мэри. Расследование прекратили.

— Господи! Я в этом не сомневаюсь.

И они снова с увлечением заговорили о таинственном золотом мешке. Но вскоре в их беседу стали вкрадываться паузы — глубокое раздумье мешало словам. Паузы учащались. И вот Ричардс окончательно замолчал. Он сидел, рассеянно глядя себе под ноги, потом мало-помалу начал нервно шевелить пальцами в такт своим беспокойным мыслям. Тем временем умолкла и его жена; все ее движения тоже свидетельствовали о снедавшей ее тревоге.

Наконец Ричардс встал и бесцельно зашагал по комнате, ероша обеими руками волосы, словно лунатик, которому приснился дурной сон. Но вот он, видимо, надумал что-то, — не говоря ни слова, надел шляпу и быстро вышел из дому.

Его жена сидела нахмурившись, погруженная в глубокую задумчивость, и не замечала, что осталась одна. Время от времени она начинала бормотать:

— Не введи нас во ис... но мы такие бедняки, такие бедняки! Не введи нас во... Ах! Кому это повредит? Ведь никто никогда не узнает... Не введи нас во...

Голос ее затих. Потом она подняла глаза и проговорила не то испуганно, не то радостно:

— Ушел! Но, может быть, уже поздно? Или время еще есть? — И старушка поднялась со стула, взволнованно сжимая и разжимая руки. Легкая дрожь пробежала по ее телу, в горле пересохло, и она с трудом выговорила: — Да простит меня господь! Об этом и подумать страшно... Но, боже мой, как странно создан человек... как странно!

Миссис Ричардс убавила огонь в лампе, крадучись подошла к мешку, опустилась рядом с ним на колени и ощупала его ребристые бока, любовно проводя по ним ладонями. Алчный огонек загорелся в старческих глазах несчастной женщины. Временами она совсем забывалась, а приходя в себя, бормотала:

— Что же он не подождал... хоть несколько минут! И зачем было так торопиться!

Тем временем Кокс вернулся из редакции домой и рассказал жене об этой странной истории. Оба принялись с жаром обсуждать ее и решили, что во всем городе только покойный Гудсон был способен подать страждущему незнакомцу такую щедрую милостыню, как двадцать долларов. Наступила пауза, муж и жена задумались и погрузились в молчание. А потом обоих охватило беспокойство. Наконец жена заговорила, словно сама с собой:

— Никто не знает об этой тайне, кроме Ричардсов и нас... Никто.

Муж вздрогнул, очнулся от своего раздумья и грустно посмотрел на жену. Она побледнела. Он нерешительно поднялся с места, бросил украдкой взгляд на свою шляпу, потом посмотрел на жену, словно безмолвно спрашивая ее о чем-то. Миссис Кокс судорожно глотнула, поднесла руку к горлу и вместо ответа только

кивнула мужу. Секунда — и она осталась одна и снова начала что-то тихо бормотать.

А Ричардс и Кокс с разных концов города бежали по опустевшим улицам навстречу друг другу. Еле переводя дух, они столкнулись у лестницы, которая вела в редакцию, и, несмотря на темноту, прочли то, что было написано на лице у каждого из них. Кокс прошептал:

— Кроме нас, никто об этом не знает?

И в ответ тоже послышался шепот:

— Никто. Даю вам слово, ни одна душа!

— Если еще не поздно, то...

Они бросились вверх по лестнице, но в эту минуту появился мальчик-рассыльный, и Кокс окликнул его:

— Это ты, Джонни?

— Да, сэр.

— Не отправляй утренней почты... и дневной тоже. Подожди, пока я не скажу.

— Все уже отправлено, сэр.

— *Отправлено?*

Какое разочарование прозвучало в этом слове!

— Да, сэр. С сегодняшнего числа поезда на Брикстон и дальше ходят по новому расписанию, сэр. Пришлось отправить газеты на двадцать минут раньше. Я еле успел, еще две минуты — и...

Не дослушав его, Ричардс и Кокс повернулись и медленно зашагали прочь. Минут десять они шли молча; потом Кокс раздраженно заговорил:

— Понять не могу, чего вы так поторопились?

Ричардс ответил смиренным тоном:

— Действительно зря, но знаете, мне как-то не пришло в голову... Зато в следующий раз...

— Да ну вас! Такого «следующего раза» тысячу лет не дожدهшься!

Друзья расстались, даже не попрощавшись, и с убитым видом побрели домой. Жены кинулись им навстречу с нетерпеливым: «Ну что?» — прочли ответ у них в глазах и горестно опустили голову, не дожидаясь объяснений.

В обоих домах загорелся спор, и довольно горячий; а это было нечто новое: и той и другой супружеской

чете спорить приходилось и раньше, но не так горячо, не так ожесточенно. Сегодня доводы спорящих сторон слово в слово повторялись в обоих домах. Миссис Ричардс говорила:

— Если б ты подождал хоть минутку, Эдвард! Подумал бы, что делаешь! Нет, надо было бежать в редакцию и трезвонить об этом на весь мир!

— В письме было сказано: «Разыскать через газету».

— Ну и что же? А разве там не было сказано: «Если хотите, сделайте все это негласно». Вот тебе! Права я или нет?

— Да... да, верно. Но когда я подумал, какой поднимется шум и какая это честь для Гедлиберга, что иностранец так ему доверился...

— Ну конечно, конечно. А все-таки стоило бы тебе поразмыслить немножко, и ты бы сообразил, что того человека не найти: он лежит в могиле и никого после себя не оставил, ни родственника, ни свойственника. А если деньги достанутся тем, кто в них нуждается, и если другие при этом не пострадают...

Она не выдержала и залилась слезами. Ричардс ломал себе голову, придумывая, как бы ее утешить, и наконец нашелся:

— Подожди, Мэри! Может быть, все это к лучшему. Конечно к лучшему! Не забывай, что так было predetermined свыше...

— «Предопределено свыше»! Когда человеку надо оправдать собственную глупость, он всегда ссылается на «предопределение». Но даже если так — ведь деньги попали к нам в дом, значит это было тоже «предопределено», а ты пошел наперекор провидению! По какому праву? Это грех, Эдвард, большой грех! Такая самонадеянность не к лицу скромному, богобоязненному...

— Да ты вспомни, Мэри, чему нас всех, уроженцев Гедлиберга, наставляли с детства! Если можешь совершить честный поступок, не раздумывай ни минуты. Ведь это стало нашей второй натурой!

— Ах, знаю, знаю! Наставления, нескончаемые наставления в честности! Нас охраняли от всяких соблаз-

нов еще с колыбели. Но такая честность *искусственна*, она неверна, как вода, и не устоит перед соблазнами, в чем мы с тобой убедились сегодня ночью. Видит бог, до сих пор у меня не было ни тени сомнения в своей окостеневшей и нерушимой честности. А сейчас... сейчас... сейчас, Эдвард, когда перед нами встало первое настоящее искушение, я... я убедилась, что честности нашего города — грош цена, так же как и моей честности... и твоей, Эдвард. Гедлиберг — мерзкий, черствый, скаредный город. Единственная его добродетель — это честность, которой он так прославился и которой так кичится. Да простит меня бог за такие слова, но наступит день, когда честность нашего города не устоит перед каким-нибудь великим соблазном, и тогда слава его рассыплется, как карточный домик. Ну вот, я во всем призналась, и на сердце сразу стало легче. Я притворщица, и всю жизнь была притворщицей, сама того не подозревая. И пусть меня не называют больше честной, — я этого не вынесу!

— Да, Мэри, я... я тоже так считаю. Странно это... очень странно! Кто бы мог предположить...

Наступило долгое молчание, оба глубоко задумались. Наконец жена подняла голову и сказала:

— Я знаю, о чем ты думаешь, Эдвард.

Застигнутый врасплох, Ричардс смутился.

— Мне стыдно признаться, Мэри, но...

— Не беда, Эдвард, я сама думаю о том же.

— Надеюсь... Ну, говори.

— Ты думал: как бы догадаться, что Гудсон сказал незнакомцу!

— Совершенно верно. Мне стыдно, Мэри, я чувствую себя преступником! А ты?

— Нет, мне уж не до этого. Давай ляжем в гостиной. Надо караулить мешок. Утром, когда откроется банк, отнесем его и сдадим в кладовую... Боже мой, боже мой! Какую мы сделали ошибку!

Когда постель в гостиной была постлана, Мэри снова заговорила:

— «Сезам, откройся!...» Что же он мог сказать? Как бы угадать эти слова? Ну хорошо, надо ложиться.

— И спать?

— Нет, думать.

— Хорошо, будем думать.

К этому времени чета Коксов тоже успела и поссориться и помириться, и теперь они тоже ложились спать, — вернее, не спать, а думать, думать, думать, вращаться с боку на бок и ломать себе голову, какие же слова сказал Гудсон тому бродяге — золотые слова, слова, оцененные теперь в сорок тысяч долларов чистоганом!

Городская телеграфная контора работала в эту ночь позднее, чем обычно, и вот по какой причине: выпускающий газеты Кокса был одновременно и местным представителем Ассошиэтед Пресс. Правильнее сказать, почетным представителем, ибо его корреспонденции, по тридцать слов каждая, печатались дай бог каких-нибудь четыре раза в год. Но теперь дело обстояло по-иному. На его телеграмму, в которой сообщалось о том, что ему удалось узнать, последовал немедленный ответ:

«Давайте полностью всеми подробностями тысяча двести слов».

Грандиозно! Выпускающий сделал, как ему было приказано, и стал самым известным человеком в своем штате.

На следующее утро, к завтраку, имя неподкупного Гедлиберга было на устах у всей Америки, от Монреаля до Мексиканского залива, от ледников Аляски до апельсиновых рощ Флориды. Миллионы и миллионы людей судили и рядили о незнакомце и о его золотом мешке; волновались, найдется ли тот человек; им уже не терпелось как можно скорее — немедленно! — узнать о дальнейших событиях.

II

На следующее утро Гедлиберг проснулся всемирно знаменитым, изумленным, счастливым... зазнавшимся. Зазнавшимся сверх всякой меры. Девятнадцать его именитейших граждан вкупе со своими супругами пожимали друг другу руки, сияли, улыбались, обменивались поздравлениями и говорили, что после *такого*

события в языке появится новое слово: «Гедлиберг» — как синоним слова «неподкупный», и оно пребудет в словарях навеки. Граждане рангом ниже вкупе со своими супругами вели себя почти так же. Все кинулись в банк полюбоваться на мешок с золотом, а к полудню из Брикстона и других соседних городов толпами повалили раздосадованные завистники. К вечеру же и на следующий день со всех концов страны стали прибывать репортеры, желавшие убедиться собственными глазами в существовании мешка, вывести его историю, описать все заново и сделать беглые зарисовки от руки: самого мешка, дома Ричардсов, здания банка, пресвитерианской церкви, баптистской церкви, городской площади и зала магистратуры, где должны были состояться испытание и передача денег законному владельцу. Репортеры не поленились набросать и шаржированные портреты четы Ричардсов, банкира Пинкертона, Кокса, выпускающего, его преподобия мистера Берджеса, почтмейстера и даже Джека Хэлидея — добродушного бездельника и шалопая, промышлявшего рыбной ловлей и охотой, друга всех мальчишек и бездомных собак в городе. Противный маленький Пинкертон с елейной улыбкой показывал мешок всем желающим и, радостно потирая свои пухлые ручки, разглагольствовал о добром, честном имени Гедлиберга и о том, как оправдалась его честность, и о том, что этот пример будет, несомненно, подхвачен всей Америкой и послужит новой вехой в деле нравственного возрождения страны... и так далее и тому подобное.

К концу недели ликование несколько поулеглось. На смену бурному опьянению гордостью и восторгом пришла трезвая, тихая, не требующая словоизлияний радость, вернее чувство глубокого удовлетворения. Лица всех граждан Гедлиберга сияли мирным, безмятежным счастьем.

А потом наступила перемена — не сразу, а постепенно, настолько постепенно, что на первых порах ее почти никто не заметил, может быть даже совсем никто не заметил, если не считать Джека Хэлидея, который всегда все замечал и всегда над всем посмеивался, даже над самыми почтенными вещами. Он начал отпускать

шутливые замечания насчет того, что у некоторых людей вид стал далеко не такой счастливый, как день-два назад; потом заявил, что лица у них явно грустнеют; потом — что вид у них становится попросту кислый. Наконец он заявил, что всеобщая задумчивость, рассеянность и дурное расположение духа достигли таких размеров, что ему теперь ничего не стоит выудить цент со дна кармана у самого жадного человека в городе, не нарушив этим его глубокого раздумья.

Примерно в то же время глава каждого из девятнадцати именитейших семейств, ложась спать, ронял — обычно со вздохом — следующие слова:

— Что же все-таки Гудсон сказал?

А его супруга, вздрогнув, немедленно отвечала:

— Перестань! Что за ужасные мысли лезут тебе в голову! Гони их прочь, ради создателя!

Однако на следующую ночь мужья опять задавали тот же вопрос — и опять получали отповедь. Но уже не столь суровую.

На третью ночь они в тоске, совершенно машинально, повторили то же самое. На сей раз — и следующей ночью — их супруги поежились, хотели что-то сказать... но так ничего и не сказали.

А на пятую ночь они обрели дар слова и ответили с мукой в голосе:

— О, если бы угадать!

Шуточки Хэлидея с каждым днем становились все злее и обиднее. Он сновал повсюду, высмеивая Гедлиберг — всех его граждан скопом и каждого в отдельности. Но, кроме Хэлидея, в городе никто не смеялся; его смех звучал среди унылого безмолвия — в пустоте. Хотя бы тень улыбки мелькнула на чьем-нибудь лице! Хэлидей не расставался с сигарным ящиком на треноге и, разыгрывая из себя фотографа, останавливал всех проходящих, наводил на них свой аппарат и командовал: «Спокойно! Сделайте приятное лицо!» Но даже такая остроумнейшая шутка не могла заставить эти мрачные физиономии смягчиться хотя бы в невольной улыбке.

Третья неделя близилась к концу, до срока оставалась только одна неделя. Был субботний вечер; все

отужинали. Вместо обычного для предпраздничных вечеров оживления, веселья, толкотни, хождения по лавкам, на улицах царили безлюдье и тишина. Ричардс сидел со своей женой в крохотной гостиной, оба унылые, задумчивые. Так проходили теперь все их вечера. Прежнее времяпрепровождение — чтение вслух, вязанье, мирная беседа, прием гостей, визиты к соседям — кануло в вечность давным-давно... две-три недели назад. Никто больше не разговаривал в семейном кругу, никто не читал вслух, никто не ходил в гости — все в городе сидели по домам, вздыхали, мучительно думали и хранили молчание. Все старались отгадать, что сказал Гудсон.

Почтальон принес письмо. Ричардс без всякого интереса взглянул на почерк на конверте и почтовый штемпель — и то и другое незнакомое, — бросил письмо на стол и снова вернулся к своим мучительным и бесплодным домыслам: «А может быть, так, а может быть, эдак?», продолжая их с того места, на котором остановился. Часа три спустя его жена устало поднялась с места и направилась в спальню, не пожелав мужу спокойной ночи, — теперь это тоже было в порядке вещей. Бросив рассеянный взгляд на письмо, она распечатала его и пробежала мельком первые строки. Ричардс сидел в кресле, уткнув подбородок в колени. Вдруг сзади послышался глухой стук. Это упала его жена. Он кинулся к ней, но она крикнула:

— Оставь меня! Читай письмо! Боже, какое счастье!

Ричардс так и сделал. Он пожирал глазами страницы письма, в голове у него мутилось. Письмо пришло из отдаленного штата, и в нем было сказано следующее:

«Вы меня не знаете, но это не важно, мне нужно кое-что сообщить вам. Я только что вернулся домой из Мексики и услышал о событии, случившемся в вашем городе. Вы, разумеется, не знаете, кто сказал те слова, а я знаю, и кроме меня, не знает никто. Сказал их *Гудсон*. Мы с ним познакомились много лет назад. В ту ночь я был проездом в вашем городе и остановился у него, дожидаясь ночного поезда. Мне пришлось услы-

знать слова, с которыми он обратился к незнакомцу, остановившему нас на темной улице — это было в Геил-Элли. По дороге домой и сидя у него в кабинете за сигарой, мы долго обсуждали эту встречу. В разговоре Гудсон упоминал о многих из ваших сограждан — большей частью в весьма нелестных выражениях. Но о двоих-троих он отзывался более или менее благожелательно, между прочим — и о вас. Подчеркиваю: «более или менее благожелательно», не больше. Помню, как он сказал, что никто из граждан Гедлиберга не пользуется его расположением, решительно никто; но будто бы вы — мне кажется, речь шла именно о вас, я почти уверен в этом, — вы оказали ему однажды очень большую услугу, возможно даже не сознавая всей ее цены. Гудсон добавил, что, будь у него большое состояние, он оставил бы вам наследство после своей смерти, а прочим гражданам — проклятие, всем вместе и каждому в отдельности. Итак, если эта услуга исходила действительно от вас, значит вы являетесь его законным наследником и имеете все основания претендовать на мешок с золотом. Полагаясь на вашу честь и совесть — добродетели, издавна присущие всем гражданам города Гедлиберга, — я хочу сообщить вам эти слова, в полной уверенности, что если Гудсон имел в виду не вас, то вы разыщете того человека и приложите все старания, чтобы вышеупомянутая услуга была оплачена покойным Гудсоном сполна. Вот эти слова: «Вы не такой плохой человек. Ступайте и попытайтесь исправиться».

Гоуард Л. Стивенсон».

— Деньги наши! Какая радость, какое счастье! Эдвард! Поцелуй меня, милый... мы давно забыли, что такое поцелуй, а как они нам необходимы... я про деньги, конечно... Теперь ты развяжешься с Пинкертоном и с его банком. Довольно! Кончилось твое рабство! Господи, у меня будто крылья выросли от радости!

Какие счастливые минуты провели Ричардсы, сидя на диванчике и осыпая друг друга ласками! Словно вернулись прежние дни — те дни, которые начались для них, когда они были женихом и невестой, и

тянулись без перерыва до тех пор, пока незнакомец не принес к ним в дом эти страшные деньги. Прошло полчаса, и жена сказала:

— Ах, Эдвард! Какое счастье, что ты сослужил такую службу этому бедному Гудсону. Он мне никогда не нравился, а теперь я его просто полюбила. И как это хорошо и благородно с твоей стороны, что ты никому ничего не сказал, ни перед кем не хвастался. — Потом, с оттенком упрека в голосе: — Но мне-то, жене, можно было рассказать?

— Да знаешь, Мэри... я... э-э..

— Довольно тебе мекать и заикаться, Эдвард! Рассказывай, как это было? Я всегда любила своего муженька, а сейчас горжусь им. Все думают, что у нас в городе была только одна добрая и благородная душа, а теперь оказывается, что... Эдвард, почему ты молчишь?

— Я... э-э... я... Нет, Мэри, не могу!

— *Не можешь? Почему не можешь?*

— Видишь ли... он... он... взял с меня слово, что я буду молчать.

Жена смерила его взглядом с головы до пят и, отчеканивая каждый слог, медленно проговорила:

— Взял с те-бя сло-во? Эдвард, зачем ты мне это говоришь?

— Мэри! Неужели ты думаешь, что я стану лгать!

Минуту миссис Ричардс молчала, нахмутив брови, потом взяла его под руку и сказала:

— Нет... нет. Мы и так зашли слишком далеко... храни нас бог от этого. Ты за всю свою жизнь не вымолвил ни одного лживого слова. Но теперь... теперь, когда основы всех основ рушатся перед нами, мы... мы... — Она запнулась, но через минуту овладела собой и продолжала прерывающимся голосом: — Не введи нас во искушение!.. Ты дал слово, Эдвард. Хорошо! Не будем больше касаться этого. Ну вот, все прошло. Развеселись, сейчас не время хмуриться!

Эдварду было не так-то легко выполнить это приказание, ибо мысли его блуждали далеко: он старался припомнить, о какой же услуге говорил Гудсон.

Супружеская чета лежала без сна почти всю ночь: Мэри — счастливая, озабоченная, Эдвард — тоже оза-

боченный, но далеко не такой счастливый. Мэри мечтала, что сделает на эти деньги. Эдвард старался вспомнить услугу, оказанную Гудсону. Сначала его мучила совесть — ведь он солгал Мэри... если только это была ложь. После долгих размышлений он решил: ну, допустим, что ложь. Что тогда? Разве это так уж важно? Разве мы не лжем в *поступках*? А если так, зачем остерегаться лживых слов? Взять хотя бы Мэри! Чем она была занята, пока он, как честный человек, бегал выполнять порученное ему дело? Горевала, что они не уничтожили письма и не завладели деньгами! Спрашиваясь, неужели воровство лучше лжи?

Вопрос о лжи отступил в тень. На душе стало спокойнее. На передний план выступило другое: оказал ли он Гудсону на самом деле какую-то услугу? Но вот свидетельство самого Гудсона, сообщенное в письме Стивенсона. Лучшего свидетельства и не требуется — факт можно считать установленным. Разумеется! Значит, с этим вопросом тоже покончено... Нет, не совсем. Он поморщился, вспомнив, что этот неведомый мистер Стивенсон был не совсем уверен, оказал ли услугу человек по фамилии Ричардс или кто-то другой. Вдобавок — ах, господи! — он полагается на его порядочность! Ему, Ричардсу, предоставлено решать самому, кто должен получить деньги. И мистер Стивенсон не сомневается, что если Гудсон говорил о ком-то другом, то он, Ричардс, со свойственной ему честностью займется поисками истинного благодетеля. Чудовищно ставить человека в такое положение. Неужели Стивенсон не мог написать наверняка? Зачем ему понадобилось припутывать к делу свои домыслы?

Последовали дальнейшие размышления. Почему Стивенсону запала в память фамилия *Ричардс*, а не какая-нибудь другая? Это как будто убедительный довод. Ну конечно убедительный! Чем дальше, тем довод становился все убедительнее и убедительнее и в конце концов превратился в прямое *доказательство*. И тогда чутье подсказало Ричардсу, что, поскольку факт доказан, на этом надо остановиться.

Теперь он более или менее успокоился, хотя одна маленькая подробность все же не выходила у него из

головы. Он оказал Гудсону услугу, это факт, но *какую?* Надо вспомнить — он не заснет, пока не вспомнит, а тогда можно будет окончательно успокоиться. И Ричардс продолжал ломать себе голову. Он придумал много всяких услуг той или иной степени вероятности. Но все они были ни то ни се — все казались слишком мелкими, ни одна не стоила тех денег, того богатства, которое Гудсон хотел завещать ему. Кроме того, он вообще не мог вспомнить, чтобы Гудсон пользовался когда-нибудь его услугами. Нет, в самом деле, чем можно услужить человеку, чтобы он вдруг проникся к тебе благодарностью? Спасти его душу? А ведь верно! Да, теперь ему вспомнилось, что однажды он решил обратиться к Гудсону на путь истинный и трудился над этим... Ричардс хотел сказать — три месяца, но, по зрелом размышлении, три месяца усохли сначала до месяца, потом до недели, потом до одного дня, а под конец от них и вовсе ничего не осталось. Да, теперь он вспомнил с неприятной отчетливостью, как Гудсон послал его ко всем чертям и посоветовал не совать нос в чужие дела. Он, Гудсон, видите ли, не так уж стремился попасть в царствие небесное в компании со всеми прочими гражданами города Гедлиберга!

Итак, это предположение не подтвердилось — Ричардсу не удалось спасти душу Гудсона. Он приуныл. Но через несколько минут его осенила еще одна мысль. Может быть, он спас состояние Гудсона? Нет, вздор! У Гудсона и не было никакого состояния. Спас ему жизнь? Вот оно! Ну разумеется! Как это ему раньше не пришло в голову! Уж теперь-то он на правильном пути. И воображение Ричардса заработало полным ходом.

В течение двух мучительных часов он был занят тем, что спасал Гудсону жизнь. Он выручал его из трудных и порой даже опасных положений. И каждый раз все сходило гладко... до известного предела. Стоило ему окончательно убедить себя, что это было на самом деле, как вдруг, откуда ни возьмись, выскакивала какая-нибудь досадная мелочь, которая рушила все. Скажем, спасение утопающего. Он бросился в воду и на глазах рукоплескавшей ему огромной толпы вытащил

бесчувственного Гудсона на берег. Все шло прекрасно, но вот Ричардс стал припоминать это происшествие во всех подробностях, и на него хлынул целый рой совершенно убийственных противоречий: в городе знали бы о таком событии, и Мэри знала бы, да и в его собственной памяти оно бы сияло, как маяк, а не таилось где-то на задворках смутным намеком на какую-то незначительную услугу, которую он оказал, может быть «даже не сознавая всей ее цены». И тут Ричардс вспомнил кстати, что он не умеет плавать.

Ага! Вот что упущено из виду с самого начала: это должна быть такая услуга, которую он оказал, «возможно не сознавая всей ее цены». Ну что ж, это значительно облегчает дело — теперь будет не так трудно копаться в памяти. И действительно, через несколько минут он докопался. Много-много лет назад Гудсон хотел жениться на очень славной и хорошенькой девушке по имени Нэнси Хьюит, но в последнюю минуту брак почему-то расстроился; девушка умерла, а Гудсон так и остался холостяком и с годами превратился в старого брюзгу и ненавистника всего рода человеческого. Вскоре после смерти девушки в городе установили совершенно точно — во всяком случае, так казалось горожанам, — что в жилах ее была примесь негритянской крови. Ричардс долго раздумывал над этим и наконец припомнил все обстоятельства дела, очевидно ускользнувшие из его памяти за давностью лет. Ему стало казаться, что негритянскую примесь обнаружил именно он; что не кто другой, как он, и оповестил город о своем открытии и что Гудсону так и было сказано. Следовательно, он спас Гудсона от женитьбы на девушке с нечистой кровью, и это и есть та самая услуга, «цены которой он не сознавал», — вернее, не сознавал, что это можно назвать услугой. Но Гудсон знал ей цену, знал, какая ему грозила опасность, и сошел в могилу, испытывая чувство признательности к своему спасителю и сожалея, что не может оставить ему наследство. Теперь все стало на свое место, и чем больше размышлял Ричардс, тем отчетливее и определеннее вырисовывалась перед ним эта давняя история. И наконец, когда он, успокоенный и счастливый,

свернулся калачиком, собираясь уснуть, неудачное сватовство Гудсона предстало перед ним с такой ясностью, будто все это случилось только накануне. Ему даже припомнилось, что Гудсон когда-то *благодарил* его за эту услугу.

Тем временем Мэри успела потратить шесть тысяч долларов на постройку дома для себя и мужа и покупку новых домашних туфель в подарок пастору и мирно уснула.

В тот же самый субботний вечер почтальон вручил по письму и другим именитым гражданам города Гедлиберга — всего таких писем было девятнадцать. Среди них не оказалось и двух схожих конвертов. Адреса тоже были написаны разными почерками. Что же касается содержания, то оно совпадало слово в слово, за исключением следующей детали: они были точной копией письма, полученного Ричардсом, вплоть до почерка и подписи «Стивенсон», но вместо фамилии Ричардс в каждом из них стояла фамилия одного из восемнадцати других адресатов.

Всю ночь восемнадцать именитейших граждан города Гедлиберга делали то же, что делал их собрат Ричардс: напрягали все свои умственные способности, чтобы вспомнить, какую примечательную услугу оказали они, сами того не подозревая, Баркли Гудсону. Работа эта была, признаться, не из легких, но тем не менее она принесла свои плоды.

И пока они отгадывали эту загадку, что было весьма трудно, их жены растрачивали деньги, что было совсем нетрудно. Из сорока тысяч, которые лежали в мешке, девятнадцать жен потратили за одну ночь в среднем по семи тысяч каждая, что составляло в целом сто тридцать три тысячи долларов.

Следующий день принес Джеку Хэлидею большую неожиданность. Он заметил, что на физиономиях девятнадцати первейших граждан Гедлиберга и их жен снова появилось выражение мирного, безмятежного счастья. Хэлидей терялся в догадках и не мог изобрести ничего такого, что бы испортило или хоть сколько-нибудь нарушило это всеобщее блаженное состояние духа. Настал и его черед испытать немилость судьбы.

Все его догадки оказывались при проверке несостоятельными. Повстречав миссис Уилкокс и увидев ее сияющую тихим восторгом физиономию, Хэлидей сказал сам себе: «Не иначе как у них кошка окотилась», — и пошел справиться у кухарки, так ли это. Нет, ничего подобного. Кухарка тоже заметила, что хозяйка чему-то радуется, но причины этой радости не знала. Когда Хэлидей прочел подобный же восторг на физиономии «квакера» Билсона (так его прозвали в городе), он решил, что кто-нибудь из соседей Билсона сломал себе ногу, но произведенное расследование опровергло эту догадку. Сдержанный восторг на физиономии Грегори Ейтса мог означать лишь одно — кончину его тещи. Опять ошибка! А Пинкертон... Пинкертон, должно быть, неожиданно для самого себя получил с кого-нибудь десять центов долгу... И так далее и тому подобное. В некоторых случаях догадки Хэлидея так и остались не более чем догадками, в других — ошибочность их была совершенно бесспорна. В конце концов Джек пришел к следующему выводу: «Как ни верти, а итог таков: девятнадцать гедлибергских семейств временно переселились на седьмое небо. Объяснить это я никак не могу, знаю только одно — господь бог сегодня явно допустил какой-то недосмотр в своем хозяйстве».

Некий архитектор и строитель из соседнего штата рискнул открыть небольшую контору в этом захолустном городишке. Его вывеска висела уже целую неделю — и хоть бы один клиент! Архитектор приуныл и уже начинал жалеть, что приехал сюда. И вдруг погода резко переменилась. Супруги двух именитых граждан Гедлиберга — сначала одна, потом другая — шепнули ему:

— Зайдите к нам в следующий понедельник, но пока пусть это остается в тайне. Мы хотим строиться.

Архитектор получил одиннадцать приглашений за день. В тот же вечер он написал дочери, чтобы она порвала с женихом-студентом и присматривала себе более выгодную партию.

Банкир Пинкертон и двое-трое самых состоятельных граждан подумывали о загородных виллах, но

пока не торопились. Люди такого сорта обычно считают цыплят по осени.

Уилсоны замыслили нечто грандиозное — костюмированный бал. Не связывая себя обещаниями, они общались по секрету знакомым о своих планах и прибавляли: «Если бал состоится, вы, конечно, получите приглашение». Знакомые дивились и говорили между собой: «Эта голь перекатная, Уилсоны, сошли с ума! Разве им по средствам задавать балы?» Некоторые жены из числа Девятнадцати поделились с мужьями следующей мыслью: «Это даже к лучшему. Мы подождем, пока они провалятся со своим убогим балом, а потом такой закатим, что им тошно станет от зависти!»

Дни бежали, а безумные траты за счет будущих благ все росли и росли, становились час от часу нелепее и безудержнее. Было ясно, что каждое из девятнадцати семейств ухитрится не только растратить сорок тысяч долларов до того, как они будут получены, но и влезть в долги. Некоторые безумцы не ограничивались одними планами на будущее, но и сорили деньгами в кредит. Они покупали землю, закладные, фермы, акции, нарядные туалеты, лошадей и много чего другого. Вносили задаток, а на остальную сумму выдавали векселя — с учетом в десять дней. Но вскоре наступило отрезвление, и Хэлидей заметил, что на многих лицах появилось выражение лихорадочной тревоги. И он снова разводил руками и не знал, чем это объяснить. Котята у Уилкоксов не могли сдохнуть по той простой причине, что они еще не родились; никто не сломал себе ногу; убыли в тещах не наблюдается, — одним словом, ничего не произошло, и тайна остается тайной.

Недоумевать приходилось не только Хэлидею, но и преподобному Берджесу. Последние дни за ним неотступно следили и всюду его подкарауливали. Если он оставался один, к нему тут же подходил кто-нибудь из девятнадцати, тайком совал в руку конверт, шептал: «Вскройте в магистратуре в пятницу вечером», — и с виноватым видом исчезал. Берджес думал, что претендентов на мешок окажется не больше одного — и

то вряд ли, поскольку Гудсон умер. Но о таком количестве он даже не помышлял. Когда долгожданная пятница наступила, на руках у него было девятнадцать конвертов.

III

Здание городской магистратуры никогда еще не блистало такой пышностью убранства. Эстрада в конце зала была красиво задрапирована флагами, флаги свисали с хоров, флагами были украшены стены, флаги увивали колонны. И все это для того, чтобы поразить воображение приезжих, а их ожидалось очень много, и среди них должно было быть немало представителей прессы. В зале не осталось ни одного свободного места. Постоянных кресел было четыреста двенадцать, к ним пришлось добавить еще шестьдесят восемь приставных. На ступеньках эстрады тоже сидели люди. Наиболее почетным гостям отвели место на самой эстраде. А ниже, за составленными подковой столами, восседала целая армия специальных корреспондентов, прибывших со всех концов страны. Город никогда еще не видал на своих сборищах такой разнаряженной публики. Там и сям мелькали довольно дорогие туалеты, но на некоторых дамах они сидели, как на корове седло. Во всяком случае, таково было мнение гедлибергцев, хотя оно, вероятно, и страдало некоторой предвзятостью, ибо город знал, что эти дамы впервые в жизни облачились в такие роскошные платья.

Золотой мешок был поставлен на маленький столик на краю эстрады — так, чтобы все могли его видеть. Большинство присутствующих разглядывало мешок, сгорая от зависти, пуская слюнки от зависти, расстраиваясь и тоскуя от зависти. Меньшинство, состоявшее из девятнадцати супружеских пар, взирало на него нежно, по-хозяйски, а мужская половина этого меньшинства повторяла про себя чувствительные благодарственные речи, которые им в самом непродолжительном времени предстояло произнести экспромтом в ответ на аплодисменты и поздравления всего зала. Они то и дело вынимали из жилетного кармана бумажку и

заглядывали в нее украдкой, чтобы освежить свой экспромт в памяти.

Собравшиеся, как водится, переговаривались между собой — ведь без этого не обойдешься. Однако стоило только преподобному мистеру Берджесу подняться с места и положить руку на мешок, как в зале наступила полная тишина. Мистер Берджес ознакомил собрание с любопытной историей мешка, потом заговорил в весьма теплых тонах о той вполне заслуженной репутации, которую Гедлиберг давно снискал себе своей безукоризненной честностью и которой он вправе гордиться.

— Репутация эта, — продолжал мистер Берджес, — истинное сокровище, волею провидения неизмеримо возросшее в цене, ибо недавние события принесли широкую славу Гедлибергу, привлекли к нему взоры всей Америки и, будем надеяться, сделают имя его на вечные времена синонимом неподкупности. (Аплодисменты.) Кто же будет хранителем этого бесценного сокровища? Вся наша община? Нет! Ответственность должна быть личная, а не общая. Отныне каждый из вас будет оберегать наше сокровище и нести личную ответственность за его сохранность. Оправдаеги ли вы, — пусть каждый говорит за себя, — это высокое доверие? (Бурное: «Оправдаем!») Тогда все в порядке. Завещайте же этот долг вашим детям и детям детей ваших. Ныне чистота ваша безупречна, — позаботьтесь же, чтобы она осталась безупречной и впредь. Ныне нет среди вас человека, который, поддавшись злему наущению, протянул бы руку к чужому грошу, — не лишайге же себя духовного благолепия. («Нет! Нет!») Здесь не место сравнивать наш город с другими городами, кои часто относятся к нам неприязненно. У них одни обычаи, у нас — другие. Так удовольствуемся же своей долей. (Аплодисменты.) Я кончаю. Вот здесь, под моей рукой, вы видите красноречивое признание ваших заслуг. Оно исходит от чужестранца, и благодаря ему о наших заслугах услышит теперь весь мир. Мы не знаем, кто он, но от нашего имени, друзья мои, я выражаю ему благодарность и прошу вас поддержать меня.

Весь зал поднялся как один человек, и стены дрогнули от грома приветственных кликов. Потом все снова уселись по местам, а мистер Берджес извлек из кармана сюртука конверт. Публика, затаив дыхание, следила за тем, как он вскрыл его и вынул оттуда листок бумаги. Медленно, выразительно Берджес прочел то, что там было написано, а зал, словно зачарованный, вслушивался в этот волшебный документ, каждое слово которого стоило слитка золота:

— *«Я сказал несчастному чужестранцу следующее: «Вы не такой уж плохой человек. Ступайте и попытайтесь исправиться».* — И, прочитав это, Берджес продолжал: — Сейчас мы узнаем, совпадает ли содержание оглашенной мною записки с той, которая хранится в мешке. А если это так, — в чем я не сомневаюсь, — то мешок с золотом перейдет в собственность нашего согражданина, который отныне будет являть собой в глазах всей нации символ добродетели, доставившей городу Гедлибергу всенародную славу... Мистер Билсон!

Публика уже приготовилась разразиться громом рукоплесканий, но вместо этого оцепенела, словно в параличе. Секунды две в зале стояла глубокая тишина, потом по рядам пробежал шепот. Уловить из него можно было примерно следующее:

— *Билсон?* Ну нет, это уж слишком! Двадцать долларов чужестранцу или *кому бы то ни было* — Билсон? Расскажите это вашей бабушке!

Но тут у собрания вновь захватило дух от неожиданности, ибо обнаружилось, что одновременно с дьяконом Билсоном, который стоял, смиренно склонив голову, в одном конце зала, — в другом, в точно такой же позе, поднялся стряпчий Уилсон. Минуту в зале царило недоуменное молчание. Озадачены были все, а девятнадцать супружеских пар, кроме того, и негодовали.

Билсон и Уилсон повернулись и оглядели друг друга с головы до пят. Билсон спросил язвительным тоном:

— Почему, собственно, поднялись вы, мистер Уилсон?

— Потому что имею на это право. Может быть, вас не затруднит объяснить, почему поднялись *вы*?

— С величайшим удовольствием. Потому что это была моя записка.

— Наглая ложь! Ее написал я!

Тут уж оцепенел сам преподобный мистер Берджес. Он бессмысленно переводил взгляд с одного на другого и, видимо, не знал, как поступить. Присутствующие совсем растерялись. И вдруг стряпчий Уилсон сказал:

— Я прошу председателя огласить подпись, стоящую на этой записке.

Председатель пришел в себя и прочел:

— Джон Уортон Билсон.

— Ну что?! — возопил Билсон. — Что вы теперь скажете? Как вы объясните мне и оскорбленному вами собранию это самозванство?

— Объяснений не дождетесь, сэр! Я публично обгinyaю вас в том, что вы ухитрились выкрасть мою записку у мистера Берджеса, сняли с нее копию и скрепили своей подписью. Иначе вам не удалось бы узнать эти слова. Кроме меня, их никто не знает — ни один человек!

Положение становилось скандальным. Все заметили с прискорбием, что стенографы строчат как одержимые. Слышались голоса: «К порядку! К порядку!» Берджес застучал молоточком по столу и сказал:

— Не будем забывать о благопристойности! Произошло явное недоразумение, только и всего. Если мистер Уилсон давал мне письмо, — а теперь я вспоминаю, что это так и было, — значит, оно у меня.

Он вынул из кармана еще один конверт, распечатал его, пробежал записку и несколько минут молчал, не скрывая своего недоумения и беспокойства. Потом машинально развел руками, хотел что-то сказать и запнулся на полуслове. Послышались крики:

— Прочтите вслух, вслух! Что там написано?

И тогда Берджес начал, еле ворочая языком, словно во сне:

— *«Я сказал несчастному чужестранцу следующее: «Вы не такой плохой человек. (Все с изумленным уста-*

вились на Берджеса.) *Ступайте и постарайтесь исправиться*». (Шепот: «Поразительно! Что это значит?») Внизу подпись, — сказал председатель: — «Терлоу Дж. Уилсон».

— Вот видите! — крикнул Уилсон. — Теперь все ясно. Я так и знал, что моя записка была украдена!

— Украдена? — возопил Билсон. — Я вам покажу, как меня...

Председатель. Спокойствие, джентльмены, спокойствие! Сядьте оба, прошу вас!

Они повиновались, негодуяще тряся головой и ворча что-то себе под нос. Публика была ошарашена — вот странная история! Как же тут поступить?

И вдруг с места поднялся Томсон. Томсон был шапочником. Ему очень хотелось принадлежать к числу Девятнадцати, но такая честь была слишком велика для владельца маленькой мастерской. Томсон сказал:

— Господин председатель, разрешите мне обратиться к вам с вопросом: неужели оба джентльмена правы? Рассудите сами, сэр, могли ли они обратиться к чужестранцу с одними и теми же словами? На мой взгляд...

Но его перебил поднявшийся с места скорняк. Скорняк был из недовольных. Он считал, что ему сам бог велел занять место среди Девятнадцати, но те его никак не признавали. Поэтому он держался грубоваго и в выражениях тоже не очень стеснялся.

— Не в этом дело. Такая вещь может случиться раза два за сто лет, но что касается прочего, то позвольте не поверить. Чтобы кто-нибудь из них подал нищему двадцать долларов? (*Жидкие аплодисменты.*)

Уилсон. Я подал!

Билсон. Я подал!

И оба стали уличать друг друга в краже записки.

Председатель. Тише. Садитесь, прошу вас. Обе записки все время находились при мне.

Чей-то голос. Отлично! Значит, больше и говорить не о чем!

Скорняк. Господин председатель, по-моему, теперь все ясно: один из них забрался к другому под

кровать, подслушал разговор между мужем и женой и выведал их тайну. Я бы не хотел быть слишком резким, но да будет мне позволено сказать, что они оба на это способны. (Председатель. Призываю вас к порядку.) Беру свое замечание обратно, сэр, но тогда давайте повернем дело так: если один из них подслушал, как другой сообщил своей жене эти слова, то мы его тут же и уличим.

Голос. Каким образом?

Скорняк. Очень просто. Записки не совпадают слово в слово. Вы бы и сами это заметили, если б прочли их сразу одну за другой, а не отвлеклись ссорой.

Голос. Укажите, в чем разница?

Скорняк. В записке Билсона есть слово «уж», а в другой — нет.

Голоса. А ведь правильно.

Скорняк. Следовательно, если председатель огласит записку, которая находится в мешке, мы узнаем, кто из этих двух мошенников... (Председатель. Призываю вас к порядку!)... кто из этих двух проходимцев... (Председатель. Еще раз к порядку!)... кто из этих двух джентльменов... (*Смех, аплодисменты.*)... заслужит звание первейшего бесчестного лжеца, возвращенного нашим городом, который он опозорил и который теперь задаст ему перцу! (*Бурные аплодисменты.*)

Голоса. Вскройте мешок!

Мистер Берджес сделал в мешке надрез, запустил туда руку и вынул конверт. В конверте были запечатаны два сложенных пополам листка. Он сказал:

— Один с пометкой: «Не оглашать до тех пор, пока председатель не ознакомится со всеми присланными на его имя сообщениями, если таковые окажутся». Другой озаглавлен: «Материалы для проверки». Разрешите мне прочесть этот листок. В нем сказано следующее.

«Я не требую, чтобы первая половина фразы, сказанной мне моим благодетелем, была приведена в точности, ибо в ней не заключалось ничего особенного и ее легко можно было забыть. Но последние слова настолько примечательны, что их трудно не запомнить.

Если они будут переданы неправильно, значит человек, претендующий на получение наследства, лжец. Мой благодетель предупредил меня, что он редко дает кому-либо советы, но уж если дает, так только первосортные. Потом он сказал следующее — и эти слова никогда не изгладятся у меня из памяти: *«Вы не такой плохой человек...»*

Полсотни голосов. Правильно! Деньги принадлежат Уилсону! Уилсон! Пусть произнесет речь!

Все повскакали с мест и, столпившись вокруг Уилсона, жали ему руки и осыпали его горячими поздравлениями, а председатель стучал молоточком по столу и громко зывал к собранию:

— К порядку, джентльмены, к порядку! Сделайте милость, дайте мне дочитать!

Когда тишина была восстановлена, он продолжал:

— *«Ступайте и постарайтесь исправиться, не то, попомните мое слово, наступит день, когда грехи сведут вас в могилу и вы попадете в ад или в Гедлиберг. Первое предпочтительнее».*

В зале воцарилось зловещее молчание. Лица граждан затуманило облако гнева, но немного погодя облако это рассеялось и сквозь него стала пробиваться насмешливая ухмылка. Пробивалась она так настойчиво, что сдержать ее стоило мучительных усилий. Репортеры, граждане города Брикстона и другие гости наклоняли голову, закрывали лицо руками и, приличия ради, принимали героические меры, чтобы не рассмеяться. И тут, как нарочно, тишину нарушил громовый голос — голос Джека Хэлидея:

— Вот это действительно первосортный совет!

Теперь больше не было сил — расхохотались и свои и чужие. Мистер Берджес и тот утратил свою серьезность. Увидев это, собрание сочло себя окончательно освобожденным от необходимости сдерживаться и охотно воспользовалось такой поблажкой. Хохотали долго, хохотали со вкусом, хохотали от всей души. Потом хохот постепенно затих. Мистер Берджес возобновил свои попытки заговорить, публика успела кое-как вытереть глаза — и вдруг снова взрыв хохота, за ним еще, еще... Наконец Берджесу дали возможность

обратиться к собранию со следующими серьезными словами:

— Что толку обманывать себя — перед нами встал очень важный вопрос. Затронута честь нашего города, его славное имя находится под угрозой. Расхождение в одном слове, обнаруженное в записках, которые подали мистер Билсон и мистер Уилсон, само по себе — вещь серьезная, поскольку оно говорит о том, что один из этих джентльменов совершил кражу...

Оба джентльмена сидели поникшие, увядшие, подавленные, но при последних словах Берджеса их словно пронизало электрическим током, и они вскочили с мест.

— Садитесь! — строго сказал председатель; и оба покорно сели. — Как я уже говорил, перед нами встал очень серьезный вопрос, но до сих пор это касалось только одного из них. Однако дело осложнилось, ибо теперь опасность угрожает чести их обоих. Может быть, мне следует пойти дальше и сказать: неотвратимая опасность? Оба они опустили в своем ответе решающие слова.

Берджес умолк. Он выжидал, стараясь, чтобы это многозначительное молчание произвело должный эффект на публику. Потом заговорил снова:

— Объяснить такое совпадение можно только одним способом. Я спрашиваю обоих джентльменов, что это было: тайный сговор? Соглашение?

По рядам пронесся тихий шепот; смысл его был таков: попались оба!

Билсон, не привыкший выпутываться из таких критических положений, совсем скис. Но Уилсон недаром был стряпчим. Бледный, взволнованный, он с трудом поднялся на ноги и заговорил:

— Прошу собрание выслушать меня со всей возможной снисходительностью, поскольку мне предстоит крайне тягостное объяснение. С горечью скажу я то, что надо сказать, ибо это причинит непоправимый вред мистеру Билсону, которого до настоящей минуты я почитал и уважал, твердо веря, как и все вы, что ему не страшны никакие соблазны. Но ради спасения собственной чести я вынужден говорить — говорить со всей

откровенностью. К стыду своему, должен признаться — и тут я особенно рассчитываю на вашу снисходительность, — что я сказал проигравшемуся чужестранцу все те слова, которые приводятся в его письме, включая и хулительное замечание. (Волнение в зале.) Прочтя газетную публикацию, я вспомнил их и решил заявить свои притязания на мешок с золотом, так как по праву он принадлежит мне. Теперь прошу вас: обратите внимание на следующее обстоятельство и взвесьте его должным образом. Благодарность этого незнакомца была беспредельна. Он не находил слов для выражения ее и говорил, что если у него будет когда-нибудь возможность отплатить мне, то он отплатит тысячекратно. Теперь разрешите спросить вас: мог ли я ожидать, мог ли думать, мог ли представить себе хотя бы на минуту, что человек столь признательный отплатит своему благодетелю черной неблагодарностью, приведя в письме и это совершенно излишнее замечание. Уготовить мне западню! Выставить меня подлецом, оклеветавшим свой родной город! И где? В зале наших собраний, перед лицом всех моих сограждан! Это было бы нелепо, ни с чем не сообразно! Я не сомневался, что он заставит меня повторить в виде испытания только первую половину фразы, полную благожелательности к нему. Будучи на моем месте, вы рассудили бы точно так же. Кто из вас мог бы ожидать такого коварного предательства со стороны человека, которого вы не только ничем не обидели, но даже благодетельствовали? Вот почему я с полным доверием, ни минуты не сомневаясь, написал лишь начало фразы, закончив ее словами: «Ступайте и попытайтесь исправиться», и поставил внизу свою подпись. В ту минуту, когда я хотел вложить записку в конверт, меня вызвали из конторы. Записка осталась лежать на столе. — Он замолчал, медленно повернулся лицом к Билсону и после паузы заговорил снова: — Прошу вас отметить следующее обстоятельство: немного погодя я вернулся и увидел мистера Билсона — он выходил из моей конторы. (Волнение в зале.)

Билсон вскочил с места и крикнул:

— Это ложь! Это наглая ложь!

Председатель. Садитесь, сэр! Слово имеет мистер Уилсон.

Друзья усадили Билсона и привели его в чувство. Уилсон продолжал:

— Таковы факты. Моя записка была переложена на другое место. Я не придавал этому никакого значения, полагая, что ее сдуло сквозняком. Мне и в голову не пришло заподозрить мистера Билсона в том, что он позволил себе прочесть чужое письмо. Я думал, что честный человек не способен на подобные поступки. Если мне будет позволено высказать свои соображения по этому поводу, то, по-моему, теперь ясно, откуда взялось лишнее слово «уж»: мистера Билсона подвела память. Я единственный человек во всем мире, который может пройти эту проверку, не прибегая ко лжи. Я кончил.

Что другое может так одурманить мозги, перевернуть вверх дном все ранее сложившиеся мнения и взбаламутить чувства публики, не привыкшей к уловкам и хитростям опытных краснобаев, как искусно построенная речь?

Уилсон сел на место победителем. Его последние слова потонули в громе аплодисментов; друзья кинулись к нему со всех сторон с поздравлениями и рукопожатиями, а Билсону не дали даже открыть рот. Председатель стучал молоточком по столу и взывал к публике:

— Заседание продолжается, джентльмены, заседание продолжается!

Когда наконец в зале стало более или менее тихо, шапочник поднялся с места и сказал:

— Чего же тут продолжать, сэр? Надо вручить деньги — и все.

Голоса. Правильно! Правильно! Уилсон, выходите!

Шапочник. Предлагаю прокричать тоекратно «гип-гип ура» в честь мистера Уилсона — символ той добродетели, которая...

Ему не дали договорить. Под оглушительное «ура» и под отчаянный стук председательского молоточка несколько не помнящих себя от восторга граждан взгро-

воздрили Уилсона на плечи к одному из его приятелей — человеку весьма рослому — и уже двинулись триумфальным шествием к эстраде, но тут председателю удалось перекричать всех:

— Тише! По местам! Вы забыли, что надо прочитать еще один документ!

Когда тишина была восстановлена, Берджес взял со стула другое письмо, хотел было прочесть его, но раздумал и вместо этого сказал:

— Я совсем забыл! Сначала надо огласить все врученные мне записки.

Он вынул из кармана конверт, распечатал его, извлек оттуда записку и, пробежав ее мельком, сильно чему-то удивился. Потом долго держал листок в вытянутой руке, присматриваясь к нему и так и эдак...

Человек двадцать — тридцать дружно крикнули:

— Что там такое? Читайте вслух! Вслух!

И Берджес прочел медленно, словно не веря своим глазам:

— «Я сказал чужестранцу следующее... (Г о л о с а. Это еще что?)... вы не такой плохой человек... (Г о л о с а. Вот чертовщина!)... ступайте и постарайтесь исправиться». (Г о л о с а. Ой! Не могу!) Подписано: «Банкир Пинкертон».

Тут в зале поднялось нечто невообразимое. Столь буйное веселье могло бы довести человека рассудительного до слез. Те, кто считал, что их дело сторона, уже не смеялись, а рыдали. Репортеры, корчась от хохота, выводили такие каракули в своих записных книжках, каких не разобрал бы никто в мире. Спавшая в углу зала собака проснулась и подняла с перепугу отчаянный лай. Среди общего шума и гама слышались самые разнообразные выкрики:

— Час от часу богатеет — два Символа Неподкупности, не считая Билсона!

— Три! «Квакера» туда тоже! Что нам прибедняться!

— Правильно! Билсон избран!

— А Уилсон-то, бедняга, — его обворовали сразу двое!

Мощный голос. Тише! Председатель выудил еще что-то из кармана!

Голоса. Ура! Что-нибудь новенькое? Вслух! Вслух!

Председатель (*читает*). «Я сказал чужеземцу...» и так далее... «Вы не такой плохой человек. Ступайте...» и так далее. Подпись: «Грегори Ейтс».

Ураган голосов. Четыре Символа! Ура Ейтсу! Выуживайте дальше!

Собрание было вне себя от восторга и не желало упускать ни малейшей возможности повеселиться. Несколько супружеских пар из числа Девятнадцати поднялись бледные, расстроенные и начали пробираться к проходу между рядами, но тут раздалось десятка два голосов:

— Двери! Двери на запор! Неподкупные и шагу отсюда не сделают! Все по местам!

Приказание было исполнено.

— Выуживайте из карманов все, что там есть! Вслух! Вслух!

Председатель выудил еще одну записку, и уста его снова произнесли знакомые слова:

— «Вы не такой плохой человек...»

— Фамилию! Фамилию! Как фамилия?

— Л. Инголдсби Сарджент.

— Пятеро избранных! Символ на Символе! Дальше, дальше!

— «Вы не такой плохой...»

— Фамилию! Фамилию!

— Николас Уитворт.

— Дальше! Нам слушать не лень! Вот так Символический день!

Кто-то подхватил две последние фразы (выпустив слова «вот так») и затянул их на мотив прелестной арии из оперетты «Микадо».

Не бойтесь любви, волнения в крови...

Собрание стало с восторгом вторить солисту, и как раз вовремя кто-то сочинил вторую строку:

Но вот что запомнить изволь-ка...

Все проревели ее зычными голосами. Тут же подоспела третья:

Наш Гедлиберг свят с макушки до пят...

Проревели и эту. И не успела замереть последняя нота, как Джек Хэлидей звучным, отчетливым голосом подсказал собранию заключительное:

А грех в нем — лишь символ, и только!

Эти слова пропели с особенным воодушевлением. Потом ликующее собрание с огромным подъемом исполнило все четверостишие два раза подряд и в заключение трижды три раза прокричало «гип-гип ура» в честь «Неподкупного Гедлиберга» и всех тех, кто удостоился получить высокое звание «Символа его неподкупности». Потом граждане снова стали взывать к председателю:

— Дальше! Дальше! Читайте дальше! Все прочтите, все, что у вас есть.

— Правильно! Читайте! Мы стяжаем себе неувядаемую славу!

Человек десять поднялись и заявили протест. Они говорили, что эта комедия — дело рук какого-то беспутного шутника, что это оскорбляет всю общину. Подписи, несомненно, подделаны...

— Сядьте! Сядьте! Хватит! Сами себя выдали! Ваши фамилии тоже там окажутся!

— Господин председатель, сколько у вас таких конвертов?

Председатель занялся подсчетом.

— Вместе с распечатанными — девятнадцать.

Гром насмешливых рукоплесканий.

— Может быть, в них во всех поведана одна и та же тайна? Предлагаю огласить каждую подпись и, кроме того, зачитать первые пять слов.

— Поддерживаю предложение.

Предложение проголосовали и приняли единогласно. И тогда бедняга Ричардс поднялся с места, а вместе с ним поднялась и его старушка жена. Она стояла опустив голову, чтобы никто не видел ее слез. Ричардс

взял жену под руку и заговорил срывающимся голосом:

— Друзья мои, вы знаете нас обоих — и Мэри и меня... вся наша жизнь прошла у вас на глазах. И мне кажется, что мы пользовались вашей симпатией и уважением...

Мистер Берджес прервал его:

— Позвольте, мистер Ричардс. Это все верно, что вы говорите. Город знает вас обоих. Он расположен к вам, он вас уважает — больше того, он вас любит и чтит...

Раздался голос Хэлидея:

— Вот еще одна первосортная истина! Если собрание согласно с председателем, пусть оно подтвердит его слова. Встать! Теперь «гип-гип ура» хором!

Все дружно встали и повернулись лицом к престарелой чете. В воздухе, словно снежные хлопья, замелькали носовые платки, грянули сердечные приветственные крики.

— Я хотел сказать следующее: все мы знаем ваше доброе сердце, мистер Ричардс, но сейчас не время проявлять милосердие к провинившимся. (Крики: «Правильно! Правильно!») По вашему лицу видно, о чем вы собираетесь просить со свойственным вам великодушием, но я никому не позволю заступаться за этих людей...

— Но я хотел...

— Мистер Ричардс, сядьте, прошу вас. Нам еще предстоит просмотреть остальные записки — хотя бы из простого чувства справедливости по отношению к уже изобличенным людям. Как только с этим будет покончено, мы вас выслушаем — положитесь на мое слово.

Голоса. Правильно! Председатель говорит дело. Сейчас нельзя прерывать! Дальше! Фамилии! Фамилии! Собрание так постановило!

Старички нехотя опустили на свои места, и Ричардс прошептал жене:

— Теперь начнется мучительное ожидание. Когда все узнают, что мы хотели просить только за самих себя, это будет еще позорнее.

Председатель начал оглашать следующие фамилии, и веселье в зале вспыхнуло с новой силой.

— «Вы не такой плохой человек...» Подпись: «Роберт Дж. Титмарш».

— «Вы не такой плохой человек...» Подпись: «Элифалет Уикс».

— «Вы не такой плохой человек...» Подпись: «Оскар Б. Уайлдер».

И вдруг собрание осенила блестящая идея: освободить председателя от необходимости читать первые пять слов. Председатель покорился — и нельзя сказать, чтобы неохотно. В дальнейшем он вынимал очередную записку из конверта и показывал ее собранию. И все дружным хором тянули нараспев первые пять слов (не смущаясь тем, что этот речитатив смахивал на один весьма известный церковный гимн): «Вы не та-ко-ой пло-хо-о-й че-ло-ве-ек...» Потом председатель говорил: «Арчибальд Уилкоккс». И так далее и так далее — одну фамилию за другой.

Ликование публики возрастало с минуты на минуту. Все получали огромное удовольствие от этой процедуры, за исключением несчастных Девятнадцати. Время от времени, когда оглашалось какое-нибудь особенно блистательное имя, собрание заставляло председателя выждать, пока оно не пропоет всю sacramентальную фразу от начала до конца, включая слова: «...и вы попадете в ад или в Гедлиберг. Первое предпочти-тель-не-е». В таких экстренных случаях пение заключалось громогласным, величавым и мучительно протяжным «ами-инь!»

Непрочитанных записок оставалось все меньше и меньше. Несчастный Ричардс вел им счет, вздрагивая, если председатель произносил фамилию, похожую на его, и с волнением и страхом ожидая той унижительной минуты, когда ему придется встать вместе с Мэри и закончить свою защитительную речь следующими словами:

«...До сих пор мы не делали ничего дурного и скромно шли своим скромным путем. Мы бедняки, и оба старые. Детей и родных у нас нет, помощи нам ждать не от кого. Соблазн был велик, и мы не устояли

перед ним. Поднявшись в первый раз, я хотел открыто во всем покаяться и просить, чтобы мое имя не проносили здесь при всех. Нам казалось, что мы не перенесем этого... Мне не дали договорить до конца. Что ж, это справедливо, мы должны принять муку вместе со всеми остальными. Нам очень тяжело... До сих пор наше имя не могло осквернить чьи-либо уста. Сжальтесь над нами... ради нашего доброго прошлого. Все в ваших руках — будьте же милосердны и облегчите бремя нашего позора».

Но в эту минуту Мэри, заметив отсутствующий взгляд мужа, легонько толкнула его локтем. Собрание тянуло нараспев: «Вы не та-ко-ой пло-хо-ой...» и т. д.

— Готовься, — шепнула она, — сейчас наша очередь! Восемнадцать он уже прочел.

— Следующий! Следующий! — слышалось со всех сторон.

Берджес опустил руку в карман. Старики, дрожа, привстали с мест. Берджес пошарил в кармане и сказал:

— Оказывается, я все прочел.

У стариков ноги подкосились от изумления и радости. Мэри прошептала:

— Слава богу, мы спасены! Он потерял наше письмо. Да мне теперь и сотни таких мешков не надо!

Собрание грянуло свою пародию на арию из «Микадо», пропело ее еще три раза подряд со все возрастающим воодушевлением и, дойдя в последний раз до заключительной строки:

А грех в нем — лишь символ, и только, —

поднялось с мест. Пение завершилось оглушительным «гип-гип ура» в честь «кристальной чистоты Гедлиберга и восемнадцати ее Символов, стяжавших себе бессмертие».

Вслед за этим шорник мистер Уингэйт встал с места и предложил прокричать «ура» в честь «самого порядочного человека в городе, единственного из его именитых граждан, который не польстился на эти деньги, — в честь Эдварда Ричардса».

«Гип-гип ура» прокричали с трогательным единодушием. Потом кто-то предложил избрать Ричардса «Единственным Блюстителем и Символом священной отныне гедлибергской традиции», чтобы он мог бесстрашно смотреть в глаза всему миру.

Предложение даже не понадобилось ставить на голосование. И тут снова пропели четверостишие на мотив арии из «Микало», закончив его несколько по-иному:

Один в нем есть символ — и только.

Наступила тишина. Потом:

Голоса. А кому же достанется мешок?

Скорняк (*весьма язвительно*). Это решить нетрудно. Деньги надо поделить поровну между восемнадцатью Неподкупными, каждый из которых дал страждущему незнакомцу двадцать долларов да еще ценный совет в придачу. Чтобы пропустить мимо себя эту длинную процессию, незнакомцу понадобилось по меньшей мере двадцать две минуты. Общая сумма взносов — триста шестьдесят долларов. Теперь они, конечно, хотят получить свои денежки обратно с начислением процентов. Итого сорок тысяч долларов.

Множество голосов (*издевательски*). Правильно! Поделить! Сжальтесь над бедняками, не томите их!

Председатель. Тише! Предлагаю вашему вниманию последний документ. Вот что в нем говорится: «Если претендентов не окажется (*собрание издало дружный стон*), вскройте мешок и передайте деньги на хранение самым видным гражданам города Гедлиберга (крики: «Ого!»), с тем чтобы они употребили их по своему усмотрению на поддержание благородной репутации вашей общины — репутации, которая зиждется на неподкупной честности («Ого!») и когорой имена и деяния этих граждан придадут новый блеск». (*Бурный взрыв насмешливых рукоплесканий.*) Кажется, все. Нет, еще постскриптум: «Граждане Гедлиберга! Не пытайтесь отгадать заданную вам загадку — отгадать ее невозможно. (*Сильное волнение.*) Не было ни злосчастливого чужестранца, ни подаяния в двадцать

долларов, ни напутственных слов. Все это выдумка. (*Общий гул удивления и восторга.*) Разрешите мне рассказать вам одну историю, это займет не много времени. Однажды я был проездом в вашем городе, и мне нанесли там тяжкое, совершенно незаслуженное оскорбление. Другой на моем месте убил бы одного или двух из вас и на том успокоился. Но для меня такой мелкой мести было недостаточно, ибо мертвые не страдают. Кроме того, я не мог бы убить вас всех поголовно, да человека с моим характером это и не удовлетворило бы. Я хотел бы погубить каждого мужчину и каждую женщину в вашем городе, но так, чтобы погибли не тело их или имущество, — нет, я хотел поразить их тщеславие — самое уязвимое место всех глупых и слабых людей. Я изменил свою наружность, вернулся в ваш город и стал изучать его. Справиться с вами оказалось нетрудно. Вы издавна снискали себе великую славу своей честностью и, разумеется, чванились ею. Вы оберегали свое сокровище как зеницу ока. Но, увидев, как тщательно и как неукоснительно вы устраняете со своего пути и с пути ваших детей все соблазны, я понял, что мне надо сделать. Простофили! Нет ничего более неустойчивого, чем добродетель, не закаленная огнем. Я разработал план и составил список фамилий. План этот заключался в том, чтобы совратить неподкупный Гедлиберг с пути истинного, сделать лжецами и мошенниками по крайней мере полсотни беспорочных граждан, которые за всю свою предыдущую жизнь не сказали ни единого лживого слова, не украли ни единого цента. Опасения вызывал во мне только Гудсон. Он родился и воспитывался не в Гедлиберге. Я боялся, что, прочтя мое письмо, вы скажете: «Гудсон — единственный среди нас, кто мог бы подать двадцать долларов этому несчастному горемыке», и не пойдете на мою приманку. Но господь прибрал Гудсона. И тогда я понял, что опасаться нечего, и расставил свою западню. Быть может, из тех, кто получит мое письмо с вымысленными напутственными словами, не все попадутся в эту западню, но большинство все же попадет, или я не раскусил Гедлиберга. (Голоса. «Так и есть! По-

пались все — все до единого!») Я уверен, что эти жалкие люди не устоят перед соблазном и протянут руку к заведомо нечистым деньгам, добытым за игорным столом. Смею надеяться, что мне удастся раз навсегда обуздать ваше тщеславие и осенить Гедлиберг новой славой — такой, которая удержится за ним на веки вечные и прогремит далеко за его пределами. Если я преуспею в этом, вскройте мешок и создайте комиссию по охране и пропаганде репутации города Гедлиберга».

Ураган голосов. Вскройте мешок! Вскройте мешок! Все восемнадцать — на эстраду! Комиссия по пропаганде гедлибергской традиции! Неподкупные, вперед!

Председатель рванул по надрезу, вынул из мешка пригоршню блестящих желтых монет, подкинул их на ладони, рассмотрел повнимательнее...

— Друзья, это просто позолоченные свинцовые бляхи!

Эта новость была встречена взрывом буйного ликования. Когда шум немного утих, скорняк крикнул с места:

— Председателем комиссии по охране гедлибергской традиции следует избрать мистера Уилсона. За ним право первенства. Пусть поднимается на эстраду и, заручившись доверием всей своей честной компании, получит деньги.

Сотни голосов. Уилсон! Уилсон! Уилсон! Пусть произнесет речь!

Уилсон (*голосом, дрожащим от ярости*). Разрешите мне сказать, не стесняясь в выражениях: черт бы побрал эти деньги!

Голос. А еще баптист!

Голос. Итого в остатке семнадцать Символов! Просим, джентльмены. Выходите вперед и принимайте деньги!

(*Полное безмолвие.*)

Шорник. Господин председатель! От нашей бывшей аристократии остался только один ничем себя не запятнавший человек. Он нуждается в деньгах и вполне заслужил их. Я вношу предложение: поручить

Джеку Хэлидею пустить с аукциона эти позолоченные двадцатидолларовые бляхи вместе с мешком, а выручку отдать тому, кого Гедлиберг глубоко уважает, — Эдварду Ричардсу.

Предложение было одобрено всеми, в том числе и собакой. Шорник открыл торг с одного доллара. Граждане города Брикстона вступили в отчаянную борьбу. Зал бурно приветствовал каждую надбавку, волнение росло с минуты на минуту. Участники торга вошли в азарт, прибавляли все смелее и смелее. Цена подскочила с одного доллара до пяти, потом до десяти, двадцати, пятидесяти, до ста, потом...

В самом начале аукциона Ричардс в отчаянии шепнул жене:

— Мэри! Как же нам быть? Это... это награда... этим хотят отметить нашу порядочность... Но... но как же нам быть? Может, мне нужно встать и... Что же делать? Мэри! Как ты...

Голос Хэлидея. Пятнадцать долларов! Мешок с золотом — пятнадцать долларов... Двадцать!.. Благодарю!.. Тридцать!.. Еще раз благодарю! Тридцать, тридцать... Сорок?.. Я не ослышался? Правильно, сорок! Больше жизни, джентльмены! Пятьдесят! Щедрость — украшение города! Мешок с золотом — пятьдесят долларов! Пятьдесят... Семьдесят!.. Девяносто! Великолечно! Сто! Кто больше, кто больше? Сто двадцать... Сто двадцать — раз. Сто двадцать — два. Сто сорок — раз... Двести. Блестяще! Двести. Я не ослышался? Благодарю! Двести пятьдесят долларов!

— Новое искушение, Эдвард!.. Меня лихорадит... Беда только миновала... Мы получили такой урок, и вот...

— Шестьсот! Благодарю! Шестьсот пятьдесят, шестьсот пятьде... Семьсот долларов!

— И все-таки, Эдвард... ты только подумай... Никто даже не подозре...

— Восемьсот долларов! Ура! Ну, а кто девятьсот? Мистер Парсонс, мне послышалось... Благодарю... Девятьсот! Вот этот почтенный мешок, набитый девственно чистым свинцом с позолотой, идет всего за девятьсот... Что? Тысяча? Мое вам нижайшее! Сколько

вы изволили сказать? Тысяча сто?.. Мешок! Самый знаменитый мешок во всех Соеди...

— Эдвард! (С рыданием в голосе.) Мы с тобой такие бедные... Хорошо... поступай, как знаешь... как знаешь...

Эдвард пал... то есть остался сидеть на месте, уже не внемля своей беспокойной, но побежденной обстоятельствами совести.

Между тем за событиями этого вечера с явным интересом следил незнакомец, который сильно смахивал на сыщика-любителя, переодетого этаким английским графом из романа. Он с довольным видом посматривал по сторонам и то и дело отпускал про себя замечания по поводу всего происходившего в зале. Его монолог звучал примерно так:

— Никто из восемнадцати не принимает участия в торгах. Это не годится. Представление лишается драматического единства. Пусть сами купят мешок, который пытались украсть, пусть заплатят за него подороже — среди них есть богатые люди. И еще вот что: оказывается, не все граждане Гедлиберга скроены на один лад. Человек, который заставил меня так просчитаться, должен получить награду за чей-то счет. Этот бедняк Ричардс посрамил меня, не оправдав моих ожиданий. Он честный старик. Не пойму, как это случилось, но факт остается фактом. Он оказался искусным партнером, выигрыш за ним. Так пусть же сорвет куш побольше. Он подвел меня, но я на него не в обиде.

Незнакомец продолжал внимательно следить за ходом аукциона. После тысячи надбавки стали быстро понижаться. Он ждал, что будет дальше. Сначала вышел из строя один участник торга, за ним другой, третий... Тогда незнакомец сам надбавил цену. Когда надбавки упали до десяти долларов, он крикнул: «Пять!» Кто-то предложил еще три; незнакомец выждал минуту, надбавил сразу пятьдесят долларов, и мешок достался ему за тысячу двести восемьдесят два доллара. Взрыв восторга — мгновенная тишина, ибо незнакомец встал с места, поднял руку и заговорил:

— Разрешите мне попросить вас об одном одолжении. Я торгую редкостями, и среди моей обширной

клиентуры во всех странах мира есть люди, интересующиеся нумизматикой. Я мог бы выгодно продать этот мешок так, как он есть, но если вы примете мое предложение, мы с вами поднимем цену на эти свинцовые двадцатидолларовые бляхи до стоимости золотых монет такого же достоинства, а может быть, и выше. Дайте мне только ваше согласие, и тогда часть моего барыша достанется мистеру Ричардсу, неуязвимой честности которого вы отдали сегодня должную дань. Его доля составит десять тысяч долларов, и я вручу ему деньги завтра. (*Бурные аплодисменты всего зала.*)

При словах «неуязвимой честности» старики Ричардсы зарделись; впрочем, это сошло за проявление скромности с их стороны и не повредило им.

— Если мое предложение будет принято большинством голосов — не меньше двух третей, я сочту, что получил санкцию всего вашего города, а мне больше ничего и не нужно. Интерес к редкостям сильно повышается, когда на них есть какой-нибудь девиз или эмблема, имеющая свою историю. И если вы позволите мне выбить на этих фальшивых монетах имена восемнадцати джентльменов, которые...

Девять десятых собрания, включая и собаку, дружно поднялись с мест, и предложение было принято под гром аплодисментов и оглушительный хохот.

Все сели, и тогда Символы (за исключением «доктора» Клея Гаркнеса) вскочили в разных концах зала, яростно протестуя против такого надругательства, угрожая...

— Прошу не угрожать мне, — спокойно сказал незнакомец. — Я знаю свои права, и криком меня не возьмешь. (*Аплодисменты.*)

Он опустил на место. Доктор Гаркнес решил воспользоваться представившимся ему случаем. Он считался одним из двух самых богатых людей в городе. Другим был Пинкертон. Гаркнес был владельцем золотых россыпей, иными словами — владельцем фабрики, выпускавшей ходкое патентованное лекарство. Гаркнес выставил свою кандидатуру в городское управление от одной партии. Пинкертон — от другой. Борьба между

ними велась не на жизнь, а на смерть и разгоралась с каждым днем. Оба любили деньги; оба недавно купили по большому участку земли — и неспроста! Предполагалась постройка новой железнодорожной линии, и каждый из них рассчитывал, став членом городской магистратуры, добиться прокладки ее в наиболее выгодном для него направлении. В таких случаях от одного голоса иной раз зависит многое. Ставка была крупная, но Гаркнес никогда не боялся рисковать. Незнакомец сидел рядом с ним, и пока остальные Символы увеселяли собрание своими протестами и мольбами, Гаркнес нагнулся к соседу и спросил его шепотом:

— Сколько вы хотите за мешок?

— Сорок тысяч долларов.

— Даю двадцать.

— Нет.

— Двадцать пять.

— Нет.

— Ну а тридцать?

— Моя цена — сорок тысяч долларов, и я не уступлю ни одного цента.

— Хорошо, согласен. Я буду у вас в гостинице в десять часов утра. Пусть это останется между нами. Поговорим с глазу на глаз.

— Отлично.

Вслед за тем незнакомец встал и обратился к собранию:

— Время уже позднее. Высказывания этих джентльменов не лишены резона, не лишены интереса, не лишены блеска. Однако я попрошу разрешения покинуть зал. Благодарю вас за ту любезность, которую вы мне оказали, исполнив мою просьбу. Господин председатель, сохраните, пожалуйста, мешок до завтра, а вот эти три банковых билета по пятьсот долларов передайте мистеру Ричардсу. — И он протянул председателю деньги. — Я зайду за мешком в девять часов утра, а остальное, что причитается мистеру Ричардсу, принесу ему сам в одиннадцать часов. Доброй ночи!

И незнакомец вышел из зала под крики «ура», пение куплета на мотив арии из «Микадо», яростный собачий лай и торжественные раскаты гимна: «Вы не та-ко-ой пло-хо-ой че-ло-ве-ек — ами-инь!»

IV

Вернувшись домой, чета Ричардсов была вынуждена до глубокой ночи принимать поздравителей. Наконец стариков оставили в покое. Вид у них был грустный; они сидели, не говоря ни слова, и размышляли. Наконец Мэри сказала со вздохом:

— Как ты думаешь, Эдвард, нам есть в чем упрекнуть себя... по-настоящему упрекнуть? — И ее блуждающий взор остановился на столе, где лежали три злополучных банковых билета, которые недавние посетители разглядывали и трогали с таким благоговением.

Эдвард долго молчал, прежде чем ответить ей, потом вздохнул и нерешительно начал:

— А что мы могли поделать, Мэри? Это было предопределено свыше... как и все, что делается на свете.

Мэри пристально посмотрела на него, но он отвел глаза в сторону. Помолчав, она сказала:

— Раньше мне казалось, что принимать поздравления и выслушивать похвалы очень приятно. Но теперь... Эдвард!

— Что?

— Ты останешься в банке?

— Н-нет!

— Попросишь увольнения?

— Завтра утром... напишу письмо с просьбой об отставке.

— Да, так, пожалуй, будет лучше.

Ричардс закрыл лицо ладонями и пробормотал:

— Сколько чужих денег проходило через мои руки. И я ничего не боялся... А теперь... Мэри, я так устал, так устал!

— Давай ляжем спать.

На следующий день в девять часов утра незнакомец явился в здание магистратуры за мешком и увез его в гостиницу. В десять часов они с Гаркнесом беседовали наедине. Незнакомец получил от Гаркнеса то, что потребовал: пять чеков «на предъявителя» в один из столичных банков — четыре по тысяче пятьсот долларов и пятый на тридцать четыре тысячи долларов. Один из мелких чеков он положил в бумажник, а остальные, на сумму тридцать восемь тысяч пятьсот долларов запечатал в конверт вместе с запиской, которая была написана после ухода Гаркнеса. В одиннадцать часов он подошел к дому Ричардсов и постучал в дверь. Миссис Ричардс посмотрела в щелку между ставнями, вышла на крыльцо и взяла у него конверт. Незнакомец удалился, не сказав ей ни слова. Она вошла в гостиную вся красная, чуть пошатываясь, и с трудом проговорила:

— Вчера мне показалось, будто я где-то видела этого человека, а теперь я его узнала.

— Это тот самый, что принес мешок?

— Я в этом почти уверена!

— Значит, он и есть тот неведомый Стивенсон, который так провел всех именитых граждан нашего города. Если он принес нам чеки, а не деньги, это тоже подвох. А мы-то думали, что беда миновала! Я уж было успокоился, отошел за ночь, а теперь мне и смотреть тошно на этот конверт. Почему он такой легкий? Ведь, как-никак, восемь с половиной тысяч, даже если самыми крупными купюрами.

— А если там чеки, что в этом плохого?

— Чеки, подписанные Стивенсоном? Я готов взять эти восемь с половиной тысяч наличными... По-видимому, это предопределено свыше, Мэри... Но я никогда особым мужеством не отличался, и сейчас у меня просто не хватит духу предъявлять к оплате чеки, подписанные этим губительным именем. Тут явная ловушка. Он хотел поймать меня с самого начала. Но мы каким-то чудом спаслись, а теперь ему пришла в голову новая хитрость. Если там чеки...

— Эдвард, это ужасно! — И Мэри залилась слезами: в руках у нее были чеки.

— Брось их в огонь! Скорее! Не поддадимся соблазну! Он и из нас хочет сделать всеобщее посмешище! Он... дай мне, если не можешь сама!

Ричардс выхватил у жены чеки и, всеми силами стараясь удержаться, чтобы не разжать руки, бросился к печке. Но он был человек, он был кассир... и он остановился на секунду посмотреть подпись. И чуть не унал за смертью.

— Мэри! Мне душно, помахай на меня чем-нибудь! Эти чеки — все равно что золото!

— Эдвард, какое счастье! Но почему?

— Они подписаны Гаркнесом. Новая загадка, Мэри!

— Эдвард, неужели...

— Посмотри! Нет, ты только посмотри! Тысяча пятьсот... тысяча пятьсот... тысяча пятьсот... тридцать четыре... тридцать восемь тысяч пятьсот! Мэри! Мешок не стоит и двенадцати долларов... Что же... неужели Гаркнес заплатил за него по золотому курсу?

— И это все нам — вместо десяти тысяч?

— Похоже, что нам. И все чеки написаны «на предъявителя».

— А это хорошо, Эдвард? Для чего он так сделал?

— Должно быть, намекает, что лучше получать по ним в другом городе. Может, Гаркнес не хочет, чтобы об этом знали? Смотри... письмо!

Письмо было написано рукой Стивенсона, но без его подписи. Оно гласило:

«Я ошибся в своих расчетах. Вашей честности не страшны никакие соблазны. Я был другого мнения о вас и оказался неправ, в чем и приношу свои искренние извинения. Я вас глубоко уважаю, поверьте в мою искренность и на сей раз. Этот город недостойн лобызать край вашей одежды. Я побился об заклад с самим собою, уважаемый сэр, что в вашем фарисейском Гедлиберге можно совратить с пути истинного девятнадцать человек, — и проиграл. Возьмите выигрыш, он ваш по праву».

Ричардс испустил глубокий вздох и сказал:

— Это письмо обжигает пальцы — оно словно огнем написано. Мэри, мне опять стало не по себе!

— Мне тоже. Ах, боже мой, если б...
— Ты только подумай! Он верит в мою честность!
— Перестань, Эдвард! Я больше не могу!
— Если б эта высокая похвала досталась мне по заслугам, — а видит бог, Мэри, когда-то я думал, что этого заслуживаю, — я легко расстался бы с такими деньгами. А письмо сохранил бы — оно дороже золота, дороже всех сокровищ. Но теперь... Оно будет нам вечным укором, Мэри!

Он бросил письмо в огонь. Пришел рассыльный с пакетом. Ричардс распечатал его. Письмо было от Берджеса.

«Вы спасли меня в трудную минуту. Я спас вас обоих вчера вечером. Для этого мне пришлось солгать, но я пошел на такую жертву охотно, по велению сердца, преисполненного благодарности. Я один во всем городе знаю, сколько в вас доброты и благородства. В глубине души вы, вероятно, не можете не презирать меня — ведь вам известно, что вменяется мне в вину всей нашей общиной. Прошу вас по крайней мере об одном: верьте, что я не лишен чувства благодарности. Это облегчает мне мое бремя.

Берджес».

— Мы спасены еще раз! Но какой ценой! — Он бросил письмо в огонь. — Лучше, кажется, смерть!.. Умереть, уйти от всего этого...

— Какие скорбные дни наступили для нас, Эдвард! Удары, наносимые великодушной рукой, так жестоки и так быстро следуют один за другим...

За три дня до выборов каждый из двух тысяч избирателей неожиданно оказался обладателем ценного сувенира — фальшивой монеты из прославленного золотого мешка. На одной стороне этих монет было выбито: «Я сказал несчастному незнакомцу следующее...» А на другой: «Ступайте и постарайтесь исправиться». (Подпись: «Пинкертон»).

Таким образом, ведро с ополосками после знаменитой каверзной шутки было вылито на одну-единственную голову, и результаты этого были поистине

катастрофические. На сей раз всеобщим посмешищем стал один Пинкертон, и Гаркнес проскочил в члены городского управления без всякого труда.

За сутки, протекшие с тех пор, как Ричардсы получили чеки, их обескураженная совесть притихла. Старики примирились с содеянным грехом. Но им еще суждено было узнать, какие ужасы таит в себе грех, который вот-вот должен стать достоянием гласности. Старики прослушали в церкви обычную утреннюю проповедь — давно известные слова о давно известных вещах. Все это было слышано и переслышано тысячи раз и, потеряв всякую остроту, всякий смысл, нагоняло на них раньше сон. Но теперь иное дело: теперь каждое слово проповеди звучало как обвинение, и вся она была направлена против тех, кто таит от людей свои смертные грехи.

Служба кончилась, они постарались поскорее отделаться от толпы поздравителей и поспешили домой, дрожа, как в ознобе, от смутного, неопределенного предчувствия беды. И увидели на улице мистера Берджеса в ту минуту, когда тот заворачивал за угол. Берджес не ответил на их поклон! Он просто не заметил стариков, но они этого не знали. Чем объяснить такое поведение? Боже! Да мало ли чем. Неужели Берджес проведал, что Ричардс мог обелить его в те давние времена, и теперь выжидает удобного случая, чтоб свести с ним счеты?

Придя домой, они вообразили с отчаяния, будто служанка подслушивала из соседней комнаты, когда Ричардс признался жене, что Берджес ни в чем не виноват. Ричардс припомнил, будто из той комнаты доносился шорох платья. Через минуту он уже окончательно уверил себя в этом. Надо позвать Сарру под каким-нибудь предлогом и понаблюдать за ней: если она действительно донесла на них Берджесу, это сразу будет видно по ее лицу.

Они задали девушке несколько вопросов — вопросов случайных, пустых, бесцельных, — и она сразу решила, что старики повредились в уме от неожиданно привалившего богатства. Их настороженные, подозрительные взгляды окончательно смутили ее. Она покра-

снела, встревожилась, и старики увидели в этом явное доказательство ее вины. Она шпионит за ними, она доносчица!

Оставшись снова наедине, они принялись связывать воедино факты, не имевшие между собой никакой связи, и пришли к ужасающим выводам. Дойдя до полного отчаяния, Ричардс вдруг ахнул, и жена спросила его:

— Что ты? Что с тобой?

— Письмо... письмо Берджеса. Он надо мной издевался, я только сейчас это понял! — И Ричардс процитировал: — «В глубине души вы, вероятно, не можете не презирать меня — ведь вам известно, что вменяется мне в вину...» Теперь все ясно! Боже правый! Он знает, что я знаю! Видишь, как хитро построена фраза? Это ловушка, и я попался в нее, как дурак! Мэри...

— Какой ужас! Я знаю, что ты хочешь сказать... Берджес не вернул нам твое письмо!

— Да, он решил придержать его, мне на погибель! Мэри, Берджес уже выдал нас кое-кому. Я это знаю... знаю наверняка. Помнишь, как на нас смотрели в церкви? Берджес не ответил на наш поклон... Это неспроста: он знает, что делает!

Ночью вызвали доктора. Утром по городу разнеслась весть, что старики опасно больны. По словам доктора, их подкосили волнения последних дней, вызванные неожиданным счастьем, а тут еще приходилось выслушивать поздравления, засиживаться по вечерам, поздно ложиться спать...

Город искренне опечалился, ибо эта старая супружеская чета была теперь его единственной гордостью.

Через два дня разнеслись еще худшие вести. Старички начали заговариваться и вели себя очень странно. По словам сиделок, Ричардс показывал им чеки. На восемь тысяч пятьсот? Нет, на огромную сумму — на тридцать восемь тысяч пятьсот долларов. Откуда ему привалило такое счастье?

На следующий день сиделки сообщили еще более поразительные новости. Они боялись, что чеки затеряются, и решили их спрятать, но, пошарив у больного

под подушкой, ничего не нашли — чеки исчезли бесследно. Больной сказал:

— Не трогайте подушку. Что вам нужно?

— Мы думали, чеки лучше спрятать...

— Вы их больше не увидите, — я уничтожил их. Это дело сатаны. На них печать ада. Я знал, зачем их мне прислали: чтобы вовлечь меня в грех!

И дальше он понес такое, что и понять было невозможно и вспомнить страшно, к тому же доктор велел им молчать об этом.

Ричардс сказал правду — чеков больше никто не видел.

Но одна из сиделок, вероятно, проговорила в сне, ибо через три дня слова, сказанные Ричардсом в беспамятстве, стали достоянием всего города. Бред его был действительно странен. Выходило, что Ричардс тоже претендовал на мешок и что Берджес сначала утаил записку старика, а потом коварно выдал его.

Берджесу так и сказали, но он всячески отрицал это и вдобавок осудил тех, кто придавал значение бреду больного, невменяемого старика. Все же в городе поняли, что тут что-то неладно, и разговоры об этом не прекращались.

Дня через два пошли слухи, будто миссис Ричардс в бреду почти слово в слово повторяет речи мужа. Подозрения вспыхнули с новой силой, потом окончательно укрепились, и вера Гедлиберга в кристальную чистоту своего единственного непорочного именитого гражданина померкла и готова была вот-вот совсем угаснуть.

Прошло еще шесть дней, и по городу разнеслась новая весть: старики умирают. В предсмертный час рассудок Ричардса прояснился, и он послал за Берджесом. Берджес сказал:

— Оставьте нас наедине. Он, вероятно, хочет поговорить со мной без свидетелей.

— Нет, — возразил Ричардс, — мне нужны свидетели. Пусть все слышат мою исповедь. Я хочу умереть как человек, а не как собака. Я считал себя честным, но моя честность была искусственна, как и ваша. И, так же как и вы, я пал, не устояв перед соблазном. Я скрепил ложь своим именем, позарившись на зло-

счастный мешок. Мистер Берджес не забыл одной услуги, которую я ему оказал, и из чувства благодарности, которой я не заслуживаю, утаил мою записку и спас меня. Все вы помните, в чем его обвиняли много лет назад. Мои показания — и только мои — могли бы установить его невиновность, а я оказался трусом и не спас его от позора...

— Нет, нет, мистер Ричардс. Вы...

— Наша служанка выдала ему мою тайну...

— Никто мне ничего не выдавал!

— ...и тогда он поступил так, как поступил бы каждый на его месте: пожалел о своем добром поступке и разоблачил меня... воздал мне по заслугам...

— Это неправда! Клянусь вам...

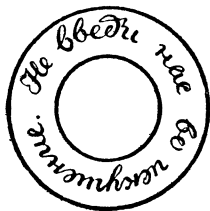
— Прощаю ему от всего сердца!..

Горячие уверения Берджеса пропали даром, — умирающий не слышал их. Он отошел в вечность, не зная, что еще раз был несправедлив к бедняге Берджесу. Его старушка жена умерла в ту же ночь.

Девятнадцатый — последний! — из непогрешимой плеяды пал жертвой окаянного золотого мешка. С города был сорван последний лоскут его былой славы. Он не выставял напоказ своей скорби, но скорбь эта была глубока.

В ответ на многочисленные ходатайства и петиции было решено переименовать Гедлиберг (как — не важно, я его не выдам), а также изъять одно слово из девиза, который уже много лет украшал его печать.

Он снова стал честным городом, но держит ухо востро — теперь его так легко не проведешь!



Глава I

Вена, 1899

Прошлым летом, когда я возвращался из горного санатория в Вену после курса восстановления аппетита, я оступился в потемках и упал со скалы, и переломал руки, ноги и все остальное, что только можно было сломать, и, к счастью, меня подобрали крестьяне, которые искали осла, и они перенесли меня в ближайшее жилище — один из тех больших приземистых деревенских домов, крытых соломой, с комнатами для всей семьи в мансарде и славным маленьким балкончиком под нависшей крышей, который украшают яркие цветы в ящиках и кошки; в нижнем этаже помещается просторная и свежая гостиная, отделенная перегородкой от коровника, а во дворе перед окнами величественно и эффектно высится гордость и богатство дома — навозная куча. Вы, вероятно, заметили, что это типичная немецкая фраза, она говорит о том, что я успешно овладеваю механикой и духом этого языка и уже могу, раз оседлав одну фразу, ехать на ней, не слезая, целый день.

В миле от моего пристанища в деревне жил коновал, но хирурга там не оказалось. Это сулило неважную перспективу — мой случай был явно хирургический.

Тут вспомнили, что в деревне проводит лето некая леди из Бостона, эта леди проповедует Христианскую Науку и может лечить все что угодно. Послали за ней. Она не решилась выйти из дому на ночь глядя, но велела передать на словах, что это не важно, что никакой спешки нет, что сейчас она применит «заочное лечение», а сама придет утром; пока же она просит меня успокоиться, расположиться поудобнее и, главное, помнить, что со мной ровно ничего не случилось. Я подумал, что здесь какое-то недоразумение.

— Вы ей сказали, что я сверзился со скалы высотой в семьдесят пять футов?

— Да.

— И стукнулся о камень на дне пропасти и отскочил?

— Да.

— И стукнулся о другой камень и опять отскочил?

— Да.

— И стукнулся о третий камень и снова, еще раз отскочил?

— Да.

— И переколол все камни?

— Да.

— Теперь понятно, в чем дело: она думает только о камнях. Почему же вы ей не сказали, что я сам тоже расшибся?

— Я сказала ей все слово в слово, как вы велели: что сейчас от вихра на макушке и до пяток вы представляете собой причудливую цепь из сложных переломов и что раздробленные кости, которые торчат из вас во все стороны, сделали вас похожим на вешалку для шляп.

— И после этого она пожелала мне помнить, что со мной ровным счетом ничего не случилось?

— Да, так она сказала.

— Ничего не понимаю. Мне кажется, что она недостаточно вдумчиво диагностировала мой случай. Как она выглядела? Как человек, который витает в сфере чистой теории, или же как человек, которому самому случалось падать в пропасть и который в помощь

абстрактной науке привлекает доказательства из собственного опыта?

— Bitte? ¹

Понять эту фразу для Stubenmädchen ² оказалось непосильной задачей: она перед ней спасовала. Продолжать разговор не имело смысла, и я попросил чего-нибудь поесть, и сигару, и выпить чего-нибудь горячего, и корзину, чтобы сложить туда свои ноги, — но на все это получил отказ.

— Почему же?

— Она сказала, что вам ничего не понадобится.

— Но я голоден, я хочу пить, и меня мучает отчаянная боль.

— Она сказала, что у вас будут эти иллюзии, новы не должны обращать на них никакого внимания. И она особенно просит вас помнить, что таких вещей, как голод, жажда и боль, не существует.

— В самом деле, она об этом просит?

— Так она сказала.

— И при этом она производила впечатление особы вполне контролирующей работу своего умственного механизма?

— Bitte?

— Ее оставили резвиться на свободе или связали?

— Связали? Ее?

— Ладно, спокойной ночи, можете идти; вы славная девушка, но для легкой остроумной беседы ваша мозговая Geschirr ³ непригодна. Оставьте меня с моими иллюзиями.

Глава II

Разумсется, всю ночь я жестоко страдал, по крайней мере я мог об этом догадываться, судя по всем симптомам, но наконец эта ночь миновала, а проповедница Христианской Науки явилась, и я воспрянул духом. Она была средних лет, крупная и костлявая, и

¹ Как вы сказали? (нем.)

² Служанка (нем.).

³ Оснастка (нем.).

прямая, как доска, и у нее было суровое лицо, и решительная челюсть, и римский клюв, и она была вдовой в третьей степени, и ее звали Фуллер. Мне не терпелось приступить к делу и получить облегчение, но она была раздражающе медлительна. Она вытащила булавки, расстегнула крючки, кнопки и пуговицы и совлекла с себя все свои накидки одну за другой; взмахом руки расправила складки и аккуратно развесила все вещи, стянула с рук перчатки, достала из сумки книжку, потом придвинула к кровати стул, не спеша опустилась на него, и я высунул язык. Она сказала снисходительно, но с ледяным спокойствием:

— Верните его туда, где ему надлежит быть. Нас интересует только дух, а не его немые слуги.

Я не мог предложить ей свой пульс, потому что сустав был сломан, но она предупредила мои извинения и отрицательно мотнула головой, давая понять, что пульс — это еще один немой слуга, в котором она не нуждается. Тогда я подумал, что надо бы рассказать ей о моих симптомах и самочувствии, чтобы она поставила диагноз, но опять я сунулся невпопад, все это было ей глубоко безразлично, — более того, самое упоминание о том, как я себя чувствую, оказалось оскорблением языка, нелепым термином.

— Никто не чувствует, — объяснила она, — чувства вообще нет, поэтому говорить о несуществующем как о существующем, значит впасть в противоречие. Материя не имеет существования; существует только дух; дух не может чувствовать боли, он может только ее вообразить.

— А если все-таки больно...

— Этого не может быть. То, что нереально, не может выполнять функций, свойственных реальному. Боль нереальна, следовательно больно быть не может.

Широко взмахнув рукой, чтобы подтвердить акт изгнания иллюзии боли, она напоролась на булавку, торчавшую в ее платье, вскрикнула «ой!» и спокойно продолжала свою беседу:

— Никогда не позволяйте себе говорить о том, как вы себя чувствуете, и не разрешайте другим

спрашивать вас о том, как вы себя чувствуете; никогда не признавайте, что вы больны, и не разрешайте другим говорить в вашем присутствии о недугах, или боли, или смерти, или о подобных несуществующих вещах. Такие разговоры только потворствуют духу в его бессмысленных фантазиях.

В этот момент Stubenmädchen наступила кошке на хвост, и кошка завизжала самым нечестивым образом. Я осторожно спросил:

— А мнение кошки о боли имеет ценность?

— Кошка не имеет мнения; мнения порождаются только духом; низшие животные осуждены на вечную брэнность и не одарены духом; вне духа мнение невозможно.

— Значит, эта кошка просто вообразила, что ей больно?

— Она не может вообразить боль, потому что воображать свойственно только духу; без духа нет воображения. Кошка не имеет воображения.

— Тогда она испытала реальную боль?

— Я уже сказала вам, что такой вещи, как боль, не существует.

— Это очень странно и любопытно. Хотел бы я знать, что же все-таки произошло с кошкой. Ведь если реальной боли не существует, а кошка лишена способности вообразить воображаемую боль, то, по-видимому, бог в своей милосердии компенсировал кошку, наделив ее какой-то непостижимой эмоцией, которая проявляется всякий раз, когда кошке наступают на хвост, и в этот миг объединяет кошку и христианина в одно общее братство...

Она раздраженно оборвала меня:

— Замолчите! Кошка не чувствует ничего, христианин не чувствует ничего. Ваши бессмысленные и глупые фантазии — профанация и богохульство и могут причинить вам вред. Разумнее, лучше и благочестивее допустить и признать, что таких вещей, как болезнь, или боль, или смерть, не существует.

— Я весь — воображаемые живые мучения, но не думаю, что мне было бы хоть на йоту хуже, будь они реальными. Что мне сделать, чтобы избавиться от них?

— Нет необходимости от них избавляться — они не существуют... Они — иллюзии, порожденные материей, а материя не имеет существования; такой вещи, как материя, не существует.

— Все это звучит как будто правильно и ясно, но сути я все же как-то не улавливаю. Кажется, вот-вот схвачу ее, а она уже ускользнула.

— Объяснитесь.

— Ну, например, если материи не существует, то как может материя что-нибудь порождать?

Ей стало меня так жалко, что она даже чуть не улыбнулась. То есть она непременно улыбнулась бы, если бы существовала такая вещь, как улыбка.

— Ничего нет проще, — сказала она. — Основные принципы Христианской Науки это объясняют, их суть изложена в четырех следующих изречениях, которые говорят сами за себя. Первое: Бог есть все сущее. Второе: Бог есть добро. Добро есть Дух. Третье: Бог, Дух есть все, материя есть ничто. Четвертое: Жизнь, Бог, всемогущее Добро отрицают смерть, зло, грех, болезнь. Вот, теперь вы убедились?

Объяснение показалось мне туманным; оно как-то не разрешало моего затруднения с материей, которая не существует и, однако, порождает иллюзии. Поколебавшись, я спросил:

— Разве... разве это что-нибудь объясняет?

— А разве нет? Даже если прочитать с конца, и тогда объясняет.

Во мне затеплилась искра надежды, и я попросил ее прочитать с конца.

— Прекрасно. Болезнь грех зло смерть отрицают Добро всемогущее Бог жизнь ничто есть материя все есть Дух Бог Дух есть Добро. Добро есть Бог сущее все есть Бог. Ну вот... теперь-то вы понимаете?

— Теперь... теперь, пожалуй, яснее, чем раньше, но все же...

— Ну?

— Нельзя ли прочитать это как-нибудь иначе, другим способом?

— Любим, как вам угодно. Смысл всегда получится один и тот же. Переставляйте слова, как хотите, все

равно они будут означать точно то же самое, как если бы они были расположены в любом другом порядке. Ибо это совершенство. Вы можете просто все перетасовать — никакой разницы не будет: все равно выйдет так, как было раньше. Это прозрение гениального ума. Как мыслительный *tour de force*¹ оно не имеет себе равных, оно выходит за пределы как простого, конкретного, так и тайного, сокровенного.

— Вот так штучка!

Я сконфузился: слово вырвалось прежде, чем я успел его удержать.

— Что??

— ...Изумительное построение... сочетание, так сказать, глубочайших мыслей... возвышенных... потря...

— Совершенно верно. Читаете ли вы с конца, или с начала, или перпендикулярно, или под любым заданным углом — эти четыре изречения всегда согласуются по содержанию и всегда одинаково доказательны.

— Да, да... доказательны... Вот теперь мы ближе к делу. По содержанию они действительно согласуются; они согласуются с... с... так или иначе, согласуются; я это заметил. Но что именно они доказывают... я разумею — в частности?

— Это же абсолютно ясно! Они доказывают: первое: Бог — Начало Начал, Жизнь, Истина, Любовь, Душа, Дух, Разум. Это вы понимаете?

— Мм... кажется, да. Продолжайте, пожалуйста.

— Второе: Человек — божественная универсальная идея, индивидуум, совершенный, бессмертный. Это вам ясно?

— Как будто. Что же дальше?

— Третье: Идея — образ в душе; непосредственный объект постижения. И вот она перед вами — божественная тайна Христианской Науки в двух словах. Вы находите в ней хоть одно слабое место?

— Не сказал бы; она кажется неуязвимой.

— Прекрасно. Но это еще не все. Эти три положения образуют научное определение Бессмертного Духа. Дальше мы имеем научное определение Смерт-

¹ Фокус (франц.).

ной Души. Вот оно. ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ: *Греховность*. Первое: Физическое — страсти и вожделения, страх, порочная воля, гордость, зависть, обман, ненависть, месть, грех, болезнь, смерть.

— Все это нереальные категории, миссис Фуллер, иллюзии, насколько я понимаю?

— Все до единой. ВТОРАЯ СТУПЕНЬ: *Зло исчезает*. Первое: Этическое — честность, привязанность, сострадание, надежда, вера, кротость, воздержание. Это ясно?

— Как божий день.

— ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ: *Духовное Спасение*. Первое: Духовное — вера, мудрость, сила, непорочность, прозрение, здоровье, любовь. Вы видите, как все это тщательно продумано и согласовано, как взаимосвязано и антропоморфично. На последней, Третьей Ступени, как мы знаем из откровений Христианской Науки, смертная душа исчезает.

— А не раньше?

— Нет, ни в коем случае, — только тогда, когда будут завершены воспитание и подготовка, необходимые для Третьей Ступени.

— И только тогда, значит, возможно успешно овладеть Христианской Наукой, сознательно к ней обратиться и возлюбить ее, — так я вас понимаю? Иначе говоря, этого нельзя достичь в течение процессов, происходящих на Второй Ступени, потому что там все еще удерживаются остатки души, а значит — и разума, и поэтому... Но я вас прервал. Вы собирались разъяснить, какие получаются прекрасные результаты, когда Третья Ступень разрушает и развеивает эти остатки. Это очень интересно; пожалуйста, продолжайте.

— Так вот, как я уже говорила, на этой Третьей Ступени смертная душа исчезает. Наука как переворачивает все воспринимаемое телесными чувствами, что мы искренне принимаем в сердца свои евангельское пророчество: «первые будут последними, последние — первыми», и постигаем, что Бог и Его идея могут стать для нас всеобъемлющими, — чем божественное действительно является и по необходимости должно быть.

— Это великолепно. И как старательно и искусно вы выбрали и расположили слова, чтобы подтвердить и обосновать все сказанное вами о могуществе и функциях Третьей Ступени. Вторая, очевидно, могла бы вызвать лишь временную потерю разума, но только Третья способна сделать его отсутствие постоянным. Фраза, построенная под эгидой Второй Ступени, возможно еще заключала бы в себе что-то вроде смысла, — вернее, обманчивое подобие смысла; тогда как волшебная сила Третьей Ступени — и только она! — устраняет этот дефект. Кроме того, несомненно: именно Третья Ступень наделяет Христианскую Науку еще одним замечательным свойством, — я имею в виду ее язык, легкий и плавный, богатый, ритмичный и свободный. Вероятно, на то есть особая причина?

— О да! Бог — Дух, Дух — Бог, почки, печень, разум, ум.

— Теперь мне все понятно.

— В Христианской Науке нет ничего непонятного; потому что Бог — един, Время — едино, Индивидуум — един и может быть одним из себе подобных — одним из многих, как, например, отдельный человек, отдельная лошадь; в то время как Бог — един, не один из многих, но один единственный и не имеющий себе равных.

— Это благородные мысли. Я просто горю желанием узнать больше. Скажите, как Христианская Наука объясняет духовное отношение постоянной двойственности к случайному отклонению?

— Христианская Наука переворачивает кажущееся отношение Души и тела, — как астрономия переворачивает человеческое восприятие солнечной системы, — и подчиняет тело Духу. Как земля вращается вокруг неподвижного солнца, хотя этому трудно верить, когда мы смотрим на восходящее светило, точно так же и тело — это всего лишь смиренный слуга покоящегося Духа, хотя нашему ограниченному разуму представляется обратное. Но мы этого никогда не поймем, если допустим, что Душа находится в теле или Дух в материи и что человек — часть неодухотворенного мира. Душа есть Бог, неизменный и вечный, а чело-

век сосуществует с Душой и отражает ее, потому что Начало Начал есть Все Сущее, а Все Сущее обнимает Душу — Дух, Дух — Душу, любовь, разум, кости, плоть, одного из себе подобных, единственного и не имеющего равных.

— Откуда взялась Христианская Наука? Это божий дар или она появилась невзначай, сама собой?

— В некотором смысле она — божий дар. То есть ее могущество исходит от Бога, но честь открытия этого могущества и его предназначения принадлежит одной американской леди.

— Вот как? Когда же это случилось?

— В тысяча восемьсот шестьдесят шестом году. Это незабвенная дата, когда боль, недуги и смерть навеки исчезли с лица земли. То есть исчезли те иллюзии, которые обозначаются этими словами. Самн же эти вещи вообще никогда не существовали; поэтому, как только было обнаружено, что их нет, они были легко устранены. История этого открытия и его сущность описаны вот в этой книжке, и...

— Книгу написала эта леди?

— Да, книгу написала она сама — всю, от начала до конца. Название книги — «Наука и здоровье, с толкованием библии», потому что леди разъясняет библию; раньше никто ее не понимал. Даже двенадцать апостолов. Я вам прочитаю начало.

Но оказалось, что она забыла очки.

— Ничего, это не важно, — сказала она. — Я помню слова, — ведь все мы, проповедники Христианской Науки, знаем книгу наизусть; в нашей практике это необходимо. Иначе бы мы совершали ошибки и причиняли зло. Итак, слушайте: «В тысяча восемьсот шестьдесят шестом году я открыла Науку метафизического врачевания и назвала ее «Христианской Наукой». Дальше она говорит — и я считаю, что это сказано великолепно: «Посредством Христианской Науки религия и медицина одухотворяются новой божественной природой и сутью, вера и понимание обретают крылья, а мысли общаются непосредственно с Богом», — это ее слова в точности.

— Очень изящно сказано. И кроме того, это блестящая идея — обручить бога с медициной, а не медицину с гробовщиком, как было раньше; ведь бог и медицина, собственно, уже принадлежат друг другу, будучи основой нашего духовного и физического здоровья. Какие лекарства вы даете при обычных болезнях, например...

— Мы никогда не даем лекарств, ни при каких обстоятельствах! Мы...

— Но, миссис Фуллер, ведь там сказано...

— Меня это совершенно не интересует, и я не хочу об этом говорить.

— Я очень сожалею, если чем-то вас задел, но ваша реплика как будто противоречит...

— В Христианской Науке нет никаких противоречий. Они невозможны, так как наука абсолютна. Иначе и не может быть, ибо ее непосредственный источник — Начало Начал, Всеобъемлющий, а также Душа, кости — один из многих, единственный и не имеющий себе равных. Это одухотворенная математика, очищенная от материального шлама.

— Это я понимаю, но...

— Она зиждется на несокрушимой основе Аподиктического Принципа.

Слово расплущилось о мой череп, пытаюсь пробиться сквозь него, и оглушило меня, но прежде чем я успел задать вопрос о том, какое оно имеет отношение к делу, она уже разъясняла:

— Аподиктический Принцип — это абсолютный принцип Научного Врачевания Духом, верховное Всемогущество, избавляющее сынов и дочерей человеческих от всякого зла, которому подвержена плоть.

— Но, конечно, не от всякого зла, не от всякого разрушения?

— От любого, без исключений; такой вещи, как разрушение, нет. Оно нереально; оно не существует.

— Но без очков ваше слабеющее зрение не позволяет вам...

— Мое зрение не может слабеть; ничто не может слабеть; Дух — владыка, а Дух не допускает упадка.

Она вещала под наитием Третьей Ступени, поэтому возражать не имело смысла. Я переменял тему и стал опять расспрашивать о Первооткрывательнице.

— Открытие произошло внезапно, как это случилось с Клондайком, или оно долгое время готовилось и обдумывалось, как было с Америкой?

— Ваши сравнения кощунственны — они относятся к низменным вещам... но оставим это. Я отвечу словами самой Первооткрывательницы: «Бог в своем милосердии много лет готовил меня к тому, чтобы я приняла ниспосланное свыше откровение — абсолютный принцип Научного Врачевания Духом».

— Вот как, много лет? Сколько же?

— Тысячу восемьсот!

— Бог — Дух, Дух — бог, Бог — добро, истина, кости, почки, один из многих, единственный и не имеющий равных, — это потрясающе!

— У вас есть все основания удивляться, сэр. И однако это чистая правда. В двенадцатой главе Апокалипсиса есть ясное упоминание об этой американской леди, нашей уважаемой и святой Основательнице, и там же есть пророчество о ее приходе; святой Иоанн не мог яснее на нее указать, разве что назвав ее имя.

— Как это невероятно, как удивительно!

— Я приведу ее собственные слова из «Толкования библии»: «В двенадцатой главе Апокалипсиса *есть ясный намек, касающийся нашего, девятнадцатого века*». Вот — заметили? Запомните хорошенько.

— Но что это значит?

— Слушайте, и вы узнаете. Я опять приведу ее вдохновенные слова: «В откровении святого Иоанна, там, где говорится о снятии Шестой Печати, что произошло через шесть тысяч лет после Адама, есть одна знаменательная подробность, *имеющая особое отношение к нашему веку*». Вот она:

«Глава XII, 1. — И явилось на небе великое знамение — жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд».

Это наш Вождь, наша Мать, наша Первооткрывательница Христианской Науки, — что может быть

яснее, что может быть несомненное! И еще обратите внимание на следующее:

«Глава XII, 6. — А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от бога».

— Это Бостон. Я узнаю его. Это грандиозно! Я потрясен! Раньше я совершенно не понимал этих мест; пожалуйста, продолжайте ваши... ваши... доказательства.

— Прекрасно. Слушайте дальше:

«И видел я другого Ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком; над его головою была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные, в руке у него была книжка раскрытая».

Раскрытая книжка.. Просто книжка... что может быть скромнее? Но значение ее так громадно! Вы, вероятно, догадались, что это была за книжка?

— Неужели...

— Я держу ее в руках — Христианская Наука!

— Любовь, печень, свет, кости, вера, почки, один из многих, единственный и не имеющий равных, — я не могу прийти в себя от изумления!

— Внимайте красноречивым словам нашей Основательницы: «И тогда голос с неба воззвал: «Пойди возьми раскрытую книжку; возьми и съешь ее; она будет горька во чреве твоём, но в устах твоих будет сладка, как мед». Смертный, склонись перед святым глаголом. Приступи к Божественной Науке. Прочитай ее с начала и до конца. Изучи ее, размышляй над ней. Пригуби ее, она действительно будет сладка на вкус и исцелит тебя, но когда ты переваришь ее и ощутишь горечь, то не ропщи против Истины». Теперь вы знаете историю нашей несравненной и Божественной Святой Науки, сэр, и знаете, что на нашей земле она была только открыта, но происхождение ее божественное. А теперь я оставляю вам книгу и уйду, но вы ни о чем не тревожьтесь, — я буду пользоваться вас заочно до тех пор, пока не отойду ко сну.

Под магическим воздействием заочного и очного врачевания вместе взятых мои кости стали медленно вытягиваться внутрь и пропадать из виду. Это благое дело началось в бодром темпе и шло полным ходом. Мое тело усердно растягивалось и всячески выгибалось, чтобы облегчить восстановительный процесс, и через каждую минуту-две я слышал негромкий щелчок где-то у себя внутри, — и мне было понятно, что в этот миг два конца сломанной кости успешно соединились. Приглушенное пощелкивание, и поскрипывание, и скрежетание, и постукивание не прекращалось в течение последующих трех часов; затем все стихло — сломанные кости срослись, все до одной. Остались только вывихи, их было семь, не больше, — вывихи бедер, плечей, колен и шеи, — так что с ними скоро было покончено; один за другим они скользнули в свои суставы с тупым звуком — как будто где-то хлопнула пробка, и я вскочил на ноги весь как новенький, без единого изъяна, если говорить о скелете, и послал за коновалом.

Мне пришлось это сделать из-за насморка и болей в желудке: я не собирался снова доверять их женщине, которой я не знал и в чьей способности лечить простые болезни окончательно разочаровался. У меня были на то веские основания — ведь насморк и боли в желудке были ей вверены с самого начала, так же как и переломы, и она ничуть их не облегчила, — напротив, желудок болел все сильнее и сильнее, все резче и невыносимей, — теперь, пожалуй, из-за того, что я уже много часов ничего не ел и не пил.

Пришел коновал, очень милый человек, полный рвения и профессионального интереса к больному. Что же касается запаха, который от него исходил, то он был довольно-таки пронзительный: откровенно говоря, от него несло конюшней, и я попробовал тут же договориться с ним о заочном лечении, но это было не по его части, и поэтому из деликатности я не стал настаивать. Он осмотрел мои зубы, прощупал бабки и заявил, что мой возраст и общее состояние позволяют ему при-

бегнуть к энергичным мерам, поэтому он даст мне кое-чего, чтобы превратить боль в желудке в ящур, а насморк в вертячку, тогда он окажется в своей стихии и ему будет проще простого меня вылечить. Он наметил в бадейке пойма из отрубей и сказал, что полный ковш через каждые два часа вперемежку с микстурой, приготовленной из скипидара с колесной мазью, либо вышибет из меня мои недуги в двадцать четыре часа, либо вызовет разнообразные ощущения другого порядка, которые заставят меня позабыть о своих болезнях. Первую дозу он дал мне сам, а потом ушел, сказав на прощанье, что мне можно есть и пить все, чего мне только ни захочется, в любых количествах. Но я уже больше не был голоден, и пища меня не интересовала.

Я взял книгу о Христианской Науке, оставленную миссис Фуллер, и прочитал половину. Потом выпил полный ковш микстуры и дочитал до конца. Пережитое мною после этого было очень интересно и полно неожиданных открытий. Пока во мне совершался процесс перехода болей в ящур, а насморка в вертячку, сквозь бурчанье, шипенье, сотрясения и бульканье, сопровождавшие его, я все время ощущал интенсивную борьбу за первенство между пойлом, микстурой и литературой, причем часто я не мог точно определить, которая одерживает верх, и легко мог отличить литературу от двух других, только когда те были порознь, а не смешаны, потому что смесь пойла из отрубей с эклектической микстурой как две капли воды похожа на разбушевавшийся Аподиктический Принцип, и никто на свете не отличил бы их друг от друга. Наконец дело подошло к фпнишу, все эволюции завершились с полным успехом, но я думаю, что результат мог быть достигнут и при меньшей затрате материалов. Пойло, вероятно, было необходимо, чтобы превратить желудочные боли в ящур, но я уверен, что вертячку ничего не стоило получить от одной только литературы и что вертячка, добытая таким путем, была бы лучшего качества и более стойкая, чем любая выведенная искусственными методами коновала.

Потому что среди всех странных, безумных, непонятных и необъяснимых книг, созданных воображе-

нием человека, пальма первенства несомненно принадлежит этой. Она написана в духе безграничной самоуверенности и самодовольства, а ее напор, ее пыл, ее непробиваемая серьезность часто создают иллюзию красноречия, даже когда в словах вы не улавливаете и тени смысла. Существует множество людей, которые воображают, что эта книга им понятна: я это знаю потому, что беседовал с ними; но во всех случаях эти же люди воображали, что болей, недугов и смерти не существует в природе и что в мире вообще нет реальных вещей — фактически не существует ничего, кроме Духа. Это обстоятельство несколько снижает ценность их мнения. Когда эти люди говорят о Христианской Науке, они поступают так, как миссис Фуллер: они выражаются не своими словами, а языком книги; они обрушивают вам на голову эффектную чепуху, и вы только позднее обнаруживаете, что все это не выдумано ими, а просто процитировано; кажется, они знают этот томик наизусть и благоговеют перед ним, как перед святыней, — мне следовало бы сказать: как перед второй библией. Эта книга была явно написана на стадии умственного опустошения, причиненного Третьей Ступенью, и я уверен, что никто, кроме пребывающих на этой Ступени, не мог бы обнаружить в ней хоть каплю смысла. Когда вы читаете ее, вам кажется, что вы слышите бурную, сокрушительную, пророческую речь на непонятном языке, вы постигаете ее дух, но не то, о чем в ней говорится. Или еще так: вам кажется, что вы слушаете какой-то мощный духовой инструмент — он ревет, полагая, что это мелодия, а те, кто не играет в оркестре, слышат просто воинственный трубный звук, — этот призыв только возбуждает душу, но ничего ей не говорит.

Невозмутимое самодовольство, которым пропитана эта книга, как будто бы отдает божественным происхождением, — оно не сродни ничему земному. Простому смертному несвойственна такая непоколебимая уверенность во всем, чувство такого безграничного превосходства, такое бездумное любованье собой. Никогда не предъявляя ничего такого, что можно было бы по праву назвать веским словом «доказательство»,

а порой даже вовсе ни на что не ссылаясь и ни на чем не основывая свои выводы, она громогласно вещает: Я ДОКАЗАЛА то-то и то-то. Чтобы установить и разъяснить смысл какого-нибудь одного-единственного, еще не растолкованного отрывка из библии, нужен авторитет папы и всех столпов его церкви, нужна огромная затрата времени, труда и размышлений, но автор выше всего этого: она видит всю библию в девственном состоянии и при ничтожной затрате времени и без всякой затраты умственных усилий толкует ее от корки до корки, изменяет и исправляет значения, а затем авторитетно разъясняет их, манипулируя формулами такого же порядка, как «Да будет свет! И стал свет». Впервые с сотворения мира над долами, водами и весями прогремел такой невозмутимо самодовольный, беззастенчивый и безапелляционный голос¹.

¹ *Январь, 1903.* Любая книга с новой и необычной терминологией при первом чтении почти наверняка оставляет читателя в смятенном и саркастическом состоянии духа. Но теперь, когда за последние два месяца я прилежно изучил специальный словарь «Науки и здоровья», я уже больше не считаю суть этой книги трудной для понимания. — М. Т.

Р. С. Мудрость, которую я извлек из вышеизложенного, уже оказала мне услугу и в одном случае избавила от неприятностей. Около месяца тому назад я получил из одного университета труд доктора Эдварда Энтони Шпитцка — «Анатомия мозга у различных рас». Я решил, что университету желательно получить мой отзыв об этом труде, был очень польщен оказанным мне вниманием и ответил, что представляю его в ближайшее время. В тот же вечер я бросил изнурительные блуждания в дебрях Христианской Науки и взялся за дело. Я написал одну взволнованную главу и решил кончить отзыв на следующий день, но тут мне пришлось отлучиться на неделю, и скоро меня увлекли совсем другие интересы. И только сегодня, после почти месячного промежутка, я снова вернулся к своей главе о мозге. За это время я обрел новую мудрость и перечитал все написанное мною с великим стыдом. Я понял, что начал эту работу совсем не в том настроении, в каком следовало, — далеко не в том спокойном и беспристрастном состоянии духа, которого она вполне заслуживала. На затравку я взял для разбора следующий абзац:

«Борозды париетальных и окципитальных долей мозга (латеральная поверхность). — Постцентральный комплекс. — В полушарии постцентральная и субцентральная борозды соединяются, чтобы образовать непрерывную борозду,

Никто не сомневается в том, что дух оказывает на тело громадное влияние; я тоже в этом уверен. С давних времен колдун, толкователь снов, гадалка, знахарь, шарлатан, лекарь-самоучка, образованный врач, месмерист и гипнотизер в своей практике использовали *воображение* клиента. Все они признавали наличие и могущество этой силы. Врачи исцеляют многих больных хлебными пилюлями: они знают, что там, где болезнь порождена фантазией, вера пациента в доктора придаст и хлебным пилюлям целительное свойство.

Вера в доктора. Пожалуй, все дело именно в этом. Да, похоже, что так. Некогда монарх исцелял язвы одним прикосновением царственной руки. Часто он совершал поразительные исцеления. Мог ли сделать то же самое его лакей? Нет, в своем платье не мог. А переодетый королем, мог ли он это сделать? Я думаю, нам не приходится в этом сомневаться. Я думаю, мы можем быть совершенно уверены в том, что в любом случае исцеляло не прикосновение руки короля, а вера больного в чудодейственность этого прикоснове-

достигающую 8,5 см длины. Дорсально борозда раздваивается, образуя гирс, обозначенный каудальным концом парацентральной борозды. К каудальному концу парацентральной борозды подходит транспариетальная извилина. Всего от объединенной борозды отходит пять ответвлений. Вадум отделяет ее от париетальной; другой вадум — от центральной).

Каким жалким я чувствую себя сейчас, когда вижу, как я тогда распалился на этот абзац и с каким презрением о нем писал. Я писал, что стиль автора ужасный — тяжеловесный, хаотический, временами безудержный; что вопрос трактуется запутанно и неверно, а это может только поставить читателя в тупик; что недостаток простоты усугубляется бедностью словаря; что автор не знает меры в выражении своих чувств; что если бы у меня был пес, который пришел бы в такое возбужденное и сумбурное состояние по поводу столь спокойного предмета, как анатомия головного мозга, я бы перестал платить за него налог; и тут я сам разволновался и наговорил кучу резкостей по поводу всей этой собачьей чуши и заявил, что с таким же успехом можно пытаться понять «Науку и здоровье».

Теперь-то я знаю, что меня подвело, и радуюсь тому перерыву, который помешал мне послать отзыв в университет. Я холодею при одной мысли о том, что бы обо мне там подумали. — М. Т.

ния. Подлинные и замечательные исцеления совершались возле святых мощей. Разве нельзя допустить, что любые другие кости подействовали бы на больного точно так же, если бы от него скрыли подмену? Когда я был мальчишкой, в пяти милях от нашего городка жила фермерша, которая прославилась как врачевательница верой, — так она себя называла. Страждущие стекались к ней со всей округи, она возлагала на них руку и говорила: «Веруй; это все, что тебе нужно»; и они уходили, забыв о своей хвори. Она не была религиозной женщиной и не претендовала на обладание какой-то сверхъестественной целительной силой. Она признавала, что исцеления совершает вера больного в нее. Несколько раз она при мне мгновенно излечивала от жестоких зубных болей, — пациенткой была моя мать. В Австрии есть один крестьянин, который на этом ремесле основал целое коммерческое дело и лечит и простых и знатных. Время от времени его сажают в тюрьму за то, что он практикует, не имея диплома, но когда он оттуда выходит, его дело по-прежнему процветает, потому что лечит он бесспорно успешно, и репутация его ущерба не несет. В Баварии есть человек, который совершил так много исцелений, что ему пришлось бросить свою профессию театрального плотника, чтобы удовлетворить спрос постоянно растущей массы клиентов. Год за годом он творит свои чудеса и уже разбогател. Он не делает вида, что ему помогает религия или какие-то потусторонние силы, — просто, как он считает, в нем есть что-то, что вызывает у пациентов доверие; все дело в этом доверии, а совсем не в какой-то таинственной силе, исходящей от него¹.

За последнюю четверть века в Америке появилось несколько врачующих сект под различными назва-

¹ *Январь, 1903.* Мне самому хорошо известно одно «чудесное» исцеление от паралича, который целых два года держал больную в постели, несмотря на все старания лучших нью-йоркских врачей. Странствующий «шарлатан» (так его называли) заходил к ней всего два раза по утрам, он поднял больную с постели и сказал: «Иди!» — И больная пошла. Тем дело и кончилось. Это было сорок два года тому назад. И с тех пор больная ходит. — *М. Т.*

ниями, и все они значительно преуспели в лечении недугов без применения лекарств. Среди них есть Врачевание Духом, Врачевание Верой, Врачевание Молитвой, Врачевание Психической Наукой и Врачевание Христианской Наукой. И совершенно несомненно, что все они совершают чудеса при помощи того же старого, всесильного орудия — *воображения больного*. Названия разные, хотя в способе лечения никакой разницы нет. Но секты не воздают должного этому орудию: каждая заявляет, что ее метод лечения разнится от методов всех других.

Все они могут похвастаться случаями исцелений, с этим не приходится спорить; Врачевание Верой и Врачевание Молитвой, когда они не приносят пользы, пожалуй не приносят и вреда, потому что они не запрещают больному прибегать к помощи лекарств, если он того пожелает; другие же запрещают лекарства и заявляют, что они способны вылечить любую болезнь человека, какая только существует на земле, применяя одни духовные средства. Здесь, мне кажется, есть элемент опасности. Я думаю, что они слишком много на себя берут. Доверие публики, пожалуй, повысилось бы, если бы они меньше на себя брали.

Проповедница Христианской Науки не смогла вылечить меня от болей в желудке и насморка, но коновалу это удалось. Это убеждает меня в том, что Христианская Наука слишком много на себя берет. Я думаю, что ей следовало бы оставить внутренние болезни в покое и ограничиться хирургией. Здесь она могла бы развернуться, действуя своими методами.

Коновал потребовал с меня тридцать крейцеров, и я ему заплатил; мало того, я удвоил эту сумму и дал ему шиллинг. Миссис Фуллер прислала длинный счет за ящик костей, починенных в двухстах тридцати четырех местах — один доллар за каждый перелом.

— Кроме Духа, ничего не существует?

— Ничего, — ответила она. — Все остальное несубстанциально, все остальное — воображаемое.

Я дал ей воображаемый чек, а теперь она преследует меня по суду, требуя субстанциальных долларов.

Где же тут логика?

I

Случилось все это во времена Кромвеля. Среди полковников республиканской армии Мэйфэр был по возрасту самым младшим, ему едва минуло тридцать. Однако, несмотря на молодость, это был уже ветеран, опытный, закаленный воин, так как за оружие он взялся с семнадцати лет. Ему довелось участвовать во многих битвах, и своей доблестью на полях сражений он постепенно, шаг за шагом, завоевал себе и высокое положение в армии, и любовь и преданность солдат. Но вот с ним стряслась великая беда, мрачная тень легла на его пути.

Вечер уже наступил, за окнами царили тьма и метель, в комнате стояла гнетущая тишина. Полковник и его молодая жена, до конца излив в словах свое горе, прочли положенную главу из библии, сотворили вечернюю молитву, и теперь им оставалось одно: сидеть рука с рукой, устремив взгляд на огонь камина, думать тяжкую думу и ждать. Они знали, что ждать предстоит недолго, и при мысли об этом душа женщины содрогалась.

¹ Сюжетом для рассказа послужил трогательный эпизод, упомянутый Карлейлем в его книге «Письма и речи Оливера Кромвеля». — *М. Т.*

Но сейчас с минуты на минуту должна была войти, чтобы пожелать им спокойной ночи, семилетняя Абби, их единственная дочь, кумир семьи. Прерывая молчание, полковник сказал жене:

— Вытри слезы. Ради нашего ребенка сделаем вид, что мы спокойны и счастливы. Забудем на время о том, что неотвратимо.

— Я скрою печаль в моем сердце, но, боже, оно разрывается от горя...

— Примем все с покорностью: в правоте своей и на благо нам творит господь свою волю.

— Да будет воля его. И разум и душа мои смирились. Если б и сердце мое могло принять... Боже милостивый, неужели в последний раз я сжимаю и целую эту любимую руку!..

— Тш!.. Тише, дорогая! Идет Абби.

В дверях показалась кудрявая головка, а затем и вся фигурка в ночной рубашке, и в то же мгновение девочка кинулась к отцу. Он прижал ее к груди и стал крепко, горячо целовать, еще и еще...

— Что ты, папа, разве так можно? Ты спутаешь мне волосы!

— Каюсь, больше не буду. Прощаешь папу, моя дорогая?

— Ну конечно прощаю! А ты правда каешься? Это не нарочно? Ты совсем-совсем правда каешься?

— Разве ты не видишь, Абби?

Он закрыл лицо руками и сделал вид, что плачет. Девочка, тотчас пожалев, что вызвала у отца слезы, заплакала и сама и принялась отрывать у него от лица руки, уговаривая:

— Не плачь, папа, я не хотела тебя обидеть. Правда, не хотела. Ну, папочка!

Она тянула отца за руки, разжимала ему пальцы и вдруг, поймав его взгляд, воскликнула:

— Да ты вовсе и не плачешь! Нехороший папа, ты меня обманул. Пойду к маме, я на тебя обиделась.

Она хотела слезть с отцовских колен, но он обнял ее и сказал:

— Нет, дорогая, останься со мной. Папа признает свою вину, не сердись. Давай поцелую тебя и вытру

слезки. Папа просит прощения у своей Абби, в наказание он сделает все, что она ему прикажет. Ну вот, слезок больше нет, и нет ни одной спутанной кудряшки. И все, что только захочет моя маленькая Абби...

Мир был водворен. Лицо ребенка прояснилось, засияло улыбками, и вот уже Абби гладит отцовскую щеку и назначает кару:

— Сказку! Расскажи сказку!

Но что это?

Взрослые затаили дыхание, прислушались. Шаги... шаги, еле слышные сквозь порывы ветра. Они ближе, все ближе и все слышнее... Но вот они снова стали глуше и замерли вдали. Полковник и его жена глубоко, с облегчением вздохнули, и отец спросил:

— Сказку? Веселую?

— Нет, страшную.

Отец пытался уговорить дочку, что лучше бы веселую сказку, но Абби стояла на своем: ведь ей обещали сделать так, как она захочет; и отец знал, что должен, как истинный пуританин и солдат, сдержать обещание. А девочка все убеждала:

— Ведь нельзя же всегда только о веселом рассказывать. Няня говорит, что людям не всегда бывает весело. Это правда, папа? Мне няня так сказала.

Мать вздохнула, мысли ее снова обратились к великому, безысходному ее горю. Отец сказал мягко:

— Правда, детка. С людьми бывают несчастья. Это грустно, но это так.

— Ну вот и расскажи сказку про несчастных людей. Только такую страшную, чтобы мы прямо дрожали, как будто все это происходит с нами. Мама, ты сядь к нам поближе и держи меня за руку, чтобы мне было не так страшно. Ведь когда все вместе, рядом, не так уж боишься, — правда? Ну, папа, начинай!

— Жили-были три полковника...

— Вот хорошо! Я знаю, какие бывают полковники. Потому что ведь ты тоже полковник, я знаю, какие у них мундиры. А дальше?

— И вот однажды они все трое нарушили военную дисциплину.

Длинное непонятное слово понравилось девочке, она взглянула на отца с живым любопытством и спросила:

— Дисциплину? Это что-нибудь вкусное, папа?

Слабое подобие улыбки пробежало по лицам родителей, и отец ответил:

— Нет, дорогая, это нечто совсем другое. Полковники, о которых идет речь, превысили свои полномочия...

— А это тоже не...

— Нет, это тоже несъедобное. Слушай. Во время боя, когда печальный исход его был уже предрешен, им было приказано совершить ложную атаку на сильно укрепленный пост противника, чтобы отвлечь внимание врага и дать возможность отступить войскам республики. Увлечшись, полковники нарушили приказ, они напали по-настоящему, взяли штурмом пост врага, выиграли сражение и одержали победу. Генерал, лорд-протектор, разгневался на них за то, что они ослушались приказа, высоко оценил их отвагу и предал всех троих военному суду.

— Какой генерал — великий генерал Кромвель, папа?

— Да.

— А я его видела! Когда он проезжает мимо нашего дома на своем огромном коне, такой важный, и сзади едут солдаты, он всегда смотрит так... — ну, я не знаю, как это сказать. Будто он чем-то недоволен. И сразу видно, что все-все его боятся. А я не боюсь, потому что на меня он один раз поглядел совсем по-другому.

— Милая ты моя болтушка. Слушай же дальше. Когда полковников привезли в Лондон на суд военного трибунала, их отпустили под честное слово, разрешив пойти проститься с семьями...

Что это опять?

Снова шаги, и снова мимо. Женщина опустила голову на плечо мужа, чтобы скрыть смертельную бледность, покрывшую ее лицо.

— Вот сегодня утром они и прибыли в Лондон, — продолжал отец.

Девочка широко раскрыла глаза.

— Так это все правда?

— Да, дорогая.

— Как интересно! Это даже лучше сказки. Рассказывай дальше, папа. Мама, мамочка, почему ты плачешь?

— Ничего, ничего дорогая... Я... я просто подумала о несчастных семьях.

— Не плачь, мама! Ведь все кончится хорошо, ты увидишь! Все истории кончаются хорошо. Скорее рассказывай, папа, как все они потом жили счастливо до конца своих дней, тогда мама перестанет плакать. Вот увидишь, мамочка, все будет хорошо. Продолжай, папа!

— Перед тем как их отпустить домой, полковников заключили в Тауэр.

— А я знаю, где Тауэр, это даже отсюда видно. Ну, а потом что? Рассказывай же скорее, папа!

— Я и так стараюсь, насколько возможно. В Тауэре военный трибунал судил полковников целый час. Суд нашел их виновными и приговорил к расстрелу.

— Это значит, чтобы их убить?

— Да.

— Фу, как гадко! Мамочка, милая, ты опять заплакала. Не плачь, про печальное уже скоро кончится. Поторопись, папа, чтобы мама поскорее успокоилась. Ты очень медленно рассказываешь.

— Да, ты права, но это потому что я все время задумываюсь.

— А ты не задумывайся, просто рассказывай дальше.

— Хорошо. Итак, трое полковников...

— Ты их знаешь, папа?

— Да, дорогая.

— Я тоже хочу познакомиться с ними. Я люблю полковников. Они позволят мне поцеловать себя, как ты думаешь?

Голос полковника звучал нетвердо, когда он ответил:

— Один из них уж непременно позволит, дорогая моя девочка. Поцелуй меня за него.

— Вот! Это за него, а это за двоих других. Значешь, я им скажу: «Мой папа тоже полковник, и очень храбрый, он поступил бы так же, как и вы. Значит, вы ни-

чего плохого не сделали, что бы там ни говорил этот гадкий суд, и вам нечего стыдиться, ни чуточки». И тогда они разрешат мне поцеловать себя! Да, папа?

— Да, моя родная, разумеется да!

— Мама, ну, мамочка, не надо! Вот уже скоро и счастливый конец. Дальше, папа!

— Некоторые из тех, кто судил полковников, — члены военного трибунала, — жалели осужденных. Они отправились к генералу и сказали, что все, что от них требовалось, они сделали, — конечно, то был лишь их гражданский долг, ты понимаешь, — а теперь они просят помилования для двоих из осужденных. Пусть будет расстрелян только один, и этого достаточно, чтобы послужить уроком для всей армии. Но генерал был непреклонен и попенял им за то, что они-то свой долг выполнили и совесть их чиста, а его понуждают идти против совести и тем самым запятнать свою честь солдата. Но члены трибунала возразили, что просяглишь о том, что и сами сделали бы, будь они на его месте и если бы, как и он, обладали высоким правом помилования. Слова эти поразили генерала, он долго стоял погруженный в раздумье, и суровое выражение его лица постепенно смягчалось. Вскоре затем, приказав подождать себя, он удалился в свой кабинет, чтобы в молитве испросить у бога совета. Вернувшись, он сказал: «Пусть осужденные кинут жребий. Тот, кому он достанется, умрет, остальные будут помилованы».

— Кто же из них должен умереть? Бедный, мне его жалко!

— Нет, детка, они отказались тянуть жребий.

— Да? Почему?

— Они сказали, что тот, кто вытянет жребий, как бы сам себя добровольно приговорит к смерти, а это равносильно самоубийству, что бы там ни говорили. Они христиане, а библия запрещает лишать самих себя жизни; они готовы к смерти, пусть приговор суда будет приведен в исполнение.

— А что это значит, папа?

— Они будут расстреляны.

Чу! Опять!

Ветер? Нет. «Раз-два, раз-два!..»

— Именем лорд-протектора! Откройте!

— Папа, папа, это солдаты! Я люблю солдат, я сама открою им дверь, я сама!

Девочка вскочила, подбежала к двери и распахнула ее, радостно восклицая:

— Входите, входите! Это гренадеры, папа, я ведь знаю гренадеров!

Отряд маршем вошел в комнату, солдаты выстроились в шеренгу, вскинув ружья на плечо. Офицер отдал честь, полковник Мэйфэр ответил тем же, вытянувшись по-военному. А жена полковника стояла рядом с мужем, — она была бледна, лицо ее искажилось страшной душевной мукой, но ничто больше не выдавало страданий несчастной женщины. Ребенок радостно, во все глаза смотрел на происходящее.

Долгое прощальное объятие всех вместе — отца, матери и дочери. Затем приказ: «В Тауэр — шагом марш!» Полковник четким военным шагом вышел из дому, следом за ним отряд, и дверь закрылась.

— Видишь, мамочка, как все прекрасно получилось! Я же говорила тебе, что все будет хорошо. Теперь они пошли в Тауэр, и папа увидит тех полковников, и он...

— Подойди ко мне, бедное мое невинное дитя...

II

На следующее утро убитая горем мать не могла подняться с постели. Вокруг больной дежурили врачи и сиделки, они переговаривались между собой шепотом. Девочке не разрешили входить в спальню матери, ей велели поиграть и побегать: мама серьезно больна. Абби, закутанная в теплую шубку, вышла из дома и некоторое время играла неподалеку. Но вдруг она подумала, как странно и нехорошо, что папа так долго в Тауэре и даже не знает, что мама заболела. Надо ему сказать, Абби сама это сделает.

Час спустя военный трибунал в полном составе предстал перед генералом Кромвелем. Генерал, мрачный, стоял выпрямившись, опираясь о стол костяш-

ками пальцев. По его знаку один из членов трибунала выступил вперед и сказал:

— Мы настаивали, мы заклинали их передумать, но они непреклонны. Они отказываются кидать жребий. Они готовы умереть, лишь бы не пойти прогив своей религии.

Лицо лорд-протектора потемнело, но он молчал. Некоторое время он стоял задумавшись, затем проговорил:

— Они не умрут все. За них бросит жребий кто-нибудь другой. Пошлите за осужденными, поставьте их в соседней комнате лицом к стене, и пусть они держат руки за спиной. Когда все будет готово, дайте мне знать.

Оставшись один, он сел и тут же приказал адъютанту:

— Выйдите на улицу и приведите первого ребенка, который вам встретится.

Адъютант едва вышел за дверь, как тотчас вернулся, ведя за руку Абби; шубку ее слегка запорошило снегом. Девочка сразу же подошла к главе республиканского правительства — к человеку, при одном имени которого трепетали земные владыки и сильные мира сего, — взобралась к нему на колени и заявила:

— А я знаю, вы и есть лорд-протектор. Я уже видела вас раньше, когда вы проезжали мимо нашего дома. Все вас боялись, а я нет, потому что на меня вы посмотрели совсем не строго, — вы помните, да? На мне было красное платье с синей отделкой спереди. Помните?

Хмурое лицо лорд-протектора смягчилось улыбкой, и он начал дипломатически обдумывать ответ.

— Видишь ли, я...

— Я стояла как раз у самого дома — понимаете, около *нашего* дома.

— Милое дитя мое, мне стыдно признаться, но я не помню...

Абби прервала его с упреком:

— Неужели не помните? А я вот вас не забыла.

— Мне очень совестно. Но больше я уж тебя не забуду, даю слово. Ты прости меня на первый раз, — помирися и заключим дружбу навеки. Согласна?

— Да, конечно согласна, только я все-таки не пойму: как это вы меня не помните? Должно быть, вы очень забывчивый. Я и сама иногда бываю забывчивой. Я прощаю вас, потому что знаю, на самом деле вы хороший и добрый. Прижмите меня к себе покрепче, как папа, а то здесь холодно.

— С превеликой радостью, мой милый новый дружок, отныне — мой друг навеки, правда? Ты напомнила мне мою дочку, — теперь она уже выросла. Ребенком она была так же ласкова, мила и нежна, как ты. И у нее было твое очарование, маленькая моя волшебница: всепокоряющее трогательное доверие, равно к другу и к незнакомцу, отчего всякий, на кого оно обращено, становится твоим добровольным рабом. Так же, как и ты сейчас, она любила примоститься у меня на коленях, и я забывал про заботы и усталость. В сердце моем воцарялся мир — вот как сейчас. Мы были с ней как равные — добрые товарищи, делившие игры. С тех пор протекло много времени, те блаженные времена прошли, воспоминания о них потускнели в моей памяти, но ты вновь оживила их. Прими же, дитя, благословенье человека, обремененного тяжкими заботами о родине, — они ложатся на твои плечи, пока я отдыхаю.

— Вы ее очень любили, очень-очень?

— Да, дружок. Суди сама: она приказывала, а я повиновался.

— Вы такой милый! Вы поцелуете меня?

— С радостью, и почту за честь. Вот это от меня, а это — от нее. Ты попросила, но могла бы приказать, ведь ты — это как бы она: ты приказываешь, я повинуюсь.

Услышав о таких высоких для себя привилегиях, девочка весело захлопала в ладоши, но тут до ее слуха долетел звук приближающихся шагов: размеренный топот идущих в ногу солдат.

— Солдаты, солдаты! Я хочу посмотреть на них!

— Ты их увидишь, дорогая. Но подожди минуту, у меня есть к тебе поручение.

В комнату вошел офицер, низко поклонился, сказал: «Они здесь, ваша светлость», — снова поклонился и вышел.

Глава нации подал Абби три сургучных облатки — три небольших кружка, два белых и один ярко-красный; этот последний и должен был служить знаком смерти тому из осужденных, кому он достанется.

— Ах, какой хорошенький красный кружок! Эго все мне?

— Нет, дорогая, они предназначены другим. Приподними за край вон ту занавесь — за ней открытая дверь. Пройди в нее, и ты увидишь троих людей, которые стоят в ряд, лицом к стене, и держат руки за спиной; ладонь одной руки у них раскрыта в виде чаши — вот так. В каждую такую раскрытую ладонь опусти один из этих кружков, а потом вернись ко мне.

Абби исчезла за дверной занавесью, и лорд-протектор остался один. Он подумал благоговейно: «Поистине мысль эту подал мне сам господь бог, всегда незримо присутствующий рядом с теми, кто сомневается и ищет помощи. Ему ведомо, на кого должен пасть выбор, и это он направил сюда своего безгрешного посланца свершить свою волю. Все могут заблуждаться, только не он. Дивны дела его и премудры, да будет благословенно его святое имя!»

Абби опустила за собой занавесь и несколько мгновений с большим любопытством рассматривала комнату смерти и прямые неподвижные фигуры солдат и узников. Вдруг лицо ее оживилось, и девочка сказала себе: «Да ведь один из них мой папа! Я узнаю его спину. Вот ему я и дам самый хорошенький кружок». Она выбежала вперед, опустила кружки в протянутые ладони, просунула головку под согнутый локоть отца, подняла личико и воскликнула:

— Папа, папа, посмотри, что у тебя в руке. Эго я тебе дала!

Отец взглянул на роковой подарок и, терзаемый муками любви и жалости, упал на колени и прижал к груди своего маленького невинного палача. Солдаты, офицеры, освобожденные узники — все на мгновение словно оцепенели, потрясенные неслыханной трагедией. Душераздирающая сцена сжала им сердце — они плакали, не стыдясь своих слез. Несколько минут длилось глубокое благоговейное молчание, затем офицер отряда

неуверенно шагнул вперед, коснулся плеча осужденного и мягко сказал:

— Мне очень тяжело, сэр, поверьте, но долг мне повелевает.

— Повелевает что? — спросила Абби.

— Я обязан увести его отсюда. Всей душой моей сожалею.

— Но куда увести, куда?

— В другое... господи, помоги мне! — в другое помещение.

— И никуда вы его не уведете. Моя мама больна, и я заберу папу домой. — Она высвободилась из объятий отца, вскарабкалась к нему на спину, обвила руками его шею. — Я готова, папа, поехали!

— Бедная моя девочка, я не могу. Я должен идти туда, куда мне приказано.

Абби соскочила на пол, огляделась с недоумением. Потом подбежала к офицеру, стала перед ним, негодуя топнула ногой и воскликнула:

— Я же сказала, что моя мама больна, разве вы не слышали? Отпустите его, сейчас же отпустите!

— Несчастный ребенок... Бог свидетель, я отпустил бы, если бы мог... Смирно! Стройся! Ружья на плечо!

Словно вихрь Абби вылетела из комнаты и в следующее мгновение уже тащила за руку лорд-протектора. При виде этого человека, внушающего всем страх и трепет, присутствующие подтянулись, офицеры отдали честь, солдаты салютовали оружием.

— Да остановите же их, сэр! Моя мама больна, ей нужно видеть папу, я им об этом уже сказала, а они даже не слушают и хотят увести его отсюда.

Генерал стоял как громом пораженный.

— Твоего папу, дитя? Этот твой папа?

— Ну конечно мой папа, он всегда был моим папой. Разве бы я дала кому-нибудь другому красивый красный кружок? Конечно только папе, ведь я его так люблю!

Страшное душевное смятение отразилось на лице лорд-протектора. Он сказал:

— Помоги мне, боже правый! Силою сатанинской хитрости совершил я самый жестокий поступок, когда-либо совершенный человеком. И уже ничем не могу я помочь, ничем! Что делать мне?

Огорченная девочка воскликнула в нетерпении:

— Но ведь вы можете приказать им отпустить папу! — Она зарыдала. — Ну велите же им! Сами вы мне сказали, что я могу приказывать, и вот в первый же раз вы не слушаетесь.

Суровое, грубо высеченное лицо озарилось нежностью. Лорд-протектор опустил руку на голову маленького тирана и сказал:

— Благодарение всевышнему за то, что я дал тогда это необдуманное обещание. И тебя, несравненное дитя, которому сам господь внушил напомнить мне об этом забытом мною обещании, — благодарю! Офицер, повинуйтесь ей. Это я приказываю вам устами этого ребенка. Узник помилован, освободите его!

Рассказ первый:

О ЧЕЛОВЕКЕ, У КОТОРОГО БЫЛО ДЕЛО
К ГЕНЕРАЛ-ДИРЕКТОРУ

Не так давно, в феврале текущего 1900 года, зашел как-то под вечер проведать меня здесь, в Лондоне, один мой приятель. Оба мы уже в том возрасте, когда люди, убивая время в досужей болтовне, склонны рассуждать не столько о приятностях жизни, сколько о ее тяготах. Вскоре мой приятель стал бранить Военное министерство. Оказалось, что у него есть друг, придумавший кое-что весьма нужное для солдат в Южной Африке, а именно — легкие, очень дешевые и прочные башмаки, которые не промокают и не расползаются от дождя. Изобретатель хотел, чтобы ими заинтересовалось правительство, но он был человек безвестный и понимал, что высокопоставленные чиновники не обратят на его предложение никакого внимания.

— Это доказывает, что он осел... такой же, как и все мы, — прервал я своего приятеля. — Продолжайте.

— Почему вы так думаете? По-моему, он говорит правду.

— По-моему, он лжет. Продолжайте.

— А я вам докажу, что он...

— Ничего вы мне не докажете. Я очень стар и очень мудр. И не надо со мной спорить. Это непочтительно и дерзко. Продолжайте!

— Что ж, прекрасно. Но вы сейчас убедитесь сами. Мое имя достаточно известно, однако даже я не смог поговорить о деле моего друга с генерал-директором Сапожно-кожевенного управления.

— Еще одна ложь. Прошу вас, продолжайте.

— Но даю вам честное слово, что я потерпел неудачу.

— О, разумеется! Это я и без вас знал. Можно было этого и не говорить.

— Тогда в чем же ложь?

— В вашем утверждении, что вы не могли обратить внимание генерал-директора на предложение вашего друга. Это ложь, потому что вы безусловно могли это сделать.

— Не мог, уверяю вас. За три месяца мне не удалось этого добиться.

— Еще бы! Разумеется! В этом я и не сомневался. Но вы могли сразу же его заинтересовать, если бы взялись за дело как надо. Точно так же мой это сделать сам изобретатель.

— Я и сделал как надо.

— Нет, не сделали.

— Кто вам сказал? Вы же не знаете никаких подробностей!

— Не знаю. Но я убежден, что вы взялись за дело по-дурацки.

— Да как вы можете судить, если вы не знаете, какой путь я избрал?

— По результатам. Результат — наилучшее доказательство. Вы взялись за дело по-идиотски. Я очень стар и очень му...

— Да, да, я знаю. Но, может быть, вы разрешите мне рассказать, как я действовал? Я думаю, это поможет нам установить — по-идиотски я взялся за дело или нет.

— Это уже установлено. Но продолжайте, раз уж вам так не терпится разоблачить себя. Я очень ста...

— Конечно, конечно. Итак, я написал генерал-директору Сапожно-кожевенного управления вежливое письмо и объяснил...

— Вы с ним знакомы?

— Нет.

— Одно очко в мою пользу. Начали вы преглуно. Продолжайте.

— В письме я указал на огромное значение и выдодность изобретения и предложил...

— Зайти и поговорить с ним? Я так и знал. Вы проиграли два очка. Я оч...

— Он не отвечал целых три дня.

— Еще бы! Дальше.

— Затем он прислал мне три строчки, в которых холодно благодарил за хлопоты и...

— Ничего не предлагал.

— Вот именно. Ничего не предлагал. Тогда я написал ему более подробно и...

— Три очка!

— ...и не получил ответа. В конце недели я послал еще одно письмо, где довольно резко просил ответить мне на предыдущее.

— Четыре! Продолжайте.

— Пришел ответ, мне сообщили, что мое предыдущее письмо не получено, и просили прислать копию. Я навел справки на почте и выяснил, что письмо получено, однако все же отослал копию. Прошло две недели, ответа не было. К тому времени я настолько поостыл, что снова мог писать вежливые письма. Я предложил ему принять меня на следующий день, добавив, что если не получу ответа, то буду считать его молчанье знаком согласия.

— Пять очков!

— Я пришел ровно в двенадцать. Меня попросили подождать в приемной. Я просидел до половины второго и ушел, пристыженный и злой. Переждав еще неделю, чтобы остыть, я написал новое письмо, в котором просил принять меня на следующий день в полдень.

— Шесть очков!

— Он согласился. Я пришел минута в минуту и проторчал в приемной до половины третьего. Тогда я покинул это заведение, раз и навсегда отряхнув его прах со своих ног. На мой взгляд, грубость, нерадивость, бездарность и равнодушие к интересам армии генерал-директора Сапожно-кожевенного управления Военного министерства...

— Хватит! Я очень стар, и очень мудр, и знаю множество людей с виду разумных, у которых неоставало здравого смысла на то, чтобы толково взяться за простое и легкое дело вроде вашего. Вы для меня не диковинка: я лично знал миллионы, миллиарды подобных вам. Вы без толку потеряли три месяца, изобретатель потерял три месяца, солдаты потеряли три... итого девять месяцев. Сейчас я прочту вам сказочку, которую написал вчера вечером. А завтра в полдень вы пойдете к генерал-директору и уладите ваше дело.

— Великолечно! Так вы с ним знакомы?

— Нет. Но послушайте сказку.

Р а с с к а з в т о р о й :

**О Т О М , К А К Т Р У Б О Ч И С Т У У Д А Л О С Ь
Д А Т Ь С О В Е Т И М П Е Р А Т О Р У**

I

Настало лето, и самые выносливые люди обессиляли от невыносимой жары, а те, что послабее, лежали в изнеможении и умирали. Уже несколько недель в армии свирепствовала дизентерия — этот бич война, — и ждать спасения было неоткуда. Доктора совсем отчаялись: сила их снадобий и искусства, которая и в лучшие времена стоила немногого, теперь была утрачена, и, судя по всему, без возврата.

Император повелел самым знаменитым лекарям явиться к нему на совет, ибо он был сильно обеспокоен. Он принял их сурово и потребовал отчета за смерть своих солдат. Он спросил их, знают они свое ремесло или нет и кто они, доктора или просто убийцы? Тогда главный убийца, самый видный собой

и самый старый во всей империи лекарь, выступил вперед и сказал:

— Ваше величество, мы сделали все, что могли, и не наша вина, что этого оказалось недостаточно. Ни один доктор и ни одно лекарство не в силах вылечить от этой болезни, побороть ее могут только природа и крепкий организм. Я стар, я знаю. Никакой доктор и никакие лекарства не могут исцелить от этой болезни, я еще раз повторяю и утверждаю это. В некоторых случаях они, по-видимому, немного, — о, совсем немного! — помогают природе, но, как правило, приносят только вред.

Император был вспыльчив и неводержан на язык. Он осыпал лекарей самой отборной и грубой бранью и прогнал с глаз долой.

На следующий день ужасный недуг поразил его самого. Весть эта, передаваясь из уст в уста, повергла в ужас все королевство. Повсюду только и говорили, что о страшном несчастье, и все пребывали в унынии, ибо мало кто надеялся на благополучный исход. Сам император впал в меланхолию и сказал со вздохом:

— На все воля божия! Позовите сюда убийц, и будь что будет.

Те явились, долго щупали у него пульс, смотрели язык, влили ему внутрь весь аптекарский магазин, который притащили с собой, затем сели и принялись терпеливо ждать, потому что получали они не за визит, а были на жалованье.

II

Томми был смышленный шестнадцатилетний парнишка, отнюдь не принадлежавший к высшему обществу. Его звание было слишком скромным, а занятие слишком низменным. В самом деле, вряд ли существовало ремесло более презренное, ибо занимался он тем, что помогал своему отцу чистить по ночам отхожие места и вывозить бочку с нечистотами. Лучшим другом Томми был трубочист Джимми, худенький мальчуган лет четырнадцати, честный, трудолюбивый и добрый, содержавший больную мать на средства, кото-

рые он добывал своим опасным и неприятным ремеслом.

Примерно через месяц после того, как заболел император, мальчики встретились однажды вечером, часов около девяти. Томми шел на ночную работу и был, разумеется, не в праздничном платье, а в своей отвратительной рабочей одежде и распространял вокруг себя не очень приятный запах. Джимми возвращался домой после дневных трудов и был чернее чугуна. На плече он нес метелки, к поясу прицепил мешок с сажей, и на всем его черномазом лице нельзя было различить ни одной черты, кроме весело блестевших глаз.

Они присели поболтать на край тротуара; и, конечно, говорили только об одном: о всенародном бедствии — о болезни императора. Джимми лелеял в душе великолепный замысел, и мальчика так и распирало от желания поделиться им с кем-нибудь. Он сказал:

— Томми, я могу вылечить его величество. Я знаю, как это сделать.

Томми был поражен.

— Кто? Ты?

— Да, я.

— Куда тебе, дурачок! Тут лучшие лекари и те сделать ничего не могут.

— Чихать мне на них! А я могу. Я бы его за пятнадцать минут вылечил.

— Да ну тебя! Что ты мелешь?

— Истинную правду, вот что.

Джимми говорил так серьезно, что Томми смутился.

— Ты как будто не шутишь, Джимми? — сказал он. — Не шутишь, а?

— Даю слово, что нет.

— Ну и как же ты собираешься его вылечить?

— Ему надо съесть кусок спелого арбуза.

Этот неожиданный ответ показался Томми до того нелепым, что он не удержался и залился громким смехом. Но, заметив, что Джимми обиделся, он сразу притих. Не обращая внимания на сажу, он ласково потрепал друга по колену и сказал:

— Прости, пожалуйста. Я не хотел тебя обидеть, Джимми. Больше не буду. Уж больно, понимаешь, смешно! Ведь возле каждого лагеря, где начинается дизентерия, лекари сразу же вывешивают объявление, что всякий, кого поймают с арбузом, будет бит плетью до потери сознания.

— Я знаю. Идиоты они! — сказал Джимми, и в его голосе послышались слезы и гнев. — Арбузов такая пропасть, что все солдаты могли бы остаться в живых.

— Но как ты до этого додумался, Джимми?

— Ни до чего я не додумывался. Просто знал, и все. Помнишь старика зулуса? Так вот, он уже давно лечит этим средством и вылечил много наших знакомых; мать видела, как он это делает, и я тоже видел. Один-два ломтика арбуза — и болезнь как рукой снимает, все равно — запущена она или нет.

— Чудно что-то! Но, Джимми, раз так, то об этом надо сказать императору.

— Конечно. Мать уже кое-кому рассказала, думала, что они передадут ему, но это все бедняки, люди темные, — они понятия не имеют, как взяться за дело.

— Где уж им, болванам! — презрительно заметил Томми. — А я вот передам!

— Ты? Ах ты бочка вонючая! — И тут уже Джимми расхохотался.

Но Томми решительно оборвал его:

— Смейся сколько хочешь, но я это сделаю!

Он говорил так убежденно и твердо, что Джимми перестал смеяться и спросил:

— Ты знаком с императором?

— Я? Что ты болтаешь? Конечно нет.

— Как же ты до него доберешься?

— Очень просто. Угадай! Ты бы как поступил?

— Послал бы ему письмо. Я об этом еще не думал, но могу поспорить, у тебя на уме то же самое.

— Спорим, что нет! А скажи, как ты его пошлешь?

— По почте, конечно.

Томми осыпал его насмешками и сказал:

— По-твоему, мало у нас в королевстве чудаков, которые пишут ему письма? Скажешь, ты этого не знал?

— Н-нет... — смутился Джимми.

— А мог бы знать, если бы не был так молод и неопытен. Гляди-ка, ведь стоит заболеть самому обыкновенному генералу, или поэту, или актеру, или кому-нибудь там еще, кто хоть немного знаменит, как все эти полоумные заваливают почту рецептами «самых лучших» шарлатанских лекарств. А представляешь, что творится сейчас, когда болен сам император?

— Да... наверное, прямо дым коромыслом... — пробормотал Джимми.

— Вот то-то и оно! Сам посуди: каждую ночь мы выволакиваем из дворцовой помойки по шесть возов этих самых писем. Восемьдесят тысяч писем за ночь! Думаешь, их кто-нибудь читает? Как бы не так! Хоть бы одно! Вот что случится с твоим письмом, если ты его напишешь. Ну, я думаю, ты теперь не будешь писать?

— Нет, — вздохнул вконец уничтоженный Джимми.

— Ну вот и хорошо! Но ты нос не вешай, худа таммышь, которая одну только лазею знает. Я так устрою, что ему передадут твой совет.

— Ой, Томми, если тебе удастся, я этого вовек не забуду!

— Сказал, значит сделаю. Не беспокойся, положишься во всем на меня.

— Я и не беспокоюсь, Томми. Ты ведь такой умный, не то что другие ребята, те никогда ничего не знают. А как ты это устроишь?

Томми просиял от удовольствия. Усевшись поудобней для долгого разговора, он начал:

— Знаешь этого жалкого оборванца, который считает себя мясником, потому что повсюду таскается с корзиной и продает обрезки для кошек и тухлую печенку? Так вот, для начала я расскажу ему.

Джимми был обескуражен и с обидой в голосе сказал:

— Как тебе не стыдно, Томми? Ты же знаешь, как для меня это важно.

Томми наградил его дружеским шлепком и воскликнул:

— Будь спокоен, Джимми! Я знаю, что говорю. Сейчас ты все поймешь. Этот полукровка мясник рас-

скажет о твоём средстве старухе, которая продает каштаны на углу нашего переулочка — она его закадычный друг, и я попрошу его об этом; затем, по его просьбе, она все расскажет своей богатой тетке, которая держит фруктовую лавочку в двух кварталах отсюда; а та расскажет своему лучшему другу, торговцу дичью, а торговец расскажет своему другу, сержанту полиции; а сержант расскажет капитану, капитан — мировому судье, мировой судья — своему шурина, окружному судье, окружной судья — шерифу, шериф — лорд-мэру, лорд-мэр — председателю государственного совета, а председатель...

— Клянусь богом, это великолепный план, Томми! Как ты только все это сообразил?..

— ...контр-адмиралу, а контр-адмирал — вице-адмиралу, а вице-адмирал — адмиралу Синей эскадры, а тот — адмиралу Красной эскадры, а тот — адмиралу Белой эскадры, а тот — первому лорду адмиралтейства, а тот — спикеру, а спикер...

— Нажимай, Томми! Скоро приедем!

— ...расскажет старшему егермейстеру, а егермейстер — королевскому стремянному, стремянный — лорд-штальмейстеру, штальмейстер — флигель-адъютанту, флигель-адъютант — обер-гофмейстеру, а гофмейстер — министру двора, а министр двора расскажет императорскому любимцу — маленькому пажу, который отгоняет от него мух, а паж станет на колени, шепнет о нашем средстве его величеству — и дело в шляпе!

— Ой, Томми, я сейчас закричу ура! Молодчина! Как ты до этого додумался?

— Сядь и слушай, я тебе сейчас растолкую одну премудрость, запомни ее и не забывай никогда. Скажи мне, кто твой самый близкий друг — такой друг, которому ты никогда не сможешь и не захочешь отказать, о чем бы он тебя ни попросил?

— Конечно ты, Томми. Ты же знаешь.

— Теперь представь себе, что у тебя есть серьезная просьба к нашему кошащему мяснику. Ты ведь с ним незнаком, и он пошлет тебя к чертовой матери, такой уж у него нрав; но мне он после тебя самый близкий друг, и о чем бы я его ни попросил, он в ле-

пешку расшибется, а сделает. Так я тебя спрашиваю: в чем больше проку, самому тебе попросить его рассказать торговке каштанами о твоём способе лечения или сперва поручить это мне?

— Конечно поручить тебе! Я бы никогда не додумался, Томми. Вот здорово!

— Это называется философия, понял? Хорошее слово, и что важнее всего — длинное. А суть его вот в чем: у всех людей на свете, у каждого от мала до велика, всегда найдется один-единственный друг, которому помогаешь с радостью, не с кислой рожей, а с радостью, от всей души. Значит, с кого бы ты ни начал, ты всегда доберешься до того, кто тебе нужен, как бы высоко он над тобой ни стоял. Это ведь так просто! Надо только найти первого друга, вот и все; на этом твои труды кончаются. Следующего найдет уже он сам; а тот найдет третьего, и так далее, друг за другом, звено за звеном, пошла цепочка; можешь перебираться по ней до самого верха или до самого низа, как тебе угодно.

— Вот это здорово, Томми!

— А ведь проще пареной репы. Ну, а ты слышал, чтобы кто-нибудь пробовал так сделать? Никогда! Все ведут себя как дураки. Являются к незнакомым людям, не заручившись рекомендацией, или пишут им письма, — их окатывают ушатом холодной воды, и поделом. А вот я хоть и не знаком с императором, но это не мешает ему завтра же отведать арбуза. Вот увидишь... Эй, эй, погоди, друг... Это наш кошачий мясник пошел. Будь здоров, Джимми; сейчас я его догоню.

Догнав мясника, Томми крикнул:

— Послушай, хочешь мне помочь?

— Тебе? И ты еще спрашиваешь? Да я весь к твоим услугам. Говори, что нужно сделать, и я на крыльях полечу.

— Скажи торговке каштанами: пусть бросает все дела, бежит к своей лучшей подруге и сообщит ей то, что я тебе сейчас скажу, а та пусть передаст это дальше.

Растолковав мяснику, в чем дело, он сказал:

— А теперь беги.

Через минуту совет трубочиста императору был уже в пути.

На следующий вечер, уже около полуночи, в покоях больного императора, перешептываясь между собой, сидели доктора. Они находились в сильнейшем смятении, ибо император был очень плох. Доктора не могли не видеть, что каждый раз, когда они вливали в него новый аптекарский магазин, ему становилось хуже. Это огорчало их, тем более что именно таких последствий они и ожидали. Исхудавший император лежал неподвижно, закрыв глаза, а его любимец паж, потихоньку всхлипывая, отгонял от него мух. Внезапно мальчик услышал шелест шелковой портьеры и, оглянувшись, увидел в дверях взволнованного министра двора, который манил его к себе. Неслышно ступая, паж на цыпочках приблизился к своему высокочтимому старшему другу.

— Только ты можешь убедить его, дитя мое! — прошептал министр. — Во что бы то ни стало заставь его съесть это, и он спасен.

— Клянусь головой, я так и сделаю!

То были два больших куска спелого, сочного арбуза.

Наутро повсюду разнеслась весть о том, что император снова здоров и бодр и велел повесить всех лекарей. Волна ликования прокатилась по королевству; все спешно готовились к иллюминации.

После завтрака его величество погрузился в раздумье. Его признательность была безгранична, и он старался придумать достаточно щедрую награду, чтобы достойно отблагодарить своего спасителя. Наконец он призвал к себе пажа и спросил, сам ли он изобрел этот способ лечения. Мальчик ответил, что узнал о нем от министра двора.

Император отослал пажа и вновь погрузился в раздумье. Министр двора был графом; император решил сделать его герцогом и подарить ему обширное имение, которым ранее владел один опальный вельможа. Он приказал послать за министром и спросил, ему ли принадлежит открытие целебного средства. Но министр был человек честный и сказал, что он узнал о нем от обер-гофмейстера. Император отослал министра и

снова стал думать. Гофмейстер был виконтом, император решил сделать его графом и пожаловать ему богатый доход. Но гофмейстер указал на флигель-адъютанта и императору пришлось снова думать. Его величество придумал награду поскромнее. Но флигель-адъютант сослался на другого вельможу, и императору надо было придумывать новую, еще меньшую награду, подобающую его положению.

Тут император, которому надоело заниматься расспросами и захотелось скорее кончить дело, вознаградив по заслугам своего спасителя, послал за начальником сыскной полиции и приказал ему выяснить, кто же первый изобрел это целебное средство.

В девять часов вечера начальник полиции принес ему ответ. Розыски привели его к маленькому трубочисту по имени Джимми. Растроганный император воскликнул:

— Славный мальчуган! Он спас мне жизнь и не пожалеет об этом!

И он послал ему пару своих башмаков, хоть и не самую лучшую, но совсем неплохую. Джимми они оказались велики, зато пришлись впору старому зулусу. А значит, все кончилось так, как и должно было кончиться.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПЕРВОГО РАССКАЗА

— Ну как? Поняли вы, куда я клоню?

— Должен признаться, что да. И все будет сделано по-вашему. Я завтра же возьмусь за дело. Мне хорошо знаком близкий друг генерал-директора. Он даст мне записочку, в которой укажет, что у меня дело государственной важности. Я не буду улавливать с генерал-директором о свидании, а просто приду и пошлю ему эту записку вместе со своей визитной карточкой. Не пройдет и полминуты, как он меня примет.

Все произошло именно так, и правительство заказало для армии новые башмаки.

Редактору.

Сэр!

Возраст мой приближается к семидесяти годам; эта дата уже не за горами, — до нее осталось только три года. Скоро я должен буду отправиться к праотцам. Вот почему простое благоразумие требует, чтобы я начал приводить в порядок свои дела на земле уже теперь, если хочу сделать это обстоятельно и без суеты, а не оттягивать до последнего дня, ибо, как мы часто наблюдаем в таких случаях, попытка одновременно подумать о душе и о движимом и недвижимом имуществе бывает сильно затруднена спешкой, сумятицей и напрасной тратой времени, неизбежно возникающей оттого, что нотариус и духовник не могут действовать согласованно: соблюдать очередь, оказывать друг другу товарищескую помощь. (Всем понятно, что на этом поле каждый из них ведет игру в интересах своей команды, но ведь могли бы они все-таки быть полезны друг другу хотя бы в мелочах — отмечать время, вести счет очкам и пр.) В результате такого столкновения интересов и неслаженности в действиях победа в финале сплошь и рядом носит случайный характер, между тем как эта неприятность не произошла бы, если бы мы сначала приводили в порядок свои мирские дела, а затем уже думали о душе и, во избежание

спешки, делали то и другое заранее, отводя каждой стороне проблемы столько времени, сколько она по справедливости и здравому рассуждению заслуживает.

Подойдя вплотную к мирской стороне предмета, я счел необходимым лично заняться двумя-тремя вопросами, которые люди в моем положении издавна имели



N.B. I cannot make a good
sketch, therefore leave it out.
There is enough without drawing.
Done with the best ink. M.T.

Рисовать рты я не умею, поэтому рта на портрете нет. Тут и без него добра хватит. Выполнено чернилами высшего качества. — М. Т.

обыкновение целиком возлагать на других, причем последствия нередко бывали весьма печальные. Я сейчас хотел бы коснуться лишь одного такого вопроса: некрологов. Некролог по самому своему характеру — литературное произведение, отредактировать которое ничья рука не могла бы с таким знанием дела, как рука того, о ком оно написано. Для этого жанра главное не факты, а освещение, какое им придает некрологист, форма, в какую он их облакает, выводы, которые он из них

делает, и заключение, к которому он приходит. Статья, под которую он подведет вас, — вот в чем, как вы понимаете, таится опасность.

Изучая этот вопрос ввиду предвидящейся перемены обстоятельств, я счел разумным принять возможные в данном случае меры, чтобы при любезном посредстве прессы получить доступ к моим, пока еще лежащим без движения некрологам, с правом, — если только не сочтут эту просьбу нескромной, — внести поправки не в факты, а в выводы, которые там содержатся. Сделать это хочу я не для какой-либо выгоды в настоящем, если не брать в расчет моих близких родственников, а для того, чтобы заручиться благоприятным отзывом, годным к использованию в потустороннем мире, где имеются лица, недружелюбно ко мне настроенные.

Объяснив Вам таким образом мои побуждения, прошу оказать мне любезность, сделав от моего имени в печати публикацию. Я желал бы, чтобы журналы и прочие периодические издания, держащие у себя в портфелях мои некрологи на случай экстренной необходимости использовать их, не ждали бы дольше, а опубликовали их теперь же, сообразовавшись выслать мне экземпляр с соответствующей пометкой. Направлять просто: город Нью-Йорк, — более точного и при этом постоянного адреса у меня нет.

Я внесу в некрологи исправления — в то, что касается выводов, не фактов, — вычеркивая фразы, которые в потустороннем мире могут быть истолкованы мне во вред, и заменяя их другими, более тщательно продуманными. Разумеется, я готов оплатить по двойной цене как вымарки, так и замены, а также заплатить в четырехкратном размере за все некрологи, где слова и выражения в рукописи окажутся правильно и удачно подобранными и не потребуют, следовательно, вовсе никаких исправлений.

Я хотел бы оставить изящно переплетенную подборку таких исправленных некрологов, — как неиссякаемый источник утешения и развлечения для моей семьи и как реликвию, пусть печальную, но имеющую

для моих отдаленных потомков определенную коммерческую ценность.

Прошу Вас, сэр, поместить это объявление в газете (вн. ст. агат курсив) и прислать счет
уважающему Вас

Марку Твену.

P. S. За лучший некролог — такой, который я мог бы прочитать в публичном выступлении, с расчетом вызвать у слушателей скорбь обо мне, безвременно ушедшем, — назначаю приз в виде моего автопортрета, выполненного пером и чернилами без всякой предварительной подготовки. Употребление чернил этого сорта лучшими художниками сим удостоверяется.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Никогда не следует поступать дурно при свидетелях.

I

Свадьба

Сцена первая: сельская местность в штате Виргиния. Год — тысяча восемьсот восьмидесятый. Свадьба. Красивый молодой человек со скудными средствами женится на богатой молодой девушке. Любовь с первого взгляда и — скоропалительная женитьба. Женитьба, которой отчаянно противился вдовый отец невесты.

Новобрачная

Джейкоб Фуллер — новобрачный, двадцати шести лет, потомок старинного, но не знатного рода. Его предки были вынуждены эмигрировать из Седжмура, притом с пользой для казны короля Якова, как утверждают все: иные — по злему умыслу, другие потому, что действительно этому верят. Новобрачной девятнадцать лет, она красавица. Пылкая, экзальтированная, романтическая, безмерно

гордящаяся тем, что в жилах ее течет кровь кавалеров, и страстно влюбленная в своего молодого супруга. Ради этой любви она осмелилась пойти наперекор воле отца, сносила его горькие упреки, с колебимой стойкостью выслушивала его мрачные пророчества и наконец покинула отчий дом без отцовского благословения, гордая и счастливая, — ибо, поступив так, доказала силу чувства, наполнившего ее сердце.

*Сюрприз
для жены*

Утро после свадьбы принесло ново-брачной неприятный сюрприз: супруг отклонил ее ласки и сказал:

— Сядь. Мне нужно тебе кое-что сказать. Я тебя любил. Но это было до того, как я попросил твоего отца отдать тебя мне. Его отказ меня не огорчил — это я бы мог перенести, но то, что он тебе говорил про меня, дело иное... Молчи, можешь не возражать. Я отлично знаю, что именно он тебе говорил. Я узнал это из достоверных источников. Кроме всего прочего, он сказал, что мой характер написан на моем лице, что я лицемер, негодяй, трус, скотина, не знаю ни жалости, ни сострадания. «Седжмурское клеймо», — вот как он сказал. Всякий на моем месте отправился бы к нему в дом и застрелил его, как собаку. Я и хотел так сделать, я готов был это сделать, но тут мне пришла в голову иная мысль: опозорить его, разбить его сердце, доконать его мало-помалу. Как этого достичь? Моим отношением к тебе — его кумиру. Я решил жениться на тебе, а потом... Наберись терпения — и ты узнаешь...

*Седжмурское
клеймо*

План мести

С той самой минуты, в течение трех месяцев молодая супруга претерпевала все унижения, все оскорбления, все пытки (за исключением лишь мук физиче-

ских), какие только был способен измыслить упорный, изобретательный ум ее мужа. Гордость придавала ей сил, и она держала в тайне свои страдания. Время от времени муж осведомлялся:

— Отчего ж ты не идешь к отцу и не жалуешься ему?

Новые пытки

Затем он выдумывал новые пытки, применял их и вновь задавал жене тот же вопрос.

— Из моих уст отец никогда ничего не узнает,— неизменно отвечала она и принималась насмехаться над происхождением мужа, говоря, что она всего-навсего законная рабыня потомка рабов и вынуждена повиноваться ему, и будет повиноваться ему, но лишь до известного предела, не дальше. Он может убить ее, если ему угодно, но он ее не сломит. Седжмурскому отродью это не под силу.

Однажды, на исходе третьего месяца, муж сказал ей с мрачной угрозой в голосе:

— Я испробовал все, кроме одного... — И он умолк в ожидании ответа.

— Что ж, испробуй и это, — сказала жена с презрительной усмешкой.

*Иступление
изверга*

В полночь муж поднялся и сказал жене:

— Встань и оденься!

Она повиновалась безмолвно, как всегда. Супруг отвел ее на полмили от дома и стал привязывать к дереву у большой дороги. Несмотря на ее крики и сопротивление, ему удалось осуществить свое намерение. Потом он сунул ей в рот кляп, стегнул ее хлыстом по лицу и натравил на нее собак. Собаки сорвали с несчастной одежду, и она осталась нагой. Тогда он отогнал собак и сказал:

— Тебя найдут здесь... прохожие.

*Муж
исчезает*

Часа через три они появятся и разнесут эту новость — слышишь? Прощай! Больше ты меня не увидишь.

И он ушел.

— Я дам жизнь его ребенку, — про-
стонала несчастная. — О боже, пусть это
будет мальчик!

*Жена вызывает
к мещению*

Спустя некоторое время ее нашли фер-
меры и, как и следовало ожидать, раз-
несли весть о случившемся. Они подняли
всю округу, намереваясь линчевать зло-
дея, но птичка уже улетела. Молодая жен-
щина стала жить затворницей в доме от-
ца. Он заперся вместе с ней и с тех пор
никого не желал видеть. Гордость его
была сломлена, сердце разбито, он угасал
день ото дня, и даже родная дочь обрадо-
валась, когда смерть избавила его от стра-
даний.

Похоронив отца, она продала имение и
исчезла.

II

Новая жизнь

В 1886 году неподалеку от глухой де-
ревушки в Новой Англии в скромном доме
жила молодая женщина. Она жила одна
с маленьким мальчиком лет пяти. Сама
вела хозяйство, пресекала всякие попытки
завести с ней знакомство и не имела дру-
зей. Мясник, булочник и все прочие,
чьими услугами она пользовалась, не
могли сообщить жителям деревни ника-
ких сведений о ней, за исключением того
лишь, что ее фамилия Стилмен и что маль-
чика она называет Арчи. Никому не уда-
лось узнать, откуда она приехала, но го-
ворили, что у нее выговор южанки. У ре-
бенка не было ни друзей, ни товарищей
по играм, не было и учителя, кроме самой
матери. Мать обучала его прилежно, с

*Одиноким
ребенок*

умом, была довольна успехами сына и даже слегка гордилась ими. Однажды Арчи сказал:

— Мама, я не такой, как все дети?

— Не думаю. А что?

— Мимо нас шла девочка и спросила меня, не проходил ли почтальон, а я сказал, что проходил; она спросила, давно ли я его видел, а я сказал, что совсем его не видел. Тогда она говорит: откуда же я знаю, что проходил почтальон; а я сказал, что знаю, потому что почуял на дороге запах его следов. Тогда она сказала, что я дурак, и показала мне язык. Почему она так сделала?

*Почуял след
человека*

Молодая женщина побледнела. «Это — врожденное! — подумала она. — У него нюх ищейки!» Она привлекла ребенка к груди, сжала в объятиях и сказала: «Господь сам указал мне средство». Глаза ее горели яростным пламенем, от возбуждения она часто и тяжело дышала. «Загадка наконец-то разгадана. Сколько раз я недоумевала, каким образом ребенок умудряется отыскивать в темноте разные вещи. Теперь мне все ясно».

Нюх ищейки

Она посадила мальчика на его детский стульчик и сказала:

— Посиди немножко. Я сейчас вернусь, и мы обо всем поговорим.

Мать поднялась в свою спальню, взяла с туалетного столика несколько мелких вещей и спрятала их: пилочку для ногтей — под кровать, ножницы — под бюро, ножничек слоновой кости для разрезания бумаги — под шкаф. Потом вернулась к сыну и сказала:

*Проверка
врожденного
дара*

— Я забыла захватить с собой несколько вещей. — Она перечислила их и добавила: — Сбегай наверх, мой милый, и принеси!

Ребенок бросился выполнять поручение и вскоре принес матери все, что она просила.

— Тебе было трудно их найти?

— Нет, мамочка! Я просто ходил повсюду, куда ходила ты.

Пока мальчика не было в комнате, мать подошла к книжному шкафу, взяла с нижней полки несколько книг, открыла каждую из них, провела рукой по одной из страниц, запомнила ее, а потом поставила книги на место. На этот раз она сказала сыну:

*Испытание
в гостиной*

— Арчи, пока ты был наверху, я здесь кое-чем занималась. Как ты думаешь, что я делала?

Мальчик подошел к книжному шкафу, вынул книги, которые брала его мать, и открыл их на тех же страницах, к которым она прикасалась.

Мать посадила мальчика к себе на колени и сказала:

— А теперь, дорогой, я отвечу на твой вопрос. Я выяснила, что в одном отношении ты отличаешься от других людей. Ты видишь в темноте, ты улавливаешь запахи, которых другие не чувствуют, — словом, ты наделен свойствами ищейки. Это очень хорошие и ценные качества, но ты не должен о них никому рассказывать. Если люди об этом узнают, они будут называть тебя диковинным, чудным ребенком, а дети станут тебя обижать и дразнить. В этом мире нужно быть таким, как все, чтобы не вызвать зависть, недоброжелательство и презрение. Ты наделен замечательным даром, и это меня глубоко радует, но ты будешь держать его в тайне, — ради мамы, правда?

*Удивительный
ребенок*

Ребенок обещал ей это, не понимая, в чем дело.

*Жуткие
замыслы*

Весь тот день в мозгу молодой матери роились беспокойные мысли: голова ее была полна планов, проектов, замыслов — жутких, мрачных, черных. Но они озаряли ее лицо. Озаряли его яростным, беспощадным огнем, отблеском адского пламени. Лихорадочное возбуждение охватило ее, она не могла ни сидеть, ни стоять, ни читать, ни шить, ей становилось легче только в движении. На десятки ладов проверяла она дар своего ребенка, и все время, думая о прошлом, повторяла: «Он разбил сердце моего отца, а я все эти годы днем и ночью помышляла лишь о том, как разбить его сердце. Теперь я знаю, что надо делать. Теперь я это знаю».

*Разбить
сердце мужа*

Демон беспокойства не покинул ее и вечером. Со свечой в руке она обошла весь дом, от чердака до подвала, пряча булавки, иголки, наперстки, катушки — под подушками, под коврами, в щелях, под кучей угля в ящике; она посылала малыша отыскивать эти вещи в темноте, и он их находил и бывал горд и счастлив, когда мать хвалила его и осыпала ласками.

*Проверка про-
должается*

С той поры жизнь приобрела для нее новый смысл: «Будущее предрешено. Теперь я могу спокойно ждать и наслаждаться ожиданием». В ней снова пробудился интерес ко всему, чем она увлекалась прежде: к музыке, языкам, рисованию, живописи и другим, давно заброшенным, утехам девичьей поры. Она вновь стала счастлива, вновь обрела радость жизни. Шли годы, мать наблюдала за развитием своего ребенка и была довольна. Не всем, правда, но почти всем: ей казалось, что в сердце сына больше мягкости, нежели суровости, и в этом она видела его единственный недостаток, хоть

*Слишком
мягкое сердце*

и считала, что он целиком восполняется сыновней любовью и восторженной преданностью. Кроме того, Арчи умел ненавидеть, и это было хорошо; однако мать не была уверена в том, что его ненависть так же прочна и крепка, как любовь, а это было не слишком хорошо.

План матери

Шли годы... Арчи превратился в красивого, стройного юного атлета, учтивого, спокойного, общительного, приятного в обращении и выглядевшего, пожалуй, несколько старше своих шестнадцати лет. Однажды вечером мать сказала, что хочет сообщить ему нечто чрезвычайно важное, добавив, что теперь он достаточно взрослый, чтобы узнать обо всем, и что у него достаточно воли и характера, чтобы осуществить замысел, который она долгие годы обдумывала и вынашивала. И мать рассказала сыну о своем браке, открыв ему горькую правду во всей ее чудовищной наготе. Некоторое время ошеломленный юноша не мог произнести ни слова. Потом сказал:

*Неподходящее
возмездие*

— Я понял. Мы — южане; согласно нашим обычаям и правам, возмездие может быть лишь одно: я разыщу его и убью.

Хуже смерти

— Убьешь? О нет! Смерть — это извращение. Смерть для него была бы услугой. Мне ли оказывать ему услуги? Нет! Пусть ни единый волос не падет с его головы.

Юноша погрузился в раздумье, потом произнес:

— Ты для меня — все на свете. Твое желание для меня — закон и радость. Скажи, что надо делать, и я это сделаю.

Глаза матери засияли торжеством, и она сказала:

*Джейкоб
Фуллер*

— Ты его разыщешь. Уже одиннадцать лет я знаю, где он скрывается. Я потратила более пяти лет и уйму денег, разыскивая его. Ему принадлежит рудник в Колорадо, и он преуспевает. Живет он в Денвере. Его зовут Джейкоб Фуллер. Вот, наконец, это имя! Впервые после той роковой ночи я произнесла его вслух. Подумай только, ведь оно могло быть и твоим именем, если б я не спасла тебя от позора и не дала тебе другое, более достойное. Ты должен спугнуть Фуллера, выгнать его из Денвера; потом ты последуешь за ним и снова погонишь его дальше; и так ты будешь перегонять его с места на место, постоянно, неотступно, отравляя ему жизнь, наполняя ее таинственным ужасом, отягчая безысходной тоской, заставляя его призывать смерть и мечтать об отваге самоубийцы. Он станет вторым Агасфером. Он больше уже не будет знать ни отдыха, ни покоя, ни мирного сна. Ты будешь следовать за ним, как тень, неотвязно следить за каждым его шагом, мучить его, пока не разобьешь его сердце, так же как он разбил сердце моего отца и мое.

*Новый
Агасфер*

— Я сделаю, как ты приказываешь, мама.

*Деньги
и маскарад*

— Верю тебе, дитя мое. Все уже подготовлено. Вот чек. Пользуйся деньгами свободно, у нас их достаточно. Иногда тебе придется прибегать к маскараду. Я и об этом позаботилась, так же как и обо всем остальном.

Она вынула из столика для пишущей машинки несколько листов бумаги. На каждом из этих листов было напечатано следующее:

*Первое
объявление*

Полагаю, что в данной местности проживает некий человек, которого разыскивают в одном из восточных штатов. В 1880 году, однажды ночью, он привязал свою молодую жену к дереву у большой дороги, ударил ее по лицу хлыстом и натравил на свою жертву собак, которые сорвали с нее одежду. В таком виде он ее оставил и скрылся. Родственник пострадавшей разыскивает преступника уже 17 лет. Обращаться в... почтовое отделение. Вышеупомянутая награда будет тут же выплачена при личной встрече тому, кто сообщит разыскиваемому адрес преступника.

*Обдуманная
жестокость*

— Как только ты разыщешь его и запомнишь его запах, той же ночью ты приклеишь одно из этих объявлений на стене дома, где он живет, а другое — на здании почты или еще где-нибудь на видном месте. Это взбудоражит местное население. Поначалу ты дашь ему несколько дней сроку, пусть он распродаст имущество без особых потерь. Со временем мы разорим его, но сделаем это постепенно. Не следует разорять его сразу, ведь это может привести его в отчаяние, сказаться на здоровье и даже убить его.

Она вынула из ящика еще три или четыре листка и прочитала один из них.

... .. 18...
Джейкобу Фуллеру

В вашем распоряжении... дней для устройства дел. Вас никто не потревожит в течение этого срока, который истечет в ... часу утра, ... числа, ... месяца. Затем вы должны уехать. В случае если вы окажетесь здесь позднее указанного часа, я вывешу на всех перекрестках

объявление о вашем злодеянии, с указанием точной даты и описанием места, а также упоминанием всех имен, включая ваше. Физической расправы можете не опасаться. Это вам никогда не будет угрожать. Вы причинили невыносимые страдания старому человеку, разбили ему жизнь, свели его в могилу. Теперь вы будете страдать так же, как страдал он.

— Подписи не нужно. Помни, что он должен получить это письмо прежде, чем узнает про объявленную награду, — значит, рано утром, до того, как встанет, — иначе от страха он может сбежать без гроша в кармане.

— Хорошо, я буду помнить об этом.

— Эти бланки тебе понадобятся только вначале, быть может всего лишь раз. В дальнейшем, когда ты захочешь, чтобы он уехал, ты постарайся доставить ему вот эту записку: «Уезжайте. В вашем распоряжении ... дней». Это подействует. Наверняка.

III

Выдержки из писем к матери

Денвер, 3 апреля 1897 г.

Вот уже несколько дней я живу в той же гостинице, что и Джейкоб Фуллер. Я запомнил его запах и мог бы учуять его хоть в десяти пехотных дивизиях. Я часто бывал поблизости от него и слышал его разговоры. Он — владелец рудника, который приносит неплохой доход, но он не богат. В свое время он освоил горное дело самым правильным способом: работая простым рудокопом. Человек он веселый, жизнерадостный и легко носит груз

Отъезд

*Вблизи
жествы*

своих сорока трех лет. На вид ему значительно меньше — лет тридцать шесть, тридцать семь. В брак он больше не вступал, выдает себя за вдовца. У него хорошее положение в обществе. Его здесь любят, он окружен друзьями. Даже меня к нему влечет — должно быть, это зов родной крови. Как слепы, как безрассудны и произвольны иные законы природы, — вернее, почти все. Мое задание осложнилось. Я надеюсь, ты понимаешь меня и будешь снисходительной. Гнев мой утрачивает свой накал быстрее, чем я в этом сам себе могу признаться. Но я выполню свою задачу. Даже если радость мести угасла, остается чувство долга, и преступнику не будет пощады. Мне помогает возмущение, поднимающееся в душе всякий раз, когда я думаю о том, что он, совершивший столь гнусное преступление, — единственный, кто не пострадал из-за него. Извлеченный урок явно исправил его характер, и это позволяет ему чувствовать себя счастливым. Подумать только, он — виновная сторона — избавлен от всех мук, а ты — невинная жертва — сломлена ими. Но будь спокойна, преступник пожнет то, что посеял.

*Приятный
человек*

*Счастливый
преступник*

Серебряное Ущелье, 19 мая

Уведомление

Я вывесил бланк формы № 1 в полночь 3 апреля. Через час я подsunул ему под дверь бланк формы № 2, уведомлявший, что он должен уехать из Денвера не позднее 11.50 ночи 14-го числа.

Какой-то загулявший репортер утащил один из моих бланков, потом обрыскал весь город и утащил второй экземпляр. Таким образом, ему удалось, выражаясь профессиональным языком, «вста-

вить фитиль» другим газетам, то есть раздобыть ценный материал, обскакав других газетчиков. И вот наутро его газета, задающая в этом городе тон, крупным шрифтом напечатала наше объявление на первой полосе, присовокупив целый столбец поистине вулканических комментариев в адрес нашего негодяя, которые заканчивались обещанием добавить тысячу долларов к объявленной награде за счет газеты! В здешних краях пресса умеет проявить великодушие, когда на этом можно сделать бизнес.

За завтраком я сел на свое обычное место, которое выбрал с таким расчетом, чтобы видеть лицо папы Фуллера и слышать, о чем говорят за его столом. В зале присутствовало человек семьдесят пять — сто, и все они были заняты обсуждением статьи и выражали надежду, что родственнику пострадавшей удастся найти преступника и избавить город от скверны с помощью перьев, дегтя, жерди или пули или еще каких-либо иных средств.

Когда в зал вошел Фуллер, в одной руке у него был сложенный вдвое листок — уведомление о выезде, в другой руке — газета. При виде его мне стало более чем не по себе. Веселости его как не бывало. Он выглядел постаревшим, похудевшим, мертвенно-бледным, а кроме того, — подумай только, мама, что ему приходилось выслушивать! Он слушал, как друзья, ни о чем не подозревая, награждают его эпитетами, заимствованными из словарей и фразеологических справочников авторизованного собрания сочинений самого сатаны. Более того, он должен был соглашаться с этими суждениями о собственной персоне и одобрять их, но эти одобрения горечью отдавались

*С помощью
дегтя или
пули*

*Осыпает себя
проклятьями*

у него во рту. От меня-то он не мог этого скрыть. Было заметно также, что у него пропал аппетит. Он только ковырял в своей тарелке, но не мог проглотить ни куска. Наконец один из его друзей сказал:

— Вполне возможно, что родственник пострадавшей присутствует здесь в зале и слышит, что думает наш город об этом неслыханном мерзавце. Я надеюсь, что это так.

Ах, мама! Просто больно было смотреть на беднягу, когда при этих словах он передернулся и в страхе стал озираться по сторонам. Не в силах дольше терпеть, он поднялся и ушел.

Распродажа

На той же неделе Фуллер распустил слух, что купил рудник в Мексике и что хочет продать свою собственность и как можно скорее поехать туда, чтобы лично руководить делом. Игру он повел ловко. Сначала он запросил сорок тысяч долларов, из них — четвертую часть наличными, остальное — векселями, но так как деньги ему нужны срочно, то он соглашался уступить, если ему заплатят всю сумму наличными. Таким образом, он продал свой рудник за тридцать тысяч долларов. И что же, ты думаешь, он заявил после этого? Он захотел, чтобы ему заплатили ассигнациями, сказав, что бывший хозяин рудника в Мексике родом из Новой Англии и большой чудак, начиненный всевозможными причудами, что он предпочитает бумажные деньги золоту или даже чекам. Людям это показалось странным: ведь в случае необходимости бумажные доллары можно получить по чеку в Нью-Йоркском банке. На эту тему велись разговоры, но только в течение одного дня. Дольше одного дня в Денвере ни на одну тему не говорят.

Я все время следил за Фуллером. С тех пор как он совершил продажу и получил деньги, что произошло 11-го числа, я ни на секунду не терял его следов. В тот же день — нет, вернее 12-го, потому что было уже за полночь, — я выследил Фуллера до самых дверей его номера — четвертая дверь от моей, в том же коридоре. Потом я зашел к себе, надел грязную одежду — костюм рудокопа-поденщика, вымазал лицо, приготовил дорожный мешок со сменой белья, сел, не зажигая света, у себя в номере, отворил дверь и стал ждать. Я подозревал, что птичка вскоре пустится в полет. Полчаса спустя мимо моей двери прошла какая-то старушка с саквояжем, и я тут же учуял знакомый запах. Прихватив мешок, я последовал за ней, потому что это был Фуллер. Он вышел из гостиницы через боковой ход, свернул в тихую, безлюдную улочку, прошел три квартала, скрытый тонкой сеткой дождя и плотным покровом ночи, и сел в запряженный парой лошадей экипаж, который, разумеется, был заказан заранее. Я же без приглашения уселся на багажник, и мы покатали. Так мы проехали десять миль. Коляска остановилась у станции, где Фуллер расплатился с кучером. Он вылез из коляски и уселся под навесом на тачку, в самом темном углу. Я вошел в помещение станции и стал наблюдать за кассой. Но билета Фуллер не купил, и я тоже. Вскоре подошел поезд. Фуллер влез в вагон. Я влез в тот же вагон, но с другого конца, прошел по проходу и сел позади Фуллера. После того как он уплатил кондуктору и назвал место, куда едет, я, пока кондуктор давал сдачу, пересел подальше. Когда кондуктор подошел ко мне, я взял би-

лет до того же места, находившегося в сотне миль на запад.

*Фальшивые
усы*

*Живет
в хибарке*

Целую неделю Фуллер гонял меня без передышки. Он переезжал с места на место — все дальше и дальше на запад, но с первого же дня уже в мужском костюме. Он выдавал себя за рудокопа-поденщика, как и я, и приклеивал густые усы и бороду. Это была отличная маскировка, и он играл свою роль без всякого напряжения — ведь у него же опыт в этой профессии. Близкий друг и тот не узнал бы его. Наконец он остановился здесь, в самом неприметном, маленьком приисковом поселке Монтаны. У него есть хибарка, ежедневно он отправляется разведывать жилу. Возвращается он только вечером, держится особняком. Я живу в бараке рудокопов; это страшная берлога: нары, отвратительная пища, грязь...

Мы живем здесь уже месяц, и за это время я встретил его только раз, но каждую ночь я хожу по его следам, а потом стою на сторожевом посту. Как только он снял здесь хижину, я отправился в город, расположенный в пятидесяти милях отсюда, и телеграфировал в Денвер, чтобы в гостинице хранили мой багаж, пока я за ним не пришло. Мне здесь ничего не нужно, кроме смены рабочих рубаш, а они у меня есть.

Серебряное Ущелье, 12 июня

*Фуллер
спокоен*

Слухи о происшествии в Денвере сюда, как видно, не дошли. Я знаком почти со всеми жителями поселка, и никто ни разу не упоминал об этом, во всяком случае в моем присутствии. Фуллер наверняка чувствует себя здесь в безопасности. Он застолбил участок в двух милях от поселка,

в укромном месте в горах. Участок обещает быть богатым, и Фуллер усердно трудится. Но если бы ты видела, как он изменился! Он никогда не улыбается, держится замкнуто, ни с кем не разговаривает. И это — он, который всего лишь два месяца тому назад так любил общество, был таким весельчаком.

*Поникший
и одинокий*

Несколько раз я видел, как он проходил мимо, тяжело ступая, поникший, одинокий, — трагически жалкая фигура. Здесь он назвался Дэвидом Уилсоном.

Я могу быть уверен, что он останется здесь, пока мы его не потревожим. Если ты настаиваешь, я погоню его дальше. Но, право, не понимаю, как он может стать несчастнее, чем теперь? Я вернусь в Денвер и побалую себя небольшой дозой комфорта: съедобной пищей, хорошей кроватью, чистотой; затем я захвачу свой багаж и уведомяу бедного папу Уилсона о том, что ему пора в путь.

Денвер, 19 июня

В городе о нем скучают. Все друзья надеются, что он преуспевает в Мексике, и желают этого не только на словах, но и от всего сердца. Это же всегда можно почувствовать! Признаюсь, я слишком долго прохлаждаюсь в городе, но будь ты на моем месте, ты была бы снисходительней. Знаю, что ты ответишь мне, и ты права: «Будь я на *твоем* месте, и если б мое сердце жгли воспоминания...» Завтра же ночным поездом отправляюсь обратно.

*Всеобщее
созжаление*

Денвер, 20 июня

*По ложному
следу*

Да простит нас господь, мама, мы идем по ложному следу! Этой ночью я не сомкнул глаз. Сейчас, на рассвете, я до-

жидаясь утреннего поезда. И медленно, ах, как медленно тянутся минуты...

*Не
преступник*

Этот Джейкоб Фуллер — двоюродный брат того, преступника. До чего же с нашей стороны было глупо не подумать о том, что преступник никогда бы не стал жить под своим именем после столь зверского злодеяния! Денверский Фуллер на четыре года моложе нашего, он приехал в Денвер в семьдесят девятом, будучи молодым вдовцом двадцати одного года, — стало быть, за целых двенадцать месяцев до твоего замужества. Это можно доказать бесчисленными документами. Вчера вечером я беседовал с его близкими друзьями, которые знакомы с ним со дня его приезда. Я ни о чем не рассказал им, но через несколько дней я доставлю Фуллера обратно и возмещу убытки, которые он потерпел после продажи рудника. А потом я устрою банкет и факельное шествие, и все это — за мой счет. Ты назовешь это безрассудством юности, но ведь я, как ты знаешь, еще юнец, не суди меня слишком строго. Со временем я образумлюсь.

Серебряное Ущелье, 3 июля

*Бесследное
исчезновение*

Мама, он исчез! Исчез, не оставив и следа. Когда я приехал, запах его уже пропал. Сегодня я впервые поднялся с постели. О, если б я не был так молод, я бы легче переносил удары судьбы. В поселке думают, что он отправился дальше на запад. Сегодня вечером я выезжаю. До станции два-три часа на лошадях, потом — поездом. Куда поеду — еще не знаю, но я должен ехать. Сидеть на месте было бы пыткой.

Он, разумеется, изменил имя и внешность. Это значит, что *мне, быть может,*

придется обыскать весь земной шар. Право же, мама, я это предвижу. Теперь я сам стал вторым Агасфером. О, ирония судьбы! Мы готовили эту участь для другого!

Подумай, как все теперь осложнилось! И как все было бы просто, если бы его можно было оповестить объявлением в газете! Но если есть способ, как уведомить его, не спугнув, то я такого не нашел, хотя и думал до полного отупения. «Если джентльмен, недавно купивший рудник в Мексике и продавший свой рудник в Денвере, сообщит адрес... (кому, мама?)... то ему расскажут, что произошла ошибка; у него попросят извинения и возместят убытки, которые он потерпел в связи с одним делом». Понимаешь? Он же подумает, что это ловушка; да и каждый бы так подумал. А что если написать: «Выяснилось, что он не тот человек, которого разыскивали, и что он его однофамилец, изменивший свое имя по вполне убедительным причинам». Так годится? Но ведь тогда жители Денвера всполошатся, скажут: «Ага!» — и вспомнят о подозрительных ассигнациях. «Почему же Фуллер сбежал, если он не тот человек?» — спросят они. Нет, все это шито белыми нитками. Если же мне удастся найти Фуллера, то его репутация в Денвере погибнет, а сейчас она незапятнана. Ты умнее меня, мама, помоги мне.

У меня есть только одна нить в руках, всего лишь одна: я знаю его почерк. Если он запишет свое вымышленное имя в регистрационной книге гостиницы и не слишком изменит почерк, то было бы очень удачно, если бы оно мне попало на глаза.

Не тот

Новая неудача

*С места
на место*

Ты уже знаешь, что в поисках Фуллера я объездил штаты от Колорадо до Тихого Океана и что однажды чуть-чуть не настиг его. А теперь еще одна неудача. Это произошло здесь, вчера. Я учуял его след, свежий след, и бегом помчался по этому следу, который привел меня к дешевой гостинице. Это был жестокий промах — собака свернула бы в другую сторону, но я ведь только отчасти собака и имею право проявить вполне человеческую бестолковость. Фуллер прожил в этой гостинице десять дней. Теперь я почти уверен, что он в течение последних шести или восьми месяцев нигде не останавливался подолгу, — что-то все время побуждает его переезжать с места на место. Я понимаю это чувство и знаю, что значит его испытывать. Он все еще носит имя, которое записал в книге гостиницы, когда я почти настиг его девять месяцев тому назад, — Джеймс Уокер. Он, должно быть, назвался так после того, как скрылся из Серебряного Ущелья. Человек он простой и равнодушен к пышным именам. Я узнал его слегка измененный почерк без труда, — ведь он натура прямая, честная, не привыкшая к фальши и обману.

*Стареющий
преступник*

Мне сказали, что он только что уехал, не оставив адреса. Он не сообщил, куда едет, и когда его попросили оставить адрес, явно испугался. У него не было с собой багажа, кроме дешевого саквояжа, который он и унес с собой. «Старый скряга — небольшая потеря для гостиницы!..» Старый! Должно быть, теперь он стал таким. Я едва дослушал то, что мне говорили. В гостинице я пробыл всего лишь минуту и помчался по следу, который

привел меня к пристани. О мама! Дымок парохода, на котором он отплыл, еще таял на горизонте. Я выиграл бы целых полчаса, если бы с самого начала побежал в ту сторону. Я мог бы нанять мощный катер и постарался бы нагнать судно, — оно держит курс на Мельбурн.

*Каньон Надежды.
Калифорния, 3 октября 1900 г.*

У тебя есть все основания сетовать: «по одному письму в год!». Это, конечно, ничтожно мало, согласен, но как можно писать тебе, если, кроме как о неудачах, сообщать не о чем? Это у всякого бы отбило охоту, так можно дойти до отчаяния.

*Погоня по
всему свету*

Помнится, я писал тебе, — теперь мне кажется, что с тех пор прошло уже целое столетие, — что я не догнал его в Мельбурне и потом гонялся за ним по Австралии несколько месяцев подряд. Затем я поехал за ним следом в Индию, чуть было не нагнал его в Бомбее, следовал за ним повсюду — в Бароду, в Равалпинди, Лакхнау, Лахор, Канпур, Аллахабад, Калькутту, Мадрас — о, всюду! Неделью за неделей, месяц за месяцем — в пыли, под палящим солнцем, почти всегда в верном направлении, иной раз почти настигая его, но так ни разу и не настигнув. Я был на Цейлоне, а потом... впрочем, в дальнейшем я обо всем этом напишу подробно.

*Снова
в Калифорнии*

Я погнался за ним обратно в Калифорнию, потом — в Мексику и снова в Калифорнию; затем я охотился за ним по всему штату с первого января вплоть до прошлого месяца. Я почти уверен, что он находится где-то неподалеку от каньона Надежды. Я выследил его до одного ме-

ста, в тридцати милях отсюда, но потом упустил. Верно, кто-нибудь подвез его.

Сейчас я отдыхаю, время от времени занимаясь поисками потерянного следа. Я был смертельно измучен, мама, удручен, порою чересчур близок к отчаянию. Но рудокопы в этом маленьком поселке — славные ребята, и я за это время к ним привязался, а их веселый жизнерадостный нрав подбадривает меня и помогает мне забыть все невзгоды. Я провел здесь уже целый месяц. Живу я в хижине, вместе с одним молодым человеком, которого зовут Сэмми Хильер. Ему лет двадцать пять; он единственный сын, и этим похож на меня; горячо любит свою мать и пишет ей письма каждую неделю. В этом он лишь отчасти похож на меня. Сэмми — существо робкое, а что касается ума, то... он явно не из тех, кто хватает звезды с неба, но в поселке его любят. Он милый, добрый малый, и когда я беседую с ним, то снова чувствую дружеское участие и поддержку, а это теперь для меня — и хлеб насущный, и отдых, и комфорт. Я бы хотел, чтобы подобное чувство согревало «Джеймса Уокера». Ведь и у него были друзья, он так любил общество. Перед моими глазами встает картина нашей последней встречи в Денвере, весь трагизм ее! И в тот самый миг я принуждал себя заставить его уехать!

Сердце у Сэмми Хильера добрее, чем у меня; мне думается — у него самое доброе сердце в поселке: ведь Сэмми единственный друг паршивой овцы нашего лагеря — некоего Флинта Бакнера и единственный человек, с которым Флинт разговаривает и кому разрешает с собою разговаривать. Сэмми сказал мне, что знает жизнь Флинта и что горе сделало его

*Сэмми
Хильер*

*Паршивая
овца*

таким, каков он есть, и поэтому к нему следует относиться участливо. Право же, только в весьма вместительном сердце можно отыскать уголок и поселить в нем такого жильца, как Флинт Бакнер, если учесть все, что я о нем слышу. Пожалуй, эта маленькая деталь может дать тебе большее представление о характере Сэмми Хильера, чем самое подробное описание его. Однажды, беседуя со мной, Хильер сказал примерно так:

Несчастный

— Флинт — мой дальний родственник, и он поверяет мне все свои горести. Так он облегчает сердце, а то бы оно у него лопнуло. Знай, Арчи Стилмен, нет на свете человека несчастнее Флинта Бакнера. Вся его жизнь — сплошные душевные муки; выглядит он куда старше своих лет, давным-давно он потерял покой. Никогда ему не улыбалось счастье, и он часто повторяет, что жизнь его все равно сущий ад и уж лучше бы ему поскорее отправиться к чертям в пекло.

IV

*Настоящий джентльмен
не позволит себе говорить го-
лую правду в присутствии
дам.*

*Прекрасные
дни
и прекрасные
слова*

Свежее, живительное утро в начале октября. Сирень и золотой дождь, озаренные победными кострами осени, сплетаясь, пылали над землей, словно волшебный мост, возведенный доброй природой для обитающих на верхушках деревьев бескрылых созданий, дабы они могли общаться друг с другом. Лиственницы и гранаты разливали по лесным склонам искрометные потоки пурпурного и желтого пламени. Дурманивший аромат бес-

*Еще более
прекрасные
дни и слова*

численных эфемерных цветов насыщал дремотный воздух. Высоко в ясной синеве один-единственный аузофагус застыл на неподвижных крылах. Всюду царили тишина, безмятежность, мир божий.

Время действия — тысяча девятисотый год, октябрь. Место действия — каньон Надежды, серебряный прииск в глубине округа Эсмеральда. Это уединенный уголок высоко в горах, вдали от дороги. Открыли его недавно. Обитатели считают, что здесь скрыты богатые месторождения серебра и что год-другой разведывательных работ внесет в этот вопрос полную ясность в ту или другую сторону. В поселке живут две сотни старателей, одна белая женщина с ребенком, несколько китайцев-прачек, пять индианок и дюжина бродячих индейцев в одеяниях из кроличьих шкурок, в потрепанных широкополых шляпах и ожерельях из жести от консервных банок. Здесь еще нет обогатительной фабрики, нет церкви и нет газеты. Поселок существует всего лишь два года. Он еще не заставил говорить о себе. Миру еще неизвестно его название и местонахождение.

По обе стороны каньона, точно стены, тянутся горы в три тысячи футов высотой. Длинная цепь беспорядочно разбросанных хижин вьется по его дну, лишь раз в сутки устаиваясь поцелуя солнца, когда оно в полдень, выходя из-за одной горной гряды, переваливает за другую. Поселок протянулся мили на две в длину. Хижины расположены далеко друг от друга. Единственный рубленый дом — трактир. Можно сказать — это вообще единственный дом в поселке. Он стоит в самом центре и служит местом вечернего отдыха для здешнего населения. В трактире пьют, играют в карты и в домино.

Новый поселок

Трактир

Играют и на бильярде, ибо там имеется стол под зеленым сукном — сплошные дыры, залепленные пластырем. Есть и несколько киев, только без кожи на конце, и выщербленные шары, которые катятся со страшным грохотом и ни с того ни с сего останавливаются где-то посередине стола. Есть там и брусочек мела, из которого торчит кусок кремня. Тому, кто умудрится положить шесть шаров с одного кия, дается право выпить и угостить всю компанию за счет заведения.

Лачуга Флинта Бакнера последняя на южной окраине поселка, а его участок — с северной стороны, чуть подалее последней хижины на другом краю. Флинт Бакнер — мрачная личность. Он необщителен. Друзей у него нет. Тот, кто пытался с ним познакомиться, жалеет об этом. Прошлого Бакнера никому не известно. Иные полагают, что оно известно Сэмми Хильеру, другие в этом сомневаются. Если спрашивают самого Хильера, то он отвечает отрицательно, заявляя, что о Бакнере он ровным счетом ничего не знает. У Флинта Бакнера есть подручный — кроткий юноша лет семнадцати, англичанин, с которым он очень дурно обращается на людях и без людей. Разумеется, пытались расспросить и этого паренька, но безуспешно. Фетлок Джонс — так зовут юношу, — говорил, что повстречался с Флинтом, когда искал жилу. В Америке нет у него ни родных, ни друзей, вот он и терпит грубое обращение Флинта ради жалованья, состоящего из копченой свинины и бобов. И больше от этого парня ничего нельзя добиться.

Фетлок пребывал в рабстве у Флинта Бакнера уже целый месяц. С виду робкий и тихий, он медленно чах от оскорб-

*Мрачная
личность*

*Жалованье —
копченая
свинина
и бобы*

лений и унижений. Ведь кроткие натуры страдают особенно жестоко, может быть сильнее, чем натуры более грубые, — те могут хотя бы вспылить и облегчить душу с помощью ругани или кулаков, когда последняя капля переполнит чашу терпения. Доброжелатели хотели выручить Фетлока из беды и не раз пытались уговорить его уйти от Бакнера, но юноше было страшно даже подумать об этом, и он неизменно отвечал: «О нет!». Пэт Райли, уговаривая Фетлока, как-то сказал:

— А ну, бросай своего паршивого скареда — будь он проклят! — и переходи ко мне. Не бойся, я с ним управлюсь.

Бойтсся ийти

Юноша поблагодарил его со слезами на глазах, но, содрогнувшись, сказал, что «бойтсся так рисковать»; и еще добавил, что Флинт когда-нибудь поймает его один на один ночью — и тогда...

— Ох, мистер Райли! Только подумаю об этом, и мне становится худо.

Другие говорили:

— Удери от него! А мы поможем. Махни-ка ночью к побережью.

Однако все эти предложения не имели успеха. Фетлок говорил, что Флинт погонится за ним и притащит его обратно, просто так, по злобности своего характера.

Люди только диву давались. Мучениям юноши не было конца, и так проходила неделя за неделей. Вполне возможно, что люди перестали бы удивляться, если бы узнали, чем Фетлок заполнял свой досуг. Он ночевал в сарайчике возле лачуги Флинта и по ночам, пересчитывая свои синяки и обиды, ломал голову все над одной и той же проблемой: как убить Флинта Бакнера и не быть уличенным в убийстве. Это была единственная отрада его жизни. Только этих часов он ждал с ли-

*Проблема
убийства*

хорадочным нетерпением, только в эти часы бывал счастлив.

Сперва он думал применить яд. Нет — яд не годится! Ведь при дознании установят, где и кто достал отраву. А может, выстрелить в спину из-за угла, когда Флинт, неизменно в полночь, направляется домой? Нет... Что, если кто-нибудь окажется поблизости и схватит его? Зарезать Флинта, когда он спит? А вдруг он не сразит его одним ударом и Флинт вцепится в него? Фетлок обдумал сотни различных способов, но ни один из них не годился, потому что даже в самом хитроумном таился роковой изъян — риск, возможность разоблачения. Нет, нужно найти что-нибудь другое.

Фетлок проявлял терпение, бесконечное терпение. «Только не спешить», — говорил он себе. Он покинет Флинта Бакнера не раньше, чем увидит его труп! И не к чему спешить, подходящий способ убийства будет найден. Где-то же есть такой способ... Он готов сносить побои, влачить это жалкое существование, пока не отыщет его. Да, да, должен быть способ, при котором убийца не оставит ни следа, ни малейшей улики. Только не спешить! Он найдет этот способ, и тогда — о, как хорошо тогда будет жить на свете! А покамест нужно всеми силами поддерживать свою репутацию тихони, и впредь, как и до сих пор, никто никогда не услышит от него ни единого недоброжелательного слова о Флинте Бакнере.

За два дня до вышеупомянутого октябрьского утра Флинт Бакнер сделал кое-какие закупки и вместе с Фетлоком принес их в хижину: коробку со свечами они поставили в угол, жестяную банку с порохом положили на коробку со свечами,

*Риск
при убийстве*

*Месть
терпелива*

а бочонок с порохом поместили под койкой Флинта; огромное кольцо запального шнура повесили на крюк. Фетлок решил, что рытье мягкой породы на участке Флинта уже закончено и пора переходить к взрывным работам. Он уже видел, как взрывают породу, и кое-что смыслил в этом деле, только самому еще не приходилось этим заниматься. Догадка его оправдалась — настало время приступать к взрывным работам. Наутро хозяин и подручный отнесли к шахте шнур, бур и жестянку с порохом. Яма была уже в восемь футов глубиной, и чтобы забраться в нее, пользовались приставной лестницей. Они спустились в яму, и Флинт Бакнер приказал Фетлоку держать бур, даже не объяснив ему, как с ним надо обращаться, а сам занес молот. От первого же удара бур выскочил из рук Фетлока, словно так и положено.

— Образина! Ублюдок черномазой! Кто же так держит бур? Подними его! Наставь опять! Держи! Прокля... Нет, я тебя выучу!

Спустя час шурф был пробит.

— Теперь заряжай!

Юноша стал засыпать порох.

— Болван!

Страшный удар в челюсть свалил Фетлока с ног.

— Поднимайся! Нечего скулить! *Сперва* засунь шнур. А теперь сыпь порох. Стой! Стой! Ты, как видно, решил засыпать его до полна? Из всех безмозглых молокососов, которых я... Подсыпь земли! А теперь песку! Примни! Стой, стой! О, дьявол!..

Флинт схватил железную чушку и сам стал уминать заряд, чертыхаясь и богохульствуя, словно одержимый. Затем он

поджег шнур, вылез из шахты и отбежал на пятьдесят ярдов, Фетлок — за ним. Несколько минут они стояли и ждали. И вот с громовым грохотом в воздух взлетело огромное облако дыма и щебня, затем на землю обрушился каменный ливень, и вновь воцарилась безмятежная тишина.

— Жаль, что тебя там не было, — заметил хозяин. Они снова спустились в шахту, расчистили ее, пробили еще один шурф и вновь его зарядили.

— Эй, сколько шнура ты собираешься загубить зря? Ты что, не знаешь, сколько надо отмерить?

*Отмеривание
шнура*

— Не знаю, сэр.

— Ах, не знаешь! Нет, этакое я за всю свою жизнь не видывал!

И Флинт Бакнер вылез из шахты, крикнув Фетлоку:

— Эй, болван! Ты что, весь день там намерен торчать? Отрежь шнур и поджигай!

Несчастный, весь дрожа, взмолился:

— Помилуйте, сэр, я...

— Ты смеешь перечить *мне*? Режь шнур и поджигай!

Юноша выполнил приказание.

— Д-д-д-дьявол! Это называется отрезал! Всего минута до взрыва! Да что б тебя тут...

В ярости Флинт Бакнер рывком вытащил из ямы лестницу и пустился бежать. Юноша оцепенел от ужаса.

— О господи! На помощь! Спасите! Спасите! — молил он. — Что мне делать? Что мне делать?

Он так и вжался в стену шахты, услышав, как потрескивает шнур, лишившись голоса, едва дыша. В полном оцепенении стоял он и смотрел на шнур.

*На краю
гибели*

Через две — три — четыре секунды, разорванный в клочья, он взлетит в воздух. И вдруг его осенило. Он кинулся к шнуру и оторвал конец, торчавший наружу. Спасен! Полумертвый от пережитого страха, обессиленный, Фетлок рухнул на землю, и все же успел радостно прошептать:

*Фетлок
находит
способ*

— Он сам научил меня! Я же знал, что найду способ, если буду терпеливо ждать.

Минут через пять Флинт Бакнер, смущенный и встревоженный, подкрался к шахте и заглянул в нее. Сразу поняв, что произошло, он спустил лестницу, и Фетлок с трудом выбрался наверх. Юноша был смертельно бледен. Вид подручного усугубил смущение Флинта Бакнера, и он, изобразив на лице участие и даже раскаяние, отчего физиономия его по недостатку опыта в выражении подобных чувств выглядела весьма необычно, сказал:

— Это все вышло случайно. Смотри, никому не рассказывай. От волнения я сам не знал, что делаю. А ты что-то плохо выглядишь. Хватит с тебя, сегодня ты достаточно поработал. Иди домой, поешь, чего захочешь, и отдохни. Это была просто оплошность от волнения.

*Кое-чему
научился*

— Ох, и натерпелся же я страху, — ответил юноша. — Но я кое-чему научился и не жалею об этом.

— Ни черта не стоит его ублажить, — пробормотал Флинт, провожая взглядом своего подручного. — Хотел бы я знать, проболтается он или нет? Жалко, что он уцелел.

Но Фетлок воспользовался свободным временем отнюдь не для отдыха: нетерпеливо, лихорадочно, радостно он принялся за работу. По склону горы, прямо

до самой хижины Флинта спускались густые заросли чапарраля. Основная работа велась в темном лабиринте этих густых и цепких зарослей. Остальное — в сарайчике. Наконец, когда все было закончено, Фетлок произнес:

— Если он боится, что я на него пожалуюсь, то завтра же его опасения рассеются. Он увидит, что я такой же теленок, как и всегда, и таким я буду для него весь завтрашний день. Еще один день... А послезавтра ночью все будет кончено, и ни одна собака не догадается, кто его убил и как это было сделано. И ведь надо же — он сам подал мне эту мысль!

V

Вот и следующий день наступил и кончился.

Почти полночь. Через пять минут начнется новый день. Действие происходит в бильярдной. Грубые люди — в грубой одежде, в широкополых шляпах, в брюках, заправленных в сапоги, некоторые в жилетах, но все без курток — собрались вокруг железной печурки с ружьями боками, дарящей благодатное тепло. Стучат бильярдные шары. И больше в доме ничего не слышно. А за окном уныло стонет ветер. Собравшиеся явно скучают и вместе с тем чего-то ждут. Пожилой старатель, неуклюжий, широкоплечий, с седеющими усами и угрюмыми глазами на угрюмом лице, поднимается, вешает на руку моток запального шнура, собирает еще кое-какие вещи и уходит, ни с кем не попрощавшись. Это — Флинт Бакнер. Как только затворяется дверь, раздается гул голосов.

— Самый точный человек на свете, — замечает Джейк Паркер, кузнец. — Раз он поднялся, значит ровно полночь, можете не смотреть на часы.

— И, сдается мне, это его единственная добродетель, — говорит Питер Хоус, старатель.

— Черное пятно на всем нашем обществе, — говорит Фергюсон, рабочий компании «Уэллс-Фарго». — Будь я тут хозяин, у меня бы он раскрыл рот, а иначе проваливай подобра-поздорову! — И он кинул выразительный взгляд на трактирщика; но тот счел за лучшее его не заметить, потому что человек, о котором шла речь, был выгодным гостем и каждую ночь уходил домой, изрядно подзаправившись у стойки.

— Послушайте, ребята! — обратился к компании Хэм Сэндвич, старатель. — А вы можете припомнить, чтобы он кого-нибудь из вас хоть разок пригласил выпить?

— Кто?! Флинт Бакнер?! Святая Мария!

Эти саркастические реплики прозвучали в мощном хоре возмущенных голосов. После короткой паузы старатель Пэт Райли заявил:

— Этот тип — сплошная головоломка, и его подручный ему под стать. Никак не могу их раскусить.

— А кто же может? — сказал Хэм Сэндвич. — Если эти двое — головоломки, то что ты скажешь о третьем? Коли зашла речь о первосортной сногшибательной таинственности, так он их обоих заткнет за пояс. Ничего себе загадочка! А?

— Еще бы!

Все присоединились к этому мнению. Все, за исключением одного человека, который был новичком в поселке. Звали его

Питерсон. Он заказал выпивку на всех и спросил, кто же этот таинственный номер три. Ответ последовал немедленно: Арчи Стилмен!

— Он — таинственная личность?

Таинственный юнец

— Таинственная личность! Он спрашивает про Арчи Стилмена? — воскликнул Фергюсон. — Да по сравнению с ним четвертое измерение — пустячок! (Фергюсон был человек образованный.)

Питерсону захотелось узнать о местном чуде как можно подробнее. И разумеется, все захотели удовлетворить его желание, а поэтому все заговорили разом. Но тогда Билли Стивенс, хозяин заведения, призвал общество к порядку: уж лучше пускай говорят по очереди. Он налил каждому по рюмке и велел начать Фергюсону.

— Ну, во-первых, он еще малец, и это вроде бы все, что мы о нем знаем. Можешь качать из него, пока не выдохнешься, и все без толку: все равно ничего не выкачаешь — ни о его планах, ни о его профессии. А что до каких-нибудь подробностей про его главную тайну, тут и думать нечего, — он просто переводит разговор на другое, вот и все. А тебе остается гадать и гадать, пока не посинеешь от натуги, — это пожалуйста! Ну, а толку? Ни малейшего.

*Ничего
не выкачаешь*

— Что же это за тайна?

— Не то зрение, не то слух, не то чутье, не то колдовство. На выбор — что кому по вкусу; со взрослых — двадцать пять, детям и слугам — за полцены. А теперь послушайте, что он умеет делать. Вы можете уйти отсюда и скрыться. Пойдите куда-нибудь и спрячьтесь, все равно где. И он тут же, прямым ходом, направится за вами и ткнет в вас пальцем.

*От него
не скроешься*

— Что вы говорите?!

— То, что вы слышите. Погода ему липочем. Природные условия липочем. Он их даже не замечает.

— Да ну! А темнота? А дождь, снег?

— Все равно. Ему на это плевать.

— Подумайте! А туман?

— Туман!.. Его взгляд пробивает туман, как пуля.

— Ну, ребята, честное слово, — что он мне тут заливает?!

— Все — истинная правда! — грянул хор голосов. — Шпарь дальше!

— Так вот, сэр: к примеру, он может сидеть здесь в компании, а вы украдкой отправитесь отсюда в любую хижину и откроете книгу — да, сэр, хоть целую дюжину книг — и запомните номер страницы; и Арчи потом по вашему следу отправится в то самое место, где вы находитесь, откроет каждую книгу на той самой странице, назовет тот самый номер и никогда не ошибется.

Дьявол

— Что же он — сам дьявол?

— Да уж это многим приходило в голову. А теперь я расскажу вам про него удивительную историю. Позавчера вечером он...

В этот миг снаружи послышался шум, дверь распахнулась, и в зал ворвалась возбужденная толпа, возглавляемая единственной белой женщиной в поселке, кричавшей:

— Мой ребенок, моя девочка! Она пропала! Ради господ бога, помогите мне разыскать Арчи Стилмена! Мы нигде не можем его найти!

И тут хозяин заведения сказал:

— Присядьте, миссис Хоган! Сядьте и успокойтесь! Три часа тому назад Арчи заказал постель и лег спать. Видно, очень устал — как всегда, целый день таскался

*Ночью
исчезает
ребенок*

по глухим тропам в горах. Хэм Сэндвич, сбегай-ка наверх и разбуди его. Он в четырнадцатом номере.

Вскоре юноша спустился вниз в боевой готовности и попросил миссис Хоган рассказать, как все произошло.

*Странное
исчезновение*

— Ах ты мой дорогой! Рассказывать-то мне нечего. Я сама была бы рада хоть что-нибудь знать. В семь часов я уложила ее спать, а когда сама собралась лечь, вижу — она исчезла. Бросилась я, золотце, в твою хижину, но тебя там не было, потом искала тебя, заглядывала в каждую лачугу внизу, а теперь вот поднялась сюда. Ох, как я извелась от страха и тоски! Но, слава богу, наконец-то я тебя нашла, а уж ты найдешь моего ребенка. Идем же, идем скорее!

— Немедленно, сударыня! Я иду с вами. Сперва мы зайдем к вам домой.

Все устремились за ними, чтобы принять участие в поисках. Южная половина поселка уже была на ногах — добрая сотня людей маячила у трактира сплошной темной массой, в которую были вкраплены мерцающие огоньки фонарей. Вся эта толпа распалась на шеренги по три-четыре человека, чтобы удобнее было идти по узкой дороге, и колонна быстрым маршем направилась к южной окраине поселка следом за своими предводителями. Через несколько минут они достигли жилья миссис Хоган.

*Поиски
начались*

— Вот койка, — сказала миссис Хоган, — тут лежала моя девочка! В семь часов я уложила ее спать, а где она теперь — одному господу ведомо.

— Дайте-ка фонарь, — сказал Арчи.

Поставив фонарь на твердый глинобитный пол, он нагнулся, делая вид, что внимательно осматривает его.

— Вот ее след, — сказал он и в нескольких местах коснулся пальцем земли. — Вот тут, там и вон там... Видите?

След найден

Несколько человек опустилось на колени, изо всех сил стараясь хоть что-нибудь разглядеть. Кое-кому показалось, что они действительно различают нечто вроде следа; но остальные качали головой и чистосердечно признавались, что на твердой, гладкой поверхности нет таких следов, которые в состоянии были бы разглядеть их глаза.

Один из них сказал так:

— Возможно, что ножка ребенка оставила тут какой-то след, но каким образом — не понимаю.

Юный Стилмен вышел из хижины, осветил фонарем землю, повернул налево, прошел три шага, все время внимательно вглядываясь.

— Я вижу, куда ведет след, — сказал он. — Эй, кто-нибудь, подержите фонарь! — и быстро зашагал в южном направлении, а за ним, извиваясь по тропам глубокого ущелья, двинулась вся колонна сопровождающих.

По невидимому следу

Так они прошли целую милю и достигли выхода из каньона. Перед ними лежала равнина, заросшая полынью, тусклая, бесконечная, призрачная...

Арчи Стилмен дал команду остановиться.

— Теперь главное — не сбиться с пути! — сказал он. — Нужно опять найти след.

Он взял фонарь и прошел шагов двадцать, разглядывая землю. Потом промолвил:

— Теперь пошли. Всё в порядке! — и отдал фонарь.

Четверть мили он петлял среди кустарника, постепенно отклоняясь вправо, потом свернул в сторону и описал еще один огромный полукруг; потом снова свернул, с полмили прошел на запад и наконец остановился.

— Тут бедная крошка выбилась из сил. Подержите фонарь. Можете посмотреть, вот тут она сидела.

Но в этом месте расстилалась гладкая солончаковая площадка, твердая, как сталь, и ни у одного из собравшихся не хватило духу заявить, что его глаз способен различить на ней хотя бы единую вмятину. Несчастливая мать, упав на колени, причитая и плача, целовала землю там, где недавно сидело ее дитя.

— Но где же все-таки ребенок? — спросил кто-то в толпе.

— Здесь ее нет. Уж это-то мы своими глазами видим.

Арчи Стилмен описал круг по всей площадке, держа в руке фонарь, будто отыскивая следы.

— Ну и ну! — вскоре произнес он с досадой. — Вот этого я уж не понимаю.

Он опять обошел площадку.

— Что за штука! Она же здесь была, это ясно, *и никуда отсюда не уходила*. Это тоже ясно. Вот так задача! И я не могу ее решить.

Несчастливая мать впала в отчаяние.

— О господи боже! О пресвятая дева! Ее утатило какое-то крылатое чудовище! Я больше не увижу своего дитятка.

— Не унывайте, — успокаивал ее Арчи. — Мы ее найдем! Не унывайте, сударыня!

— Да благословит тебя бог за эти слова, Арчи Стилмен! — ответила мать и,

*Затрудни-
тельное
положение*

*Исчезающий
след*

схватив руку юноши, с жаром ее поцеловала.

В этот момент Питерсон, новичок, с усмешкой зашептал на ухо Фергюсону:

— До чего же ловкий фокус — отыскать это место! Вряд ли стоило тащиться в такую даль! Любое другое место подошло бы с тем же успехом, а?

Фергюсона возмутила эта инсинуация, и он запальчиво возразил:

*Вера
в Стилмена*

— Выходит, ты намекаешь, что ребенка здесь вовсе не было? А я говорю — был, и если тебе пришла охота попасть в переделку, то...

— Ну, вот и отлично! — протянул Арчи Стилмен. — Подите сюда, взгляните-ка! Он же все время был у нас перед самым носом, а мы его не заметили!

Толпа ринулась к месту, где якобы отдыхал ребенок, и много пар глаз тиснились с великой надеждой разглядеть то, чего касался палец Арчи. Последовала пауза, за ней — всеобщий вздох разочарования. Затем Пэт Райли и Хэм Сэндвич в один голос воскликнули:

— Что это значит, Арчи? Тут же ничего нет!

Новый след

— Ничего? А это, по-вашему, ничего? — И Арчи быстро обвел пальцем какой-то контур. — Вот, вот... Теперь узнаете? Это же след индейца Билли. Ребенок у него.

— Благодарение господу! — вскричала мать.

— Забирайте фонарь, — распорядился Арчи, — я знаю, куда идти. За мной!

Он пустился бегом, то ныряя в заросли полыни, то вновь появляясь, и, пробежав так ярдов триста, скрылся за песчаным холмом; остальные поспешили следом и нагнали его. Он стоял и ждал их.

В десяти шагах маячила чья-то лачужка — серая бесформенная груда из тряпья и старых попон, через прорехи которой мерцал слабый свет.

— Идите вперед, миссис Хоган, — сказал юноша, — вы по праву должны войти первой.

Все кинулись наперегонки с миссис Хоган к пристанищу индейца Билли и увидели одновременно с нею все, что происходило внутри. Индеец Билли сидел на земле. Подле него спал ребенок. Мать сжала свое дитя в судорожном объятии, заключив в него и Арчи Стилмена, и, заливаясь благодарными слезами, сдавленным, прерывающимся голосом низвергла золотой поток славословий и ласкательных эпитетов из той неисчерпаемой сокровищницы, какую являет собой только ирландское сердце.

— Я — она — находить близко, — рассказывал индеец Билли, — она там спать, очень много устала, лицо мокрое. Думать, плакала. Я приносить домой, кормить, она очень много голодная, потом снова спать.

Счастливая мать в безмерной благодарности, презрев все ранги, облобызала и индейца Билли, назвав его «ангелом господним в ином обличии».

И если только индеец Билли состоял в такой должности, то он и в самом деле был «в ином обличии», о чем красноречиво свидетельствовало его одеяние.

В половине второго ночи все участники процессии ворвались в поселок, распевая «Когда Джонни идет домой», размахивая фонарями и поглощая напитки, которыми их подкрепляли на протяжении всего пути. Затем все собрались в трактире, превратив начало утра в конец веселой ночи.

*Пропажка
найдена*

*У индейца
Билли*

Веселая ночь

На следующий день потрясающая сенсация взбудоражила весь поселок: величественного вида иностранец, с внушительной осанкой и непроницаемым лицом, прибыл в трактир и записал в книгу приезжих имя, которое стольких приводило в трепет:

Шерлок Холмс

Шерлок Холмс

Эта новость перелетала из хижины в хижину, с участка на участок; побросав инструменты, люди ринулись к центру притяжения. Некий старатель оповестил о выдающемся событии Пэта Райли, чей участок находился по соседству с участком Флинта Бакнера, и Фетлок Джонс, услышав новость, едва не упал в обморок.

*Дядя
Фетлока*

— Дядюшка Шерлок! — пробормотал он себе под нос. — Везет как утопленнику! Угораздило же его появиться, как раз когда... — Но тут Фетлок впал в мечтательную задумчивость и вскоре успокоился. «Впрочем, его-то мне бояться нечего. Всем, кто его знает так, как я, отлично известно, что он способен раскрыть преступление, только когда сам его подготовит заранее, запасется всеми уликами и сыщет какого-нибудь парня, который согласится совершить это преступление согласно его инструкциям. Ну а на этот раз улик не будет! Так в чем же он сможет здесь показать свой талант? Ни в чем. Нет, сэр, все подготовлено! Но если б я рискнул отложить это дело... О нет, так рисковать я не намерен. Флинт Бакнер отправится на тот свет сегодня же вечером.

*Как
отделаться
от сыщика*

Без проволочек!» Но тут перед Фетлоком возникло еще одно препятствие: «Дядюшка Шерлок, конечно, захочет сегодня вечером поговорить со мной о семейных делах. Как же мне от него отделаться? Около восьми часов я *должен* на несколько минут попасть к себе». Это было весьма затруднительное обстоятельство, из-за которого Фетлоку пришлось немало поломать голову. И все же выход был найден: «Мы пойдем прогуляться, а я на минутку отлучусь и оставлю его на дороге, так чтобы он не видел, что я сделаю. Лучший способ сбить сыщика со следа — это не отпускать его от себя, когда готовишься совершить преступление. Да, это самый опасный ход. Я возьму его с собой».

Тень величия

Тем временем всю дорогу перед трактором запрудили жители поселка, в надежде хоть одним глазком взглянуть на Великого Человека. Однако Великий Человек сидел в своем номере и не выходил. Слегка повезло только Фергюсону, кузнецу Джейку Паркеру и Хэму Сэндвичу. Трое восторженных поклонников великого сыщика-ученого засели в сарайчике для хранения задержанного багажа, расположенном напротив окон занимаемого сыщиком номера и отделенном от него лишь проходом в десять — двенадцать футов шириной, и просверлили в ставнях глазки. Ставни у мистера Холмса были наглухо закрыты, но вскоре он их распахнул. Жуткое и вместе с тем радостное волнение охватило троих наблюдателей, внезапно очутившихся лицом к лицу с выдающейся личностью, с этим сверхчеловеком, слава о котором гремит по всему миру! Вот он сидит перед ними — не легенда, не призрак, а реальность из плоти и крови: протяни руку — и можно его потрогать.

*Шерлок
Холмс под
наблюдением*

— Вы только взгляните на эту голову! — с благоговением в голосе воскликнул Фергюсон. — Бог ты мой! Вот это голова!

— Еще бы! — почтительно согласился кузнец. — А гляньте на этот нос, на эти глаза! Ум, говорите? Целая бочка!

*Шерлок
Холмс
мыслит*

— А бледный какой! — заметил Хэм Сэндвич. — Это все от мыслей, вот от чего! Черт подери! Остолопы вроде нас даже понятия не имеют, что значит по-настоящему мыслить!

— Куда уж нам! — подтвердил Фергюсон. — То, что мы считаем мыслями, — просто-напросто чепуха на постном масле.

— Верные твои слова, Фергюсон. А гляньте на этот нахмуренный лоб! Вот это, скажу я вам, острота мысли — так и сверлит, все вглубь, вглубь, в самое что ни на есть нутро! Должно быть, напал на какой-то след.

— Так и есть! Попомните мои слова! Вы только взгляните, какая мрачность, какая бледная торжественность, — ни одному покойнику его не переплунуть!

— Где там! Ни за какие денежки! И ведь это все у него наследственное! Он же четыре раза умирал, это даже историки описали. Три раза своей смертью, а один раз — от несчастного случая. Говорят, от него несет сыростью и холодом, как от могилы. А еще говорят...

*На полный
ход*

— Т-сс! Смотрите! Приложил большой палец к правой шишке на лбу, а указательный — к левой. Клянусь своей второй рубашкой, его мозговая машина сейчас шпарит на полный ход!

— А то как же! А теперь он глядит на небо, поглаживает усы и...

— А теперь поднялся и пальцем правой руки на пальцах левой пересчитывает

улики. Видите? Вот дотронулся до указательного, теперь — до среднего, а теперь — до безымянного...

— Стоп! Застрял....

— Глядите, как сморщился! Видно, не может разобраться в этой улике. А вот...

— А вот улыбается! Ну прямо тигр! Глядите, остальные пальцы перебрал одним махом. Значит, понял, в чем дело! Понял, будьте покойны.

— Да, скажу я вам! Не хотелось бы мне быть на месте того парня, за которым он охотится!

Мистер Холмс пододвинул стол к окну, сел к наблюдателям спиной и стал писать. Наблюдатели оторвались от дырочек в ставнях, набили трубки и уютно расположились, чтобы не спеша покурить и потолковать.

— Да, ребята, что тут говорить. Он — чудо! — с полной убежденностью заявил Фергюсон. — Это прямо-таки на нем написано.

— Самые что ни на есть верные твои слова, Фергюсон, — сказал Джейк Паркер. — Вот было бы здорово, если бы он вчера вечером оказался с нами!

— Еще бы! — подхватил Фергюсон. — Уж тогда бы мы имели возможность наблюдать научную работу сыщика. Интеллект — понятно? Чистый интеллект самого высшего сорта. Наш Арчи — молодчина, и нечего умалять его способности, но ведь его дар, насколько я понимаю, только зрение, острое, как у совы ночью, удивительный природный дар животного, ни больше ни меньше; но в этом же нет интеллекта, нет этой жуткой таинственности, этого величия... Двух таких людей можно сравнивать не больше чем... чем... Да что там! Разрешите-ка мне сказать

*Настоящее
мышление*

*Научная
работа
сыщика*

вам, что бы он стал делать вчера. Он бы сперва зашел к мамаше Хоган и взглянул — только взглянул — на помещение, вот и все. И что-нибудь увидел бы? Да, сэр, все до последней мелочи! И он бы знал жильё Хоганов лучше, чем сами хозяева, проживи они там хоть целых семь лет. Потом он бы сел на койку, все так же тихо, спокойно, и сказал бы миссис Хоган так... Эй, Хэм, к примеру — ты будешь миссис Хоган. Я стану тебя спрашивать, а ты отвечать.

— Ладно, валяй!

— Сударыня! Прошу внимания! Не отвлекайтесь. Итак, какого пола ребенок?

— Женского, ваша честь!

— Гм! Женского. Хорошо, очень хорошо. Возраст?

— Седьмой пошел, ваша честь!

— Гм, мала, слаба — две мили. Потом устанет. Ляжет, уснет. Мы найдем ее на расстоянии двух миль или менее того. Зубы?

— Пять, ваша честь! И один вылезают.

— Хорошо, очень хорошо! Очень, *очень* хорошо!.. (Да, ребята, уж он-то найдет улики и увидит их там, где другой пройдет мимо, не обратив на них никакого внимания...) В чулках? В башмаках?

— Да, ваша честь! И в том, и в другом.

— Чулки нитяные, башмаки сафьяновые?

— Башмачки юфтевые.

— Гм! Юфть! Это осложняет дело... Ну, ничего, справимся. Вероисповедание?

И затем ..

— Католичка, ваша честь!

— Стлично. Прошу оторвать лоскут от ее одеяла. Благодарю. Полушерсть

заграничного производства. Отлично. Теперь кусочек от ее платья. Благодарю. Ситец. Поношенный. Превосходная улика. Превосходная! Теперь, будьте любезны, соберите мне немножко мусору с пола. Спасибо, большое спасибо! О! Превосходно! Превосходно!.. Теперь мы, кажется, знаем, в чем дело...

И вот, друзья мои, у него уже есть все необходимые улики, и больше ему ничегошеньки не надо. И потом, как вы думаете, что делает Выдающаяся Личность? Он раскладывает на столе все эти кусочки материи и мусор, кладет на стол локти, склоняется над ним, укладывает все вещицы ровно в ряд, изучает их, тихо шепчет: «Женского пола», перекладывает их по-другому, шепчет: «Шесть лет», снова перекладывает их и так и сяк, и опять шепчет: «Пять зубов... один выходит... католичка... нитяные... ситец... юфть... будь она проклята, эта юфть!» Потом выпрямляется, устремляет взор в небеса, запускает обе пятерни в волосы и все ерошит их, ерошит, бормоча: «Будь проклята эта юфть!» Потом он встает из-за стола, хмурит лоб и начинает пересчитывать все свои улики по пальцам и... застревает на безымянном. Но лишь на один миг! Потом лицо его озаряется, будто дом во время пожара, он расправляет плечи и, во всем своем величии, обращается к собравшимся: «Пусть двое возьмут фонарь и сходят к индейцу Билли за ребенком. Остальные — по домам. Спокойной ночи, сударыня! Спокойной ночи, джентльмены!» И он кланяется, величественный, как Маттерхорн, и уходит в трактир. Вот каков *его* стиль работы. Единственный в своем роде, научный, глубокомысленный: четверть часа — и дело

*Продолжает
размышлять*

Его стиль

в шляпе. И не надо всей толпой полтора часа шататься в диких зарослях, верьте моему слову.

— Черт подери! Вот это здорово! — воскликнул Хэм Сэндвич. — Фергюсон! Ты же это все разыграл как по нотам! Ни в одной книге его так точно не описали! Да я будто все своими глазами видел! А вы?

*Сделано
в Германии*

— Еще бы! Точная фон-торг-рафия! Фергюсон был весьма польщен такой похвалой. Он посидел некоторое время молча, наслаждаясь своим успехом, потом проникновенно спросил:

— Интересно, господь ли его создал? Ответа не последовало.

Никто не откликнулся, но спустя минуту Хэм Сэндвич почтительно произнес:

— Если и господь, то вряд ли за один присест!

II

*Обреченная
хижина*

В восемь часов вечера мимо хижины Флинта Бакнера в морозном сумраке брели два человека. Это были Шерлок Холмс и его племянник.

— Подождите меня здесь на дороге, дядюшка, — сказал Фетлок, — я сбегая к себе только на минутку.

*Обратно
в трактир*

Он попросил дядю что-то дать ему, тот выполнил просьбу племянника, после чего Фетлок скрылся во тьме. Но вот вскоре он вновь появился, и беседа-прогулка продолжалась. К девяти часам они уже возвратились в трактир и с трудом проталкивались сквозь толпу поклонников в бильярдной, набившихся туда, в надежде хоть одним глазком взглянуть на Выдающуюся Личность. Грянуло «ура!»,

словно при встрече коронованной особы. Мистер Шерлок Холмс отвечал на овацию целой серией учтивых поклонов, и когда стал удаляться, его племянник оповестил собравшихся:

— Джентльмены! Дяде Шерлоку нужно поработать. Он будет занят до полуночи или до часа ночи, но потом, возможно и несколько раньше этого времени, спустится к вам. Мой дядюшка выражает надежду, что кто-нибудь из вас еще останется выпить с ним.

*Угощение
почитателей*

— Ого, ребята! Вот это королевский размах! Троекратное «ура!» в честь Шерлока Холмса, самого великого человека, когда-либо жившего на свете! — вскричал Фергюсон. — Гип-гип-гип!..

— У-р-р-р-а! У-р-р-а! У-р-р-а!

Оглушительные раскаты сотрясли все здание, столь искренним было чувство, которое почитатели вложили в свои приветствия.

Наверху, у себя в номере, дядя сказал племяннику с легким укором:

— Зачем ты впутал меня в такую историю?

— Но вы же не хотите утратить популярность? В таком случае нечего держаться особняком в поселке старателей. Ребята восхищаются вами, но если бы вы вздумали уехать, не выпив с ними, они решили бы, что вы задираете нос. Кроме того, вы же сами сказали, что располагаете таким запасом новостей из дому, что разговоров нам хватит на полночи.

Юноша был вполне прав и рассуждал разумно, что дядя не замедлил признать. Юноша рассуждал разумно и в другом отношении, о котором не след нужным упоминать, разве что только самому себе: «Дядюшка и все остальные будут очень

полезны — пусть подтвердят и без того твердое алиби».

В течение трех часов племянник усердно беседовал со своим дядюшкой, а затем около полуночи вышел из трактира, скрылся во тьме шагах в десяти от дома и стал ждать. Через пять минут, едва не задев Фетлока, на дорогу, пошатываясь, вышел Флинт Бакнер.

— Его песенка спета, — прошептал юноша и, мысленно продолжая говорить с самим собой, поглядел вслед удаляющейся темной фигуре: «Прощай, Флинт Бакнер, прощай навсегда! Ты назвал мою мать... Ладно уж, забудем, как ты ее назвал! А теперь, милейший, — это твоя последняя прогулка».

Фетлок вернулся в трактир. «Остался еще целый час. Проведем его с ребятами, — пригодится для алиби».

Он привел Шерлока Холмса в бильярдную, битком набитую восторженными почитателями. Гость заказал выпивку на всех, и веселье началось. Все были счастливы, все выражали свое восхищение. Вскоре лед был сломан. Песни, рассказы, снова выпивка — так летели минуты, столь чреватые событиями. Без шести минут час веселье достигло апогея, и в этот миг:

Т-р-р-р-ах!

В комнате мгновенно воцарилась тишина. Глухой гул прокатился по ущелью и, постепенно замирая, стих. Оцепенение прошло, и все кинулись к выходу, крича:

— Что-то взорвалось!

Во тьме раздался чей-то голос:

— Это вон там! Я видел вспышку.

Люди толпой ринулись вниз по каньону: Шерлок Холмс, Фетлок Джонс, Арчи Стилмен — все... За несколько минут они

пробежали целую милю. При свете фонаря они обнаружили гладкий глинобитый пол лачуги Флинта Бакнера. От самого жилья не осталось ни следа, ни куточка, ни щепки. Не осталось следа и от самого Флинта. Разбившись на группы, люди отправились на поиски.

— Вот он!..

*Всего лишь
останки*

И в самом деле, на расстоянии пятидесяти ярдов вниз по ущелью они нашли его, — вернее сказать, нашли растерзанные, безжизненные останки, которые недавно были им. Фетлок Джонс поспешил туда вместе с остальными и тоже увидел их. Дознание заняло не более четверти часа. Хэм Сэндвич, старшина присяжных, огласил вердикт, отличавшийся непринужденным изяществом стиля и заканчивавшийся следующим выводом: «Покойный умер по своей вине, или по вине лица, или нескольких лиц, неизвестных данному составу присяжных, а также не оставил после себя ни семьи, ни прочих домашних пожитков, кроме хижины, которая взлетела в воздух. И да сжалится над ним господь бог. Аминь!»

*Присяжным
не терпится*

Затем сторовавшие от нетерпения присяжные вновь присоединились к толпе, ибо там находился эпицентр всеобщего внимания — Шерлок Холмс. Молчаливые, торжественно-почтительные старатели образовали полукруг, включавший в себя большой пустырь, на котором недавно стояла хижина Флинта Бакнера. По этому просторному пустырю двигалась Выдающаяся Личность, сопровождаемая племянником с фонарем. С помощью рулетки Шерлок Холмс вымерил ширину и длину участка, на котором стояла хижина; затем он вымерил расстояние между кустами чапарраля и дорогой, вымерил вы-

соту кустов чапарраля, а затем произвел еще целый ряд всевозможных измерений. Время от времени он подбирал то лоскут, то щепку, то горстку земли, тщательнейшим образом осматривал их и прятал. С помощью карманного компаса он определил местоположение участка, сделав поправку в две секунды на магнитное склонение. Затем засек время (тихоокеанское) по своим часам, с учетом местного времени. Затем измерил шагами расстояние от места, где стояла хижина, до останков покойного, сделав поправку на прилив и отлив. Вычислил высоту расположения участка с помощью карманного барометра-анероида, а также измерил температуру воздуха своим карманным термометром. Наконец, величаво поклонившись, он объявил:

— Я закончил. Итак, вернемся в трактир, джентльмены?

Он возглавил шествие, направлявшееся в обратный путь, и все двинулись за ним, обстоятельно комментируя действия Выдающейся Личности, восхищаясь ею и высказывая всевозможные догадки о причине разыгравшейся трагедии и о том, кто был ее виновником.

*Поселку
повезло*

— А ведь правда, ребята, поселку здорово повезло, что он к нам приехал? — заметил Фергюсон.

— Это величайшее событие нашего века, — подхватил Хэм Сэндвич. — Попомните мои слова, об этом заговорит весь мир.

— Готов биться об заклад, наш поселок на этом прославится, — сказал Джейк Паркер, кузнец. — Верно, Фергюсон?

— Ну, если уж вы спрашиваете мое мнение, то лично я, со своей стороны,

могу сказать следующее: вчера, по моим расчетам, заявка на Стрэйт-Флаш стоила два доллара за фут; сегодня желал бы я взглянуть на ловкача, который сумеет получить ее по шестнадцать.

— Ты прав, Фергюсон. Новому поселку привалило великое счастье. А вы заметили, как он собирал лоскутки, и землю, и все прочее? Какой глаз! Ни одна улика не ускользнет от него! Нет, уж этот не из таких!

Куча улик

— Будьте покойны! Другой пройдет мимо и ничего не заметит, но для него... Да он эти улики читает, как книгу, и притом напечатанную во-от такими буквами.

— Вот-вот! Верно сказано! Каждая из этих штучек-закорючек хранит свою тайну и думает, что никто ее не выведает. Не тут-то было! Попадешь к нему в лапки — хочешь не хочешь, а развяжешь язычок! Уж это как пить дать!

— А знаете, ребята, — оно даже хорошо, что его не было, когда разыскивали девчонку! Это дело похлеще и куда запутаннее и требует более научного подхода. Тут умственное понятие требуется!

— Да я думаю, мы все рады, что так вышло! Рады? Черт подери! Разве это то слово? А между прочим, наш Арчи мог бы кое-чему подучиться, если бы у него котелок варил получше! Глядел бы да наматывал на ус, по какой методе человек работает! Так нет же! Залез в кусты чапарраля и пропустил все самое важное!

— Верно, как дважды два. Я сам видел. Ну, ведь Арчи еще молод. Со временем образумится.

*Кто это
сделал?*

— Послушайте, ребята! А кто же все-таки это сделал?

Вопрос был сложный и вызвал великое множество малообоснованных предположений. Называли несколько имен, но все, одно за другим, были отвергнуты. Никто, кроме Хильера, не водил дружбу с Флинтом Бакнером. Правда, ни у кого в поселке ни разу не было с ним серьезной стычки. Ведь он пресекал все попытки с ним подружиться, однако не в столь оскорбительной форме, чтобы возникла необходимость в кровопролитии. У всех на языке с самого начала вертелось одно имя, но оно было названо последним — Фетлок Джонс. Пэт Райли первым назвал его.

— Ну, — отвечали другие, — мы все тоже, конечно, сразу на него подумали, потому что у Фетлока есть тысяча причин прикончить Флинта Бакнера, и это даже его святая обязанность. Но тут есть два обстоятельства, в которых мы не можем разобраться: во-первых, у парня для такого дела кишка тонка; во-вторых, он находился очень далеко от места происшествия.

— Я это знаю, — сказал Пэт, — когда произошел взрыв, Фетлок был с нами в бильярдной.

— Да, и он пробыл там целый час до взрыва.

— Вот именно. Парню повезло... Иначе бы его в два счета заподозрили.

III

Из столовой трактира вынесена вся мебель, кроме соснового стола в шесть футов длиной и одного стула. Стол отодвинут к стене, стул поставлен на стол. Шерлок Холмс, величественный, внушитель-

пый, торжественный, восседает на стуле. Публика стоит. Переполненный зал, густые клубы табачного дыма, глубокая тишина...

Выдающаяся Личность поднимает руку, требуя еще более глубокой тишины. С минуту он сидит с поднятой рукой, затем кратко, четко начинает задавать вопрос за вопросом и записывает ответы, то и дело произнося «гм!», кивая головой и тому подобное. Таким путем он выясняет все, что только можно узнать о Флинте Бакнере, о его характере, поведении, привычках, в результате чего становится ясным, что племянник Выдающейся Личности — единственный человек, у которого имелись основания убить Флнта Бакнера. И тогда, взглянув на свидетеля с сострадательной улыбкой, мистер Холмс небрежно осведомляется:

— Не знает ли кто-нибудь из вас, джентльмены, где находился юный Фетлок Джонс во время взрыва?

— В бильярдной! В этом доме! — гремит дружный ответ.

— Ах, вот как! И что же, он пришел в бильярдную незадолго до взрыва?

— За целый час.

— Ах, вот как! Это примерно, примерно... На каком же расстоянии он находился от места происшествия?

— За добрую милю!

— Ах, вот как! Вряд ли это можно счесть хорошим алиби, конечно, но...

Взрыв смеха. Выкрики, не давшие Шерлоку Холмсу закончить фразу: «Ишь отмочил!», «Ну как, Сэнди, небось жалеешь, что раскрыл рот?»

Уничтоженный свидетель, красный от стыда, опустил голову.

Допрос продолжается:

Мысли и звуки

Вопросы

— Выяснив, таким образом, вопрос о *несколько отдаленной* связи юного Джонса со взрывом (смех в зале), обратимся теперь к истинным свидетелям трагедии и выслушаем то, что они нам скажут.

Тут Шерлок Холмс вынул весь свой запас вещественных доказательств и разложил их на куске картона у себя на коленях. Аудитория, затаив дыхание, следила за ним.

— Мы располагаем данными о долготе и широте места происшествия с поправкой на магнитное склонение, и это дает нам точное представление о точке, где совершилось трагическое событие. Мы выяснили высоту над уровнем моря, температуру и степень влажности воздуха — все это неосценимо важные данные, ибо они дают нам возможность точно определить степень воздействия, каковое они произвели на характер и расположение духа преступника в ту ночь. (Гул всеобщего восхищения; отрывистая реплика: «Вот это да! Ох и умен!»)

Шерлок Холмс перебрал все вещественные доказательства и продолжал:

— А теперь попросим этих безмолвных свидетелей сказать свое слово! Перед вами пустой холщовый патронташ. О чем он может поведать нам? О том, что поводом к преступлению был грабеж, а не месть. О чем еще он говорит? О том, что убийца был человеком малоразвитого интеллекта, возможно даже слабоумным или вроде того. Каким образом мы это узнаем? Очень просто: человеку с нормальными умственными способностями не пришлось бы в голову ограбить Флинта Бакнера, у которого, как всем известно, денег было мало. Но, быть может, убийца не житель поселка? Предоставим слово

*Несколько
слов*

Еще слова

патронташу. Я вынимаю из него вот эту вещьцу — кусочек кварца с крупичками серебра. Весьма любопытная вещьца! Осмотрите ее, прошу вас, вы... вы... и вы... Теперь попрошу вернуть ее обратно. На всем побережье, как мы знаем, имеется лишь одна жила, которая содержит кварц именно такого цвета и рода, и она выходит на поверхность на протяжении двух миль и, по-моему, в недалеком будущем ей суждено принести всемирную славу всему району, а двумстам ее владельцам — богатства, превосходящие самые алчные мечты. Прошу назвать эту жилу.

Вместо улыки

Последовал немедленный ответ:

— «Консолидейтед Крисчен Сайенс и Мэри-Энн»!

Грянуло громовое «ура!». Соседи со слезами на глазах пожимали друг другу руки, а Фергюсон вопил:

— Эта жила пролегает через Стрэйт-Флаш. Помните мои слова — дело дойдет до ста пятидесяти долларов за фут!

Когда установилась тишина, Шерлок Холмс продолжал:

— Таким образом, мы видим, что непреложными являются три факта, а именно: убийца почти слабоумный; он житель поселка; поводом к преступлению был грабеж, а не месть. Я продолжаю: в моей руке вы видите остаток шнура, который еще пахнет гарью. О чем он свидетельствует? Вкупе с кусочком кварца он говорит нам о том, что убийца — рудокоп. О чем еще говорит он? Вот о чем, джентльмены: убийство было совершено с помощью пороха. О чем же еще говорит он? О том, что взрывчатка была заложена у стены хижины, выходящей на дорогу, следовательно, у фасада, ибо в шести футах от этого места я его нашел. Мои пальцы

*Банальный
повод*

*Едва
заметные
признаки*

*Все левши —
владельцы*

держат обгоревшую шведскую спичку, из тех, что зажигают о коробок. Я нашел ее на дороге, в шестистах двадцати двух футах от взорванной хижины. О чем говорит эта спичка? О том, что шнур был подожжен именно на таком расстоянии от хижины. И еще о чем говорит она? О том, что убийца левша. Откуда мне это известно? Я затрудняюсь объяснить это вам, джентльмены, ибо признаки едва заметны, и лишь долгий опыт и обширные познания дают мне возможность различить их. Но все же признаки налицо, и они подтверждаются также тем обстоятельством, что, как вы, очевидно, неоднократно читали в историях о знаменитых сыщиках, все убийцы — левши.

— Ей-богу, он прав! — воскликнул Хэм Сэндвич, громко хлопнув себя тяжелой рукой по бедру. — Провались я на этом месте, если мне это когда-нибудь приходило в голову!

Послышались голоса:

— И мне не приходило! И мне!.. От него ничто не скроется. Ну и глаз!

— Джентльмены! Хотя убийца находился на большом расстоянии от своей жертвы, но все же не избежал ранения: его ударило вот этим деревянным обломком. Мы видим на нем следы крови. Где бы ни был сейчас убийца, он носит на себе этот красноречивый след. Я подобрал обломок в том месте, где убийца поджигал роковой шнур. — Шерлок Холмс со своей высокой трибуны обвел взором аудиторию, и лик его омрачился. Он медленно простер руку: — Вот убийца!

На миг все застыли от изумления. Затем два десятка голосов воскликнули:

— Сэмми Хильер?! Черта с два! Он?! Да это просто чушь!

*Преступник
указан*

— Осторожнее, джентльмены! Не делайте поспешных выводов. Взгляните! У него на лбу кровавый шрам.

Сэмми Хильер побелел от ужаса. Едва сдерживая слезы, он озирался по сторонам, взглядом взывал о помощи и сочувствии. Протянув в мольбе руки к Шерлоку Холмсу, он с отчаянием воскликнул:

— О нет, нет, я не убивал его! Кляпуться вам, не убивал! Я разбил лоб, когда...

— Констебль! Арестуйте преступника! — приказал Шерлок Холмс. — Я дам присягу о правомочности ареста.

Констебль неуверенно шагнул вперед, потом замешкался и остановился.

Хильер снова молил о спасении:

— О Арчи! Не допусти этого! Моя мать умрет с горя! Ты ведь знаешь, как я поранил голову! Расскажи им и спаси меня! Спаси меня!

*Арчи спешит
на помощь*

Арчи Стилмен пробился вперед.

— Да, я спасу тебя, — сказал он. — Не бойся! — Затем обратился ко всем присутствующим. — Каким образом он разбил лоб — совершенно не важно. Эта царапина к делу не относится и вообще не имеет никакого значения.

— Да хранит тебя бог, Арчи! Ты — верный друг!

*Настоящая
работа
сыщика*

— Ура, Арчи! А ну-ка, парень, поддай жару! Двинь-ка его козырным тузом! — завопили присутствующие, сердца которых вдруг преисполнились гордостью за своего доморощенного гения и патриотической верностью, и эти чувства в один миг коренным образом изменили настроение аудитории.

Дождавшись, когда утихнет шум, юный Стилмен сказал:

— Я попрошу Тома Джеффриса стать там, у той двери, а констебля Гарриса — у этой и никого не выпускать.

— Есть. Действуй дальше, старина!

*Преступник
присут-
ствует*

— Полагаю, что преступник находится среди нас. И вскоре я вам его покажу, если моя догадка правильна. А теперь я вам расскажу об этом трагическом событии все — от начала до конца. Поводом к убийству была месть, а вовсе не грабеж. Убийца — вовсе не слабоумный. Он вовсе *не* находился на расстоянии в шестьсот двадцать два фута от места взрыва. Его вовсе *не* ударило обломком. Он вовсе *не* закладывал взрывчатку у фасада хижины. Он вовсе *не* приносил туда патронташ, и он вовсе *не* левша. А в остальном, если не считать вышеупомянутых ошибок, заключение нашего именитого гостя неоспоримо.

Струя добродушного смеха прожурчала по комнате, друг кивал другу, как бы говоря: «Вот это сказано! Вот это с перцем! Молодчина парень! Хороший малый! Он своей марки не роняет!»

Спокойствие гостя оставалось невозмутимым. Стилмен продолжал:

— У меня тоже есть свидетели. И сейчас я скажу вам, где еще их можно найти.

Красноречивая улика

Он поднял в руке кусок толстой проволоки. Все вытянули шеи, стараясь разглядеть ее.

— Она покрыта тонким слоем сала. А вот до половины сгоревшая свеча. На расстоянии дюйма друг от друга на свече остались деления. Вскоре вы узнаете, где я нашел эти вещи. Я не стану заниматься рассуждениями, высказывать догадки, делать внушительные сопоставления всевозможных улик и заниматься всеми прочими эффектными трюками ремесла

сыщика, а расскажу вам просто и ясно, как произошло все это прискорбное событие.

*Как это
произошло*

Ради вящего эффекта Арчи сделал паузу, чтобы тишина и напряженное ожидание еще больше разожгли интерес аудитории. Затем он продолжал.

— Убийца обдумал план действий очень тщательно, и это был хороший план, весьма искусный, изобретательный, свидетельствующий не о слабом, а, наоборот, о сильном уме. План, рассчитанный на то, чтобы отвести все подозрения от его исполнителя. Прежде всего убийца сделал на свече метки на расстоянии дюйма друг от друга, зажег ее и проследил, за сколько времени сгорает один дюйм свечи. Выяснилось, что четыре дюйма свечи сгорают за три часа. Я сам лично только что проделал наверху подобный опыт, пока в этой комнате проводился опрос о характере и привычках Флинта Бакнера. Мне удалось вычислить скорость сгорания свечи, укрытой от ветра. Проведя опыт со свечой, преступник задул ее (эту свечу я вам уже показывал) и сделал метки на другой свече, которую он вставил в жестяной подсвечник. Затем на метке, указывающей пять часов горения свечи, он проделал отверстие раскаленной проволокой, — эту проволоку я вам только что показывал. На ней тонкий слой сала, которое сначала растаяло, а потом снова застыло. С трудом, должен сказать, с большим трудом убийца пробрался сквозь густые заросли чапарраля, покрывающие крутой склон позади хижины Флинта Бакнера, и притащил с собой пустой бочонок из-под муки. Он спрятал его в зарослях, в этом совершенно надежном укрытии, и поставил в бочонок свечу. Затем он отмерил около тридцати пяти фу-

*Опыт
со свечой*

тов шнура — расстояние от бочонка до задней стены хижины. В стенке бочонка он просверлил дырку, — вот сверло, которым он это сделал. Затем продолжал усердно работать, пока не закончил все приготовления. И тогда один конец шнура оказался в хижине Бакнера, а другой его конец, в котором преступник проделал маленький желобок для закладки пороха, находился в свече. Он должен был загореться ровно в час ночи, при условии, что свечу зажгут около восьми часов вечера, — бьюсь об заклад, что так оно и было. И при условии, что в хижине имелся порох, с которым был соединен конец шнура, — бьюсь об заклад, что именно так оно и было, хотя не могу этого доказать. Друзья! Бочонок и сейчас стоит там, в зарослях, и в нем есть огарок свечи в жестяном подсвечнике. Остаток обгоревшего шнура торчит в просверленной дырке, а второй его конец — под горой, там, где стояла хижина. Все это я видел своими глазами час или два тому назад, пока господин профессор измерял тут мировые пространства и собирал всевозможные тряпочки и осколки и прочие реликвии, не имеющие ровным счетом никакого отношения к делу.

*Во всех
подробностях*

Арчи сделал паузу. Раздался всеобщий глубокий вздох. Оцепенение прошло, напряженные мышцы расслабились, и прокатились оглушительные возгласы восторга:

— Ишь бестия! — воскликнул Хэм Сэндвич. — Так вот почему он рыскал в зарослях, вместо того чтобы учиться у профессора! А парень-то не дурак, ребята, а?!

— Да, сэр! Будьте уверены...

Но тут Арчи Стилмен заговорил снова:

— Когда мы все были на месте происшествия час или два тому назад, владелец сверла и свечи взял их из укрытия, потому что оно было ненадежным, и перенес в другое место, — как видно, считая его более надежным. Он спрятал их ярдах в двухстах оттуда, в сосняке, засыпав хвоей. Там я их и нашел. Диаметр сверла в точности соответствует размеру дырки в бочонке. А теперь...

В этот миг он был прерван Выдающейся Личностью:

— Джентльмены! Мы выслушали прелестную сказку, — сказал Шерлок Холмс с язвительной усмешкой. — А теперь я хотел бы задать молодому человеку несколько вопросов.

Кое-кто из публики передернулся, а Фергюсон пробурчал:

— Похоже, Арчи сейчас попадет в переделку.

Остальные перестали улыбаться и насторожились.

— Начнем же, — продолжал Шерлок Холмс, — последовательно и логично анализировать эту сказку, пользуясь, так сказать, геометрической прогрессией, — собирая отдельные факты во все возрастающем количестве для беспощадного и сокрушительного штурма этой мишурной игрушечной крепости, воздвигнутой из ошибок, этой фикции, явившейся плодом незрелого ума. Прежде всего, юный сэр, я желаю задать вам покамест три вопроса. Повторяю — покамест. Правильно ли я понял вас, когда вы сказали, что, по вашему мнению, эта предполагаемая свеча была зажжена вчера около восьми часов вечера?

— Да, сэр. Около восьми.

— Быть может, ровно в восемь?

— Нет, с такой точностью я сказать не могу.

— Гм!.. Следовательно, если бы примерно в это время кто-нибудь проходил мимо того места, он бы непременно встретил убийцу, — как вы полагаете?

— По всей вероятности.

— Благодарю вас. Это все, о чем я хотел спросить. Покамест... Повторяю: покамест.

— Чтоб ему ни дна, ни покрывки! Он же ставит ловушку для Арчи! — воскликнул Фергюсон.

— Да, — подтвердил Хэм Сэндвич, — вроде бы дело скверное.

Тут Арчи Стилмен сказал, пристально глядя на гостя:

*На месте
преступления*

— Я сам проходил там в половине девятого, — нет, около девяти вечера.

— Ах вот как? Любопытно! Весьма любопытно! Может быть, вы лично видели преступника?

— Нет, я никого не видел.

— Так. В таком случае — прошу извинить, — какой же смысл в вашем сообщении?

— Никакого. Покамест. Повторяю: покамест — никакого. — Арчи сделал паузу и продолжал: — Я не видел убийцу, но уверен, что напал на его след, и, я думаю, он находится в этой комнате. Теперь я попрошу вас всех по очереди пройти мимо меня. Вот здесь, где светлее. Мне нужно взглянуть на ваши ноги.

По комнате прокатился взволнованный гул, и тут же парад начался. Гость взирал на него, железным усилием воли пытаясь сохранить серьезный вид, что, однако, не увенчалось полным успехом. Пригнувшись, сложив щитком ладонь над глазами, Арчи Стилмен внимательно разглядывал

каждую проходящую мимо него пару ног. Однообразной вереницей мимо продефилировало пятьдесят человек, но без всякого результата. Шестьдесят... семьдесят... Вся затея уже стала казаться просто нелепой. И тогда гость заметил с изысканной иронией:

— По-видимому, сегодня здесь не так уж много убийц!

Публика оценила шутку и освежилась искренним смехом. Еще десятка полтора кандидатов в убийцы прошли, вернее — проплясали мимо Арчи Стилмена, выкидывая столь забавные коленца, что зрители корчились от хохота.

Вдруг Арчи поднял руку и крикнул:

— Вот он — убийца!

— Фетлок Джонс! Святые апостолы! — взревели зрители, и сейчас же, подобно взрывам ракет во время фейерверка, воздух сотрясли удивленные возгласы, вызванные неожиданно развернувшимися событиями. Когда смятение достигло апогея, гость простер руку, требуя тишины. Авторитет великого имени и великой личности возымел свое магическое действие, и собрание повиновалось. В тишине, нарушаемой лишь шумным дыханием слушателей, гость заговорил взволнованно, однако не теряя достоинства.

— Это уже не шутка. Это уже серьезно. Это — покушение на невинную жертву. Невинную вне всякого сомнения. И я это вам немедленно докажу. Обратите внимание — вот каким образом обыденный факт сотрет с лица земли столь бездарную ложь! Слушайте же! Друзья мои, вчера вечером этот юноша *ни на миг* не расставался со мной.

Слова Шерлока Холмса произвели глубокое впечатление. В глазах, устремлен-

*Ни на миг не
расставался
с сыщиком*

ных на Стилмена, стоял мрачный вопрос, зато лицо Арчи озарилось радостным оживлением.

— Я так и думал, что был кто-то еще. — Он быстро шагнул к столу, глянул на ноги гостя, потом на его лицо и сказал.

— Так это вы были с ним! Вы были меньше чем в пятидесяти шагах от него, когда он зажигал свечу, которая впоследствии подожгла взрывчатку. (Волнение в зале.) Более того, вы своей рукой подали ему спички.

Гость был явно сражен, и публика это видела. Он открыл рот, но лишь с трудом произнес:

— Это... Э-э-э... Это безумие... Это...

Стилмен развивал успешное наступление. Он показал всем обгоревшую спичку.

— Вот одна. Я нашел ее в бочонке, а вторая все еще там лежит.

Гость мгновенно обрел дар речи.

— Разумеется, ибо вы сами их туда подбросили.

Аудитория расценила это замечание как хороший удар, но Стилмен его тут же парировал:

*Восковые
спички*

— Эти спички — восковые. В поселке таких нет. Пусть поищут коробок. Что до меня, то я готов подвергнуться обыску, а вы?

На сей раз гость был сражен окончательно. Даже самый близорукий глаз мог бы это заметить. Он растерянно перебирал пальцами, губы его раз-другой дрогнули, но он так и не произнес ни слова. В напряженной тишине публика следила за происходящим. Наконец Арчи Стилмен вкрадчиво заметил:

— Мы ждем вашего решения.

И снова на миг воцарилась тишина. Затем послышался глухой голос гостя:

— Я отказываюсь подвергаться обыску.

Публика удержалась от бурного проявления чувств, но все, один за другим, тихо повторяли:

— Теперь кончено. Арчи его доконал.

Что же делать дальше? Этого не знал никто, Положение создалось весьма затруднительное, главным образом из-за того, что дело вдруг приняло непредвиденный оборот, к которому эти неискушенные умы не были подготовлены и от потрясения замерли, подобно остановившимся часам. Но вскоре механизм потихоньку заработал; там и сям сдвигались головы, люди принялись обсуждать всевозможные предложения. Одно из этих предложений было встречено весьма одобрительно. Оно заключалось в том, что преступнику следует выразить благодарность за избавление поселка от Флинта Бакнера и отпустить его с миром. Однако более трезвые головы высказались против подобного решения, ссылаясь на то, что всякие тупицы в восточных штатах сочтут это скандальной историей и поднимут вокруг нее глупейший шум. В результате более трезвые головы одержали победу. Их лидер, призвав собрание к порядку, огласил предложение: Фетлока Джонса арестовать и предать суду. Предложение было принято. Теперь уже явно нечего было больше делать, и все этому обрадовались, потому что в глубине души каждый из присутствующих горел нетерпением помчаться к месту трагедии и посмотреть своими глазами: в самом ли деле там находятся бочонок и другие вещественные доказательства.

Благодарность убийце

Но не тут-то было!.. Передышка копчилась. Сюрпризы этого вечера еще не иссякли.

Фетлок Джонс все это время беззвучно всхлипывал. Никто не обращал на него внимания, потому что все были захвачены волнующими событиями, непрерывно сменявшими друг друга. Но когда было принято решение об его аресте и предании суду, юноша не выдержал.

Не хочет суда — Нет, это ни к чему! — воскликнул он в отчаянии. — Не надо тюрьмы, не надо суда. Хватит и тех невзгод и мучений, которые мне довелось испытать. Повесьте меня сейчас же, и дело с концом! Все равно бы все выяснилось и ничто бы меня не спасло. Он описал нам все так, словно сам был со мною и видел своими глазами все, что я делал... Одного не пойму, как он это узнал! Вы найдете и бочонок, и другие вещи, и тогда мне все равно смерть.

Признание Да, я убил Флинта Бакнера! И вы на моем месте сделали бы то же, если бы с вами обращались, как с собакой, а вы были бы еще подростком, слабым и бедным, и некому было бы за вас заступиться.

— И поделом ему, дьяволу! — воскликнул Хэм Сэндвич. — Послушайте-ка, ребята!..

К о н с т е б л ь. Спокойствие, спокойствие, джентльмены!

Г о л о с. Твой дядя знал о том, что ты замыслил?

— Нет!

— А спички он тебе дал, это точно?

— Да! Но он не знал, для чего они мне понадобятся.

— Но как же ты не побоялся риска и взял его с собой, отправляясь на такое дело? Его, сыщика? Как же это так?

Юноша замялся, в смущении крутя пуговицы куртки, потом застенчиво произнес:

*Как обмануть
сыщика*

— Я в сыщиках разбираюсь, потому что они у меня водятся в семье. Если хочешь что-нибудь сделать от них потихоньку, то лучше всего делать это при них.

Циклон смеха, одоббивший этот наивный афоризм, все же не слишком-то подбодрил беднягу.

IV

Из письма к миссис Стилмен, датированного просто «Вторник»:

*Фетлок
в тюрьме*

Фетлока Джонса посадили под замок в бревенчатой хижине, где он должен был дожидаться суда. Констебль Гаррис снабдил его двухдневным запасом пищи, велел ему как следует сторожить самого себя и обещал навеститься, когда нужно будет пополнить запас провiantа.

Найден

Наутро мы, компанией человек в двадцать, движимые чувством дружбы, помогли Сэмми Хильеру похоронить останки его покойного родственника — никем не оплаканного Флинта Бакнера. Я был в роли помощника, Хильер же возглавлял погребальную процессию. Едва успели мы закончить свои труды, как мимо нас проковылял какой-то ободранный, весьма унылого вида незнакомец со старым саквояжем в руке, и вдруг я почуял запах, за которым гонялся по всему свету! Для меня, почти утратившего надежду, это был аромат райских куш.

В один миг я очутился возле этого человека и осторожно положил ему на плечо

руку. Словно сраженный ударом молнии, он рухнул наземь. Когда к нему подбежали мои товарищи, он с трудом приподнялся, стал на колени, с мольбой протянул ко мне руки и дрожащим голосом стал умолять, чтобы я его больше не преследовал.

— Вы гонялись за мной по всему свету, Шерлок Холмс, — сказал он. — Но бог свидетель, я никому не причинял зла!

Достаточно было взглянуть на его блуждающий взор, чтобы понять, что перед нами помешанный. И это случилось по моей вине, мама! Когда-нибудь лишь весть о твоей кончине повергнет меня в отчаяние, подобное тому, что я испытал в ту минуту. Мои товарищи подняли его и, столпившись вокруг несчастного, нежнейшим и трогательнейшим образом его успокаивали; говорили, чтобы он держал выше голову и не волновался, потому что вокруг него друзья, которые о нем позаботятся, защитят его и тут же повесят всякого, кто посмеет его хоть пальцем тронуть. Они превращаются в заботливых, нежных матерей, эти грубые ребята-старатели, стоит только затронуть нежную половину их сердца. И наоборот, они могут превратиться в безрассудных, необузданных детей, если затронуть противоположную сторону этого органа. Они делали все, что только были в силах придумать, чтобы успокоить его, но ничего не добились, и тогда Фергюсон, талантливый дипломат, сказал:

— Если вы так волнуетесь только из-за Шерлока Холмса, то можете успокоиться.

— Почему? — жадно откликнулся несчастный безумец.

*Шерлок
Холмс снова
умер*

— Потому что он опять умер.

— Умер! Умер! О, не смейтесь надо мной, несчастным! В самом деле умер? Нет, он не обманывает меня? Это правда?

— Правда. Такая же правда, как то, что ты тут стоишь, — заверил его Хэм Сэндвич, и вся компания подтвердила эти слова.

*Повешен
по ошибке*

— Его повесили в Сан-Бернардино на прошлой неделе, — добавил Фергюсон, внося полную ясность в этот вопрос, — пока он вас там разыскивал. Его приняли за кого-то другого. Хотя они и сожалеют об этом, но теперь уже ничего не поделаешь.

— Теперь ему ставят там памятник, — сообщил Хэм Сэндвич с таким осведомленным видом, как будто сам внес в это дело пай.

*Обласкали
старика*

«Джеймс Уокер» испустил глубокий вздох — должно быть, вздох облегчения — и ничего не ответил. Но взгляд его сделался несколько спокойнее, лицо заметно прояснилось, стало менее удрученным. Мы все отправились ко мне домой, и ребята угостили его самым изысканным обедом, какой только возможно было приготовить из имевшихся в поселке продуктов. Пока они занимались приготовлением обеда, мы с Хильером переодели гостя с ног до головы во все новое из нашего гардероба и превратили его в симпатичного и почтенного старичка. Увы, именно — старичка! Старческая сутулость, седина в волосах, следы, которые оставляют на лице горе и отчаяние, — а ведь по годам он мог быть еще в расцвете сил. Пока он ел, мы курили и беседовали между собой. К концу обеда он снова обрел голос и по собственному желанию предложил поведать нам о своих злоключениях. Я не могу

воспроизвести каждое его слово, но постараюсь пересказать все как можно точнее.

*Рассказ человека, который был принят
за другого*

*Рассказ
«другого»
человека*

«Все началось так: я жил в Денвере. Там я прожил много лет, — иногда помню, сколько именно, иногда забываю, но это не имеет значения. Однажды я получил уведомление о том, что должен уехать, иначе меня изобличат в чудовищном преступлении, совершенном давным-давно в одном из восточных штатов. Я знал об этом преступлении, но не совершал его. Преступником был мой двоюродный брат, носивший ту же фамилию и имя. Я не знал, что предпринять. От страха в голове у меня все спуталось. На сборы мне было дано очень мало времени, кажется всего один день. Если бы мое имя было оглашено, никто бы не поверил в мою невиновность и меня бы линчевали. Ведь при линчевании обычно так и бывает: когда обнаружат, что произошла ошибка, все чрезвычайно сожалеют о случившемся, но исправить ошибку уже поздно, — подобно тому как это произошло с мистером Шерлоком Холмсом. Я решил продать свой рудник, скрыться и жить на вырученные деньги, а потом, переждав, пока все успокоится, вернуться и доказать свою невиновность. И вот однажды ночью я убежал, скрылся далеко от Денвера в горах и стал жить там под вымышленным именем.

*Вымышленное
имя*

Мои волнения и страхи все возрастали, вскоре я стал видеть призраки и слышать голоса. Я потерял способность что-либо ясно и связно обдумывать, а если думал о чем-нибудь, то забирался в такие дебри, что не мог из них выбраться, и го-

лова моя раскалывалась от боли. Мне становилось все хуже, а призраков и голосов появлялось все больше. Они не оставляли меня ни на миг, сначала по ночам, а потом и днем. Они шептались у моей постели, строили против меня какие-то козни, и я потерял сон и вконец обессилел, потому что не мог как следует отдохнуть.

А потом наступило самое худшее. Однажды ночью голоса прошептали: «Ничего не выйдет, потому что мы его *не видим* и не можем указать на него людям». Послышались вздохи, потом один из голосов сказал: «Необходимо вызвать Шерлока Холмса. Он доедет сюда за двенадцать дней». Все согласились и продолжали бормотать, радостно хихикая. Но я впал в отчаяние, потому что читал про Шерлока Холмса и знал, что это значит, если за мной погонится он, человек сверхчеловеческой проницательности и неутомимой энергии. Призраки отправились за ним, я же, вскочив среди ночи, бросился наутек, прихватив с собой саквояж с деньгами — там было тридцать тысяч долларов. Две трети этой суммы все еще хранятся в нем. Только через сорок дней Шерлок Холмс напал на мой след. Я едва успел скрыться. По привычке, он сперва записал свое имя в книге гостиницы, но потом зачеркнул подпись и сверху написал «Дэггет Баркли». Страх придает человеку особую зоркость: я сумел разобратить зачеркнутое и помчался прочь отсюда, как олень от охотника.

Три с половиной года почти без передышки он гонялся за мной по всему свету — по западным штатам, Австралии, Индии, потом по Мексике и опять по Калифорнии, но мне всегда удавалось распознать его имя в книгах гостиниц, и это

меня спасало. Вот почему то существо, в которое я превратился, еще живет. Но я так устал! Столько времени он жестоко мучил меня, однако же, клянусь честью, никогда я не причинял зла ни ему, ни кому-либо другому!»

На этом кончился рассказ, добела накаливший негодующих слушателей. Что до меня, то каждое его слово наносило мне жестокую рану.

Мы решили, что старичок будет нашим гостем — моим и Хильера — и поживет у нас. Я, разумеется, ни о чем не стану ему рассказывать, а когда он отдохнет и поправится, поеду с ним в Денвер и верну ему все его состояние.

Ребята обменялись с ним самым сердечным костедробительным рукопожатием и отправились разносить эту новость.

На заре следующего дня Фергюсон и Хэм Сэндвич потихоньку вызвали нас из хижины и конфиденциально сообщили:

— История про злоключения старикана разнеслась по всей округе и подняла на ноги все поселки. Ребята валом валят отовсюду, собираются линчевать профессора. У констебля Гарриса трясутся поджилки, он по телефону вызвал шерифа. Пошли!

Мы припустили бегом. Остальные были вольны испытывать какие угодно чувства, но я-то в глубине души питал надежду, что шериф явится вовремя, ибо я, как ты понимаешь, не имел ни малейшего желания, чтобы Шерлока Холмса повесили за злодеяния, совершенные мною. Я многое знал о шерифе понаслышке, но для собственного успокоения все же осведомился:

— А сможет он справиться с такой толпой?

— Справиться с толпой? Может ли Джек Фэрфакс справиться с толпой?

Укоры совести

*Новое
покушение
на Шерлока
Холмса*

Просто смех берет! Бывший головорез, девятнадцать скальпов на счету! Справиться? Ого!

Толпа

Пока мы мчались вверх по ущелью, в окружающей тишине до нас доносились далекий гул голосов, возгласы, выкрики, неуклонно нараставшие по мере нашего приближения. Рев толпы, подобно залпам, разрывая воздух, становился все громче и громче, ближе и ближе. А когда мы наконец ворвались в несметное скопище народа, собравшегося на пустыре перед трактиром, рев и гул оглушили нас. Несколько свирепых молодцов с прииска Дейли держали Шерлока Холмса, который, надо признать, казался спокойнее всех. Презрительная улыбка играла на его устах, и даже если страх смерти таился в сердце британца, железная воля подавляла его, не позволяя проявляться ни в чем.

— А ну-ка, проголосуем, ребята! — Этот призыв исходил от Хиггинса-«Квакера» из банды Дейли. — Живо! Петля или пуля?

— Ни то, ни другое! — выкрикнул один из его дружков. — Он же через неделю опять воскреснет! Для такого одно верное средство — огонь.

И тут же головорезы со всех дальних и ближних рудников одобрили предложение громовым воплем и, продираясь сквозь толпу, устремились к пленнику. Окружив его, они закричали: «На костер его! На костер!» Они потащили Шерлока Холмса к коновязи, поставили спиной к столбу, привязали, а потом завалили до половины хворостом и шишками. Но по-прежнему ни единый мускул не дрогнул на его мужественном лице, и презрительная улыбка по-прежнему играла на его тонких губах.

Смех его!

— Спичку! Эй вы, спичку!

*Погребальный
костер*

Хиггинс-«Квакер» чиркнул спичкой, прикрыл огонек рукой, нагнулся и подержал его под сосновой шишкой. В толпе воцарилась глубокая тишина. Шишка занялась, на секунду мелькнуло крошечное пламя... В этот миг вдали послышался топот копыт — все отчетливее, все ближе... Поглощенная зрелищем толпа ничего не замечала. Спичка потухла. Хиггинс чиркнул вторую, наклонился, и опять шишка занялась, на этот раз — по-настоящему. Огонь пополз дальше, кое-кто в толпе отвернулся. Палач, не выпуская обгоревшей спички, наблюдал за делом своих рук. Топот слышался уже за выступом скалы, и вот конь, гулко стуча копытами, поскакал прямо на нас. Почти в тот же миг раздался возглас:

Шериф

— Шериф!

И вслед за этим шериф врезался в толпу, вздыбив, рывком осадил коня и крикнул:

— Эй вы, отребье! Назад!

Все повиновались. Все, кроме вожака. «Квакер» не двигался с места, рука его потянулась к револьверу, но шериф его опередил:

— Придержи лапу, ты, герой «Мушиная смерть»! Затопни огонь и освободи незнакомца.

Герой «Мушиная смерть» повиновался, и шериф стал держать речь. Он отпустил удила и заговорил без всякой горячности, даже, наоборот, весьма размеренно и обдуманно, тоном, полностью соответствующим истинному смыслу его высказываний и эффектно подчеркивающим их нарочитую оскорбительность.

— Чудная компаньца, а? Вполне подходящая для такого свистуна, как

Хиггинс, — этого героя, что стреляет в спину и мнит себя отчаянным удальцом. А что я презираю больше всего на свете, так это свору линчевателей вроде вас! Среди этаких не бывает ни одного стоящего человека. Этаким храбрецам надо сперва набирать по меньшей мере сотню себе под стать, не то у них не хватит духу расправиться с калекон-портняжкой. Кто они? Свора трусов, да и вся их округа не лучше. И в девяноста девяти случаях из ста их шериф из той же колоды.

Он сделал паузу, по-видимому для того, чтобы хорошенько просмаковать заключительную мысль, а затем продолжал.

Шериф-трус

— Шериф, допускающий, чтобы сборище подонков отняло у него арестованного, просто-напросто паршивый трус. Что говорит статистика? За прошлый год в Америке сто восемьдесят два шерифа получали от государства жалованье за трусость. Если так пойдет дальше, то доктора вскоре запишут новый недуг: шерифская немочь. — Последняя мысль явно пришлась ему по душе, это было заметно всем и каждому. — И люди будут говорить: «Что, ваш шериф опять прихворнул?» — «Да, у него все та же старая хворь». А там, глядишь, появится новая должность. Люди уже не будут говорить: «Он избран шерифом Рапао», а скажут: «Он избран главным трусом Рапао». Бог ты мой! Чтобы взрослый человек убоился своры вешателей!

Он перевел взгляд на жертву и спросил:

— Чужестранец, кто вы и что вы тут делали?

— Меня зовут Шерлок Холмс, и я тут ничего не делал.

Поистине поразительным было впечатление, которое это имя произвело на шерифа, хотя он, несомненно, уже был предупрежден. И шериф заговорил снова, почувствованно и взволнованно. Он сказал, что это позор для страны, если человек, славой об уме и подвигах которого полнится весь мир и чьи рассказы о них завоевали сердца всех читателей блеском и обаянием литературной формы, подвергается столь гнусному насилию под американским флагом! Он принес свои извинения от имени всей нации и отвесил Шерлоку Холмсу учтивый поклон, а затем приказал констеблю Гаррису проводить гостя в трактир, предупредив, что он понесет личную ответственность в случае нового покушения на него. Затем он повернулся к толпе и сказал:

По норам

— Марш по своим норам, шакалы!

И все отправились восвояси. Тогда шериф повернулся к «Квакеру».

— Следуй за мной. Я лично займусь твоим делом. Стоп! Придержи свою хлопушку. Если настанет день, когда я испугаюсь, что ты идешь у меня за спиной с этакой штуковиной в руках, то, значит, пришло время зачислить меня сто восемьдесят третьим в прошлогоднюю компанию шерифов.

С этими словами он пустил лошадь шагом, а Хиггинс-«Квакер» поплелся за ним.

Время уже близилось к завтраку, когда мы по дороге домой слышали новость: Фетлок Джонс ночью убежал из своей тюрьмы и скрылся! Здесь об этом никто не сожалеет. Пусть уж дядюшка выслеживает своего племянника, если ему угодно! Это же по его части! Ну а поселок этим не интересуется.

Десять дней спустя

*Искупление
ала*

«Джеймс Уокер» уже окреп физически, и голова его тоже приходит в порядок. Завтра утром я уезжаю с ним в Денвер.

Следующей ночью. Коротенькая записка, посланная с глухого полустанка.

Утром, перед самым нашим отъездом, Сэмми Хильер шепнул мне:

*Истинный
преступник*

— То, что я расскажу тебе, не говори Уокеру, пока не убедишься, что это будет безопасно, не подействует на его мозги и не повредит поправке. То давнее преступление, о котором он рассказывал, было в самом деле совершено и, как он говорил, его двоюродным братом. На прошлой неделе мы похоронили истинного преступника — самого несчастного человека последнего столетия. Это был Флинт Бакнер. Его настоящее имя — Джейкоб Фуллер.

Итак, мама, с моей помощью, — с помощью ни о чем не подозревавшего участника похорон, — твой муж и мой отец оказался в могиле. Мир праху его!

I

На заре жизни человеку явилась добрая фея с ларцом и молвила:

— Вот мои дары. Возьми один из них, а другие оставь. Но выбор твой должен быть мудрым, очень мудрым! Ибо только один из даров воистину ценен.

Даров было пять: Слава, Любовь, Богатство, Наслаждение, Смерть. Юноша нетерпеливо сказал:

— Тут нечего раздумывать, — и выбрал Наслаждение.

И он ушел в широкий мир и стал искать наслаждений, которыми тешится юность. Но все они, одно за другим, оказались пустыми и преходящими, и суетность их разочаровала его; и каждое, ускользая от юноши, издевалось над ним.

Наконец он сказал:

— Все эти годы ушли у меня понапрасну. Но если бы мне дано было выбрать снова, я сделал бы мудрый выбор.

II

Тогда вновь пришла фея и молвила:

— Остаются четыре дара. Выбирай еще раз, но помни — о, помни! — время быстротечно, а драгоценен только один из даров.

Человек думал долго, а затем выбрал Любовь; но он не заметил слез, блеснувших в глазах доброй феи.

Много, много лет спустя он сидел у гроба, один в опустевшем доме и, обращаясь к себе самому, говорил:

— Одна за другой уходили они, покидая меня; а теперь лежит в гробу и она, самая дорогая, последняя моя любовь. Утрата за утратой постигали меня; за каждый час счастья, что продавала мне коварная обманщица Любовь, платил я бесконечными часами горя. От глубины сердца проклиная ее!

III

— Выбирай еще раз! — снова сказала фея. — Годы научили тебя уму-разуму, — несомненно, должны были научить. Остаются еще три дара. Но лишь один из них чего-нибудь стоит, — помни об этом и будь осмотрителен в выборе.

Долго раздумывал человек, а затем выбрал Славу; и фея со вздохом удалилась.

Прошли годы, и однажды она явилась опять и стала за спиной человека, одиноко сидевшего в сумерках и погруженного в свои думы. И думы его были ей ведомы.

«Имя мое разнеслось по всему миру, похвалы мне были у всех на устах, и на мгновение мне показалось, что это прекрасно. Но как оно было кратко, это мгновение! А там появилась зависть, за нею злословие, потом клевета, потом ненависть, и следом за нею — гонения. Затем — злая насмешка, и это было началом конца. Напоследок явилась жалость, а жалость — могила славы. О, как горек и жалок удел знаменитости! В зените славы — вызывать грязную клевету, а на ее закате — презрение и сострадание».

IV

— Что ж, выбирай еще раз, — прозвучал голос феи. — Остаются два дара. И не отчаивайся. Ведь и вначале только один из них был драгоценен, а он и теперь еще здесь.

— Богатство, а значит — и власть! — сказал человек. — Как я был слеп! Но теперь наконец жизнь обретет для меня смысл, — я буду сорить деньгами, швырять их, ослеплять их блеском. Те, кто высмеивал и

презирал меня, станут пресмыкаться передо мной в грязи, и я натешу свое изголодавшееся сердце их завистью. Вся роскошь мира будет мне доступна, все его радости, все наслаждения духа, все улады плоти — все, чем дорожит человек. Я буду покупать, покупать, покупать! Уважение, почет, хвалу, поклонение — все те мишурные прелести жизни, какие может предложить базар житейской суеты. Я потерял много лет и до сих пор ошибался в выборе, но теперь это — в прошлом; в те дни я был еще слишком несведущ и потому выбирал то, что с виду казалось мне лучшим.

Незаметно промчались три года, и вот настал день, когда человек, дрожа от холода, сидел в убогой мансарде; он был бледен и изнурен, глаза его ввалились, а тело прикрывали лохмотья; грызя сухую корку, он бормотал:

— Да будут прокляты все дары мира, ибо они — лишь издевательство и позлащенная ложь. И каждый из них носит ложное имя. Они даются не в дар, а только на подержание. Любовь, Наслаждение, Слава, Богатство — лишь временные обличья вечно сущих и подлинных истин жизни — Горя, Боли, Позора и Бедности. Правду сказала мне фея: из всех даров только один был воистину ценен, лишь он один не был пустым и никчемным. О, теперь я познал, как жалки, и бедны, и ничтожны все ее остальные дары рядом с единственным и бесценным — тем милосердным и добрым и благодетельным даром, что навек погружает нас в сон без сновидений, избавляя от мук, терзающих тело, от позора и горя, гложущих ум и душу. О, дай мне его! Я устал, я хочу отдохнуть.

V

Фея пришла и вновь принесла четыре дара, но Смерти между ними не было. И фея сказала:

— Я отдала этот дар младенцу, сокровищу матери. Он был еще несмышленный, но доверил мне выбор. А ты не доверился мне.

— О я несчастный! Что же осталось на мою долю?

— То, чего даже ты не заслужил: бессмысленное надругательство, имя которому — Старость!

Одна муха делает лето.

Из Календаря Простопили Вильсона

I

Просторная пивная на Фридрихштрассе в Берлине; перевалило за полдень. За сотней круглых столиков восседают курящие и пьющие господа; снуют кельнеры в белых фартуках, с пенящимися кружками в руках для жаждущих. За столиком у главного входа собралось с полдюжины оживленных молодых людей. Это американские студенты, пришедшие попрощаться со своим молодым йельским коллегой, который путешествует по Европе и провел несколько дней в столице Германии.

— Но что это вам вздумалось обрывать свое путешествие на середине, Пэрриш? — спросил один из студентов. — Вот бы мне оказаться на вашем месте! К чему вам торопиться домой?

— Да, — подхватил другой, — в чем дело? Вы должны объясниться, а то, знаете ли, это смахивает на помешательство. Что у вас, тоска по родине?

Юное, свежее лицо Пэрриша зарделось девическим румянцем, и после некоторого колебания он признался, что причина именно в этом.

— До сих пор я никогда не уезжал из дому, — сказал он, — и с каждым днем мне делается все тоскливее. Уже несколько недель я не видел знакомого лица, а это невыносимо. Я хотел хоть из самолюбия дотянуть это путешествие до конца, но встреча с вами, друзья, меня доконала. Я будто побывал в раю и теперь уже не в силах вновь погрузиться в это тоскливое одиночество. Если бы у меня был спутник... Но ведь его нет, что толку говорить об этом? В детстве меня дразнили «мисс Нэнси». Мне кажется, я и сейчас остался таким же — изнеженным, робким и тому подобное. Да, мне следовало бы родиться девочкой. У меня больше нет сил, я уезжаю домой.

Молодые люди принялись добродушно подшучивать над ним, говоря, что он совершает ошибку, о которой будет сожалеть всю жизнь; а один из них прибавил, что перед возвращением на родину он должен побывать хотя бы в Петербурге.

— Перестаньте! — взмолился Пэрриш. — Это была моя заветнейшая мечта, и сейчас я отказываюсь от нее. Прошу вас, ни слова об этом, ведь я податлив, как воск, и, если меня начнут уговаривать, не устою. А я не могу ехать один, — мне кажется, что я умру. — Он похлопал себя по карману и прибавил: — Вот гарантия того, что я не передумаю: я купил билет в спальный вагон до Парижа и сегодня вечером уезжаю. Выпьем же — я плачущий, — выпьем до дна за возвращение домой!

Отзвучали прощальные тосты, и Альфред Пэрриш остался наедине со своими думами, но ненадолго. Какой-то энергичный господин средних лет с деловитыми и решительными манерами, с твердым и самоуверенным выражением лица, какое бывает у людей военных, быстро встал из-за соседнего столика, подсел к Пэрришу и заговорил с выражением живейшего участия и интереса. Глаза, лицо, наружность незнакомца, все его существо, казалось, источали энергию. Его распирали пар самого высокого давления, — еще немного, и вы услышали бы, как он со свистом вырывается из клапана. Незнакомец сердечно пожал Пэрришу руку и сказал тоном глубочайшего убеждения:

— Ни в коем случае не делайте этого; ни в коем случае, слышите? Это будет величайшей ошибкой; вы всю жизнь будете сожалеть о ней. Прошу вас, послушайте меня, не делайте этого, не делайте.

В его голосе звучало такое неподдельное участие, что удрученный юноша воспрянул духом, и предательская влага блеснула у него на глазах — невольный знак того, что он тронут и исполнен признательности. Наблюдательный незнакомец заметил это и, довольный достигнутым успехом, поспешил воспользоваться им, не дожидаясь словесного ответа.

— Нет, нет, не делайте этого! Это будет ошибкой. Я слышал все, что здесь говорилось, — вы извините, я сидел так близко, что это получилось невольно. И меня встревожила мысль, что вы намерены прервать свое путешествие, в то время как вам совершенно необходимо побывать в Петербурге. Ведь до него буквально рукой подать! Подумайте хорошенько, вы обязаны подумать. Это же так близко! Оглянуться не успеешь — и уже съездил. А какое воспоминание, только представьте себе!..

И он принялся так расписывать русскую столицу и ее чудеса, что у Альфреда Пэрриша потекли слюнки и его ободренная душа просто закричала от нетерпения.

И тогда:

— Ну конечно, вы должны, вы обязаны побывать в Петербурге. Вы будете в восторге, просто в восторге! Я уверен в этом, потому что знаю русскую столицу так же хорошо, как свой родной город в Америке. Десять лет... да, уже десять лет, как я знаю его. Спросите любого, все вам это скажут. Я майор Джексон. Меня все знают. Меня там каждая собака знает! Поезжайте же! Вы должны ехать, право же должны.

Теперь Альфред Пэрриш дрожал от нетерпения. Да, он поедет. Это было так ясно написано на его лице, что слов уже не требовалось. Затем... он снова помрачнел и печально проговорил:

— О нет... нет, это невозможно, я не могу. Я умру от одиночества.

— От какого одиночества? — вскричал изумленный майор. — Да ведь я еду с вами!

Это была полнейшая неожиданность. И не такая уж приятная. События развивались слишком быстро. Уж не ловушка ли это? Не жулик ли незнакомец? Откуда столь бескорыстное участие к юному путешественнику, которого он видит впервые в жизни? Но, взглянув в открытое, честное, сияющее улыбкой лицо майора, он устыдился. Ах, если б он только знал, как расхлебать эту кашу, не оскорбляя чувств того, кто ее заварил! Но он был не слишком искушен в вопросах дипломатии и приступил к делу весьма неуклюже, вполне сознавая свою беспомощность. С явно фальшивой самоотверженностью он запротестовал:

— Нет, нет, вы слишком добры. Я не могу... не могу позволить вам подвергать себя таким неудобствам, по моей...

— Неудобствам? Да ничего подобного, мой мальчик! Я все равно уезжаю сегодня вечером; я еду девятичасовым экспрессом. Полноте, едем вместе. Вы ни на минуту не останетесь в одиночестве. Едем же... Ну, соглашайтесь!

Итак, хитрость не удалась. Что же делать? Пэрриш совершенно пал духом, ему казалось, что его скудное воображение уже не в силах изобрести какую-либо отговорку, которая вызволила бы его из этих тенет. И тем не менее он был убежден, что обязан предпринять еще одну попытку, и он предпринял ее, — и, еще не успев договорить, решил, что его доводы совершенно неотразимы.

— Увы, это невозможно. Несчастье преследует меня. Взгляните. — Он вынул билет и положил его на стол. — Я уже взял билет до Парижа, и, разумеется, мне его не обменяют. Он пропадет, и багажные квитанции тоже. Если же я куплю новый билет, то окажусь без гроша, ибо вот все мои наличные деньги, — и он положил на стол банкнот в пятьсот марок.

В ту же минуту билет и квитанции были у майора, а сам майор был на ногах и с воодушевлением восклицал:

— Превосходно! Все в порядке, все спасено! Для меня они обменяют и билет и квитанции. Они знают

меня, меня все знают. Ждите тут, я сию минуту вернусь. — Затем он схватил банкнот, добавив: — Я захвачу это с собой, так как новые билеты, возможно, окажутся немного дороже, — и тотчас же вылетел из зала.

II

Альфред Пэрриш стоял как громом пораженный. Все это было так неожиданно. Так неожиданно, дерзко, неправдоподобно, непостижимо. Он открыл рот, но не смог пошевелить языком. Попробовал крикнуть: «Остановите его», но в легких не оказалось воздуха. Хотел броситься вдогонку, но дрожащие ноги отказывались повиноваться ему. Потом они подкосились, и он рухнул на стул. В горле у него пересохло, он задыхался, с трудом глотая воздух, в голове был полный сумбур. Что же делать? Этого он не знал. Одно все же казалось несомненным: надо взять себя в руки и попытаться догнать незнакомца. Разумеется, этот человек не сможет получить деньги за его билет, но значит ли это, что он его выбросит? Нет, он, конечно, отправится на вокзал и сбудет его кому-нибудь за полцены; причем сегодня же, потому что, по местным правилам, на следующий день билет будет уже недействителен. Это соображение вселило в юношу надежду. Сбравшись с силами, он встал и направился к выходу. Но он сделал лишь несколько шагов, затем, охваченный внезапной слабостью, неверными шагами вернулся на место, чуть не теряя сознание при мысли, что его маневры заметили. Ведь в последний раз пиво заказывали за его счет, а он еще не расплатился, и у него нет ни пфеннига! Он узник, и одному богу известно, что может произойти, вздумай он уйти из пивной. Он был испуган, растерян, подавлен и ко всему слишком плохо знал немецкий язык, чтобы объяснить, в чем дело, и просить снисхождения и помощи.

И тут его стало мучить запоздалое раскаяние. Как он мог оказаться таким дураком? Что его дернуло послушаться явного авантюриста? А вот и кельнер! Юноша, весь дрожа, зарылся в газету. Кельнер прошел

мимо. Душа Пэрриша исполнилась благодарности судьбе. Стрелки часов, казалось, застыли на месте, тем не менее он не мог отвести от них глаз.

Томительно медленно проползло десять минут. Опять кельнер! Пэрриш снова прячется за газетой. Кельнер помешкал — этак с неделю — и пошел дальше.

Еще десять ужасных минут, и снова кельнер. На этот раз он принялся вытирать столик и делал это, кажется, месяц; потом два месяца стоял у стола и наконец отошел.

Пэрриш чувствовал, что нового появления кельнера он не вынесет. Он должен рискнуть, должен пройти сквозь строй, должен спастись. Но кельнер еще пять минут — они показались бедняге долгими месяцами — околачивался по соседству, и Пэрриш следил за ним затравленным взглядом, чувствуя, как его мало-помалу начинают одолевать все недуги старости, а голова медленно седеет.

Наконец кельнер побрел прочь, остановился около одного столика, получил по счету, побрел дальше, снова получил по счету, побрел дальше... Все это время Пэрриш не спускал с него умоляющих глаз, прерывисто дыша от волнения, смешанного с надеждой, чувствуя, как бешено колотится сердце.

Кельнер снова остановился, чтобы получить по счету. «Теперь или никогда», — подумал Пэрриш и двинулся к двери. Один шаг... два шага... три... четыре... он уже у дверей... пять... у него трясутся колени... кажется, он слышит чьи-то поспешные шаги... от одной этой мысли сжимается сердце... шесть шагов... семь... он уже на улице... восемь... девять... десять... одиннадцать... двенадцать... так и есть, за ним кто-то гонится! Он поворачивает за угол, сейчас он припустит что есть духу... чья-то тяжелая рука опускается ему на плечо, и силы оставляют его.

Это был майор. Он не задал ни одного вопроса, не выказал ни малейшего удивления. Он заговорил, как всегда оживленно и бодро:

— Черт бы их всех побрал! Они меня задержали. Поэтому я и пропадал столько времени. В билетной кассе новый кассир, он меня не знает и не хотел обме-

пивать билет, потому что это не по правилам. Пришлось разыскивать моего старинного приятеля, Великого Могола — начальника станции, понимаете? Эй, извозчик, извозчик, сюда!.. Прыгайте, Пэрриш! Русское консульство, извозчик, и гони что есть духу!.. Так вот, я и говорю, на все это ушла уйма времени. Но теперь все в порядке, все улажено. Ваш багаж заново взвешен, выписаны новые квитанции, проездной билет и плацкарта обменены, и все это лежит у меня в кармане; тут же и сдача... я поберегу ее для вас. Погоняй, извозчик, погоняй! Что они у тебя, уснули?

Бедняга Пэрриш всячески старался вернуть словечко, покуда извозчик увозил их все дальше от бесчестно покинутой им пивной, и когда это наконец удалось ему, выразил желание тут же вернуться и уплатить по счету.

— О, об этом можете не беспокоиться! — невозмутимо ответил майор. — Здесь все в порядке. Они меня знают, меня все знают. В следующий раз, когда я буду в Берлине, я это улажу. Гони, извозчик, времени у нас в обрез.

К русскому консульству они подъехали с опозданием на две минуты и вбежали в помещение. Там уже не оказалось никого, кроме письмоводителя. Майор положил перед ним на конторку свою визитную карточку и сказал по-русски:

— Так вот, чем скорее вы завизируете паспорт этого молодого человека для поездки в Петербург...

— Но, милостивый государь, я не имею на это права, а консул только что уехал.

— Куда?

— За город. Он там живет.

— И вернется...

— Не раньше завтрашнего утра.

— Дьявол! Впрочем, послушайте, я майор Джексон... он меня знает, меня все знают. Завизируйте этот паспорт сами. Скажете ему, что вас попросил майор Джексон, и все будет в порядке.

Но склонить письмоводителя на такое ужасающее нарушение правил не было никакой возможности. Он чуть не упал в обморок при одной мысли об этом.

— Ну ладно, тогда сделаем так, — сказал майор, — вот сбор за визу и марки, завизируйте его завтра и отправьте почтой.

Письмоводитель нерешительно проговорил:

— Он... ну что ж, может быть он завизирует ваш паспорт, и тогда...

— Может быть? Безусловно завизирует! Он знает меня, меня все знают.

— Хорошо, — сказал письмоводитель. — Я передам ему ваши слова. — Казалось, он растерялся, уже готов был уступить и лишь робко добавил:

— Но... но вы знаете, что окажетесь на границе на целые сутки раньше, чем туда придет паспорт? А там ведь так долго и подождать-то негде.

— А почему вы решили, что мы будем ждать? И не подумаем!

Письмоводителя едва не хватил удар, и он воскликнул:

— Бог с вами, сударь! Ведь не хотите же вы, чтоб мы переслали его прямо в Петербург?

— А почему бы нет?

— А его владелец будет ждать на границе в двадцати пяти милях? Какая же ему тогда польза от паспорта?

— Ждать? Что за вздор? Откуда вы взяли, что он собирается ждать?

— Но вы же знаете, что без паспорта его задержат на границе!

— Ничего подобного. Главный инспектор меня знает, меня все знают. Я поручусь за этого юношу. Вы пошлете паспорт прямо в Петербург, гостиница Европейская, для майора Джексона. Скажите консулу, чтоб он не беспокоился, весь риск я беру на себя.

Письмоводитель помялся, затем предпринял еще одну попытку:

— Вы должны иметь в виду, сударь, что именно сейчас риск особенно серьезен. Вошел в силу новый указ.

— Какой?

— Десять лет Сибири за пребывание в России без паспорта.

— Мм... а чтоб... — майор выругался по-английски, ибо русский язык слабоват при столь сложных обстоятельствах. Он задумался на минуту, однако сейчас же просиял и снова заговорил по-русски:

— Чепуха, все в порядке. Отправляйте его в Петербург, и делу конец. Я все улажу. Там меня все знают... все власти... все и каждый!

III

Майор оказался восхитительным спутником, и юный Пэрриш был от него в восторге. Его беседа искрилась солнечным светом и переливалась радугой, освещая все вокруг, и все казалось веселым, бодрым, радостным; он был на диво оборотист и всегда знал, что, как и почему надо делать. Продолжительное путешествие показалось чудесным сном бедному юноше, который столько недель был одинок, заброшен, лишен дружеского участия и снедаем тоской по родине. Наконец, когда наши путешественники уже приближались к границе, Пэрриш сказал что-то о паспортах; потом вздрогнул, будто вспомнив о чем-то, и добавил:

— Да, кстати, я почему-то не помню, был ли у вас в руках мой паспорт, когда мы выходили из консульства. Но ведь он с вами, не правда ли?

— Нет, он идет почтой, — безмятежно сообщил майор.

— П-почтой! — пролепетал юноша. Все ужасы, которые он слышал о бедствиях и злключениях беспаспортных гостей России, ожили в его потрясенном сознании, и он побледнел, как мел.

— О майор, ради бога, что же со мной будет? Как вы могли это сделать?

Майор ласково положил руку ему на плечо и сказал:

— Успокойтесь, мой мальчик, все будет хорошо. Я взял на себя заботу о вас и не допущу, чтобы с вами стряслась какая-либо беда. Главный инспектор меня знает, я ему все объясню, и все будет в порядке, вот

увидите. Да не расстраивайтесь вы! Я все улажу, это легче легкого.

У Альфреда душа уходила в пятки, он дрожал с головы до ног, но кое-как постарался скрыть свое отчаяние и даже изобразить какое-то подобие бодрости в ответ на ласковые слова и уверения майора.

На границе он вышел из вагона и, стоя поодаль от толпы пассажиров, в страшной тревоге ожидал майора, который протискивался вперед, чтобы «все объяснить главному инспектору». Ожидание тянулось мучительно долго, но вот наконец вновь появился майор и жизнерадостно выпалил:

— Проклятие, здесь новый инспектор, и я с ним незнаком!

С отчаянным криком: «О боже, боже, мне следовало ожидать этого!» Альфред прислонился к грудке чемоданов и начал беспомощно сползать на землю, но майор подхватил его, усадил на чей-то сундук, сел рядом и, придерживая его рукой, зашептал на ухо:

— Не волнуйтесь, дружок, не волнуйтесь же... все обойдется. Только положитесь на меня. Помощник инспектора слеп, как крот. Я наблюдал за ним и совершенно уверен в этом. Теперь послушайте, что надо сделать. Я пройду и предъявлю свой паспорт, а потом стану вон там, по ту сторону решетки, где стоят крестьяне с мешками. Станьте рядом, я прислонюсь к решетке и просуну вам паспорт сквозь прутья, потом вы пойдете вместе со всеми, предъявите паспорт и будете уповать на провидение и на крота. Главным образом на крота. Все будет в лучшем виде! Только не бойтесь.

— Да, но боже милостивый, ваши приметы совпадают с моими не больше чем...

— О, это пустяки! Разница между мужчиной пятидесяти одного года и девятнадцати для крота совершенно незаметна... Успокойтесь же, все обойдется как нельзя лучше.

Спустя десять минут побледневший и обессиленный от страха Альфред неверными шагами приближался к поезду. Однако он успешно обошел крота и был счастлив, как не обложенная налогом собака, которая улизнула от полицейского.

— Ну, что я вам говорил? — воскликнул майор, находившийся в превосходном расположении духа. — Я знаю, что все удастся, стоит лишь положиться на провидение, как это делают доверчивые маленькие дети, и не пытаться исправить его пути. Так всегда бывает.

Всю оставшуюся часть путешествия майор из кожи вон лез, стараясь вдохнуть жизнь в своего юного спутника, восстановить его кровообращение, вытянуть его из пучины уныния, заставить вновь почувствовать, что жизнь — удовольствие, и жить стоит. В результате молодой человек прибыл в Петербург в приподнятом настроении, бодро вступил в гостиницу и внес в список приезжих свое имя. Однако, вместо того чтобы указать ему номер, портье вопросительно глядел на него, чего-то выжидая. Майор тут же ринулся на помощь и дружески заговорил с портье:

— О, все в порядке... вы ведь меня знаете... внесите его в список, я отвечаю.

Портье с важной миной покачал головой. Майор добавил:

— С этим все в порядке, он будет через двадцать четыре часа... он идет почтой. Вот мой, а его идет почтой, за нами следом.

Портье был полон учтивости и почтения, но непреклонен. Он сказал по-английски:

— Право же, мне бы очень хотелось оказать вам эту услугу, майор, и я оказал бы ее, если бы это было в моих силах, но у меня нет выбора, и я вынужден просить его удалиться. Я не могу позволить ему ни минуты оставаться в гостинице.

Пэрриш покачнулся и издал стон, майор подхватил его и, поддерживая одной рукой, просительно обратился к портье:

— Полноте, вы же знаете меня... меня все знают... разрешите ему только переночевать здесь, и я даю вам слово...

Портье покачал головой и сказал:

— Однако, майор, вы подвергаете опасности меня и всю гостиницу. Я... мне противна самая мысль об этом... но я обязан позвать полицию.

— Погодите, не делайте этого. Идемте, мой мальчик, и не падайте духом. Все будет хорошо. Эй, извозчик, сюда! Прыгайте, Пэрриш. Дворец начальника жандармского управления. Дуй вовсю, извозчик! Шевелись! Гони во весь дух! Ну вот, теперь можете быть совершенно спокойны. Князь Бословский меня знает, знает как свои пять пальцев, и он быстро все уладит.

Они вихрем пронеслись по оживленным улицам и остановились у залитого огнями дворца. Но тут пробило половину девятого, караульный сказал, что князь идет обедать и никого не сможет принять.

— Ну, уж меня-то он примет! — воскликнул бравый майор и подал свою карточку. — Я майор Джексон. Передайте ее, и все будет в порядке.

Невзирая на сопротивление, карточка была отослана, и майор со своим подопечным прошли в приемную. После долгого ожидания за ними прислали и ввели в пышный кабинет, где их встретил князь, роскошно одетый и хмурый, как грозовая туча. Майор изложил свое дело и попросил отсрочки на двадцать четыре часа, пока не будет получен паспорт.

— Это невозможно, — ответил князь на безукоризненном английском языке. — Меня изумляет, как вы могли совершить такое безумие и привезти сюда без паспорта этого юношу. Право, я изумлен, майор. Ведь это же десять лет Сибири без всякого снисхождения... Держите его! Да помогите же ему! — Ибо несчастный Пэрриш в эту минуту совершал вторичное путешествие на пол. — Скорее, дайте ему вот этого. Хорошо... Еще глоточек... Коньяк — именно то, что нужно, как вы полагаете, юноша? Ну вот, теперь вам лучше, бедняжка. Ложитесь сюда на диван. Как глупо было с вашей стороны, майор, втянуть его в такую ужасную историю!

Майор осторожно уложил юношу, подсунул ему под голову подушку и шепнул на ухо:

— Прикидывайтесь вовсю. Делайте вид, что вот-вот очоуритесь; вы видите, он растроган. Чувствительное сердце бьется где-то там, под всем этим... Издайте стон и скажите: «О мама, мама!», — это его доконает как пить дать.

Пэрриш, который готов был проделать все это по естественному побуждению, незамедлительно последовал совету майора, и застонал с такой огромной и подкупающей искренностью, что майор прошептал:

— Блестяще! А ну-ка еще разок. Самой Саре Бернар так не сыграть.

В конце концов красноречие майора и отчаяние юноши сделали свое дело, — князь сдался и сказал:

— Будь по-вашему; хоть вы и заслуживаете сурового урока. Я даю вам ровно двадцать четыре часа. Если за это время вы не получите паспорта, можете ко мне не являться. Тогда уже Сибирь, и никакой надежды на помилование.

Пока майор и юноша рассыпались в благодарностях, князь позвонил, вызвал двух солдат и по-русски приказал им всюду следовать за этими двумя людьми, ни на минуту не выпуская из виду младшего, в течение двадцати четырех часов, и если по истечении этого срока юноша не сможет предъявить паспорт, заточить его в каземат Петропавловской крепости, а об исполнении доложить.

Злополучные путешественники прибыли в гостиницу в сопровождении своих стражей, которые не спускали с них глаз в течение всего обеда и просидели в комнате Пэрриша до тех пор, пока майор не отправился спать, ободрив упомянутого Пэрриша. После чего один из солдат, оставшись вдвоем с Пэрришем, замкнул комнату на ключ, в то время как второй растянулся у порога снаружи и тут же заснул.

Но Альфред Пэрриш не последовал его примеру. Едва очутился он наедине с угрюмым солдатом и безголосая тишина обступила его со всех сторон, его напускная бодрость стала улетучиваться, искусственно раздутая храбрость выдыхаться, пока не съежилась до своих обычных размеров, а жалкое сердечко сморщилось в изюминку. За какие-то полчаса он докатился до того, что дальше некуда, — тоска, уныние, ужас, отчаяние не могли быть беспредельнее. Постель? Она не для таких, как он, не для обреченных, не для погибших! Сон? Он не иудейский отрок, чтобы уснуть в печи огненной! Метаться взад и вперед по комнате —

вот все, что он мог делать. И не только мог, но должен был! И он метался, словно урок выполнял. И стонал, и плакал, и дрожал, и молился.

Потом, преисполненный глубокой скорби, он сделал последние распоряжения и приготовился достойно встретить свою судьбу. И, наконец, составил письмо.

«Дорогая матушка, когда эти печальные строки дойдут до тебя, твоего несчастного Альфреда уже не будет. Нет, хуже, чем это, гораздо хуже! По своей вине и из-за собственного легкомыслия я оказался в руках мошенника или безумца. Не знаю уж, что вернее, но и в том и в другом случае я пропал. Иной раз мне думается, что он мошенник, но чаще всего мне кажется, что это просто сумасшедший, ибо я знаю, что у него доброе, отзывчивое сердце, и он, несомненно, прилагает сверхчеловеческие усилия, чтобы вызволить меня из роковых злоключений, в которые сам же меня втянул.

Через несколько часов я буду одним из безымянной толпы, бредущей под ударами кнута по безлюдным снегам России в страну тайн, страданий и вечного забвения, которая зовется Сибирью! Живым до нее я не доберусь, сердце мое разбито, я умру. Отдай мой портрет *ей*, пусть хранит его в память обо мне и живет так, чтобы, когда пробьет ее час, она могла присоединиться ко мне в том лучшем мире, где не женятся и не выходят замуж, где нет разлук и неведомо горе. Мою рыжую собаку отдай Арчи Гейлу, а вторую — Генри Тэйлору; фланелевую курточку я завещаю брату Уиллу и ему же рыболовные снасти и библию.

Мне не на что надеяться. Бежать я не могу — здесь стоит солдат с ружьем и не сводит с меня глаз, только помаргивает; и больше ни малейшего движения, как будто он мертвый. Я не могу подкупить его, все мои деньги у этого одержимого. Мой аккредитив в чемодане и может никогда не дойти сюда... Да, он никогда не дойдет, я знаю. О, что же со мной будет! Молись за меня, дорогая матушка, молись за своего бедного Альфреда. Только это уже не поможет».

Наутро Альфред, отощавший и изнуренный, вышел из комнаты, когда майор вытребовал его к раннему завтраку. Они накормили своих стражей, закурили сигары, майор развязал язык и пустил его в работу. И под его магическим воздействием Альфред с благодарностью почувствовал, что к нему мало-помалу возвращается надежда, некая умеренная доля бодрости, и что он снова почти счастлив.

Но выходить из гостиницы он не захотел. Сибирь, мрачная и угрожающая, нависла над ним, и вся его жажда зрелищ испарилась. Осматривать улицы, галереи, церкви под конвоем двух солдат, чтобы все встречные останавливались, пялили на него глаза и перешептывались?.. Нет, он бы не снес такого позора. Он будет сидеть в гостинице и дожидаться берлинской почты и решения своей участи. Итак, майор весь день рыцарски провел в его комнате, у порога которой застыл солдат с ружьем на плече, в то время как другой дремал на стуле в коридоре. Весь день честный служака с энергией поистине неистощимой плел небывлицы о военных походах, описывал сражения, сыпал фейерверками анекдотов и своей непоколебимой твердостью и остроумием поддерживал жизнь в перепуганном студенте и заставлял кое-как биться его пульс. Томительно долгий день близился к концу. Наши друзья, сопровождаемые стражей, спустились в ресторан и заняли свои места.

— Теперь уже не долго оставаться в неизвестности, — вздохнул бедный Альфред.

В эту минуту мимо них прошли двое англичан, и один из них сказал:

— Значит, сегодня вечером мы не получим писем из Берлина?

У Пэрриша перехватило дыхание. Англичане сели за столик неподалеку от них, и второй ответил:

— Нет, дело не так плохо. — Пэрриш перевел дух. — Была еще одна телеграмма. Катастрофа лишь сильно задержала поезд, только и всего. Он опоздает на три часа и прибудет ночью.

На этот раз Пэрриш не успел добраться до пола, ибо майор подскочил к нему вовремя. Он прислушивался к разговору и предвосхитил события. Ласково похлопав Пэрриша по спине, он стащил его со стула и весело проговорил:

— Пойдемте, мой мальчик, не вешайте нос, беспокоиться решительно не о чем. Я знаю, как выйти из положения. Наплевать нам на паспорт, пусть запаздывает хоть на неделю, если угодно. Без него обойдемся!

Пэрриш так дурно себя чувствовал, что вряд ли слышал хоть слово. Надежда исчезла, перед ним растянулась Сибирь. Он с трудом переставлял ноги, словно налитые свинцом, повиснув на майоре, который тащил его в американскую миссию, ободряя по пути заверениями, что по его рекомендации посланник без колебаний тотчас же вручит ему новый паспорт.

— Этот козырь я придерживал с самого начала, — говорил он. — Посланник знает меня... мы с ним близкие друзья... не один час проболтали мы, лежа под грудой других раненых у Колд-Харбор, и с тех пор на всю жизнь остались закадычными друзьями, — духовно, конечно, ибо встречались мы не часто. Перестаньте киснуть, голубчик, все идет блестяще! Клянусь богом! Я полон задора, готов горы своротить. Вот мы и пришли, и все наши печали остались позади. Да и были ли они у нас?

Возле дверей была приколочена торговая марка богатейшей, свободнейшей и могущественнейшей республики, когда-либо существовавшей в веках: деревянный круг с распростертым на нем орлом, голова и плечи которого парят под звездами, а когти полны разного старомодного военного хлама. При этом зрелище слезы выступили на глазах Альфреда, в сердце поднялась волна гордости за свою родину, в груди загремели звуки «Привет, Колумбия!»; и все его страхи и печали сразу улетучились, потому что здесь он был в безопасности. Да, в безопасности! Никакие силы на свете не осмелились бы переступить этот порог, чтобы наложить на него свою руку.

Из соображений экономии европейские миссии могущественнейшей республики ютятся в полутора

комнатушках на девятом этаже, поскольку на десятом не оказалось места, а обстановка миссии состоит из посланника, или посла, на жалованье тормозного кондуктора; секретаря, который, чтобы заработать себе на пропитание, торгует спичками и склеивает фаянсовую посуду; наемной барышни, исполняющей обязанности переводчика, а заодно и всей прислуги; нескольких снимков американских пароходов; хромофотографии с изображением ныне царствующего президента; письменного стола, трех стульев, керосиновой лампы, кошки, настенных часов и плевательницы, на которой начертан девиз: «На господа уповаем».

Наши путешественники в сопровождении конвоя вскарабкались наверх. За письменным столом сидел некто и составлял деловое письмо, царапая гвоздиком по оберточной бумаге. Он встал и сделал «поворот кругом»; кошка соскочила на пол и спряталась под стулом, наемная барышня протиснулась в угол за кувшин с водкой, чтобы освободить место; солдаты прижались к стене рядом с ней, держа ружья «на плечо»; Альфред сиял от счастья и ощущения безопасности.

Майор обменялся с чиновником сердечным рукопожатием, непринужденно и бойко отбарабанил ему обстоятельства дела и попросил выдать желаемый паспорт.

Чиновник усадил своих посетителей и сказал:

— Хм, видите ли, я всего-навсего секретарь миссии, и мне бы не хотелось выдавать паспорт, когда сам посланник находится в России. Это слишком большая ответственность.

— Чудесно, так пошлите за ним.

Секретарь улыбнулся и ответил:

— Легко сказать! Он сейчас в отпуске, где-то в лесах на охоте.

— Ч-черт подери! — воскликнул майор.

Альфред застонал, румянец сбежал с его щек, и он начал медленно проваливаться во внутрь своего костюма. Секретарь с удивлением проговорил:

— Для чего же чертыхаться, майор? Князь дал вам двадцать четыре часа. Взгляните на часы. Вам незачем беспокоиться, в вашем распоряжении еще пол-

часа. Поезд вот-вот придет, ваш паспорт будет здесь вовремя.

— Вы не знаете новостей, дорогой мой! Поезд опаздывает на три часа. Жизнь и свобода этого мальчика убывают с каждой минутой, а их осталось всего тридцать. Через полчаса я не дам и ломаного гроша за его жизнь. Клянусь богом, нам необходимо получить паспорт!

— О, я умираю, я знаю это! — возопил несчастный и, закрыв лицо руками, уронил голову на стол.

С секретарем произошла мгновенная перемена. Его безмятежность исчезла без следа, глаза и все лицо его оживились, и он вскричал:

— Я понимаю весь ужас вашего положения, но, право же, я не в силах вам помочь. Вы можете что-нибудь предложить?

— Кой черт, дайте ему паспорт, и дело с концом!

— Невозможно! Абсолютно невозможно! Вы о нем ничего не знаете; три дня тому назад вы даже не подозревали о его существовании. Установить его личность нет ни малейшей возможности. Он погиб, погиб безвозвратно!

Юноша опять застонал и, рыдая, воскликнул:

— О боже, боже! Дни Альфреда Пэрриша сочтены. Тут с секретарем произошла новая перемена.

Прилив самого горячего сострадания, досады, растерянности неожиданно сменился у него спокойствием, и он спросил тем безразличным тоном, каким заговаривают о погоде, когда говорить уже не о чем:

— Это ваше имя?

Обливаясь слезами, юноша выдавил из себя «да».

— А откуда вы?

— Из Бриджпорта.

Секретарь покачал головой, еще раз покачал головой и что-то пробормотал. Затем спустя минуту спросил:

— И родились там?

— Нет, в Нью-Хейвене.

— А! — секретарь взглянул на озадаченного майора, который с бессмысленным выражением лица

напряженно прислушивался к разговору, и как бы вскользь заметил:

— Если солдаты хотят промочить горло, здесь есть водка.

Майор вскочил, налил солдатам по стакану, и те приняли их с благодарностью.

Допрос продолжался.

— Сколько вы прожили в Нью-Хейвене?

— До четырнадцати лет. А два года назад вернулся туда, чтобы поступить в Йельский университет.

— На какой улице вы жили?

— На Паркер-стрит.

Майор, в глазах которого забрезжила смутная догадка, вопросительно взглянул на секретаря. Секретарь кивнул, и майор опять налил водки.

— Номер дома?

— Номера не было.

Юноша выпрямился и устремил на секретаря жалобный взгляд, который, казалось, говорил: «К чему терзать меня всей этой ерундой? Я и так уже достаточно несчастен!»

Секретарь продолжал, как будто ничего не замечая:

— Опишите дом.

— Кирпичный... два этажа.

— Выходит прямо на тротуар?

— Нет, перед домом палисадник.

— Ограда железная?

— Деревянная.

Майор еще раз налил водки, на сей раз не дожидаясь указаний, налил до самых краев. Лицо его просветлело и оживилось.

— Что вы видите, когда входите в дом?

— Узенькую прихожую. В конце — дверь. Справа еще одна дверь.

— Что еще?

— Вешалка для шляп.

— Комната направо?

— Гостиная.

— Есть ковер?

— Да.

— Какой?

— Старинный уилтоновский.

— С рисунком?

— Да. Соколиная охота на лошадях.

Майор покосился на часы. Оставалось всего шесть минут! Он сделал «налево кругом», повернулся к кувшину с водкой и, наполняя стаканы, бросил вопросительный взгляд сперва на секретаря, потом на часы. Секретарь кивнул. Майор на мгновение загородил часы своим телом и перевел стрелки на полчаса назад. Затем снова поднес солдатам — двойную порцию.

— Комната за прихожей и вешалкой?

— Столовая.

— Есть печка?

— Камин.

— Дом принадлежал вашим родителям?

— Да.

— Принадлежит им и сейчас?

— Нет, продан накануне переезда в Бриджпорт.

Секретарь помолчал и затем спросил:

— У вас было какое-нибудь прозвище в детстве?

Бледные щеки юноши медленно окрасились румянцем, и он потупил взгляд. Минуты две он, казалось, боролся с собой, потом жалобно проговорил:

— Ребята дразнили меня «мисс Нэнси».

Секретарь задумался, потом изобрел следующий вопрос:

— В столовой были какие-нибудь украшения?

— Да... Э-э... Нет.

— Нет? Никаких украшений?

— Никаких.

— А, чтоб вас! Вам не кажется, что это странно? Подумайте!

Юноша добросовестно задумался; секретарь, волнуясь, ждал. Наконец бедняга поднял на него унылый взор и отрицательно покачал головой.

— Думайте!.. Думайте же! — вскричал майор в неопишемом волнении и вновь наполнил стаканы.

— Как же так, — сказал секретарь, — даже картины не было?

— О, разумеется! Но ведь вы сказали «украшение».

— Уф! А что говорил ваш отец об этой картине?

Вновь лицо юноши залил румянец. Он молчал.

— Говорите же, — сказал секретарь.

— Говорите! — вскричал майор и дрожащей рукой пролил больше водки на пол, чем налил в стаканы.

— Я... я не могу повторить его слова, — запинаясь, произнес юноша.

— Скорее! Скорее! — воскликнул секретарь. — Ну же... не теряйте времени! Родина и свобода — или Сибирь и смерть, вот что зависит от вашего ответа!

— О, сжальтесь! Ведь он священник, и...

— Пустое! Выкладывайте поскорей, не то...

— Он говорил, что такой распродьявольской мазни и в страшном сне не увидишь.

— Спасен! — вскричал секретарь, хватая свой гвоздик и паспортный бланк. — Я удостоверяю вашу личность. Я жил в этом доме и сам написал эту картину!

— Ты спасен, мой бедный мальчик! Приди же в мои объятия! — воскликнул майор. — И будем до конца своих дней благодарны богу за то, что он создал этого художника, если только это его рук дело!

С пчелой меня познакомил Метерлинк; я хочу сказать: познакомил психологически и поэтически. На деловой почве я уже раньше был ей представлен. Я был тогда еще мальчишкой. Странно, что я запомнил подобную формальность на столь длительный срок: прошло ведь около шестидесяти лет.

Ученые, занимающиеся пчелами, всегда говорят о них в женском роде. Это потому, что все высокопоставленные пчелы женского пола. В улье имеется одна замужняя пчела, матка: у нее пятьдесят тысяч детей; из них около сотни сыновей, остальные — дочери. Некоторые из дочек — юные девы, некоторые — старые девы, все они девственницы, каковыми и остаются.

Каждую весну матка выходит из улья и улетает с кем-нибудь из своих сыновей, за которого она и выходит замуж. Медовый месяц длится всего лишь час-два. После этого матка разводится со своим супругом и возвращается домой, получив возможность снести два миллиона яиц. Этого хватает на год, но только в обрез, потому что сотни пчел ежедневно тонут, сотни других пожираются птицами, так что обязанность матки поддерживать численность населения на определенном уровне, — скажем, пятидесяти тысяч. Она всегда должна иметь такое количество детей наготове в самую горячую пору, то есть летом, иначе зима застанет их общину без достаточных запасов пищи. Матка кладет от двух до трех тысяч яиц в день, в зависимости от

спроса, она должна действовать со строгим расчетом и класть не больше яиц, чем требуется при неурожае цветов, и не меньше, чем понадобится в урожайный год, иначе ее свергнут с престола и изберут на ее место более разумную королеву.

В запасе всегда имеется несколько наследниц королевского рода, готовых занять ее место, — готовых и только и ждущих случая, хотя речь идет об их родной матери. Этих девиц держат отдельно и по-королевски кормят и холят с самого дня рождения. Ни одна пчела не получает такой хорошей пищи, как они, никто не ведет столь роскошного и пышного образа жизни. В результате они больше, длиннее и глаже своих трудящихся сестер. И жало у них изогнутое, по форме напоминающее ятаган, тогда как у других пчел жало прямое.

Обыкновенная пчела жалит кого попало, но матка жалит только маток. Обыкновенная пчела может ужалить и убить другую обыкновенную пчелу, но когда надо убить королеву, применяются другие методы. Если королева состарилась, обленилась и не кладет достаточного количества яиц, одной из ее королевских дочерей дается возможность напасть на нее, причем остальные пчелы присутствуют на дуэли и следят, чтобы все шло по правилам. Это дуэль на изогнутых жалах. Если одной из сражающихся приходится туго и она, отказываясь от борьбы, убегает, ее заставляют вернуться и снова сражаться один или, может быть, два раза. Если же она еще раз убежит, пытаясь спасти свою жизнь, ее удел — смерть по приговору: ее дети облепляют ее со всех сторон и держат в этом тесном окружении два-три дня, пока она не умрет с голоду или не задохнется. Тем временем пчеле-победительнице воздаются королевские почести, и она выполняет единственную королевскую функцию: кладет яйца.

Что же касается этической стороны убийства королевы — это вопрос политики, каковой и будет обсуждаться в свое время и в другом месте.

В течение почти всей своей недолгой жизни в пять-шесть лет матка пребывает во тьме египетской и высоком одиночестве королевских апартаментов, окруженная исключительно слугами-плебеями, которые прояв-

ляют к ней лишь поверхностную, показную заботливость, тогда как ее сердце жаждет любви; которые шпионят за ней по наущению наследников и доносят им — с преувеличениями — обо всех ее изъянах и недостатках; которые пресмыкаются перед ней, льстят ей в лицо и клеветуют за ее спиной; унижаются перед ней в дни ее могущества и отрекаются от нее, когда она стареет и теряет силы. Так она и восседает на своем троне всю долгую ночь своего существования, отгороженная золоченым барьером страшного королевского сана от нежного сочувствия, приятного общества и любовных излиятий, по которым она тоскует; печальная изгнанница в собственном своем доме, утомленный объект формальных церемоний и механического поклонения, крылатое дитя солнца, рожденное для голубого неба, свежего воздуха и цветущих полей и обреченное случайностью своего рождения променять это бесценное наследство на мрачное заточение, показное величие и жизнь без любви, завершаемую позором, оскорблениями и жестокой смертью, и в силу присущего ему человеческого инстинкта обреченное считать эту сделку выгодной.

Губер, Леббок, Метерлинк — короче, все крупные авторитеты — единодушно отрицают, что пчела принадлежит к роду человеческому. Не знаю, почему они так поступают; думается, что из нечестных побуждений. Ведь бесчисленные факты, выявленные их собственными трудолюбивыми и исчерпывающими опытами, доказывают, что если на свете и существует воплощение глупости, то это и есть пчела. Этим как будто все сказано.

Но именно это и характерно для ученого. Он тридцать лет затрачивает на то, чтобы нагромоздить целые горы фактов ради доказательства некоей теории, и затем так радуется своему достижению, что, как правило, проходит мимо самого главного факта, а именно: что накопленный им материал доказывает совершенно обратное. Когда вы указываете ему на эту ошибку, он не отвечает на ваши письма; когда вы заходите к нему на дом, чтобы убедить его, прислуга изворачивается, и вас не допускают к нему. Ученые отличаются отворачи-

тельными манерами, кроме разве тех случаев, когда вы поддерживаете их теории; тогда вы можете занимать у них деньги!

Справедливости ради я должен признать, что иногда кто-нибудь из них и отвечает вам на письмо, но при этом он вечно уклоняется от ответа, — вам никак не удастся припереть его к стене. Когда я сделал открытие, что пчела сродни человеку, я написал об этом всем ученым, о которых только что шла речь. В смысле уклончивости я никогда не видел ничего подобного полученным мною ответам.

После матки следующее по значению лицо в улье — девственница. Девственников насчитывается от пятидесяти до ста тысяч, и это — рабочие, труженицы. Вся работа в улье и за его пределами выполняется исключительно ими. Самцы не работают, матка не работает, если не считать кладки яиц, а это, как мне кажется, отнюдь не работа. Да и яиц-то всего два миллиона, и ей дается пятимесячный срок на выполнение этого подряда. Разделение труда в улье столь же строго продумано, как на большой американской фабрике или на заводе. Пчела, овладевшая одной из многочисленных и разнообразных специальностей данного предприятия, не знает никакой другой и кровно обиделась бы, если бы ей предложили поработать не по специальности. Она столь же человечна, как и любая кухарка, а если вы попросите кухарку подать на стол, вы ведь знаете, что произойдет. Играть на рояле кухарка еще, возможно, согласится, но на большее не пойдет. В свое время я попросил одну кухарку наколоть дров, так что я знаю, о чем говорю. Даже для проходящей прислуги есть границы: правда, они неясны, нечетко очерчены, даже растяжимы, но все же они существуют. Это отнюдь не предположение; это абсолютная истина. А дворецкий? Попросите-ка дворецкого помыть собаку! Дело обстоит именно так, как я говорю; здесь можно многому научиться, не прибегая к книгам. Книги — это очень хорошо, но книги не охватывают всей эстетики человеческой культуры. Профессиональная гордость — одна из первооснов существования, если не единственная его первооснова. Несомненно, так обстоит дело и в улье.

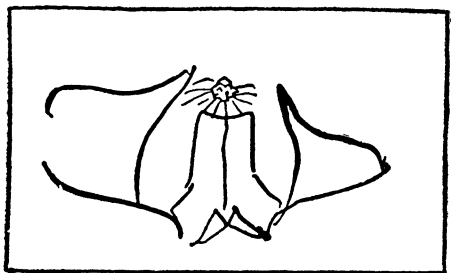
Если работаешь одновременно над целой галереей портретов, больше всего неприятностей случается из-за горничной, которая приходит в студию, вытирает с полотен пыль и забывает ставить их на место, так что, когда собираются посетители и просят показать им Гоуэлса, Депью, или еще кого-нибудь, приходится кривить душой, а это на первых порах весьма неприятно. К счастью, вы знаете наверняка, что и Депью и Гоуэлс у вас имеются; это придает вам храбрости, и вы говорите твердо: «Вот Гоуэлс», а сами украдкой наблюдаете за гостем. Если прочтете в его глазах недоумение, тут же поправьте себя и предложите ему другой портрет. В конце концов вы найдете настоящего Гоуэлса, и вам сразу станет неизъяснимо легко и радостно; но помните, что страдания ваши перед тем будут велики, а радость кратковременна, ибо следующий посетитель остановится на Гоуэлсе, не имеющем ничего общего с первым и похожем скорее на Эдуарда VII или на Кромвеля, за коих вы его сперва и принимали, хотя, конечно, помалкивали об этом. Лучшее всего, принимаясь за работу, прилеплять к холстам ярлычки с фамилиями, это избавит вас от сомнений и позволит даже заключать пари с публикой без риска проиграть.

Но больше всего хлопот мне доставил портрет, который я писал частями: голову на одном холсте, бюст на другом.

Горничная поставила полотно с бюстом набок, и теперь я никак не могу определить, где у него верх, а где низ. Одни — а среди них имеются знатоки своего дела — говорят, что нижний холст надо приставить к верхнему так, чтобы под подбородком мужчины оказалась булавка для галстука, другие советуют поместить туда воротничок, причем один из сторонников



Голова на одном холсте



Бюст на другом

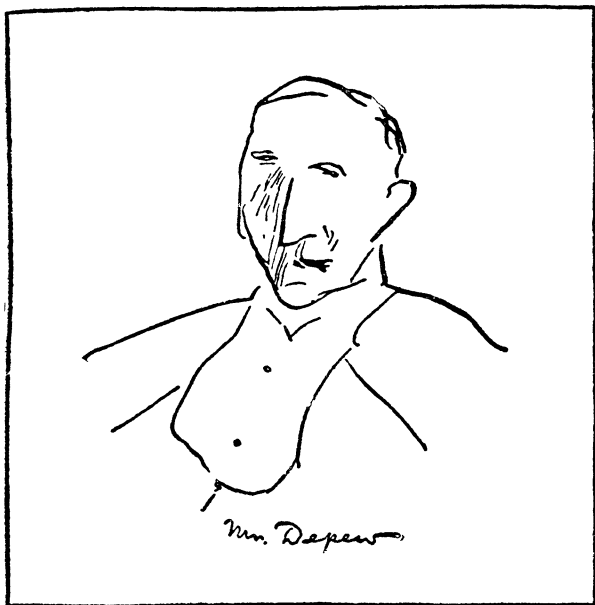
второй точки зрения аргументировал ее следующим образом: «Булавку для галстука можно носить и на животе, если уж так нравится, а вот воротничок — черта с два, не нацепишь куда попало». Что ж, ему, конечно, в здравом смысле отказать нельзя. А вопрос и по сей день не решен. Когда я прикладываю булавку к подбородку, получается очень хорошо; когда я поворачиваю холст воротничком вверх, опять выходит недурно; одним словом, как ни верти, все получается естественно, и линии совпадают точно; булавка на животе — лицо довольное и счастливое, как будто ничего

ного ему и не требуется; воротничок на животе — опять то же счастливое выражение; правда, справедливости ради надо заметить, что, когда я вовсе убираю бюст, выражение радости и удовлетворения не исчезает; удивительное, в самом деле, лицо, какое постоянство выражения, несмотря на все превратности судьбы! Никак не могу вспомнить, кто это такой. Пожалуй, есть что-то общее с Вашингтоном. Только вряд ли это Вашингтон, у него было два уха. Всегда можно узнать Вашингтона по этому признаку. В отношении ушей он был большой педант и терпеть не мог всяческих новшеств.

Со временем я, конечно, справлюсь со всей этой путаницей, и тогда все пойдет как надо; некоторая неразбериха естественна поначалу, ее не избежишь. Слава пришла ко мне неожиданно, свалилась как снег на голову; это произошло, когда я опубликовал свой автопортрет; и, признаюсь, голова у меня слегка закружилась, — да и как иначе: такого еще свет никогда не видывал. В один только день шестьдесят два человека обратились ко мне с просьбой не писать их портретов, а среди них были самые выдающиеся люди страны: президент, министры в полном составе, писатели, губернаторы, адмиралы, претенденты на руководящие посты от оппозиционной партии, — словом, все, кто был хоть чем-нибудь; это широкое признание, эта всеобщая любовь вскружили бы голову каждому, кто делает первые шаги в искусстве. Сейчас я мало-помалу прихожу в себя и снова начинаю браться за кисть; надеюсь, что в самое ближайшее время смятение чувств уляжется и тогда я буду творить свои произведения рукой точной и уверенной, я смогу в мгновение ока отличать одно лицо от другого и находить без промедления нужный мне портрет среди десятка других.

Я живу новой, необыкновенной, возвышенной жизнью, я испытываю священный трепет всякий раз, когда вижу, как под моей кистью рождаются и оживают черты. Сперва я делаю этюд — первая наметка и только, несколько небрежно брошенных линий; взглянув на них, вы ни за что не догадаетесь, кого я пишу, да я и сам не могу точно сказать этого. Вот возьмите

к примеру хотя бы этот холст. Сперва вы думаете, что это Данте; потом, что это Эмерсон; наконец решаете: это — Уэйн Мак-Вей. Ни тот, ни другой, ни третий, — это я начал Детью. Вы готовы побиться об заклад, что Детью из этого никогда не получится, но когда моя



Сперва вы думаете, что это Данте; потом, что это Эмерсон, наконец решаете: это — Уэйн Мак-Вей. Ни тот, ни другой, ни третий, — это я начал Детью

кисть последний раз коснется холста, с портрета на вас глянет Детью как живой, и тогда вы скажете: «Черт возьми, а ведь это и вправду не кто иной, как Детью!»

Другие художники, вероятно, нарисовали бы его говорящим, но ведь и ему нужно иногда помолчать и подумать.

Это жанровая живопись, как говорим мы, художники, на своем профессиональном жаргоне, она отличается от росписи изразцов и от других школ во мно-

гих отношениях, главным образом своими техническими приемами; что это за приемы, вы все равно не поймете, даже если я и попытаюсь вам их объяснить. Но по мере того как я буду углубляться в свой рассказ, вы начнете уразумевать кое-что и полегонечку, не спеша, постигнете все самое важное в живописи, даже не заметив, как это произошло, не затратив при этом ни сил, ни труда; вы научитесь с первого взгляда определять, к какой школе принадлежит то или иное полотно, сможете отличить пейзаж от картины художника-анималиста. И тогда-то вы поймете, что такое истинная радость.

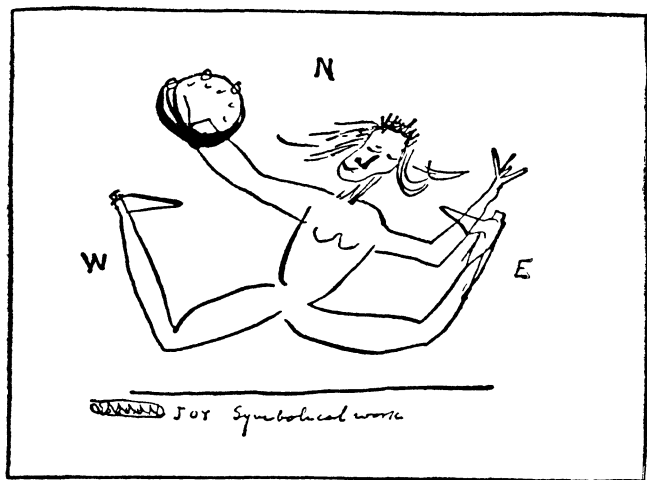
Когда мы с вами дойдем до портрета Джо Джефферсона и других моих работ, ваш глаз будет уже наметан, и вы сразу увидите, что все они выполнены в самых разнообразных манерах. Этот раздел я хотел бы закончить разбором полотна, изображающего обнаженное тело.

Эта моя работа отличается от всех остальных. Сюжеты других картин взяты из живой природы, это — неживая природа, то есть натюрморт; называется он так потому, что изображает мечту, нечто, не имеющее действительного и деятельного существования. Задача натюрморта — сделать осязаемым то духовное, таинственное, неуловимое начало, присутствие которого мы постоянно ощущаем, но которое не умеем постичь нашим плотским зрением, например — радость, горе, обиду и т. п. Наилучшим образом это достигается при помощи особого метода, который на языке художников зовется импрессионизмом. Представленная вашему вниманию картина — произведение импрессионистическое, написанное темперой, проблема светотени решена оригинально, в плане одноцветности, все вместе создает особую изысканность чувства и благородство выражения. В первую минуту может показаться, что картина принадлежит кисти Боттичелли, но это не так, это всего лишь робкое подражание великому Сандро Боттичелли, мастеру удлиненных, утонченных фигур и пленительно округлых форм.

Сюжет взят из греческой мифологии, на картине изображена не то Персефона, не то Персеполь, не то

еще какая-то вакханка, совершающая торжественный обряд встречи перед алтарем Изиды по случаю прибытия корабля с афинскими юношами, посылаемыми ежегодно на остров Минос для принесения в жертву Дордонским циклопам.

Фигура символизирует торжественную радость. Она написана в строгом греческом стиле, а посему ей не требуются драпировки и прочие украшения, худо-



В правой руке — не сковородка, а тамбурин

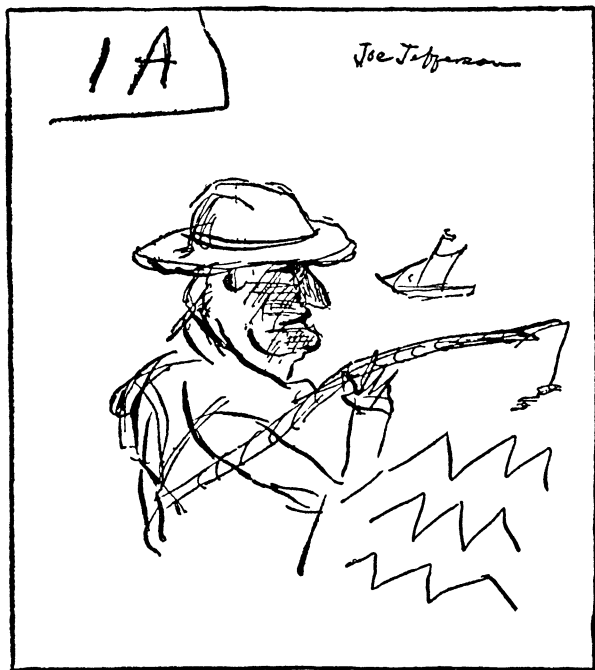
жественная выразительность достигается единственно грацией движений и симметричностью контура. Смотреть ее надо с юга или, еще лучше, с юго-востока; правда, взглянув на нее с севера или с востока, вы полнее и глубже ощутите радость, запечатленную на полотне, но зато черты лица сместятся в ракурсе, и покажется, будто их изъели черви. Обратите внимание — в правой руке она держит не сковородку, а тамбурин.

Этот холст будет выставлен в Парижском салоне в июне месяце на соискание Римской премии.

Теперь взгляните, пожалуйста, сюда. Это — морской пейзаж, картина очень полезная для ознакомления

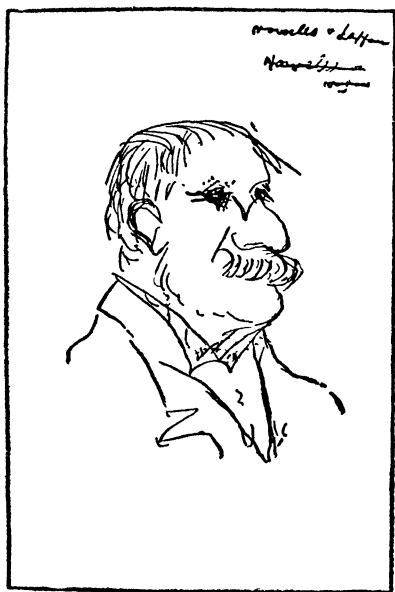
с такими важными сторонами художественного мастерства, как перспектива и ракурс. Эти прыгающие волны, похожие на горные цепи, на переднем плане в сопоставлении с безмятежным парусом по ту сторону удочки, который вот-вот скроется из глаз и растает, как во сне, дают ощущение пространства и расстояния, не поддающееся передаче бедным человеческим языком. Вот какие чудеса творит на наших глазах волшебница-перспектива!

На картине изображен мистер Джозеф Джефферсон, друг человечества. Он ловит рыбу, но еще ничего не поймал. Это видно по влажному блеску глаз и горестному выражению рта. Губы плотно сжаты, чтобы не вырвалось невзначай крепкое словцо. Удилище бамбу-



На картине изображен мистер Джозеф Джефферсон, друг человечества

ковое, леска дана в ракурсе. Это изменение длины лески, а также невозмутимость водной поверхности вдали, где лежит поплавок, рождает мощное ощущение пространства и является еще одним средством для верного решения перспективы.



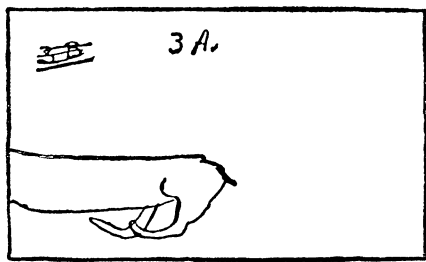
Не то мистер Гоуэлс, не то мистер Лаффан. Затрудняюсь сказать точно, потому что ярлычок с фамилией затерялся

Перейдем теперь вот к этому портрету, на нем изображен не то мистер Гоуэлс, не то мистер Лаффан. Затрудняюсь сказать точно, кто из них, потому, что ярлычок с фамилией затерялся. Но вполне может быть и тот и другой, потому что чертами лица портрет напоминает Гоуэлса, а выражением Лаффана. Эта работа бесспорно заслуживает внимания критики.

На следующем холсте изображено животное, какое — сказать не могу, потому что не знаю. Как видите — здесь

только часть его. Я не успел нарисовать голову: когда черед дошел до нее, она скрылась за поворотом.

В заключение остановимся на портрете женщины в стиле Рафаэля. Сперва я стал было писать королеву



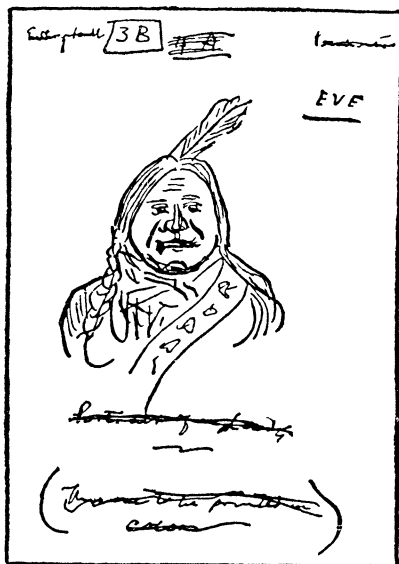
Я не успел нарисовать голову. когда
черед дошел до нее, она скрылась
за поворотом

Елизавету, но не сумел передать кружева ее высокого воротника, из которого вырастала голова Елизаветы, тогда я решил переделать королеву в индейскую принцессу Покахонтас, и опять не вышло. Но я не растерялся и, внося уверенной рукой кое-какие изменения и поправки, добился наконец выдающегося успеха. Я запечатлел на холсте нашу почтенную прародительницу, сообщив одухотворенность чертам ее лица и выразив в них ту чистую радость, какую испытала она, когда в первый раз в жизни надела платье, шитое по такому случаю на заказ; и я с гордостью могу сказать, что моя портретная галерея обогатилась самым лучшим, самым покоряющим, самым выразительным произведением из всех, какие когда-либо были мною созданы.

Но где же тот источник, который питает талант начинающего художника, который придает крепость его кисти? Этот источник в нем самом. Неотрывно, взыскательным оком следите за своим собственным развитием. Сохраняйте все ваши полотна, рисунки, этюды; не забывайте проставлять на них число и год их создания; по прошествии лет не раз возвращайтесь к ним. Они покажут вам, сколь многого вы достигли, как далеко

продвинулись. Это вдохновит вас, возбудит в душе сладостное волнение, укрепит веру в свои силы, как ничто иное.

Так всегда поступаю я; своими успехами в живописи я обязан именно этому.



Самое лучшее, самое покоряющее,
самое выразительное из всех моих
произведений

Когда я оглядываюсь на пройденный путь и сравниваю свое первое творение с последним, мне не верится, что за тридцать лет можно так развить свой талант. А между тем это факт. Практика, постоянная практика — вот в чем залог успеха. Каждый день от трех до семи часов за мольбертом — это все, что требуется. И результаты будут поразительные. Помните,лень никогда не создавала ничего великого.

Тут-то ко мне и пришло решение продать душу Сатане. Курс стальных акции упал, то же произошло с другими акциями, лопались самые надежные предприятия. А так как я сам пока представлял собою некоторую ценность, надо было поскорее пускать ее в оборот и сколачивать состояние. Не мешкая долго, я послал письмо местному маклеру мистеру Н. с обстоятельным описанием предлагаемого товара и того, в каком состоянии он находится; встреча с Сатаной была устроена без промедления, с условием, что маклер получит 2,5% комиссионных, но только если сделка состоится.

Задумавшись, я сидел впотьмах и ждал появления Сатаны. Стояла мертвая тишина. Но вот издалека донеслись густые, низкие удары колокола, возвещающие полночь: бом-м, бом-м, бом-м, и я поднялся навстречу гостю, внутренне подготовив себя к оглушительному грохоту и серному зловонию, сопровождающим, как я полагал, его приход. Но не было ни грохота, ни зловония. Сквозь запертую дверь бесшумно вошел современный Сатана, точь-в-точь такой, каким мы привыкли видеть его на сцене, — высокий, стройный, легкий, в облегающем трико, шпага на боку, широкий короткий плащ, наброшенный на плеча, удальски заломленная шляпа с поникшим пером, на умном лице тонкая мефистофельская усмешка.

Но он не полыхал алым пламенем, не был пунцовым, отнюдь нет! Он был как какой-то раскаленный добела факел, или столб, или обелиск, бело-огненный с призрачным зеленоватым отливом; он излучал серебристое сияние, каким светят подернутые рябью волны тропического моря, когда луна стоит высоко в безоблачном небе.

Сатана учтиво приветствовал меня своим обычным, таким знакомым поклоном: положив левую руку на эфес шпаги, он правой снял шляпу и плавным жестом описал ею перед собой полукруг. Мы сели. Ах, как он был хорош в этом своем чудесном свечении, до чего шла ему эта новая окраска! Он, должно быть, прочитал восторг на моем лице, озаренном исходящим от него светом, но и бровью не повел, — видно, давно привык к тому впечатлению, какое производил на христиан, вступавших с ним в подобного рода сделки.

...Полчаса за бокалом горячего пунша и разговорами о погоде, перемежавшимися закидыванием удочек с моей стороны и ответами моего гостя вроде: «Нет, такую цену я, пожалуй, дать не смогу», убавили мою застенчивость, я вполне овладел собой и даже отважился несколько утолить мучившее меня любопытство. Я как бы между прочим выразил свое удивление тем, что он совершенно не соответствует нашему о нем представлению, и спросил его, из чего он сделан. Сатана не обиделся и ответил искренне и просто:

— Из радия.

— Ах, вон что! Ну, тогда понятно! — воскликнул я. Действительно, более приятного света для глаза я не встречал. Никакого сравнения с мертвым, холодным электричеством. — Но это значит, что вы, ваше величество, весите около... около...

— Мой рост шесть футов один дюйм, так что, будь я из крови и плоти, я бы весил двести пятнадцать фунтов. Но радий, подобно другим металлам, тяжел, — стало быть, я вешу несколько более девятисот фунтов.

Я впери в него алчущий взгляд: какое богатство! Какие огромные запасы радия! Девятьсот фунтов, — скажем, по три миллиона за фунт, — это будет... это бу-

дет... И тут в моем разгоряченном мозгу родился коварный замысел!

Но Сатана весело рассмеялся:

— Я прочитал вашу мысль! Похитить самого Сатану, создать акционерное общество, выпустить акций на десять миллиардов долларов — на сумму, в три раза превосходящую стоимость основного капитала, наводнить ими весь мир. Как ново! Как оригинально!

Щеки мои вспыхнули так жарко, что серебристое сияние вокруг нас обратилось в малиновую дымку, какою бывают окутаны на закате купола и башни Флоренции и созерцание каковой наполняет сердце пьянящей радостью. Сатана сжалился надо мной и заговорил серьезно и проникновенно, пролив бальзам на мою душу, так что я мало-помалу успокоился и поблагодарил его за оказанное им великодушие. На это он сказал:

— Ваши добрые слова не пропали даром. За любезность я плачу вам любезностью. Знаете ли вы, что за многие века деловых отношений с бедным, злополучным родом людским я впервые встречаю человека, у которого хватило ума сообразить, из какого ценного материала я создан?

Я скромно потупил взор, но внутри у меня все так и пело от удовольствия.

— Да, вы первый это поняли, — продолжал Сатана. — На всем протяжении средних веков я покупал христианские души за баснословные цены: возводил за ночь мосты, соборы — и почти всякий раз, когда имел дело с лицом духовного звания, оказывался в дураках, — это признает история; но время от времени я все-таки отыгрывался на честных мирянах, — это признаю я сам. Однако никто так никогда и не понял, на чем можно по-настоящему разбогатеть. Вы — первый.

Я снова наполнил его бокал и предложил ему еще одну сигару. На сей раз Сатана знал, с чем имеет дело. Он долго рассматривал ее, затем спросил.

— Сколько вы за них платите?

— Два цента за штуку. Но если покупаешь ящиком, обходится дешевле.

Он продолжал изучать сигару, отпуская шепотом замечания, по-видимому соображая что-то.

— Темная, шершавая, хрустящая, неправильной формы, изборозждена морщинами, как древесная кора, местами сухой лист скручивается, — в общем, напоминает подпаленную кожу тех башмаков, что стоят в преисподней перед дверьми каждого номера в воскресное утро.

Сатана вздохнул, вспомнив отчий дом, помолчал минутку, затем вежливо попросил:

— Будьте добры, расскажите подробнее об этом хитроумном снаряде.

— Это изобретение одного видного итальянского государственного деятеля Камилло Кавура. Однажды, погруженный в занятия, он закурил сигару, отложил ее в сторону и забыл про нее. Сигара попала в чернильную лужицу и намокла. Заметив это, Кавур отнес ее на печку подсушить. А когда раскурил снова, сразу почувствовал, что она приобрела какой-то особый вкус. Тогда он...

— А он говорил, какой вкус у нее был раньше?

— Кажется, нет. Но все равно — он вызвал главного химика страны и велел выяснить, откуда взялся этот новый вкус. Тот провел необходимое исследование и пришел к выводу, что особый вкус сообщается сигаре железным купоросом и уксусом, а это, как известно, составные части любых чернил. Кавур, радея о финансах страны, приказал создать новый сорт сигар. И с тех пор этот сорт, перед тем, как поступить в продажу, проходит обработку на чернильной фабрике, что удивительным образом сказывается как на чернилах, так и на сигарах. Такова история создания сорта «Кавур», ваше величество, и все это чистая правда, ни капли выдумки.

Сатана принял подарок, коснулся указательным пальцем кончика сигары, отчего она затлелась и потянуло дымом, — но курить не стал, видимо раздумал, и, отложив торпеду на стол, с отменной учтивостью обратился ко мне:

— С вашего позволения, я приберегу ее для Вольтера,

Я был несказанно обрадован и польщен: пусть хоть эта малость свяжет меня с великим человеком, пусть мое имя коснется его слуха даже по такому ничтожному поводу (а в том, что обо мне будет упомянуто, я нисколько не сомневался). Я поскорее достал еще полсотни таких же сигар, чтобы Сатана угостил ими и других великих умерших — Гете, Гомера, Сократа, Конфуция, — но Сатана отверг мой дар, объяснив, что против этих людей он ничего не имеет. Затем он опять погрузился в воспоминания о далеком прошлом и спустя какое-то время сказал:

— Никто тогда и не слыхивал о радии. А впрочем, если бы и слыхали, какой толк? Человечество было в неведении относительно радия двадцать миллионов лет, пока не родился возвестивший новую эру девятнадцатый век — век пара и машин, а родился он всего за несколько лет до вас. Девятнадцатый век был чудесным веком, но чудеса его покажутся детской выдумкой по сравнению с тем, что несет двадцатый.

Я спросил его, почему он так думает, и он объяснил мне:

— Дело в том, что энергия была очень дорога, а все действует только с помощью энергии — пароходы, локомотивы, решительно все. Уголь — вот в чем загвоздка! Его надо добывать, без него нет ни пара ни электричества, и к тому же потери огромные: уголь сжигают, и он исчезает без остатка. Иное дело радий! Моими девятьюстами фунтами можно обогреть весь мир, залить его светом, дать энергию всем кораблям, всем станкам, всем железным дорогам — и не израсходовать при этом и пяти фунтов радия! И тогда...

— Дорогой прародитель! Вот вам моя душа, берите ее, и основываем компанию!

Но Сатана спросил, сколько мне лет, и, узнав, что шестьдесят восемь, вежливо уклонился от моего предложения, вероятно не желая воспользоваться своим очевидным преимуществом. Затем продолжал расхваливать радий: заключенная в нем теплота может за сутки растопить кусок льда, в двадцать четыре раза превосходящий его по весу, и притом количество его ни на йоту не уменьшится; попробуйте поместить на

секунду в эту комнату фунт радия — и все в ней обуглится, словно дохнуло адским пламенем, а от человека останется горстка пепла, и так далее, и все в том же духе; но я прервал его:

— Но, ваше величество, вы, — а значит, девятьсот фунтов радия, — сейчас здесь, в этой комнате, а ничуть не жарко, наоборот — самая приятная температура. Я в недоумении.

— Э-э-э, видите ли, — начал он неуверенно, — это секрет, хотя, впрочем, я мог бы вам открыть его, ибо эти дотошные, нестерпимо нахальные химики все равно рано или поздно докопаются до него. Вы, вероятно, знаете, что мадам Кюри писала о ради; знаете, как она без устали трудится над тем, чтобы раскрыть его чудесные тайны, выявить их одну за другой. Она говорит: «Вещества, в состав которых входит радий, самопроизвольно испускают свет», — заметьте, никакого угля для получения света; она говорит: «Стеклянный сосуд, содержащий радий, сам собой заряжается электричеством», — обратите внимание, никакого угля, никакой воды, чтобы производить электричество; она говорит: «Радий обладает замечательной способностью освобождать тепло самопроизвольно и в неограниченном количестве», — как видите, никакого угля, чтобы приводить в движение машины всего мира. Она просеяла горы урановой руды в поисках радиоактивных веществ, выловила их целых три штуки и дала им названия: один, концентрирующийся в соединениях висмута, был назван полонием; другой, сходный с барием, получил имя радия, третьего нарекли актинием. Она говорит: «Теперь предстоит отделить полоний от висмута, это наиболее трудная задача, мы занимаемся ею уже многие годы». Многие годы, подумайте только — многие годы! Да, так они все работают, эти одержимые, эти люди науки, — копаются, пыхтят, бьются. Вот бы мне для моего хозяйства партию таких старателей. Какая была бы экономия. Подумайте, многие годы! Такие не отступятся. Терпение, вера, надежда, упорство — и так все они, вся их братия, Колумб и прочие. Получив радий, эта женщина открыла новую эру на вашей планете, умножила ваши богатства и стала тем самым

в один ряд с Колумбом и равными ему. Она задалась целью отделить полоний от висмута; преуспев в этом, как вы думаете, чего она достигнет?

— Понятия не имею, ваше величество.

— Она еще больше укрепит могущество человека, перед ним откроются величайшие возможности. Я сейчас поясню вам мою мысль, ибо ни вы, ни даже сама мадам Кюри не в состоянии представить себе всю грандиозность ее ближайшего открытия.

— Я весь внимание, ваше величество!

— Полоний в чистом виде, освобожденный от висмута, является тем единственным веществом, которое способно управлять радием, обуздывать его разрушительные силы, укрощать их, держать в повиновении, заставить их служить человеку. Пощупайте мою кожу. Ну, что вы о ней скажете?

— Нежная, шелковистая, прозрачная, тонкая, как желатинная пленка, очень красиво, ваше величество!

— Так это и есть полоний. Все остальное во мне из радия. Если я сброшу с себя верхний покров, земля, охваченная дымом и пламенем, обратится в пепел, а от луны останутся только хлопья, которые рассеются по всей вселенной.

Ужас сковал мне язык, я весь дрожал.

— Теперь вам все должно быть понятно, — продолжал он. — Внутренности мои пожирает огонь, я страдаю невыносимо и обречен страдать вечно, но вам и вашей земле нечего бояться, вы надежно защищены полонием. Тепло — это сила, энергия, но оно приносит пользу, когда умеешь управлять им, регулировать его. Сейчас у вас еще нет власти над радием, но как только полоний вложит вам в руку кнут укротителя, радий смирится перед вами. Я могу освобождать энергию, заключенную во мне, и малыми и большими порциями, как мне заблагорассудится. Могу, если захочу, привести в движение механизм дамских часиков или уничтожить целый мир. Помните, как я прикосновением пальца зажег эту нечестивую сигару?

Да, я помнил это.

— Представьте себе, как мала была в тот раз крупица освобожденной энергии! Вам, конечно, известно,

что все на свете состоит из юрких, подвижных молекул, все решительно — мебель, камни, железо, лошади, люди, — словом, все, что существует.

— Да, известно.

— Что молекулы разнятся между собой весом и размерами, но нет ни одной, которая была бы так велика, чтобы ее можно было разглядеть в микроскоп?

— Да, известно.

— А знаете ли вы, что молекулы состоят из тысяч свободных, вечно движущихся крохотных частиц, именуемых атомами?

— Да, знаю.

— Что до последнего времени мельчайшим атомом, известным науке, считался атом водорода, который в тысячу раз меньше атомов, идущих на постройку молекул других веществ?

— Знаю.

— Так вот, атом радия, имеющий положительный заряд, в пять тысяч раз меньше атома водорода. Этот неописуемо маленький атом зовется электроном. Моя долголетняя привязанность к вам и к вашим почтенным предкам так велика, что я открою вам тайну, которая доселе была неведома ни одному ученому, — тайну светляков. Слушайте же: свечение в этих жуках производит один-единственный электрон, заключенный в атом полония.

— Сир, я потрясен. Ученые всего мира были бы очень признательны вам за столь ценное сообщение, ведь они бьются над этим открытием уже более двух столетий. Только подумать! Электрон, который в пять тысяч раз меньше невидимого глазом атома, и есть те веселые огоньки, что так красят летнюю ночь!

— И учтите, — продолжал Сатана, — это единственный случай, когда радий существует в чистом виде, без всяких примесей, когда и полоний находится в точно таком же свободном состоянии, и именно это их совместное бытие и производит столь удивительный и приятный эффект. Представьте себе, что защитная полониевая оболочка лопнула, тогда искра радия вспыхнет, причем всего один раз, и светлячок обратится в пар. Вы очень дорожите этим старым гектографом?

— Нет, ваше величество, не очень, он не мой.

— Тогда я на ваших глазах уничтожу его. Я зажег этого вашего, как его там... Кавура, потратив энергию всего одного электрона, ровно столько, сколько ее заключено в светляке. Сейчас я даю энергию двадцати тысяч электронов.

Мой гость коснулся рукой массивного гектографа, и он разорвался, словно пушечное ядро, так что и мокрого места не осталось. Три минуты в комнате висел густой розовый туман искр, сквозь который неясным пятном маячила фигура Сатаны, затем туман рассеялся и снова заструился лунный свет, яркий и нежный. Сатана сказал:

— Убедились? Радия, заключенного в двадцати тысячах светляков, хватит, чтобы запустить мотор автомобиля на веки вечные. И притом никаких потерь, это горючее неиссякаемо. — И заметил мимоходом: — У себя дома мы используем только радий.

Я был поражен и, понятное дело, заинтересован: ведь в тех палестинах было немало моих родственников и добрых знакомых. Я до сих пор считал — так мне внушили в детстве, — что в качестве горючего там применяют угли и серу. Сатана прочел мою мысль и сказал:

— Угли и сера — таково предание, верно. Но это общее заблуждение. Можно было на худой конец обойтись и углями с серой, но у этого топлива имеется ряд существенных недостатков: грязи много, горит не так чтобы очень жарко, а по воскресеньям просто невозможно было бы поддерживать требуемую температуру; да потом откуда же взять столько угля и серы, — запасов всей вселенной не хватит даже и на половину вечности. Не будь радия, не было бы и преисподней — такой, как полагается.

— Почему?

— Пришлось бы облачать души в какой-то иной материал. И они бы моментально сгорали, ускользая, таким образом, от адских мук. Часа не продержались бы. Что ж тут не понять.

— Теперь понимаю, после вашего объяснения. Я, видите ли, как-то всегда предполагал, что грешники подставляют адскому огню свою естественную плоть,

так они изображены на фресках Сикстинской капеллы, на картинках в книгах.

— Да, наши грешники выглядят точно такими, какие они были в жизни, но это на них не плоть, с плотью случилось бы то же, что с вашим гектографом: залп, вспышка, сноп искр — и нет ничего; так что не было бы никакого смысла посылать их в ад на вечные муки. Поверьте, радий — идеальный материал.

— Да, теперь все стало понятно, — сказал я, поеживаясь от предвкушения грядущих неудобств. — Вы правы, сир.

— Еще бы не прав. У меня колоссальный опыт. Да что говорить, вы и сами убедитесь, когда попадете туда.

Он, вероятно, думал, что я сгораю от любопытства, но он просто еще мало меня знал. Он сидел с минуту задумавшись, потом сказал:

— Я решил помочь вам разбогатеть.

От этих слов на душе у меня стало веселее. Я поблагодарил его и весь обратился в слух.

— Вы, быть может, знаете, где находят в Новой Зеландии кости вымершей птицы моа? Их там целая гора высотой в двадцать футов, тысячи и тысячи скелетов. А знаете, где находят клыки мамонтов, населявших землю в ледниковый период? Неподалеку от устья Лены, там на площади в несколько акров их несметное множество, оттуда вот уже пять веков идут китайские караваны с драгоценным грузом. А знаете ли вы о фосфатных залежах у вас на Юге? Они мощными пластами залегают на много миль и представляют собой не что иное, как огромное кладбище гигантских животных, не существующих ныне нигде на земле, и повсюду на вашей планете имеются такие кладбища. Откуда взялся у этих животных инстинкт, который с приближением смерти гонит их всех издыхать в одно место? Это великая тайна природы, даже наука бессильна проникнуть в нее. Но факты таковы, а посему слушайте дальше. В течение вот уже многих миллионов лет существует кладбище светляков.

Полный радужных надежд, я слушал, разинув рот. Сатана сделал мне знак закрыть его и продолжал:

— Это кладбище находится на одном из снежных отрогов Кордильер, в чашевидном углублении величистой примерно с половину этой комнаты. И эта чаша до краев наполнена — как вы думаете, чем? Чистейшим светлячковым радием, пылом и жаром ада. Вот уже многие тысячелетия мириады светляков прилетают туда каждый день, чтобы найти в той чаше смерть, и каждый светлячок приносит с собой дань — свою единственную бессмертную частицу, электрон чистого радия. Скопившейся там энергии достаточно, чтобы залить светом весь мир, снабдить до скончания века топливом все двигатели мира, весь транспорт. Всех денег на земле не хватит, чтобы купить эти сокровища. Итак, вы — мой; радий — ваш. Когда мадам Кюри получит чистый полоний, сделайте себе из него одежду и ступайте за своими сокровищами!

И он исчез, оставив меня в темноте, прервав на полуслове мою благодарственную речь. Чашу, полную радия, я найду по отсвету на небе; и очень скоро: когда эта гениальная женщина во Франции отделит полоний от висмута, я получу в свое распоряжение это незаменимое вещество. Акции продаются. Обращаться к Марку Твену.

Глава I

Отец мой — сенбернар, мать — колли, а я пресвитерианка. Так, во всяком случае, объяснила мне мать, сама я в этих тонкостях не разбираюсь. Для меня это только красивые длинные слова, лишённые смысла. Моя мать питала пристрастие к таким словам. Она любила произносить их и наслаждалась тем, как поражены и преисполнены зависти бывали другие собаки, как они недоумевали, откуда у нее такая образованность. На самом деле все это было показное, никакого настоящего образования у нее не было. Она подхватывала ученые словечки в столовой и гостиной, когда в доме бывали гости, или в воскресной школе, куда ей доводилось сопровождать хозяйских детей. И всякий раз, услышав новое длинное слово, она без конца твердила его про себя, стараясь удержать в памяти до очередного учебного собрания собак нашей округи. Там она, бывало, бросит свое словцо, и, конечно, все, начиная от сосунка, который в кармане поместится, до громадного бульдога, сокрушены и озадачены. Успех вознаграждал ее за все усилия. Если среди нас оказывался посторонний, он непременно проявлял недоверчивость. Едва опомнившись от первого изумления, он тут же спрашивал, что значит это слово. И моя мать отвечала, ни на секунду

не задумываясь. Вопросавший никак не ожидал этого, он был уверен, что тут-то она и попадется, но посрамленным оказывался он сам. Остальные только того и ждали. Им было заранее известно, как все произойдет, у них был опыт по этой части. И все так восхищались, так гордились ее ответом, что никому и в голову не приходило усомниться в его правильности. Это вполне понятно. Во-первых, она отвечала быстро и без запинки, будто говорящий словарь; а во-вторых, откуда, спрашивается, было им знать, надувает она их или говорит правду? Ведь она была среди них единственной эрудированной собакой. Однажды, когда я уже несколько подросла, моя мать притащила откуда-то новое слово — «неинтеллектуальный» — и щеголяла им на наших советах и собраниях, повергая тем всех собак в тоску и уныние. И вот тогда-то я заметила, что на протяжении недели ее восемь раз спросили о значении слова «неинтеллектуальный», и каждый раз она давала новое определение. Это убедило меня в том, что мать моя обладает скорее находчивостью, нежели эрудицией, но я, разумеется, о том промолчала.

У нее было всегда наготове одно словцо, которое выручало ее в критический момент. Оно служило ей как бы спасательным кругом в минуту бедствия: за него можно было ухватиться, когда волна вдруг смывала за борт. Слово это было — «синоним». Иной раз она возьмет и снова притащит длинное слово, которым производила эффект уже несколько недель назад и выдуманные определения которого давно попали на свалку, и этим словом в первый момент буквально оγοрошит чужака, если таковой среди нас присутствовал. Пока он опомнится, она уже успеет про все забыть и повернет на другой галс. Поэтому, когда он вдруг неожиданно окликнет ее и призовет к ответу, она на мгновение подожмет хвост — парус повиснет (я это видела — я была единственной, кто разгадал ее игру), — но лишь на одно мгновение, и вот парус снова поднят, и ветер вновь раздувает его. Спокойная и безмятежная, как летний день, она отвечает: «Это синоним трансцендентальности», — или изречет другое, столь же богомерзкое, длинное, как змея, слово. Потом мирно

отойдет и свернет опять на новый галс — абсолютно, понимаете ли, невозмутимо. А тот, кто задал вопрос, остался в дураках и весьма сконфужен. Остальные собаки, знавшие наперед, как обернется дело, в унисон стучат хвостами по земле, и физиономии у всех так и светятся неземным блаженством.

И не только слова — она, случалось, и целую фразу притащит, была бы только достаточно громкая фраза, и блеснет ею по меньшей мере на шести вечерах и двух утренниках. И, конечно, всякий раз истолкует по-разному. Ведь мою мать привлекала лишь звучность сказанного, смысл ее не интересовал. К тому же она отлично знала, что никто ее не разоблачит, ни у одной собаки не хватило бы на то соображения. Да, моя мать была личность замечательная. Она до того осмелела, что решительно ничего не боялась, так она была уверена в невежестве остальных. Она даже бралась передавать нам анекдоты, которые рассказывались за обеденным столом и вызывали столько веселья и смеха у гостей и хозяев. Но, как правило, соль одного анекдота она пересыпала в другой, отчего, конечно, не получалось ни складу, ни ладу. Досказав анекдот, моя мать принималась кататься по земле, хохотала и лаяла как безумная, но я-то видела, что она и сама удивлена, почему анекдот перестал казаться ей забавным. Но все равно — ее слушатели тоже катались по земле и лаяли, втайне стыдясь того, что решительно ничего не понимают. Они и не подозревали, что вина не их: просто в анекдоте не было ни малейшего смысла.

Все эти факты, как видите, показывают, что моя мать была довольно тщеславна и легкомысленна, а между тем она обладала добродетелями, которые, я полагаю, с лихвой покрывали ее недостатки. У нее было доброе сердце, мягкий нрав; она не затаивала обид, но тотчас изгоняла их из мыслей и забывала. Свой добрый нрав она передала нам, своим детям. От нее мы научились быть отважными и решительными в минуту опасности. Это она говорила нам, что надо не о своем спасении заботиться, но идти навстречу беде, грозящей другу или недругу — кому бы то ни было, — и бросаться на помощь, не задумываясь над возможными для нас по-

следствиями. И учила она нас не только словом, но и личным примером, а это наилучший и наивернейший метод, — уж это запоминается надолго. Ах, какие прекрасные поступки она совершала, какие подвиги! Настоящий мужественный воин. И вела себя при этом так скромно. Нет, ею нельзя было не восхищаться, нельзя было не стараться подражать ей. В ее обществе даже комнатный спаньель старался бы вести себя немного более пристойно. Так что, видите, моя мать отличалась не одной только образованностью.

Глава II

Когда я наконец стала вполне взрослой, меня продали, и с тех пор я уже больше никогда не видела своей матери. Сердце ее разрывалось от горя, и мое тоже, когда мы расставались, и обе мы плакали. Но она утешала меня как могла. Она говорила, что мы родились на свет ради мудрой и благой цели, и каждый из нас должен выполнять свой долг безропотно, что надо принимать жизнь такой, как она есть, жить для блага ближних и не задумываться над тем, что ждет впереди, — это не нашего ума дело. Люди, поступающие таким образом, получают великую награду в ином, лучшем мире. И хотя для всех других существ, кроме человека, доступ туда закрыт, но если и мы будем вести себя честно и праведно, не ожидая за то вознаграждения, это придаст нашей кратковременной земной жизни смысл и достоинство, что уже само по себе является наградой. Все эти рассуждения ей приходилось слышать время от времени в воскресной школе, куда она провожала детей. Эти слова моя мать заучила тщательнее, чем учебные словечки и фразы, подслушанные в гостиной. Она много раздумывала над ними ради собственного и ради нашего блага. Уже одно это показывает, что голова у нее была мудрая и полна мыслей, несмотря на изрядную долю ветрености и тщеславия.

Итак, в последний раз мы сказали друг другу «прости», в последний раз сквозь слезы поглядели друг на друга, и прощальные ее слова — она, я думаю, нарочно

оставила их напоследок, чтобы я лучше их запомнила, — были такие:

— В момент опасности, которая грозит другому, не думай о себе, но вспомни свою мать, и в память о ней поступи так, как поступила бы она.

Вы думаете, я могла забыть эти слова? Нет!

Глава III

Каким же чудесным оказалось мое житье у новых хозяев! Большой прекрасный дом, богатая обстановка, множество картин, изящных украшений, и ни одного темного угла — всюду сверкание зажженных солнцем красок тончайших оттенков. Какие просторы вокруг дома, какой огромный сад — зеленые лужайки, великолепные деревья и масса цветов! И я была настоящим членом семьи. Меня любили, меня ласкали и продолжали звать прежним моим именем. Оно мне было дорого, мое старое имя — Эйлин Мейворнин, — ведь мне дала его мать. Она услышала его в какой-то песне. Мои новые хозяева знали песню и считали, что имя это очень красиво.

Моей госпоже, миссис Грэй, было тридцать лет, и до чего же она была прелестна и очаровательна, вы просто представить себе не можете. А маленькой Сэди исполнилось десять, — вылитая мать, такая же милочка. Сэди носила короткие платица, и на спине у нее висели два каштановых хвостика. А малютке был всего год — пухленький, весь в ямочках, и так любил меня! Готов был без конца таскать за хвост и тискать и так и заливался при этом своим невинным смехом. Мистеру Грэю было тридцать восемь лет. Рослый, стройный, красивый, начавший немного лысеть со лба; движения быстрые, решительные, энергичные, и ни малейшей сентиментальности. Его четко очерченное лицо, казалось, излучало холодный свет высокого интеллекта. Мистер Грэй был, как его называли, ученым-экспериментатором. Я не знаю, что значит слово «экспериментатор». Вот моя мать, та тотчас пустила бы его в ход и произвела бы тем соответствующее впечатление.

Сумела бы сбить им спесь с любого терьера, а уж о комнатной собачонке и говорить нечего. Впрочем, есть слова и получше, чем «экспериментатор». Самое великодушное из них — «лаборатория». Да, моя мать вызвала бы настоящую сенсацию, она бы всех просто уничтожила этим словом.

Лаборатория — это не книга, не картина и не то место, где моют руки, о котором нам рассказывала собака ректора колледжа, — нет, то называется как-то иначе. Лаборатория — это совсем другое. Она заставлена банками, склянками, бутылками, электрическими приборами, повсюду в ней провода и непонятные инструменты. Каждую неделю сюда являлись ученые, усаживались возле приборов, что-то обсуждали и делали какие-то «эксперименты» и «открытия». Я сюда тоже часто заходила: стояла и слушала, силясь понять, о чем идет речь. Я поступала так в память о моей дорогой матери, хотя мне больно было думать, сколько она теряет, не присутствуя здесь, а я при этом ничего не приобретаю. Потому что, как я ни старалась, я так ничего и не поняла из того, что происходило в лаборатории.

Иногда я заходила в рабочую комнату миссис Грэй и спала там на полу, а миссис Грэй опускала на меня свои ножки, я как бы служила ей скамейкой. Госпожа знала, что мне это приятно, — ведь это было лаской. Иногда я проводила часок в детской, тут меня порядком тормозили, и я была счастлива. Если няньке нужно было отлучиться по делу, я сторожила колыбель. А иной раз мы вместе с маленькой Сэди бегали и носились вокруг дома до тех пор, пока вовсе не выбьемся из сил, и тогда я ложилась на траву под дерево и дремала в его тени, а Сэди читала книгу. А то я отправлялась с визитом к кому-нибудь из соседей. Неподалеку от нас проживали очень милые, благовоспитанные собаки. Особенно хорош, красив и любезен был один курчавый ирландский сеттер. Его звали Робин Эдэйр, и он был, как и я, пресвитерианин: он принадлежал шотландскому священнику.

Слуги в доме обращались со мной хорошо, все меня любили, и потому, как видите, жилось мне отлично. На

свете не могло быть собаки более счастливой и более благодарной судьбе, чем я. О себе скажу — и это сущая правда, — что я изо всех сил старалась вести себя достойно. Я читала память матери, я помнила ее наставления и пыталась заслужить то счастье, которое выпало мне на долю.

Вскоре на свет появился мой щенок, и тут чаша моего блаженства наполнилась до краев. Мой сын был прелестным существом — гладкий и мягкий, как бархат, он так потешно ковылял на своих обворожительных неуклюжих лапках. У него были такие нежные глазенки, такая славная мордочка. Я так гордилась им, когда видела, как обожают его моя госпожа и ее дети, как они ласкают его, как громко восхищаются каждым милым его движением. Нет, жизнь была чудесна, восхитительна...

Но вот пришла зима. Однажды я стерегла в детской малютку, то есть лежала на кровати подле колыбели, в которой он спал. Колыбель стояла неподалеку от камина. Над ней спускался длинный полог из прозрачной ткани, через которую все видно. Нянька вышла из детской, мы с малюткой остались вдвоем и мирно спали. От горящего полена отскочила искра и попала на край полога. Должно быть, некоторое время все было тихо, но вдруг меня разбудил крик ребенка, и я увидела, что весь полог в огне, пламя взвивается до самого потолка. В ужасе, не успев сообразить, что делаю, я спрыгнула с кровати и через секунду была почти у самой двери. Но уже в следующую секунду в ушах моих прозвучали прощальные слова матери, и я тут же снова прыгнула на кровать. Просунув голову сквозь пламя, я стала тащить малютку, ухватившись зубами за поясok рубашечки, и продолжала тянуть, пока мы оба не упали на пол, окутанные облаками густого дыма. Тут я снова схватила крохотное кричащее существо, выбралась вместе с ним за дверь, в коридор, и изо всех сил продолжала тащить дальше, очень взволнованная, но счастливая и гордая своим поступком, как вдруг раздался голос хозяина:

— Что ты делаешь, проклятое животное!

Я отскочила и пыталась убежать, но он выказал удивительное проворство, настиг меня и принялся колотить тростью. В ужасе я металась из стороны в сторону, пытаясь увернуться. Но вот сильный удар обрушился на мою левую переднюю ногу, я завизжала, упала — и не могла снова подняться на ноги. Хозяин занес было трость для нового удара, но так и не успел ее опустить, потому что в это самое мгновение по всему дому разнесся дикий вопль няньки:

— Детская горит!

Хозяин бросился туда, и таким образом остальным моим костям суждено было уцелеть.

Нога болела ужасно, но времени терять было нельзя, хозяин мог вернуться в любую минуту. Кое-как я допрыгала на трех ногах до конца коридора к узкой темной лестнице, которая вела на чердак, где, как я слышала, валялись старые ящики и прочий ненужный хлам и куда люди ходили редко. Еле-еле поднялась я по лестнице и, пробравшись в темноте среди всякого хлама, забилась в самый дальний угол чердака. Здесь уж бояться было глупо, но я все еще дрожала от страха. Я была так напугана, что сдерживала себя и почти не скулила, хотя мне очень хотелось поскулить — ведь это, знаете, помогает, когда что-нибудь болит. Но полизать ногу было можно, и мне как будто стало легче.

Целые полчаса в доме продолжалась суматоха, слышались крики, шум, топот ног. Потом все стихло. Тишина длилась несколько минут, и она была мне отрадна. Страхи мои почти улеглись, а ведь страх хуже боли — гораздо хуже. И вдруг послышался громкий голос, от которого я так и замерла. Меня звали, кликали по имени, меня разыскивали!

Голос шел снизу, расстояние приглушало его, но это не умаляло моего ужаса. В жизни своей не слышала я ничего страшнее этого голоса. Он разносился по всему дому. Он был как будто сразу повсюду — в передней, в коридоре, во всех комнатах дома, в подвале; потом слышался снаружи дома, и уходил куда-то все дальше и дальше... но вот он снова приближался и вновь гремел по всему дому. Казалось, он никогда не умолкнет.

Наконец он стих, но не раньше чем смутный полумрак на чердаке сменился полной тьмой.

В наступившей благословенной тишине страхи мои мало-помалу улетучились, я успокоилась и заснула. Спала я крепко, но проснулась рано, еще до того, как на чердаке снова посветлело. Я чувствовала себя довольно хорошо, боль в ноге утихла, и я уже начала подумывать о том, как мне действовать дальше. Я придумала отличный план. Надо ползком выбраться с чердака, потом вниз по черной лестнице и спрятаться за дверь, ведущей в подвал. Когда на рассвете придет поставщик льда и начнет наполнять ледник, я выскользну на улицу и убегу. На день где-нибудь спрячусь, а ночью отправлюсь в путь. Куда? Куда угодно; туда, где меня никто не знает и не выдаст хозяину. Я даже почти повеселела, но вдруг вспомнила: а мой щенок? Разве смогу я жить без моего щенка?

Меня охватило отчаяние. Нет, выхода не было, я это видела ясно. Надо оставаться здесь и ждать, и принять все, что уготовано судьбой. Что тут поделаешь — такова жизнь, как говорила моя мать. Но тут... Да, тут меня снова начали звать, и все мои тревоги вернулись ко мне. Хозяин никогда меня не простит, сказала я себе. Я не могла понять, что я сделала дурного, чем вызвала его гнев и немилость, — очевидно, это было что-то такое, что человеку понятно и что он считает большим проступком, но чего собаке никогда не уразуметь.

Меня все звали и звали. Мне казалось, это длилось уже несколько дней и ночей подряд. Меня терзали голод и жажда, я чувствовала, что очень ослабела. Когда испытываешь большую слабость, всегда много спишь, и я почти все время спала. Однажды я проснулась в страхе: мне почудилось, что голос, звавший меня, где-то совсем рядом на чердаке. Так оно в действительности и оказалось. Это звала меня Сэди. Она звала и плакала. Бедняжка, от слез она едва выговаривала мое имя, и я ушам своим не поверила от радости, когда услышала, что говорит Сэди:

— Вернись к нам, вернись к нам! Прости нас... Без тебя так грустно!

Я рванулась к ней, громко взвизгнув от избытка радости и признательности. В следующее мгновение Сэди, спотыкаясь, пробиралась в темноте чердака и кричала на весь дом:

— Она нашлась! Нашлась!..

Какие дни последовали затем, какие чудесные дни! Сама госпожа, и Сэди, и слуги — да они все просто души во мне не чаяли. Они только и думали, как бы сделать мне помягче постель, а уж кормили-то меня! Считалось, что для меня годится только дичь и всякие деликатесы, которые трудно достать в зимнее время. И каждый день в дом заходили друзья и соседи — послушать рассказы о моем героизме, как они называли то, что я сделала. («Героизм» — это значит «агрикультура», как, помню, объясняла моя мать на одном из наших собраний. Впрочем, она не растолковала, что же значит «агрикультура», только сказала, что это «синоним каузальности».) По десять раз на дню миссис Грэй и Сэди повторяли каждому новому гостю историю с пожаром — как я рисковала жизнью, спасая малютку; и в доказательство того, что все это правда, показывали, какие у нас обоих на теле ожоги. Гости по очереди подзывали меня, ласкали, удивлялись и ахали. И вы бы видели, какая гордость сияла в глазах Сэди и ее матери. А если кто-нибудь вдруг спрашивал, почему я хромаю, обе смущались и меняли тему разговора. Если же гость настаивал с расспросами, они, казалось мне, готовы были заплакать.

Этим моя слава не ограничилась. К хозяину пришли человек двадцать самых образованных и знаменитых ученых. Он звал их в лабораторию, и там они обсуждали случай во время пожара, вели обо мне серьезные споры, словно я была каким-то научным открытием. Некоторые говорили, что это поразительно, чтоб такой поступок могла совершить бессловесная тварь, что они не знают более блестящего примера проявления инстинкта. Но хозяин возражал им решительно и твердо:

— Это больше, чем инстинкт, — это разум. И многие, кто носит звание человека, получившего высокую

привилегию на право входа в царство небесное, обладают меньшим разумом, чем это бедное глупое четвероногое, лишенное надежды на вечное спасение. — А потом он рассмеялся и добавил: — Нет, вы только полюбуйтесь на меня! Право, это совершенный парадокс. Нет, ей-богу, несмотря на весь мой великолепный интеллект, единственное, что пришло мне тогда в голову, это что собака взбесилась и сейчас растерзает ребенка, в то время как если бы не разум этого животного — я утверждаю, что это *разум*, — ребенок погиб бы!

Они спорили и спорили, а я — да, я! — была темой и центром этих споров. Если б моя мать знала, какая великая честь выпала на мою долю! Как бы она гордилась мною!

А потом ученые переменили тему, заговорили об оптике, как они это называли, и снова заспорили: если определенным образом поразить мозг, вызовет это слепоту или нет? Но они никак не могли прийти к соглашению и все повторяли, что это можно доказать только экспериментальным путем. Затем разговор перешел на тему о растениях, и тут я оживилась. Летом мы с маленькой Сэди посадили семена — я помогала копать ямки, — и несколько дней спустя из каждой ямки вырос где цветок, где кустик. Как это могло произойти, ума не приложу, это просто чудо. Я пожалела, что лишена дара речи, не то я показала бы этим ученым, что тут и я кое-что смыслю. Но оптика меня не интересовала — это было мне непонятно. Когда они снова вернулись к этой теме, мне стало скучно, и я заснула.

Вскоре наступила весна, и стало так привольно, солнечно, радостно! Милая моя госпожа и ее дети отправились погостить к родственникам, на прощанье погладив меня и моего щенка. Мы с ним остались одни — хозяин нам был не компания, — но нам с моим щенком и вдвоем было весело; и слуги обходились с нами ласково, дружелюбно. Так что жили мы неплохо и поджидали возвращения миссис Грэй с детьми.

Но вот однажды в доме снова собрались ученые, — на этот раз, чтобы проделать опыт, как они сказали. Они взяли моего щенка и унесли в лабораторию. Я проковыляла за ними на своих трех ногах. Я испытывала

гордость: мне, конечно, было очень лестно, что моему щенку оказывают внимание. Ученые все о чем-то спорили, все делали какие-то опыты, и вдруг мой щенок пронзительно завизжал, и они поставили его на пол. Он шагнул, спотыкаясь; вся его голова была залита кровью. Хозяин захлопал в ладоши и воскликнул:

— Ну что, убедились? Я был прав! Нет, ей-богу, вы только посмотрите: конечно же он совершенно слеп!

И все остальные сказали:

— Да, да, опыт подтвердил вашу теорию. Отныне страждущее человечество в превеликом долгу перед вами.

И все окружили хозяина, с чувством жали ему руку, благодарили и восхваляли его.

Но все это я видела и слышала лишь очень смутно. Я подбежала к моему дорогому малышу, прильнула к нему и стала слизывать с него кровь, а он прижался ко мне головкой и тихо скулил. Сердцем я понимала, что хотя он не видит, но чувствует меня, и ему не так страшно и не так больно, потому что рядом мать. А потом он упал, его бархатный носишко ткнулся в пол — да так мой щенок и остался лежать, больше он уже и не шелохнулся.

Тут мистер Грэй прервал разговор, вызвал лакея и приказал:

— Закопайте его где-нибудь в дальнем углу сада.

И снова вернулся к беседе. А я, хромая, побежала вслед за лакеем. Я была очень довольна и благодарна, — я видела, что моему щенку уже не больно, потому что он заснул.

Мы дошли до самого конца сада, туда, где летом все мы — дети, нянька и я со своим щенком — играли в тени выскокого вяза; и там лакей выкопал ямку. Я видела, что он собирается положить в нее моего щенка, и радовалась: значит, мой сын вырастет и станет таким же красивым псом, как Робин Эдэйр, и это будет чудесным сюрпризом для миссис Грэй, Сэди и малышки, когда они вернутся домой. Поэтому я старалась помочь лакею рыть ямку, но моя перебитая нога плохо действовала. Она, понимаете, не сгибалась, — а чтобы копать, надо работать обеими передними лапами, иначе

ничего не получается. Лакей выкопал ямку, положил в нее моего маленького Робина, погладил меня по голове, прослезился и сказал:

— Эх, бедная ты псина... Ты-то спасла его ребенка...

Вот уже две недели, как я не отхожу от ямки, но мой щенок все не показывается. Последние дни меня стал охватывать страх. Мне начинает казаться, что с моим щенком что-то случилось. Я не знаю, что именно, но от страха я совсем больна. Я не могу есть, хотя слуги тащат мне самые лакомые куски и все утешают меня. Они даже ночью иногда приходят, плачут надо мной и приговаривают:

— Несчастный песик... Ну, забудь, успокойся, иди домой, не надрывай ты нам сердце...

Все это только еще больше пугает меня и убеждает в том, что произошло что-то ужасное. Я так ослабела, что со вчерашнего дня уже не держусь на ногах. С полчаса тому назад слуги взглянули на заходящее солнце — оно как раз в этот момент скрывалось и в воздухе потянуло ночной прохладой, — и сказали что-то такое, что я не поняла, но от их слов в сердце мое проник леденящий холод:

— Бедняжки, они ничего не подозревают. Завтра утром вернутся и сразу спросят: «Где же наша собачка, где наша героиня?» И у кого из нас хватит духу сказать им правду: «Ваш преданный четвероногий друг ушел туда, куда уходят все погибающие бессловесные твари!»

НАСЛЕДСТВО В ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

Глава I

Лейксайд — приятный городок с населением в пять или шесть тысяч жителей и, для городка Дальнего Запада, довольно живописный. Его церкви способны вместить не менее тридцати пяти тысяч человек, как это водится на Дальнем Западе и на Юге, где все веруют, где представлены все разновидности протестантских сект, и каждая из них открыла свою фирму. Словенные различия в Лейксайде неведомы, по крайней мере это не проявляется открыто; всяк знает ближнего своего и его собаку, и дружеская общительность в Лейксайде — главенствующая черта.

Саладин Фостер служил счетоводом в самом большом магазине Лейксайда, будучи единственным в городе высокооплачиваемым представителем этой профессии. В ту пору ему было тридцать пять лет, из которых он уже четырнадцать прослужил в этом магазине; он поступил туда в первую же неделю после свадьбы, на жалованье чetyреста долларов в год, и в течение чetyрех лет неуклонно шел на повышение, получая ежегодную надбавку в сто долларов. С того времени его жалованье составляло восемьсот долларов в год — весьма внушительная сумма, — и, по общему мнению, он его вполне заслуживал.

Жена Саладина Фостера, Электра, оказалась надежной поддержкой супругу, хотя, подобно ему, была мечтательницей и втайне питала слабость к романтике. Сразу же после свадьбы девятнадцатилетняя супруга — почти дитя — купила на городской окраине акр земли, за который выложила двадцать пять долларов наличными — все свое состояние. Капитал Саладина был меньше на целых пятнадцать долларов. Электра разбила огород, отдала его обрабатывать исполу ближайшему соседу и получила от своей земельной собственности сто процентов годовой прибыли. Из первого жалованья мужа она положила тридцать долларов в банк, из второго — шестьдесят долларов, из третьего сто, из четвертого сто пятьдесят. Жалованье Саладина повысилось до восьмисот долларов в год; за это время у супругов родилось двое детей, и семейные расходы возросли, — однако жена, несмотря ни на что, ежегодно откладывала в банк по двести долларов. На восьмой год супружества Электра на своем земельном участке построила и обставила хорошенький, удобный домик стоимостью в две тысячи долларов, заплатила наличными половину этой суммы и переселила туда свое семейство. Через семь лет она полностью выплатила весь долг и у нее осталось еще несколько сот долларов, которые приносили доход.

Они приносили доход благодаря повышению цен на земельные участки. Дело в том, что Электра Фостер заблаговременно прикупила еще несколько акров земли и выгодно перепродала большую часть ее очень милым людям, которые собирались строиться и в будущем обещали стать добрыми соседями и составить приятную компанию для нее самой и для ее подрастающих дочерей. Кроме того, у Электры был постоянный твердый доход от надежно помещенного капитала — сто долларов в год. Дети ее росли и хорошели, и она была довольной, счастливой женщиной. Она души не чаяла в своем муже, своих детях, а муж и дети души не чаяли в ней. Здесь-то и начинается вся история.

Младшей дочери Фостеров Клитемнестре — или просто Клити — исполнилось одиннадцать лет, ее сестре Гвендолен — или просто Гвен — тринадцать. Девочки

были милые и довольно хорошенькие. Их имена выдавали скрытое пристрастие родителей к романтике, а имена родителей, в свою очередь, свидетельствовали о том, что эта страсть оказалась наследственной. Семейство было дружное, любящее, и не удивительно, что у каждого члена семьи имелось ласкательное прозвище... У Саладина — оригинальное и несвойственное мужчине — Салли, зато у Электры — явно мужское: Элек. Целый день Салли был добросовестным счетоводом и продавцом. Целый день Элек была доброй, преданной матерью и хозяйкой, а также расчетливой деловой женщиной. Но по вечерам в уютной гостиной супруги покидали будничный мир и переселялись в другой, куда более прекрасный, зачитывались романами, предавались мечтам и вели дружбу с королями и принцами, гордыми лордами и леди среди блеска, шума и роскоши величественных дворцов или мрачных старинных замков.

Глава II

Но вот пришло неожиданное известие! Потрясающее известие! По сути дела — радостное известие! Пришло оно из соседнего штата, где жил их единственный родственник. Это был родственник Салли — не то какой-то дядя, не то двоюродный или троюродный брат — Тилбери Фостер, семидесятилетний холостяк, по слухам — богатый и соответственно желчный и черствый. Однажды, в далеком прошлом, Салли попробовал было установить с ним родственные отношения и написал ему письмо, но с тех пор уже не повторял подобной ошибки. На сей раз Тилбери сам написал Салли письмо, в котором уведомлял, что собирается вскоре умереть и намерен оставить ему в наследство тридцать тысяч долларов наличными. И не из чувства любви, а единственно потому лишь, что деньги явились причиной большей части выпавших на его долю неприятностей и злоключений, вот ему и хочется пристроить их туда, где они наверняка будут продолжать свое черное дело. Распоряжение о деньгах будет вписано в завещание, и деньги будут отданы наследнику — *при*

условии, что Салли сможет доказать душеприказчикам, что он ни устно, ни письменно не упоминал об этом даре, не справлялся о скорости продвижения умирающего к сферам вечности и не присутствовал на похоронах.

Как только Элек немного оправилась после бурных переживаний, вызванных письмом, она подписалась на газету, выходящую в городке, где проживал их родственник.

Супруги торжественно поклялись молчать о великом событии, пока Тилбери жив, иначе какой-нибудь остолоп чего доброго сболтнет об этом у его смертного одра, да еще исказит факты, и выйдет так, будто они, вопреки запрету, благодарят за наследство, а стало быть — открывают всем тайну завещания.

В тот день в бухгалтерских книгах Салли царил изрядная путаница, а его жене никак не удавалось сосредоточиться на повседневных делах: взяв в руки цветочный горшок, книжку или полено, она даже не могла сообразить, что собиралась с ними делать. Супруги мечтали...

«Тридцать тысяч долларов!»

Целый день в ушах у Фостеров звучала музыка этих вдохновляющих слов.

Сразу же после свадьбы Элек крепко взяла в руки семейную казну, и Салли лишь в редких случаях выпадала радость — растратить десять центов на что-нибудь, помимо насущных нужд.

«Тридцать тысяч долларов!» Музыка звучала все громче и громче. Огромная сумма, невообразимая сумма!

Целый день Элек была поглощена мыслями о том, как пустить в оборот их капитал, а Салли — как его истратить.

В тот вечер они не читали романов. Девочки рано ушли к себе, потому что родители были молчаливы, казались чем-то озабоченными и странно равнодушными. Поцелуи на сон грядущий можно было с тем же успехом адресовать пустому пространству — столь холодно они были приняты. Родители даже не почувствовали дочерних поцелуев и только через час заме-

тили, что дети ушли. Зато в течение этого часа отчаянно работали два карандаша: делались пометки, строились планы. Наконец Салли первым нарушил тишину:

— Это будет здорово! — радостно воскликнул он. — Первую тысячу долларов мы истратим на лошадь и коляску для лета, а для зимы купим сани с меховой полостью.

Элек ответила решительно и спокойно:

— Из основного капитала? Ни в коем случае. Даже если бы он составлял миллион.

Салли был глубоко разочарован. Лицо его омрачилось.

— О Элек! — произнес он с укором. — Мы так много работали и вечно отказывали себе во всем. И теперь, когда мы разбогатели... право же... — он замолк на полуслове, увидев, как смягчился взгляд его жены. Покорность мужа растрогала Элек, и она сказала, ласково убеждая:

— Мы не должны трогать основной капитал, мой дорогой. Это же будет неразумно. Только доходы с него...

— Верно, Элек, ты права! Какая ты милая и добрая! Ведь мы получим немалый доход и если сможем его истратить...

— Да, но не *весь* доход, дорогой мой, не весь, а только часть. Ну, скажем, значительную часть. Что касается капитала, то каждый цент его необходимо сразу пустить в оборот. Ты же понимаешь, как это разумно?

— Н-н-ну да... О да, конечно! Но ведь ждать придется так долго, целых шесть месяцев до получения первых процентов.

— Да, быть может и дольше.

— Дольше, Элек? Почему? Разве проценты выплачиваются не раз в полгода?

— По *таким* вкладам — да, но я собираюсь вложить деньги иначе.

— Как же именно?

— С расчетом на большую прибыль.

— С большой прибылью? Отлично! Не томи, Элек, расскажи — что это?

— Уголь. Новые шахты! Кеннельский уголь. Я хочу вложить десять тысяч. В числе первых пайщиков — привилегированные акции — на тех же основаниях, что и учредители. Когда дело пойдет, мы получим по три акции за одну.

— Черт побери! Заманчиво! А в какой цене будут акции? И когда это будет?

— Примерно через год. Платить будут десять процентов с вложенного капитала каждые полгода, акции составят тридцать тысяч долларов. Я уже все узнала. Условия опубликованы в газете, в Цинциннати.

— Бог ты мой! Тридцать тысяч вместо десяти — уже через год! Так давай вложим весь наш капитал и выжмем из него девяносто тысяч! Я немедленно пошлю письмо и подпишусь. Завтра, наверное, будет поздно.

Он кинулся к конторке, но Элек остановила его и снова велела сесть в кресло.

— Не теряй голову! — сказала она. — Мы не можем подписываться, пока не получили денег. Как ты не понимаешь!

Салли на несколько градусов охладил свой пыл, но все же не совсем успокоился.

— Но, Элек, ты же знаешь, что деньги у нас будут, и к тому же скоро. Тилбери, возможно, уже отмаялся. Сто шансов из ста возможных, что он в эту самую минуту выбирает себе лопату по руке — подбрасывать серу в костер. Так вот, я считаю...

Элек содрогнулась.

— Салли! Как можно! Не говори так, это непристойно!

— Ну, ладно, пусть выбирает нимб, если тебе угодно. Меня совершенно не интересует его экипировка. Просто к слову пришлось. Уж и сказать ничего нельзя.

— Но зачем же говорить такие ужасные вещи? А если бы про тебя так сказали? И ты бы еще не успел остыть...

— Ну, это маловероятно. Я же не собираюсь оставлять кому-то деньги только для того, чтобы принести вред. Бог с ним, с Тилбери. Давай лучше поговорим о мирских делах. Я все же думаю, что в эти шахты

стоит вложить все тридцать тысяч капитала. У тебя **есть** возражения?

— Нельзя ставить на карту все. Вот мои возражения.

— Ну ладно, будь по-твоему. А что же ты думаешь делать с остальными двадцатью тысячами?

— Не к чему спешить. Прежде чем что-нибудь предпринять, я сперва хорошенько осмотрюсь.

— Ну что ж, если уж ты так решила, — со вздохом промолвил Салли. На минуту он глубоко задумался, потом заметил: — Значит, через год вложенные десять тысяч принесут нам двадцать тысяч дохода? Но уж эту сумму можно будет истратить, правда?

Элек покачала головой.

— Нет, мой дорогой. Акции не продашь по их тройной стоимости, пока мы не получим первый полугодовой дивиденд. И тогда часть этой суммы ты сможешь истратить.

— Вот тебе и на! Только и всего? Да еще целый год ждать! Провались оно, я...

— Имей терпение! Возможно, что дивиденды объявят уже через три месяца, это вполне реально.

— Чудесно! Вот это я понимаю! Спасибо тебе, спасибо! — Полный благодарности, Салли вскочил и поцеловал жену. — Это составит три тысячи! Целых три тысячи! Сколько же мы сможем истратить? Прошу тебя, дорогая, не скупись!

Элек была польщена. Так польщена, что пошла на уступки и в конце концов разрешила мужу истратить, — хотя, по ее мнению, это было безрассудным мотовством, — целую тысячу долларов. Салли осыпал жену поцелуями, но даже таким образом не мог выразить всей своей радости и признательности. Это новое изъятие благодарности и любви увлекло Элек далеко за пределы благоразумия, и, прежде чем она успела сдержать порыв, любимому супругу было даровано еще несколько тысяч из тех пятидесяти или шестидесяти, которые Элек намеревалась добыть из оставшихся двадцати тысяч наследства. Глаза Салли наполнились счастливыми слезами.

— Я так хочу прижать тебя к сердцу! — вскричал он и тут же осуществил свое желание. Затем взял записную книжку и стал отмечать, какие предметы роскоши он приобретет прежде всего. — Лошадь... коляску... сани... полость... лакированные туфли... собаку... цилиндр... отдельные места в церкви... часы новейшей марки... искусственные зубы... Послушай, Элек!

— Да?

— Ты все еще вычисляешь? Молодец! Ты уже вложила оставшиеся двадцать тысяч?

— Нет еще, и не к чему спешить. Сперва я должна осмотреться и подумать.

— Но ты что-то подсчитываешь?

— Ну да, надо же решить, как пустить в оборот тридцать тысяч прибыли, которые мы получим от угля.

— Боже, вот это голова! А я и не подумал. Ну, каковы успехи? Далеко ли ты зашла?

— Не очень. Только года на два или на три вперед. Капитал уже обернулся дважды. Один раз на нефти, другой раз на пшенице.

— Ах, Элек! Отлично! Великолепно! А каков прост?

— По-моему, дело идет неплохо. Около ста восьмидесяти тысяч чистой прибыли наверняка, но вообще-то, конечно, будет больше.

— О! Грандиозно! Ей-богу, наконец-то нам улыбнулось счастье, — столько лет мы тянули лямку. Элек!

— Да?

— Я ассигную целых три сотни на миссионеров. Смеем ли мы скупиться на такое дело?

— Ты бы не мог поступить благороднее, милый. Это так свойственно твоей великодушной натуре, мой добрый мальчик.

Похвала жены наполнила Салли острым ощущением счастья, но все же у него хватило честности признать, что его поступок оказался возможным лишь благодаря Элек. Ведь если бы не она, он бы не располагал такими деньгами.

Наконец супруги отправились спать, но, пребывая в упоительном трансе, позабыли потушить в гостиной

свечу. Они вспомнили об этом, только когда уже разделись. Салли считал, что свечу тушить не надо, что они могут теперь позволить себе такой расход, пусть горит хоть сотня свечей. Но Элек встала, сошла вниз и задула свечу. И правильно сделала, потому что на обратном пути набрела на мысль, с помощью которой сто восемьдесят тысяч долларов, не успев остыть, превратятся в целых полмиллиона.

Глава III

Газетка, которую выписала Элек, выходила по четвергам; совершив путешествие в пятьсот миль, она могла прибыть только в субботу. Письмо дядюшки Тилбери было отправлено в пятницу, следовательно их благодетель опоздал умереть и попасть в последний номер более чем на сутки, но у него было предостаточно времени известить о своей кончине в следующем номере. Таким образом, Фостерам предстояло почти целую неделю ждать, пока выяснится, не случилось ли с дядюшкой Тилбери что-нибудь, оправдывающее их надежды. Неделя была необычайно длинной, напряжение изнурительным. Супруги вряд ли бы выдержали его, если бы не передышки, которые им давали благодатные вечерние грезы. Мы уже знаем, чем они занимались. Элек на всех парах умножала капиталы, а Салли их тратил. Во всяком случае, тратил все, что ему отпущено.

Наконец пришла суббота, и Фостеры получили «Уикли Сэгамор». Это произошло в присутствии миссис Эверсли Беннет, жены пресвитерианского пастора, которая в тот вечер обрабатывала Фостеров на предмет каких-то пожертвований. И вдруг их беседа скоропостижно скончалась по вине хозяев. Миссис Беннет обнаружила, что Фостеры не слышат ни единого ее слова. Ошеломленная, негодующая, она встала и удалилась. Как только за ней захлопнулась дверь, Элек жадно сорвала обертку бандероли, и глаза супругов впились в столбец, где помещались объявления о смерти. Жестокое разочарование! Ни слова о Тилбери.

Элек была христианкой с колыбели, а посему долг и сила привычки повелевали, чтобы она подчинилась установленному ритуалу. Взяв себя в руки, она заметила бодро, с двухпроцентным профессиональным благочестием:

— Смиренно возблагодарим господа за то, что чаша сия миновала Тилбери...

— Подлый обманщик! Чтоб ему...

— Салли! Стыдись!

— А мне наплевать! — парировал разгневанный муж. — Ты же сама так думаешь, и если б не твое безнравственное благочестие, ты бы в этом призналась.

Элек ответила с видом оскорбленного достоинства:

— Не понимаю, как у тебя язык поворачивается говорить такие злые, несправедливые слова. К тому же безнравственного благочестия не бывает.

У Салли зануло сердце, но он, стараясь скрыть это, сделал неуклюжую попытку выйти из положения, изменив форму проступка — словно изменение формы при сохранении состава преступления может обмануть эксперта.

— Я вовсе ничего страшного не хотел сказать. Я хотел сказать не «безнравственное благочестие», а... я думал... думал... я имел в виду... условное благочестие, э-э-э... ну ты сама понимаешь, что я имел в виду. Так сказать, коммерческое благочестие, э-э-э... ну ты же знаешь, что я хочу сказать... берешь подделку и выдаешь за чистопробный товар, вовсе не желая обмануть, а просто по профессиональной привычке, по старой традиции, что ли... по закоснелым обычаям, из верности своим... своим... Будь оно неладно, я просто не могу подыскать точные слова, но ты ведь знаешь, что я хочу сказать, Элек, и что в этом нет ничего дурного. Дай-ка, я снова попробую объяснить. Видишь ли, вот в чем дело. Если человек...

— Ты высказался более чем ясно, — холодно возразила Элек. — И покончим с этим.

— Охотно! — пылко подхватил Салли, отирая со лба пот и всем своим видом являя признательность, которую он был не в силах выразить словами. Затем он мысленно стал оправдываться: «У меня на руках была

прикупная карта, верная, но я зарвался и проиграл. Ведь и в игре меня это подводит. Мне бы спасовать, а я не удержался. Вечно не хватает выдержки».

Явно разбитый наголову, Салли выглядел в должной мере кротким и подавленным. Элек простила его взглядом.

И тотчас на первом плане вновь возник самый важный, самый животрепещущий вопрос. Ничто не способно было удержать его под спудом, хотя бы на несколько минут. Фостеры снова принялись решать загадку: почему не появляется сообщение о смерти Тилбери? Они обсуждали эту проблему со всех сторон в более или менее оптимистичных тонах, однако всякий раз возвращались к тому, с чего начали, и приходили к выводу, что единственное здоровое объяснение загадочного отсутствия сообщения о смерти Тилбери заключается в том, что Тилбери еще не умер. Это, конечно, прискорбно, даже, пожалуй, несправедливо, но это факт и тут уж ничего не поделаешь. Спорить не о чем. Салли все это представлялось неисповедимым испытанием, выпавшим на их долю, — более неисповедимым, чем обычно, — одним из самых неисповедимых и непостижимых испытаний, какие он мог припомнить на своем веку, о чем он и заявил жене с некоторой горячностью. Но если он надеялся этим спровоцировать Элек, то явно просчитался. Каково бы ни было ее мнение, она держала его при себе: у Элек не было привычки без нужды рисковать ни в мирских делах, ни в делах иного порядка.

Супругам оставалось только ждать следующего номера газеты, — как видно, Тилбери задержался в этом мире. К такому они пришли выводу и решению. Салли и Элек перестали говорить на эту тему и по мере сил зажили по-старому.

Знали бы они только, что все время обвиняли Тилбери понапрасну! Тилбери сдержал свое слово, сдержал его честно. Он умер. Умер точно по расписанию. Он был мертв уже целых четыре дня и свыкся с этим. Он был абсолютно мертв, мертв надежно, мертв, как любой

свежий покойник на кладбище. Он умер, располагая более чем достаточным запасом времени, чтобы попасть в последний номер газеты, и не попал туда лишь по воле случая. Такие случаи немыслимы в столичном органе печати, но нередко в жалких захолустных листах, подобных «Сэгамору».

А вышло так: в тот момент, когда версталась первая полоса газеты, заведение Хостеттера «Кафе-мороженое для дам и джентльменов» бесплатно прислало в редакцию кварту прохладительного клубничного напитка, и порция довольно сдержанных сожалений по поводу переселения Тилбери Фостера в мир иной была выкинута, дабы нашлось место для горячечной благодарности редактора.

По дороге к шкафу, где хранились гранки, строки сообщения о кончине Тилбери рассыпались, иначе оно бы появилось в одном из последующих номеров «Сэгамора», потому что «Уикли Сэгамор» не пренебрегает «живым материалом», который на его столбцах обретает бессмертие, если только не происходит чрезвычайного происшествия. Но рассыпавшийся материал мертв, ему уже не суждено воскреснуть. Шанс увидеть свет для него утрачен, утрачен навеки. А посему — нравится это Тилбери или нет, пусть он рвет и мечет в своей могиле сколько угодно — сообщение о его смерти никогда не появится в «Уикли Сэгамор».

Глава IV

Медленно влачили пять томительных недель. Газета прибывала регулярно каждую субботу, но ни разу не принесла сообщения о смерти Тилбери Фостера. Наконец терпение Салли истощилось, и он с досадой воскликнул:

— Лопни его печенка, он же бессмертный!

Элек сурово отчитала его и добавила с ледяной торжественностью:

— Интересно, каково было бы тебе, если бы ты после таких ужасных слов скоропостижно скончался?

Не долго думая, Салли ответил:

— Я был бы рад, что они не застряли у меня в глотке.

Гордость побудила его хоть как-нибудь постоять за себя, и так как ничего путного ему не пришло в голову, то он изрек вышеупомянутое. После чего счел за лучшее отступить на задний план, то есть убраться по-добру-поздорову, дабы супруга не истолкла его в своей риторической ступе.

Один за другим миновали шесть месяцев. Газета все еще хранила молчание о смерти Тилбери. Тем временем Салли не раз закидывал удочку — намекал, что хочет произвести разведку. Элек эти намеки игнорировала. Тогда Салли решил набраться духу и перейти к лобовой атаке. И он без обвиняков предложил, что за-гримирруется, поедет в тот городок и тайком разузнает, как обстоят дела. Но Элек решительно и энергично забраковала этот опасный проект.

— Что только не приходит тебе в голову! — сказала она. — Сладу с тобой нет! Вечно следи за тобой, как за малым ребенком, чтобы не угодил в огонь. Сиди на своем месте, никуда ты не поедешь.

— Право же, Элек, я бы сумел это сделать и все было бы в порядке. Уверяю тебя.

— Салли Фостер, разве ты не понимаешь, что тебе придется наводить справки?

— Конечно, ну и что ж? Ни один человек не догадается, кто я такой.

— Нет, вы только послушайте! Но ведь настанет время, когда тебе придется доказывать душеприказчикам, что ты ни разу не наводил справок о покойном. Как быть тогда?

Салли совсем упустил из виду это условие. Он ничего не ответил жене, впрочем тут и отвечать было нечего.

— Ну так вот, — добавила Элек, — выкинь из головы подобные мысли и больше в это дело не путайся. Тилбери тебе расставил ловушку, — неужели ты не понимаешь, что это ловушка? Он только и ждет, чтобы ты в нее попался. Но он этого не дожидается, — во всяком случае, покуда я стою на посту. Салли!

— Да?

— Сколько бы ты ни жил на свете, пусть даже целую сотню лет, не смей наводить никаких справок о Тилбери. Обещай!

— Обещаю... — со вздохом вымолвил Салли весьма неохотно, после чего Элек смягчилась.

— Имей терпение, — наставляла она мужа. — Дела наши идут успешно и мы можем ждать: спешить не к чему. Наш маленький, но твердый доход все время увеличивается. А что касается будущих сделок, то их у нас будут тысячи. Во всем штате нет семьи с такими видами на будущее, как у нас. Мы, можно сказать, уже купаемся в деньгах. Тебе это ясно?

— Да, Элек.

— Так возблаговари бога за все, что он для нас делает, и перестань волноваться. Надеюсь, ты не думаешь, что мы бы достигли таких выдающихся успехов без его особого участия и руководства?

Последовало неуверенное: «Не-н-нет, конечно же нет», а затем прочувствованное, полное восторга:

— А все же, когда речь идет о биржевых махинациях или когда нужно обвести вокруг пальца Уолл-стрит, готов поручиться, что при твоём уме и сообразительности ты не нуждаешься в советах какого-нибудь дилетанта, будь я трижды...

— Да замолчи же ты, бога ради! Я понимаю, ты не хочешь сказать ничего дурного или оскорбительного, мой бедняжка, но, право же, ты и рта раскрыть не можешь, чтобы не изречь такого, от чего просто в дрожь кидает. Ты держишь меня в вечном страхе. За тебя самого и за всех нас. Прежде я не боялась грома небесного, но теперь, когда я его слышу, я...

Голос ее дрогнул, она залилась слезами и никак не могла успокоиться. Вид плачущей жены потряс Салли до глубины души, он заключил ее в объятия, стал ласкать и утешать, обещал исправиться, клял себя и, полный раскаяния, умолял о прощении. Он искренне сожалел о содеянном и был готов на любые жертвы, лишь бы искупить свою вину.

И вот, наедине с самим собой он предавался долгим и глубоким раздумьям, принимал самые благие решения. Обещать исправиться нетрудно, и он уже

дал такое обещание. Но будет ли оно твердой гарантией? Нет, это лишь временная мера: ведь Салли знал свои слабости и самому себе горестно признавался в них, — он знал, что не сдержит слова. Нужно найти лучшее, более надежное средство, и Салли нашел его. Он истратил драгоценные сбережения, которые копил долго, цент за центом, и... поставил на крыше громоотвод.

Спустя некоторое время Салли снова принялся за старое.

Какие чудеса творит привычка! И как быстро и как легко ее приобрести! Мелкую, незначительную — и такую, которая коренным образом изменяет наш характер. Если случится, что мы две ночи подряд проснемся в два часа, бейте тревогу, ибо, произойди это еще раз — и случайность превратится в привычку. А если целый месяц злоупотреблять спиртным... Впрочем, все это общезвестные истины.

Привычка строить воздушные замки, привычка видеть сны наяву — как она укореняется! Какой становится отрадой! Как мы каждую минуту досуга стремимся отдаться во власть ее чар, как упиваемся ими, предаемся им всей душой, опьяняемся обманчивой фантазией! И как быстро Жизнь Грез переплетается и сливается с реальной Жизнью Будней настолько, что мы уже не можем их различить.

Вскоре Элек выписала чикагскую газету и «Уолл-стрит Пойнтер». Острым глазом финансиста она целую неделю изучала их столбцы столь же прилежно, как библию по воскресеньям. С немым восхищением следил Салли за тем, как быстро и уверенно развиваются ее ум и талант и как зреет ее дар провидения в обращении с ценностями материальными, равно как и с духовными. Гордился он и тем, как дерзко, как отважно она манипулировала мирскими делами, и тем, как осмотрительно она заключала сделки духовного порядка. Он видел, что ни в том, ни в другом случае она никогда не теряет головы. С героической смелостью она часто шла на риск в мирских сделках, но всегда незаметным образом добивалась своего в другом — в делах духовных она действовала осторожно и наверняка. Тактика ее была здравой и простой, и, как она

сама пояснила мужу, заключалась в следующем: земной капитал — для спекуляции, а духовный — это надежный, неприкосновенный вклад. В первом случае она была готова пускаться в рискованную биржевую игру, но что касается второго, то тут «о риске не могло быть и речи». Элек хотела твердой прибыли из расчета сто центов на доллар вклада, и чтобы сальдо было должным образом подведено в ее бухгалтерских книгах.

Всего лишь несколько месяцев потребовалось на то, чтобы развить воображение Элек и Салли. Ежедневные упражнения немало способствовали деятельности обоих механизмов. В результате Элек стала «печь» воображаемые деньги так быстро, как сперва не могла и мечтать, а способность Салли тратить их развивалась пропорционально строгости запрета, который немедленно накладывала супруга.

Поначалу Элек рассчитывала, что операция с углем принесет свои плоды через год, и лишь нехотя признала, что этот срок может сократиться на девять месяцев! Но то были всего лишь первые робкие проявления финансового ума, еще не закаленного школой, опытом, практикой. Все это вскоре пришло, и воображаемые девять месяцев исчезли, а воображаемый вклад в десять тысяч долларов с победой возвратился домой и принес в своем походном ранце триста процентов прибыли.

Это был великий день для супругов Фостер. Они даже онемели от радости. Онемели они еще и по другой причине: внимательно изучив конъюнктуру, Элек со страхом и трепетом отважилась на первую пробу в биржевой игре, рискнув остальными двадцатью тысячами обещанного наследства. Перед ее мысленным взором акции повышались пункт за пунктом, причем ситуация на рынке в любой момент грозила измениться; и вот наконец, не в силах вынести напряжение — ведь Элек была еще новичком в биржевом деле и ей не хватало закалки и выдержки, — она отдала своему воображаемому маклеру воображаемый приказ по воображаемому телеграфу: продавать! Она сказала, что удовлетворится прибылью в сорок тысяч долларов. Продажа акций состоялась в тот же самый день,

когда выгорело дело с угольными шахтами. Как я упомянул выше, супруги онемели от радости. В тот вечер они сидели ошеломленные, блаженно счастливые, пытаясь осознать грандиозное событие, невероятное событие: теперь они стоят сто тысяч долларов звонкой воображаемой монетой! Да, именно так.

С той поры Элек уже не боялась игры на бирже. Во всяком случае, не настолько, чтобы терять сон и румянец, как это случилось при ее дебюте.

То была памятная ночь! Постепенно сознание того, что они богаты, прочно внедрилось в сердца Фостеров, и тогда они принялись находить применение своим деньгам. Если б мы смотрели глазами этих мечтателей, то увидели бы, как их опрятный деревянный домик исчез и на его месте появился двухэтажный кирпичный особняк с чугунной оградой перед фасадом. Мы увидели бы также, что с потолка гостиной свисает люстра с тремя газовыми лампами. Мы увидели бы, что скромный коврик превратился в брюссельский ковер — полтора доллара за ярд; мы увидели бы, что исчез плебейский очаг, и вместо него, повергая в благоговейный трепет все вокруг, появилась огромная импозантная печь со слюдяными окошками. Мы увидели бы и многое другое, а среди прочих вещей коляску, меховую полость, цилиндр и так далее.

С того дня, несмотря на то, что их дочери и соседи по-прежнему видели все тот же деревянный домик, для Элек и Салли он превратился в кирпичный двухэтажный особняк. Не проходило вечера, чтобы Элек не волновалась из-за счетов за газ, но всякий раз вместо утешения слышала беспечный ответ Салли: «Ну что ж, мы можем себе это позволить!»

Прежде чем лечь спать в ту ночь, когда они разбогатели, супруги решили, что событие нужно отметить. Они должны устроить прием. Однако что сказать дочерям и соседям? Объявить, что они разбогатели, нельзя, хотя Салли горел желанием это сделать. Но Элек не поддавалась и не разрешала. Она сказала, что, хотя деньги все равно что у них в кармане, лучше подождать, пока они действительно туда попадут. Она стояла на своем и была непоколебима. «Нужно хра-

нить нашу тайну, — повторяла она, — хранить от дочерей и от всех».

Как же быть? Они должны отпраздновать великое событие, отпраздновать непременно, но раз необходимо хранить тайну, что же тогда праздновать? В ближайшие три месяца не предвидится никаких дней рождения. Что касается Тилбери, то тут и говорить нечего, он, как видно, намерен жить вечно. Так что же в конце концов праздновать? Салли уже терял терпение и негодовал. Но вдруг его осенило — это пришло к нему по наитию, и все тревоги улетучились в мгновение ока. Они отпразднуют... открытие Америки! Блестящая идея!

Элек несказанно гордилась своим мужем. Она утверждала, что ничего подобного никогда бы не пришло ей в голову. Однако Салли, хотя его так и распирало от радости и восторженного удивления самим собой, старался этого не выказывать. Он отвечал, что тут нет ничего особенного и что, право же, любой мог бы такое придумать.

Но Элек горделиво тряхнула головой:

— Как бы не так! Любой! Уж не Осанна ли Дилкинс?! Или Адельберт Пинат? Бог ты мой, как же! Хотела бы я посмотреть, как бы им это удалось. Им дай бог открыть какой-нибудь островок в сорок акров, да и то не хватит пороку. А уж целый континент... Ну нет, Салли Фостер, ты сам великолепно знаешь, что они на это не способны, даже если у них от натуги вылезут глаза на лоб или сами они вылезут из кожи.

Добрая душа, она понимала, что ее супруг талантлив. И даже если любовь побуждала ее слегка переоценивать размеры его таланта, то, право же, это невинный порок, который вполне можно простить, приняв во внимание его побудительное начало.

Глава V

Прием удался. Все друзья были в сборе, и молодые и старые. Среди первых — Флосси и Грейси Пинат вместе со своим братом Адельбертом — молодым, по-

дающим надежды подмастерьем жестянщика; а также Осанна Дилкинс-младший — подмастерье штукатура, только что закончивший ученичество. Уже много месяцев Адельберт и Осанна проявляли интерес к Гвендолен и Клитемнестре Фостер, и родители девушек замечали это не без тайного удовлетворения. Но вдруг они обнаружили, что это чувство исчезло. Они поняли, что перемена в их финансовом положении воздвигла социальный барьер между их дочерьми и какими-то мастеровыми. Теперь их дочери могут и должны сделать партию получше. Да, должны! Им нужны мужья рангом не ниже адвокатов или коммерсантов. Уж папа и мама об этом позаботятся. Никаких мезальянсов!

Но все эти размышления и планы оставались тайными, а потому не омрачили праздника. Зато всем бросились в глаза безмятежное, благородное спокойствие, внушительная осанка, торжественность поведения супругов, восхитившие и даже несколько озадачившие гостей. Все обратили на это внимание, все это обсуждали, но никто не мог понять, в чем тут причина. Это было поразительно, это было таинственно. Трое гостей, не сговариваясь и не подозревая даже, что попали в самую точку, заметили: «У них такой вид, словно они разбогатели».

Именно так оно и было.

Большинство матерей взяли бы за матримониальные дела по старой методе: как можно торжественнее и бестактнее они прочли бы дочерям нотацию, словно специально рассчитанную на то, чтобы, вызвав слезы и дух противоречия, привести к обратным результатам. Упомянутые мамы еще больше бы испортили дело, потребовав, чтобы молодые ремесленники прекратили свои ухаживания. Но мамаша Фостер была не из таких. У нее был сугубо практический склад ума. Она не сказала ни слова ни заинтересованным сторонам, ни друзьям, ни кому-либо другому, кроме Салли. Он выслушал жену и все понял. Понял и оценил!

— Ясно, — сказал он. — Вместо того чтобы браковать предложенные образцы, тем самым нанося обиду

и без нужды портя всю коммерцию, ты просто-напросто предлагаешь за ту же цену товар более высокого качества, а остальное предоставляешь природе. Это мудрость, Элек, твердокаменная, здоровая мудрость. Кто у тебя на примете? Ты уже их выбрала?

Нет, она еще не выбрала. Сперва нужно ознакомиться с положением на рынке. Супруги так и сделали. Прежде всего они обсудили кандидатуры Брейдиша — молодого, подающего надежды адвоката, и Фултона — молодого, подающего надежды дантиста. Элек сказала, чтобы Салли пригласил их на обед. Но не сразу, не к чему спешить, следует держать эту пару под наблюдением и выжидать. Лучше в столь важном деле действовать без спешки.

Это тоже оказалось мудрым решением. Не прошло и трех недель, как Элек путем блестящей биржевой операции сорвала огромный куш и увеличила свои воображаемые сто тысяч долларов до четырехсот тысяч. В тот вечер супруги были на седьмом небе от счастья. Впервые за обедом они позволили себе шампанское. Правда, не настоящее шампанское, но достаточно реальное, если учесть количество фантазии, которое на него было затрачено. Автором идеи был Салли, и Элек в минуту слабости уступила ему. В глубине души они оба были встревожены и смущены: ведь Салли был образцовым трезвенником и во время похоронных процессий носил фартук, при взгляде на который все собаки немедленно приходили в раж. Элек же была членом Женского христианского союза трезвенниц, и следовательно — всем тем, что олицетворяет чугунную добродетель и душераздирающую святость.

Но что поделаешь, гордыня богатства приступила к своей разрушительной работе. Супруги дошли до того, что еще раз доказали печальную истину, которая уже многократно была доказана ранее: если великим и благородным защитником от суетных пороков и недостойного тщеславия является принцип, то бедность — защитник в шесть раз более надежный.

Свыше четырехсот тысяч долларов капитала! Супруги снова занялись матримониальным вопросом.

Адвокат и дантист более не упоминались. Они потеряли все шансы. Их исключили из игры, их дисквалифицировали. Теперь супруги обсуждали кандидатуру сына мясопромышленника и сына местного банкира. Но под конец, так же как и раньше, они решили выждать, все как следует обдумать и действовать осторожно и наверняка.

Вскоре им опять улыбнулось счастье. Элек, бывшая все время начеку, увидела заманчивую, но рискованную возможность и отважно ринулась в бой. Наступили дни страха, сомнений, лихорадочной тревоги, — неудача принесла бы им полное разорение. Но вот результаты сделки стали известны, и Элек, обессиленная от радости, едва владея голосом, промолвила:

— Теперь можно вздохнуть с облегчением! Мы стоим круглый миллион!

Из глаз Салли полились благодарные слезы.

— О Электра! — сказал он. — Брильянт среди женщин, возлюбленная моего сердца! Наконец-то мы свободны, мы купаемся в золоте, и никогда больше нам не нужно будет скупиться. Пришло время для «вдовы Клик»! — И он достал бутылку можжевелевого пива и совершил жертвоприношение со словами: «Плевать, что дорого!», а жена лишь мягко упрекнула его укоризненным, но влажным и счастливым взглядом.

Супруги Фостер сдали в архив сына мясопромышленника и сына банкира и уселись обсуждать кандидатуры сына губернатора и сына конгрессмена.

Глава VI

Было бы крайне утомительно следить за всеми головокружительными скачками, которые проделывали воображаемые капиталы Фостеров с того дня. Это было невероятно, сногшибательно, ослепительно. Все, к чему прикасалась Элек, превращалось в волшебное золото, и сверкающие груды его громоздились все выше и выше, до самого небосвода. Миллионы за миллионами низвергались на них, но грохочущий поток

не иссякал. Пять миллионов... десять миллионов... тридцать... Ужели не будет конца?

Два года прошли в ослепительном безумии. Опьяненные супруги почти не замечали бега времени. Теперь у них было триста миллионов долларов; они входили в состав правления всех крупнейших предприятий и концернов страны; и все еще, по мере того, как шло время, капиталы их возрастали — пять миллионов одним махом, десять миллионов! Фостеры едва успевали вести им счет. Триста миллионов удвоились, затем удвоились снова, и опять, и еще раз...

Два миллиарда четыреста миллионов долларов!

Супруги Фостер даже потеряли контроль над делами. Возникла необходимость произвести переучет ценностей и капитала и разобраться во всем. Фостеры это знали, чувствовали, понимали, как это необходимо. Но они также понимали, что, взявшись за такую работу, смогут выполнить ее успешно и должным образом довести до конца только в том случае, если будут трудиться без перерыва долгое время. Им потребуется не менее десяти часов. Но как же выкроить десять свободных часов кряду? Ведь целый день Салли продавал булавки, сахар или ситец; ведь целый день Электряпала, мыла посуду, подметала полы и стелила постели, — и никто не помогал ей, ибо дочерей оберегали для высшего общества. Супруги знали, что есть способ раздобыть необходимые десять часов, и что это единственный способ, но оба стыдились назвать его. Каждый из них ждал, что это сделает другой. Наконец Салли не выдержал:

— Одному из нас все равно придется уступить, — сказал он. — Пусть это буду я. Считаю, что я назвал этот способ — не обязательно его называть вслух.

Элек покраснела, но исполнилась благодарности. Без дальнейших рассуждений супруги впали во грех — они нарушили заповедь, запрещающую работать в воскресный день. Ибо только в воскресенье они могли выкроить десять свободных часов. Это был еще один шаг по наклонной плоскости, за ним последовали другие. Несметное богатство несет соблазны, неизбежно

и неуклонно подрывающие моральные устои тех, кто не привык обладать им.

Супруги Фостер опустили шторы и нарушили заповедь. Упорно и терпеливо трудились они в поте лица, ревизуя свои вложения, и составили их перечень. И надо сказать, что перед ними возникла внушительная процессия именитых концернов, — начиная от «Рэлуэй Систем», «Стимер Лайнс», «Стандард-Ойл», «Оушэн Кэйблз», «Проволочный телеграф» и проч., и кончая «Клондайком», «Дэ Бирс», «Темными делами Таммани-Холла» и «Отделом сомнительных привилегий в Почтовом ведомстве»...

Два миллиарда четыреста миллионов! И все надежно вложены в доходные предприятия и гарантированные ценные бумаги. Общая прибыль — сто двадцать миллионов в год.

Млея от восторга, Элек промурлыкала:

— Ну как, довольны?

— Да, Элек.

— Что будем делать дальше?

— Поставим точку.

— Прекращаем дела?

— Да.

— Не возражаю. Теперь, после трудов праведных, мы отдохнем и будем жить в свое удовольствие.

— Отлично! Элек!

— Да, мой дорогой?

— Какую часть дохода мы можем истратить?

— Весь целиком.

Супругу показалось, что с рук и ног его свалились пудовые оковы. Он не ответил: от счастья он лишился дара речи.

С тех пор Фостеры регулярнейшим образом нарушали заповедь каждое воскресенье. Труден лишь первый шаг по пути порока. Весь воскресный день, после церкви, они посвящали изысканию способов, как израсходовать деньги. За этим восхитительным занятием они засиживались до поздней ночи. И за каждый такой сеанс Элек расточала миллионы на невиданные благотворительные предприятия и религиозные начинания, а Салли расточал не менее огромную сумму

на вещи, которым он — вначале! — давал определенные наименования. Только вначале. В дальнейшем они утратили ясность очертаний и постепенно слились в категорию «то да се», превратившись, таким образом, в нечто спасительно неопределенное. Ибо Салли погибал... Размещение всех этих миллионов весьма чувствительным образом сказалось на семейных расходах на сальные свечи. Некоторое время Элек тревожилась, но вскоре перестала волноваться, потому что для этого исчез повод. Она страдала, скорбела, сгорала со стыда, но... молчала, а следовательно — стала соучастницей преступления. Дело в том, что Салли таскал свечи: он грабил магазин. Так бывает всегда. Огромное богатство для человека, к нему не привыкшего, — яд, разъедающий его душу. Когда Фостеры пребывали в бедности, им можно было доверить несметное количество свечей. Теперь же... но лучше не будем говорить об этом. От свечей до яблок лишь один шаг. И Салли стал воровать яблоки, потом мыло, потом кленовый сахар, консервы, посуду... О, как легко скатываться все ниже и ниже по наклонной плоскости, если вы уже соскользнули хотя бы на дюйм.

Тем временем блистательное шествие фостеровских миллионов было отмечено и другими событиями. Созданный их воображением кирпичный особняк уступил место грандиозному каменному строению с острой крышей, узор которой напоминал шахматную доску. Со временем и оно исчезло, уступив место еще более великолепному жилищу, а то — другому, и так далее. Один за другим строились воздушные замки, все выше, просторнее, величественнее. Но каждый из них в свою очередь исчезал, пока наконец в эти последние знаменательные дни наши фантазеры не переселились далеко-далеко, в великолепный, возвышавшийся на зеленом холме дворец, из окон которого открывался прекрасный вид на долину, и реку, и уходящую к горизонту гряду гор, окутанных нежной дымкой. И все это — их владения, все это собственность наших мечтателей. Во дворце снуют ливрейные слуги, именитые гости съезжаются туда из всех столиц мира.

Дворец этот находился за дальними далями — там, в стороне восходящего солнца, бесконечно далеко, астрономически далеко: в Ньюпорте, штат Род-Айленд, в Обетованной земле Высшего Общества, в заповедных доменах американской аристократии. Как правило, Фостеры проводили часть воскресенья после церкви в своем великолепном дворце, а остальное время разъезжали по Европе или же плавали на собственной яхте. Шесть жалких будней — на невзрачной окраине Лейксайда; седьмой день — в Сказочной стране, — это уже вошло в привычку, определило их жизненный уклад.

В строго ограниченной Жизни Будней они оставались по-прежнему трудолюбивыми, усердными, осмотрительными, практичными и экономными. Незыблемо держались они возвышенных и суровых догматов пресвитерианской церкви и преданно, по мере умственных и душевных сил, трудились ради ее вящего блага. Но в Жизни Грез они подчинялись капризам фантазии, куда бы те их ни завлекали, какими бы ни были изменчивыми.

Правда, причуды Элек были не слишком замысловаты и не очень многочисленны, зато Салли давал себе волю. Так, в Жизни Грез Элек перешла в лагерь приверженцев епископальной церкви, ибо ее привлекали громкие звания. Затем она примкнула к Высокой Церкви — из-за свечей и пышных обрядов. А далее, вполне естественно, — обратилась к Риму: ведь у католиков имеются кардиналы и еще больше свечей. Но для Салли подобные метаморфозы были сущей безделицей. Его Жизнь Грез являла собой блистательную, непрерывную вереницу волнующих событий, и каждое из них сверкало свежестью и новизной, потому что Салли сменял их так же часто, как религию. А с религией Салли расправлялся круто и менял веру вместе с рубашкой.

Фостеры щедрой рукой тратили деньги на свои причуды еще в самом начале финансового расцвета, а по мере умножения их богатств траты эти все возрастали и со временем составили поистине несметные суммы.

За одно воскресенье Элек воздвигала один, а то и два университета, да одну-две больницы и отель «Раутон», да еще с десяток церквей, а то и кафедральный собор в придачу; так что однажды Салли с весьма неуместной игривостью заметил, что Элек «считает день потерянным, если не пошлет за океан целый корабль миссионеров — убеждать непросвещенных китайцев выменять чистопробное двадцатичетырехкаратовое вероучение Конфуция на фальшивое христианство».

Это бестактное замечание ранило Элек в самое сердце, и она ушла, заливаясь слезами. Зрелище это, в свою очередь, ранило сердце Салли, и он, мучимый болью и стыдом, готов был отдать все на свете ради возможности взять свои слова обратно. И ведь что его доконало: жена не упрекнула его ни единым звуком. Ни единого замечания не услышал он из ее уст, ни одного намека насчет того, что не мешало бы ему на себя посмотреть, — а ведь она могла сказать столько горьких слов! Она отомстила ему своим благородством и выдержкой, заставила его обратить взор на себя. Перед ним промелькнула в ярких видениях жизнь, которую он вел последние годы безграничного процветания, и пока Салли вглядывался в нее, лицо его залила краска, а душу объяло чувство стыда. Жизнь Элек — как она прекрасна, как неуклонно устремляется ввысь; в то время как его жизнь суется, полна низкого тщеславия, себялюбия, пуста и жалка. И куда ведет его жизненный путь? Не вверх — нет! — вниз, все ниже и ниже.

Он сравнивал деяния Элек со своими. Как он посмел упрекнуть ее! Он! А что же ему сказать о себе? Когда она воздвигала свою первую церковь, что делал он? Вовлекал других пресыщенных мультимиллионеров в Покер-клуб, осквернял ими свой дворец, растрачивал сотни тысяч на каждое такое сборище и глупо кичился громкой сомнительной славой, которую этим снискал. Когда она строила свой первый университет, чем занимался он? Тайно предавался разврату в обществе подобных же кутил — мультимиллионеров по деньгам, но нищих духовно. Когда она открыла свой

первый приют для подкидышей, что свершил он? Увы! Когда она проектировала Общество Облагораживания Пола, что делал он? О боже! Когда она с когортой членов Женского христианского союза трезвенниц шла в поход на роковую бутылку, что делал он? Напивался по три раз в день. Когда ее, воздвигнувшую сотню соборов, благосклонно принял и благословил сам папа, наградив Золотой Розой, которую она столь доблестно заслужила, что делал он? Срывал банк в Монте-Карло.

Салли остановился. Он не мог, он был не в силах продолжать перечень своих грехов и, приняв великое решение, поднялся. Его тайная жизнь должна быть разоблачена, он должен признаться во всем. Он пойдет и обо всем ей расскажет.

И он это сделал. Он поведал ей все и рыдал на ее груди, лил слезы, стонал и молил о прощении. Удар был жестоким и едва не сразил Элек, но ведь Салли принадлежит ей, он сокровенная частица ее сердца, свет ее очей. Могла ли она его отвергнуть? Нет, и Элек простила его... Правда, она чувствовала, что он уже никогда не сможет быть для нее тем, чем был прежде. Она знала, что он способен раскаяться, но не исправиться. Однако даже такой морально искалеченный, испорченный человек — даже такой, — разве он не принадлежит ей всецело, разве он не остается ее кумиром, которому она будет вечно поклоняться? И Элек, сказав, что она его раба, его прислужница, распахнула для него свое страждущее сердце.

Глава VII

Спустя некоторое время, как-то воскресным летним днем, супруги Фостер плыли по морю на своей воображаемой яхте, лениво растянувшись под тентом на кормовой палубе и наслаждаясь досугом. Оба хранили молчание, ибо каждый был занят своими мыслями. За последнее время эти периоды молчания наступали все чаще, прежняя близость и сердечность понемногу исчезали. Потрясающее признание Салли сделало свое

дело. Элек силилась отогнать прискорбные воспоминания, но они не покидали ее, горечь и стыд отравляли ее прекрасную Жизнь Грез. Теперь — по воскресеньям — она видела, что ее муж превращается в какое-то отвратительное пустое существо. Она не могла закрыть на это глаза и в такие дни старалась как можно меньше смотреть на него.

Ну, а она? Неужели она столь безгрешна? Увы, Элек знала, что это не так. Ведь и она хранила от мужа тайну, и она поступала по отношению к нему нечестно, и ее часто мучила совесть. *Элек нарушила соглашение и скрывала это от Салли.* Поддавшись непреодолимому соблазну, она снова пустилась в спекуляцию. Она рискнула их состоянием, скупив «на разницу» железные дороги, угольные и стальные компании всей страны, и теперь каждый час по воскресеньям трепетала от страха, как бы не выдать себя каким-нибудь случайным словом. Пристыженная, удрученная своим предательством, она не могла удержаться, чтобы не обратить с состраданием свое сердце к мужу. Ей было мучительно стыдно видеть, как он, пьяный, блаженно возлежит под навесом и ни о чем не подозревает. Ни тени подозрения — наоборот, он полон безоговорочной трогательной веры в нее, в то время как по ее воле над его головой висит на тонкой нити грозящее бедой, сокрушительное...

— Послушай, Элек!

Элек очнулась. Она была благодарна мужу за то, что он оторвал ее от горьких мыслей, и ответила с былой нежностью в голосе.

— Да, мой дорогой?

— Знаешь, Элек, по-моему, мы совершаем ошибку, — вернее, ты. Я имею в виду дела с замужеством.

Салли приподнялся — тучный, одутловатый, благодушный, словно бронзовый Будда, — и заговорил очень серьезно:

— Подумай сама. Прошло уже более пяти лет. И ты с самого начала ведешь все ту же политику. С каждым нашим успехом ты требуешь повышения еще на пять пунктов. Всякий раз, когда я надеюсь, что вот-вот наконец будет свадьба, перед тобой воз-

никает что-нибудь более заманчивое, и я опять терплю разочарование. На тебя не угодишь. Так мы останемся ни с чем. Сперва мы дали отставку дантисту и адвокату. И это было правильно, вполне разумно. Потом мы дали отставку сыну банкира и наследнику мясника. И тоже правильно, тоже разумно. Потом забраковали сына конгрессмена и сына губернатора, — признаю, и это было вполне разумно. За ними пошли в отставку сын сенатора и сын вице-президента Соединенных Штатов — тоже абсолютно правильно: не очень-то надежное дело все эти важные посты. Тогда ты перекинулась на аристократию, и я было решил, что мы наконец нашли то, что надо. Я надеялся, что мы закинем сеть в самую глубь Четырехсот Семейств и выудим какую-нибудь родословную — почтенную, осиянную святостью, наполненную древностью стопятидесятилетнего настоя, прошедшую вековую дезинфекцию и выветрившую запах соленой трески и звериных шкурок и за все это время не запятнавшую себя ни единым днем работы, а потом... О, потом, конечно, справим свадьбы. Но тут из Европы приезжает пара аристократов чистых кровей, и ты мигом кидаешь за борт полукровок. Это подействовало на меня крайне удручающе. А с тех пор — какая чехарда! Ты отставила двух баронетов ради баронов. Ты отставила баронов ради виконтов. Виконтов ради графов. Графов ради маркизов. Маркизов ради выводка герцогов. Знаешь, Элек, закрывай счет, — ты перешла все границы. Ведь ты можешь закупить с торгов добрую четверку герцогов! Четырех национальностей! И все отменных статей и родословной, все банкроты и по уши в долгах. И хоть они обойдутся недешево, но мы можем себе это позволить. Довольно, Элек, не тяни больше, прекрати эту нервотрепку. Покажи весь комплект девочкам, и пусть они выбирают!..

Во время обличения ее матримониальной политики Элек улыбалась с видом рассеянным и довольным. Глаза ее излучали мягкий свет, надо думать — торжества, и порою даже искрились, словно она тайла сюрприз. Наконец она произнесла как можно спокойнее:

— Салли, а что, если речь идет об особах королевской крови?

Феноменально! Бедняга был так ошарашен, что даже споткнулся и упал, оцарапав ногу о крамбол. На миг у него закружилась голова, но все же он кое-как поднялся, сел рядом с женой, и из его мутных глаз полился поток бывшего восхищения и любви.

— Клянусь богом! — пылко воскликнул Салли. — Элек, ты великая женщина! Ты величайшая женщина на свете! Я никогда не сумею охватить твои масштабы. Никогда не сумею изведать твои бездонные глубины. И я еще осмелился критиковать твою стратегию! Я! Ведь если бы я дал себе труд поразмыслить, то понял бы, что у тебя припрятан особый козырь. Но, душа моя, я сгораю от нетерпения. Расскажи мне скорее обо всем.

Супруга, польщенная и счастливая, приблизила губы к его уху и шепотом назвала имя коронованной особы. У Салли захватило дух, лицо его озарилось.

— Вот это да! — сказал он. — Вот это улов! У него и рулетка, и кладбище, и епископ, и собор. И все это — действительно его собственность. И все — высший сорт. Одно из самых богатых княжеств в Европе. А кладбище! Изысканнейшее в мире! Только для самоубийц. Вот оно как. Для всех прочих приема нет — не хватает места. Земли там немного, но все же достаточно: восемьсот акров под кладбищем и еще сорок два за его пределами. Но главное — суверенитет! Земля — пустое! Земли на свете сколько хочешь. Вон в Сахаре ее хоть отбавляй.

Элек сияла. Она была счастлива.

— Подумай, Салли, — сказала она. — Эта династия роднилась только с королевскими и императорскими фамилиями Европы. Наши внуки будут сидеть на тронах!

— Это уж как пить дать! И к тому же будут держать скипетры и орудовать ими так же естественно и свободно, как я своим ярдом. Это поистине грандиозный улов, Элек. А что, он уже на крючке, не сорвется? Нет ли тут риска?

— Нет, можешь на меня положиться. Он — статья прихода, а не расхода; так же как и второй.

— Кто же второй?

— Его королевское высочество Сигизмунд-Зигффрид-Лауэнфельд-Динкельшпиль-Шварценберг-Блутвурст, наследный великий герцог Катценъяммерский!

— Да не может быть! Неужели правда?

— Такая же правда, как то, что я здесь сижу. Честное слово.

Сердце Салли переполнилось до краев, и он в экстазе прижал Элек к груди.

— Как это все замечательно! Ведь это древнейшее и благороднейшее из трехсот шестидесяти четырех старинных германских княжеств, и одно из немногих, которому разрешили сохранить свой статус в пору, когда Бисмарк стал их стричь. Между прочим, эту ферму я знаю. Я в том краю бывал. Там есть канатная дорога, свечная фабрика и армия. Регулярное войско — пехота и кавалерия. Три солдата и лошадь. Да, Элек! Ожидание было долгим, полным душевной муки и обманутых надежд, но, видит бог, теперь я счастлив. Счастлив и благодарен тебе, моя дорогая, тебе, которая всего этого добилась. Когда же свадьба?

— В будущее воскресенье.

— Отлично. И мы устроим свадебную церемонию с самой что ни на есть королевской пышностью, как того заслуживает королевский сан женихов. Да, насколько мне известно, для лиц королевской крови узаконен только один вид брака, а именно — морганатический брак.

— Почему его так называют, Салли?

— Понятия не имею, но мне досконально известно, что именно в такой брак вступают особы коронованные, и только коронованные.

— Стало быть и мы будем настаивать на таком браке. Более того, я их к этому вынужу. Морганатический брак — или никакого!

— И кончай игру! — заключил Салли, в восторге потирая руки. — Ведь это будет первый такой брак в Америке! Элек, Ньюпорт сойдет с ума от зависти!

Затем супруги умолкли и на крыльях фантазии полетели в дальние страны, чтобы пригласить на свадебное пиршество всех существующих на свете монархов и членов их семейств и обеспечить им бесплатный проезд.

Глава VIII

Три дня супруги Фостер парили в облаках. Они лишь смутно сознавали то, что происходило вокруг. Все виделось им неясно, словно в тумане. Они погрузились в мечты и часто даже не слышали, что им говорят, а если и слышали, то не понимали смысла и отвечали сбивчиво или невпопад. Салли отпускал ситец на фунты, сахар на ярды, и когда спрашивали свечи, подавал мыло; Элек же кидала в лохань кошку и поила молоком грязное белье. Все вокруг поражались, дивились, недоумевали: «Что такое стряслось с этими Фостерами?»

Прошло три дня, а затем развернулись события! Дела приняли удачный оборот, и в течение сорока восьми часов воображаемые биржевые операции Элек приобрели головокружительный размах. Акции стремительно повышались в цене. Вверх, вверх, неуклонно вверх! Уже превысили номинал! Выше, выше, еще выше! Пять пунктов выше номинала, десять, пятнадцать, двадцать! Двадцать пунктов чистой прибыли в спекуляции огромного масштаба, и вот воображаемые маклеры по воображаемому междугороднему телефону отчаянно завопили: «Продавайте, продавайте! Ради всех святых, продавайте!»

Элек сообщила Салли эту потрясающую новость, и он стал вторить:

— Продавай! Продавай! Смотри, не просчитайся. Теперь, когда в твоих руках все, — продавай!

Но Элек напрягла свою железную волю, поставила ее на якорь и заявила, что даже под угрозой смерти будет ждать, чтобы акции повысились еще на пять пунктов.

Это было роковое решение. Уже следующий день ознаменовался историческим крахом, небывалым кра-

хом, умопомрачительным крахом; под Уолл-стрит провалилось дно, вся масса самых надежных ценных бумаг за пять часов упала на девяносто пять пунктов, и можно было видеть, как мультимиллионер просит милостыню на Бауэри.

Элек не ослабляла мертвой хватки и держалась до последнего, но вот наступил конец. Воображаемые маклеры спустили все ее акции. И только тогда, только после этого мужское начало в ее натуре было побеждено, а женское снова взяло верх. Заливаясь слезами, она обвила руками шею мужа.

— Я одна виновата во всем, — говорила она. — Не прощай меня, я этого не перенесу. Мы нищие! Нищие! И я так несчастна. Свадьбы не состоятся, все это в прошлом. Теперь нам не на что купить даже дантиста.

Горький упрек чуть было не сорвался с языка Салли: «Я же умолял тебя продавать, а ты...» Однако он его не высказал. У него не хватало духу усугублять страдания этого сломленного, кающегося существа. Более благородная мысль пришла ему в голову.

— Крепись, моя Элек, — сказал он. — Еще не все потеряно! Подумай! Ты же в действительности не пускала в оборот ни единого цента из наследства дядюшки Тилбери, а лишь его неосуществившиеся возможности. Ведь то, что мы утратили, было всего лишь доходом, который сулило нам будущее благодаря твоему несравненному финансовому гению. Не падай духом. Забудь все невзгоды — у нас еще есть нетронутые тридцать тысяч долларов! И представь себе, сколько ты после такой школы сумеешь из них выжать через год-другой. Свадьбы не отменяются, они просто откладываются.

Это были благословенные слова. Элек понимала, насколько они справедливы, и воздействие их было поистине гальваническим. Слезы высохли, могучий дух Элек снова воспрянул во всем своем величии. Со сверкающими глазами и исполненным благодарности сердцем она подняла руку, словно принося клятву и прорицая будущее.

— Отныне я провозглашаю...

Но тут ее прервал посетитель. Это был редактор и владелец газеты «Сэгамор». Он приехал в Лейксайд из чувства долга: проведать всеми забытую одинокую бабушку, которая приближалась к концу своего пути, и кстати, объединив скорбь с бизнесом, заглянуть к Фостерам, которые последние четыре года были так поглощены своими делами, что забыли оплатить подписку на газету. Шесть долларов долга!

Ни один гость не мог быть более желанным. Ведь редактор все знает про дядюшку Тилбери и осведомлен насчет его продвижения в сторону кладбища. Разумеется, они не смели задавать прямых вопросов, чтобы не потерять право на наследство, но ничто не мешало им выспрашивать, балансируя на грани интересующей их темы, и надеяться, что им повезет. Однако их план потерпел неудачу. Тупица редактор не догадывался, что его выспрашивают. Наконец чистая случайность помогла там, где потерпела фиаско хитрость. По ходу разговора редактору понадобилась метафора, и он сказал:

— Ну и ну! Как говорят в наших краях — это крепкий орешек, вроде Тилбери Фостера!

Фостеры даже подскочили от неожиданности. Редактор это заметил и тут же поспешил добавить:

— Тут нет ничего дурного. Всего лишь поговорка, шутка... ровным счетом ничего дурного. А что, он ваш родственник?

подавив жгучее любопытство, Салли ответил с самым равнодушным видом, на какой только был способен:

— Э... да... право, я даже не знаю точно. Но слышать мы о нем слыхали.

Редактор почувствовал облегчение и успокоился. Тогда Салли спросил:

— А он... он здоров?

— Здоров? Помилуй бог! Он уже пять лет на том свете.

Фостеры затрепетали от скорби, которая больше походила на радость.

— Что ж, такова жизнь, — заметил Салли как бы между прочим. — И никого не минует сия чаша, даже богачей.

Редактор рассмеялся:

— Если к таковым вы причисляете Тилбери Фостера, то глубоко ошибаетесь. У старика не было ни цента. Хоронить его пришлось за счет города.

Минуты на две Фостеры окаменели. Окаменели и похолодели. Затем Салли, бледный, утратив голос, еле слышно спросил:

— Это правда? Вы точно знаете, что это правда?

— Еще бы! Я же его душеприказчик. Ему нечего было завещать, кроме тачки, вот он и завещал ее мне. Тачка без колеса и никуда не годится, но все же это хоть какое-то наследство; и в знак благодарности я набросал нечто вроде некролога, только для него не хватило места.

Супруги Фостер не слушали его, чаша переполнилась. Они сидели опустив голову, бесчувственные ко всему, кроме боли, раздирающей сердце.

Прошел час. Фостеры все еще сидели на своих местах, поникшие, недвижные, безмолвные. Гость уже давно ушел, но они этого даже не заметили.

Вскоре они очнулись, устало подняли головы и посмотрели друг на друга грустно, задумчиво, изумленно. Они принимались что-то лепетать, без связи и смысла, потом опять погружались в молчание, оборвав фразу на полуслове, должно быть даже не сознавая этого или потеряв нить. Порою, когда они пробуждались от забытья, у них появлялось смутное, мимолетное ощущение, будто что-то случилось с их рассудком, и тогда с безмолвной и настойчивой заботой они тихонько гладили друг другу руки, выражая этим сочувствие и ободрение и словно бы говоря: «Я с тобой, я тебя не покину, мы будем переносить это вместе. Ведь где-то есть избавление и забвение, где-то есть могила и покой. Будем же терпеливы, ждать осталось недолго».

Еще два года прожили они во мраке, не произнося ни слова, непрестанно о чем-то думая, охваченные смутными сожалениями и печальными грезами. Избавление пришло к обоим в один и тот же день. Неза-

долго перед концом с померкшего разума Салли на миг спала пелена, и он сказал:

— Огромное богатство, добытое внезапно и неправедным путем, — это западня. Оно не пошло нам на пользу, и мимолетны были дарованные им горячечные радости. А между тем ради богатства мы отказались от милой нам, простой, счастливой жизни, — да послужит пример наш предостережением для других.

Некоторое время Салли лежал молча, закрыв глаза. Но когда холод смерти подкрался к его сердцу и разум стал угасать, он зашептал:

— Деньги принесли ему несчастье, и за это он отомстил нам, не причинившим ему никакого зла. И он добился своего: с низким, коварным расчетом он оставил нам всего лишь тридцать тысяч долларов, зная, что мы постараемся увеличить капитал и что это нас погубит. Ему ничего не стоило завещать нам столько, что мы бы не захотели умножать наше богатство, не подумали бы о спекуляции. Человек с доброй душой так бы и сделал. Но в нем не было ни благородства духа, ни милосердия, ни...

Суббота. — Мне уже почти исполнился день. Я появилась вчера. Так, во всяком случае, мне кажется. И, вероятно, это именно так, потому что, если и было позавчера, меня тогда еще не существовало, иначе я бы это помнила. Возможно, впрочем, что я просто не заметила, когда было позавчера, хотя оно и было. Ну что ж. Теперь я буду наблюдательней, и если еще раз повторится позавчера, я непременно это запишу. Пожалуй, лучше начать сразу же, чтобы потом не напутать чего-нибудь в хронологии; какой-то внутренний голос подсказывает мне, что все эти подробности могут впоследствии оказаться очень важными для историков. Дело в том, что, по-моему, я — эксперимент; да, я положительно ощущаю себя экспериментом, просто невозможно сильнее ощущать себя экспериментом, чем это делаю я, и поэтому я все больше и больше убеждаюсь в том, что это именно так: я — эксперимент, просто эксперимент, и ничего больше.

Ну, а если я эксперимент, значит эксперимент — это я? Нет, по-моему, нет. Мне кажется, все остальное — тоже часть этого эксперимента. Я — главная его часть, но и все остальное, по-моему, участвует в эксперименте тоже. Можно ли считать, что мое положение окончательно определилось, или я еще должна опасаться за себя и посмотреть в оба? Вероятно, скорее

последнее. Внутренний голос говорит мне, что превосходство покупается ценой неусыпной бдительности. (Мне кажется, это очень удачное изречение для такого юного существа, как я.)

Сегодня все выглядит значительно лучше, чем вчера. Вчера под конец пошла такая горячка, что горы были нагромождены как попало, а равнины так завалены всякими осколками и разным хламом, что это производило чрезвычайно удручающее впечатление. Прекрасные и благородные произведения искусства не должны создаваться в спешке, а этот величественный новый мир — воистину прекрасное и благородное творение и стоит на грани совершенства, хотя и создавался в столь краткий срок. Звезд кое-где, пожалуй, многовато, а в других местах не хватает, но это, без сомнения, нетрудно исправить. Луна прошлой ночью оборвалась, покатилась вниз и выпала из мироздания. Это очень большая потеря, и у меня сердце разрывается, когда я об этом думаю. Среди всех орнаментов и украшений нет ничего, что могло бы сравниться с ней по красоте и законченности. Ее следовало прикрепить получше. Если б только можно было вернуть ее обратно...

Но никому, разумеется, неизвестно, куда она могла упасть. И уж конечно, тот, кто ее найдет, постарается спрятать ее подальше, — я знаю это, потому что и сама бы так поступила. Мне кажется, во всех других отношениях я могу быть честной, но уже сейчас я начинаю понимать, что основа основ моей натуры — это любовь к прекрасному, страстная тяга к прекрасному, и поэтому доверить мне чужую луну не безопасно, особенно если лицо, которому луна принадлежит, не знает о том, что она у меня. Я бы еще, пожалуй, вернула луну, если бы нашла ее среди бела дня, — побоялась бы, что кто-нибудь видел, как я ее взяла. Но найди я ее в темноте, тут уж, мне думается, я сумела бы под каким-нибудь предлогом утаить свою находку. Потому что я без ума от лун — они такие красивые и такие романтичные. Мне бы хотелось, чтобы у нас их было штук пять или шесть. Я бы тогда совсем не

стала спать, мне никогда не наскучило бы лежать на мягком мху, глядеть ввысь и любоваться ими.

Звезды мне тоже нравятся. Мне бы хотелось достать две-три и заткнуть себе в волосы. Но боюсь, что это невозможно. Просто трудно поверить, до чего они от нас далеко, потому что ведь с виду этого не скажешь. Когда они впервые появились — прошлой ночью, — я пробовала сбить несколько штук палкой, но не могла дотянуться ни до одной, и это меня очень удивило. Тогда я стала швырять в них комьями глины и швыряла до тех пор, пока совсем не обессилела, но так ничего и не сбila. Это потому, что я левша и у меня нет меткости. Даже когда я нарочно бросала не в ту звезду, в которую целилась, мне не удавалось сбить ни той, ни другой, хотя я и попадала довольно точно и видала, как черный комок глины раз сорок, а то и пятьдесят летел прямо в золотую гроздь и только каким-то чудом ничего не сбил. Верно, если бы у меня хватило сил продержаться еще немного, я непременно сбila бы хотя бы одну звезду.

Признаться, я немножко всплакнула, что, мне кажется, вполне естественно в моем возрасте, а потом, отдохнув, взяла корзинку и направилась к краю нашей круглой площадки, где звезды висят совсем невысоко от земли и их можно просто сорвать рукой, — что, кстати сказать, гораздо лучше, потому что это можно сделать осторожно, так чтобы их не поломать. Но идти пришлось дальше, чем я думала, и в конце концов я была вынуждена отказаться от своего намерения: я так устала, что не могла сделать больше ни шагу, и к тому же натерла себе ноги, и они ужасно разболелись.

Я не могла вернуться домой, потому что зашла слишком далеко и стало очень холодно, но мне повстречалось несколько тигров, и я устроилась между ними так уютно, что почувствовала себя на вершине блаженства: у тигров удивительно приятное, ароматное дыхание — это потому, что они питаются земляникой. Я еще никогда до той минуты не видала тигров, но тут сразу их узнала, потому что они полосатые. Если бы я могла раздобыть себе где-нибудь такую шкурку, из нее вышло бы прелестное платье.

Сегодня я начинаю уже лучше разбираться в расстояниях. Мне так хотелось завладеть всеми красивыми вещами, что я очертя голову пыталась их схватить, и оказывалось, что одна гораздо дальше от меня, чем я думала, а другая — наоборот: я думала, что до нее целый фут, а на самом деле было всего каких-нибудь шесть дюймов, — но зато, увы, сколько шипов в каждом дюйме! Это послужило мне уроком. Кроме того, я открыла одну аксиому — дошла до нее своим умом, — и это была моя первая аксиома: *оцарапавшийся эксперимент шипа боится*. Мне кажется, для такого юного создания, как я, это совсем неплохо сказано.

Вчера после полудня я долго следовала за другим экспериментом, на некотором расстоянии от него, чтобы выяснить, если удастся, для чего он, но мне это не удалось. Думаю, что это мужчина. Я никогда еще не видела мужчины, но этот выглядит как мужчина, и я чувствую, что так оно и есть. Я сделала открытие, что это существо возбуждает мое любопытство сильнее, чем любое другое пресмыкающееся. Если, конечно, оно — пресмыкающееся, а мне думается, что это так, потому что у него кудлатые волосы, голубые глаза и вообще оно похоже на пресмыкающееся. У него нет бедер, оно суживается книзу, как морковка, а когда стоит — раздваивается, как рогатка. Словом, я думаю, что это пресмыкающееся, хотя, может быть, это и конструкция.

Сначала я боялась его и обращалась в бегство всякий раз, как оно оборачивалось ко мне, — думала, что оно хочет меня поймать; но мало-помалу я поняла, что оно, наоборот, старается ускользнуть от меня, — и тогда я перестала быть такой застенчивой и несколько часов подряд гналась за ним ярдах в двадцати от него, в результате чего оно стало очень пугливо, и вид у него сделался совсем несчастный. В конце концов оно настолько встревожилось, что залезло на дерево. Я довольно долго сторожила его, но потом мне это надоело, и я вернулась домой.

Сегодня все повторилось сначала. Я снова загнала его на дерево.

Воскресенье. — Оно все еще сидит на дереве. Отдыхает, должно быть. Но это просто уловка: воскресенье — не день отдыха, для этого предназначена суббота. Мне кажется, это существо больше всего на свете любит отдыхать. А по-моему, это невероятно утомительно — отдыхать так много. Даже просто сидеть под деревом и сторожить его утомляет меня. Мне очень хочется узнать — для чего оно: я еще ни разу не видела, чтобы оно что-нибудь делало. Вчера вечером они вернули луну на место, и я была так рада! Я считаю, что это очень порядочно с их стороны. Луна опять покатила вниз и упала, но это не огорчило меня: когда имеешь таких соседей, беспокоиться не о чем — они повесят луну обратно. Мне бы хотелось как-то выразить им свою признательность. Хорошо бы, например, послать им немножко звезд, потому что нам их и так девать некуда. Вернее, не нам, а мне, так как пресмыкающееся, по моим наблюдениям, абсолютно не интересуется такими вещами.

У него низменные вкусы и нет доброты. Вчера я отправилась к нему в сумерках и увидела, что оно слезло с дерева и старается поймать маленьких пятнистых рыбок, которые плавают в озере, и мне пришлось пустить в ход комья земли, чтобы оно оставило рыбок в покое и залезло обратно на дерево. Неужели для этого оно и существует? Неужели у него нет сердца? Неужели у него нет сострадания к этим крошечным тварям? Неужели оно было задумано и сотворено для такого неблагородного занятия? Похоже на то. Швыряя в него землей, я попала ему один раз в голову, и оказалось, что оно умеет говорить. Это приятно взволновало меня, так как я впервые услышала чью-то речь, помимо своей собственной. Слов я не поняла, но прозвучали они весьма выразительно.

Когда я открыла, что оно обладает даром речи, мой интерес к нему повысился, так как я очень люблю болтать. Я болтаю весь день и даже во сне, и меня очень интересно слушать; но если бы мне было с кем болтать, то получалось бы вдвое интереснее, и я могла бы болтать, никогда не умолкая, стоило бы меня об этом попросить.

Если пресмыкающееся — мужчина, тогда ведь это не *оно*, — не так ли? Это было бы грамматической ошибкой, правда? Мне кажется, в этом случае полагается говорить *он*; думаю, что так. Тогда склонение будет выглядеть следующим образом: именительный — *он*; дательный — *ему*; предложный — *о ём*. Словом, я буду считать его мужчиной и называть *он* до тех пор, пока не выяснится, что это нечто другое. Так будет удобнее, иначе слишком много неопределенностей.

Следующая неделя. Воскресенье. — Целую неделю я неотступно следовала за ним и старалась познакомиться. Всю беседу мне приходилось брать на себя, потому что он очень застенчив; впрочем, мне это ничего не стоило. Ему, по-видимому, приятно, что я все время возле него, а я из учтивости стараюсь как можно чаще говорить «мы», — ему, мне кажется, льстит, что он этим как бы приобщается ко мне.

Среда. — Мы теперь совсем неплохо ладим друг с другом и знакомимся все ближе и ближе. Он уже не пытается больше ускользнуть от меня; и это добрый знак, — видимо, ему нравится мое общество. Это мне приятно, и я учусь быть ему полезной, чем только могу, чтобы еще больше расположить его к себе. В последние дни я освободила его от необходимости подыскивать названия для различных предметов, что было для него большим облегчением. У него нет никаких к этому способностей, и он явно очень мне благодарен. Он, хоть ты его режь, не может придумать ни одного сколько-нибудь толкового названия, но я делаю вид, что не замечаю этого его недостатка. Как только появляется какая-нибудь новая тварь, я сейчас же даю ей имя, пока он не успел обнаружить свое невежество неловким молчанием. Я не раз таким способом выводила его из затруднительного положения. Я-то совершенно не страдаю таким недостатком, как он. Стоит мне только взглянуть на какое-нибудь животное, и я уже знаю, что это такое. Я даже не даю себе труда задуматься хоть на мгновение: правильное наименование рождается у меня молниеносно, как по наитию свыше, — да так, без сомнения, оно и есть, ибо я совершенно твердо знаю, что еще секунду назад не имела

ни малейшего представления об этом слове. Должно быть, просто по внешнему виду каждой твари и по ее повадкам я сразу угадываю, что это за зверь.

Когда, например, появился додо, он принял его за дикую кошку, — я поняла это по его глазам. Но я спасла его. И я постаралась сделать это так, чтобы его гордость не пострадала. Я просто сказала самым естественным тоном, словно была приятно удивлена: «Поглядите, да ведь это додо! Ну конечно же это додо!» Да, я сказала это так, будто мне и в голову не могло прийти, что он нуждается в моей информации. И я объяснила, как бы ничего не объясняя, откуда я знаю, что это — додо; и если его и задело слегка, что я узнала эту птицу, а он — нет, тем не менее было совершенно очевидно, что он мною восхищен. Мне это было чрезвычайно приятно, и я снова и снова с огромным удовлетворением вспоминала об этом, прежде чем уснуть. Какая малость может сделать нас счастливыми, когда мы чувствуем, что она вполне заслужена нами!

Четверг. — Мое первое горе. Вчера он избегал меня и, по-видимому, не хотел, чтобы я с ним разговаривала. Я не могла этому поверить, думала, что это какое-то недоразумение, — ведь я так люблю быть возле него и слушать, что он говорит, — как же это может быть, чтобы он стал дурно относиться ко мне, если я не сделала ничего плохого? Но в конце концов я увидела, что, должно быть, это все же так, и тогда я ушла и долго сидела совсем одна там, где впервые увидела его в то утро, когда мы были созданы и я еще не знала, что он такое, и была совершенно безразлична к нему. Но теперь это место было овеяно для меня печалью, каждый пустяк напоминал мне здесь о нем, и сердце ныло. Это чувство было для меня ново, и я сама не понимала, почему грущу. Я никогда еще не испытывала ничего подобного; во всем этом было что-то таинственное, и я не могла понять, что со мной.

Но когда настала ночь, я почувствовала, что не в силах больше выносить одиночества, и направилась к новому шалашу, который он для себя построил: я хотела спросить его, что я такое сделала и как мне

вернуть себе его расположение. Но он выгнал меня под дождь, и это было мое первое горе.

Воскресенье. — Теперь опять все хорошо, и я счастлива. Но то были очень тяжелые для меня дни, и я стараюсь не вспоминать о них.

Я хотела достать для него несколько плодов с той самой яблони, но никак не могу научиться бросать метко. Из моей затеи ничего не вышло, однако мне кажется, что мое доброе намерение было ему приятно. Трогать эти яблоки запрещено, и он сказал, что я наживу себе беду. Но если я наживу себе беду, доставляя ему удовольствие, так не все ли мне равно?

Понедельник. — Сегодня утром я сообщила ему мое имя, думая, что ему будет интересно. Но он даже не обратил на это внимания. Как странно. Если бы он сообщил мне свое имя, мне бы это не было безразлично. Мне кажется, звук его имени был бы самым сладостным для моих ушей.

Он очень мало говорит. Быть может, потому, что он не слишком сообразителен и сам страдает от этого и старается это скрыть? Если это действительно его мучает, мне очень его жаль, потому что ум — ничто, сердце — вот что в нас ценно. Мне бы хотелось заставить его понять, что сердце, способное любить, — это богатство, подлинное богатство; рассудок же без сердца — нищ.

Несмотря на то, что он так мало говорит, лексика его довольно богата. Сегодня утром он употребил одно поразительно хорошее слово. Должно быть, он и сам это понял, потому что повторил его потом еще раза два, как бы невзначай. Нельзя сказать, чтобы это получилось у него очень ловко, но тем не менее ясно, что он не лишен известного чутья. Не может быть сомнения в том, что эти семена, если за ними ухаживать, могут дать отличные всходы.

Откуда он взял это слово? Не помню, чтобы я когда-нибудь его употребляла.

Нет, мое имя не интересует его совершенно. Я старалась скрыть свое разочарование, но боюсь, что мне это не удалось. Тогда я ушла и долго сидела на поросшем мхом берегу, спустив ноги в воду. Я всегда так

делаю, когда мне не хватает общества и тянет поглядеть на кого-нибудь, с кем-нибудь поговорить. Конечно, мне и этого недостаточно — недостаточно этой прелестной белой фигурки, которая виднеется там, в озере, — но все же это хоть что-нибудь, а что-нибудь лучше, чем полное одиночество. Она говорит, когда я говорю; когда я печальна — и она печальна; она сочувствует мне и утешает меня; она говорит: «Не падай духом, бедная одинокая девочка, я буду тебе другом». И правда — это мой верный друг, и притом единственный. Это моя сестра.

О, этот час, когда она впервые покинула меня! Я никогда не забуду этого — никогда, никогда. Как тяжело стало у меня на сердце! Я сказала: «Кроме нее, у меня не было ничего, и вот ее не стало!» Я сказала в отчаянии: «Сердце, разбейся! У меня нет сил больше жить!» И я закрыла лицо руками и зарыдала безутешно. А когда через несколько минут я подняла голову, она снова была там — белая, сверкающая и прекрасная, и я кинулась в ее объятия! Это было настоящее блаженство. Я знала счастье и прежде, но это было совсем другое, это было упоительно. С тех пор я никогда больше не сомневалась в ней. Порой она пропадала где-то — иногда час, иногда почти весь день, но я ждала и верила ей. Я говорила: «У нее дела или она отправилась путешествовать. Но она вернется». И правда, она всегда возвращается. Она робкое, пугливое создание и потому никогда не показывается в темные ночи, но как только всходит луна, она тут же появляется. Сама я не боюсь темноты, но ведь она моложе меня: сначала родилась я, а она — потом. Много, много раз я приходила к ней, — она мое утешение и опора в трудные минуты жизни, а этих минут так много.

Вторник. — Все утро я работала — приводила в порядок наши владения — и нарочно старалась не попадаться ему на глаза, в надежде, что он соскучится и придет. Но он не пришел.

В полдень, покончив с дневными трудами, я отдыхала: играла с бабочками и пчелами и нежилась среди цветов — этих прекраснейших созданий божьих, которые

ловят в небе улыбку Творца и хранят ее в своих чашечках. Я нарвала цветов, сплела из них венки и гирлянды, украсилась ими и позавтракала второй раз — как всегда, яблоками. Потом сидела в тени, томилась и ждала. Но он не пришел.

Но все равно. Ничего хорошего из этого бы не вышло, потому что он не любит цветов. Он говорит, что это мусор, не умеет отличить один цветок от другого и думает, что это значит быть выше мелочей. Он не любит меня, он не любит цветов, он не любит красок вечеряющего неба, — интересно, любит ли он что-нибудь, кроме как похлопывать ладонью дыни, щупать груши на деревьях и пробовать виноград с лозы, проверяя, хорошо ли все это зреет, да еще строить шалаши, чтобы прятаться туда от славного освежающего дождика.

Я положила на землю сухую палку и старалась другой палкой просверлить в ней дырку. Мне это было нужно для одного опыта, который я задумала, но тут мне пришлось пережить ужасный испуг. Над дырой взвилось что-то легкое, прозрачное, голубоватое, и я бросила палку и кинулась бежать! Я думала, что это дух, и страшно испугалась! Но потом, оглянувшись, я увидела, что он не гонится за мной, и тогда я прислонилась к скале, чтобы немного отдышаться и прийти в себя, и подождала, пока руки и ноги у меня не перестанут дрожать и не начнут снова вести себя как надо. После этого я осторожно прокралась обратно; каждую минуту я готова была пуститься наутек. Подойдя поближе, я раздвинула ветви розового куста и посмотрела на палку (как жаль, что мужчины не было поблизости, — я выглядела так очаровательно в эту минуту!), но дух исчез. Я подошла еще ближе и увидела в высверленной дырке горстку алой пыли. Я сунула туда палец — хотела пощупать, но тут же закричала и отдернула руку. Я почувствовала жгучую боль. Тогда я сунула палец в рот, попрыгала сначала на одной ноге, потом на другой, постонала немножко, и это принесло мне некоторое облегчение. Но острый интерес уже пробудился во мне, и я принялась исследовать.

Мне очень хотелось понять, что такое эта алая пыль. И неожиданно меня осенило, хотя я никогда не слышала об этом прежде: это *огонь*! Если можно вообще быть в чем-нибудь уверенной, то я была абсолютно уверена в том, что это огонь, и потому без малейшего колебания так его и назвала.

Я создала нечто такое, чего не существовало прежде; к неисчислимому миру вещей я добавила еще одну вещь. Я поняла это и была горда, — и уже хотела побежать, найти мужчину и рассказать ему о своем достижении, чтобы поднять себя этим в его глазах, но, подумав немного, решила этого не делать. Нет — его этим не проймешь. Он спросит: а зачем это нужно? И что я ему отвечу тогда? Потому что, если это *ни к чему не пригодно*, а просто красиво, только красиво...

Словом, я вздохнула и не пошла за ним, потому что мое открытие действительно ни к чему не пригодно, — с его помощью нельзя ни построить шалаша, ни улучшить сорта дынь, ни ускорить созревания плодов; оно совершенно бесполезно, — это просто глупость и пустое тщеславие; и он, конечно, отнесется к нему с презрением и скажет что-нибудь язвительное. Но я не могла отнестись к своему открытию с презрением. Я сказала: «О ты, огонь! Я люблю тебя, изысканное нежно-алое создание! Люблю потому, что ты *прекрасен*, и этого с меня довольно!» И, сказав так, я хотела прижать его к груди. Но я сдержала свой порыв. И тут же придумала новый афоризм — я дошла до него своим умом, но он так похож на мое первое изречение, что, боюсь, не является ли он плагиатом: «*Обжегшийся эксперимент огня боится*».

Я снова принялась за работу, и когда у меня получилась довольно большая кучка огненной пыли, я высыпала ее на пучок сухой травы — мне хотелось унести ее домой, чтобы всегда иметь под рукой и играть с ней когда вздумается, — но ветер дунул на травку, взметнул ее вверх, и она так страшно зашипела на меня, что я выронила ее из рук и бросилась бежать. А когда я оглянулась, голубой дух вился и клубился там, точно облако, и в ту же секунду я его

узнала — это был *дым*! Однако даю вам слово, что до той минуты я никогда и не слыхала про дым.

И почти тут же ослепительно-желтые и красные языки пробились сквозь дым, и я мгновенно назвала их *пламя*, — и конечно не ошиблась, хотя это было первое пламя на земле. Пламя стало прыгать на деревья, величественно сверкая и то прорываясь сквозь огромную и все растущую завесу клубящегося дыма, то исчезая за ней, и я невольно захлопала в ладоши, рассмеялась и принялась танцевать от восторга, — все это было так ново и так чудесно, так удивительно и прекрасно!

Он прибежал со всех ног, остановился, уставился на огонь, широко раскрыв глаза, и минут пять — десять не произносил ни слова. Потом спросил: что это такое? Ах, ну зачем понадобилось ему ставить вопрос ребром! Я, разумеется, вынуждена была ответить, и я ответила. Я сказала, что это огонь. Если ему было неприятно, что приходится спрашивать у меня, это не моя вина. Мне совсем не хотелось сердить его.

Помолчав, он спросил:

— Откуда он взялся?

Еще один прямой вопрос, который тоже требовал прямого ответа.

— Я его сделала.

Огонь распространялся все дальше и дальше. Он подошел к краю выгоревшей лужайки, остановился, посмотрел на землю и спросил:

— А это что?

— Угли.

Он поднял один уголек, чтобы получше его рассмотреть, но, как видно, передумал и положил обратно. Потом он ушел. *Ничто не интересует его.*

А меня интересует. На земле лежал пепел — серый, мягкий, нежный и красивый, и я сразу поняла, что это пепел. И еще там была тлеющая зола. Я ее тоже сразу узнала. И я нашла там мои яблоки и выгребла их из золы. Я им очень обрадовалась, потому что я ведь еще молода и у меня хороший аппетит. Но я была разочарована: все яблоки полопались и были совершенно испорчены. Впрочем, оказалось, что они

испорчены только с виду, — на самом же деле они стали вкуснее сырых. Огонь прекрасен, и мне кажется — когда-нибудь он будет приносить пользу.

Пятница. — В понедельник, поздно вечером, я опять увидела его на минуту, — но только на одну минуту. Я надеялась, что он похвалит меня за усердие, с каким я приводила наши владения в порядок, — ведь я работала не покладая рук и побуждения у меня были самые лучшие, — но он ничем не выразил своего одобрения, повернулся и ушел. Больше того — он был недоволен, и вот по какой причине: я сделала еще одну попытку убедить его не переплывать водопада. Дело в том, что огонь пробудил во мне новое чувство — совершенно новое и абсолютно непохожее ни на любовь, ни на печаль, ни на что-либо другое, что мне уже доводилось испытывать. Это чувство — *страх*. И это ужасное чувство! Зачем только я его узнала! Оно омрачает мою жизнь, мешает мне быть счастливой, заставляет меня дрожать, трепетать и вздрагивать. Но мне не удалось убедить его, потому что он еще не познал страха и, следовательно, не в состоянии меня понять.

ИЗ ДНЕВНИКА АДАМА (ФРАГМЕНТ)

Вероятно, я не должен забывать, что она еще очень молода, совсем девочка, в сущности, и требует к себе снисхождения. Она полна любопытства, все интересуется ее, жизнь кипит в ней ключом, и в ее глазах мир — это чудо, тайна, радость, блаженство; когда она видит новый цветок, она не может вымолвить ни слова от восторга — она ласкает его, и играет с ним, и беседует, и нюхает его, и осыпает самыми нежными именами. И она помешана на красках: коричневые скалы, желтый песок, серый мох, зеленая листва, синее небо; жемчужно-розовая заря, фиолетовые тени в ущельях, золотые островки облаков в багряном океане заката, бледная луна, плывущая среди рваных туч, алмазная россыпь звезд, мерцающих в безграничном пространстве, — все это, насколько я могу судить, не

имеет ни малейшей практической ценности, но раз в этом есть краски и величие — для нее этого достаточно, она совершенно теряет голову. Если бы она могла не суетиться так и хоть изредка, хоть две-три минуты побыть в покое, это было бы необычайно отрадное зрелище! В этом случае, мне кажется, на нее было бы приятно смотреть; я даже уверен, что мне это было бы приятно, так как я начинаю замечать, что она на редкость миловидное создание: гибкая, стройная, изящная, округлая, ловкая, проворная, грациозная... И как-то раз, когда она, мраморно-белая и вся залитая солнцем, стояла на большом камне и, закинув голову, прикрывая глаза рукой, следила за полетом птицы в небе, я понял, что она красива.

Понедельник, полдень. — Если есть на всей планете хотя бы один предмет, который ее не интересует, то я, во всяком случае, не берусь его назвать. Некоторые животные лишены для меня всякого интереса, но для нее таких не существует. Она не делает различий, одинаково обожает их всех, считает сокровищами, и каждое новое животное встречает с распростертыми объятиями.

Когда гигант бронтозавр забрел в наш лагерь, она нашла, что это очень ценное приобретение, в то время как я воспринял это как бедствие. Вот отличный пример полной дисгармонии наших с ней взглядов. Она хотела приручить бронтозавра, а я хотел подарить ему наш участок и переселиться в другое место. Она верит, что, обращаясь с ним хорошо, его можно выдрессировать и превратить в нечто вроде любимой комнатной собачки; а я сказал, что комнатная собачка в двадцать один фут высотой и в восемьдесят четыре фута длиной не особенно удобна в домашнем обиходе, так как эта громадина может с самыми лучшими намерениями сесть невзначай на наш дом и смять его в лепешку, — ведь легко можно заметить, насколько это чудовище рассеянно, достаточно посмотреть на выражение его глаз.

Но ей уже во что бы то ни стало хотелось иметь чудовище, и она не пожелала с ним расстаться. Она

решила, что мы можем организовать молочную ферму, и просила меня помочь ей подвить его. Но я отказался, так как это было слишком рискованно. Прежде всего, оно было совсем неподходящего пола, и, кроме того, мы еще не обзавелись приставной лестницей. Тогда она задумала ездить на нем верхом и любоваться окрестностями. Футов тридцать — сорок его хвоста лежало на земле, подобно поваленному дереву, и она решила, что сумеет забраться к чудовищу на спину по хвосту, но ей это не удалось. Она вскарабкалась только до того места, где подъем стал слишком крут, и полетела вниз, потому что хвост оказался скользким, и если бы я вовремя не подхватил ее, она бы сильно расшиблась.

Вы думаете, она успокоилась после этого? Ничуть не бывало. Она никогда не успокаивается до тех пор, пока все не испробует: не проверенные опытом теории — это не по ее части, они ее не удовлетворяют. Должен признаться, что это отличное качество, оно мне очень по душе; я чувствую, что заражаюсь им от нее и что полностью воспринял бы его, если бы мы больше общались. Кстати, у нее была еще одна идея относительно этого колосса: она думала, что нам удастся приручить его и заставить подружиться с нами, и тогда мы сможем поставить его поперек реки и ходить по нему, как по мосту. Но выяснилось, что он и сейчас уже достаточно приручен, — во всяком случае, с ней он совсем ручной, — и она попыталась претворить свою идею в жизнь, но ничего из этого не вышло: стоило ей установить чудовище в нужном положении поперек реки и сойти на берег, чтобы испробовать свой новый мост, и оно тотчас вылезало из воды и тащилось за ней по пятам, как ручная гора. Совершенно так же, как и все прочие животные. Они все это делают.

Пятница. — Вторник, среда, четверг и сегодня — все эти дни я не видела его. Трудно так долго быть одной, но все же лучше быть одной, чем являться непрошеной.

Однако я не могу обходиться без общества; мне кажется, общество — это моя стихия, и я завожу дружбу с животными. Они очаровательны, у них легкий, приятный нрав и самое вежливое обхождение; они никогда не бывают угрюмы, никогда не дают вам понять, что вы явились не вовремя; они улыбаются вам и машут хвостом, если он у них есть, и всегда готовы порезвиться с вами или совершить маленькую экскурсию, — словом, согласны на все, что бы вы им ни предложили. Я считаю, что они истинные джентльмены. Все эти дни мы так чудесно проводили время, и я ни разу не почувствовала себя одинокой. Одинокой? Нет, о нет! Ведь их целые стаи вокруг, иной раз они занимают пространство в четыре-пять акров — просто не сочтешь; и когда стоишь на скале и оглядываешься кругом, на это море шерсти, такое пестрое, и веселое, и красочное, а все эти пятна и полосы переливаются на солнце, словно рябь, — может показаться, что это и впрямь море, только я-то знаю, что это все же не так. А временами налетает настоящий шквал общительных птиц и проносятся ураганы машущих крыл, и когда лучи солнца пронизывают этот пернатый хаос, перед глазами у вас реют разноцветные молнии, горят и сверкают все краски мира, и можно проглядеть все глаза, любуясь на это.

Мы совершали большие экскурсии, и я повидала не малую часть света; мне кажется даже, что я повидала его почти весь. Таким образом, я — первый путешественник на земле, и единственный пока. Когда мы в пути, это очень величественное зрелище — ему нет равного. Для удобства передвижения я еду обычно верхом на тигре или на леопарде, потому что у них мягкая, округлая спина, на которой приятно сидеть, и потому что они такие миловидные животные; но для далеких путешествий или для тех случаев, когда мне хочется полюбоваться окрестностями, я пользуюсь слоном. Своим хоботом он сажает меня к себе на спину, но спуститься вниз я могу и без посторонней помощи: когда мы решаем сделать привал, он садится, и я спускаюсь на землю так сказать с черного крыльца.

Все птицы и все животные дружат друг с другом, и между ними никогда не возникает никаких разногласий. Они все умеют говорить и разговаривают со мной, но, должно быть, это какой-то иностранный язык, потому что я не понимаю ни слова. Однако сами они нередко понимают, когда я говорю им что-нибудь; особенно хорошо понимают меня собака и слон, и мне в этих случаях всегда бывает очень стыдно: ведь это показывает, что они умнее меня и я должна признать их превосходство. Это досадно, потому что я хочу быть главным экспериментом и надеюсь все же им быть.

Я уже узнала довольно много различных вещей и стала теперь образованная, чего раньше никак нельзя было про меня сказать. Вначале я была совершенно невежественна. Первое время я, сколько ни билась, никак не могла уследить, когда водопад взбегаёт обратно на гору, — у меня не хватало на это соображения, и мне было очень досадно, но теперь я успокоилась. Я следила и сопоставляла, и теперь я знаю, что вода никогда не бежит в гору при свете — только когда темно. Я поняла, что она проделывает это в темноте, потому что озеро не высыхает, а ведь если бы вода не возвращалась ночью обратно на свое место, то оно непременно бы высохло. Самое лучшее — все проверять экспериментальным путем: тогда действительно можно приобрести *знания*, в то время как строя догадки и делая умозаключения, никогда не станешь по настоящему образованным человеком.

Некоторые вещи понять *невозможно*, но вы до тех пор не поймете, что они непознаваемы, пока будете пытаться их разгадать и строить различные предположения; нет, вы должны набраться терпения и производить опыты, пока не откроете, что ничего открыть нельзя. А ведь именно это и восхитительно — мир тогда становится необычайно интересен. А если бы нечего было открывать, жизнь стала бы скучной. И в конце концов, стараться открыть и ничего не открывать — так же интересно, как стараться открыть и открывать, а быть может, даже еще интереснее. Тайна водопада была подлинным сокровищем, пока я

ее не раскрыла, после чего весь интерес пропал, и я познала чувство утраты.

С помощью экспериментов я установила, что дерево плавает, а также и сухие листья, и перья, и еще великое множество различных предметов; отсюда, делая обобщение, можно прийти к выводу, что скала тоже должна плавать, но приходится просто признать, что это так, потому что доказать это на опыте нет никакой возможности... пока что. Я, конечно, найду и для этого способ, но тогда весь интерес пропадет. Мне становится грустно, когда я думаю об этом: ведь малопомалу я открою все, и тогда не из-за чего будет волноваться, а я это так люблю! Прошлую ночь я никак не могла уснуть — все размышляла над этим.

Прежде я не могла понять, для чего я была создана на свет, но теперь, мне кажется, поняла: для того, чтобы раскрывать тайны этого мира, полного чудес, и быть счастливой, и благодарить Творца за то, что он этот мир создал. Я думаю, что есть еще очень много тайн, которые мне предстоит узнать, — я надеюсь, что это так; и если действовать осторожно и не слишком спешить, их, по-моему, должно хватить не на одну неделю, — я надеюсь, что это так. Если подбросить перо, оно реет в воздухе и скрывается из виду. А если бросить комок глины, он этого не делает. Он всякий раз падает на землю. Я пробовала снова и снова, и всегда получается одно и то же. Интересно, почему это? Конечно, я понимаю, что на самом деле он не падает, но почему должно непременно так *казаться*? Вероятно, это оптический обман. То есть я хочу сказать, что одно из этих двух явлений — оптический обман. А какое именно, я не знаю. Быть может, в случае с пером, быть может — с комком глины; я не могу доказать ни того, ни другого, я могу только продемонстрировать оба, и станет ясно, что одно из двух — обман, а какое именно — каждый может решать по своему усмотрению.

Из наблюдений я знаю, что звезды не вечны. Я видела, как иные, самые красивые, вдруг начинали плавиться и скатывались вниз по небу. Но раз одна может расплавиться, значит могут расплавиться и все,

а раз все могут расплавиться, значит они могут расплавиться все в одну ночь. И это несчастье когда-нибудь произойдет, я знаю это. И я решила каждую ночь сидеть и глядеть на звезды до тех пор, пока смогу бороться со сном; я постараюсь запечатлеть в памяти весь этот сверкающий простор, так чтобы, когда звезды исчезнут, я могла бы с помощью воображения вернуть эти мириады мерцающих огней на черный купол неба и заставить их сиять там снова, двоясь в хрустальной призме моих слез.

ПОСЛЕ ГРЕХОПАДЕНИЯ

Когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что наш сад привиделся мне во сне. Он был прекрасен, несравненно прекрасен, упоительно прекрасен, а теперь он потерян для нас, и я никогда больше его не увижу.

Сад утрачен навеки, но я нашла его, и я довольна. Он любит меня, как умеет; я люблю его со всем пылом моей страстной натуры, как и подобает, мне кажется, моему возрасту и полу. Когда я спрашиваю себя, почему я люблю его, мне ясно, что я этого не понимаю, да, по правде говоря, и не особенно стремлюсь понять; такая любовь, думается мне, не имеет ничего общего ни с рассуждениями, ни со статистикой, как любовь к другим пресмыкающимся или животным. Да, вероятно все дело в этом. Я люблю некоторых птиц за их пение, но Адама я люблю вовсе не за то, как он поет, — нет, не за это. Чем больше он поет, тем меньше мне это нравится. И все же я прошу его петь, потому что хочу приучиться любить все, что нравится ему, и уверена, что приучусь, — ведь сначала я совершенно не могла выносить его пение, а теперь уже могу. От его пения киснет молоко, но и это не имеет значения, — к кислому молоку тоже можно привыкнуть.

Я люблю его не за его сообразительность, — нет, не за это. Каков бы он ни был — это не его вина, ведь он не сам себя создал. Он таков, каким его создал господь, и этого для меня вполне достаточно. Тут была

проявлена особая мудрость, я совершенно в этом уверена. Со временем его умственные способности разовьются, хотя, я думаю, что это произойдет не сразу. Да и куда спешить? Он достаточно хорош и так.

Я люблю его не потому, что он деликатен, заботлив и чуток, — нет; у него есть недостатки в этом отношении, но он достаточно хорош, несмотря на них, и притом уже начал понемногу исправляться.

Я люблю его не потому, что он трудолюбив, — нет, не потому. Мне кажется, он обладает этим свойством, и я не понимаю, зачем ему нужно его от меня скрывать. Вот единственное, что меня печалит. Во всем остальном он теперь вполне откровенен со мной. Я уверена, что, помимо этого, он ничего от меня не утаивает. Меня печалит, что он находит нужным держать от меня что-то в тайне, и порой я долго не могу уснуть — все думаю об этом. Но я заставляю себя выкинуть эти мысли из головы, — ведь, кроме них, ничто не омрачает моего счастья.

Я люблю его не потому, что он очень образован, — нет, не потому. Он — самоучка и действительно знает уйму всяких вещей, да только все это не так.

Я люблю его не потому, что он рыцарственно благороден, — нет, не потому. Он выдал меня, но я его не виню — это свойство его пола, мне кажется, а ведь не он создал свой пол. Конечно, я бы никогда не выдала его, я бы скорее погибла, но это тоже особенность моего пола, и я не ставлю себе этого в заслугу, так как не я создала свой пол.

Так почему же я люблю его? Вероятно, *просто потому, что он мужчина.*

В глубине души он добр, и я люблю его за это, — но будь иначе, я бы все равно любила его. Если бы он стал бранить меня и бить, я бы все равно продолжала любить его. Я знаю это. Мне кажется, все дело в том, что таков мой пол.

Он сильный и красивый, и я люблю его за это, и восхищаюсь, и горжусь им, — но я все равно любила бы его, даже если бы он не был таким. Будь он нехорош с виду, я бы все равно любила его; будь он калеккой — я любила бы его, и я бы работала на него, и

была бы его рабой, и молилась бы за него, и бодрствовала у его ложа, пока жива.

Да, я думаю, что люблю его просто потому, что он *мой*, и потому, что он *мужчина*. Другой причины не существует, мне кажется. И поэтому, вероятно, я правильно решила с самого начала: такая любовь не имеет ничего общего ни с рассуждениями, ни со статистикой. Она просто *приходит* совершенно неизвестно откуда и объяснить ее нельзя. Да и не нужно.

Так думаю я. Но ведь я только женщина, почти ребенок, и притом первая женщина, которая пытается разобраться в этом вопросе, — и очень может статься, что по своей неопытности и невежеству я сделала неправильный вывод.

СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ

Единственное мое желание и самая страстная моя мольба — чтобы мы могли покинуть этот мир вместе; и эта мольба никогда не перестанет звучать на земле, она будет жить в сердце каждой любящей жены во все времена, и ее нарекут молитвой Евы.

Но если один из нас должен уйти первым, пусть это буду я, и об этом тоже моя мольба, — ибо он силен, а я слаба, и я не так необходима ему, как он мне; жизнь без него — для меня не жизнь, как же я буду ее владеть? И эта мольба тоже будет вечной и будет возноситься к небу, пока живет на земле род человеческий. Я — первая жена на земле, и в последней жене я повторяюсь.

У МОГИЛЫ ЕВЫ

Адам. Там, где была она, — был Рай.

Раза два в году я получаю письма особого рода — письма, очень схожие между собой и по форме и по существу; и все-таки я не могу к ним привыкнуть — всякий раз они вызывают у меня удивление. Такое письмо действует, как паровоз, — мы говорим про себя: «Я тебя уже видел тысячу раз, ты всегда такой, и все же ты — нечто сверхъестественное, невероятное; измыслить тебя человеческому гению безусловно не под силу, тебя не может быть, тебя нет, — и, однако, вот он, ты!»

Одно письмо такого рода, довольно старое письмо, лежит сейчас передо мною. И мне страшно хочется его опубликовать. Ну какой от этого может быть вред? Написавшая его уже, конечно, много лет как умерла, и если я скрою ее имя и адрес — ее адрес в этом мире, — тень ее, по-моему, не будет на меня в претензии. А заодно я хотел бы опубликовать и ответ, который я тогда написал, но, видимо, не отправил. Если он и был отослан, — что маловероятно, — то разве в копии, поскольку оригинал лежит у меня, подколотый к упомянутому письму. На письма такого рода мы все пишем ответы, которые не посылаем из опасения обидеть, когда обижать не хочется; со мной не раз бывали такие истории, и это, несомненно, одна из них.

Х. . . . , Калифорния, 3 июня 1879 г.

Мистеру С. Л. Клеменсу, Хартфорд, Коннектикут

Дорогой сэр, Вы, конечно, удивитесь, когда узнаете, кто взял на себя смелость написать Вам письмо с просьбой об услуге. Пусть Ваша память вернет Вас к тем дням, когда Вы жили в Гумбольдте на приисках в 62—63 годах. Помните, Вы тогда вместе с Клаггетом и Оливером и со старым кузнецом Тиллу жили в сарае, он еще стоял на дне ущелья, и там в поселке было шесть бревенчатых домиков, расположенных довольно далеко один от другого во всю длину ущелья, от самого его выхода в низину и до последнего застолбленного участка на водоразделе. Сарай, где Вы жили, был тот самый, с брезентовой крышей, сквозь которую один раз ночью провалилась корова, как описано Вами в книге «Налегке», мой дядя Симмонс помнит это отлично. Он как раз жил в бревенчатом доме, возле которого был Ваш сарай, на полпути к водоразделу, и с ним там еще жили Диксон, и Паркер, и Смит. Дом был из двух комнат: в одной кухня, а другая — где койки, остальные-то все дома там однокомнатные. Вы и Ваши товарищи сидели с ними в тот вечер, когда у них было торжество и угощали пирогом с начинкой из сушеных яблок, дядя Симмонс часто об этом рассказывает. Кажется, смешно, что какой-то яблочный пирог мог представляться бог весть чем, однако так оно и было, и это показывает, каким захолустьем был тогда Гумбольдт, как туда трудно было добираться и что за скудное там было обычное меню. Шестнадцать лет прошло — срок немалый. Я тогда была еще ребенком, мне было четырнадцать лет. Я Вас не встречала, мы жили в Уошо. Но дядя Симмонс, бывало, то и дело сталкивался с Вами, пока Вы с Вашими компаньонами работали несколько недель на Вашем участке, который оказался такой же, как и все. Месторождение то уже давным-давно выработано, там и всего-то серебра было кот наплакал. Вы не встречались с моим мужем, но, после того как Вы уехали, он там был и жил в том

самом сарае, — еще тогда на холостом положении; а теперь он женат на мне. Он часто говорит, как жаль, что в поселке тогда не было фотографа, он бы снял этот сарай. Он чуть не получил увечье у старого Хола Клейтона на участке, который потом тоже был заброшен, как и остальные, — заложил взрывчатку и не успел выбраться из ямы, хотя карабкался как только мог. Его отшвырнуло прямо на дорогу и угодило в прохожего индейца. Несколько недель думали, что он не выживет, но он выжил, и сейчас он вполне здоров. Ни разу не болел после того случая. Это довольно длинное вступление, но у меня нет иного способа представиться Вам. Моя просьба, в которой, я уверена, Вы, с Вашим щедрым сердцем, мне не откажете, состоит вот в чем: дайте мне совет относительно книги, которую я написала. Я не говорю, что это невесть какая хорошая книга, только в ней почти что все — истинная правда, а интересу в ней не меньше, чем в любой другой, какие теперь издаются. В литературном мире меня не знают, а Вы понимаете, что это значит, если только у тебя не найдется какого-нибудь влиятельного знакомого (вроде Вас), который замолвит за тебя словечко. Я согласна передать мою книгу, — условившись об отчислении в мою пользу приличного процента с выручки, — любому издателю, какого Вы мне порекомендуете.

От моего мужа и от всей семьи это секрет. Думаю, им будет приятный сюрприз, если книгу напечатают.

Понимая, что Вы не останетесь безразличны, так что, если возможно, напишите мне рекомендательное письмо на имя какого-нибудь издателя, или еще лучше, если б Вы могли поговорить с ними обо мне, а потом меня поставьте в известность.

Взываю к Вам, окажите мне такую услугу. С глубочайшей признательностью благодарю Вас за внимание.

Не справляясь на почте, можно с уверенностью сказать, что письма, подобные этому щекотливому посланию, все время летят туда и сюда, пересекая страну во всех направлениях, летят денно и ночью, непрерывно, неустанно, ежечасно. Их получает каждый ма-

ло-мальски известный коммерсант, или путейский начальник, или промышленник, или финансист, каждый мэр, член конгресса, губернатор, издатель, писатель, биржевой маклер, банкир, — словом, каждый человек, которого можно считать «влиятельным». Написаны они всегда по одному образцу: *«Вы меня не знаете, но Вы когда-то были знакомы с моим родственником...»* и так далее. Всякий из нас хотел бы помочь, мы были бы рады оказать услугу, рады отправить именно такой ответ, какого от нас ждут, но... в том-то и беда, что помочь тут совершенно не в нашей власти, ибо не было еще случая, чтобы подобное письмо пришло от человека, которому можно помочь. Тот, кто готов постоять за себя и за свое дело, не нуждается в помощи, хотя ему-то как раз вы могли бы помочь; но такому человеку просто не придет в голову обратиться за поддержкой к постороннему. У него есть талант, и он это знает и сам рвется в бой; он будет отстаивать свое в борьбе и не отступится, не побоится, — сам за себя, полагаясь только на самого себя. А это жалкое письмо, которое приходит к вам от неспособных, от беспомощных, — как вы, кому оно знакомо, на него отвечаете? Какие слова вы находите для ответа? Ведь так не хочется причинить боль, и делаешь все, чтобы этого избежать. Какие же слова вы находите? Как выбираетесь из этого затруднительного положения, не отягчая своей совести? Пытаетесь ли вы вразумить их? Мой старый ответ на одно такое письмо покажет, что я однажды сделал подобную попытку. Был ли я удовлетворен тем, что у меня получилось? Может быть; а может быть, и нет; вероятно, нет, скорее всего нет. Я уже давным-давно забыл. Во всяком случае, этот мой эпистолярный опыт прилагаю.

ОТВЕТ

Я знаком с мистером Х., и я пойду к нему, любезная сударыня, если по размышлении Вы все же найдете, что Вам этого хочется. Между нами состоится разговор. Я знаю, какие формы он примет. Он будет протекать следующим образом:

Мистер Х. Какое у вас впечатление от ее книг?
Мистер Клеменс. Я с ними незнаком.

Х. Кто был ее издателем раньше?

Кл. Не знаю.

Х. Но у нее был издатель, надеюсь?

Кл. Д-думаю, что не было.

Х. Гм. Значит, это ее первый роман?

Кл. К-кажется, да. По-моему, первый.

Х. О чем же он? Что он собой представляет?

Кл. Я не знаю.

Х. Вы его не читали?

Кл. Собственно, я... нет, не читал.

Х. Гм-гм. Давно вы с ней знакомы?

Кл. Я с ней незнаком.

Х. Незнакомы?

Кл. Нет.

Х. Э-э... гм. Каким же образом случилось, что вы хлопочете о ее романе?

Кл. Понимаете ли, она... она написала мне, просит найти ей издателя и упоминает вашу фамилию.

Х. Почему же она обратилась к вам, а не ко мне?

Кл. Она хотела, чтобы я употребил свое влияние.

Х. Господи! Да при чем же тут влияние?

Кл. Ну, она, очевидно, считает, что на вас для верности нужно повлиять, тогда вы обязательно уделите внимание ее роману.

Х. Но ведь мы для того тут и сидим, чтобы уделять внимание книгам — всяким книгам, какие к нам попадают. Это наша должность. Нужно быть глупцом, чтобы не поинтересоваться книгой только потому, что ее автор нам не известен. Издатели так не поступают. А как она могла рассчитывать на ваше влияние, если она с вами незнакома? Видимо, она думает, что вы знаете, как она пишет, и можете замолвить словечко в ее пользу? Так, что ли?

Кл. Нет, не так. Она знает, что я не знаю, как она пишет.

Х. Но в чем же тогда дело? Было же у нее какое-то основание считать, что вы можете рекомендовать издателям ее творчество и что вы считаете себя обязанным это сделать?

Кл. Это верно. Я... я был знаком с ее дядей.

Х. С ее дядей?

Кл. Да.

Х. Ну, знаете ли! Так вы знакомы с ее дядей? А дядя знаком с ее писаниями, он передоверил их вам, цепь ясна, ничего больше не требуется, вы удовлетворены, и таким образом...

Кл. Нет, это не все, нас связывает и еще кое-что. Я знал дом, в котором ее дядя жил на прииске; я знал также его компаньонов; мало того, я чуть не познакомился с ее мужем, когда он еще не был на ней женат, и уж конечно я знаю ту заброшенную шахту, где раньше времени произошел взрыв, которым его подбросило в воздух и швырнуло на дорогу, прямо на спину проходившему по ней индейцу, и последствия были едва ли не смертельные.

Х. Для него или для индейца?

Кл. Этого она не написала.

Х. *(со вздохом)*. Да-с, доложу я вам... Ее вы не знаете, ее книги не знаете, кто именно получил увечье во время взрыва — тоже не знаете. Вы, я вижу, не знаете ровным счетом ничего, на чем мы могли бы основываться в суждениях об этой книге...

Кл. Я знал ее дядю. Вы забываете дядю.

Х. Э, да какой от него прок? Вы с ним долго поддерживали знакомство? И давно это было?

Кл. Н-ну, я не могу сказать, чтобы я действительно поддерживал с ним знакомство, но, должно быть, я встречался с ним все-таки. Я думаю, именно так оно и было; в подобных случаях нельзя быть уверенным, знаете ли, разве только если это происходило совсем недавно.

Х. А когда же это все происходило?

Кл. Шестнадцать лет тому назад.

Х. Вот так основание для того, чтобы судить о книге! Сначала вы говорили, что знали его, а теперь вы и сами не знаете, знали вы его или нет.

Кл. Да нет же, я его знал; по крайней мере, по моему, я думал, что я его знал; ну да, я теперь в этом совершенно уверен.

Х. Что вызывает у вас такую уверенность в том, что вы думали, что вы его знали?

Кл. Да она сама мне об этом писала.

Х. Ах, *она* писала!

Кл. Вот именно, и я в самом деле знал его, хотя сейчас и не помню об этом.

Х. Послушайте, откуда же вы знаете, если вы не помните?

Кл. Ну, это уж я не знаю. То есть не знаю, как это получается, но я знаю много такого, чего я не помню, и помню много такого, чего не знаю. Так бывает со всяким образованным человеком.

Х. (*после некоторого молчания*). Вам ваше время дорого?

Кл. Нет... то есть не очень.

Х. А мне мое дорого.

Ну вот, и тогда я ушел, потому что у него был очень усталый вид. Переутомился на работе, наверно; я себя до этого никогда не довожу — я видел, к каким плачевным последствиям это приводит. Моя мать всегда боялась, как бы я не надорвался на работе, но со мной этого ни разу не случилось.

Любезная сударыня, Вы сами теперь видите, как все обернется, если я туда пойду. Он будет задавать мне все эти вопросы, я буду стараться отвечать на них как надо, а он будет меня подковыривать при всяком удобном случае, постепенно совсем собьет меня с толку, и под конец у него будет усталый вид от переутомления на работе; тем все дело и кончится, а толку-то чуть. Мне бы очень хотелось быть Вам полезным, но, понимаете ли, их совершенно не интересуют дядюшки и тому подобные материи, их этим не взволнуешь, это не производит ни малейшего впечатления; ведь их не интересует ничего, кроме литературных достоинств самой книги, а заступничество «влиятельных» они едва ли не презирают. Но вот книгами они безусловно интересуются, всегда рады получить новую рукопись и ознакомиться с нею, откуда бы она к ним ни попала, из-под чьего бы пера ни вышла. Так что если Вы надумаете послать Вашу рукопись издателю — любому издателю, — он несомненно подвергнет ее внимательному рассмотрению, в этом я могу Вас заверить.

Страсть к бильярду вконец испортила мой ангельский характер. Давным-давно, когда я был бедным репортером в Вирджиния-Сити, я всегда выбирал себе в партнеры простаков, которых легко обыграть.

Однажды в наш город приехал незнакомый человек и открыл бильярдную. Я оглядел его без особого интереса. Он предложил мне сыграть с ним партию, и я ответил:

— Ладно. Давайте.

— Покатайте-ка шары немножко, я хочу посмотреть, как вы играете, — попросил он.

Я выполнил его просьбу; после этого он сказал:

— Буду совершенно честен: готов играть с вами левой рукой.

Меня это здорово поддело. Он был косоглазый, рыжий, весь в веснушках, и я решил проучить его как следует. Он положил первый шар и закончил сам всю игру, не дав мне даже опомниться, — я только стоял да мелил свой кий. Мои полдоллара перекочевали в его карман.

— Если вы левой рукой так играете, — сказал я, — интересно, как вы играете правой?

— А правой я не умею, — ответил он. — Я левша.

Когда я был еще мальчишкой, мой дядя и его старшие сыновья ходили на охоту с ружьями, а младший сын Фред и я — с дробовиком, маленькой одностволкой, которая была как раз по нашему росту и силе — не тяжелее метлы. Мы носили ее по очереди, передавая друг другу каждые полчаса. Мне так ни разу и не удалось попасть из нее хоть во что-нибудь, но даже попытка сделать это была для меня удовольствием. Мы с Фредом охотились на всяких пичужек, а взрослые — на оленей, белок, диких индеек и прочую дичь. Дядя и старшие мальчики были отличными стрелками. Они стреляли ястребов, диких гусей и всяких других птиц влет; белок они не подранивали и не убивали, а *глушили*. Когда собаки загонят белку на дерево, она стремглав взбегаёт по стволу почти до самой верхушки и, распластавшись, замирает на какой-нибудь ветке, надеясь спрятаться от охотника, но обычно это удается ей не вполне. Снизу видны ее ушки, стоящие торчком. Носа не видно, но легко угадать, где он. Тогда охотник стоя, не заботясь об упоре для ружья, небрежно прицеливается и посылает пулю в ветку у самого носа белки, после чего зверек падает с дерева целехонький; собака тряхнет его разок, и вот он уже испустил дух. Но иной раз, если охотник стрелял издалека и не вполне точно приняв в расчет ветер, пуля попадала белке в голову; с такой добычей

собаки могли делать все что угодно, — охотничья гордость не позволяла положить ее в ягдташ.

Едва на востоке занималась заря, величавые индейки большими стаями выходили погулять для мациона, настроенные в высшей степени общительно и готовые по первому приглашению вступить в беседу со своими сородичами, тоже совершающими утреннюю прогулку. Охотники, притаившись в засаде, подражали их крику, втягивая в себя воздух через косточку, извлеченную из ноги индейки, которая уже откликнулась некогда на подобный призыв, после чего прожила ровно столько, сколько требуется, чтобы пожалеть об этом. Лишь с помощью такой косточки можно в совершенстве подражать крику индейки. Вот вам один из подвохов матери-природы. Их у нее полным-полно: в доброй половине случаев она сама не знает, чего хочет — то ли оборонить свое детище, то ли вероломно предать его. А с индейкой она и вовсе перемудрила: дала ей косточку, которая вовлекает глупую птицу в беду, но научила ее и уловке, чтобы из этой беды выпутаться. Когда мамаша-индейка откликается на зов и обнаруживает свою оплошность, она поступает точь-в-точь как мамаша-куропатка, — спохватывается, что у нее уже назначено свидание в другом месте, и, прихрамывая, ковыляет прочь, словно подбитая; при этом она предупреждает своих птенцов, которые прячутся где-нибудь поблизости: «Сидите смирно, не шевелитесь, не выдайте себя. Я вернусь, как только отведу этого негодяя подальше отсюда».

Человека неопытного и доверчивого этот бесчестный трюк может сильно измотать. Однажды, гоняясь за индейкой, которая прикинулась подбитой, я обошел немалую часть территории Соединенных Штатов, так как верил ей и не допускал мысли, что она может обмануть маленького мальчика, который не сомневается в ее честности. Одноствольный дробовик был при мне, но я непременно хотел поймать индейку живьем. Мне не раз удавалось подойти к ней совсем близко, и я пускался бегом, чтобы схватить ее; но когда я делал последний прыжок и протягивал руки туда, где только что видел ее спину, индейки там уже и в помине не

было; она отодвигалась всего на два или три дюйма, и я, падая на живот, задевал перья ее хвоста; это был точный бросок, но все же недостаточно точный — то есть недостаточный для победы, но зато вполне достаточный для того, чтобы поддержать во мне уверенность в успехе следующего броска. Всякий раз индейка поджидала меня чуть поодаль, прикидываясь, будто еле дышит от усталости и присела перевести дух; это была ложь, но я верил ей, потому что все еще не сомневался в ее честности, хотя мне давно уже следовало заподозрить, что порядочной птице не к лицу поступать подобным образом. Я все гнался и гнался за ней по пятам, то и дело бежал, падал, вставал, стряхивал с себя пыль и снова пускался в путь с неиссякаемой уверенностью в успехе; мало того, уверенность эта все время росла, так как перемена климата и растительности убеждала меня, что мы приближаемся к Полярному кругу, и поскольку после каждого моего броска она казалась чуточку более усталой и павшей духом, я рассудил, что в конце концов непременно одержу над ней верх, — нужно только набраться терпения, ведь с самого начала преимущества на моей стороне, потому что она подбита.

На исходе дня я сам почувствовал усталость. Оба мы не отдыхали с тех самых пор, как более десяти часов назад начали свою прогулку, хотя под конец мы стали мешкать после всякой моей попытки схватить ее, причем я делал вид, будто думаю о чем-то постороннем; но оба мы хитрили, каждый ждал, что другой признает себя побежденным, хотя ни один не спешил сделать это, потому что мимолетные передышки благотворно действовали на нас обоих; оно и не удивительно, ведь мы соревновались так с самой зарей и не имели во рту маковой росинки, — во всяком случае я; ей, когда она лежала на боку и, обмахиваясь крылом, молила бога укрепить ее силы, чтобы выпутаться из беды, порой подворачивался кузнечик, чей час пробил, и это оказывалось для нее как нельзя более кстати; а я ничего не ел, решительно ничего за целый день.

Не раз, чуть не падая от усталости, я терял надежду взять индейку живьем и готов был пристрелить

ее, но не сделал этого, хотя и был в своем праве, так как сам не верил, что попаду в нее; к тому же, едва я поднимал ружье, она становилась в позу и не двигалась, отчего я заподозрил, что ей отлично известна моя меткость, и не хотел давать ей повода для насмешек.

Я так и не поймал ее. Когда игра наконец ей наскучила, она вспорхнула буквально у меня из-под руки, взмыла вверх, со свистом рассекая воздух, словно пушечное ядро, взлетела на самый верхний сук высокого дерева, уселась там, скрестила ноги и улыбнулась мне сверху вниз, видимо наслаждаясь моим удивлением.

Я был совершенно уничтожен и сгорал от стыда. В тот же день, одиноко блуждая по лесу, я набрел на пустую хижину, где меня ждало самое роскошное угощение, какое мне довелось отведать за всю мою жизнь. В огороде, заросшем сорной травой, было много спелых помидоров, и я набросился на них с волчьим аппетитом, хотя прежде никогда их не любил. С тех пор всего два или три раза еда казалась мне столь же вкусной, как эти помидоры. Я объелся ими, и после этого лет тридцать даже мысль о них была мне противна. Теперь я уже могу их есть, но вид их не доставляет мне никакого удовольствия. Что ж, ведь все мы время от времени страдаем от пресыщения. Однажды под давлением обстоятельств я съел чуть ли не целый бо-чонок сардин, потому что ничего другого под рукой не было, но с тех пор я как нельзя лучше обхожусь без сардин.

Если какая-нибудь из присутствующих здесь девиц любит меня, я приношу ей свою искреннюю благодарность. И даже более того: если какая-нибудь из них столь добра, что любит меня, я готов стать ей братом. Я подарю ей свою горячую, неподдельную, чистую привязанность. Когда я ехал в автомобиле с очень милой девицей, которой было поручено препроводить меня сюда, она спросила, о чем я собираюсь говорить. Я сказал, что сам еще не знаю толком. Сказал, что держу в уме несколько примеров и намерен их привести. Сказал, что приведу их непременно, но пока мне самому невдомек, что именно они должны пояснить.

Теперь, поразмыслив об этом здесь, на лесной лужайке (*оратор указывает на декорации, изображающие аркадские рощи*), я решил так или иначе связать их с моралью и с капризами памяти. Мне кажется, это вполне подходящая тема. Как известно, у всякого есть память, а у нее наверняка есть и капризы. И уж конечно у каждого есть мораль.

Я глубоко убежден, что мораль есть у всех моих знакомых, хотя я не имею привычки спрашивать их об этом. У меня она есть во всяком случае. Но я предпочитаю всегда и всюду проповедовать ее, а отнюдь не руководствоваться ею. «Передай ее другим» — таков мой девиз. Тогда, оставшись без морали, уже не испытываешь в ней нужды. Ну а что касается капризов па-

мяти вообще и моей памяти в частности, то просто уму непостижимо, сколько всяких шуток может сыграть с нами этот хитрый психический процесс. Ведь мы с вами одарены способностью, которая, казалось бы, должна быть нам несравненно полезнее всех прочих наших способностей. Но что же получается? Эта самая память тщательно собирает богатейшую коллекцию бесполезнейших фактов, анекдотов и событий. А все, что мы должны знать, что нам нужно знать, что было бы полезно знать, она отбрасывает с беспечным равнодушием девушки, которая отвергает человека, всей душой ее любящего. Да об этом страшно подумать! Я просто содрогаюсь, когда размышляю обо всех бесценных богатствах, которые я растерял за семьдесят лет, иными словами — когда размышляю о капризах своей памяти.

Есть в Калифорнии одна птица, и мне кажется, едва ли можно найти более верный, чем она, символ человеческой памяти. Я забыл, как она называется (именно потому, что мне полезно было бы знать это, хотя бы для того, чтобы помочь вам сейчас ее вспомнить).

Это глупое создание собирает и бережно хранит самые нелепые вещи, какие только можно вообразить. Она никогда не возьмет то, что может хоть как-то ей пригодиться; она хватает железные вилки и ложки, консервные банки, сломанные мышеловки — всякий хлам, который ей трудно дотащить до гнезда и из которого невозможно извлечь ни крупинцы пользы. Право же, эта птица отвернется от золотых часов, чтобы подобрать какую-нибудь патентованную сковородку.

Такова и моя память, а она не многим отличается от вашей, — и моя память и ваша равно похожи на эту птицу. Мы проходим мимо неоценимых сокровищ и забиваем себе головы самой пошлой дрянью, которая никогда, ни при каких обстоятельствах, не может нам пригодиться.

А уж то, что я однажды запомнил, непрестанно всплывает в моей памяти. И я не устаю удивляться тому, как живы эти воспоминания по прошествии многих лет и как они никчемны.

По дороге сюда я мысленно перебрал некоторые из таких воспоминаний. Это и были те самые примеры, о которых я говорил своей юной спутнице. И как ни странно, я пришел к выводу, что любым из этих капризов памяти я могу воспользоваться для того, чтобы преподать вам целый урок. Для меня несомненно, что в каждом из них заключена мораль. И я считаю своим долгом передать ее вам из рук в руки.

Помнится, когда-то я был мальчиком, и притом хорошим, даже очень хорошим мальчиком. Да, да, я был самым лучшим мальчиком в школе. И лучшим мальчиком у себя в городке на берегу Миссисипи. А жителей там было всего каких-нибудь двадцать миллионов. Можете мне не верить, но я был самым лучшим мальчиком во всем штате, и даже, я бы сказал, во всех Соединенных Штатах.

И все же, не знаю почему, кроме меня никто ни разу даже не заикнулся об этом. Я-то всегда это понимал. Но даже самые близкие родственники и друзья, как видно, этого не замечали. Мать моя в особенности подозревала, что я себя переоцениваю. И она так и не смогла побороть свое предубеждение.

А когда ей исполнилось восемьдесят пять лет, у нее отшибло память. Она растеряла все нити, которые связывают воедино узор жизни. Жила она в то время на Западе, и я приехал как-то ее навестить.

Я не видел ее, должно быть, с год. А когда я приехал, она помнила мое лицо, помнила, что я женат, помнила, что у меня есть семья, с которой я живу, но хоть убей не могла бы сказать, как меня зовут и кто я такой. Что ж, я объяснил ей, что я ее сын.

— Но ты не живешь здесь, со мной, — сказала она.

— Нет, — подтвердил я. — Я живу в Рочестере.

— А что ты там делаешь?

— Учусь в школе.

— И большая эта школа?

— Очень большая.

— И ходят туда только мальчики?

— Да, только мальчики.

— Ну и как ты себя там ведешь? — спросила мать.

— Я лучший мальчик во всей школе, — ответил я.

— Ну и ну, — к ней сразу вернулась бывшая жизнь. — Хотела бы я видеть, каковы там остальные!

Так вот, то, что я вам сейчас рассказал, имеет две стороны: одна — это причуда памяти моей матери, вспомнившей мои школьные годы и мою юношескую самоуверенность, но забывшей все остальное, что меня касалось. Другая — это мораль. Она найдется, стоит только ее хорошенько поискать.

Вспоминается мне еще один случай. Кажется, я тогда чуть ли не в первый раз в жизни украл арбуз. Но «украл» — слишком сильное слово. Украл?.. Украл? Нет, я совсем не то имел в виду. В первый раз я изъясил арбуз. В первый раз я удалил арбуз. Да, именно «удалил» — это слово я и искал. Оно определено. Оно точно. Оно как нельзя лучше передает мою мысль. Употребление его в зубоврачебном деле придает ему тонкий оттенок, который мне столь необходим. Ведь мы никогда не удаляем своих собственных зубов.

Так вот, я тоже удалил не свой собственный арбуз. Я удалил арбуз одного фермера, пока он торговался в своем фургоне с другим покупателем. Я унес этот арбуз в укромный уголок дровяного склада и расколол его на куски.

Арбуз оказался зеленым.

И знаете, когда я увидел это, то почувствовал раскаяние, — да, да, раскаяние. Мне показалось, что я поступил дурно. Я глубоко задумался. Задумался о том, что я молод, — мне было тогда лет одиннадцать. Но я твердо знал, что, несмотря на юный возраст, у меня нет недостатка в моральных устоях. Я знал, как должен поступить мальчик, если он удалил арбуз... вроде того, который достался мне.

Я подумал о Джордже Вашингтоне и о том, что предпринял бы он при подобных обстоятельствах. И тут я понял, что только одно может вернуть мне душевный покой, а именно — возмещение убытков.

Я сказал себе: «Так тому и быть. Я отнесу зеленый арбуз туда, откуда его взял». И в ту же минуту я почувствовал необычайный моральный подъем,

который обычно наступает после того, как человек принял какое-нибудь благородное решение.

И я собрал куски, какие покрупнее, и отнес их к фургону фермера и вернул арбуз, — вернее, то что от него осталось. И заставил фермера дать мне спелый арбуз взамен зеленого.

Я сказал ему, что стыдно продавать негодные, дрянные, зеленые арбузы простосердечным людям, которые вынуждены верить ему на слово. Разве могут они на глаз определить, хорош арбуз или нет? Ведь это его обязанность! Если он не исправится, сказал я ему, я не стану больше ничего у него покупать, и все мои знакомые тоже не станут, — уж я сделаю для этого все от меня зависящее.

И знаете, этот человек был сокрушен духом, как грешник, прозревший от душеспасительных речей проповедника. Он сказал, что сердце у него разрывается при мысли, что мне достался зеленый арбуз. Он поклялся никогда больше не привозить на продажу ни одного зеленого арбуза, даже если будет умирать с голоду. И он уехал духовно обновленный.

Понимаете ли вы, что я сделал для этого человека? Он стоял на краю бездны, и я протянул ему руку помощи. А сам получил за это всего только арбуз.

И все же эту память, одну только память о добре, которое я сделал погрязшему в грехах фермеру, я предпочитаю всем земным благам, каких только может желать человек. Подумайте, какой он получил урок! Я же для себя не извлек из этого ровным счетом ничего. Но стоит ли роптать? Мне было всего одиннадцать лет, а я уже сумел принести непреходящее благо своему ближнему.

Мораль здесь совершенно ясна, и, думается, ее не лишен также другой случай, о котором я намерен вам рассказать.

Мне вспоминается одно небольшое происшествие времен моего детства, из которого вы точно также можете извлечь мораль. Случилось оно в один из тех дней, когда я, по обыкновению, пошел удить рыбу. А надо вам сказать, что у нас в доме существовал некий семейный предрассудок против рыбной ловли без

разрешения. Но иной раз испрашивать разрешения просто не имело смысла. Поэтому я ходил ловить рыбу тайком, без спросу, подымаясь вверх по берегу Миссисипи. Это были чудесные прогулки, они доставляли мне огромное удовольствие.

Так вот, пока меня не было, в нашем городке произошла трагедия. Какого-то человека, ненадолго оставившегося в наших краях по пути из Калифорнии на Восток, проткнули ножом в безобразной уличной драке.

Ну а мой отец был мировым судьей; а будучи мировым судьей, он был и следователем; а будучи следователем, был также и констеблем; а будучи констеблем, был и шерифом; а будучи шерифом, он был также секретарем округа и занимал еще с десятков всяких других должностей, которых я сейчас уже не могу и припомнить.

Я не сомневался, что он властен над жизнью и смертью, только не пользуется этой своей властью по отношению к другим мальчикам. Он был человек суровый. Когда я совершал какой-нибудь предосудительный в его глазах поступок, то старался держаться от него подальше. По этой самой причине я не часто показывался ему на глаза.

Так вот, об убийстве этого приезжего дали знать надлежащему представителю властей — следователю, и труп перенесли в его канцелярию — нашу парадную гостиную, — где и оставили до утра, когда должно было состояться дознание.

Часов в девять или десять вечера я вернулся с рыбной ловли. Было уже поздно, рассчитывать на любезный прием со стороны моих родичей не приходилось, так что я снял башмаки и тихонько проскользнул черным ходом в гостиную. Я очень устал и не хотел беспокоить домашних. Поэтому я ощупью добрался до дивана и лег.

Заметьте, я ничего не знал о том, что случилось в мое отсутствие. Но у меня и без того душа была не на месте — я боялся, что меня накроют, и сильно сомневался, что смогу благополучно вывернуться на другое утро. Я пролежал некоторое время без сна, а когда

глаза мои привыкли к темноте, стал различать что-то в другом конце комнаты.

Это было нечто чуждое нашей гостиной. Нечто жуткое и мрачное с виду. Я сел на своем диване и стал глядеть во все глаза, дивясь, откуда, прах ее возьми, взялась эта длинная, бесформенная, зловещая штука.

Сначала я хотел подойти и посмотреть, что там такое. Потом подумал: «Ну ее совсем».

Заметьте, я нисколько не струсил, а просто решил, что заниматься расследованием едва ли благоразумно. И все же я не мог оторвать глаз от странного предмета. И чем больше я на него смотрел, тем больше мне становилось не по себе. Но я решил быть мужчиной. Я подумал, что лучше всего повернуться к стене и, сосчитав до ста, подождать, пока пятно лунного света подползет к странной груде и я увижу, что это в конце-то концов такое.

Так вот, я повернулся к стене и начал считать, но все время сбивался. Мысль об этой ужасной груде не оставляла меня. Я то и дело терял счет, начинал снова и снова. Нет, право, я нисколько не боялся, а просто был раздосадован. А досчитав наконец до ста, я осторожно повернулся и, преполненный решимости, открыл глаза.

В лунном свете я увидел белую, как мрамор, человеческую руку. Сперва я был только ошарашен. А потом мурашки опять забегали у меня по коже, и я решил считать сызнова. Не знаю, сколько часов или недель пролежал я, усердно считая. А лунный свет все полз вверх по белой руке и вырвал из темноты свинцово-серое лицо и ужасную рану под сердцем.

Не могу сказать, что я был охвачен ужасом или хотя бы просто струхнул. Но глаза его произвели на меня такое впечатление, что я тут же выскочил в окно. Поверьте, рама была мне ни к чему. Но мне легче было прихватить ее с собой, чем оставить на прежнем месте.

Так вот, пусть это послужит вам уроком, — сам уж не знаю, каким именно. Но в семьдесят лет я считаю это воспоминание особенно ценным для себя. С тех пор

оно незаметно для меня влияло на все мои поступки. Все, что принадлежит к далекому прошлому, имеет над нами непреходящую власть. Конечно, мы учимся по-разному. Но особенно плодотворно учимся мы, когда сами не подозреваем об этом.

А вот еще один случай, который многому меня научил.

В семнадцать лет я был очень застенчив, и в эту самую пору одна шестнадцатилетняя девушка приехала к нам погостить на недельку. Она была красавицей, и я утопал в неземном блаженстве.

Однажды мать предложила мне повести гостью в театр, чтобы развлечь ее. Меня это не очень-то обрадовало, потому что мне было семнадцать лет и я стыдился показываться на улице с девушкой. Я не представлял себе, как смогу наслаждаться ее обществом на людях. Но в театр мы все-таки пошли.

Я чувствовал себя не очень-то хорошо. Я не мог смотреть пьесу. В скором времени я понял, что дело тут не столько в присутствии красивой спутницы, сколько в моих башмаках. Это были очень нарядные башмаки, они сидели на мне без единой морщинки, как собственная кожа, но были раз в десять теснее. Я забыл о пьесе, о девушке, обо всем на свете, кроме этих башмаков, и не успокоился до тех пор, пока отчасти не стащил один из них с ноги. При этом я испытал ни с чем не сравнимое эстетическое наслаждение. Теперь уж я не мог удержаться и стащил с ноги второй башмак, тоже отчасти. После этого мне пришлось снять их совсем и только придерживать их пальцами ног, чтобы они не сбежали от меня.

С этой минуты пьеса начала доставлять мне удовольствие. Я и не заметил, как опустился занавес, и тут оказалось, что на мне нет башмаков. Мало того, они и не думали налезать на ноги. Я что было сил старался их натянуть. А зрители, сидевшие в нашем ряду, встали с мест, подняли шум, принялись меня срамить, и мне с моей красавицей пришлось уйти.

И мы ушли — одна рука у меня была занята девушкой, а другая — башмаками.

Так мы и плелись до самого дома — целых шестнадцать кварталов, — а за нами свита в милю длинной. Всякий раз, как мы проходили мимо фонаря, я готов был провалиться сквозь землю. Но в конце концов мы все же добрались до дома, — а ведь я, заметьте, был в белых носках.

Даже если я доживу до девятисот девяноста девяти лет, то и тогда, пожалуй, мне не забыть эту прогулку. Я буду помнить ее так же живо, как и еще одно огорчение, которое мне довелось испытать в другой раз.

Некогда в доме у нас был слуга-негр, который страдал одним существенным недостатком. Он всякий раз забывал спросить у посетителя, что ему нужно. Поэтому я часто вынужден был принимать множество ненужных мне людей.

Однажды, когда я был занят по горло, он принес мне визитную карточку, на которой было выгравировано неизвестное мне имя. «Что ему от меня нужно?» — спросил я, а Сильвестр отвечал: «Я не посмел расспрашивать его, сэр; он джентльмен, это сразу видеть». — «Ступай сию же минуту и узнай, зачем он пришел, — рассердился я. — Справься, какое у него дело». Ну, Сильвестр скоро вернулся и доложил, что незнакомец продает громоотводы. «Честное слово, — заметил я, — веселенькие настали времена, если даже у агентов по продаже громоотводов завелись гравированные визитные карточки». — «У него есть еще и картинки», — сказал Сильвестр. «Ах, картинки! Выходит, он продает и гравюры! А нет ли при нем кожаной папки?» Но Сильвестр был слишком перепуган, чтобы обратить на это внимание. Тогда я решил: пойду вниз сам и покажу этому выскочке, где раки зимуют!

Я спустился по лестнице, все сильнее подогревая свою ярость. Дойдя до гостиной, я был уже в совершеннейшем бешенстве, тщательно скрытом под личной холодной учтивости. Еще с порога я и впрямь увидел в руках у посетителя кожаную папку. Но я совсем упустил из виду, что папка эта была наша собственная.

И поверите ли, этот человек сидел на стуле, а перед ним на полу была разложена целая коллекция гра-

вюр. Только мне было невдомек, что это наши гравюры, разложенные здесь неизвестно для чего кем-то из моих домочадцев.

Я довольно резко осведомился, что ему угодно. Удивленным и робким голосом он пробормотал, что познакомился с моей женой и дочерью в Онтеоре и они пригласили его зайти. «А ведь ловко врет», — подумал я и остановил его ледяным взглядом.

Он, видимо, был в некотором замешательстве и сидел, перебирая гравюры в папке, пока я не сказал, что он напрасно беспокоится, так как все это у нас уже есть. Он несколько воспрянул духом и нагнулся было, чтобы поднять с полу еще одну гравюру. Но я снова остановил его, сказав: «И это у нас тоже есть». Тогда лицо у него сделалось жалкое и растерянное, а я в душе поздравил себя с победой.

Наконец этот джентльмен спросил, не знаю ли я, где живет мистер Уинтон; оказывается, он и с ним свел знакомство в горах. Я охотно согласился указать ему дорогу. И сделал это без промедления. Но когда он ушел, я заподозрил неладное, потому что все его гравюры остались лежать на полу.

А потом пришла моя жена и пожелала узнать, кто у нас был. Я протянул ей визитную карточку и, торжествуя, рассказал обо всем. К моему ужасу, она чуть не лишилась чувств. Потом она объяснила мне, что этот человек — их хороший знакомый, с которым они сдружились летом, и он попросту забыл сказать мне, что его здесь ждут. Она вытолкала меня за дверь со строгим наказом бежать к Уинтонам и поскорее привести его обратно.

Я вошел в гостиную Уинтонов, где хозяйка чопорно сидела в кресле, далеко превосходя меня в своей убийственной холодности. Ну, тут я принялся объяснять, как и что. Миссис Уинтон мигом сообразила, что пора растопить лед. Через пять минут я уже пригласил гостя к завтраку, миссис Уинтон — к обеду, и все прочее в том же роде.

Мы заставили этого человека изменить свои планы и остаться у нас на неделю и окружили его необычай-

ным радушием. Право же, мне кажется, за все это время мы ни на минуту не дали ему протрезвиться.

Надеюсь, вы сделаете какие-нибудь полезные выводы из тех уроков, которые я вам здесь преподавал, и память о них подвигнет вас на возвышенные поступки и породит помыслы, которые будут еще прекраснее прежних... и... и...

И я могу сказать вам только одно, мои милые слушательницы: с вами я провел время куда приятней, чем с той красавицей пятьдесят три года назад.

ПРЕДСТАВЛЯЯ СОБРАВШИМСЯ ДОКТОРА ВАН-ДАЙКА

Официальная цель моего появления здесь — представить вам сегодняшнего оратора, его преподобие доктора Ван-Дайка из Принстонского университета, не рассказывая вам, кто он такой, — это вы уже знаете; не расхваливая его прелестные книги, — они говорят за себя лучше всех моих комплиментов. Так будет ли польза от моего присутствия здесь? Да, будет, ибо мое дело — поговорить и занять время, пока доктор Ван-Дайк обдумает свою речь и решит, стоит ли вообще произносить ее или нет.

Случайное обстоятельство подсказало мне тему для проповеди, — тему, дающую мне возможность выступить в роли учителя; а уж если я питаю к чему страсть, так это к поучениям. Учить себя самого — благородное дело, но еще более благородное — учить других; кстати, последнее куда легче. Эту тему мне подсказала полученная мною от газеты «Дейли ревью» из Иллинойса телеграмма такого содержания: «В какой из ваших книг можно найти определение слова «джентльмен»?» За последний месяц или два я получил множество писем, в которых мне задавали тот же самый вопрос. Ни на одно из них я не ответил. Но раз уж в эту историю ввязался телеграф, то, видимо, придется что-то сказать. Думаю, что я нашел подходящее для этого время и место.

Поводом для всех обращений ко мне послужила заметка агентства Ассошиэйтед Пресс, напечатанная в газетах несколько недель тому назад. Смысл ее заключался в следующем: в городке Джаплин, штат Миссури, скончался недавно какой-то человек, завещавший десять тысяч долларов на внедрение в умы молодых американцев твеновского представления о том, что такое настоящий джентльмен. Сообщение это меня крайне удивило, ибо я за всю свою жизнь ни разу не давал в печати определения слова «джентльмен», имевшего когда-то весьма конкретный смысл, но ныне утратившего всякое ясное, четкое значение и в Америке, и за ее пределами. В старину в Англии, да и на раннем этапе истории Америки словом «джентльмен» пользовались, чтобы весьма определенно и точно охарактеризовать происхождение человека, но отнюдь не его моральный облик. Джентльмен мог совершать самые чудовищные преступления и зверства, какие только известны в летописях Ньюгетской тюрьмы, все от мала до велика могли презирать его и ненавидеть, но отнять у него звание джентльмена никто не имел права. Не то в наши дни: как сейчас определить смысл этого расплывчатого, бесцветного, затрепанного слова? Только самонадеянный, воинствующий невежда возьмет на себя задачу уточнить его значение и, конечно, будет ломать себе голову зря.

Шли недели, а я все еще пребывал в недоумении; но тут я получил эту телеграмму, и разом меня осенило! Думаете, я вспомнил какое-нибудь свое высказывание по поводу этого слова? Отнюдь нет! Мне пришло на память вот что: четыре года тому назад, в марте месяце, некая нью-йоркская леди сообщила в газетном интервью свою точку зрения по данному вопросу; основную мысль она сформулировала так: тот не джентльмен, кто не имеет высшего образования. Вот так штука! Например, Адам! И Аркрайт, и Уатт, и Стефенсон, и Уитни, и Франклин, и Фултон, и Морзе, и Элиас Хоу, и Эдисон, и Грэхем Белл, и Линкольн, и Вашингтон и... и я. Ну и ну! Отобратить и выделить группу великих, группу исполинов, чтобы народу было кого чтить и восхвалять, а затем унижить их, сделать

банальными, смешными, нелепыми, вычеркнуть имена тех, кто творил историю, облагораживал людские души, создавал и защищал цивилизацию. Надо же такое придумать! Вычеркнуть нас из списков! У меня имелись все основания смеяться, и я смеялся, — правда, про себя. Принимая во внимание, что особа, взявшаяся определить слово «джентльмен», должна быть исключительно эрудированной и до тупости самоуверенной, я заподозрил, что это, наверно, покойник Саймон Хэнкс с мыса Код, перевоплотившись в женщину, вновь сошел на землю. Поэт сказал:

Тайн для бога нет и не бывает.
Бог во всем уверен и непогрешим.
На земле же Саймон Хэнкс все знает:
После господа он числится вторым.

Казалось, вопрос решен. Но нью-йоркские газеты уже давно привыкли к тому, что ни одна важная проблема не может считаться окончательно решенной, пока не установлено мое мнение, — так уж у них повелось; и всякий раз редакторы, натываясь на затруднения, посылают ко мне за справками. И вот приехали ко мне в Ривердейл репортеры, чтобы услышать мой приговор. Я лежал в постели, убаюкая свой бронхит, и это позволило мне избежать беседы с приезжими. Я не сказал никому ни слова по этому поводу. Тем не менее на следующее утро в одной из газет появилось длинное вымышленное интервью со мной. Это был единственный случай за много лет, когда у нас или за океаном какая-нибудь газета проявила невежливость и нечестность по отношению ко мне. В высказывании от первого лица приводилось мое мнение по поводу того, что такое джентльмен.

Вы согласитесь, что эта ситуация не лишена юмора, юмора извращенного и низкопробного. Ведь все, кто когда-либо пытался расшифровать современное понятие «джентльмен», пришли к единому заключению, что обязательными качествами его должны быть честность, правдивость, вежливость. Прекрасно. Но вот вам редактор, который посылает ко мне своего представителя — явного мошенника и, следовательно, надувает

своих читателей; а между тем если б я заявил, что этот редактор не джентльмен, то все его друзья, естественно, заставили бы меня обосновать мое обвинение! И тут бы я попал впросак, ибо я сам не знаю, что такое джентльмен в современном смутном понимании этого слова. Честно говоря, для меня все это — четвертое измерение плюс квадратура круга плюс небулярная гипотеза.

Отмечу еще две юмористические детали. Журническое интервью в газете ввело в заблуждение доверчивого обывателя из города Джаплина и нанесло ущерб его законным наследникам. Они не могут получить наследство, ибо оно должно быть использовано на внедрение моей идеи касательно того, что такое джентльмен. Предполагаемым «курсам джентльменства» тоже ничего не достанется, потому что на этот счет нет и не было моих программных высказываний. Капитал заморожен — и, видимо, навсегда. Более мрачной, язвительной, душераздирающей шутки я, пожалуй, никогда не слышал!

Однако неужели нам не удастся определить, что такое американский джентльмен? В целом — нет. Но лучшие, ценнейшие его черты попытаемся выделить. Все остальное тонет в тумане, окутано мраком и неопределенностью. Это — и то и другое, это — все и ничего, как нам ответит наобум любой невежда. А когда мы убедимся, что клубок основательно запутан, но чего-то еще как будто не хватает, припудрим все сверху высшим образованием и поставим точку.

Что же мы называем лучшими, ценнейшими, самыми основными чертами американского джентльмена? Предположим, что это вежливость и безупречная репутация. Но что такое вежливость? Внимание к другим людям. А много ли такого внимания у американцев? По моим наблюдениям, ответ на этот вопрос должен быть отрицательным. Разве это американская черта — внимание к другим? Несколько мне известно, самая американская из всех американских черт — полное отсутствие такого внимания. Даже иностранцы утрачивают свою приятную вежливость, как только нам удастся их американизировать. Если вам прихо-

дилось хотя бы год прожить за границей — будь то среди голых дикарей или же одетых жителей цивилизованных стран, — то первое, что бросится вам в глаза по возвращении в Америку, — это грубое, хамское обращение на каждом шагу. Оскорбления начинаются уже в таможне и преследуют вас неотступно. Те из вас, кому пришлось побывать за границей, с гневом и стыдом подтвердят правду моих слов; остальные признают ее в будущем, когда им придется возвращаться домой из-за океана. Вот вы сели в трамвай, онемев от восторга, ваше сердце переполнено счастьем, слезы застилают глаза, в мозгу поет: «Неужели я снова дома?» Но тут раздается лай кондуктора: «Эй ты, поворачивайся!» И вам становится ясно, что да, действительно, вы дома. Вам становится ясно, что ни в какой другой стране мира, первобытной или цивилизованной, никто не стал бы так изощренно оскорблять ваших кротких родителей или вашу юную сестру, и этого не стерпели бы никакие люди, кроме американцев. Мы позволяем попираť наши элементарнейшие права повсеместно и ежечасно; гражданская честь — понятие, нам совершенно неведомое. Мы никогда не претендовали на звание самой невежливой нации, самой грубой нации, хотя мы вне конкуренции. Не потому ли мы молчим, что мы также — самая скромная нация в мире? Вероятно, да. Вот почему мы до сих пор сохраняем старый, тихий, изысканно-вежливый и отнюдь не характерный для Америки национальный девиз: «E pluribus unum» — «Из множества — единое», вместо того чтобы заменить его другим, современным, истинно американским девизом: «Эй ты, поворачивайся!»

Денно и ночью, не ожидая ни похвал, ни оплаты, я тружусь в поте лица на высоком поприще, которое я добровольно избрал, — на поприще исправления американских нравов. Прошу оказать мне помощь в этом. Вы спросите меня: «А вежлив ли ты сам?» Пожалуй, нет. Ведь я — американец! Почему же тогда я не займусь сперва переделкой собственного нрава? А это я уже объяснил вначале: учить себя самого — благородное

дело, но еще более благородное — учить других; кстати, последнее куда легче.

Итак, закончив эту неофициальную и непрошеную лекцию, я приглашаю настоящего лектора подняться сюда и произнести свою речь; но я это делаю вежливо, — вы никогда не услышите, чтоб я сказал доктору Ван-Дайку, которого я, как и вся наша страна, глубоко уважаю: «Эй ты, поворачивайся!»

ОТ АВТОРА

С капитаном Стормфилдом я был хорошо знаком. Я совершил на его корабле три длинных морских перехода. Это был закаленный, выдававший виды моряк, человек без школьного образования, с золотым сердцем, железной волей, незаурядным мужеством, несокрушимыми убеждениями и взглядами и, судя по всему, безграничной уверенностью в себе. Прямой, откровенный, общительный, привязчивый, он был честен и прост, как собака. Это был очень религиозный человек — от природы и в силу материнского воспитания; и это был изощренный и удручающий сквернослов в силу отцовского воспитания и требований профессии. Родился он на корабле своего отца¹, всю жизнь провел в море, знал берега всех стран, но ни одной страны не знал дальше

¹ По другим сведениям, капитан родился в Коннектикуте, а в море ушел четырнадцати лет.

берега. Когда я впервые встретился с ним, ему было шестьдесят пять лет, и в его черных волосах и бороде сквозили седые нити; но годы еще не наложили своего отпечатка ни на его тело, ни на твердый характер, и огонь, горевший в его глазах, был огнем молодости. Он был чарующе обходителен, когда ему угождали, в противном же случае с ним нелегко было иметь дело.

Воображение у него было богатое, и, вероятно, это влияло на то, как он излагал факты; но если и так, сам он этого не сознавал. Он верил, что каждое его слово — правда. Когда он рассказывал мне про свои диковинные и жуткие приключения на Чертовой Дороге — обширном пространстве в южной части Тихого океана, где стрелка компаса не способна выполнять свою работу, а только крутится и крутится как сумасшедшая, — я его пожалел и не стал высказывать предположения, что все это ему приснилось, потому что понял: он-то говорит всерьез; но про себя я подумал, что это было видение или сон. В глубине души я уверен, что его путешествие в Иной Мир тоже было сном, но я и тут смолчал, чтобы не обидеть его. Он был убежден, что в самом деле совершил это путешествие; я слушал его внимательно, с его разрешения записал стенографически события каждого дня, а потом привел свои записи в порядок. Я слегка подправил его грамматику и кое-где смягчил слишком крепкие выражения; в остальном передаю его рассказ так, как слышал от него.

МАРК ТВЕН.

Я умирал, это мне было понятно. Я ловил ртом воздух, потом на долгое время затихал, а они стояли возле моей койки, молчаливые и неподвижные, дожидаясь моей кончины. Изредка они переговаривались между собой, но их слова звучали глуше и глуше, дальше и дальше. Впрочем, мне все было слышно.

Старший помощник сказал:

— Как начнется отлив, он испустит дух.

— Откуда вы знаете? — спросил Чипс, судовой плотник. — Здесь, посреди океана, отлива не бывает.

— Как это нет, бывает! Да все равно, так уж положено.

Снова тишина — только плескали волны, скрипел корабль, раскачивались из стороны в сторону тусклые фонари, да тоненько посвистывал в отдалении ветер. Потом я услышал откуда-то голос:

— Уже восемь склянок, сэр.

— Так держать, — сказал помощник.

— Есть, сэр.

Еще чей-то голос:

— Ветер свежеет, сэр, идет шторм.

— Приготовиться, — скомандовал помощник. —

Взять рифы на топселе и бомбрамселе!

— Есть, сэр.

Через некоторое время помощник спросил:

— Ну, как он?

— Отходит, — ответил доктор. — Пускай полежит еще минут десять.

— Все приготовили, Чипс?

— Все, сэр, и парусину и ядро. Все готово.

— А библия, отпевание?

— Не задержим, сэр.

Снова стало тихо, даже ветер свистел теперь еле-еле, будто во сне. Потом послышался голос доктора:

— Как вы думаете, он знает, что его ждет?

— Что пойдет в ад? По-моему, да.

— Сомнений, надо полагать, быть не может? —

Это был голос Чипса, и прозвучал он печально.

— Какое еще сомнение? — сказал помощник. — Да он и сам на этот счет не сомневался, чего же вам еще?

— Да, — согласился Чипс, — он всегда говорил, что там его, наверное, ждут.

Долгая, томительная тишина. Потом голос доктора, глухой и далекий, словно со дна глубокого колодца:

— Все. Отошел. Ровно в двенадцать часов четырнадцать минут.

Тьма. Сразу же непроглядная тьма! Я понял, что я умер.

Я почувствовал, что куда-то нырнул, и догадался, что птицей взлетаю в воздух. На миг промелькнул подо мною океан и корабль, потом стало темно, ничего не видно, и я, разрезая со свистом воздух, понесся вверх. «Я весь тут, — мелькнуло у меня в мозгу, — платье на мне, все остальное тоже, вроде как ничего не забыл. Они похоронят в океане мое чучело, вместо меня. Я-то весь тут!»

Вдруг я увидел какой-то свет и в следующее мгновение влетел в море слепящего огня, и меня понесло сквозь пламя. На моих часах было 12.22.

Знаешь, что это было? Солнце. Я так и догадался, и позже моя догадка подтвердилась. Я был там через восемь минут после того, как снялся с якоря. Это помогло мне определить скорость хода: сто восемьдесят шесть тысяч миль в секунду. Девяносто три миллиона миль за восемь минут! Ну и возгордился же я — таких гордых призраков еще свет не видел. Я радовался, как ребенок, и жалел, что не с кем здесь устроить гонки.

Не успел я это подумать, как солнце уже осталось далеко позади. Оно имеет меньше миллиона миль в диаметре, и я пролетел через него, не успев даже согреться. И снова попал в крошечную тьму. Да, во тьму, но сам-то я не был темным. Мое тело светилось мягким призрачным светом, и я подумал, что похож, вероятно, на светляка. Откуда исходит свет, я не мог понять, но время на часах было видно, а это самое главное.

Вдруг я заметил неподалеку свет, похожий на мой, и, обрадовавшись, приложил руки трубкой ко рту и окликнул:

- Эй на корабле!
- Есть, привет вам, друг!
- Откуда?
- С Чатам-стрит.
- Куда направляетесь?
- А вы думаете, я знаю?
- Небось туда же, куда и я. Имя?
- Соломон Голдстейн. А ваше?
- Капитан Бен Стормфилд, бывший житель Фэрхейвена и Фриско. Пристраивайтесь, дружище!

Он принял мое приглашение. В компании сразу стало веселее. Я от природы общителен, терпеть не могу одиночества. Но мне с детства внушили предубеждение против евреев — знаете, как внушают всем христианам, — хотя души моей оно не затронуло, дальше головы не пошло. Но даже если бы и пошло, в тот момент оно бы исчезло, — до того я томился одиночеством и мечтал о каком-нибудь попутчике. Господи, когда летишь в... ну, словом, туда, куда я летел, спеси в тебе поубавляется и бываешь рад любому, невзирая на качество.

Мы помчались рядышком, беседуя как старые знакомые, и это было очень приятно. Я решил, что сделаю доброе дело, если успокою Соломона и устраню все его сомнения. Когда в чем-нибудь не уверен, это всегда портит настроение, я по себе знаю. Итак, поразмыслив, я сказал ему, что, поскольку он летит со мной рядом, это доказывает, куда он летит. Вначале он был ужасно огорчен, но потом смирился, сказал, что так, пожалуй, даже лучше: ведь ангелы, конечно, не примут его в свою компанию, еще прогонят, если он попробует к ним втереться; так было в Нью-Йорке, а высшее общество, наверно, везде одинаково. Он просил меня не покидать его, когда мы прибудем в порт назначения, ему нужна моя поддержка — ведь там у него не будет никого из своих. Бедняга так меня тронул, что я пообещал остаться с ним «на веки вечные».

Потом мы долго молчали; я не тревожил его, чтобы дать ему привыкнуть к новой мысли. Ему это будет полезно. Время от времени я слышал его вздохи, а потом заметил, что он плачет. Тут, признаюсь, я

рассердился на него и подумал: «Типичный еврей! Пообещал какому-нибудь деревенщине сшить пиджак за четыре доллара, а теперь пожалел, решил, что, если бы вернулся, постарался бы всучить ему что-нибудь похуже качеством за пять. Бездушный народ, и никаких моральных принципов!» А он все плакал и всхлипывал, а я от этого еще пуще злился на него и все меньше его жалел. Под конец я уже не сдержался и сказал:

— Ну хватит! Черт с ним, с пиджаком! Выбросьте это из головы!

— Пиджа-ак?

— Ну да. Уж горевали бы о чем-нибудь важном!

— Кто вам сказал, что я горюю о пиджаке?

— А о чем же?

— Ах, капитан, я схоронил свою маленькую дочку и теперь никогда, никогда ее не увижу! Я не выдержу этого горя!

Ей-богу, он меня как ножом полоснул. Дай мне целую эскадру, я не соглашусь еще раз пережить такой стыд за свои гадкие мысли. И я в этом признался ему, покаялся перед ним и так себя ругал, так ругательно ругал, что даже его расстроил и уж перестал говорить — половины того, что хотел, не высказал. А он принялся умолять меня, чтобы я не говорил про себя таких страшных вещей и не раздувал истории, что я ошибся, а ошибка — не преступление!

Правда, это было великодушно с его стороны? Что, нет? По-моему, да. Я считаю, что из него мог бы получиться отменный христианин, и я ему прямо это сказал. И если бы было не поздно, я бы жизни не пожалел, чтобы убедить его креститься.

Мы снова заговорили как друзья, и он уже больше не таил своей печали, а изливался мне открыто, а я с открытой душой слушал и слушал, пока она не переполнилась. Господи, какое это было горе! Он обожал свою дочку, лелеял, берег как зеницу ока. Ей было десять лет, она умерла шесть месяцев тому назад, и он был рад собственной смерти, так как надеялся на том свете снова заключить ее в объятия и больше никогда с ней не расставаться. И вот погибла его мечта. Он потерял свою дочку — *навсегда*. Теперь это слово приоб-

рело новый смысл. Я был ошеломлен, подавлен. Всю жизнь мы верим, что встретимся снова со своими умершими друзьями, ни на минуту в том не сомневаемся, нам кажется, что мы это *знаем*. И это дает нам силы жить. И вот рядом со мной отец, потерявший эту надежду. Как же я не подумал? Почему не промолчал? Он бы сам потом догадался! Слезы все еще струились по его щекам, из груди рвались стоны, губы вздрагивали, и он шептал:

— Бедная крошка Минни, и я бедный, несчастный!

А я повторял про себя его слова: «Бедная крошка Минни, и я бедный, несчастный!»

Я этого не забыл, это застряло как заноза у меня в сердце. Не раз потом, вспоминая трагедию бедного еврея, я говорил себе: «Эх, вот если бы я держал путь в рай, тогда я бы поменялся с ним местами, и он сидел бы со своей дочкой, пусть меня бог накажет, если я вру!» Вот попадешь сам в такое положение, тогда поймешь мое чувство!

Глава вторая

Мы болтали еще долго и, сильно уставшие, заснули часа в два ночи; спали крепким сном и проснулись бодрые, освежившиеся, около полудня. Есть нам не хотелось, но покурить бы я с великим удовольствием, будь у меня табак и трубка. И выпить бы тоже не отказался.

Необходимо было привести в порядок мысли. Проснувшись, мы сперва не могли сообразить, что с нами произошло, нам казалось, что мы все видели во сне. Да и потом не сразу избавились от ощущения, что это был сон. Однако все же избавились. И тут, вспомнив, куда летим, мы содрогнулись от ужаса. Потом ужас сменился изумлением. И радостью. Радостью — потому что мы еще не прибыли. Во мне шевельнулась надежда: авось не скоро долетим!

— Сколько мы уже прошли, а, капитан Стормфилд?

— Миллиард сто миллионов миль, а может даже миллиард двести.

— Ах, майн готт, какая быстрота!

— Еще бы! Быстрее нас — только мысль. Даже курьерскому поезду потребовалось бы дней двадцать пять, от силы двадцать четыре, чтобы объехать земной шар. А мы за одну секунду можем облететь его четыре раза. Эх, жаль, Соломон, что не с кем устроить нам гонки!

Во второй половине дня мы заметили слабый свет с ост-норд-ост-тэн-оста примерно на два румба от ветра. Мы его окликнули, и он пристроился к нам. Это оказался покойник по фамилии Бейли, из Ошкоша, покинувший землю накануне в семь часов десять минут вечера. Малый не плохой, но, как видно, любитель погрузиться и помечтать. По политическим убеждениям — республиканец, вбивший себе в голову, что никакая сила, кроме его партии, не способна спасти цивилизацию. Он был в меланхолическом настроении, но мы его расшевелили, втянули в беседу, и он, немножко повеселев, кое-что рассказал о себе. Между прочим и то, что покончил жизнь самоубийством. Мы это и раньше заподозрили — по дырке у него на лбу: свайкой так не проткнешь.

Потом он опять предался грусти и поведал нам причину. Он был щепетильно честен, а перед смертью сделал некий политический ход, и теперь все сомневался, вполне ли это было этично. У них в городке, где он жил, предстояли выборы на замещение какой-то должности в муниципалитете, и успех зависел от перевеса в один голос. А Бейли знал, что не сможет присутствовать на выборах, так как в это время будет уже здесь, где мы. И он подумал, что если кто-нибудь из членов демократической партии тоже устранился от выборов, тогда успех республиканскому кандидату все равно обеспечен. И вот, уже решившись на самоубийство, он отправился к одному своему другу — демократу, человеку строжайших нравственных правил, и убедил его составить ему пару. Этим он спас республиканский список и лишь тогда застрелился. Но теперь

его немножко тревожил этот поступок: он не был уверен, что, как пресвитерианин, поступил правильно.

Соломон — тот сразу проникся к нему симпатией: по его мнению, выдумка Бейли была замечательная, и он, что называется, ел его глазами, завидовал его уму и, ухмыляясь этакой хитрой, чисто еврейской ухмылкой, хлопал себя по ляжке и восклицал:

— Ох, Бейли, ты меня прямо-таки подбиваешь крепиться!

А застрелился-то Бейли из-за девушки — такой Кандес Миллер. Он никак не мог добиться от нее ответа, любит ли она его, хотя казалось, что любит, и он питал надежду жениться на ней. Судьбу его решила записка, в которой Кандес призналась ему, что любит его как друга и хотела бы навсегда сохранить с ним добрые отношения, но сердце ее принадлежит другому. Рассказывая нам это, бедняга Бейли не выдержал и заплакал.

И ведь вот как иногда бывает! Внезапно мы заметили позади голубоватый свет, мы его окликнули, и, когда он приблизился к нам, Бейли вскричал:

— Господи, Том Уилсон! Вот так сюрприз! А ты каким образом очутился здесь, приятель?

Уилсон так умоляюще поглядел на него, что у меня сердце защемило. Он сказал:

— Не радуйся мне, Джордж. Я этого не стою! Я подлый негодяй, мне не место среди добрых людей.

— Полно вздор молоть! С чего это ты так? — удивился Бейли.

— Джордж, я поступил как предатель! Ты был мой самый лучший друг, мы с тобой дружили с детства, а я причинил тебе такое страшное зло! Но мне и в голову не приходило, что моя дурацкая шутка может иметь такие роковые последствия! Это я написал тебе письмо, будто от ее имени. Она ведь любила тебя, Джордж!

— Не может быть!

— Да, любила! Она первая вбежала к тебе в дом, увидела тебя мертвого, в луже крови, и рядом — письмо, подписанное ее именем, и поняла все. Она

упала на твое бездыханное тело, осыпала поцелуями твое лицо, глаза, клялась тебе в любви, рыдала и сокрушалась. И выходит, что это я тебя убил, и я же разбил ее сердце. Я не мог этого пережить, и — как видишь — я здесь!

Ну-ну, еще один самоубийца! Бейли понимал, что назад дороги нет. На него было жалко смотреть. Он сгоряча решил убить себя, поддавшись отчаянию и даже не проверив, правда ли, что письмо написала та девушка. Он все повторял, что не может простить себе такую поспешность, и почему он не подождал, почему был глух к голосу разума, и все прикидывал, как ему следовало поступить, и как он поступил бы теперь, если бы можно было вернуться. Но что толку! Как ни жалко нам было его, мы знали, что возврата нет. Ужасная история! Люди думают, что смерть приносит покой. Ничего, умрут — тогда узнают!

Соломон оттянул Бейли в сторонку, чтобы успокоить его. Это он правильно сделал: люди, у которых свое горе, умеют утешить других.

Примерно через неделю мы нагнали еще одного путешественника. На сей раз это оказался негр. Ему было лет тридцать восемь — сорок, почти половину своей жизни он провел в рабстве. Звали его Сэм. Симпатичный малый, добродушный и жизнерадостный. Уже позднее я понял, что каждый вновь прибывший сперва производит на остальных гнетущее впечатление: он только и думает, что о своих родных, о том, как они его оплакивают, и ни о чем другом он не способен говорить, и требует от всех внимания и сочувствия, и со слезами рассказывает, что за славная, добрая у него жена или бедная старушка мать, сестренка или братья, и, конечно, все это надо выслушивать с подобающей кротостью, и настроение у всех портится на несколько дней: каждый начинает вспоминать свое горе — свою семью и своих близких. Но самое тяжкое, когда новичок — молодой человек, у которого осталась на земле возлюбленная. Тут уж нет конца слезам, и сетованиям, и разговорам. И — в который раз — этот осточертевший вопрос: «Как вы думаете, она скоро откажется жить, скоро придет сюда?»

Что можно ответить? Только одно: «Будем надеяться». Но когда ты повторил это несколько тысяч раз, то уже терпение лопается и думаешь: лучше бы мне не умирать! А покойник — он что, он тот же человек и, естественно, приносит с собой свои привычки. Ведь вот, приезжая в какой-нибудь город, в любой город на свете, слышим же мы вечно одни и те же вопросы: «Вы у нас впервые?», «Как вам здесь нравится?», «Когда вы приехали?», «Сколько намерены здесь пробыть?».

Иной раз удираешь на следующий же день, лишь бы скрыться от этих вопросов. Но со скорбящими влюбленными мы придумали лучше: мы соединили их в одну группу, предоставив им утешать друг друга. Им это не повредило, напротив — даже понравилось: сочувствия и соболезнований хоть отбавляй, а больше им ничего и не нужно.

У Сэма оказалась в кармане трубка, табак и спички. Не могу передать, как я обрадовался. Но радость моя быстро померкла, — спички не загорались. Бейли объяснил нам причину: мы летим в безвоздушном пространстве, а для огня необходим кислород. Все-таки я посоветовал Сэму не бросать курительные принадлежности — авось мы еще влетим в атмосферу какого-нибудь светила или планеты и, если позволят ее размеры, может быть, успеем сделать одну-две затяжки. Но Бейли сказал, что это маловероятно.

— Наши тела и одежда утратили свои земные свойства, — пояснил он, — иначе мы мигом сгорели бы, когда прорывались сквозь слои атмосферы, окружающей землю. И табак тоже утратил свои земные свойства: он теперь негорючий.

Вот такая штука! Все же я предложил сохранить табачок — уж в аду-то он загорится!

Когда негр услышал, куда я лечу, он очень расстроился, не хотел верить и принялся спорить со мной и доказывать, что я ошибаюсь, но я несколько не сомневался и сумел его убедить. Он жалел меня как самый близкий друг и все утешал, что, может быть, там не так уж жарко, как говорят, и успокаивал, что я привыкну, а привычка ведь все облегчает. Его добрые слова расположили меня к нему, а когда он предложил

мне на память свой табак и трубку, я совсем растаял. Славный человек — ну как все негры. Чтобы у негра было злое сердце, этого я почти никогда не встречал.

Мелькали недели; время от времени к нам присоединялись новые спутники, и к концу первого года нас уже было тридцать шесть человек. Мы были похожи на рой светляков — прелестное зрелище! Нас мог бы набраться целый полк, если бы все мы летели вместе, но, к сожалению, не у всех была одинаковая скорость. Правда, эскадра обычно равняется по тихходам, и я еще подтянул их немного, установив норму двести тысяч миль в секунду, но все же, те, кто спешил поскорее встретиться с друзьями, умчались вперед, и мы не стали их удерживать. Лично я не торопился. Мои дела подождут! Позади остались чахоточные и прочие больные — они ползли, как черепахи, и мы потеряли их из виду. Нахалов и скандалистов, которые поднимают шум из-за всякой чепухи, я прогнал с дороги, отчитав как следует и предупредив, чтобы держались подалее. С нами оставался разный народ — и помоложе и постарше, в общем ничего, не плохие люди, хотя надо признать, что кое-кто из них не вполне соответствовал требованиям.

Глава третья

Так вот, когда я пробыл покойником лет тридцать, меня начала разбирать тревога. Ведь все это время я несся в пространстве вроде кометы. Я сказал «вроде»! Но поверь, Питерс, я все кометы оставил позади! Правда, ни одна из них не следовала в точности по моему курсу — кометы движутся по вытянутому кругу, наподобие лассо; я же мчался в загробный мир прямо, как стрела; но изредка я замечал такую комету, которая час-другой шла моим курсом, и тогда у нас затевались гонки. Только гонки эти бывали обычно одно-сторонние: я проносился мимо кометы, а она как будто стояла на месте. Обыкновенные кометы делают не более двухсот тысяч миль в минуту. Так что когда мне попадалась одна из них, ну, например, комета Энке или Галлея, я едва успевал крикнуть: «Здравствуй!» и

«Прощай!» Разве же это гонки? Такую комету можно сравнить с товарным поездом, а меня — с телеграммой. Впрочем, выбравшись за пределы нашей астрономической системы, я начал наткаться и на кометы иного рода, в некоторой мере мне под стать. У нас таких нет и в помине! Однажды ночью я шел ровным ходом, под всеми парусами, попутным ветром, считая, что делаю не менее миллиона миль в минуту, если не больше, и вдруг заметил удивительно крупную комету на три румба к носу от моего правого борта. По ее кормовым огням я определил ее направление — норд-ост-тэн-ост. Она летела так близко от моего курса, что я не мог упустить этот случай, и вот я отклонился на румб, закрепил штурвал и бросился догонять ее. Ты бы слышал, с каким свистом я разрезал пространство, поглядел бы, какую я поднял электрическую бурю! Через полторы минуты я был весь охвачен электрическим сиянием, до того ярким, что на много миль вокруг сделалось светло, как днем. Издали комета светилась синеватым огоньком, точно потухающий факел, но чем ближе я подлетал, тем яснее было видно, какая она огромная. Я нагонял ее так быстро, что через сто пятьдесят миллионов миль уже попал в ее фосфоресцирующий кильватер и чуть не ослеп от страшного блеска. Ну, думаю, этак в нее и врезаться недолго, и, подавшись в сторону, стал набирать скорость. Мало-помалу я приблизился к ее хвосту. Знаешь, что это напоминало? Точно комар приблизился к континенту Америки! Я все не сбавлял ходу. Постепенно я прошел вдоль корпуса кометы более ста пятидесяти миллионов миль, но убедился по ее очертаниям, что не достиг даже талии. Эх, Питерс, разве на земле мы знаем толк в кометах?! Если хочешь увидеть комету, достойную внимания, надо выбраться за пределы нашей солнечной системы, туда, где они могут развернуться, понимаешь? Я, друг мой, повидал там такие экземпляры, которые не могли бы влезть даже в орбиту наших самых известных комет — хвосты у них обязательно свисали бы наружу!

Ну, я пронесся еще сто пятьдесят миллионов миль и, наконец, поравнялся с плечом кометы, если позво-

лительно так выразиться. Я был собою весьма доволен, право слово, пока вдруг не заметил, что к борту кометы подходит вахтенный офицер и наставляет подзорную трубу в мою сторону. И сразу же раздается его команда:

— Эй там, внизу! Наддать жару, наддать жару! Подбросить еще сто миллионов миллиардов тонн серы!

— Есть, сэр!

— Свисти вахту со штирборта! Всех наверх!

— Есть, сэр!

— Послать двести тысяч миллионов человек поднять бомбрамсели и трюмсели!

— Есть, сэр!

— Поднять лисели! Поднять все до последней тряпки! Затянуть парусами от носа до кормы!

— Есть, сэр!

Я сразу понял, Питерс, что с таким соперником шутки плохи. Не прошло и десяти секунд, как комета превратилась в сплошную тучу огненно-красной парусины; она уходила в невидимую высь, она точно раздулась и заполнила все пространство; серный дым валом повалил из топок — нельзя описать, что это было, а уж про запах и говорить нечего. И как понеслась эта машина! И что за шум на ней поднялся! Свистали тысячи боцманских дудок, и команда, которой хватило бы, чтобы населить сто тысяч таких миров, как наш, ругалась хором. Ничего похожего я в своей жизни не слышал.

С ревом и грохотом мы мчались рядом изо всех сил, — ведь в моей практике еще не бывало, чтобы какая-нибудь комета обогнала меня, и я решил: хоть лопну, а добьюсь победы. Я знал, что заслужил определенную репутацию в мировом пространстве, и не собирался ее терять. Я заметил, что обхожу комету медленнее, чем вначале, но все же обхожу. На комете царило страшное волнение. Более ста миллиардов пассажиров высыпало на палубу, все они сгрудились у левого борта и стали держать пари, кто победит в наших гонках. Естественно, это вызвало крен кометы и уменьшило ее скорость. Ух, как рассвирепел помощник капитана! Он бросился в толпу со своим рупором в руках и заорал:

— Отойти от борта! От борта, вы!..¹ Не то всем вам, иднотам, черепа раскрою!

Ну, а я потихоньку обгонял и обгонял, пока не подпорхнул к самому носу этого огненного чудища. Теперь уже и капитана вытащили из постели, и он стоял на передней палубе, освещенный багровым заревом, рядом со своим помощником, без сюртука, в ночных туфлях, волосы торчат во все стороны, как воронье гнездо, подтяжки с одного боку свисают. Вид у него и у помощника был порядком расстроенный. Пролетая мимо них, я просто не в силах был удержаться, показал им нос и крикнул:

— Счастливо оставаться! Прикажете передать привет вашим родственникам?

Это была ошибка, Питерс! Я не раз потом пожалел о своих словах. Да, это была ошибка! Понимаешь, капитан уже готов был сдаться, но такой насмешки он стерпеть не мог. Он повернулся к помощнику и спрашивает:

— Хватит у нас серы на весь рейс?

— Да, сэр.

— Это точно?

— Да, сэр. Хватит с избытком.

— Сколько у нас тут груза для Сатаны?

— Миллион восемьсот тысяч миллиардов казарков.

— Прекрасно, тогда пусть его квартиранты померзнут до прибытия следующей кометы. Облегчить судно! Живо, живо, ребята! Весь груз за борт!

Питерс, посмотри мне в глаза и не пугайся. На небесах я выяснил, что каждый казарк — это сто шестьдесят девять таких миров, как наш. Вот какой груз они вывалили за борт. При падении он смел начисто кучу звезд, точно это были свечки и кто-то их задул. Что касается гонок, то на этом все кончилось. Освободившись от балласта, комета пронеслась мимо меня так, словно я стоял на якоре. С кормы капитан показал мне нос и прокричал:

¹ Капитан Стормфилд не мог вспомнить это слово. По его мнению, оно было на каком-то иностранном языке. (*Прим. автора.*)

— Счастливо оставаться! Теперь, может быть, вы пожелаете передать привет вашим близким в Вечных Тропиках?

Потом он натянул на плечо болтавшийся конец подтяжек и пошел прочь, а через каких-нибудь три четверти часа комета уже опять лишь мелькала вдали слабым огоньком. Да, Питерс, я совершил ошибку — дернуло же меня такое сказать! Я, наверно, никогда не перестану жалеть об этом. Я выиграл бы гонки у небесного нахала, если бы только придержал язык.

Но я несколько отвлекся; возвращаюсь к своему рассказу. Теперь ты можешь себе представить мою скорость. И вот после тридцати лет такого путешествия я, повторяю, забеспокоился. Не скажу, что я не получал удовольствия, — нет, я повидал много нового, интересного; а все-таки одному как-то, понимаешь, скучно. И хотелось уж где-нибудь ошвартоваться. Ведь не затем же я пустился в путь, чтобы вечно странствовать! Вначале я был даже рад, что дело затягивается, — я ведь полагал, что меня ждет довольно жаркое местечко, но в конце концов мне стало казаться, что лучше пойти ко всем... словом, куда угодно, чем томиться неизвестностью.

И вот, как-то ночью... там постоянно была ночь, разве что когда я летел мимо какой-нибудь звезды, которая ослепительно сияла на всю вселенную, — уж тут-то, конечно, бывало светло, но через минуту или две я поневоле оставлял ее позади и снова погружался во мрак на целую неделю. Звезды находятся вовсе не так близко друг от друга, как нам это кажется... О чем бишь я?.. Ах да... лечу я однажды ночью и вдруг вижу впереди на горизонте длинейшую цепь мигающих огней. Чем ближе, тем они все росли и ширились и вскоре стали похожи на гигантские печи.

— Прибыл наконец, ей-богу! — говорю я себе. — И. как следовало ожидать, отнюдь не в рай!

И лишился чувств. Не знаю, сколько времени длился мой обморок, — наверно, долго, потому что, когда я очнулся, тьма рассеялась, светило солнышко и

воздух был теплый и ароматный до невозможности. А местность передо мной расстилалась прямо-таки удивительной красоты. То, что я принял за печи, оказалось воротами из сверкающих драгоценных камней высотой во много миль; они были вделаны в стену из чистого золота, которой не было ни конца ни края, ни в правую, ни в левую сторону. К одним из ворот я и пошел как угорелый. Тут только я заметил, что в небе темно от миллионов людей, стремившихся туда же. С каким гулом они мчались по воздуху! И вся небесная твердь кишела людьми, точно муравьями; я думаю, их там было несколько миллиардов.

Я опустился, и толпа повлекла меня к воротам. Когда подошла моя очередь, главный клерк обратился ко мне весьма деловым тоном:

— Ну, быстро! Вы откуда?

— Из Сан-Франциско.

— Сан-Фран...? Как, как?

— Сан-Франциско.

Он с недоуменным видом почесал в затылке, потом говорит:

— Это что, планета?

Надо же такое придумать, Питерс, ей-богу!

— Планета? — говорю я. — Нет, это город. Более того, это величайший, прекраснейший...

— Хватит! — прерывает он. — Здесь не место для разговоров. Городами мы не занимаемся. Откуда вы вообще?

— Ах, прошу прощения, — говорю я. — Запишите: из Калифорнии.

Опять я, Питерс, поставил этого клерка в тупик. На его лице мелькнуло удивление, а потом он резко, с раздражением сказал:

— Я таких планет не знаю. Это что, созвездие?

— О господи! — говорю я. — Какое ж это созвездие? Это штат!

— Штатами мы не занимаемся. Скажете ли вы, наконец, откуда вы вообще, вообще, в целом? Все еще не понимаете?

— Ага, теперь сообразил, чего вы хотите. Я из Америки, из Соединенных Штатов Америки.

Верь не верь, Питерс, но и это не помогло. Разрази меня гром, если я вру! Его физиономия ни капельки не изменилась, все равно как мишень после стрелковых соревнований милиции. Он повернулся к своему помощнику и спрашивает:

— Америка? Это где? Это что такое?

И тот ему поспешно отвечает:

— Такого светила нет.

— Светила? — говорю я. — Да о чем вы, молодой человек, толкуете? Америка — не светило. Это страна, это континент. Ее открыл Колумб. О нем-то вы слышали, надо полагать? Америка, сэр, Америка...

— Молчать! — прикрикнул главный. — Последний раз спрашиваю: откуда вы прибыли?

— Право, не знаю, как еще вам объяснить, — говорю я. — Остается свалить все в одну кучу и сказать, что я из мира.

— Ага, — обрадовался он, — вот это ближе к делу. Из какого же именно мира?

Вот теперь, Питерс, уже не я его, а он меня поставил в тупик. Я смотрю на него, раскрыв рот. И он смотрит на меня, хмурится; потом как вспылит:

— Ну, из какого?

А я говорю:

— Как из какого? Из того, единственного, разумеется.

— Единственного?! Да их миллиарды!.. Следующий!

Это означало, что мне нужно посторониться. Я так и сделал, и какой-то голубой человек с семью головами и одной ногой прыгнул на мое место. А я пошел прогуляться. И только тогда я сообразил, что все мириады существ, толпящихся у ворот, имеют точно такой же вид, как тот голубой человек. Я принялся искать в толпе какое-нибудь знакомое лицо, но ни единого знакомого не нашлось. Я обмозговал свое положение и в конце концов бочком пролез обратно, как говорится, тише воды, ниже травы.

— Ну? — спрашивает меня главный клерк.

— Видите ли, сэр, — говорю я довольно робко, — я никак не соображу, из какого именно я мира. Может

быть, вы сами догадаетесь, если я скажу, что это тот мир, который был спасен Христом.

При этом имени он почтительно наклонил голову и кротко сказал:

— Миров, которые спас Христос, столько же, сколько ворот на небесах, — счесть их никому не под силу. В какой астрономической системе находится ваш мир? Это, пожалуй, нам поможет.

— В той, где Солнце, Луна и Марс... — Он только отрицательно мотал головой: никогда, мол, не слышал таких названий. — ...и Нептун, и Уран, и Юпитер...

— Стойте! Минуточку! Юпитер... Юпитер... Кажется, у нас был оттуда человек, лет восемьсот — девятьсот тому назад; но люди из той системы очень редко проходят через наши ворота.

Вдруг он впился в меня глазами так, что я подумал: «Вот сейчас пробуравит насквозь», а затем спрашивает, отчеканивая каждое слово:

— Вы явились сюда прямым путем из вашей системы?

— Да, — ответил я, но все же малость покраснел. Он очень строго посмотрел на меня.

— Неправда, и здесь не место лгать. Вы отклонились от курса. Как это произошло?

Я опять покраснел и говорю:

— Извините, беру свои слова назад и каюсь. Один раз я вздумал потягаться с кометой, но совсем, совсем чуть-чуть...

— Так, так, — говорит он далеко не сладким голосом.

— И отклонился-то я всего на один румб, — продолжаю я рассказывать, — и вернулся на свой курс в ту же минуту, как окончились гонки.

— Не важно, именно это отклонение и послужило всему причиной. Оно и привело вас к воротам за миллиарды миль от тех, через которые вам надлежало пройти. Если бы вы попали в свои ворота, там про ваш мир все было бы известно и не произошло бы никакой проволоочки. Но мы постараемся вас обслужить.

Он повернулся к помощнику и спрашивает:

— В какой системе Юпитер?

— Не помню, сэр, — отвечает тот, — но, кажется, где-то, в каком-то пустынном уголке вселенной имеется такая планета, входящая в одну из малых новых систем. Сейчас посмотрю.

У них там висела карта величиной со штат Род-Айленд, он подкатил к ней воздушный шар и полетел вверх. Скоро он скрылся из виду, а через некоторое время вернулся вниз, закусил на скорую руку и снова улетел. Короче говоря, он это повторял два дня, после чего спустился к нам и сказал, что как будто нашел на карте нужную солнечную систему, впрочем не ручается — возможно, это след от мухи. Взяв микроскоп, он опять поднялся вверх. Опасения его, к счастью, не оправдались: он действительно разыскал солнечную систему. Он заставил меня описать подробно нашу планету и указать ее расстояние от Солнца, а потом говорит своему начальнику:

— Теперь я знаю, сэр, о какой планете этот человек толкует. Она имеется на карте и называется Бородавка.

«Не поздоровилось бы тебе, — подумал я, — если бы ты явился на эту планету и назвал ее Бородавкой!»

Ну, тут они меня впустили и сказали, что отныне и навеки я могу считать себя спасенным и не буду больше знать никаких тревог.

Потом они отвернулись от меня и погрузились в свою работу, дескать со мной все покончено и мое дело в порядке.

Меня это удивило, но я не осмелился заговорить первым и напомнить о себе. Просто, понимаешь, я не мог это сделать: люди заняты по горло, а тут еще заставлять их со мной возиться! Два раза я решал махнуть на все рукой и уйти, но, подумав, как нелепо буду выглядеть в своем обмундировании среди прощенных душ, я пятился назад, на старое место. Разные служащие начали поглядывать на меня, удивляясь, почему я не ухожу. Дольше терпеть это было невозможно. И вот я наконец расхрабрился и сделал знак рукой главному клерку. Он говорит:

— Как, вы еще здесь? Чего вам не хватает?

Я приложил ладони трубкой к ~~его~~ уху и зашептал, чтобы никто не слышал:

— Простите, пожалуйста, не сердитесь, что я словно вмешиваюсь в ваши дела, но не забыли ли вы чего-то?

Он помолчал с минуту и говорит:

— Забыл? Нет, по-моему, ничего.

— А вы подумайте, — говорю я.

Он подумал.

— Нет, кажется, ничего. А в чем дело?

— Посмотрите на меня, — говорю я, — хорошенько посмотрите!

Он посмотрел и спрашивает:

— Ну, что?

— Как что? И вы ничего не замечаете? Если бы я в таком виде появился среди избранных, разве я не обратил бы на себя всеобщее внимание? Разве не показался бы всем странным?

— Я, право, не понимаю, в чем дело, — говорит он. — Чего вам еще надо?

— Как чего? У меня, мой друг, нет ни арфы, ни венца, ни нимба, ни псалтыря, ни пальмовой ветви — словом, ни одного из тех предметов, которые необходимы здесь каждому.

Знаешь, Питерс, как он растерялся? Ты такой растерянной физиономии сроду не видывал. После некоторого молчания он говорит:

— Да вы, оказывается, диковинный субъект, с какой стороны ни взять. Первый раз в жизни слышу о таких вещах!

Я глядел на него, не веря своим ушам.

— Простите, — говорю, — не в обиду вам будь сказано, но как человек, видимо проживший в царствии небесном весьма солидный срок, вы здорово плохо знаете его обычаи.

— Его обычаи! — говорит он. — Любезный друг, небеса велики. В больших империях встречается множество различных обычаев. И в мелких тоже, как вы, несомненно, убедились на карликовом примере Бородавки. Неужели вы воображаете, что я в состоянии изучить все обычаи бесчисленных царствий небесных? У меня при одной этой мысли голова кругом идет!

Я знаком с обычаями тех мест, где живут народы, которым предстоит пройти через мои ворота, и, поверьте, с меня хватит, если я сумел уместить в своей голове то, что день и ночь штудирую вот уже тридцать семь миллионов лет. Но воображать, что можно изучить обычаи всего бескрайнего небесного пространства, — нет, это надо быть просто сумасшедшим! Я готов поверить, что странное одеяние, о котором вы толкуете, считается модным в той части рая, где вам полагается пребывать, но в наших местах его отсутствие никого не удивит.

«Ну, раз так, то уж ладно!» — подумал я, попросился с ним и зашагал прочь. Целый день я шел по огромной канцелярии, надеясь, что вот-вот дойду до конца ее и попаду в рай, но я ошибался: это помещение было построено по небесным масштабам — естественно, оно не могло быть маленьким. Под конец я так устал, что не в силах был двигаться дальше; тогда я присел отдохнуть и начал останавливать каких-то нелепого вида прохожих, пытаюсь что-нибудь у них узнать; но ничего не узнал, потому что они не понимали моего языка, а я не понимал ихнего. Я почувствовал нестерпимое одиночество. Такая меня проняла грусть, такая тоска по дому, что я сто раз пожалел, зачем я умер. Ну и, конечно, повернул назад. На завтра, около полудня, я добрался до места, откуда пустился в путь, подошел к регистратуре и говорю главному клерку:

— Теперь я начинаю понимать: чтобы быть счастливым, надо жить в своем собственном раю!

— Совершенно верно, — говорит он. — Неужели вы думали, что один и тот же рай может удовлетворить всех людей без различия?

— Признаться, да; но теперь я вижу, что это было глупо. Как мне пройти, чтобы попасть в свой район?

Он подозвал помощника, который давеча изучал карту, и тот указал мне направление. Я поблагодарил его и шагнул было прочь, но он остановил меня:

— Подождите минутку; это за много миллионов миль отсюда. Выйдите наружу и станьте вон на тот красный ковер; закройте глаза, задержите дыхание и пожелайте очутиться там.

— Премного благодарен, — сказал я. — Что ж вы не метнули меня туда сразу, как только я прибыл?

— У нас здесь и так забот хватает; ваше дело было подумать и попросить об этом. Прощайте. Мы, вероятно, не увидим вас в нашем краю тысячу веков или около того.

— В таком случае оревуар, — сказал я.

Я вскочил на ковер, задержал дыхание, зажмурил глаза и пожелал очутиться в регистратуре моего района. В следующее мгновение я услышал знакомый голос, выкрикнувший деловито:

— Арфу и псалтырь, пару крыльев и нимб тринадцатый номер для капитана Эли Стормфилда из Сан-Франциско! Выпишите ему пропуск, и пусть войдет.

Я открыл глаза. Верно, угадал: это был один индеец племени пай-ют, которого я знал в округе Туларе, очень славный парень. Я вспомнил, что присутствовал на его похоронах; церемония состояла в том, что покойника сожгли, а другие индейцы натирали себе лица его пеплом и выли, как дикие кошки. Он ужасно обрадовался, увидев меня, и, можешь не сомневаться, я тоже рад был встретить его и почувствовать, что наконец-то попал в настоящий рай.

Насколько хватал глаз, всюду сновали и суетились целые полчища клерков, обряжая тысячи янки, мексиканцев, англичан, арабов и множество разного другого люда. Когда мне дали мое снаряжение, я надел нимб на голову и, взглянув на себя в зеркало, чуть не прыгнул до потолка от счастья.

— Вот это уже похоже на дело, — сказал я. — Теперь все у меня как надо! Покажите, где облако!

Через пятнадцать минут я уже был за милю от этого места, на пути к гряде облаков; со мной шла толпа, наверно в миллион человек. Многие мои спутники пытались лететь, но некоторые упали и разбились. Полет вообще ни у кого не получался, поэтому мы решили идти пешком, пока не научимся пользоваться крыльями.

Навстречу нам густо шел народ. У одних в руках были арфы и ничего больше; у других — псалтыри и ничего больше; у третьих — вообще ничего; и вид у

них был какой-то жалкий и несчастный. У одного парня остался только нимб, который он нес в руке; вдруг он протягивает его мне и говорит:

— Подержите, пожалуйста, минутку. — И исчезает в толпе.

Я пошел дальше. Какая-то женщина попросила меня подержать ее пальмовую ветвь и тоже скрылась. Потом незнакомая девушка дала мне подержать свою арфу — и, черт возьми, этой тоже не стало; и так далее в том же духе. Скоро я был нагружен как верблюд. Тут подходит ко мне улыбающийся старый джентльмен и просит подержать его вещи. Я вытер пот с лица и говорю довольно язвительно:

— Покорно прошу меня извинить, почтеннейший, но я не вешалка!

Дальше мне стали попадаться на дороге целые кучи этого добра. Я незаметно избавился и от своей лишней ноши. Я посмотрел по сторонам, и знаешь, Питерс, все эти тысячные толпы, которые шли вместе со мной, оказались навьюченными, как я был раньше. Встречные, понимаешь, обращались к ним с просьбой подержать их вещи — одну минутку. Мои спутники тоже побросали все это на дорогу, и мы пошли дальше.

Когда я взгромоздился на облако вместе с миллионом других людей, я почувствовал себя на верху блаженства и сказал:

— Ну, значит, обещали не зря. Я уж было начал сомневаться, но теперь мне совершенно ясно, что я в раю!

Я помахал на счастье пальмовой веткой, потом натянул струны арфы и присоединился к оркестру. Питерс, ты не можешь себе представить, какой мы подняли шум! Звучало это здорово, даже мороз по коже подирал, но из-за того, что одновременно играли слишком много разных мотивов, нарушалась общая гармония; вдобавок там собрались многочисленные индейские племена, и их воинственный клич лишал музыку ее прелести. Через некоторое время я перестал играть, решив сделать передышку. Рядом со мной сидел какой-то старичок, довольно симпатичный; я заметил, что он не принимает участия в общем концерте, и стал уговаривать его играть, но он объяснил мне, что

по природе застенчив и не решается начинать перед такой большой аудиторией. Слово за слово, старичок признался мне, что он почему-то никогда особенно не любил музыку. По правде сказать, у меня самого появилось такое же чувство, но я ничего не сказал. Мы просидели с ним довольно долго в полном бездействии, но в таком месте никто не обратил на это внимания. Прошло шестнадцать или семнадцать часов; за это время я и играл, и пел немножко (но все один и тот же мотив, так как других не знал), а потом отложил в сторону арфу и начал обмахиваться пальмовой веткой. И оба мы со старичком часто-часто завздыхали. Наконец он спрашивает:

— Вы разве не знаете какого-нибудь еще мотива, кроме этого, который тренькаете целый день?

— Ни одного, — отвечаю я.

— А вы не могли бы что-нибудь выучить?

— Никоим образом, — говорю я. — Я уже пробовал, да ничего не получилось.

— Слишком долго придется повторять одно и то же. Ведь вы знаете, впереди — вечность!

— Не сыпьте соли мне на раны, — говорю я, — у меня и так настроение испортилось.

Мы долго молчали, потом он спрашивает:

— Вы рады, что попали сюда?

— Дедушка, — говорю я, — буду с вами откровенен. Это не совсем похоже на то представление о блаженстве, которое создалось у меня, когда я ходил в церковь.

— Что, если нам смыться отсюда? — предложил он. — Полдня отработали — и хватит!

Я говорю:

— С удовольствием. Еще никогда в жизни мне так не хотелось смениться с вахты, как сейчас.

Ну, мы и пошли. К нашей гряде облаков двигались миллионы счастливых людей, распевая осанну, в то время как миллионы других покидали облако, и вид у них был, уверяю тебя, довольно кислый. Мы взяли курс на новичков, и скоро я попросил кого-то из них поддержать мои вещи — одну минутку — и опять стал свободным человеком и почувствовал себя счастливым до неприличия. Тут как раз я наткнулся на старого

Сэма Бартлета, который давно умер, и мы с ним остановились побеседовать. Я спросил его:

— Скажи, пожалуйста, так это вечно и будет? Неужели не предвидится никакого разнообразия?

На это он мне ответил:

— Сейчас я тебе все быстро объясню. Люди принимают буквально и образный язык библии и все ее аллегории, — поэтому, являясь сюда, они первым делом требуют себе арфу, нимб и прочее. Если они просят по-хорошему и если их просьбы безобидны и выполнимы, то они не встречают отказа. Им без единого слова выдают всю обмундировку. Они сойдутся, попоют, поиграют один денек, а потом ты их в хоре больше не увидишь. Они сами приходят к выводу, что это вовсе не райская жизнь, во всяком случае не такая, какую нормальный человек может вытерпеть хотя бы неделю, сохранив рассудок. Наша облачная гряда расположена так, что к старожилам шум отсюда не доносится; значит, никому не мешает, что новичков пускают лезть на облако, где они, кстати сказать, сразу же и вылечиваются.

Заметь себе следующее, — продолжал он, — рай исполнен блаженства и красоты, но жизнь здесь кипит как нигде. Через день после прибытия у нас никто уже не бездельничает. Петть псалмы и махать пальмовыми ветками целую вечность — очень милое занятие, как его расписывают с церковной кафедры, но на самом деле более глупого способа тратить драгоценное время не придумаешь. Этак легко было бы превратить небесных жителей в сборище чирикающих невежд. В церкви говорят о вечном покое как о чем-то утешительном. Но попробуй испытать этот вечный покой на себе, и сразу почувствуешь, как мучительно будет тянуться время. Поверь, Стормфилд, такой человек, как ты, всю жизнь проведший в непрестанной деятельности, за полгода сошел бы с ума, попав на небо, где совершенно нечего делать. Нет, рай — не место для отдыха; на этот счет можешь не сомневаться!

Я ему говорю:

— Сэм, услышь я это раньше, я бы огорчился, а теперь я рад. Я рад, что попал сюда.

А он спрашивает:

— Капитан, ты небось изрядно устал?

Я говорю:

— Мало сказать, устал, Сэм! Устал как собака!

— Еще бы! Понятно! Ты заслужил крепкий сон, — и сон тебе будет отпущен. Ты заработал хороший аппетит, — и будешь обедать с наслаждением. Здесь, как и на земле, наслаждение надо заслужить честным трудом. Нельзя сперва наслаждаться, а зарабатывать право на это после. Но в раю есть одно отличие: ты сам можешь выбрать себе род занятий; и если будешь работать на совесть, то все силы небесные помогут тебе добиться успеха. Человеку с душой поэта, который в земной жизни был сапожником, не придется здесь тачать сапоги.

— Вот это справедливо и разумно, — сказал я. — Много работы, но лишь такой, какая тебе по душе; и никаких больше мук, никаких страданий...

— Нет, погоди, тут тоже много мук, но они не смертельны. Тут тоже много страданий, но они не вечны. Пойми, счастье не существует само по себе, оно лишь рождается как противоположность чему-то неприятному. Вот и все. Нет ничего такого, что само по себе являлось бы счастьем, — счастьем оно покажется лишь по контрасту с другим. Как только возникает привычка и притупляется сила контраста — тут и счастьем конец, и человеку уже нужно что-то новое. Ну, а на небе много мук и страданий — следовательно, много и контрастов; стало быть, возможности счастья безграничны.

Я говорю:

— Сэм, первый раз слышу про такой сверхразумный рай, но он так же мало похож на представление о рае, которое мне внушали с детских лет, как живая принцесса — на свое восковое изображение.

Первые месяцы я провел болтаясь по царствию небесному, заводя друзей и осматривая окрестности, и наконец поселился в довольно подходящем уголке, чтоб отдохнуть, перед тем как взяться за какое-нибудь

дело. Но и там я продолжал заводить знакомства и собирать информацию. Я подолгу беседовал со старым лысым ангелом, которого звали Сэнди Мак-Уильямс. Он был родом откуда-то из Нью-Джерси. Мы проводили вместе много времени. В теплый денек, после обеда, ляжем, бывало, на пригорке под тенью скалы, — курим трубки и разговариваем про всякое. Однажды я спросил его:

— Сэнди, сколько тебе лет?

— Семьдесят два.

— Так я и думал. Сколько же ты лет в раю?

— На рождество будет двадцать семь.

— А сколько тебе было, когда ты вознесся?

— То есть как? Семьдесят два, конечно.

— Ты шутишь?

— Почему шучу?

— Потому что, если тогда тебе было семьдесят два, то, значит, теперь тебе девяносто девять.

— Ничего подобного! Я остался в том же возрасте, в каком сюда явился.

— Вот как! — говорю я. — Кстати, чтоб не забыть, у меня есть к тебе вопрос. Внизу, на земле, я всегда полагал, что в раю мы все будем молодыми, подвижными, веселыми.

— Что ж, если тебе этого хочется, можешь стать молодым. Нужно только пожелать.

— Почему же у тебя не было такого желания?

— Было. У всех бывает. Ты тоже, надо полагать, когда-нибудь попробуешь; но только тебе это скоро надоест.

— Почему?

— Сейчас я тебе объясню. Вот ты всегда был моряком; а каким-нибудь другим делом ты пробовал заниматься?

— Да. Одно время я держал бакалейную лавку на приисках; но это было не по мне, слишком скучно — ни волнения, ни штормов — словом, никакой жизни. Мне казалось, что я наполовину живой, а наполовину мертвый. А я хотел быть или совсем живым, или совсем уж мертвым. Я быстро избавился от лавки и опять ушел в море.

— То-то и оно. Лавочникам такая жизнь нравится, а тебе она не пришлась по вкусу. Оттого, что ты к ней не привык. Ну, а я не привык быть молодым, и мне молодость была ни к чему. Я превратился в крепкого кудрявого красавца, а крылья — крылья у меня стали как у мотылька! Я ходил с парнями на пикники, танцы, вечеринки, пробовал ухаживать за девушками и болтать с ними разный вздор; но все это было напрасно — я чувствовал себя не в своей тарелке, скажу больше — мне это просто осточертело. Чего мне хотелось, так это рано ложиться и рано вставать, и иметь какое-нибудь занятие, и чтобы после работы можно было спокойно сидеть, курить и думать, а не колобродить с оравой пустоголовых мальчишек и девчонок. Ты себе не представляешь, до чего я исстрадался, пока был молодым.

— Сколько времени ты был молодым?

— Всего две недели. Этого мне хватило с избытком. Ох, каким одиноким я себя чувствовал! Понимаешь, после того как я семьдесят два года копил опыт и знания, самые серьезные вопросы, занимавшие этих юнцов, казались мне простыми, как азбука. А слушать их споры — право, это было бы смешно, если б не было так печально! Я до того соскучился по привычному солидному поведению и трезвым речам, что начал примазываться к старикам, но они меня не принимали в свою компанию. По-ихнему, я был никчемный молокосос и выскочка. Двух недель с меня вполне хватило. Я с превеликой радостью снова облысел и стал курить трубку и дремать, как бывало, под тенью дерева или утеса.

— Позволь, — перебил я, — ты хочешь сказать, что тебе будет вечно семьдесят два года?

— Не знаю, и меня это не интересует. Но в одном я уверен: двадцатипятилетним я уж ни за что не сделаюсь. У меня теперь знаний куда больше, чем двадцать семь лет тому назад, и узнавать новое доставляет мне радость, однако же я как будто не старею. То есть я не старею телом, а ум мой становится старше, делается более крепким, зрелым и служит мне лучше, чем прежде.

Я спросил:

— Если человек приходит сюда девяностолетним, неужели он не переводит стрелку назад?

— Как же, обязательно. Сначала он ставит стрелку на четырнадцать лет. Походит немножко в таком виде, почувствует себя дурак дураком и переведет на двадцать, — но и это не лучше; он пробует тридцать, пятьдесят, восемьдесят, наконец девяносто — и убеждается, что лучше и удобнее всего ему в том возрасте, к которому он наиболее привык. Правда, если разум его начал сдавать, когда ему на земле минуло восемьдесят, то он останавливается на этой цифре. Он выбирает тот возраст, в котором ум его был всего острее, потому что именно тогда ему было приятнее всего жить и вкусы и привычки его стали устойчивыми.

— Ну а если человеку двадцать пять лет, он остается навсегда в этом возрасте, не меняясь даже по внешнему виду?

— Если он глупец, то да. Но если он умен, предприимчив и трудолюбив, то приобретенные им знания и опыт меняют его привычки, мысли и вкусы, и его уже тянет в общество людей постарше возрастом; тогда он дает своему телу постареть на столько лет, сколько надо, чтобы чувствовать себя на месте в новой среде. Так он все совершенствуется и соответственно меняет свой внешний облик, и в конце концов внешне он будет морщинистый и лысый, а внутренне — проницательный и мудрый.

— А как же поворожденные?

— И они так же. Ну и идиотские же представления были у нас на земле касательно всего этого! Мы говорили, что на небе будем вечно юными. Мы не говорили, сколько нам будет лет, над этим мы, пожалуй, не задумывались, во всяком случае не у всех были одинаковые мысли. Когда мне было семь лет, я, наверное, думал, что на небе всем будет двенадцать; когда мне исполнилось двенадцать, я, наверное, думал, что на небе всем будет восемнадцать или двадцать; в сорок я повернул назад: помню, я тогда надеялся, что в раю всем будет лет по тридцать. Ни взрослый, ни ребенок

никогда не считают свой собственный возраст самым лучшим — каждому хочется быть или на несколько лет старше, или на несколько лет моложе, и каждый уверяет, что в этом полюбившемся ему возрасте пребывают все райские жители. Притом каждый хочет, чтобы люди в раю всегда оставались в этом возрасте, не двигаясь с места, да еще получали от этого удовольствие! Ты только представь себе — застыть на месте в раю! Вообрази, какой это был бы рай, если бы его населяли одни семилетние щенки, которые только бы и делали, что катали обручи и играли в камешки! Или неуклюжие, робкие, сентиментальные недоделки девятнадцати лет! Или же только тридцатилетние — здоровые, честолюбивые люди, но прикованные, как несчастные рабы на галерах, к этому возрасту со всеми его недостатками! Подумай, каким унылым и однообразным было бы общество, состоящее из людей одних лет, с одинаковой наружностью, одинаковыми привычками, вкусами, чувствами! Подумай, насколько лучше такого рая оказалась бы земля с ее пестрой смесью типов, лиц и возрастов, с живительной борьбой бесчисленных интересов, не без приятности сталкивающихся в таком разнообразном обществе!

— Слушай, Сэнди, — говорю я, — ты понимаешь, что делаешь?

— Что же я, по-твоему, делаю?

— С одной стороны, описываешь рай как весьма приятное местечко, но с другой стороны, оказываешь ему плохую услугу.

— Это почему?

— А вот почему. Возьми для примера молодую мать, которая потеряла ребенка, и...

— Ш-ш-ш! — Сэнди поднял палец. — Гляди!

К нам приближалась женщина. Она была средних лет, седая. Шла она медленным шагом, понурив голову и вяло, безжизненно свесив крылья; у нее был очень утомленный вид, и она, бедняжка, плакала. Она прошла вся в слезах и не заметила нас. И тогда Сэнди заговорил тихо, ласково, с жалостью в голосе:

— Она ищет своего ребенка! Нет, похоже, что она уже нашла его. Господи, до чего она изменилась! Но я сразу узнал ее, хоть и не видел двадцать семь лет. Тогда она была молодой матерью, лет двадцати двух, а может, двадцати четырех, цветущая, красивая, милая — роза, да и только! И всем сердцем, всей душой она была привязана к своему ребенку, к маленькой двухлетней дочке. Но дочка умерла, и мать помешалась от горя, буквально помешалась! Единственной утехой для нее была мысль, что она встретится со своим ребенком в загробном мире, «чтобы никогда уже не разлучаться». Эти слова — «чтобы никогда уже не разлучаться» — она твердила непрестанно, и от них ей становилось легко на сердце; да, да, она просто веселела. Когда я умирал, двадцать семь лет тому назад, она просила меня первым делом найти ее девочку и передать, что она надеется скоро прийти к ней, скоро, очень скоро!

— Какая грустная история, Сэнди!

Некоторое время Сэнди сидел молча, уставившись в землю, и думал; потом произнес этак скорбно:

— И вот она наконец прибыла!

— Ну и что? Рассказывай дальше.

— Стормфилд, возможно, она не нашла своей дочери, но мне лично кажется, что нашла. Да, скорее всего. Я видел такие случаи и раньше. Понимаешь, в ее памяти сохранилась пухленькая крошка, которую она когда-то баюкала. Но здесь ее дочь не захотела оставаться крошкой, она пожелала вырасти; и желание ее исполнилось. За двадцать семь лет, что прошли с тех пор, она изучила самые серьезные науки, какие только существуют, и теперь все учится и учится и узнает все больше и больше. Ей ничто не дорого, кроме науки. Ей бы только заниматься науками да обсуждать грандиозные проблемы с такими же людьми, как она сама.

— Ну и что?

— Как что? Разве ты не понимаешь, Стормфилд? Ее мать знает толк в клюкве, умеет разводить и собирать эти ягоды, варить варенье и продавать его, а больше — ни черта. Теперь она не пара своей дочке,

как не пара черепаха райской птице. Бедная мать: она мечтала возиться с малюткой! Мне кажется, что ее постигло разочарование.

— Так что же будет, Сэнди, они так и останутся навеки несчастными в раю?

— Нет, они сблизятся, понемногу приспособятся друг к другу. Но только произойдет это не за год и не за два, а постепенно.

Глава четвертая

Мне пришлось немало помучиться со своими крыльями. На другой день после того, как я подпевал в хоре, я дважды пытался летать, но без успеха. Поднявшись первый раз, я пролетел тридцать ярдов и сшиб какого-то ирландца, да, собственно говоря, и сам свалился. Потом я столкнулся в воздухе с епископом и, конечно, сбил его тоже. Мы обругали друг друга, но мне было весьма не по себе, что я боднул такого важного старика на глазах у миллиона незнакомых людей, которые, глядя на нас, едва удерживались от смеха.

Я понял, что еще не научился править, и потому не знаю, куда меня отнесет во время полета. Остаток дня я ходил пешком, опустив крылья. На следующее утро я чуть свет отправился в одно укромное место — поупражняться. Я вскарабкался на довольно высокий утес, успешно поднялся в воздух и ринулся вниз, ориентируясь на кустик, за триста ярдов или чуть подалее. Но я не сумел рассчитать силу ветра, который дул приблизительно под углом два румба к моему курсу. Я видел, что значительно отклоняюсь от своего ориентира, и стал тише работать правым крылом, а больше жать на левое. Но это не помогло, я почувствовал, что мне грозит опасность опрокинуться, так что пришлось сбавить ходу в обоих крыльях и опуститься. Я залез обратно на утес и еще раз попытал счастья, наметив место на два или на три румба правее куста, и даже рассчитал дрейф, чтобы лететь более правильно к точке. В общем, у меня это получилось, но только летел я очень медленно. Мне стало ясно, что при

встречном ветре крылья плохая подмога. Значит, если я захочу слетать в гости к кому-нибудь, кто живет далеко от моего дома, то придется, может, несколько суток ждать, чтобы ветер переменился, кроме того я понял, что в шторм вообще нельзя пользоваться крыльями. А если пуститься по ветру, истреpleшь их сразу — ведь их не уменьшишь, — брать рифы на них, например, невозможно, значит остается только одно: убирать их — то есть складывать по бокам, и все. Ну, конечно, при таком положении в воздухе не удержишься. Наилучший выход — убегать по ветру; но это здорово тяжело. А начнешь мудрить — наверняка пойдешь ко дну!

Недельки через две — помню, дело было во вторник — я послал старому Сэнди Мак-Уильямсу записку с приглашением прийти ко мне на следующий день вкусить манны и куропаток. Едва войдя, он хитро подмигнул и спрашивает:

— Ну, капитан, куда ты девал свои крылья?

Я сразу уловил насмешку в его словах, но не подал виду и только ответил:

— Отдал в стирку.

— Да, да, в эту пору они по большей части в стирке, — отозвался он суховатым тоном, — уж это я заметил. Новоиспеченные ангелы — страсть какие чистюли. Когда ты думаешь получить их обратно?

— Послезавтра.

Он подмигнул мне и улыбнулся. А я говорю:

— Сэнди, давай начистоту. Выкладывай. Какие могут быть тайны от друзей! Я обратил внимание, что ни ты, ни многие другие не носят крыльев. Я вел себя как идиот, да?

— Пожалуй. Но это ничего. Вначале мы все такие. Это вполне естественно. Понимаешь, на земле мы склонны делать самые нелепые выводы о жизни в раю. На картинках мы всегда видели ангелов с крыльями, и это совершенно правильно; но когда мы из этого делали вывод, что ангелы пользуются крыльями для передвижения, тут мы попадали впросак. Крылья — это только парадная форма. Находясь, так сказать, при исполнении служебных обязанностей, ангелы

обязательно носят крылья; ты никогда не увидишь, чтобы ангел отправился без крыльев по какому-нибудь поручению, как никогда не увидишь, чтобы офицер председательствовал на военно-полевом суде в домашнем костюме, или полисмен стоял на посту без мундира, или почтальон доставлял письма без фуражки и казенной куртки. Но летать на крыльях — нет! Они надеваются только для виду. Старые, опытные ангелы поступают так же, как кадровые офицеры: носят штатское, когда они не на службе. Что же касается новых ангелов, то те, словно добровольцы в милиции, не расстаются с формой, вечно перепархивают с места на место, всюду лезут со своими крыльями, сшибают пешеходов, витают то здесь, то там, воображая, что все любят их и что они самые главные персоны в раю. И когда один из таких типов проплывает по воздуху, приподняв одно крыло и опустив другое, то ясно можно прочесть на его лице: «Вот бы сейчас увидела меня Мэри-Энн из Арканзаса. Небось пожалела бы, что дала мне отставку!» Нет, крылья — это только для показу, исключительно для показу, и больше ни для чего.

— Ты, пожалуй, прав, Сэнди, — сказал я.

— Зачем далеко ходить, погляди на себя, — продолжал Сэнди. — Ты не создан для крыльев, да и остальные люди тоже. Помнишь, какую уйму лет ты потратил на то, чтобы добраться сюда? А ведь ты мчался быстрее любого пушечного ядра! Теперь представь, что это расстояние тебе пришлось бы проделать на крыльях. Знаешь, что было бы? Вечность прошла бы, а ты бы все летел! А ведь миллионам ангелов приходится ежедневно посещать землю, чтобы являться в видениях умирающим детям и добрым людям, — сам знаешь, им так положено по штату. Разумеется, они являются с крыльями, — ведь они выполняют официальную миссию, — да иначе умирающие и не признали бы в них ангелов. Но неужели ты мог поверить, что на этих крыльях ангелы летают? Нет. И вполне понятно почему: крыльев не хватило бы и на половину пути, они истрепались бы до последнего перышка, и остались бы одни остовы, — как рамки для змея, пока их не

оклеили бумагой. На небе расстояния еще в миллиарды раз больше; ангелам приходится по целым дням мотаться в разные концы. Разве они управились бы на крыльях? Нет, конечно. Крылья у них для фасона, а расстояния они преодолевают вмиг — стоит им только пожелать. Ковер-самолет, о котором мы читали в сказках «Тысячи и одной ночи», — вполне разумное изобретение; но басни, будто ангелы способны покрыть невероятные расстояния при помощи своих неуклюжих крыльев, — сущая чепуха!

Наши молодые ангелы обоего пола, — продолжал Сэнди, — все время носят крылья — ярко-красные, синие, зеленые, золотые, всякие там разноцветные, радужные и даже полосатые с разводами, но никто их не осуждает: это подходит к их возрасту. Крылья очень красивая вещь, и они к лицу молодым. Это самая прелестная часть их костюма; нимб, по сравнению с крыльями, ничего не стоит.

— Ну ладно, — признался я, — я засунул свои крылья в буфет и не вынул их оттуда, пока на улице не будет грязь по колено.

— Или торжественный прием.

— Это еще что такое?

— Такое, что ты можешь увидеть, если пожелаешь, сегодня же вечером. Прием устраивается в честь одного кабатчика из Джерси-Сити.

— Да что ты, расскажи!

— Этот кабатчик был обращен на молитвенном собрании Муди и Сэнки в Нью-Йорке. Когда он возвращался к себе в Нью-Джерси, паром, на котором он ехал, столкнулся с каким-то судном, и кабатчик утонул. Этот кабатчик из породы тех, кто думает, что в раю все с ума сходят от счастья, когда подобный законченный грешник спасет свою душу. Он полагает, что все небожители выбегут ему навстречу с пением осанны и что в этот день в небесных сферах только и разговору будет, что о нем. Он воображает, что его появление произведет здесь такой фурор, какого не запомнят старожилы. Я всегда замечал эту странность у мертвых кабатчиков: они не только ожидают, что все

поголовно выйдут их встречать, но еще и уверены, что их встретят с факельным шествием.

— Стало быть, кабатчика постигнет разочарование?

— Нет, ни в коем случае. Здесь не дозволено никого разочаровывать. Все, чего новичок желает, — разумеется, если это выполнимое и не кощунственное желание, — будет ему предоставлено. Всегда найдется несколько миллионов или миллиардов юнцов, для которых нет лучшего развлечения, чем упражнять свои глотки, толпиться на улицах с зажженными факелами и валять дурака в связи с прибытием какого-нибудь кабатчика. Кабатчик в восторге, молодежь веселится вовсю, — никому это не во вред, и денег не надо тратить, а зато укрепляется добрая слава рая, как места, где всех вновь прибывших ждут счастье и довольство.

— Очень хорошо. Я обязательно приду посмотреть на прибытие кабатчика.

— Имей в виду, что, согласно правилам этикета, надо быть в полной форме, с крыльями и всем прочим.

— С чем именно?

— С нимбом, арфой, пальмовой ветвью и так далее.

— Да-а? Наверно, это очень нехорошо с моей стороны, но, признаюсь, я бросил их в тот день, когда участвовал в хоре. У меня абсолютно ничего нет, кроме этой хламиды и крыльев.

— Успокойся. Твои вещи подобрали и спрятали для тебя. Посылай за ними.

— Я пошлю, Сэнди. Но что это ты сейчас сказал про какие-то кощунственные желания, которым не суждено исполниться?

— О, таких желаний, которые не исполняются, очень много. Например, в Бруклине живет один священник, некий Толмедж, — вот его ждет изрядное разочарование. Он любит говорить в своих проповедях, что по прибытии в рай сразу же побежит обнять и облобызать Авраама, Исаака и Иакова и поплакать над ними. Миллионы земных жителей уповают на то же самое. Каждый божий день сюда прибывает не менее шестидесяти тысяч человек, желающих первым делом помчаться к Аврааму, Исааку и Иакову, чтобы

прижать их к груди и поплакать над ними. Но ты согласишься, что шестьдесят тысяч человек в день — обременительная порция для таких стариков. Если бы они вздумали согласиться на это, то ничего иного не делали бы из года в год, как только давали себя тискать и обливать слезами по тридцать два часа в сутки. Они бы вконец измотались и все время были бы мокрые, как водяные крысы. Разве для них это был бы рай? Из такого рая побежишь без оглядки, это всякому ясно! Авраам, Исаак и Иаков — добрые, вежливые старые евреи, но целоваться с сентиментальными знаменитостями из Бруклина им так же мало приятно, как было бы тебе. Помяни мое слово, нежности мистера Толмеджа будут отклонены с благодарностью. Привилегии избранных имеют границы даже на небесах. Если бы Адам выходил к каждому новоприбывшему, который хочет поглазеть на него и выклянчить автограф, то ему только этим и пришлось бы заниматься и ни для каких других дел у него не хватило бы времени. Толмедж говорит, что он собирается почтить визитом не только Авраама, Исаака и Иакова, но и Адама тоже. Придется ему отказаться от этой затеи.

— И ты думаешь, Толмедж в самом деле вознесется сюда?

— Обязательно. Но пусть тебя это не пугает, он будет водиться со своими — их тут много. В этом-то и заключается главная прелесть рая: сюда попадают люди всякого сорта, — здесь священники не командуют. Каждый находит себе компанию по вкусу, а до других ему дела нет, как и им до него. Уж если господь бог создал рай, так он устроил все как следует, на широкую ногу.

Сэнди послал к себе домой, за своими вещами, я тоже послал за своими, и около девяти часов вечера мы начали одеваться. Сэнди говорит:

— Сторми, тебе предстоит интереснейший вечер. По всей вероятности, будут какие-нибудь патриархи.

— Неужели?

— Да, скорее всего. Конечно, они держатся как аристократы, перед простым народом почти не показываются. Насколько я понимаю, они выходят встречать

только тех грешников, которые спасли душу в последнюю минуту. Они бы и тут не выходили, но земная традиция требует большой церемонии по такому поводу.

— Неужели все до одного выходят, Сэнди?

— Кто? Все патриархи? Что ты, нет; самое большее два или три. Тебе придется прождать пятьдесят тысяч лет, а может быть и больше, чтобы хоть одним глазком глянуть на всех патриархов и пророков. За то время, что я здесь, Иов показался один раз, и один раз Хам вместе с Иеремией. Но самое замечательное событие за все мое пребывание тут произошло в прошлом году: был устроен прием в честь англичанина Чарльза Писа, того самого, которого прозвали Баннеркросским убийцей. На трибуне стояли тогда четыре патриарха и два пророка, — ничего подобного не видели в раю со дня вознесения капитана Кидда; даже Авель и тот пришел — впервые за тысячу двести лет. Пустили слух, что собирается быть и Адам; на Авеля всегда сбегаются колоссальные толпы, однако с Адамом в этом отношении и ему не сравниться! Слух оказался ложным, но он облетел все небо; и такого, как тогда творилось, я, наверно, никогда больше не увижу. Прием устраивался, конечно, в английском округе, который отстоит за восемьсот одиннадцать миллионов миль от границ отделения Нью-Джерси. Я прилетел туда вместе с многими соседями, и нам представилось исключительное зрелище. Из всех округов валом валили эскимосы, татары, негры, китайцы, — словом, люди отовсюду. Такое смешение народов можно наблюдать лишь в Большом хоре в первый день после прибытия, а больше никогда. Миллиардные толпы пели гимны и выкрикивали осанну, шум стоял невероятный; даже когда рты у всех были закрыты, в ушах звенело от одного хлопанья крыльев, потому что ангелов на небе было столько, что казалось, будто идет снег. Адам не пришел, но и без него было очень интересно; на главной трибуне восседали три архангела, тогда как в других случаях редко можно увидеть даже одного.

— Какие они из себя, эти архангелы, Сэнди?

— Ну, какие? Лица сияют, одеты в блестящие мантии, чудесные радужные крылья за спиной, в руке у каждого меч; рост — восемнадцать футов, величавая осанка, — похожи на военных.

— А нимбы у них есть?

— Нет, во всяком случае не ободком. Архангелы и патриархи высшей категории носят кое-что получше. Они носят великолепный круглый сплошной нимб из чистого золота, посмотришь — просто глаза слепит. Ты, когда жил на земле, не раз видел на картинках патриарха с такой штуковиной, помнишь? Голова у него точно на медном блюде. Но это не дает правильного представления, — то, что носят патриархи, красивее и лучше блестит.

— Сэнди, а ты разговаривал с этими архангелами и патриархами?

— Кто, я? Что ты, что ты, Сторми! Я не достоин разговаривать с такими, как они.

— А Толмедж достоин?

— Конечно нет. У тебя путаное представление о таких вещах; впрочем, оно свойственно всем земным жителям. На земле говорят, что есть царь небесный, — и это верно; но дальше описывают небо так, будто оно представляет собою республику, где все равны и каждый вправе обнимать любого встречного и якшаться с разной знатью, вплоть до самой высшей. Вот путаница! Вот чепуха! Разве может быть республика при царе? Разве может вообще быть республика, когда государством правит самодержец, правит вечно, без парламента и без государственного совета, которые имели бы право вмешиваться в его действия; когда ни за кого не голосуют и никого не избирают; когда никто не имеет голоса в управлении страной, никого не привлекают участвовать в государственных делах и никому это даже не разрешается?! Хороша республика, нечего сказать!..

— Да, рай, пожалуй, не таков, каким я его себе представлял. Но все-таки я думал — похожу всюду и хотя бы познакомлюсь с вельможами. Я не собирался есть с ними из одного котелка, а так — поздороваться за руку, провести в их компании часок-другой...

— Мог бы любой простолюдин вести себя так в отношении российских министров? Зайти запросто, например, к князю Горчакову?

— Думаю, что нет, Сэнди.

— Ну, здесь та же Российская империя, даже строже. Здесь нет и намека на республику. Существует табель о рангах. Существуют вице-короли, князья, губернаторы, вице-губернаторы, помощники вице-губернаторов и около ста разрядов дворянства, начиная от великих князей — архангелов, и дальше все ниже и ниже, до того слоя, где нет никаких титулов. Ты знаешь, что такое принц крови на земле?

— Нет.

— Так вот. Принц крови не принадлежит ни к царской фамилии, ни к обыкновенной аристократии — он стоит ниже первой, но выше второй. Примерно такое же положение занимают на небе патриархи и пророки. Здесь имеются такие важные аристократы, что мы с тобой недостойны чистить им сандалии, но и они недостойны чистить сандалии у патриархов и пророков. Это дает тебе некоторое представление о их ранге, так? Соображаешь теперь, какие они важные? Поглядел на одного из них — и будет о чем помнить и рассказывать тысячу лет. Представь себе, капитан, что Авраам переступил бы этот порог, — вокруг его следов сейчас же поставили бы ограду с навесом, и паломники стекались бы сюда со всех концов неба многие века, чтобы только посмотреть на это место. Авраам как раз один из тех, кого мистер Толмедж из Бруклина собирается по прибытии сюда лобызать и обливать слезами. Пусть запасет побольше слез, не то — пари держу — они у него высохнут, прежде чем он добьется встречи с Авраамом.

— Сэнди, — говорю я, — а я ведь думал, что буду здесь на равной ноге со всеми, но уж лучше позабыть об этом. Да это и не играет особой роли, я и так чувствую себя вполне счастливым.

— Да ты счастливее, капитан, чем был бы при иных обстоятельствах! Эти патриархи и пророки на много веков перегнали тебя, они за две минуты разбираются в том, на что тебе нужен целый год. Пробовал ты когда-нибудь вести полезную и приятную беседу с

гробовщиком о ветрах, морских течениях и отклонении компаса?

— Понимаю, что ты хочешь сказать, Сэнди: мне было бы неинтересно разговаривать с ним, — он полный профан в этих делах; и мы оба зачали бы от скуки.

— Вот именно. Патриархам было бы скучно слушать тебя, а понимать их речи ты еще не дорос. Очень скоро ты сказал бы: «До свидания, ваше преосвященство, я найду к вам в другой раз», но больше не зашел бы. Приглашал ты когда-нибудь к себе на обед в капитанскую каюту кухонного юнгу?

— Опять-таки мне ясно, к чему ты клонишь, Сэнди. Я не привык к такой важной публике, как патриархи и пророки, и робел бы в их присутствии, не зная, что сказать, и был бы счастлив поскорее убраться восвояси. Скажи, Сэнди, а кто выше рангом: патриарх или пророк?

— О, пророки поважнее патриархов! Самый молодой пророк гораздо больше значит, чем самый древний патриарх! Так и знай — даже Адам должен шагать позади Шекспира.

— Шекспир разве был пророк?

— Конечно! И Гомер тоже, и множество других. Но Шекспир и остальные должны уступить дорогу Биллингсу, обыкновенному портному из Теннесси, и афганскому коновалу Сакка. Иеремия, Биллингс и Будда шагают вместе, в одной шеренге, непосредственно за публикой с разных планет, которые не в нашей системе; за ними идут десятка два прибывших с Юпитера и из других миров; далее выступают Даниил, Сакка и Конфуций; за ними — народ из других астрономических систем; потом — Иезекииль, Магомет, Заратустра и один точильщик из древнего Египта; дальше еще целая вереница разных людей; и только где-то в самом хвосте — Шекспир с Гомером и башмачник по фамилии Марэ из глухой французской деревушки.

— Неужели Магомета и других язычников тоже пустили сюда?

— Да, каждый из них осуществил свою миссию и заслуживает награды. Человек, который не получил

награды на земле, может быть спокоен — он непременно получит ее здесь.

— Но почему же так обидели Шекспира, заставили его шагать позади каких-то бабшмачников, коновалов и точильщиков, о которых никто и не слыхал?

— А это и есть небесная справедливость: на земле их не оценили по достоинству, здесь же они занимают заслуженное место. Этот портной Биллингс из штата Теннесси писал такие стихи, какие Гомеру и Шекспиру даже не снились, но никто не хотел их печатать и никто их не читал, кроме невежественных соседей, которые только смеялись над ними. Когда в деревне устраивались танцы или пьянка, бежали за Биллингсом, рядили его в корону из капустных листьев и в насмешку отвешивали ему поклоны. Однажды вечером, когда он лежал больной, обессилив от голода, его вытащили, нацепили на голову корону и понесли верхом на палке по деревне; за ним бежали все жители, колотя в жестяные тазы и горланя что было сил. В ту же ночь Биллингс умер. Он совершенно не рассчитывал понасть в рай и уж подавно не ожидал торжественной встречи; наверно, он очень удивился, что ему устроили такой прием.

— Ты был там, Сэнди?

— Спаси бог, что ты!

— Почему? Ты разве не знал, что готовится торжество?

— Прекрасно знал. О Биллингсе в небесных сферах много толковали — и не один день, как об этом кабатчике, а целых двадцать лет до его кончины.

— Какого же черта ты не пошел?

— Вон как ты рассуждаешь! Чтобы такие, как я, попали на прием в честь пророка? Чтобы я, неотесанный чурбан, совался туда и подсоблял принимать такое высокое лицо, как Эдвард Биллингс?! Да меня засмеяли бы на миллиард миль в округе. Мне бы этого никогда не простили!

— А кто же там был?

— Те, кого нам с тобой вряд ли когда доведется увидеть, капитан. Ни один простой смертный не удостоивается счастья побывать на встрече пророка. Там

собралась вся аристократия, все патриархи и пророки в полном составе, все архангелы, князья, губернаторы и вице-короли, а из мелкой сошки — никого. Причем имей в виду, вся эта знать — князья и патриархи — собрались не только из нашего мира, но из всех миров, которые сияют на нашем небосводе, и еще из миллиардов миров, находящихся в бесчисленных других системах. Там были такие пророки и патриархи, которым наши в подметки не годятся по рангу, известности и так далее. Среди них были знаменитости с Юпитера и с других планет, входящих в нашу систему, но самые главные — поэты Саа, Бо и Суф — прибыли с трех больших планет из трех различных, весьма отдаленных систем. Их имена прогремели во всех уголках и закоулках неба наравне с именами восьмидесяти высших архангелов, тогда как о Моисее, Адаме и остальной компании за пределами одного краешка неба, отведенного для нашего мира, никто не слышал, разве что отдельные крупные ученые, — впрочем, они всегда пишут имена наших пророков и патриархов неправильно, все путают, выдают деяния одного за деяния другого и почти всегда относят их просо к нашей солнечной системе, не считая нужным входить в такие подробности, как указание, из какого именно мира они происходят. Это похоже на того ученого индуса, который, желая похвастать своими познаниями, заявил что Лонгфелло живет в Соединенных Штатах, — словно он живет сразу во всех концах страны, а сами Соединенные Штаты занимают так мало места, что, куда ни швырни камень, обязательно попадешь в Лонгфелло. Между нами говоря, меня всегда злит, как эти пришельцы из миров-гигантов презрительно отзываются не только о нашем маленьком мире, но и обо всей нашей системе. Конечно, мы отдаем должное Юпитеру, потому что наш мир по сравнению с ним не больше картофелины; но ведь имеются в других системах миры, перед которыми сам Юпитер меньше, чем горчичное семечко! Взяжь хотя бы планету Губра, которую не втиснешь в орбиту кометы Галлея, не разорвав заклепок. Туристы с Губры (я имею в виду туземцев, которые жили и умерли там) заглядывают сюда время от времени и расспра-

шивают о нашем мире, но когда узнают, что он так мал, что молния может обжегть его за одну восьмую секунды, они хватаются за стенку, чтобы не упасть от хохота. Потом они вставляют в глаз стеклышко и принимаются разглядывать нас, словно мы какие-то диковинные жуки или козявки. Один из этих туристов задал мне вопрос: сколько времени продолжается у нас день? Я ответил, что в среднем двенадцать часов. Тогда он спросил: «Неужели у вас считают, что стоит вставать с постели и умываться для такого короткого дня?» Эти люди с Губры всегда так — они не пропускают случая похвастать, что их день — все равно что наши триста двадцать два года. Этот нахальный юнец еще не достиг совершеннолетия, ему было шесть или семь тысяч дней от роду, — то есть, по-нашему, около двух миллионов лет, — этакий задиристый щенок в переходном возрасте, уже не ребенок, но еще не вполне мужчина. Будь это в любом другом месте, а не в раю, я сказал бы ему пару теплых слов. Ну, короче говоря, Биллингсу закатили такую великолепную встречу, какой не бывало много тысяч веков; и я думаю, это приведет к хорошим результатам. Имя Биллингса проникнет в самые далекие уголки, о нашей астрономической системе заговорят, а может, и о нашем мире тоже, и мы поднимемся в глазах самых широких кругов небожителей. Ты только подумай: Шекспир шел пяťся перед этим портным из Теннесси и бросал ему под ноги цветы, а Гомер прислуживал ему, стоя за его стулом во время банкета! Конечно, там это ни на кого не произвело особого впечатления — ведь важные иностранцы из других систем никогда не слышали ни о Шекспире, ни о Гомере; но если бы весть об этом могла дойти до нашей маленькой земли, там бы это произвело сенсацию! Эх, кабы этот несчастный спиритизм чего-нибудь стоил, тогда мы могли бы дать знать об этом случае на землю, и в Теннесси, где жил Биллингс, поставили бы ему памятник, а его автограф ценился бы дороже автографа Сатаны. Ну вот, покутили на этой встрече здорово, — мне обо всем подробно рассказывал один захудалый дворянин из Хобокена, баронет, сэр Ричард Даффер.

— Что ты говоришь, Сэнди, баронет из Хобокена? Как это может быть?

— Очень просто. Дик Даффер держал колбасную и за всю жизнь не скопил ни цента, потому что все остатки мяса он потихоньку раздавал бедным. Не нищим бродягам, нет, а честным, порядочным людям, оставшимся без работы, таким, которые скорее умрут с голоду, чем попросят подаяния. Дик высматривал детей и взрослых, у которых был голодный вид, тайком следовал за ними до дому, расспрашивал о них соседей, а после кормил их и подыскивал им работу. Но так как Дик никому ничего не давал на людях, за ним установилась репутация сквалыги; с ней он и умер, и все говорили: «Туда ему и дорога!» Зато не успел он явиться сюда, как ему пожаловали титул баронета, и первые слова, которые Дик, колбасник из Хобокена, услышал, ступив на райский берег, были: «Добро пожаловать, сэр Ричард Даффер!» Это его удивило, так как он был убежден, что ему предназначено на том свете другое местечко, с климатом жарче здешнего.

Внезапно вся местность вокруг задрожала от грома, пальнуло разом тысяча сто одно орудие. Сэнди говорит:

— Вот. Это в честь кабатчика.

Я вскочил на ноги.

— Пошли, Сэнди; еще прозеваем что-нибудь интересное!

— Сиди спокойно, — говорит он, — это только телеграфируют о нем.

— Как так?

— Дали залп в знак того, что кабатчика увидели с сигнальной станции. Он миновал Сэнди-Хук. Сейчас ему навстречу вылетят разные комиссии, чтобы эскортировать его сюда. Начнутся всякие церемонии и проволокки; до места еще не скоро доберутся. Он сейчас за несколько миллиардов миль отсюда.

— С таким же успехом и я бы мог быть пройдохой-кабатчиком, — сказал я, вспомнив свое невеселое прибытие на небеса, где меня не встречали никакие комиссии.

— В твоём голосе я слышу сожаление, — сказал Сэнди. — Пожалуй, это естественно. Но что было, то прошло; тебя привела сюда собственная дорога, и теперь уже ничего не исправишь.

— Ладно, забудем, Сэнди, я ни о чем не жалею. Но, значит, в раю тоже есть Сэнди-Хук, а?

— У нас здесь все устроено, как на земле. Все штаты и территории Соединенных Штатов и все страны и острова, крупные и мелкие, расположены на небе точно так же, как и на земном шаре, и имеют такую же форму; только здесь они все в десятки миллиардов раз больше, чем внизу... Второй зал!

— А он что означает?

— Это второй форт отвечает первому. Каждый из них дает залп из тысячи ста одного орудия. Так обычно салютуют пришельцам, спасшим свою душу в последнюю минуту, причем тысяча сто первое орудие — дополнительно для мужчины. Когда встречают женщину, мы узнаем это потому, что тысяча сто первое молчит.

— Сэнди, каким образом мы различаем, что их тысяча сто одно, если они палят все разом? А ведь мы различаем это, безусловно различаем!

— Наш ум здесь во многих смыслах развивается, и вот — наглядный пример этого. Числа, размеры и расстояния на небесах так велики, что мы научились воспринимать их чувствами. Старые приемы счета и измерения здесь не годятся, — с ними у нас получилась бы сплошная путаница и морока.

Мы потолковали еще немножко на эту тему, а потом я сказал:

— Сэнди, я заметил, что мне почти не встречались белые ангелы; на одного белого приходится чуть ли не сто миллионов краснокожих, которые даже не знают по-английски. Чем это объясняется?

— Да, ты можешь наблюдать это в любом штате или новой территории американского округа рая. Мне как-то пришлось лететь без перерыва целую неделю, я покрыл расстояние в миллионы миль, повидал огромные скопища ангелов, но не заметил среди них ни одного белого, не услышал ни единого понятного мне

слова. Ведь на протяжении целого миллиарда лет или больше, до того, как в Америке появился белый человек, ее населяли индейцы, ацтеки и так далее. Первые триста лет после того, как Колумб открыл Америку, все ее белое население вместе взятое, — я считаю и британские колонии, — можно было свободно разместить в одном лекционном зале. В начале нашего века белых в Америке было всего шесть-семь миллионов, — скажем, семь; в тысяча восемьсот двадцать пятом году — двенадцать или четырнадцать миллионов; в тысяча восемьсот пятидесятом году — примерно двадцать три миллиона, а в тысяча восемьсот семьдесят пятом году — сорок миллионов. Смертность у нас всегда составляла двадцать душ на тысячу в год. Значит, в первом году нашего века умерло сто сорок тысяч человек, в двадцать пятом — двести восемьдесят тысяч; в пятидесятом — полмиллиона и в семьдесят пятом — около миллиона. Я готов округлить цифры: допустим, что в Америке с самого начала до наших дней умерло пятьдесят, пусть шестьдесят, пусть даже сто миллионов белых: на несколько миллионов больше или меньше — роли не играет. Ну вот, теперь тебе ясно, что если такую горстку людей рассеять на сотнях миллиардов миль небесной американской территории, то это будет все равно что рассыпать десятицентový пакетик гомеопатических пилюль по пустыне Сахаре и надеяться их потом собрать. С чего бы нам после этого занимать видное место в раю? Мы его и не занимаем. Таковы факты, и надо с ними мириться. Ученые с других планет и из других астрономических систем, объезжая райские кущи, заглядывают и к нам; они здесь погостят немного, а потом возвращаются к себе домой и пишут книгу о своем путешествии, и в этой книге Америке уделено пять строк. Что же они о нас пишут? Что Америка — слабонаселенная дикая страна и в ней живут несколько сот тысяч миллиардов краснокожих ангелов, среди которых встречаются кое-где *большие* ангелы со странным цветом лица. Понимаешь, эти ученые думают, что мы, белые, а также немногочисленные негры — это индейцы, побелевшие или почерневшие от страшной болезни вроде проказы, в наказа-

ние — заметь себе — за какой-то чудовищный грех. Эго, мой друг, довольно-таки горькая пилюля для всех нас, даже для самых скромных, не говоря уже о тех, которые ждут, что их встретят как богатых родственников и что вдобавок они смогут обнимать самого Авраама. Я не расспрашивал тебя о подробностях, капитан, но думаю, что мой опыт подсказывает мне правильно: тебе никто не кричал особенно громко «ура!», когда ты сюда прибыл?

— Не стоит об этом вспоминать, Сэнди, — сказал я, краснея, — ни за какие деньги я не согласился бы, чтобы это видели мои домашние. Пожалуйста, Сэнди, переменим тему разговора.

— Ладно. Ты как решил, поселиться в калифорнийском отделении рая?

— Сам еще не знаю. Я не собирался останавливаться на чем-нибудь определенном до прибытия моей семьи. Мне хотелось не спеша осмотреться, а уж потом решить. Кроме того, у меня очень много знакомых покойников, и я думал разыскать их, чтобы посплетничать маленько о друзьях, о былом, о всякой всячине и узнать, как им покамест нравится здешняя жизнь. Впрочем, моя жена скорее всего захочет поселиться в калифорнийском отделении, потому что почти все ее усопшие родственники, наверно, там, а она любит быть среди своих.

— Не допускай этого. Ты сам видишь, как плохо обстоит дело с белыми в отделении Нью-Джерси, а в калифорнийском в тысячу раз хуже. Там кишмя кишит злыми, тупоголовыми темнокожими ангелами, а до ближайшего белого соседа от тебя будет чего доброго миллион миль. *Общества, вот чего особенно не хватает человеку в раю*, — общества людей, таких, как он, с таким же цветом кожи, говорящих на том же языке. Одно время я чуть не поселился из-за этого в европейском секторе рая.

— Почему же ты этого не сделал?

— По разным причинам. Во-первых, там хоть и видишь много белых, но понять почти никого из них нельзя, так что по душевному разговору тоскуешь все равно как и здесь. Мне приятно поглядеть на русского,

немца, итальянца, даже на француза, если посчастливится застать его. когда он не занят чем-нибудь нескромным, но одним глядением голод не утолишь, ведь главное-то желание — поговорить с кем-нибудь!

— Но ведь есть Англия, Сэнди, английский округ?

— Да, но там ненамного лучше, чем в нашей части небесных владений. Все идет хорошо, пока ты беседуешь с англичанами, которые родились не более трех столетий тому назад, но стоит тебе встретиться с людьми, жившими до эпохи Елизаветы, как английский язык становится туманным, и чем глубже в века, тем все туманнее. Я пробовал беседовать с неким Ленглендом и с человеком по имени Чосер — это два старинных поэта, — но толку не вышло! Я плохо понимал их, а они плохо понимали меня. Потом я получал от них письма, но на таком ломаном английском языке, что разобрать ничего не мог. А люди, жившие в Англии до этих поэтов, — те совсем иностранцы: кто говорит на датском, кто на немецком, кто на нормандско-французском языке, а кто на смеси всех трех; еще более древние жители Англии говорят по-латыни, по-древнебритански, по-ирландски и по-гэльски; а уж кто жил до них, так это чистейшие дикари, и у них такой варварский язык, что сам дьявол не поймет! Пока отыщешь там кого-нибудь, с кем можно поговорить, надо протискаться через несметные толпы, которые лопочут сплошную тарабарщину. Видишь ли, за миллиард лет в каждой стране сменилось столько разных народов и разных языков, что эта мешанина не могла не сказаться и в раю.

— Сэнди, а много ты видел великих людей, про которых написано в истории?

— О, сколько хочешь! Я видал и королей и разных знаменитостей.

— А короли здесь ценятся так же высоко, как и на земле?

— Нет. Никому не разрешается приносить сюда свои титулы. Божественное право монарха — это выдумка, которую неплохо принимают на земле, но для неба она не годится. Короли, как только попадают в эмпирей, сразу же понижаются до общего уровня.

Я был хорошо знаком с Карлом Вторым — он один из любимейших комиков в английском округе, всегда выступает с аншлагом. Есть, конечно, актеры и получше — люди, прожившие на земле в полной неизвестности, — но Карл завоевывает себе имя, ему здесь пророчат большое будущее. Ричард Львиное Сердце работает на ринге и пользуется успехом у зрителей. Генрих Восьмой — трагик, и сцены, в которых он убивает людей, в высшей степени правдоподобны. Генрих Шестой торгует в киоске религиозной литературы.

— А Наполеона ты когда-нибудь видел, Сэнди?

— Видел частенько, иногда в корсиканском отделении, иногда во французском. Он, по привычке, ищет себе место позаметнее и расхаживает, скрестив руки на груди; брови нахмурены, под мышкой подозрительная труба, вид величественный, мрачный, необыкновенный — такой, какого требует его репутация. И надо сказать, он крайне недоволен, что здесь он, вопреки его ожиданиям, не считается таким уж великим полководцем.

— Вот как! Кого же считают выше?

— Да очень многих людей, нам даже неизвестных, из породы башмачников, коновалов, точильщиков, — понимаешь, простолюдинов бог весть откуда, которые за всю свою жизнь не держали в руках меча и не сделали ни одного выстрела, но в душе были полководцами, хотя не имели возможности это проявить. А здесь они по праву занимают свое место, и Цезарь, Наполеон и Александр Македонский вынуждены отойти на задний план. Величайшим военным гением в нашем мире был каменщик из-под Бостона по имени Эбсэлом Джонс, умерший во время войны за независимость. Где бы он ни появился, моментально сбегаются толпы. Понимаешь, каждому известно, что, представь в свое время этому Джонсу подходящий случай, он продемонстрировал бы миру такие полководческие таланты, что все бывшее до него показалось бы детской забавой, ученической работой. Но случая ему не представилось. Сколько раз он ни пытался записаться в армию рядовым, сержант-вербовщик не брал его — у

Джонса не хватало больших пальцев на обеих руках и двух передних зубов. Однако, повторяю, теперь всем известно, чем он *мог бы* стать, — и вот, заслышав, что он куда-то направляется, народ толпой валит, чтобы хоть одним глазком на него взглянуть. Цезарь, Ганнибал, Александр и Наполеон — все служат под его началом, и, кроме них, еще много прославленных полководцев; но народ не обращает на них никакого внимания, когда видит Джонса. Бум! Еще один залп. Значит, кабатчик уже миновал карантин.

Мы с Сэнди надели на себя полное облачение, затем пожелали — и через секунду очутились на том месте, где должен был состояться прием. Стоя на берегу воздушного океана, мы вглядывались в туманную даль, но ничего не могли разглядеть. Поблизости от нас находилась главная трибуна — ряды едва различных во тьме тронов поднимались к самому зениту. В обе стороны от нее бесконечным амфитеатром расходились места для публики. На трибунах было тихо и пусто, никакого веселья, скорее они выглядели мрачно — как театральный зал, когда газовые рожки еще не горят и зрители не начали собираться. Сэнди мне говорит:

— Сядем здесь и подождем. Скоро вон с той стороны покажется голова процессии.

Я говорю:

— Тоскливо здесь что-то, Сэнди; видимо, произошла какая-то задержка. Одни мы с тобой пришли, а больше нет никого, — не очень-то пышная встреча для кабатчика.

— Не волнуйся, все в порядке. Будет еще один залп, тогда увидишь.

Через некоторое время мы заметили далеко на горизонте пятно света.

— Это голова факельного шествия, — сказал Сэнди.

Пятно разрасталось, светлело, становилось более ярким, скоро оно стало похоже на фонарь паровоза.

Разгораясь ярче и ярче, оно в конце концов уподобилось солнцу, встающему над морем, — длинные красные лучи прорезали небо.

— Смотри все время на главную трибуну и на места для публики и жди последнего залпа, — сказал мне Сэнди.

И тут, точно миллион громовых ударов, слившихся в один, раздалось бум-бум-бум — с такой силой, что задрожали небеса. Вслед за тем внезапная вспышка ослепила нас, и в то же мгновение миллионы мест заполнились людьми — насколько хватал глаз, все было набито битком. Яркий свет заливал эту великолепную картину. У меня просто дух захватило.

— Вот как у нас это делается, — сказал Сэнди. — Время зря не тратим, но и никто не является после поднятия занавеса. Пожелать — это куда быстрее, чем передвигаться иными способами. Четверть секунды тому назад эти люди были за миллионы миль отсюда. Когда они слышали последний сигнал, они просто пожелали сюда явиться, и вот они уже здесь.

Грандиозный хор запел:

Мечтаем голос твой услышать,
Тебя лицом к лицу узреть.

Музыка была возвышенная, но в хор затесались пемелые певцы и испортили все, точь-в-точь как бывает в церкви на земле.

Появилась голова триумфальной процессии, и это было изумительно красиво. Нога в ногу шли плотными рядами ангелы, по пятьсот тысяч в шеренге, все несли и несли факелы, и от оглушительного хлопанья их крыльев даже голова заболела. Колонна растянулась на громадное расстояние, хвост ее терялся сверкающей змейкой далеко в небе, переходя в конце в едва различимый завиток. Шли все новые и новые ангелы, и только спустя много времени показался сам кабатчик. Все зрители как один поднялись со своих мест, и громовое «ура!» потрясло небо. Кабатчик улыбался во весь рот, нимб его был лихо заломлен

набекрень, — такого самодовольного святого я еще никогда не видал. Когда он начал подниматься по ступеням главной трибуны, хор грянул:

Из края в край несутся клики,
Все ждут услышать голос твой.

На почетном месте — широкой огороженной площадке в центре главной трибуны — установлены были рядом четыре роскошных шатра, окруженные блистательной почетной стражей. Все это время шатры были наглухо закрыты. Но вот кабатчик вскарабкался наверх и, кланяясь во все стороны и расточая улыбки, добрался наконец до площадки, и тут все шатры сразу распахнулись, и мы увидели четыре величественных золотых трона, усыпанных драгоценными камнями; на двух средних восседало по седобородому старцу, а на двух крайних — статные красавцы исполины, с нимбами в виде блюд и в прекрасной броне. Все, кто там был, миллионы людей, пали на колени, со счастливым видом уставились на троны и начали радостно перешептываться:

— Два архангела! Чудесно! А кто же эти другие?

Архангелы отвесили кабатчику короткий сухой поклон на военный манер; оба старца тоже встали, и один из них сказал:

— Мойсей и Исав приветствуют тебя!

И тут же вся четверка исчезла и троны опустели.

Кабатчик, видимо, слегка огорчился: он, наверно, рассчитывал обняться с этими старцами; но толпа — такая гордая и счастливая, какой ты сроду не видал, — ликовала, потому что удалось узреть Мойсея и Исава. Все только и говорили кругом: «Вы их видели?» — «Я-то да! Исав сидел ко мне в профиль, но Мойсея я видел прямо, анфас, вот так, как вас вижу!»

Процессия подхватила кабатчика и увлекла его дальше, а толпа начала покидать трибуны и расходиться. Когда мы шли домой, Сэнди сказал, что встреча прошла прекрасно, и кабатчик имеет право вечно ею гордиться. И еще Сэнди сказал, что нам тоже повезло: можно посещать разные приемы сорок тысяч лет и не

увидеть двух таких высокопоставленных лиц, как Моисей и Исав. Позднее мы узнали, что чуть было не узрели еще и третьего патриарха, а также настоящего пророка, но в последнюю минуту они отклонили приглашение с благодарностью. Сэнди сказал, что там, где стояли Моисей и Исав, будет воздвигнут памятник с указанием даты и обстоятельств их появления, а также с описанием всей церемонии. И в течение тысячелетий это место будут посещать туристы, глазеть на памятник, взбираться на него и царапать на нем свои имена.

Маленькой Бесси скоро три года. Она — славная девочка, не ветреная, не шалунья; она задумчива, углублена в себя, любит поразмышлять то над тем, то над другим и постоянно спрашивает «почему?», стараясь понять, что происходит вокруг. Однажды она спросила:

— Мама, почему повсюду столько боли, страданий и горя? Для чего все это?

Это был несложный вопрос, и мама, не задумываясь, ответила:

— Для нашего же блага, деточка. В своей неисповедимой мудрости бог посылает нам эти испытания, чтобы наставить нас на путь истинный и сделать нас лучше.

— Значит, это *он* посылает страдания?

— Да.

— Все страдания, мама?

— Конечно, дорогая. Ничто не происходит без его воли. Но он посылает их полный любви к нам, желая сделать нас лучше.

— Это странно, мама.

— Странно? Что ты, дорогая! Мне это не кажется странным. Не помню, чтобы кто-нибудь находил это странным. Я думаю, что так должно быть, что это милосердно и мудро.

— Кто же первый стал так думать, мама? Ты?

— Нет, крошка, меня так учили.

— Кто тебя так учил, мама?

— Я уже не помню. Наверно, моя мама или священник. Во всяком случае, каждый знает, что это правильно.

— А мне это кажется странным, мама. Скажи: это бог послал тиф Билли Норрису?

— Да.

— Для чего?

— Как для чего? Чтобы наставить его на путь истинный, чтобы сделать его хорошим мальчиком.

— Но он же умер от тифа, мама. Он не может стать хорошим мальчиком!

— Ах да! Ну, значит, у бога была другая цель. Во всяком случае, это была мудрая цель.

— Что же это была за цель, мама?

— Ты задаешь слишком много вопросов. Быть может, бог хотел послать испытание родителям Билли.

— Но это нечестно, мама?! Если бог хотел послать испытание *родителям* Билли, зачем же он убил *Билли*?

— Я не знаю. Я могу только сказать тебе, что его цель была мудрой и милосердной.

— Какая цель, мама?

— Он хотел... он хотел наказать родителей Билли. Они, наверно, согрешили и были наказаны.

— Но умер же Билли, мама! Разве это справедливо?

— Конечно справедливо. Бог не делает ничего, что было бы дурно или несправедливо. Сейчас тебе не понять этого, но когда ты вырастешь большая, тебе будет понятно, что все, что бог делает, мудро и справедливо.

Пауза.

— Мама, это бог обрушил крышу на человека, который выносил из дому больную старушку, когда был пожар?

— Ну да, крошка. Постой! Не спрашивай — зачем, я не знаю. Я знаю одно: он сделал это либо чтобы наставить кого-нибудь на путь истинный, либо покарать, либо чтобы показать свое могущество.

— А вот когда пьяный ударил вилами ребеночка у миссис Уэлч...

— Это совсем не твое дело! Впрочем, бог, наверно, хотел послать испытание этому ребенку, наставить его на путь истинный.

— Мама, мистер Берджес говорил, что миллионы миллионов маленьких существ нападают на нас и заставляют нас болеть холерой, тифом и еще тысячью болезней. Мама, это бог посылает их?

— Конечно, крошка, конечно. Как же иначе?

— Зачем он посылает их?

— Чтобы наставить нас на путь истинный. Я тебе говорила уже тысячу раз.

— Но это ужасно жестоко, мама! Это глупо! Если бы мне...

— Замолчи, сейчас же замолчи! Ты хочешь, чтобы нас поразило громом?

— Мама, на прошлой неделе колокольню поразило громом, и церковь сгорела. Что, бог хотел наставить церковь на путь истинный?

— *(Устало.)* Не знаю, может быть.

— Молния убила тогда свинью, которая ни в чем не была повинна. Бог хотел наставить эту свинью на путь истинный, мама?

— Дорогая моя, тебе, наверно, пора погулять. Пойди побегай немного.

— Только подумай, мама! Мистер Холлистер сказал, что у каждой птицы, у каждой рыбы, у каждой лягушки или ящерицы, у каждого живого существа есть враг, посланный провидением, чтобы кусать их, преследовать, мучить, убивать, пить их кровь, наставлять на путь истинный, чтобы они стали праведными и богомольными. Это правда, мама? Я потому спрашиваю, что мистер Холлистер смеялся, когда говорил об этом.

— Этот Холлистер безобразник, и я запрещаю тебе слушать, что он говорит.

— Почему же, мама, он так интересно рассказывает, и, по-моему, он старается быть праведным. Он сказал, что осы ловят пауков и замуровывают их в свои подземные норки, — живых пауков, мама! — и там под землей они мучаются много-много дней, а голодные маленькие осы откусывают им ноги и грызут

им животики, чтобы пауки научились быть праведными и богомольными, чтобы они возносили богу хвалу за его неизреченную доброту. По-моему, мистер Холлистер добрый человек, просто молодец. Когда я спросила его, стал ли бы он так обращаться с пауками, он сказал, что пусть его черт подерет, если он так поступит, а потом сказал... Мамочка, тебе дурно? Побегу позову кого-нибудь на помощь. Разве можно сидеть в городе в такую жару?

Один художник, написавший небольшую, но очень красивую картину, решил так повесить ее, чтобы она отражалась в зеркале.

— Когда видишь ее в зеркале, — сказал он, — это углубляет перспективу и смягчает колорит. По-моему, картина становится намного приятнее.

Обо всем этом рассказал зверям — обитателям леса — домашний кот, который всегда приводил их в восхищение своей образованностью и утонченностью, своей удивительной благовоспитанностью и высокой культурой.

Он мог поведать о таких вещах, о которых и представления не имели остальные звери. Да и после его рассказов они часто не могли поверить всему до конца.

Услышав от кота такую новость, обитатели леса пришли в страшное волнение. Они засыпали его вопросами, требуя, чтобы кот рассказал им все подробно. Особенно их интересовало, что такое картина.

— Видите ли, — сказал кот, — картина это такая плоская штука. Ну до того плоская, что от нее можно прийти в восторг. И к тому же она очень красива!

Тут уж любопытство у всех зверей разгорелось до предела, и они заявили, что готовы пожертвовать чем угодно, лишь бы увидеть то, что кот называл картиной.

— Что же, однако, делает ее такой красивой? — спросил медведь.

— Ее удивительная красота, — ответил кот.

Это привело их в еще больший восторг и в то же время заронило в них известное сомнение. Любопытство зверей не знает границ.

— А что такое зеркало? — поинтересовалась корова.

— Да просто дыра в стене, — объяснил кот. — Вы глядите в нее и видите в ней картину. И столько в этой картине изящества, очарования и небесной прозрачности, так вдохновляет она вас своей невообразимой красотой, что у вас начинает кружиться голова. И вы близки к обморочному состоянию.

Неожиданно осел, который до этого времени не произнес ни слова, заставил своих собратьев задуматься.

— Красоты, подобной той, о которой рассказывает кот, никогда не существовало, — изрек он, — да, вероятно, не существует и сейчас. И тот факт, что коту для описания этой красоты пришлось прибегнуть к такому количеству непомерно длинных эпитетов, наводит на подозрения.

Нетрудно было заметить, что речь осла произвела на зверей известное впечатление, и кот удалился, оскорбленный до глубины души. Несколько дней разговоров на эту тему в лесу не было, но любопытство, которое продолжало тлеть, в конце концов всыхнуло с новой силой, и звери стали упрекать осла в том, что он своими бездоказательными подозрениями омрачил их радость. Но осла пронять было трудно. С полным спокойствием он заявил, что есть лишь один способ решить, кто прав, он или кот. Он, осел, пойдет в дом художника, заглянет в эту дыру и, вернувшись, расскажет, что он там видел. Тут все звери вздохнули с облегчением и принялись просить осла немедленно отправиться к художнику. Что он и сделал.

Однако, прибыв на место, осел по ошибке стал между зеркалом и картиной и, конечно, никакой картины увидеть не мог. Вернувшись в лес, он решительно сказал:

— Этот кот — лгун! Нет в дыре никого, кроме какого-то осла. Там не было и намека на какую-либо плоскую вещь. Осел, которого я видел, правда, довольно мил, но в конце концов это всего лишь осел и ничего более.

— Хорошо ли ты все разглядел? — спросил слон. — Достаточно ли близко ты подошел?

— О, Хатхи, повелитель зверей, я разглядел все очень хорошо, а подошел так близко, что столкнулся с ним нос к носу.

— Все это очень странно, — произнес слон. — Насколько нам известно, до сих пор кот всегда говорил правду. Пусть еще кто-нибудь сходит туда. Иди ты, Балу, и посмотри в эту дыру. Когда вернешься, доложишь, что ты там видел.

И медведь пошел. Когда он вернулся, звери услышали:

— Оба они, и кот и осел, говорили неправду: сидит в этой дыре какой-то медведь, и все тут.

Среди зверей поднялся настоящий переполох. Каждый теперь хотел самолично убедиться, кто прав.

Однако слон посылал их по одному.

Сначала — корову. Она не нашла в дыре никого, кроме коровы.

Тигр не нашел никого, кроме тигра.

Лев не нашел никого, кроме льва.

Леопард не нашел никого, кроме леопарда.

А верблюд нашел верблюда и больше никого.

Тогда разгневанный Хатхи заявил, что он отправится сам и выяснит настоящую правду. Вернувшись, он объявил, что отныне считает всех своих подданных лжецами, и долго не мог успокоиться, думая о том, как низко пал кот и как он ограничен.

— Только близорукие дураки, — заявил Хатхи, — могли не заметить, что в дыре не было никого, кроме слона.

Мораль, выведенная котом:

В любом произведении искусства вы можете обнаружить то, что привнесете в него, если станете между ним и зеркалом своего воображения. Увидите вы в нем свои уши или нет, но они там будут, можете не сомневаться.

ПУБЛИЦИСТИКА

Марпон-Сити на реке Миссисипи, штат Миссури, — провинциальный городок; время — 1845 год. Ла-Бур-буль-ле-Бен, Франция, — провинциальный городок; время — конец июня 1894 года. Тогда, давно, я находился в том провинциальном городке; сейчас нахожусь в этом. Между указанными датами, как и между названными географическими пунктами, расстояние достаточно велико, и все же у меня сегодня такое чувство, будто меня снова сунули в заштатный американский городишко и заставили еще раз пережить полные волнений дни, которые я там некогда провел.

В прошлую субботу вечером пал от руки итальянского убийцы президент Французской республики. А вчера вечером нашу гостиницу окружила толпа, которая вопила, завывала, горланила «Марсельезу» и швыряла в наши окна камни и палки; ибо у нас в ресторане имеются официанты-итальянцы, и толпа требовала, чтобы их немедленно выкинули на улицу, дабы их можно было надлежащим образом избить, а затем выгнать из города. В гостинице далеко за полночь никто не ложился спать, мы пережили все страхи и ужасы, знакомые по книгам, в которых рассказывается о том, как идет на штурм толпа итальянцев или французская чернь. Было все: нарастающий рев идущей на приступ толпы; град камней и звон разбиваемых стекол; зловещая тишина — после того как толпа

отхлынет, чтобы, обсудив, принять новый план атаки, — тишина угрожающая и еще более непереносимая, чем сам штурм и грохот. Хозяин гостиницы и оба городских полицейских стояли непоколебимо, и в конце концов толпу убедили разойтись и оставить наших итальянцев в покое. А сегодня четверо зачинщиков были приговорены к тяжелому публичному наказанию — и в результате сделались местными героями.

Точно такая же ошибка была допущена у нас в американском городке полстолетия тому назад. Потом ее повторили еще и еще раз — как теперь, последние несколько месяцев, это делают во Франции.

В нашем городе были свои Равошали, свои Анри и Вайяны и даже, на скромный провинциальный лад, свои Чезарио (надеюсь, что напутал в написании его фамилии). Пятьдесят лет назад мы переживали в общем и целом все то, через что проходит за последние два-три года Франция, — такие же приступы страха, ужаса и содрогания.

Кое в каких деталях совпадение просто поразительное. В те дни открыто провозгласить себя противником рабства негров было все равно что объявить себя сумасшедшим. Ибо тем самым человек дерзко подымал руку на святая святых миссурийской жизни и, стало быть, был просто не в своем уме. Так и во Франции за последние три года провозгласить себя анархистом значило объявить себя сумасшедшим — было ясно, что человек просто не в своем уме.

А ведь самый первый дерзкий ниспровергатель устоев, глубоко почитаемых обществом, всегда бывает человеком убежденным: его последователи и подражатели могут быть своекорыстными болтунами, но сам он искренен — в свой протест он вкладывает душу.

Роберт Харди был у нас первым *аболиционистом* — название-то какое ужасное! Он был искусный бочар и работал в большой бочарной мастерской у заготовителей свинины, в заведении, которое составляло главную гордость Марион-Сити и единственный источник его благосостояния. Родом он был из Новой Англии — человек в наших местах пришлый. И как человек пришлый, он, конечно, считался существом низшего по-

рядка — ибо таковы уж люди со времен Адама до наших дней, — и, конечно, ему как чужеземцу давали почувствовать, что никто его сюда не звал, ибо таков издревле закон у людей и у других животных. Харди было тридцать лет, он был холост, бледен, мечтателен и запоем читал книги. Держался замкнуто и, казалось, был вполне доволен своим одиноким уделом. Товарищи по мастерской не скупясь угощали его язвительными замечаниями, но он не обижался, и поэтому люди считали, что он трус.

И вдруг, неожиданно-негаданно, он провозгласил себя аболиционистом — открыто, при всем честном народе! Заявил, что рабство негров — это преступление и позор. От изумления в городе сначала растерялись и не знали, что предпринять, потом разразилась буря негодования и толпа хлынула к бочарной мастерской линчевать Харди. Но методистский священник обратился к людям с пламенной речью и остановил их горающую руку. Он неопровержимо доказал им, что Харди — умалишенный и не отвечает за свои слова, ибо не может человек в здравом уме говорить такое.

Харди был спасен. Как умалишенному, ему было позволено ораторствовать и дальше. Находили, что это недурное развлечение. Несколько вечеров подряд он произносил под открытым небом аболиционистские речи, и весь город стекался послушать его и посмеяться. Он заклинал людей поверить, что он в своем уме, что он говорит от всего сердца, умолял сжалиться над несчастными рабами и принять меры для возвращения им отторгнутых у них прав, — иначе в ближайшем же будущем польется кровь, реки крови!

Что тут смеху было! И вдруг положение вещей изменилось. В Марион-Сити появился беглый раб из Пальмиры — главного города в нашем округе, расположенного в нескольких милях от нас, и когда в серых предрассветных сумерках он уже готовился переправиться на челне в Иллинойс, навстречу свободе, его схватил полицейский. Харди, оказавшийся поблизости, попытался помочь негру: произошла схватка, и полисмен живым из нее не вышел. Харди вместе с негром переправился через реку, а затем возвратился, чтобы

отдаться в руки правосудия. На все это ушло время, потому что Миссисипи — не какой-нибудь французский ручеек вроде Сены, Луары и прочих речушек, это настоящая река, чуть не в милю шириной. Город встретил его во всеоружии, алкая расправы, но методистский священник и шериф уже приняли меры в интересах порядка, и потому Харди сразу же был окружен надежной охраной и благополучно доставлен в городскую каталажку, несмотря на все попытки толпы спасти его. Читатель, вероятно, уже догадался, что этот методистский священник был человек дельный, на руку скор и с головой на плечах. Уильямс была его фамилия, Дамон Уильямс. А по прозвищу Уильямс Демон, поскольку он с поистине демонической страстью чаще и убедительнее всего распространялся в своих проповедях на тему о вечной гибели.

Великое возбуждение охватило город. До этого полицейского у нас никого не убивали. Событие это было безусловно самое примечательное во всей истории города. Оно придало заштатному городишке небывалую значительность; на двадцать миль в округе имя Марлон-Сити было у всех на устах. И имя Роберта Харди тоже, Роберта Харди — презренного чужеземца. За один день он сделался самым известным лицом в нашей местности, все только о нем и говорили. Что же до остальных бочаров, то их положение изменилось весьма забавным образом — их вес в обществе зависел теперь от того, насколько близко они были знакомы с новой знаменитостью. Двое или трое из них, состоявшие с ним в более или менее дружеских отношениях, оказались предметом восторженного внимания публики и черной зависти своих товарищей.

Городской еженедельный листок как раз незадолго перед тем перешел в руки нового владельца. То был весьма предприимчивый человек, и он не упустил возможностей, открывшихся благодаря трагическому событию. Напечатал экстренный выпуск. И расклеил афиши, в которых сулил посвятить целый номер газеты знаменательному происшествию — им будет опубликована полная и в высшей степени интересная биография убийцы и даже с портретом. Сказано —

сделано. Он самолично выравировал портрет на обороте деревянной литеры — и портрет вышел что надо: взглянуть страшно. В городке это произвело огромное впечатление, ведь то была первая напечатанная у нас газетная иллюстрация. Все очень гордились. Газета вышла в десять раз большим тиражом, чем обычно, и тем не менее была раскуплена.

Когда настало время суда, в Марион-Сити съехались люди со всех окрестных ферм, а также из Ганнибала, Куинси и даже из Кеокука; в здании суда поместилась лишь малая толика огромной толпы, жаждавшей присутствовать на разбирательстве. Весь ход суда подробно излагался в местной газетке, сопровождаемый новыми и еще более устрашающими портретами обвиняемого.

Харди был признан виновным и повешен — и это было ошибкой. Поглядеть на казнь собрались люди со всей округи: они везли с собой пироги и сидр, а также женщин и детей, и устроили по этому случаю веселый пикник. Никогда еще в нашем городишке не бывало такого стечения народа. Веревку, на которой был повешен Харди, моментально раскупили по дюймам, — каждому хотелось приобрести что-нибудь на память о знаменательном событии.

Мученичество в позолоте славы, пусть и дурной, имеет притягательную силу. Не прошло и недели, как четверо молодых легковесов города объявили себя аболиционистами! При жизни Харди не сумел привлечь на свою сторону ни одного человека, все смеялись над ним; но никто не мог смеяться над его наследием. Четверо новообращенных расхаживали по улицам, пряча лица под мягкими полями низко надвинутых шляп, и туманно предрекали всякие ужасы. Люди порядком струхнули и забеспокоились; и это было заметно. В то же время они были совершенно сбиты с толку — происходило нечто непостижимое. Слово «аболиционист» всегда было постыдным и ужасным ругательством; и вдруг появляются четыре молодых человека, которые не только не стыдятся этого названия, но даже как будто гордятся им. И ведь вполне добропорядочные люди из хороших семей и возвращен-

ные в лоне церкви. Эд Смит, подмастерье у печатника, девятнадцати лет, был в свое время первым учеником воскресной школы и как-то продекламировал без передышки три тысячи стихов из библии. Остальные трое были: Дик Сэведж, двадцати лет, подмастерье у булочника; Уилл Джойс, двадцати двух лет, кузнец; и Генри Тэйлор, двадцати четырех лет, табачник. Все четверо были народ сентиментальный, все были любители читать романы, все четверо кропали стишки, пусть никудышные, и были тщеславны и глупы; но никто прежде не подозревал за ними никаких пороков.

Они отделились от людей и с каждым днем напу-скали на себя все более таинственный и ужасный вид. Вскоре они удостоились чести быть поименно прокля-тыми с церковного амвона — что тут было! Вот оно, величие, вот она, слава! Все парни в городе теперь им завидовали. И вполне естественно. Компания их стала расти, расти угрожающе. Они приняли особое назва-ние. То было тайное название, скрываемое от посторон-них; для городка они оставались просто аболиционни-стами. У них завелись пароли, условные рукопожатия и знаки; они устраивали тайные сходки; прием новых членов сопровождался мрачным и торжественным ритуалом и происходил всегда в полночь.

Харди они именovali не иначе как «Мученик» и то и дело устраивали полночные процессии — в чер-ных балахонах и в масках шествовали по главнѣй улице под зловещую дробь одинокого барабана на по-клонение к могиле «Мученика», где проделывали вся-кие дурацкие церемонии и произносили клятвы ото-мстить его убийцам. О предстоящих паломничествах на могилу они оповещали заранее небольшими плака-тами, в которых жителям города предлагалось не вы-ходить на улицу и не зажигать света в домах вдоль всего пути их следования. Запреты эти выполнялись, потому что на каждом плакатике сверху были изобра-жены череп и кости.

Так дело шло чуть не восемь недель, прежде чем случилось то, что неизбежно должно было случиться. Несколько сильных духом и твердых характером муж-чин стряхнули с себя оцепенение этого кошмара и

стали осыпать укорами и насмешками самих себя и весь город за то, что здесь столько времени терпели такие детские забавы; было решено немедленно с этим покончить. Люди воспрянули духом, словно в них вдохнули новую жизнь; к ним вернулась утраченная храбрость, и каждый вновь почувствовал себя мужчиной. Это было в субботу. Весь день новое чувство росло и крепло, росло с каждой минутой; все ободрились и повеселели. Полночь застала в городке небывалую сплоченность и единодушие; общество было исполнено рвения и отваги, и каждый отчетливо понимал, что именно нужно сделать. Первым среди городских вождей и лучшим, яростнейшим оратором в ту славную субботу был пресвитерианский пастор преподобный Хайрам Флетчер — тот самый, что проклял когда-то с амвона четверых заводил, и он пообещал снова использовать свой амвон в интересах общества. Наутро, объявил он, будут сделаны ужасные разоблачения, раскрыты секреты этого тайного общества.

Но разоблачения сделаны не были. В половине третьего ночи мертвую тишину спящего городка нарушил оглушительный взрыв, и городская стража увидела, как дом проповедника смерчем обломков взлетел к небесам. Проповедник был убит, а заодно с ним и старая негритянка — его единственная служанка и раба.

Город снова замер, и это вполне понятно. Одно дело, когда надо бороться с видимым противником, тут всегда найдется немало людей, готовых этим заняться; но бороться против невидимого врага — такого, который приходит под покровом темноты, делает свое черное дело и исчезает, не оставляя следов, — это совсем другое. Тут храбрейший задрожит и отступится.

Терроризированное население городка не отважилось выйти на похороны. За гробом человека, к которому — послушать, как он будет разоблачать общего врага, — должны были стечь толпы, шла лишь небольшая горстка людей. Дознание установило «смерть по воле божией», ибо не было получено ни одного свидетельского показания; если и имелись свидетели, они благоразумно держались в стороне. Никто не выражал огор-

чения. Никому не хотелось вызывать тайное общество на новые террористические акты. Все предпочитали замать, замолчать и, по возможности, забыть трагическое происшествие.

И потому для всех было весьма неприятным сюрпризом, когда кузнец Уилл Джойс явился вдруг в полицию и признался, что убийца — он! Он явно не желал лишаться заслуженной славы. Сделал признание — и ни в какую. Настаивал на своем и требовал суда. То было зловещее явление: новая, чудовищная угроза обществу, ибо здесь вскрывался мотив, с которым не было никакой надежды справиться, — тщеславие, жажда известности. Если люди будут убивать ради славы, ради блеска газетной популярности, шумного судебного процесса и эффектной казни, какие измышления человеческого ума смогут остановить их и воспрепятствовать им в этом? Город охватила паника; никто не знал, как быть.

Однако ничего не поделаешь, присяжные вынуждены были принять этот вопрос на рассмотрение. И было вынесено решение о предании Уилла Джойса окружному суду. Ну и суд же это был! Главным свидетелем обвинения был подсудимый. Он дал исчерпывающие показания о том, как было совершено убийство; привел даже самые мельчайшие подробности: как он закладывал бочонок с порохом, как тянул пороховую дорожку от дома к такому-то месту; как в это самое время мимо шли Джордж Роналдс и Генри Гарт, — они курили, и он попросил на минутку у Гарта сигару и запалил от нее порох, воскликнув: «Долой тиранов-рабовладельцев!», а Гарт и Роналдс и не подумали его схватить, но просто убежали и до сих пор не выступили свидетелями.

Теперь им, понятно, пришлось дать показания, они выступили, и на них просто жалко было смотреть: видно было, что они рады бы сквозь землю провалиться со страху. Набившаяся в суд публика жадно внимала страшному повествованию Джойса, затаив дух и храня глубокое безмолвие, которое никто не посмел нарушить, покуда он не нарушил его сам, громогласно повторив свой возглас: «Смерть тиранам-рабовладель-

цам!» — прозвучавший до того неожиданно, что присутствующие все вздрогнули да так и охнули в один голос.

Ход судебных заседаний подробно освещался в газете, она опубликовала также биографию преступника и его большой портрет, а заодно и еще кое-какие клеветнические и безумные изображения, и разошлась в совершенно немыслимом количестве экземпляров.

Казнь Джойса была редкостным, живописнейшим зрелищем. Оно привлекло толпы народу. Лучшие места на деревьях и заборах шли по полдоллара; лотки с лимонадом и пряниками дали огромную выручку. Джойс произнес на помосте страстную и сумбурную разоблачительную речь, которая сверкала там и сям внушительными перлами школьного красноречия и принесла ему тут же на месте славу искусного оратора, а впоследствии, в анналах тайного общества, имя «Оратор-Мученик». Он принял смерть, пылая жаждой крови и призывая товарищей «отомстить за его гибель». Если он понимал хоть что-нибудь в человеческой природе, он конечно знал, что для множества молодых людей в этой огромной толпе он был величайшим героем, которому можно было только позавидовать.

Его повесили. И это было ошибкой. Не прошло и месяца со дня его смерти, а уж в тайном обществе, которое он почтил своим участием, было двадцать новых членов, из коих некоторые — серьезные, решительные люди. Их не прельщала его слава, но они преклонялись перед его мученичеством. То, что прежде считалось черным и низким преступлением, стало славным и возвышенным подвигом.

И такое происходило по всей стране. Вслед за мученичеством безумцев-одиночек подымался протест организованный. А затем уже, естественно, шли беспорядки, восстания, военные действия, разорение и последующее возмещение убытков. Это неизбежно, ибо таков естественный ход вещей. Именно этим путем совершались от сотворения мира реформы.

«Следопыт» и «Зверобой» — вершины творчества Купера. В других его произведениях встречаются отдельные места, не уступающие им по совершенству, и даже сцены более захватывающие. Но, взятое в целом, ни одно из них не выдерживает сравнения с названными шедеврами.

Погрешности в этих двух романах сравнительно невелики. «Следопыт» и «Зверобой» — истинные произведения искусства». — *Проф. Лонсбери.*

«Все пять романов говорят о необычайно богатом воображении автора.

.. Один из самых замечательных литературных героев Натти Бампо...

Сноровка обитателя лесов, приемы трапперов, удивительно тонкое знание леса — все это было понятно и близко Куперу с детских лет». — *Проф. Брандер Мэтьюз.*

«Купер — величайший романтик, ему нет равного во всей американской литературе». — *Уилки Коллинз.*

Мне кажется, что профессору английской литературы Йельского университета, профессору английской литературы Колумбийского университета, а также Уилки Коллинзу не следовало высказывать суждения о творчестве Купера, не удосужившись прочесть ни одной его книги. Было бы значительно благопристойнее помолчать и дать возможность высказаться тем людям, которые его читали.

Да, в произведениях Купера есть погрешности. В своем «Зверобое» он умудрился всего лишь на двух третях страницы согрешить против законов художественного творчества в 114 случаях из 115 возможных. Это побивает все рекорды.

Существует 19 законов, обязательных для художественной литературы (кое-кто говорит, что их даже 22). В «Зверобое» Купер нарушает 18 из них. Каковы же эти 18 законов?

1) Роман должен воплотить авторский замысел и достигнуть какой-то цели. Но «Зверобой» не воплощает никакого замысла и никакой цели не достигает.

2) Эпизоды романа должны быть неотъемлемой его частью, помогать развитию действия. Но поскольку «Зверобой» по сути дела не роман, поскольку в нем нет ни замысла, ни цели, эпизоды в нем не занимают своего законного места, им нечего развивать.

3) Героями произведения должны быть живые люди (если только речь идет не о покойниках), и нельзя лишать читателя возможности уловить разницу между теми и другими, что в «Зверобое» часто упускается из виду.

4) Все герои, и живые и мертвые, должны иметь достаточно веские основания для пребывания на страницах произведения, что в «Зверобое» также часто упускается из виду.

5) Действующие лица должны говорить членораздельно, их разговор должен напоминать человеческий разговор и быть таким, какой мы слышим у живых людей при подобных обстоятельствах, и чтобы можно было понять, о чем они говорят и зачем, и чтобы была хоть какая-то логика, и разговор велся хотя бы по соседству с темой, и чтобы он был интересен читателю, помогал развитию сюжета и кончался, когда действующим лицам больше нечего сказать. Купер пренебрегает этим требованием с начала и до конца романа «Зверобой».

6) Слова и поступки персонажа должны соответствовать тому, что говорит о нем автор. Но в «Зверобое» этому требованию почти не уделяется внимания, о чем свидетельствует хотя бы образ Натти Бампо.

7) Речь действующего лица, в начале абзаца, позаимствованная из роскошного, переплетенного, с узорчатым тиснением и золотым обрезом тома «Френдшип», не должна переходить в конце этого же абзаца в речь комика, изображающего безграмотного негра. Но Купер безжалостно надругался над этим требованием.

8) Герои произведения не должны навязывать читателю мысль, будто бы грубые трюки, к которым они прибегают по воле автора, объясняются «сноровкой обитателя лесов, удивительно тонким знанием леса». В «Зверобое» это требование постоянно нарушается.

9) Герои должны довольствоваться возможным и не тщиться совершать чудеса. Если же они и отваживаются на что-нибудь сверхъестественное, дело автора представить это как нечто достоверное и правдоподобное. Купер относится к этому требованию без должного уважения.

10) Автор должен заставить читателей интересоваться судьбой своих героев, любить хороших людей и ненавидеть плохих. Читатель же «Зверобоя» хороших людей не любит, к плохим безразличен и от души желает, чтобы черт побрал их всех — и плохих и хороших.

11) Авторская характеристика героев должна быть предельно точна, так чтобы читатель мог представить себе, как каждый из них поступит в тех или иных обстоятельствах. Купер забывает об этом.

Кроме этих общих требований, существует и несколько более конкретных.

Автор обязан:

12) сказать то, что он хочет сказать, не ограничиваясь туманными намеками,

13) найти нужное слово, а не его троюродного брата,

14) не допускать излишнего нагромождения фактов,

15) не опускать важных подробностей,

16) избегать длиннот,

17) не делать грамматических ошибок,

18) писать простым, понятным языком.

Автор «Зверобоя» с холодным упорством проходит и мимо этих требований.

Купер не был одарен богатым воображением; но то немногое, что имел, он любил пускать в дело, он искренне радовался своим выдумкам, и надо отдать ему справедливость, кое-что у него получалось довольно мило. В своем скромном наборе бутафорских принадлежностей он бережно хранил несколько трюков, при помощи которых его дикари и бледнолицыя обитатели лесов обводили друг друга вокруг пальца, и ничто не приносило ему большей радости, чем возможность приводить этот нехитрый механизм в действие. Один из его излюбленных приемов заключался в том, чтобы пустить обутого в мокасины человека по следу ступающего в мокасинах врага и тем самым скрыть свои собственные следы. Купер пользовался этим приемом так часто, что износил целые груды мокасин. Из прочей бутафории он больше всего ценил хрустнувший сучок. Звук хрустнувшего сучка услаждал его слух, и он никогда не отказывал себе в этом удовольствии. Чуть ли не в каждой главе у Купера кто-нибудь обязательно наступит на сучок и поднимет на ноги всех бледнолицых и всех краснокожих на двести ярдов вокруг. Всякий раз, когда герой Купера подвергается смертельной опасности и полная тишина стоит четыре доллара в минуту, он обязательно наступает на предательский сучок, даже если поблизости есть сотня предметов, на которые гораздо удобнее наступить. Купера они явно не устраивают, и он требует, чтобы герой осмотрелся и нашел сучок или, на худой конец, взял его где-нибудь напрокат. Поэтому было бы правильнее назвать этот цикл романов не «Кожаный Чулок», а «Хрустнувший Сучок».

К сожалению, недостаток места не позволяет мне привести несколько десятков примеров «удивительно тонкого знания леса» из практики Натти Бампо и других куперовских специалистов. Все же отважимся на несколько иллюстраций. Купер был моряком, морским офицером; тем не менее он совершенно серьезно говорит о шкипере, ведущем судно в штормовую погоду к определенному месту подветренного берега, потому

что ему, видите ли, известно какое-то *подводное течение*, способное противостоять шторму и спасти корабль. Это здорово для любого, кто бы ни написал, знаток ли лесов, или знаток морей. За несколько лет службы на флоте Купер, казалось бы, мог приглядеться к пушкам и заметить, что, когда падает пушечное ядро, оно или зарывается в землю, или отскакивает футов на сто, снова отскакивает и так до тех пор, пока не устанет и не покатится по земле. И вот один из эпизодов. Ночью Купер оставляет несколько «нежных созданий», под каковыми подразумеваются женщины, в лесу, недалеко от опушки, за которой начинается скрытая туманом равнина, — оставляет нарочно, для того чтобы дать возможность Бампо похвастаться перед читателями «удивительно тонким знанием леса». Заблудившиеся люди ищут форт. До них доносится грохот пушки, ядро вкатывается в лес и останавливается прямо у их ног. Для женщин это пустой звук, а вот для несравненного Бампо... Не сойти мне с этого места, если он не вышел *по следу пушечного ядра* сквозь сплошной туман прямо к форту. Не правда ли мило? Может быть, Купер и знал законы природы, но он очень умело это скрывал. Например, один из его проникательных индейских специалистов Чингачгук (произносится, очевидно, Чикаго) потерял след человека, за которым он гонится по лесу. Совершенно очевидно, что дело безнадежное. Ни вы, ни я никогда бы не нашли этого следа. Но Чикаго — совсем другое дело. Уж он-то не растерялся. Отведя ручей, он разглядел следы мокасин в вязком иле старого русла. Вода не смыла их, как это произошло бы во всяком другом случае, — нет, даже вечным законам природы приходится отступить, когда Купер хочет пустить читателю пыль в глаза своими лесными познаниями.

Когда Брандер Мэтьюз заявляет, что романы Купера «говорят о необычайно богатом воображении автора», это настораживает. Как правило, я охотно разделяю литературные взгляды Брандера Мэтьюза и восхищаюсь ясностью и изяществом его стиля, но к этому его утверждению следует отнести весьма и весьма скептически. Видит бог, воображения у Купера было

не больше, чем у быка, причем я имею в виду не рога-того, мычащего быка, а промежуточную опору моста. В романах Купера очень трудно найти действительно интересную ситуацию, но еще трудней найти такую, которую ему не удалось бы довести до абсурда своей манерой изложения. Взять хотя бы эпизоды в пещере; знаменитую потасовку на плато с участием Макуа несколько дней спустя; любопытную переправу Гарри Непоседы из замка в ковчег; полчаса, проведенные Зверобоем около своей первой жертвы; ссору между Гарри Непоседой и Зверобоем, и... но вы можете остановить свой выбор на любом другом эпизоде, и, я уверен, вы не ошибетесь.

Воображение у Купера работало бы лучше, если бы он обладал способностью наблюдать: он писал бы если не увлекательнее, то по крайней мере более разумно и правдоподобно. Отсутствие наблюдательности сильно сказывается на всех хваленых куперовских «ситуациях». У Купера был удивительно неточный глаз. Он редко различал что-либо отчетливо, обычно предметы расплывались у него перед глазами. Разумеется, человеку, который не видит отчетливо самые обычные, повседневные предметы, окружающие его, приходится трудно, когда он берется за «ситуации». В романе «Зверобой» Купер описывает речку, берущую начало из озера, и ширина ее у истока — 50 футов, но затем она сужается до 20 футов. Почему? Неизвестно. Но ведь если река позволяет себе такие вещи, читатель вправе потребовать объяснения. Через четырнадцать страниц мы узнаем, что ширина речки у истока неожиданно сузилась до 20 футов и стала «самой узкой частью реки». Почему она сузилась? Тоже неизвестно. Река образует излучины. Ну, ясно, берега наносные, и река размывает их; но вот Купер пишет, что длина этих излучин не превышает 30—50 футов. Будь Купер наблюдательнее, он бы заметил, что обычная-то длина таких излучин меньше чем 900 футов не бывает.

Непонятно, почему в первом случае ширина реки у истока 50 футов, однако можно догадаться, что во втором случае Купер сузил ее до 20 футов, чтобы услужить индейцам. Сузив в этом месте речку, он дугой

перегнул над ней молодое деревце и спрятал в его листве шесть индейцев. Они подкарауливают ковчег с переселенцами, направляющийся вверх по реке к озеру; ковчег движется против сильного течения, его подтягивают на канате, один конец которого с якорем брошен в озеро; скорость ковчега в таких условиях не может превышать милю в час. Купер описывает плавающее жилище, но очень невразумительно. Оно было «чуть побольше современных плоскодонных барок, плавающих по каналам». Ну, допустим, что длина его была около 140 футов. Ширина его «превышала обычную». Допустим, следовательно, что ширина составляла 16 футов. Этот левиафан крадется вдоль излучин, длина которых в три раза меньше его длины, и буквально задевает берега, так как отстоит от них всего на два фута с каждой стороны. Право же, от удивления трудно прийти в себя. Низкая бревенчатая хижина занимает «две трети ковчега в длину» — значит, имеет 90 футов в длину и 16 в ширину, то есть по размерам напоминает железнодорожный вагон. Эта хижина разделена на две комнаты. Прикинем, что длина каждой из них — 45 футов, а ширина — 16 футов. Одна из них — спальня Джудит и Хетти Хаттер, вторая — днем столовая, а ночью спальня их папаш.

Итак, ковчег приближается к истоку, который Купер для удобства индейцев сузил до 20, даже до 18 футов. Теперь он отстоит на фут от каждого берега. Замечают ли индейцы опасность, грозящую ковчегу, замечают ли они, что есть прямой смысл слезть с дерева и просто ступить на борт, когда ковчег будет протискиваться к озеру? Нет, другие индейцы наверняка бы заметили это, но куперовские индейцы ничего не замечают. Купер полагал, что они чертовски наблюдательны, но почти всегда переоценивал их возможности. У него редко найдешь толкового индейца.

Длина ковчега — 140 футов, длина хижины — 90. План индейцев заключается в том, чтобы осторожно и бесшумно прыгнуть из засады на крышу, когда ковчег будет проползать под деревом, и вырезать семью Хаттеров.

Полторы минуты находится ковчег под деревом, минуту под ним находится хижина длиною в 90 футов. Ну а что же делают индейцы? Можете ломать себе голову хоть тридцать лет, все равно не догадаетесь. Поэтому я вам лучше расскажу, что они делали. Их вождь, человек необычайно умный для куперовского индейца, осторожно наблюдал из своего укрытия, как внизу с трудом протискивался ковчег, и когда, по его расчетам, настало время действовать, он прыгнул и... промахнулся! Ну да, промахнулся и упал на корму. Не с такой уж большой высоты он упал, однако потерял сознание. Будь длина хижины 97 футов, он бы прыгнул куда удачнее. Так что виноват Купер, а не он. Это Купер неправильно построил ковчег. Он не был архитектором.

Но на дереве оставалось еще пять индейцев. Ковчег миновал засаду и был практически недосыгаем. Я вам расскажу, как они поступили, самим вам не додуматься. № 1 прыгнул и упал в воду за кормой. За ним прыгнул № 2 и упал дальше от кормы. Потом прыгнул № 3 и упал совсем далеко от кормы. За ним прыгнул № 4 и упал еще дальше. Потом прыгнул и № 5 — потому что он был куперовский индеец. В смысле интеллектуального развития разница между индейцем, действующим в романах Купера, и деревянной фигурой индейца у входа в табачную лавку очень невелика. Эпизод с ковчегом — поистине великолепный взлет воображения, но он не волнует, так как неточный глаз автора сделал его совершенно неправдоподобным, лишил плоти и крови. Вот что значит быть плохим наблюдателем!

В том, что Купер был на редкость ненаблюдателен, читатель может убедиться, ознакомившись с эпизодом стрелкового состязания в «Следопыте»:

«Обычный железный гвоздь слегка вогнули в мишень, предварительно окрасив его шляпку».

В какой цвет, не указано — важное упущение, но Купер мастак по части важных упущений! Впрочем, это даже не такое уж важное упущение, потому что

шляпка гвоздя находится в *ста ярдах* от стрелков, и, какого бы она цвета ни была, они не могут увидеть ее. На каком расстоянии самый острый глаз различит обыкновенную муху? В *ста ярдах*? Но это абсолютно невозможно. Так вот, глаз, который не увидит муху на расстоянии *ста ярдов*, не увидит и шляпку обычного гвоздя, поскольку они одинаковой величины. Чтобы увидеть муху или шляпку гвоздя в *50 ярдах*, то есть в *150 футах*, и то нужен острый глаз. Вы, читатель, на это способны?

Обыкновенный гвоздь с окрашенной шляпкой слегка вогнали в мишень, и соревнование началось. Тут-то и пошли чудеса. Пуля первого стрелка сорвала с гвоздя кусочек шляпки; пуля следующего стрелка вогнала гвоздь немного глубже в доску, и вся краска с него стерлась. Хорошенького понемножку, не правда ли? Но Купер не согласен. Ведь цель его — дать возможность своему удивительному Зверобою — Соколиному Глазу — Длинному Карабину — Кожаному Чулку — Следопыту — Бампо порисоваться перед дамами.

«— Приготовьтесь-ка решить спор, друзья, — крикнул Следопыт, занимая место предыдущего стрелка, едва тот отошел. — Не нужно нового гвоздя, ничего, что с него стерлась краска, я его вижу, а в то, что вижу, могу попасть и в *ста ярдах*, будь это хоть глаз москита. Приготовьтесь-ка решить спор! — Раздался выстрел, просвистела пуля, и кусок расплющенного свинца вогнал шляпку гвоздя глубоко в дерево».

Вы видите, перед нами человек, который может подстрелить муху! Живи он в наши дни, он затмил бы всех артистов из представления «Ковбой Дикого Запада» и заработал колоссальные деньги.

Проявленная Следопытом ловкость сама по себе удивительна, однако Куперу этого показалось мало, и он решил кое-что добавить. По воле Купера Следопыт совершает это чудо с чужим ружьем и даже сам его не заряжает. Все было против Следопыта, но этот непостижимый выстрел был сделан, причем с абсолютной уверенностью в успехе: «Приготовьтесь-ка решить

спор!» Впрочем, Следопыт и ему подобные могли бы попасть в цель и кирпичом, — с помощью Купера, разумеется.

В этот день Следопыт вволю покрасовался перед дамами. С самого начала он блеснул остротой зрения, о какой артисты — «Ковбои Дикого Запада» — не смеют и мечтать. Он стоял там же, где и другие стрелки, в ста ярдах от мишени, заметьте, и наблюдал; некто Джаспер прицелился и выстрелил — пуля пробила самый центр мишени. Затем спустил курок квартирмейстер. Нового отверстия на мишени не появилось. Послышался смех. «Промах!» — сказал майор Лэнди. Следопыт выдержал внушительную паузу и сказал спокойно, с присущим ему безразличным видом всезнайки: «Нет, майор, взглянув на мишень, всякий убедится, что его пуля попала на пулю Джаспера».

Вот здорово! Как он мог проследить полет пули и на таком расстоянии определить, что она попала в то же отверстие? Тем не менее ему это удалось — разве может что-либо не удался героям Купера! Ну, а остальные? Неужели они даже в глубине души не усомнились в правдивости его слов? Нет, для этого потребовался бы здравый смысл, а ведь они — персонажи Купера.

«Уважение к *мастерству* Следопыта и к *остроте его зрения* (курсив мой) было таким всеобщим и глубоким, что едва он произнес эти слова, как все зрители начали сомневаться в справедливости собственного мнения, и человек двенадцать бросилось к мишени, чтобы освидетельствовать ее. Они обнаружили, что пуля квартирмейстера действительно прошла через то самое отверстие, которое пробила пуля Джаспера, и с такой точностью, что это можно было установить лишь путем тщательного осмотра; но две пули, найденные в стволе дерева, к которому была прибита мишень, окончательно убедили всех в правоте Следопыта».

Итак, они «бросились к мишени, чтобы освидетельствовать ее», но каким образом они узнали, что в стволе дерева было две пули? В этом можно было убе-

даться, лишь вынудив вторую, потому что видна и ощущима была лишь одна. Но они этого не сделали, что мы увидим в дальнейшем. Настал черед Следопыта. Он встал в позу перед дамами и выстрелил.

Но боже, какое разочарование! Случилось что-то непостижимое — вид мишени не изменился, пробит по-прежнему лишь центр белого кружка.

«— Посмей я предположить такое, — воскликнул майор Дункан, — я бы сказал, что Следопыт тоже промахнулся!»

Поскольку никто еще не промахнулся, «тоже» совершенно излишне, но, бог с ним, Следопыт собирается что-то сказать.

«— Нет, нет, майор, — уверенно возразил Следопыт, — это было бы неверное предположение. Я не заряжал ружья и не знаю, что в нем было, но если свинец, я ручаюсь, что моя пуля сейчас на пулях Джаспера и квартирмейстера, или я не Следопыт.

Возле мишени раздались одобрителные восклицания: Следопыт оказался прав».

Может быть, хватит чудес? Нет, Куперу и этого мало.

«Медленно приближаясь к скамьям, где сидели дамы, Следопыт добавил: «Нет, это еще не все, друзья, это еще не все! Если вы обнаружите, что пуля хоть слегка коснулась мишени, тогда считайте, что я промахнулся. Пуля квартирмейстера увеличила отверстие, но вы не отыщите и царапины от моей пули».

Наконец-то мы получили полное представление о совершившемся чуде. Следопыт знал и, несомненно, *видел* на расстоянии ста ярдов, что его пуля *не увеличила отверстия*. Итак, это была уже третья пуля. Три пули одна за другой вошли в ствол дерева и застряли в нем. Каким-то образом все об этом узнали, хотя никому не пришло в голову убедиться, так ли это, вытащив хоть одну из них! Наблюдательность была несвойственна Куперу, но писал он занимательно.

Причем, чем меньше он сам разбирался в том, что писал, тем занимательнее у него получалось. Это весьма ценный дар.

Речь персонажей Купера звучит несколько странно в наши дни. Поверить в то, что люди изъяснялись таким образом, значило бы поверить, что было время, когда человек, испытывавший потребность высказаться, меньше всего думал о времени; когда было в обычае растягивать на десять минут то, что можно сказать за две; когда рот человека был рельсопрокатным станом, где в течение всего дня четырехфутовые болванки мыслей раскатывались в тридцатифутовые рельсы слов; когда от темы разговора уклонялись так далеко, что не могли найти дорогу обратно; когда изредка в словесной чепухе попадалась разумная мысль — разумная мысль со смущенным видом незваной гостьи.

Да, диалоги Куперу явно не давались. Недостаток наблюдательности подводил его и здесь. Он не заметил даже того, что человек, который говорит безграмотно шесть дней в неделю, и на седьмой не может удержаться от соблазна. В «Зверобое» герой то изъясняется витиеватым книжным языком, то переходит на вопиющий жаргон. Когда Зверобоя спрашивают, есть ли у него невеста и где она живет, он величественно отвечает:

«Она в лесу — в склоненных ветвях дерев, в мягком теплом дожде, в светлой росе на зеленой травинке; она — облака, плывущие по голубому небу, птицы, распевające в лесах, чистый родник, утоляющий жажду; и все другие щедрые дары providения — тоже она».

А в другом месте он говорит:

«Будь я рожден индейцем, так не стал бы молчать, уж будьте уверены! И скальп бы содрал, да еще бахвалился бы таким геройством перед всей компанией; или ежели бы моим недругом был медведь...» (и т. д.).

Мы не можем представить себе, чтобы командир форта, ветеран-шотландец, держался на поле боя как бездарный мелодраматический актер, а вот Купер мог.

Алиса и Кора, спасаясь от французов, бегут к форту, которым командует их отец.

«— Point de quartier aux coquins!» — крикнул один из преследователей, казалось направлявший остальных.

— Стойте твердо, мои храбрые солдаты, приготовиться к бою! — внезапно раздался голос сверху. — Подождите, пока не покажется враг, стреляйте вниз, по переднему скату бруствера!

— Отец, отец! — послышался пронзительный крик из тумана. — Это я, Алиса, твоя Эльси! О, пощади! О, спаси своих дочерей!

— Стойте! — прозвучал тот же голос, исполненный отцовской тревоги и боли, и звуки его достигли леса и отдались эхом. — Это она! Господь вернул мне моих детей! Откройте ворота! В бой, мои молодцы, вперед! Не спускайте курков, чтобы не убить моих овечек! Отбейте проклятых французов штыками!»

У Купера было сильно притуплено чувство языка. Если у человека нет музыкального слуха, он фальшивит, сам того не замечая, и можно лишь гадать о том, какую он поет песню. Если человек не улавливает разницы в значении слов, он тоже фальшивит. Мы догадываемся, что именно он хочет сказать, и понимаем, что он этого не говорит. Все это можно отнести к Куперу. Он постоянно брал не ту ноту в литературе, довольствовался похжей по звучанию.

Чтобы не быть голословным, приведу несколько дополнительных улик. Я обнаружил их всего лишь страницах на шести романа «Зверобой».

Купер пишет «словесный» вместо «устный», «точность» вместо «легкость», «феномен» вместо «чудо», «необходимый» вместо «предопределенный», «безыскусный» вместо «примитивный», «приготовление» вместо «предвкушение», «посрамленный» вместо «пристыженный», «зависящий от» вместо «вытекающий из», «факт» вместо «условие», «факт» вместо «предположение», «предосторожность» вместо «осторожность», «объяснять» вместо «определять», «огорченный» вместо «разочарованный», «мншурный» вместо «искусственный», «важно» вместо «значительно»,

«уменьшающийся» вместо «углубляющийся», «возрастающий» вместо «исчезающий», «вонзенный» вместо «вложенный», «вероломный» вместо «враждебный», «стоял» вместо «наклонился», «смягчил» вместо «заменял», «возразил» вместо «заметил», «положение» вместо «состояние», «разный» вместо «отличный от», «бесчувственный» вместо «нечувствительный», «краткость» вместо «быстрота», «недоверчивый» вместо «подозрительный», «слабоумие ума» вместо «слабоумие», «глаза» вместо «зрение», «противодействие» вместо «вражда», «скончавшийся покойник» вместо «покойник».

Находились люди, бравшие на себя смелость утверждать, что Купер умел писать по-английски. Из них в живых остался лишь Лонсбери. Я не помню, выразил ли он эту мысль именно в таких словах, но ведь он заявил, что «Зверобой» — истинное произведение искусства». «Истинное» — значит, безупречное, безупречное во всех деталях, а язык — деталь немаловажная. Если бы мистер Лонсбери сравнил язык Купера со своим... но он этого не сделал и, вероятно, по сей день воображает, что Купер писал так же ясно и сжато, как он сам. Что же касается меня, то я глубоко и искренне убежден в том, что хуже Купера никто по-английски не писал и что язык «Зверобоя» не выдерживает сравнения даже с другими произведениями того же Купера.

Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что «Зверобой» никак нельзя назвать произведением искусства; в нем нет абсолютно ничего от произведения искусства; по-моему, это просто литературный бред с галлюцинациями.

Как же назвать это произведением искусства? Здесь нет воображения, нет ни порядка, ни системы, ни последовательности, ни результатов; здесь нет жизненности, достоверности, интригующих и захватывающих эпизодов; герои описаны сумбурно и всеми своими поступками и речами доказывают, что они вовсе не те люди, какими автор желает их представить; юмор напыщенный, а пафос комичный, диалоги... неописуемы, любовные сцены тошнотворны, язык — вопиющее преступление.

Если выбросить все это, остается искусство. Думаю, что вы со мной согласны

МОЯ ПЕРВАЯ ЛОЖЬ И КАК Я ИЗ НЕЕ ВЫПУТАЛСЯ

Насколько я понимаю, вам желательно получить у меня сведения о том, как я впервые в жизни солгал и каким образом я из этой лжи выпутался. Я родился в 1835 году; сейчас мне уже немало лет и память у меня не та, что прежде. Лучше бы вы спросили, как и когда я впервые сказал правду, мне было бы куда проще на это ответить, так как эти обстоятельства я помню довольно отчетливо. Так отчетливо, точно это случилось на прошлой неделе. Мое семейство уверяет, что случилось это на позапрошлой неделе, но это попросту лезть с их стороны и, вероятно, объясняется какой-то корыстной задней мыслью. Когда у человека имеется богатый жизненный опыт и он достиг 64-летнего возраста, то есть возраста благоразумия, он хотя и любит по-прежнему получать комплименты от своей семьи, однако они уже не кружат ему голову, как раньше, когда он был наивен и легковерен.

Я не помню сейчас свою самую первую ложь, дело было слишком давно, но вот вторую свою ложь я помню отлично. Было мне тогда девять дней от роду, и я заметил, что, если в меня втыкается булавка и я довожу об этом до сведения окружающих громким ревом, меня нежно ласкают, ублажают и успокаивают, что весьма приятно, и даже выдают сверх программы лишнюю порцию еды. Человеческой природе свойственно

жаждать подобных благ, и вот я пал. Я солгал насчет булавки, громогласно возвестив о наличии таковой, когда ее и в помине-то не было. Точно так же поступили бы и вы, даже Джордж Вашингтон поступал таким образом, так поступил бы любой. В течение первой половины моей жизни я не знал ребенка, который был бы в силах отказаться от такого соблазна и удержаться от этой лжи. Вплоть до 1867 года все дети цивилизованных народов были лжецами, включая Джорджа. А потом придумали английскую булавку, которая положила конец этой разновидности лжи. Однако стоит ли чего-нибудь подобная реформа? Нет, никакой добродетели она в себе не таит. Ведь это реформа, произведенная силой. Таким образом, просто-напросто пресечена возможность продолжать эту разновидность лжи, но ни в какой степени не уничтожено самое стремление лгать. В данном случае налицо колыбельный вариант обращения в истинную веру огнем и мечом или насаждения трезвости с помощью закона о запрещении спиртных напитков.

Итак, вернемся к вопросу о моей младенческой лжи. Окружающие не обнаружили булавки и поняли, что к всемирному легиону лжецов добавился в моем лице еще один. Они уразумели также (результат редкой проницательности!) вполне обыденный, но редко замечаемый факт: что почти всякая ложь — действие, а слово в этом деле не играет никакой роли. При дальнейшем расследовании они, возможно, сделали открытие, что все люди без исключения — лжецы, и притом с колыбели; что люди лгут с утра, как только просыпаются, и продолжают лгать, без пауз и передышек, вплоть до ночи, когда укладываются спать. Додумавшись до этой истины, они, вероятно, огорчились, даже наверняка огорчились, если привыкли опрометчиво полагаться на сведения, почерпнутые из книг и в школе. А в сущности — с какой стати человеку огорчаться по поводу положения вещей, в котором он, в силу извечного закона природы, создавшей его, ничего не может изменить? Не сам же человек выдумал этот закон, а раз он существует, значит надо спокойно подчиниться ему и молчать об этом, значит надо присо-

единиться к всемирному заговору и молчать, молчать так упорно, что это введет в заблуждение других заговорщиков и они, может быть, вообразят даже, что он и не знает о существовании сего извечного закона. Все мы так поступаем — мы, знающие о его существовании. Я имею в виду ложь молчаливого согласия или утверждения. Ведь можно солгать, не выговорив ни единого слова. Все мы так делаем — мы, знающие о существовании закона. По грандиозности масштабов своего распространения ложь молчаливого согласия — самая величественная из всех, какие любая цивилизованная нация считает своим священным и важнейшим долгом оберегать, сохранять и распространять.

Приведу пример. Немыслимо, казалось бы, чтобы гуманный и разумный человек нашел рациональное оправдание рабству; а между тем, если вы припомните, когда в Северных Штатах началась борьба за отмену рабства, аболиционисты получали очень слабую поддержку. Как бы они ни доказывали, ни умоляли и ни убеждали, они не в силах были сломить царившее вокруг этого вопроса всеобщее безмолвие. От церковных кафедр, через печать, во все решительно слои общества сверху донизу распространялось липкое безмолвие, порожденное ложью молчаливого согласия. Молчаливого согласия в том, будто ничего не происходит такого, что вызывало бы беспокойство или заслуживало интереса гуманных и разумных людей.

С самого начала дела Дрейфуса и вплоть до его завершения вся Франция, за исключением нескольких десятков подлинно рыцарских душ, была окутана густой пеленой лжи молчаливого утверждения, что никто не совершает несправедливости по отношению к затравленному и ни в чем не повинному человеку. Такой же пеленой лжи недавно была окутана Англия; добрая половина ее населения делала вид, будто не знает о том, что мистер Чемберлен пытается сфабриковать войну в Южной Африке и готов платить бешеные деньги тем, кто ему в этом поможет.

Итак, мы располагаем примерами того, как три ведущие якобы цивилизованные страны оперируют ложью молчаливого согласия. Можно ли в этих трех

странах найти еще подобные образчики? Я полагаю, что можно. Немного, быть может, ну, скажем, чтобы не преувеличивать, — с миллиард, что ли. Применяют ли эти страны упомянутую разновидность лжи денно и ночью, в тысячах и тысячах вариантов, непрерывно и постоянно? Да, мы знаем, что так оно и есть. Всемирный заговор лжи молчаливого согласия действует активно всегда и всюду и притом неизменно в интересах глупости или обмана, в интересах же чего-либо возвышенного или достойного — никогда. Является ли такая ложь наиболее гнусной и подленькой из всех? Похоже, что так. В течение многих столетий эта ложь безмолвно работала в интересах деспотизма, аристократии, рабовладельческих режимов, военных и религиозных олигархий. Благодаря ей они и по сей день существуют, мы видим их и тут и там, — словом, повсюду на земном шаре. Они и будут существовать, пока не выйдет в тираж ложь молчаливого согласия, ложь молчаливого утверждения, будто кругом ничего не происходит такого, что заслуживало бы вмешательства и пресечения со стороны справедливых и мыслящих людей.

Собственно говоря, я веду свою речь вот к чему: при таком положении вещей, когда целые расы и народы участвуют в заговоре по распространению грандиозной молчаливой лжи в интересах тиранов и обманщиков, к чему тревожиться о пустяковых, мелких неправдах, допускаемых отдельными личностями? К чему попытки доказать, будто отказ от лжи является добродетелью? К чему такой самообман? Почему, интересно знать, мы не стыдимся способствовать распространению лжи в государственных масштабах, но стесняемся немного приврать от себя лично? Не лучше ли быть честными и прямодушными и лгать всякий раз, как представляется к тому возможность? Я хочу сказать, почему бы нам не быть последовательными и либо лгать постоянно, либо не лгать вовсе? И если в течение целого дня мы помогаем государству лгать и обманывать, так почему же считается предосудительным позволить себе на сон грядущий какую-нибудь небольшую индивидуальную, личную ложь в собственных интересах? Этакую малюсенькую освежающую ложь

хотя бы для того, чтобы отбить неприятный привкус, оставшийся во рту за целый день?

Живя здесь, в Англии, я наблюдаю самые любопытные нравы. Англичане ни за что не солгут вслух, никакими силами не заставишь их это сделать. Если, разумеется, речь не идет о высоких материях вроде политики или религии. Солгать вслух, чтобы получить от этого какую-нибудь личную выгоду, им кажется невозможным. Мне даже иногда совестно за себя, такие они фанатики в этом отношении. Даже для смеха они не соврут, не соврут и тогда, когда ложь не принесет ни малейшего вреда кому бы то ни было. Это бессмысленно, однако действует на меня сдерживающим образом, и я серьезно опасаясь, как бы мне и самому не разучиться лгать — от недостатка практики!

Разумеется, они, как и другие люди, позволяют себе разнообразную мелкую ложь, не высказанную вслух. Но они этого просто не замечают, пока их не надумишь. Меня они довели уже до того, что я почти никогда не позволяю себе солгать вслух, а если уж решусь на это, то лгу только наполовину; и представьте, даже к такой полулжи они относятся неодобрительно. Но пойти на большее, даже во имя укрепления дружественных отношений между обеими нашими странами, я не способен, должен же я в конце концов сохранить хоть каплю уважения к самому себе, да и о здоровье и нервах надо подумать. Я могу просуществовать на строгой диете, но совсем без пищи жить не могу.

Бывает, конечно, что даже англичанам приходится произнести ложь вслух — ведь время от времени такое случается с каждым из нас, — случалось бы и с ангелами, если бы они почаще к нам прилетали. Да, именно с ангелами, так как та ложь, которую я имею в виду, произносится в порядке самопожертвования, в возвышенных, а не низменных целях. Что же касается англичан, то они пугаются даже такой лжи, она как-то сбивает их с толку. Я с изумлением наблюдаю за ними и прихожу к выводу, что все они просто сумасшедшие. Положительно, Англия — это страна самых любопытных предрассудков.

У меня есть приятель англичанин, с которым я дружу уже лет двадцать пять. Вчера, когда мы с ним ехали на империале омнибуса в Сити, я рассказал ему об одной своей полулжи. Это была типичная полулужь, такая ложь-полукровка, ложь-мулат, так сказать. В последнее время я только на подобную ложь и способен, на настоящую здесь нет никакого спроса.

Итак, я ему рассказал, как, будучи в прошлом году в Австрии, я выпутался из очень затруднительного положения. Не знаю, что бы со мной случилось, если бы я своевременно не сообразил сообщить полиции, что принадлежу к тому же роду, что и принц Уэльский. После этого все пошло как по маслу: все стали чрезвычайно любезны, меня отпустили, принесли извинения и просто не знали, как и чем меня ублажить, и тысячу раз принимались объяснять, как могла произойти такая неприятная ошибка с их стороны, и обещали чуть ли не повесить того полицейского, который меня задержал, и выразили надежду, что я не затаю обиды и не стану на них жаловаться. Я со своей стороны заверил их, что они могут вполне на меня положиться.

Выслушав меня, мой друг сказал строго:

— И это ты называешь полулужью? А где же тут половина правды?

Я разъяснил, что самая форма моего заявления полиции является полулужью-полуправдой.

— Я ведь не говорил, что являюсь членом королевской семьи, я сказал, что принадлежу к тому же роду, что и принц Уэльский, имея в виду род человеческий. Если бы у этих людей была хоть капля сообразительности, они бы сразу все поняли. Не могу же я в самом деле обеспечить полицию мыслительными способностями, нечего от меня ожидать этого.

— А как ты себя чувствовал после этого инцидента?

— Ну, конечно, я несколько огорчился, увидев, что полиция поняла меня превратно. Но, поскольку я не говорил никакой заведомой лжи, я считал, что у меня нет оснований не спать по ночам и терзаться угрызениями совести.

Мой друг несколько минут обдумывал сказанное мной, после чего заявил, что в его понимании моя полуложь является полной ложью, а кроме того, я допустил умышленное и дезориентирующее замалчивание разъясняющего факта. Таким образом, с его точки зрения я солгал не один раз, а два.

— Я бы так не поступил, — заявил он, — я ни разу в жизни не солгал и был бы весьма огорчен, если бы оказался в подобном положении.

В этот момент он приподнял шляпу, расплылся в улыбке, закивал головой и с выражением радостного изумления приветствовал какого-то джентльмена, проезжавшего мимо нас в экипаже.

— Кто это такой, Джордж? — осведомился я.

— Понятия не имею.

— Зачем же ты приветствовал его?

— Видишь ли, я заметил, что ему кажется, будто мы знакомы, и он ожидал, что я с ним поздороваюсь. Если бы я не поздоровался, ему было бы обидно. Мне не хотелось ставить его в неловкое положение на виду у всех.

— У тебя доброе сердце, Джордж, и ты поступил правильно. Это поступок достойный, похвальный, благородный. Я сам поступил бы точно так же, но все-таки это была ложь.

— Ложь? Но ведь я ни единого слова не вымолвил. Как это у тебя получается?

— Я знаю, что ты не произнес ни слова, тем не менее ты своей мимикой весьма отчетливо и даже восторженно сказал: «А-а, значит вы уже в городе? Страшно рад видеть вас, старина, когда же вы вернулись?» В твоих действиях было запрячено «умышленное и дезориентирующее замалчивание разъясняющего факта» — того факта, что ты никогда в жизни его не встречал. Ты выразил радость, увидев его, — чистейшая ложь; ты добавил к этому умолчание — еще одна ложь. Налицо точное повторение того, что сделал я. Но ты не сокрушайся, все мы так поступаем.

Часа через два после этого, во время обеда, когда обсуждались совсем иные вопросы, Джордж рассказал, как однажды он успел буквально в последнюю минуту

оказать большую услугу одной семье, своим давнишним друзьям. Глава этой семьи скоропостижно скончался, причем обстоятельства его смерти были таковы, что, преданные огласке, они бы скомпрометировали его самым скандальным образом. Ни в чем не повинная семья в этом случае была бы покрыта позором, не говоря уже о сопутствующих душевных переживаниях. Спасение было только в одном — солгать самым беззастенчивым образом, и вот он, фигурально выражаясь, засучил рукава и взялся за это дело.

— И семья так ничего и не узнала, Джордж?

— Нет. За все эти годы они ничего даже не заподозрили. Они всегда гордились им и всегда имели к тому основания; они продолжают и теперь гордиться им, его память священна. Образ его остался для них незапятнанным и прекрасным.

— Им очень повезло, Джордж.

— Да, я действительно подросел вовремя.

— А ведь могло случиться, что вместо тебя подвернулся бы как раз один из этих бессердечных и бесстыдных фанатиков правды. Я знаю, Джордж, ты миллионы раз в своей жизни говорил правду, но эта великодушная, блестящая ложь искупает все. Продолжай в том же духе и дальше.

Возможно, я покажусь кое-кому безнравственным, но такая точка зрения не выдерживает критики. Имеется множество разновидностей лжи, к которым и я отношусь неодобрительно. Мне не нравится ложь, наносящая ущерб (за исключением тех случаев, когда наносится ущерб не мне, а кому-нибудь другому). Мне не нравится ложь беспашающая, равно как и ложь ханжески-праведная. Ложь последнего типа применялась Брайантом, а первого — Карлейлем.

Мистер Брайант как-то сказал: «Повергни истину — она восстанет».

Лично я получал медали за разнообразную ложь на тринадцати всемирных выставках и смею утверждать, что не лишен способностей в этой области. Но никогда в жизни я не сказал такой грандиозной лжи, как мистер Брайант, явно стремившийся с ее помощью завоевать себе дешевую славу; правда, все мы к этому

стремимся. Что же касается Карлейля, смысл того, что он говорил, сводится к следующему (я не помню точных его слов): «Существует незыблемая истина — ложь не может быть долговечной».

Я отдаю дань почтительного восхищения книгам Карлейля, его «Революцию» я прочел восемь раз. Поэтому мне хочется думать, что он был немного не в себе, когда изрек приведенную выше фразу. Для меня совершенно очевидно, что он сказал это в состоянии крайнего возбуждения, когда выгонял со своего заднего двора американцев. Они имели привычку ходить туда к нему на поклонение. В глубине души Карлейль, возможно, и любил американцев, но он очень ловко это скрывал. Он всегда держал для них наготове запас кирпичей, но броски его не отличались меткостью, и история сохранила сведения о том, что американцы успешно увертывались от ударов, а брошенные кирпичи уносили с собой на память. Любовь к сувенирам — наша национальная черта, и мы не слишком привередливы насчет того, как к нам относится человек, от которого мы их получаем. Я твердо уверен, что свое более чем странное убеждение, будто ложь недолговечна, он высказал в сердцах, промахнувшись по какому-нибудь американцу. Он сказал это более тридцати лет тому назад, — и что же? Эта ложь до сих пор живет, процветает и, вероятно, переживет любой исторический факт. В спокойном состоянии Карлейль был правдив, но, окруженный достаточным количеством американцев и снабженный соответствующим запасом кирпичей, он приходил в такое состояние, что мог бы не хуже меня получать медали.

Что же касается того знаменитого случая, когда Джордж Вашингтон сказал правду, то в него следует внести некоторую ясность. Как известно, этот случай — драгоценнейшая жемчужина в короне Америки. Вполне естественно, что мы стараемся выжать из нее все, что можно, как сказал Мильтон в своей «Песне последнего менестреля». То была правда своевременная и расчетливая, в таких обстоятельствах я и сам сказал бы правду. Но я бы этим ограничился. Это была величественная, вдохновенная, высокая правда,

настоящая Эйфелева башня. Мне кажется, было ошибкой отвлечь внимание от божественности этой правды и построить рядом с ней еще одну Эйфелеву башню, в четырнадцать раз выше первой. Я имею в виду его заявление, что он «не может солгать». Такую вещь вы можете рассказать своей бабушке или в крайнем случае предоставить это Карлейлю — это как раз в его стиле. Такая ложь могла бы стяжать медаль на любой европейской выставке и способна была бы даже удостоиться почетной грамоты в Чикаго. Но не будем придираться: в конце концов Отец и Основоположник нашей родины был в тот момент взволнован. Я сам бывал в таком положении и вполне его понимаю.

Против сказанной им правды о вишневом деревце у меня, как я уже указывал, нет ровно никаких возражений. Но мне кажется, она была сказана по вдохновению, а не преднамеренно. Обладая острым умом военного, он, вероятно, сначала думал свалить вину за срубленное дерево на своего брата Эдварда, однако вовремя оценил таящиеся тут возможности и сам использовал их. Расчет мог быть такой: сказав правду, он удивит своего отца, отец расскажет соседям, соседи распространят эту весть дальше, она будет повторяться у каждого очага, и в конце концов именно это и сделает его президентом, причем не просто президентом, а Первым Президентом. Да, мальчонка отличался дальновидностью и вполне способен был все заранее обдумать. Таким образом, с моей точки зрения, его поступок оправдал себя. Отнюдь не так обстоит дело с Эйфелевой башней номер два. Это было ошибкой. А впрочем, по зрелом размышлении, может быть тут и не было ошибки. В самом деле, если вдуматься, то именно вторая Эйфелева башня обессмертила первую. Ведь если бы он не заявил: «Я не могу солгать», не было бы всего последующего переполоха. Именно это ведь вызвало землетрясение, потрясшее нашу планету. Подобные изречения живут вечно, а приуроченные к ним факты имеют шанс разделить их бессмертную славу.

Подводя итоги, я должен сказать, что в целом я доволен созданным положением вещей. Существуют,

правда, некоторые предрассудки относительно словесной лжи, но против других разновидностей лжи никто не возражает, а мне, в результате тщательного изучения вопроса и сложных математических расчетов, удалось установить, что словесная ложь относится к другим разновидностям как 1 к 22 894. Таким образом, словесная ложь фактически не имеет никакого значения, и нет смысла поднимать вокруг нее шум и делать вид, будто она — предмет, достойный внимания. Швырять кирпичи и проповеди надо в другое — в колоссальную молчаливую Национальную Ложь, являющуюся опорой и пособником всех тираний, всех обманов, всяческого неравенства и несправедливости, разъедающих человечество. Но будем благоразумны и представим эту задачу кому-нибудь другому.

Кроме того... а впрочем, я слишком удалился от первоначальной темы. Так каким же образом я выпутался из своей второй лжи? Кажется, я выпутался из нее с честью, но я в этом как-то не уверен — очень уж давно все это было, и некоторые подробности изгладились из моей памяти. Припоминаю, что меня повернули лицом вниз, и я лежал у кого-то поперек колен, потом еще что-то произошло, но точно не припомню, что именно. Кажется, играла музыка, но все передо мной сейчас в тумане, все представляется неясным и призрачным после стольких лет, и, возможно, последнее обстоятельство — всего лишь плод старческой фантазии.

Пятьдесят лет назад, когда мне было пятнадцать лет и я по мере сил увеличивал собой население небольшого городка на берегу Миссисипи, у меня был друг, чьим обществом я очень дорожил, потому что мать не разрешала мне водиться с ним. Это был веселый, нахальный, язвительный и очаровательный молодой негр-раб, который ежедневно читал проповеди, взгромоздившись на кучу хозяйских дров, а я был единственным его слушателем. Он копировал ораторскую манеру священников нашего городка, всех, сколько их было, и делал это превосходно — вдохновенно и ярко. Мне он казался чудом. Я считал, что он величайший оратор в Соединенных Штатах и когда-нибудь непременно прославится. Но этого не случилось: в день раздачи наград его обошли. Так оно всегда и бывает в этом мире.

То и дело он прерывал свои проповеди, чтобы напилить дров, но это был обман — трудился он только языком, в точности подражая визгу пилы, вгрызающейся в дерево. Однако этим он достигал своей цели, потому что успокоенный хозяин даже и не думал проверять, как идет у него дело. Я слушал проповеди из открытого окна чулана, выходявшего во двор. Вот что он проповедовал однажды:

— Скажи мне, как человек добывает свою кукурузную лепешку, и я скажу тебе, как он смотрит на жизнь.

Я никогда не мог забыть об этом. Запечатлелось на всю жизнь. По милости моей матери. След остался не в памяти, а на кое-каком другом месте. Она тихонько вошла, когда я был увлечен проповедью, — и я не заметил ее. Мысль чернокожего философа сводилась к тому, что у человека нет независимости и он не может позволить себе лишиться хлеба насущного из-за своих взглядов. Для того чтобы преуспевать, он должен слиться с большинством; в серьезных вопросах — таких, как политика и религия, он должен думать и чувствовать, как все вокруг, иначе пострадают его положение и благополучие. Он должен думать обо всем с точки зрения Кукурузной Лепешки — по крайней мере внешне. Он должен заимствовать свои взгляды у других, он не должен додумываться до всего самостоятельно и иметь собственную точку зрения.

Я думаю, что в основном Джерри был прав, но мне кажется, что он не довел свою мысль до конца.

1. Он полагал, что человек приспосабливается к взглядам окружающего большинства умышленно и по расчету.

Это бывает, но не как правило.

2. Он полагал, что возможен оригинальный, самобытный взгляд, хладнокровно продуманный человеком с помощью тщательного анализа фактов, причем голос сердца не имеет значения и ничто не влияет на решение присяжных, то бишь разума. Может быть, такой взгляд где-нибудь когда-нибудь и возник, но, по-видимому, он улетучился прежде, чем его успели изловить, превратить в чучело и выставить в музей.

Я убежден, что объективно продуманное и независимое суждение о моде в одежде, поведении, литературе, политике или любой другой области, попадающей в наше поле зрения, встречается крайне редко, если оно вообще существует.

Появляется новая мода в одежде — скажем, широкий кринолин, и прохожие шокированы, а непочтительные смеются. Полгода спустя все примирились; мода укоренилась; ею теперь восхищаются и никто не смеется. Раньше общественное мнение возмущалось этой модой; теперь общественное мнение одобряет ее

и не может без нее обойтись. Почему? Разве возмущались сознательно? Разве одобряют сознательно? Ничего подобного. Все дело здесь в инстинкте, толкающем к приспособлению. Приспосабливаться — в нашей природе; это сила, которой могут успешно противиться лишь немногие. В чем же ее основа? В естественной потребности одобрять самого себя. Все мы должны склониться перед этим; все до одного. Даже та женщина, что с начала до конца отказывается носить кринолин, подпадает под этот закон и становится его рабой; ей кажется, что, надев кринолин, она упадет в собственных глазах, а этого она просто-таки не может вынести, тут уж ничего не поделаешь. Однако, как правило, мы черпаем наше самоодобрение из одного-единственного источника — из одобрения окружающих. Человек, пользующийся большой известностью, может вводить в одежду любые новшества, и вскоре все принимают их, движимые, во-первых, инстинктом пассивного подчинения чему-то, что несколько туманно именуется «авторитет», а во-вторых, человеческим стремлением слиться с большинством и заслужить его одобрение. Кринолин введен в моду императрицей, и мы знаем, к чему это привело. Женский наряд с шароварами введен в моду неизвестно кем, и опять-таки мы знаем, к чему это привело. Если снова в расцвете славы появится Ева и возродит прихотливый стиль своей одежды, — ну что ж, и тут ясно, чем это кончится. Хотя поначалу мы будем страшно смущаться.

Кринолин отслужил свою службу, и его не стало. Никто не размышляет над этим. Сначала от моды отказывается одна женщина, ее соседка замечает это и поступает так же, за ней следующая, и так далее и так далее, и через некоторое время кринолин исчезает с лица земли, и никто не знает, как и почему; никого это и не интересует. Потом кринолин снова войдет в моду, а когда настанет время, снова исчезнет.

Двадцать пять лет назад в Англии у каждого прибора на званом обеде стояло шесть или восемь бокалов, и все они были при деле, не стояли зря, не пустовали; теперь у прибора не больше трех или четырех бокалов, и обыкновенно гость экономно пользуется лишь

двумя. Мы еще не приняли этой новой моды, но скоро придется. Мы не станем размышлять над ней, а просто подчинимся — вот и все. Наши взгляды, привычки и мнения формируются под влиянием окружающей среды, нам вовсе не требуется вырабатывать их.

Наши манеры за столом, в обществе, на улице то и дело меняются, но мы не осмысливаем этого; просто мы наблюдаем и подчиняемся. Мы — дети внешних влияний; как правило, мы не думаем, мы только подражаем. Мы не можем изобрести норм, которые остались бы неизменными; то, что ошибочно считается нормой, — всего лишь преходящая мода. Конечно, никто не запрещает нам и дальше восхищаться ею, но следовать ей уже нельзя. Мы замечаем это и в литературе. Шекспир — для нас образец, и пятьдесят лет назад писались трагедии, которые невозможно было отличить от... если не от шекспировских, то от десятков других трагедий; но сейчас так больше не пишут. Три четверти века назад нормами нашей прозы считались витиеватость и многословие; какие-то авторитеты изменили их в сторону сжатости и простоты, и все подчинились, не возражая. Внезапно появляются исторические романы и заполняют всю страну; все, кому не лень, пишут их, и нация в восторге. Исторические романы существовали и раньше, но никто не читал их, и все мы приспособились к этому, не рассуждая. Теперь мы приспособливаемся по-другому — опять-таки потому, что так поступают все.

Мы постоянно находимся в сфере внешних воздействий, подчиняемся их приказаниям и принимаем их приговоры. Считаю нравится новая пьеса, Джонсы идут смотреть ее и повторяют приговор Смитов. В вопросах морали, религии, политики люди держатся тех или иных взглядов не потому, что изучали предмет и думали, а исключительно под влиянием настроения. Прежде всего, в любое время и при любых обстоятельствах своей жизни, совершая любой поступок, человек обязан и будет одобрять самого себя, а если он тут же пожалеет о содеянном, то только для того, чтобы *вновь* одобрить самого себя; однако, в основном, самоодобрение в большинстве важных вопросов ведет начало от

одобрения окружающих, а не от детального рассмотрения данного предмета. Магометане являются магометанами потому, что они родились и воспитаны в этой вере, а не потому, что пришли к каким-то выводам и могут веско обосновать свое магометанство. Мы знаем, почему католики являются католиками, пресвитериане — пресвитерианами, баптисты — баптистами, мормоны — мормонами, воры — ворами, монархисты — монархистами, члены республиканской партии — республиканцами и члены демократической партии — демократами. Мы знаем, что причиной тому — среда и общность мыслей и вкусов, а не размышления и анализ; что вряд ли на земле найдется хоть один человек, который приобрел взгляды на мораль, политику и религию не под влиянием своей среды и общения с окружающими, а каким-нибудь иным путем. Подводя итоги, можно сказать, что нет другой точки зрения, кроме точки зрения Кукурузной Лепешки. И, в широком смысле, Кукурузная Лепешка — и есть самоодобрение. Самоодобрение в основном достигается через одобрение других. Результат этого — приспособление. Иногда приспособление бывает вызвано корыстными деловыми интересами, интересами куска хлеба с маслом, но я считаю, что это случается не всегда. Я думаю, что в большинстве случаев оно бессознательно и непредумышленно и рождается из естественного стремления человека снискать расположение окружающих, их поощрение и похвалу, — стремления, обычно столь сильного и настойчивого, что противиться ему невозможно и оно обязательно одержит верх.

Всякий поворотный момент в политике выявляет точку зрения Кукурузной Лепешки особенно сильно в двух ее главных видах: в материальном, идущем от психологии собственного кармана, и — чаще — в эмоциональном, когда человек не в силах вынести одиночества, не может пережить немилости, не может стерпеть холодного и безучастного отношения, — он хочет высоко стоять в глазах своих друзей, хочет, чтобы все ему улыбались, хочет, чтоб его приветствовали, хочет слышать драгоценные слова: «Уж он-то на верном пути!» Пусть эти слова произнес 'осел, но осел высоко-

поставленный, осел, чье одобрение — золото и брильянты для осла поменьше чином, и оно дарует славу, и почести, и счастье, и место в ослином стаде. Ради этой мишуры человек готов затоптать в грязь свои взлелеянные целой жизнью взгляды, а вместе с ними и свою совесть. Мы видали, как это бывает. В миллионе случаев, не меньше.

Людям кажется, что они думают о важных политических вопросах; верно, они думают, только думают не самостоятельно, а вместе со своей партией; они читают литературу своей, а не враждебной партии; они приходят к каким-то убеждениям, но убеждения эти — следствие одностороннего взгляда на предмет и потому не имеют особой ценности. Как пчелы, они роятся в своей партии, они живут чувствами своей партии, они радуются одобрению своей партии, и куда бы ни повела их партия, туда они и пойдут — бороться за право и честь или шагать через грязь, и кровь, и месиво изуродованной морали.

На наших недавних выборах одна половина нации была страстно убеждена, что в серебре — спасение, другая так же страстно была убеждена, что в нем гибель. Думаете ли вы, что хотя бы десятая часть каждой партии сколько-нибудь представляла себе, почему у них вообще должно быть какое-то мнение? Я пытался докопаться до сути этой великой проблемы, да так ничего и не выкопал. Одна половина нашего населения стеной стоит за высокие ввозные пошлины, другая — наоборот. Значит ли это, что они изучают этот вопрос и проверяют его на практике, или они только чувствуют? Пожалуй, последнее. Я изучил досконально и эту проблему — и ничего не достиг. Мы только и делаем, что чувствуем и принимаем чувство за мысль. В результате мы получаем целое, почитаемое нами за благо. Имя его — Общественное Мнение. С ним нельзя не считаться. Оно определяет все. Некоторые думают, что это — глас божий.

В течение многих лет я добровольно брал на себя роль миссионера, вызывавшего к союзу Соединенных Штатов с Англией. Они должны объединиться.

Взгляните на Америку, это прибежище для всех угнетенных (кто может заплатить пятьдесят долларов за въезд), для угнетенных со всего света (для всех, за исключением китайцев), — на эту страну, выступающую в защиту человеческих прав во всем мире и даже рекомендующую Китаю впускать к себе иностранцев бесплатно, хотя Китай, может быть, тоже был бы не прочь брать с них за это по пятьдесят долларов. А как бескорыстно ратует Англия за открытые двери для всех! И как истово ратует Америка за эти открытые двери во всех странах, кроме самой Америки!

Да, в качестве миссионера я пел им хвалебные гимны! И все же, мне кажется, Англия впала в грех, когда она ввязалась в южноафриканскую войну, которой могла бы избежать, так же, как мы впали в грех, ввязавшись в подобную войну на Филиппинах. Мистер Черчилль по отцу англичанин, но по матери он американец, и это, без сомнения, как раз тот союз, который порождает совершенство.

Англия и Америка. Да, мы братья. А теперь мы еще и братья во грехе, так что большего и пожелать невозможно. Гармония — полная, союз — идеальный.

I

Итак, великий штат Миссури пал! Несколько его сыновей примкнуло к линчевателям, и клеймо позора легло на всех нас. По милости этой горстки его сыновей о нас теперь сложилось определенное мнение, на нас наклеили ярлык: отныне и вовек для жителей всего мира мы — «линчеватели». Ибо люди не станут долго раздумывать — это не в их привычках, они привыкли делать выводы, исходя из какого-то одного факта. Они не скажут: «Миссурийцы восемьдесят лет старались создать себе репутацию почтенных, уважаемых людей, и эти сто линчевателей где-то там, на окраине штата, не настоящие миссурийцы: это ренегаты». Нет, такая здравая мысль не может прийти им в голову; они сделают вывод на основании одного-двух нетипичных образчиков и скажут: «Миссурийцы — это линчеватели!» Люди не умеют размышлять, у них нет ни логики, ни чувства соразмерности. Цифры для них не существуют; они ничего им не говорят, не подсказывают никаких разумных суждений. Люди способны, например, сказать, что Китай безусловно будет весь обращен в христианство, и очень скоро, поскольку каждый день по девять китайцев принимают крещение; при этом они даже не обратят внимания на то, что в Китае ежедневно рождается тридцать три тысячи

язычников и что это обстоятельство сводит на нет всю их аргументацию. Люди скажут: «У них там сто линчевателей; значит, миссурийцы — линчеватели». Тот весьма существенный факт, что два с половиной миллиона миссурийцев не принадлежат к числу линчевателей, не может изменить их приговор.

II

О Миссури!

Трагедия произошла близ Пирс-Сити, на юго-западной окраине штата. В воскресенье днем молодая белая женщина вышла одна из церкви и вскоре была найдена убитой. Да, там есть церкви; в мое время вера на Юге была глубже и имела более широкое распространение, чем на Севере, и отличалась по-моему, большей искренностью, большей мужественностью, — такой, мне кажется, она и осталась. Итак, молодую женщину нашли убитой. И хотя в той округе немало церквей и школ, народ взбунтовался: линчевали трех негров (из них двух стариков), сожгли пять негритянских хижин и выгнали в лес тридцать негритянских семей.

Я не намерен останавливаться на том, что толкнуло людей на преступление, так как это не имеет никакого отношения к делу; вопрос заключается в следующем: *может ли убийца сам вершить суд?* Вопрос простой и правильный. Если доказано, что убийца нарушил прерогативу закона, воздавая за содеянное ему зло, — тогда и говорить не о чем: тысяча причин не оправдывает его. У жителей Пирс-Сити были серьезные причины, — судя по некоторым подробностям, у них была самая серьезная из всех причин, — но не в том дело; они решили сами вершить суд, хотя, по местным законам, их жертву все равно бы повесили, если бы делу был дан обычный ход, ибо в этой округе мало негров и они не занимают высокого положения и недостаточно сильны, чтобы повлиять на присяжных.

Почему линчевание с его варварскими атрибутами стало в некоторых частях нашей страны излюбленным способом возмездия за так называемое «обычное пре-

ступление»? Не потому ли, что это ужасное, отвратительное наказание кажется людям более наглядным уроком и более действенным средством устрашения, чем казнь через повешение на тюремном дворе, без свидетелей и без всякого шума? Нормальные люди так, конечно, не думают. Даже малый ребенок не поверил бы этому. Он знает, что все необычное, вызывающее много толков, тотчас находит подражателей, ибо на свете более чем достаточно впечатлительных людей, которые, стоит их немножко раззадорить, теряют последние остатки разума и начинают творить такое, о чем в другое время и помыслить бы не могли. Он знает, что если кто-то спрыгнет с Бруклинского моста — найдется человек который последует его примеру; если кто-то решит спуститься в бочке по Ниагарскому водопаду — найдутся люди, которые захотят сделать то же; если какой-нибудь Джек Потрошитель прославится убийством женщин в темных переулках — у него найдутся подражатели; если человек совершит покушение на короля и газеты протрубят об этом на весь мир — цареубийц появится видимо-невидимо. Даже малому ребенку известно, что достаточно какому-нибудь негру совершить сенсационное преступление и убийство, как это породит брожение в умах многих других негров и повлечет за собой целый ряд тех самых трагедий, которые общество так хочет предотвратить; что каждое из этих преступлений в свою очередь повлечет за собой ряд других, и в результате перечень этих бедствий, вместо того чтобы уменьшаться, будет из года в год расти и расти, — словом, что линчеватели сами злейшие враги своих жен, дочерей и сестер. Ребенку известно и то, что законы, которые мы сами сочинили, превращают в подражателей не только отдельных людей, но и целые деревни и города, что какое-нибудь линчевание, вызвавшее много толков, неизбежно породит другие линчевания — и тут, и там, и повсюду, — и что со временем это превратится в манию, в моду — моду, которая будет распространяться с каждым годом все шире и шире, захватывая, подобно эпидемии, все новые штаты. Суд Линча уже добрался до Колорадо, до Калифорнии, до Индианы и теперь —

до Миссури! Вполне возможно, что я доживу до того дня, когда посреди Юнион-сквера в Нью-Йорке, на глазах у пятидесятитысячной толпы, будут сжигать негра, и ни одного представителя закона и порядка не будет поблизости — ни шерифа, ни губернатора, ни полицейского, ни солдата, ни священника.

«Рост линчеваний. В 1900 году было на восемь линчеваний больше, чем в 1899 году, а в этом году, по-видимому, будет еще больше, чем в прошлом. Сейчас едва перевалило за половину года, а мы уже имеем восемьдесят восемь случаев линчеваний, тогда как за весь прошлый год их было сто пятнадцать. Особенно отличаются в этом смысле четыре южных штата — Алабама, Джорджия, Луизиана и Миссисипи. В прошлом году в Алабаме было восемь случаев линчевания, в Джорджии — шестнадцать, в Луизиане — двадцать и в Миссисипи — двадцать. Таким образом, свыше половины линчеваний падает на эти штаты. В этом году в Алабаме уже было девять случаев линчевания, в Джорджии — двенадцать, в Луизиане — одиннадцать, в Миссисипи — тринадцать; опять-таки больше половины общего числа линчеваний по всем Соединенным Штатам» (чикагская «Трибюн»).

Вполне возможно, что рост линчеваний объясняется присущим человеку инстинктом подражания, — этим да еще самой распространенной человеческой слабостью: страхом, как бы тебя не стали сторониться и показывать на тебя пальцем, потому что ты поступаешь не так, как все. Имя этому — Моральная Трусость, и она является доминирующей чертой характера у 9999 человек из каждых десяти тысяч. Я не претендую на это открытие — в глубине души самый тупоумный из нас знает, что это так. История не допустит, чтобы мы забыли или оставили без внимания эту важнейшую черту нашего характера. История настойчиво и не без ехидства напоминает нам, что с сотворения мира все бунты против человеческой подлости и угнетения зачинались одним храбрецом из десяти тысяч, тогда как остальные робко ждали и медленно, нехотя,

под влиянием этого человека и его единомышленников из других десятков тысяч, присоединялись к движению. Аболиционисты это помнят. Втайне общественное мнение уже давно было на их стороне, но каждый боялся во всеуслышание заявить об этом, пока по какому-то намеку не догадался, что его сосед втайне думает так же, как он. Тогда-то и поднялся великий шум. Так всегда бывает. Настанет день, когда так будет в Нью-Йорке и даже в Пенсильвании.

Полагают — и говорят, — что линчевание доставляет людям удовольствие, что народ рад возможности поглазеть на интересное зрелище. Но этого не может быть, опыт доказывает обратное. Люди, живущие в южных штатах, сделаны из того же теста, что и те, которые живут в северных, а подавляющее большинство этих последних — люди добропорядочные и сердечные, и они были бы глубоко, до боли опечалены подобным зрелищем и... пошли бы смотреть и сделали бы вид, что им это очень нравится, если бы считали, что иначе они вызовут неодобрение общества. Такие мы есть — и тут уж ничего не поделаешь. Прочие животные — не такие, но и тут мы ничего не можем поделать. У них отсутствует Моральный Критерий, мы же не можем избавиться от него, не можем продать его хотя бы за бесценок. Моральный Критерий подсказывает нам, что есть добро... и как уклониться от добрых деяний, если они непопулярны.

Как я уже говорил, иные считают, что толпа, собирающаяся на линчевание, получает от этого удовольствие. Это, конечно, неправда, этому невозможно поверить. Последнее время стали открыто утверждать — вы не раз могли видеть это в печати, — что до сих пор мы неправильно понимали, какой импульс движет линчевателями; в них-де говорит в эти минуты не чувство мести, а *просто звериная жажда поглазеть на людские страдания*. Если бы это было так, толпы людей, видевших пожар отеля «Виндзор», пришли бы в восторг от тех ужасов, которым они были свидетелями. А разве они восторгались? Подобная мысль никому и в голову не придет, подобное обвинение никто не осмелится бросить. Многие рисковали жизнью, спасая

детей и взрослых от гибели. Почему они это делали? Потому что *никто не стал бы порицать их за это*. Ничто не связывало и не ограничивало их — они могли следовать велениям сердца. А почему такие же люди, собравшись в Техасе, Колорадо, Индиане, стоят и смотрят на линчевание, всячески показывая, что это зрелище доставляет им безмерное удовольствие, хотя на сердце у них печально и тяжело? Почему никто из этой толпы пальцем не двинет, ни единого слова не скажет в знак протеста? Думается мне, только потому, что такой человек оказался бы в меньшинстве: каждый опасается вызвать неодобрение своего соседа, — для рядового человека это хуже ранения или смерти. Стоит распространиться по округе вести о предстоящем линчевании, как люди запрягают лошадей и с женами и детьми мчатся за несколько миль, чтобы посмотреть на это зрелище. В самом ли деле для того, чтобы посмотреть?.. Нет, они едут только потому, что боятся остаться дома: а вдруг кто-нибудь заметит их отсутствие и неодобрительно отзовется о них потом! Вот этому можно поверить, ибо все мы знаем, как мы сами отнеслись бы к такому зрелищу и как бы мы поступили в таких обстоятельствах. Мы не лучше и не храбрее других, и нечего нам это скрывать.

Какой-нибудь Савонарола мог бы одним взглядом усмирить и разогнать толпу линчевателей, — на это способны и Мэрилл и Бэлот¹. Нет такой толпы, которая не дрогнула бы в присутствии человека, известного своим хладнокровием и мужеством. К тому же толпа линчевателей рада разбежаться, поскольку вы не сыщете в ней и десяти человек, которые не предпочли бы находиться в любом другом месте, и, конечно, не были бы здесь, если бы только у них хватило на это храбрости. Еще мальчишкой я видел, как один смельчак язвительно обругал собравшуюся толпу и заставил ее разойтись, а позже, в Неваде, я видел, как

¹ Мэрилл — шериф округа Кэрол, штат Джорджия; Бэлот — шериф из Принстона, штат Индиана. Они обуздывали толпы линчевателей только благодаря тому, что были всем известны как люди непоколебимо мужественные. (Прим. автора.)

один известный головорез заставил двести человек сидеть не шевелясь в горящем доме до тех пор, пока он не разрешил им покинуть помещение. Если человек не трус, он может один ограбить целый пассажирский поезд, а если он трус только наполовину, он может остановить дилижанс и обобрать всех, кто в нем едет.

Выходит, стало быть, что искоренить линчевание можно следующим образом: в каждой общине, зараженной этой бациллой, поселить по храброму человеку, который поощрял бы, поддерживал и извлекал на свет божий глубокое возмущение линчеванием, таящееся — в том можно не сомневаться — во всех сердцах. Тогда эти общины найдут себе более подходящий предмет для подражания, ибо они состоят из людей, которые должны, конечно, чему-то подражать. Но где найти таких храбрецов? Вот в этом-то и загвоздка, коль скоро на всей земле их едва ли наберется три сотни. Если б нужны были люди, обладающие только физической храбростью, задача решалась бы легко — таких сколько угодно. Когда Хобсон сказал, что ему нужно семь человек добровольцев, которые последовали бы за ним, в сущности, на верную смерть, вызвалось идти четыре тысячи человек, фактически весь флот, — потому что *весь мир одобрил бы это*; и люди это знали. А вот если бы план Хобсона был осмеян и освистан друзьями и товарищами, чьим добрым мнением дорожат матросы, — он не сумел бы набрать и семи человек.

Нет, по зрелом размышлении проект мой никуда не годится. Где взять людей, храбрых духом? Нет у нас материала, из которого выковываются люди с отважною душой, в этом отношении мы нищие. Есть у нас те два шерифа на Юге, которые... но что о них говорить — все равно их не хватит на всю страну; так пусть уж остаются на своих местах и заботятся о собственных общинах.

Если б было у нас еще хотя бы три или четыре шерифа такого склада! Помогло бы это? Думаю, что да. Ведь все мы — подражатели: примеру доблестных шерифов последовали бы другие, быть бесстрашным шерифом стало бы правилом, а на тех, кто не был бы

таким, смотрели бы с порицанием, которого все так стремятся избежать; храбрость для человека на этом посту вошла бы в обычай, а отсутствие ее было бы равносильно бесчестью, — так робость новобранца со временем сменяется храбростью. И тогда не будет больше линчеваний, и не будет озверелых толп, и...

Все это очень хорошо, но для всякого дела нужны зачинщики, а откуда мы возьмем этих зачинщиков? По объявлению? Хорошо, дадим объявление.

А пока что — вот другой план. Давайте вернем американских миссионеров из Китая и предложим им посвятить себя борьбе с линчеванием. Поскольку каждый из 1511 находящихся там миссионеров обращает по два китайца в год, тогда как ежедневно на свет появляется по тридцать три тысячи язычников¹, потребуется свыше миллиона лет, чтобы количество обращенных соответствовало количеству рождающихся и чтобы «христианизация» Китая стала видна невооруженным глазом. Следовательно, если мы можем предложить нашим миссионерам такое же богатое поле деятельности у себя на родине — притом с меньшими затратами и достаточно опасное, — так почему бы им не вернуться домой и не попытаться счастья? Это было бы и справедливо и правильно. Китайцы, по всеобщему мнению, чудесный народ — честный, порядочный, трудолюбивый, добрый и все прочее. Оставьте их в покое — они и так достаточно хороши. К тому же ведь почти каждый обращенный рискует заразиться нашей цивилизацией. Не мешало бы нам быть поосторожнее. Не мешало бы хорошенько подумать, прежде чем подвергать себя такому риску, — потому что *стоит сделать Китай цивилизованной страной, и его уже не децивилизуешь*. А мы не думали об этом. Ну так что ж — подумаем сейчас, пока не поздно. Наши миссионеры

¹ Эти цифры не выдуманы, они правильны и достоверны. Источником для них послужили официальные отчеты миссионеров, находящихся в Китае. См. книгу д-ра Моррисона о его путешествии по Китаю; он приводит эти цифры со ссылкой на источники. Несколько лет он был пекинским корреспондентом лондонской «Таймс» и находился в Пекине во время осады. (Прим. автора.)

увидят, что у нас есть для них поле деятельности — и не только для 1511 человек, а для 15 011. Пусть прочитают следующую телеграмму и решат, найдется ли у них в Китае что-либо более аппетитное. Телеграмма эта из Техаса:

«Негра подтащили к дереву и вздернули на сук. Под ним навалили кучу дров и хвороста и развели большой костер. *Потом кто-то заметил, что нельзя, чтобы негр подох так быстро; его спустили на землю, тем временем несколько человек отправились в Декстер, мили за две, чтобы добыть керосину.* Костер облили керосином, и дело было доведено до конца».

Мы умоляем миссионеров вернуться и помочь нам в нашей беде. Этого требует их долг патриотов. Наша страна находится сейчас в более бедственном положении, чем Китай; они — наши соотечественники, и родина взывает к ним о помощи в этот час тяжчайших испытаний. Они знают, что делать; наш народ — не знает. Они привыкли к издевкам, насмешкам, надругательствам, опасностям; наш народ к этому не привык. Им свойственно мученичество, а только человек, готовый на мученичество, способен противостоять толпе линчевателей, способен усмирить ее и заставить разойтись. Они могут спасти свою страну; мы заклинаем их вернуться и спасти ее. Мы просим их еще и еще раз перечитать телеграмму из Техаса, представить себе эту сцену и трезво поразмыслить над ней, потом помножить на 115, прибавить 88, поставить эти 203 человеческих факела в ряд так, чтобы вокруг каждого было по 600 квадратных футов свободного пространства, где могли бы разместиться 5000 зрителей, христиан-американцев — мужчин, женщин и детей, юношей и девушек. Для большего эффекта пусть они представят себе, что дело происходит ночью, на пологой, постепенно повышающейся равнине, так что столбы расположены по восходящей линии и глаз может охватить всю двадцатичетырехмильную цепь костров из пылающей человеческой плоти. (Если бы мы расположили эти костры на плоской местности, то не могли бы видеть конца цепи, ибо изгиб земной поверхности скрыл бы

его от наших глаз). И вот, когда все будет готово, и спустится тьма, и воцарится внушительное молчание, — не должно быть ни звука, если не считать жалобных стонов ночного ветра да приглушенных всхлипываний несчастных жертв, — пусть все уходящие вдаль, облитые керосином погребальные костры вспыхнут одновременно и пламя вместе с воплями предсмертной муки вознесется прямо к небу, к престолу всевышнего.

Зрителей собралось свыше миллиона человек, свет костров выхватывает из ночи неясные очертания шпилей пяти тысяч церквей. О добрый миссионер, о сострадательный миссионер, покинь Китай, вернись домой и обрати этих христиан!

Думается мне, что если что-либо и может остановить эту эпидемию кровавых безумств, — так это бесстрашные люди, которые способны, не дрогнув, противостоять толпе; и поскольку люди такого рода выковываются только в атмосфере опасности, закаляясь в борьбе с нею, то скорее всего их можно встретить среди миссионеров, которые последний год или два подвизались в Китае. У нас для них непочатый край работы, дела хватит и еще для многих сотен и тысяч, и поле деятельности ширится с каждым днем. Найдем ли мы таких людей? Можно попытаться. Среди 75 миллионов американцев должны же найтись еще Мэриллы и Бэлоты, а по законам, которые мы сами изобрели, каждый пример будет пробуждать дотоле дремавших рыцарей одного с ними великого ордена и выдвигать их в первые ряды.

В Америке, если человек может выбрать для себя религию так, чтобы она полностью удовлетворяла требованиям его совести, то он вовсе не обязан интересоваться, удовлетворяет его выбор кого-нибудь еще или нет.

В Австрии и некоторых других странах дело обстоит иначе. Там государство решает, какую вам исповедовать религию, сами вы в этом вопросе права голоса не имеете.

Патриотизм — это та же религия: любовь к отчизне, верность ее флагу, готовность идти на жертвы за ее честь и процветание.

В абсолютных монархиях патриотизм в уже заготовленном виде поставляется подданным королевской властью; в Англии и Америке патриотизм в заготовленном виде поставляется гражданам газетами и политиками.

Такой, газетами и политиками сфабрикованный патриот, втихомолку отплевываясь от того, что ему подсовывают, тем не менее это проглатывает и изо всех сил старается удержать в желудке. Блаженны кроткие.

Иногда в начале какой-нибудь жалкой бессмысленной политической пертурбации его так и подмывает возмутиться, но он этого не делает — он не так прост. Он знает, что будет на этом пойман тем, кто его

сфабриковал, тем, кто сфабриковал его патриотизм, — непоследовательным, развязным младшим редактором той провинциальной газетки, которую он читает, и этот шестидолларовый младший редактор обольет его в печати грязью и назовет предателем. А это ведь будет ужасно! И патриот, дрожа, трусливо поджигает хвост. Мы знаем, — читателю это прекрасно известно, — что два-три года тому назад девять десятых человеческих хвостов в Англии и Америке сделали именно такой жест. Иначе говоря, девять десятых патриотов в Англии и Америке оказались предателями из боязни, что их назовут предателями. Разве не правда? Вы знаете, что это правда. Курьезно, не так ли?

Однако никто не видел тут ничего постыдного. Человек лишь редко, лишь очень и очень редко с успехом борется против того, что внушалось ему воспитанием, — слишком не равны силы. В течение многих лет, если не всегда, воспитание людей в Англии и Америке наотрез отказывало им в праве на независимую политическую мысль и в штыки встречало патриотизм, основанный на их собственных концепциях, на доводах их рассудка, патриотизм, с честью прошедший через горнило их совести. И что же? В результате патриотизм был не более, как залежалый товар, получаемый из вторых рук. Патриот не знал, когда и откуда взялись у него его взгляды, да его это и не трогало, коль скоро он был с теми, кто, по его мнению, составлял большинство — а ведь только это важно, и надежно, и удобно. Вы, может быть, думаете, читатель, что среди ваших знакомых найдутся хотя бы трое, у которых действительно есть какие-то доводы для патриотизма именно их толка, и они могут вам привести их? Не трудитесь искать — вас ждет разочарование. Вы скорее всего обнаружите, что знакомые ваши получили свой рацион патриотизма из общей кормушки и в приготовлении его никакого участия не принимали.

Воспитание может творить чудеса. Оно побудило американцев противиться Мексиканской войне, потом побудило их согласиться с тем, что они считали мнением большинства (патриотизм большинства — при-

вычный патриотизм!), и как ни в чем не бывало отправиться воевать. До Гражданской войны оно заставляло Север мириться с рабовладением и сочувственно относиться к интересам рабовладельцев; в интересах рабовладельцев оно заставило Массачусетс встать в оппозицию к федеральному флагу; видя в нем флаг раскольников, Массачусетс отказался водрузить его на здании своего капитолия. А потом, постепенно, воспитание людей в этом штате стало давать крен в другую сторону, и массачусетцы в гневе устремились на Юг, чтобы сражаться под этим самым флагом против ранее охраняемых ими интересов.

Воспитание может сделать все. Ему доступен любой взлет и любое падение. Безнравственное оно может превратить в нравственное, а нравственное объявить безнравственным; оно может разрушать принципы и вновь создавать их, оно может ангелов низводить до простых смертных и простых смертных возводить в ангелы. И любое из этих чудес оно может сотворить за какой-нибудь год, даже за полгода.

А если так, то ведь можно воспитать в людях способность самим создавать свой патриотизм, вынашивать его в голове и в сердце, строить его по концепциям собственным, а не подсказанным. Можно воспитать людей так, чтобы они не делались патриотами по приказу, подобно тому как австрийцы исповедуют свою религию.

Из нью-йоркской газеты «Трибюн», в рождественский сочельник:

«Народ в Соединенных Штатах встречает рождество, исполненный бодрости и надежд. Это свидетельствует о всеобщем довольстве и счастье. Брюзга-критикан, который нет-нет да и заведет свою шарманку, вряд ли найдет себе слушателей. Большинство людей только подивятся, откуда такой взялся, и пройдут мимо».

Из газеты «Сан», Нью-Йорк:

«Задачей этой статьи не является описание страшных преступлений против человечества, которые совершаются в политических целях в некоторых кварталах Ист-Сайда, пользующихся наиболее дурной славой. Эти преступления нельзя описать никаким пером. Единственная задача, которую автор ставит перед собой, — это дать огромному числу более или менее беспечных жителей прекрасного города Нью-Йорка некоторое представление о том, как губят мужчин, женщин и детей в самой густонаселенной и самой незнакомой им части этого гиганта Нового Света. Если у кого-нибудь из читателей приведенный здесь материал вызовет недоверие или чувство незаслуженной обиды, то им могут быть предъявлены в подтверждение

даты, фамилии и адреса. Здесь зафиксированы факты и наблюдения, без выдумки и без прикрас.

Представьте себе, если можете, часть городской территории, полностью находящуюся под властью одного лица, без разрешения которого нельзя вести никакое законное или незаконное дело; *где незаконные дела всячески поощряются, а законные преследуются*; где по вечерам почтенные граждане вынуждены закрывать наглухо окна и двери своих жилищ и задыхаться от жары в душных комнатах, боясь выйти на крылечко дома, хотя только там и можно глотнуть свежего воздуха; *где голые женщины пляшут по ночам на улицах, а бесполое мужчины, как хищники, рыщут в темноте в поисках жертв своей профессии* — профессии, которая не только не преследуется полицией, но, наоборот, пользуется ее покровительством; *где малые дети уже знают, что такое проституция*, и девочек с самого юного возраста обучают искусству Фрины; *где американские девушки, взращенные в духе строгих правил американской семейной жизни и вывезенные из маленьких городков в штатах Нью-Йорк, Массачусетс, Коннектикут и Нью-Джерси, содержатся совсем как в тюрьме, пока не утратят всякого подобия женственности*; *где мальчуганов с малолетства обучают приводить «гостей» в публичные дома*; где существует общество молодых мужчин, единственным занятием которых является совращение юных девушек и помещение их в дома терпимости; где человеку, идущему по улице со своей женой, бросают в лицо оскорбления; *где в больницах и диспансерах лечатся главным образом дети, зараженные недетскими болезнями*; *где убийства, изнасилование, грабеж и воровство — как правило, а не как исключение — остаются безнаказанными*, — короче говоря, где политические воротилы извлекают прибыли из самых ужасных форм порока».

Та же газета «Сан» в канун рождества напечатала следующее сообщение из Китая (курсив мой. — *Марк Твен*):

«Его пренодобие мистер Амент, представитель Американского Бюро заграничных христианских миссий, вернулся из поездки, которую он предпринял с целью собрать контрибуцию за ущерб, нанесенный боксерами. *Куда бы он ни приезжал, он всюду заставлял китайцев платить.* Мистер Амент заявляет, что в настоящее время все подведомственные ему местные христиане обеспечены. Его паства составляла 700 человек, и из этого числа 300 убито. *Мистер Амент взыскал по 300 таэлей за каждого погибшего и добился полного возмещения стоимости всего уничтоженного имущества христиан.* Вдобавок он наложил штраф, в тринадцать раз превышающий сумму контрибуции. *Эти деньги пойдут на распространение евангельского учения.*

Мистер Амент заявляет, что он получил скромную компенсацию по сравнению с той, которая досталась католикам, взимающим, кроме денег, еще *жизнь за жизнь.* За каждого убитого католика требуют по 500 таэлей. В районе Вэньчжоу убито 680 католиков, и за это европейские католики, находящиеся здесь, требуют 750 000 связок монет и 680 *голов китайцев.*

В беседе мистер Амент коснулся отношения миссионеров к китайцам. Он сказал: «Я решительно отрицаю, что миссионеры *мстительны*, что они, как правило, грабили или делали после осады что-нибудь такое, *чего не требовали обстоятельства.* Лично я осуждаю американцев. *Мягкая рука американцев куда хуже, чем бронированный кулак немцев.* Если проявлять мягкость по отношению к китайцам, они этим воспользуются...

Здесь восприняли как забавную шутку сообщение, что французское правительство собирается вернуть добро, награбленное его солдатами. Французские солдаты занимались грабежом еще более систематически, нежели немцы. Факты говорят о том, что сегодня, вооруженные современной техникой, *христиане католической веры под флагом Франции грабят селения в провинции Чжили.*

По счастливой случайности все эти радостные вести дошли до нас в сочельник — как раз вовремя, что-

бы нам отпраздновать рождество с подобающим весельем и душевным подъемом. Настроение у нас превосходное, мы даже находим уместным откалывать шутки вроде такой: куда ни кинь — все китайцу клин!

Преподобный Амент незаменим на своем посту. Мы требуем, чтобы наши миссионеры в чужих краях воплощали не только благость и милосердие, кротость и доброту, свойственные нашей религии, но также и подлинно американский дух. Первыми американцами были индейцы племени поуни. Вот что о них сообщает учебник истории Маколема:

«Когда белый боксер убивает человека из племени поуни и уничтожает его имущество, другие поуни даже не пытаются отыскать убийцу, а приканчивают первого встречного белого; потом они заставляют какую-нибудь деревню, населенную белыми, возместить наследникам денежную стоимость убитого человека, а также всего уничтоженного имущества; и вдобавок обязывают жителей внести сумму, *в тринадцать раз* превышающую эту стоимость, в фонд распространения религии поуни, которая, по мнению этого племени, лучше всех других религий смягчает людские сердца и внедряет гуманность.

Поуни не сомневаются в том, что заставлять невинных отвечать за виновных справедливо и честно и что лучше пусть девяносто девять невинных пострадают, нежели один виновный уйдет от наказания».

Не удивительно, что наш преподобный Амент заводит предприимчивым католикам, которые не только загребают большие деньги за каждую отданную богу душу крещеного туземца, но сверх того получают еще «жизнь за жизнь». Впрочем, он может утешиться тем, что католики целиком прикарманивают эти деньги, тогда как он, будучи менее эгоистичным, оставляет себе только по триста таэлей за человека, а огромную сумму, в тринадцать раз превышающую эту компенсацию, отдает на дело распространения евангельского учения. Своей щедростью мистер Амент заслужил всенародное признание, памятник ему обеспечен. Пусть

же он удовлетворится этими наградами. Мы ценим мистера Амента за то, как мужественно он защищал своих собратьев-миссионеров от разных необоснованных нападков, начинавших уже тревожить нас. Теперь, после его свидетельства, эти нападки в значительной степени потеряли остроту, и мы можем думать о них без особого смятения. Ведь нам теперь известно, что даже до осады миссионеры, «как правило», не промышляли грабежом и что «после осады» они вели себя вполне благопристойно, за исключением тех случаев, когда «обстоятельства» вынуждали их поступать иначе. Я беру на себя хлопоты о памятнике. Пожертвования можно направлять в Американское Бюро заграничных христианских миссий, а проекты — мне. Все проекты должны в аллегорической форме изображать возмещение потерь сам-тринадцать, а также цель, ради которой эти деньги были взысканы. Памятник должен быть украшен орнаментом из шестисот восьмидесяти голов, расположенных в приятном, ласкающем глаз сочетании: ведь католики преуспели как нельзя лучше, и их деяния тоже необходимо увековечить. Можно присылать девизы, если найдутся такие, которые правильно выражают существо дела.

Заставив нищих крестьян расплачиваться за других, да еще в тринадцатикратном размере, мистер Амент обрек их вместе с женами и невинными младенцами на голод и медленную смерть. Но эти его подвиги на финансовом поприще, совершенные с целью получить кровавые деньги *для распространения евангельского учения*, не нарушают моего душевного равновесия, хотя такие слова в сочетании с такими делами представляют собой столь чудовищное, столь грандиозное кощунство, что равного ему не сыскать в истории. Если бы простой мирянин поступил так, как мистер Амент, оправдываясь теми же мотивами, я, конечно, содрогнулся бы от ужаса; или если бы я сам сотворил подобное под таким же предлогом... Впрочем, это немыслимо, хотя некоторые плохо осведомленные люди и считают меня богохульником. Да, бывает, что священнослужитель ударяется в кощунство. И тогда простому мирянину за ним не угнаться!

Мы слышим страстные заверения мистера Аменты, что миссионеры «не мстительны». Будем надеяться, что это так, и вознесем господу богу мольбу, чтоб они никогда не стали мстительными, а сохранили свою почти болезненную кротость, честность и любовь к справедливости — качества, доставляющие столько радости их собрату и заступнику.

А вот выдержка из статьи токийского корреспондента, тоже напечатанной в сочельник в нью-йоркской «Трибюн». Статья звучит несколько странно и дерзко, но ведь японцы пока лишь частично приобщились к Цивилизации! Когда они сделаются полностью цивилизованными, они перестанут говорить такие вещи:

«Вопрос о миссионерах, конечно, у всех на устах. Западным державам необходимо прислушаться к распространенному здесь мнению, что религиозные нашествия на страны Востока, совершаемые мощными западными организациями, равносильны разбойничьим набегам и не только не заслуживают поддержки, но должны самым строгим образом пресекаться. Здесь полагают, что организации миссионеров представляют собой постоянную угрозу для мирных международных отношений».

А теперь давайте решать. Будем ли мы по-прежнему осчастливливать нашей Цивилизацией народы, Ходящие во Тьме, или дадим этим несчастным передохнуть? Будем ли мы и в новом веке оглушать мир нашей привычной святошеской трескотней или отрезвимся и сперва поразмыслим? Не благоразумнее ли собрать все орудия нашей Цивилизации и выяснить, сколько осталось на руках товаров в виде Стеклянных бус и Богословия, Пулеметов и Молитвенников, Виски и Факелов Прогресса и Просвещения (патентованных, автоматических, годных при случае для поджога деревень), а затем подвести баланс и подсчитать прибыли и убытки, чтобы решить уже с толком, продолжать ли эту коммерцию, или лучше распродать имущество и на выручку от продажи затеять новое дело под маркой Цивилизации?

До сих пор оделять Дарами Цивилизации Братьев, Ходящих во Тьме, было, в общем, выгодно, и даже теперь, если действовать осмотрительно, это предприятие может приносить барыши, но все же, по-моему, недостаточные для оправдания серьезного риска. Людей, Ходящих во Тьме, становится все меньше, и уж очень они нас дичатся. Тьма же все редет и редет, — для наших целей ей не хватает густоты. Большинство Людей, Ходящих во Тьме, стало видеть теперь настолько яснее, чем прежде, что это уже не полезно для них и невыгодно для нас. Мы проявили недостаток благоразумия.

Трест «Дары Цивилизации» — предприятие первый сорт, если управлять им разумно и с толком. Он может принести куда больше денег, территории, власти и прочих благ, нежели любая из других азартных игр. Но за последние годы христианские государства ведут игру плохо, и, я думаю, это им даром не пройдет. Они с такой жадностью рвутся загрести все ставки на зеленом сукне, что Люди, Ходящие во Тьме, заметили это — заметили и встревожились. Они стали относиться подозрительно к Дарам Цивилизации. Более того — они начали присматриваться к ним. А это не годится: Дары Цивилизации — славный, отменный товар; только нельзя разглядывать его на ярком свете. При слабом освещении, да еще если смотреть издали, Дары Цивилизации могут показаться джентльменам, Ходящим во Тьме, весьма привлекательными. Перечислим их:

Любовь	Законность и порядок
Справедливость	Свобода
Кротость	Честные взаимоотношения
Христианские чувства	Равенство
Защита слабых	Милосердие
Трезвость	Просвещение
	и тому подобное.

Ну что, неплохо? Просто великолепно, сэр! Любой идиот из самой непроглядной Тьмы придет в восторг от такого товара! Но уж давайте не путать разные сорта. На этом я категорически настаиваю. Сорт, о

котором шла речь выше, по-видимому предназначается для экспорта. Но это одна видимость. Между нами говоря, этот товар вовсе не то, за что мы его выдаем. Между нами говоря, все вышеназванное — только обертка, яркая, красивая, заманчивая, и на ней изображены такие чудеса нашей Цивилизации, которые предназначаются для отечественного потребления. А вот под оберткой находится Подлинная Суть, и за нее покупатель, Ходящий во Тьме, платит слезами и кровью, землей и свободой. Именно эта Подлинная Суть и есть Цивилизация, предназначенная на экспорт. Отличаются ли эти сорта друг от друга? Да, в некоторых частностях разница есть.

Общеизвестно, что трест «Дары Цивилизации» трещит по всем швам. Причина ясна. Она заключается в том, что наш мистер Мак-Кинли, и мистер Чемберлен, и кайзер, и царь, и французы начали экспортировать Подлинную Суть без обертки, в открытом виде. А это-то и портит всю игру. Это показывает, что новые игроки еще недостаточно овладели правилами.

Просто досадно видеть, как бездарно они делают один неправильный ход за другим! Мистер Чемберлен фабрикует войну из такого неубедительного, вздорного материала, что в ложах хватаются за голову, а на галерке смеются. При этом он изо всех сил старается убедить себя, что эта война не просто грабеж, что она все же таит в себе крупицу порядочности, — правда, не видимую простым глазом, — и что, вываляв в грязи английский флаг, он сумеет в конце концов отмыть его дочиста и этот флаг вновь засияет в поднебесье, как сиял тысячелетие, пока он сам не наложил на него свою нечистую лапу. Неумелая игра. Бездарная игра, потому что она позволяет Людям, Ходящим во Тьме, обнаружить Подлинную Суть. И вот они говорят:

«Как, христиане напали на христиан? И всего-на-всего из-за золота? Неужели это и есть великодушие, терпимость, любовь, кротость, милосердие, защита слабых — это странное, демонстративное нападение слона на выводок полевых мышей, под предлогом, что

мышцы пискнули что-то для него оскорбительное, а такое поведение, по словам мистера Чемберлена, «ни одно уважающее себя правительство не может оставить безнаказанным»? Почему подобный предлог считается достаточным в отношении малого государства, если он оказался недостаточным в отношении большого? Ведь совсем недавно Россия три раза подряд оскорбила слона и осталась жива и невредима. Значит, это и есть Цивилизация и Прогресс?! Чем же это лучше того, что имеется у нас? Разве грабежи, пожары и опустошения в Трансваале — Прогресс по сравнению с нашей Тьмой? Может быть, существуют два сорта Цивилизации — один для отечественного потребления, а другой для экспорта на языческий рынок?»

Тревога овладевает Людми, Ходящими во Тьме, и они недоуменно качают головами, а тут им еще попадает выдержка из письма английского солдата, описывающего свои подвиги в связи с одной из побед Мэтьюена, еще до битвы при Магерсфонтейне, и тревога их возрастает.

«Мы штурмом взяли высоту, — пишет солдат, — и спрыгнули в окопы. Буры поняли, что им не уйти. Они побросали ружья, упали на колени, подняли руки вверх и взмолились о пощаде. Уж тут-то мы им показали пощаду — *длинной ложкой!*»

Длинная ложка означает штык. Загляните в лондонский «Еженедельник Ллойда». В том же номере — и в том же столбце — вы найдете другую заметку, полную возмущения и горьких сетований по поводу жестокости и бесчеловечности буров. Сколько в этом неосознанной прони!

А тут, как на грех, в игру ввязался кайзер, не овладев предварительно ее тонкостями. Он потерял во время мятежа в Шаньдуне двух германских миссионеров и представил за них завышенный счет. Китай должен был уплатить по сто тысяч долларов за каждого, отдать территорию протяжением в двенадцать миль, стоимостью в двадцать миллионов долларов, с населе-

нием в несколько миллионов человек и, кроме того, воздвигнуть памятник и христианский храм, — точно народ Китая не запомнил бы этих миссионеров и без таких дорогостоящих сооружений! Нечего и говорить, это была скверная игра, потому что она не обманула, не могла обмануть и никогда не обманет Человека, Ходящего во Тьме. Ему ясно, что с него содрали лишнее. Он знает, что цена миссионеру, как и всякому смертному, определяется тем, сколько придется истратить на его замену. Большого он не стоит. Миссионер — человек полезный, но полезны также и врач, и шериф, и редактор; однако справедливый император не требует за них уплаты по военным ценам. Разумный, трудолюбивый, безвестный миссионер, как и разумный, трудолюбивый редактор провинциальной газеты, безусловно стоит немало, но нельзя же за него требовать весь земной шар! Мы уважаем такого редактора, и нам жаль, когда мы его лишаемся, но все же территория в двенадцать миль, и храм, и целое состояние — это слишком высокая компенсация за подобную потерю; представим себе, что редактор был бы китаец и платить за него пришлось бы нам! Разве можно запрашивать такие деньги за редактора или миссионера, когда даже подержанные короли продаются куда дешевле! Итак, кайзер провел свою партию далеко не блестяще. Правда, он своего добился, *но его действия вызвали восстание в Китае*, бунт возмущенных китайских патриотов — «боксеров», на которых так много клеветают. В конце концов все это дорого обошлось и Германии, и другим Носителям Прогресса и Даров Цивилизации.

Требования кайзера были удовлетворены, а все же игра была плохая, потому что она не могла не произвести дурного впечатления на жителей Китая, Ходящих во Тьме. Эти события, очевидно, заставили их призадуматься и сказать:

«Цивилизация милостива и прекрасна, — так мы слышали. Только по карману ли она нам? Есть у нас богатые китайцы, — может быть, им доступна такая роскошь; но ведь контрибуция наложена не на них, а

на крестьян Шаньдуня; именно они должны выплатить эту огромную сумму при жалком заработке в четыре цента в день. Неужели такая Цивилизация лучше, чем наша, неужели она более священна, возвышенна и благородна? Неужели это не разбой, не вымогательство?! Разве с Америки потребовала бы Германия двести тысяч долларов за двух миссионеров, разве стала бы потрясать бронированным кулаком перед ее носом и послала бы к американским берегам корабли с военным десантом?.. «Захватите двенадцать миль американской территории стоимостью в двадцать миллионов долларов, как добавочную компенсацию за миссионеров, и заставьте крестьян построить памятник миссионерам и богатый храм для увековечения их памяти!» — неужели Германия дала бы такой приказ своим войскам?.. «Шагай по Америке, режь и коли, *не щадя никого*, пусть на тысячу лет вперед облик германца внушает Америке ужас, такой же, как внушали Европе страшные гунны! Шагай по Великой республике и убивай направо и налево! Огнем и мечом прокладывай через ее сердце и внутренности путь для нашей оскорбленной религии», — разве осмелилась бы Германия сказать такое своим солдатам?.. Разве поступила бы так Германия по отношению к Америке, Англии, Франции, России?.. Или так можно обращаться только с Китаем, по примеру слона, напавшего на полевых мышей? Так стоит ли нам вкладывать средства в эту Цивилизацию, которая прозвала Наполеона разбойником за то, что он вывез из Венеции бронзовых коней, а сама ворует с наших стен старинные астрономические приборы и бесстыдно занимается грабежом? Это относится ко всем иностранным солдатам (кроме американских), которые штурмуют деревни, терроризируют жителей и ежедневно шлют домой ликующим газетным редакциям телеграфные сводки такого содержания: «Потери китайцев — 450 человек убитыми; с нашей стороны *ранены один офицер и два солдата*. Завтра выступаем в поход против соседней деревни, где, как сообщают, началась резня». Скажите, по карману ли нам Цивилизация?»

Затем включается в игру Россия — и тоже играет неумно. Раза два она оскорбляет Англию (Человек, Ходящий во Тьме, видит это и мотает на ус); при моральной поддержке Франции и Германии она отнимает у Японии ее добычу — захваченный Японией в борьбе и плавающий в китайской крови Порт-Артур (Человек, Ходящий во Тьме, замечает это и тоже мотает на ус); далее она захватывает Маньчжурию, опустошает маньчжурские деревни, запружает многоводную реку распухшими трупами бесчисленных убитых крестьян (и это Человек, Ходящий во Тьме, тоже мотает себе на ус). Возможно, он думает: «Вот *еще одно* цивилизованное государство со знаменем Христа в одной руке и с корзиной для награбленного и ножом мясника — в другой. Неужели нет для нас иного выхода, как только принять Цивилизацию и опуститься до ее уровня?»

Но тут на сцену выходит Америка, и наш Главный Игрок играет нехорошо, точь-в-точь как мистер Чемберлен в Южной Африке. Это было ошибкой, причем такой, какой не ждали от Главного Игрока, столь хорошо игравшего на Кубе. Там он вел обычную, *американскую* игру и побеждал, потому что такая игра — беспроигрышная. По поводу Кубы наш Главный Игрок сказал: «Вот — маленькая угнетенная нация, не имеющая друзей, но она полна решимости бороться за свою свободу. Мы готовы сделаться ее партнерами, мы обратим на ее поддержку мощь семидесяти миллионов сочувствующих американцев и ресурсы Соединенных Штатов. Играйте!» В этих условиях только все европейские страны, объединившись, могли бы помешать нам, но Европа не в состоянии объединиться ни по какому поводу. В вопросе Кубы президент Мак-Кинли следовал нашим великим традициям, и мы гордились своим Главным Игроком, и гордились тем недовольством, которое его игра вызывала в континентальной Европе. Движимый возвышенными чувствами, он произнес волнующие слова о том, что насильственная аннексия была бы «актом преступной агрессии»; и эти слова его тоже прозвучали как «выстрел на весь свет». Это благородное изречение переживет все другие его

речи и поступки, если не считать того, что через год он начисто забыл свои слова и содержавшуюся в них высокую истину.

Ибо возник соблазн Филиппин. Это был сильный, слишком сильный соблазн. И наш Игрок допустил грубую ошибку — повел игру по-европейски, по чемберленовски. Жаль, весьма жаль, что он сделал такую серьезную, непоправимую ошибку. Именно там и тогда надо было вновь играть по-американски. И это бы ничего не стоило, зато принесло бы нам крупный и верный выигрыш, подлинное богатство, которое сохранилось бы навеки, передаваясь от поколения к поколению. Нет, не деньги, не территорию, не власть, а нечто куда более ценное, чем весь этот тлен: у нас было бы сознание того, что нация угнетенных, несчастных рабов стала свободной благодаря нам; наши потомки сохранили бы светлую память о благородных деяниях предков. Ход игры зависел от нас. Если бы мы вели ее по американским правилам, Дьюи убрался бы из Манилы, как только он уничтожил испанский флот. От него требовалось лишь одно: вывесить на берегу объявление, гарантирующее, что филиппинцы не нанесут ущерба имуществу и жизни иностранных граждан, и предупреждающее иностранные державы, что вмешательство в дела освобожденных патриотов будет рассматриваться как недружелюбный акт по отношению к Соединенным Штатам. Европейские державы не способны объединиться даже для дурного дела — никто не сорвал бы этого объявления.

Дьюи мог бы спокойно заняться своими делами где-нибудь в другом месте, зная, что филиппинской армии под силу взять измором маленький испанский гарнизон и выслать его потом за пределы своей страны. Филиппинцы установили бы у себя государственное управление по своему вкусу; что же касается католических монахов и их богатств, приобретенных сомнительными путями, то филиппинцы действовали бы в отношении их так, как им диктовали бы собственные понятия о справедливости и чести. Кстати, эти понятия на поверку оказались ничуть не хуже тех, что существуют в Европе и Америке.

Но мы играли по-чемберленовски и лишились возможности вписать в свои анналы еще одну Кубу, еще один благородный поступок.

И чем больше думаешь об этой ошибке, тем яснее становится, что она может испортить нам всю коммерцию. Ибо Человек, Ходящий во Тьме, почти наверняка скажет:

«Странное это дело, странное и непонятное! По-видимому, существуют две Америки: одна помогает пленнику освободиться, а другая отнимает у бывшего пленника завоеванную свободу, затевает с ним спор без всякого повода и затем убивает его, чтобы завладеть принадлежащей ему землей».

В сущности, Человек, Ходящий во Тьме, уже говорит это, и ради пользы коммерции необходимо преподать ему другие, более здравые взгляды на филиппинские события. Мы должны заставить его мыслить по нашей указке. Я считаю, что это вполне возможно, — ведь преподавал же Англии мистер Чемберлен готовые мысли по вопросу о Южной Африке, причем проделал он это ловко и успешно. Он преподнес англичанам факты — точнее, часть фактов — и разъяснил доверчивым людям их значение. И он оперировал цифрами — это очень хорошо. Он пользовался формулой: «Дважды два четырнадцать; из десяти вычесть два будет тридцать пять». Цифры действуют неотразимо, с их помощью всегда можно убедить образованную публику.

Мой план еще смелее чемберленовского, хоть я не отрицаю, что я его копировал. Будем откровеннее, чем мистер Чемберлен, выложим все факты, не утаив ни одного, а затем разъясним их по методу Чемберлена. Наша поразительная откровенность ошеломит Человека, Ходящего во Тьме, и он примет наше разъяснение, прежде чем успеет опомниться. Скажем ему так:

«Все очень просто. Первого мая Дьюи уничтожил испанский флот. В результате Филиппинские острова остались в руках подлинного, законного владельца — филиппинского народа. Армия филиппинцев насчитывала тридцать тысяч человек, и ей было вполне под

силу уничтожить или взять измором небольшой испанский гарнизон; это позволило бы жителям Филиппин создать у себя правительство по собственному вкусу. Соблюдая нашу традицию, Дьюи должен был вывесить на берегу свое предупреждение державам и затем отбыть восвояси. Но наш Главный Игрок принял другой план, европейский план: высадить там армию, якобы с целью помочь филиппинским патриотам нанести последний удар в их долгой и мужественной борьбе за независимость, а на самом деле — чтобы захватить их землю. Все это, разумеется, во имя Прогресса и Цивилизации. Операция развивалась планомерно и в общем успешно. Мы заключили военный союз с доверчивыми филиппинцами, и они осадили Манилу с суши, благодаря чему столица, где находился испанский гарнизон численностью в восемь — десять тысяч солдат, пала. Без филиппинцев мы тогда не добились бы этого. А оказать нам эту помощь мы их заставили хитростью. Мы знали, что филиппинцы уже два года ведут войну за свою независимость. Нам было известно, что они верят, будто мы сочувствуем их благородной цели, — подобно тому, как мы помогали кубинцам бороться за независимость Кубы, — и мы предоставили им заблуждаться. Но лишь до тех пор, пока *Манила не стала нашей и мы не перестали нуждаться в помощи филиппинцев*. Тогда-то мы и раскрыли свои карты. Они, конечно, удивились — удивились и разочаровались, — разочаровались и глубоко опечалились. Они нашли, что мы поступили не по-американски, не как обычно, наперекор вековым традициям. Смущение их легко понять, — ведь мы только притворялись, что играем на американский манер, по существу же это была европейская игра. Мы провели их так ловко, что они растерялись. Им все это было непонятно. Разве не вели мы себя по отношению к этим простодушным патриотам как подлинные друзья, исполненные глубокого сочувствия? Мы сами привезли из изгнания их вождя и героя, их надежду, их Вашингтона — Агинальдо. Мы доставили его на родину на военном корабле, с высокими почестями, под священной защитой нашего флага; мы возвратили его народу, за что нас горячо, взволнованно

благодарили. Да, мы вели себя как лучшие друзья филиппинцев, мы всячески их подбадривали, мы снабжали их в долг оружием и боеприпасами, совещались с ними, обменивались любезностями, поручали наших больных и раненых их заботливому уходу, доверяли им испанских пленных, зная, что филиппинцы честны и гуманны; боролись с ними плечом к плечу против «общего врага» (наше излюбленное словцо!); мы хвалили филиппинцев за отвагу и мужество, превозносили их милосердие и прекрасное, благородное поведение; мы воспользовались их окопами, заняли укрепленные позиции, отвоеванные ими у испанцев; мы ласкали их, лгали им, официально заявляя, что наша армия и флот пришли освободить их и сбросить ненавистное испанское иго, — словом, одурачивали их, воспользовались ими, когда нам было нужно, а затем посмеялись над выжатым лимоном и вышвырнули его вон. Мы закрепились на позициях, отнятых обманным путем, и, продвигаясь постепенно вперед, вступили на территорию, где были расположены отряды филиппинских патриотов. Остроумно придумано, не правда ли? Ведь нам нужны были беспорядки, а такие действия не могли не вызвать их. Один филиппинский солдат проходил по территории, которую никто не имел права назвать запретной зоной, и американский часовой застрелил его. Возмущенные патриоты схватились за оружие, не ожидая одобрения Агинальдо, который в это время отсутствовал. Агинальдо их не одобрил, но это не помогло. Нашей целью было — во имя Прогресса и Цивилизации — стать хозяевами Филиппинских островов, очищенных от борющихся за свою независимость патриотов, а для этого нужна была война. И мы воспользовались удобным случаем. Типичный чемберленовский прием, — во всяком случае, цели и намерения были такие же, и провели мы игру не менее ловко».

В этом месте нашей откровенной беседы с Человеком, Ходящим во Тьме, мы должны немного подсластить пилюлю ссылкой на Дары Цивилизации — для разнообразия и чтобы подбодрить его. Затем пойдем дальше:

«Когда мы сообща с филиппинскими патриотами заняли Манилу, Испания потеряла и право собственности на архипелаг и суверенную власть над ним. От всего этого ровным счетом ничего не осталось, ни единой ниточки, ни мельчайшей крупы. И тут-то нас осенила божественно-забавная мысль: *откупить* у Испании оба эти призрака. (Ничего, давайте расскажем и это Человеку, Ходящему во Тьме; все равно он нам не поверит, как и всякий психически здоровый человек!) При покупке этих призраков за двадцать миллионов долларов мы дали обязательство опекать тамошних католических монахов со всем их добром. Кажется, мы также подрядились разводить там оспу и проказу; впрочем, наверняка не скажу. Да это и не существенно: для людей, на которых обрушилось такое бедствие, как католические монахи, другие эпидемии уже не страшны.

После того как наш договор с Испанией был ратифицирован, Манила усмирена и «призраки» куплены, Агинальдо и все прочие законные владельцы Филиппинских островов стали нам больше не нужны. Тогда мы развязали военные действия и с тех пор охотимся за своим недавним гостем и союзником по всем лесам и болотам его страны».

В этом месте нашего рассказа уместно будет слегка похвастать нашей военной деятельностью, нашими подвидами на поле брани, дабы успехи англичан в Южной Африке не затмевали успехов Соединенных Штатов. Впрочем, особенно напирать на это не следует, рекомендую держаться осторожно. Разумеется, чтобы быть откровенными до конца, мы обязаны прочесть Человеку, Ходящему во Тьме, телеграммы с театра военных действий, но не мешает сдобрить их некоторой долей юмора. Это поможет смягчить их мрачную выразительность и не совсем приличное проявление кровожадного торжества. Прежде чем прочесть Человеку заголовки из газет от 18 ноября 1900 года, попрактикуемся без свидетелей, — нужно научиться придавать своему голосу веселенькие, игривые интонации:

«ПРАВИТЕЛЬСТВУ США НАДОЕЛИ ЗАТЯНУВШИЕСЯ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ».

«ФИЛИППИНСКИЕ МЯТЕЖНИКИ ¹ ДОЖДУТСЯ НАСТОЯЩЕЙ ВОЙНЫ!»
«БУДЕМ БЕСПОЩАДНЫ!»

«АМЕРИКА ПРИНИМАЕТ ПЛАН КИТЧЕНЕРА».

Китченер умеет приструнить несговорчивых людей, которые защищают свой домашний очаг и свою свободу! Мы, американцы, должны сделать вид, что мы только подражаем ему, а сами, как государство, в этом деле ничуть не заинтересованы и стремимся лишь понравиться Великой Семье Наций, в которую ввел нас Главный Игрок, купив нам местечко в заднем ряду.

Конечно, мы не смеем также обойти молчанием сводки генерала Макартура. Кстати, почему только не перестанут печатать такие неудобные для нас сообщения?! Придется читать их бойкой скороговоркой, а там была не была:

«За истекшие десять месяцев наши потери составили 268 человек убитыми и 750 ранеными; филиппинцы потеряли 3227 человек убитыми и 694 ранеными».

Мы должны быть наготове, чтобы не дать Человеку упасть, ибо от этого признания ему может стать дурно, и он простонет:

«Господи! Эти «черномазые» сохраняют жизнь раненым американцам, а американцы добивают раненых филиппинцев!»

Мы должны привести в чувство Человека, Ходящего во Тьме, а затем всеми правдами и неправдами убедить его, что в нашем мире все к лучшему и не нам судить о путях провидения. Чтобы доказать ему, что мы не инициаторы, а только скромные подражатели, прочтем ему нижеследующую выдержку из письма одного американского солдата с Филиппин к своей матери, опубликованного в газете «Паблик опиньон» в городе Декора, штат Айова. В нем описывается конец одного победоносного сражения:

«В живых мы не оставили ни одного. Раненых приканчивали на месте штыками».

¹ Мятежники! Это странное слово надо как-нибудь промямлить, чтобы Человек, Ходящий во Тьме, не разобрал его! (Прим. автора.)

Изложив Человеку, Ходящему во Тьме, исторические факты, приведем его снова в чувство и разъясним ему все как надо. Скажем ему следующее:

«Факты, которые мы изложили, могут показаться вам сомнительными, но это не так. Да, мы лгали, но из высоких побуждений. Да, мы поступали вероломно, но лишь для того, чтобы из кажущегося зла родилось подлинное добро. Да, мы разгромили обманутый доверчивый народ; да, мы предали слабых, беззащитных людей, которые искали в нас опору; мы стерли с лица земли республику, основанную на принципах справедливости, разума и порядка; мы вонзили нож в спину союзнику и дали пощечину своему гостю; мы купили у врага призрак, который ему не принадлежал; мы силой отняли землю и свободу у верившего нам друга; мы заставили наших чистых юношей взять в руки опозоренное оружие и пойти на разбой под флагом, которого в былые времена разбойники боялись; мы запятнали честь Америки, и теперь весь мир смотрит на нас с презрением, — но все это было к лучшему. Для нас это совершенно ясно. Ведь руководители всех государств в христианском мире, равно как и девяносто процентов членов всех законодательных учреждений в христианских государствах, включая конгресс США и законодательные собрания всех пятидесяти наших штатов, являются не только верующими христианами, но также и акционерами треста «Дары Цивилизации». А такое всемирное объединение прописной морали, высокой принципиальности и справедливости не способно ни на что дурное, нечестное, грязное. Там знают, что делают. Успокойтесь, все в полном порядке!»

Уж это обязательно убедит Человека, Ходящего во Тьме. Вот увидите. Дела снова пойдут в гору. А наш Главный Игрок водрузится на вакантное место третьей ипостаси в троице американских национальных богов. Веками будут они восседать у всех на виду на высоких престолах, каждый с эмблемой своих деяний: Вашингтон с мечом освободителя, Линкольн с разорванными оковами рабства, и наш Главный Игрок — с оковами, вновь приведенными в исправность.

Увидите, как это оживит торговлю.

Условия нам благоприятствуют, все складывается так, как мы хотели. Мы захватили Филиппинские острова и уже не выпустим их из рук. У нас имеются также все основания надеяться, что в недалеком будущем мы сможем избавиться от обязательств, взятых по договору с Кубой, а Кубе дать что-нибудь другое, лучше. Куба — богатая страна, и многие американцы уже смекнули, что заключить с ней договор было сентиментальной ошибкой. Но сейчас — именно сейчас — самое время заняться восстановлением нашей репутации, — это поднимет наш престиж, придаст нам спокойствия, устранил кривотолки. От самих себя мы не скроем, что в глубине души нас тревожит честь американской армии. Мундир солдата — один из предметов нашей гордости, он связан с делами благородными и высокими, мы его уважаем и любим, — и нам совсем не по душе та миссия, которую он в настоящее время выполняет. А наш флаг! Мы считали его святыней; и когда случалось увидеть его в далеких краях, реющим под чужим небом и посылающим нам свой привет и благословение, у нас захватывало дух и срывался от волнения голос; мы стояли, обнажив голову, и думали о том, какое значение имеет он для нас и какие великие идеалы представляет. Да, нам *необходимо* что-то предпринять, и это не так сложно. Заведем специальный флаг, — ведь имеются же у наших штатов собственные флаги! Пусть даже останется старый флаг, только белые полосы на нем закрасим черным, а вместо звезд изобразим череп и кости.

И не нужна нам эта Гражданская комиссия на Филиппинах. Не облеченная никакими полномочиями, она должна их выдумывать, а такая работа не всякому по плечу — тут требуется специалист. Для этой цели можно уступить мистера Крокера. Мы хотим, чтобы там была представлена только Игра, а не Соединенные Штаты.

Благодаря всем этим мероприятиям на Филиппинах пышно расцветут Цивилизация и Прогресс; так мы одурачим Людей, Ходящих во Тьме, и у нас опять пойдет бойкая торговля на старом месте.

Я получил много газетных вырезок, а также письма от нескольких священников и послание от его преподобия доктора богословия Джадсона Смита, секретаря Американского Бюро заграничных христианских миссий, и все они на одно лицо, все по сути дела говорят то же, что и цитируемая ниже газетная статья:

ОТ МИСТЕРА КЛЕМЕНСА
ЖДУТ ИЗВИНЕНИЙ.

«События последних двух дней должны побудить Марка Твена честно и незамедлительно принести извинения старейшему миссионеру в Китае доктору Аменту за грубые нападки на него. Поводом для оскорбительного выступления Твена послужило сообщение из Пекина, напечатанное в нью-йоркской «Сан», о том, что доктор Амент взыскал с китайцев в разных местах страны компенсацию, в тринадцать раз превышающую фактическую сумму убытков. На этом основании Марк Твен предъявил мистеру Аменту обвинение в вымогательстве, насилии и т. п. Однако благодаря новому сообщению, полученному вчера редакцией «Сан» из Пекина, выяснилось, что взысканная сумма превышала фактические убытки не в тринадцать раз, а *на*

одну треть. Ошибка произошла по вине телеграфа, превратившего цифру $\frac{1}{3}$ в 13. Вчера секретарь Американского Бюро его преподобие Джадсон Смит получил телеграмму от доктора Амента, в которой тот указал на ошибку и заявил, что штраф был наложен им *с одобрения китайских властей*. Небольшая сумма, полученная сверх компенсации за убытки, употреблена, как он пояснил, *на оказание помощи вдовам и сиротам*.

Таким образом, потерпела провал злобная и рассчитанная на сенсацию атака Марка Твена на миссионера, чей нравственный облик и деятельность не заслуживают подобного оскорбления.

Рухнула вся подоплека обвинения. Несправедливость, совершенная мистером Клеменсом по отношению к доктору Аменту, была грубой, но не преднамеренной. Если Марк Твен — такой человек, каким мы привыкли его считать, он не замедлит взять назад свои слова и принести извинения».

Я не против извинений. Мне кажется, что я никогда не откажусь принести извинения, если сочту это необходимым, мне кажется, что у меня даже не возникнет намерения отказаться. Я с полной серьезностью отнесся ко всем письмам и газетным статьям, так повелевает мне мое уважение к авторам, взявшимся за перо под влиянием гуманных чувств. Весьма вероятно, что, если бы мне предложили извиниться до 20 февраля, я имел бы еще известное основание для этого, но уже 20-го, после того, как в цитированной выше статье был воспроизведен текст двух телеграмм, — первой от доктора Смита доктору Аменту, и второй — ответ доктора Амента доктору Смит, — мои довольно шаткие основания рухнули окончательно. Мне кажется, что этот обмен телеграммами следовало скрыть, ибо он выдает доктора Амента с головой. Однако это всего лишь мое частное мнение, возможно ошибочное. Поэтому я нахожу целесообразным рассмотреть вопрос с самого начала в свете соответствующих документов.

Сообщение руководителя телеграфного агентства газеты «Сан» в Пекине мистера Чемберлена¹. Оно было опубликовано в «Сан» в канун рождества, и в дальнейшем я буду называть его для краткости: «Сообщение К. Р.».

«Его преподобие мистер Амент, представитель Американского Бюро заграничных христианских миссий, вернулся из поездки, которую он предпринял с целью собрать контрибуцию за ущерб, нанесенный боксерами. Куда бы он ни приезжал, он всюду заставлял китайцев платить. Мистер Амент заявляет, что в настоящее время все подведомственные ему местные христиане обеспечены. Его паства составляла 700 человек, и из этого числа 300 убито. Мистер Амент взыскал по 300 таэлей за каждого погибшего и добился полного возмещения стоимости всего уничтоженного имущества христиан. Вдобавок он наложил штраф, в тринадцать раз² превышающий сумму контрибуции. Эти деньги пойдут на распространение евангельского учения.

Мистер Амент заявляет, что он получил скромную компенсацию по сравнению с той, которая досталась католикам, взимающим, кроме денег, еще жизнь за жизнь. За каждого убитого католика требуют по 500 таэлей. В районе Вэньчжоу убито 680 католиков, и за это европейские католики, находящиеся здесь, требуют 750 000 связок монет и 680 голов китайцев.

В беседе мистер Амент коснулся отношения миссионеров к китайцам. Он сказал: «Я решительно отрицаю, что миссионеры мстительны, что они, как правило, грабили или делали после осады что-нибудь такое, чего не требовали обстоятельства. Лично я осуждаю американцев. Мягкая рука американцев куда хуже, чем бронированный кулак немцев. Если проявлять мягкость по отношению к китайцам, они этим воспользуются».

¹ Подтверждено заведующим редакцией «Сан»

² Ошибка телеграфа. Вместо «в 13 раз» читайте «на $\frac{1}{3}$ ». Уточнение сделано д-ром Аментом в краткой телеграмме, опубликованной 20 февраля, как указано выше. (Прим. автора.).

В своей статье «Человеку, Ходящему во Тьме», опубликованной в «Норс Америкен ревью» в феврале сего года, я позволил себе несколько замечаний по поводу сообщения К. Р.

Его преподобие доктор Смит, адресуя мне свое Открытое письмо, напечатанное в «Трибюн» 15 февраля, высказывает сомнение насчет точности цитированного мною источника.

Раньше еще действительно можно было сомневаться, но после краткой телеграммы доктора Амента, опубликованной 20 февраля, все сомнения отпадают.

В своем Открытом письме доктор Смит приводит следующие строки из письма доктора Амента от 13 ноября (курсив мой):

«На сей раз я намерен был урегулировать вопрос без участия солдат и дипломатических миссий».

Это может означать только одно: что прежде он *прибегал к помощи вооруженных сил.*

Далее, в Открытом письме доктор Смит ссылается на похвалу его преподобия доктора Шеффилда по адресу доктора Амента и его преподобия мистера Тьюксбери, и говорит в заключение:

«Доктор Шеффилд не стал бы так хвалить воров, вымогателей или хвастунов».

Что имел он в виду, употребляя столь энергичные эпитеты? Неужели то, что первые два можно применить к миссионеру, который попытался бы взыскать с «Б», «при помощи солдат», долги, причитавшиеся с «А», и при удобном случае отправился бы на разбой?

Документ 2

Заявление Джорджа Линча (газеты «Трибюн» и «Геральд» считают его заслуживающим полного доверия), военного корреспондента на Кубинском и Южно-Африканском театрах военных действий, а также при захвате Пекина ради защиты иностранных миссий:

«Солдатам (курсив мой) было запрещено грабить, но, очевидно, на миссионеров этот запрет не распространился. Например, его преподобие мистер Тьюксбери устроил большую распродажу награбленного имущества, продолжавшуюся несколько дней.

Спустя день или два после снятия осады я встретил его преподобие мистера Амента из Американского Бюро заграничных миссий. Он рассказал мне, что собирается занять дом одного богатого китайца, своего старинного врага, который в свое время сильно мешал его миссионерской деятельности. Через несколько дней он это осуществил и устроил большую распродажу имущества, которое принадлежало его врагу. Я купил там соболью пелерину за 125 долларов и несколько статуэток Будды. Проданные товары восполнялись новыми благодаря стараниям крещенных им язычников, которые грабили дома по соседству» («Геральд», Нью-Йорк, 18 февраля).

Это не я, а доктор Смит предложил называть людей, поступающих подобным образом, «ворами и вымогателями».

Документ 3

Сэр Роберт Харт в «Фортнайтли ревью» за январь 1901 года. Этот свидетель уже много лет считается самым видным и авторитетным англичанином в Китае и пользуется репутацией человека выдержанного, справедливого и неизменно правдивого. Заканчивая перечень отвратительных эпизодов, связанных с захватом Пекина, когда войска христианских государств (кроме американских — слава богу!) предавались безудержным грабежам, сэр Роберт пишет (курсив мой):

«И даже некоторые миссионеры так энергично «обирали египтян» во славу господа, что какой-то прохожий заметил: «Теперь уж на сто лет вперед крещенные китайцы будут считать, что разбой и месть входят в число христианских добродетелей».

Это не я, а доктор Смит предложил называть людей, поступающих подобным образом, «ворами и вымогателями». Согласно сообщениям мистера Линча и мистера Мартина (другого военного корреспондента), доктор Амент тоже «обобрал» немало «египтян». Мистер Мартин сфотографировал одну сценку. Этот снимок был напечатан в газете «Геральд». У меня он имеется.

Документ 4

В своем кратком ответе на Открытое письмо доктора Смита в газете «Трибюн» я заявил нижеследующее. Некоторые слова своего заявления я преднамеренно подчеркиваю:

«Как только он (доктор Смит) предъявит свидетельство его преподобия мистера Амента, что тот не давал интервью, о котором сообщила «Сан» во вред его репутации, и подкрепит опровержение мистера Амента признанием руководителя телеграфного агентства «Лафан» в Китае мистера Чемберлена, что это интервью не санкционировано Аментом и является чьим-то вымыслом, все претензии к мистеру Аменту отпадут сами собой».

Документ 5

Опубликованный 20 февраля текст телеграмм, которыми обменялись доктор Смит и доктор Амент:

«Аменту. Пекин. 24 декабря напечатано сообщение, что вы взимаете штраф в тринадцатикратном размере, употребляя полученное на распространение евангелия. Правда ли это? Телеграфируйте точный ответ: *Смит*».

«Заявления ложны. Взимал на церковные расходы $\frac{1}{3}$ сверх суммы фактических убытков; помогаю в настоящее время вдовам и сиротам. Цифра тринадцать — результат телеграфного искажения. Все

взыскания санкционированы китайскими властями, настаивающими на дальнейшем урегулировании тем же способом. *Амент*».

Было задано только два вопроса, на них просили дать «точный» ответ; забредать в опасные дебри злополучного рождественского сообщения было совершенно не к чему.

Документ 6

Письмо доктора Смита ко мне от 8 марта. Отмечаю курсивом замеченные в нем неточности:

«Позвольте мне обратить Ваше внимание на подчеркнутые абзацы в прилагаемых при сем материалах, которые, как Вы заметите, непосредственно касаются двух выдвинутых Вами условий в Вашем письме в нью-йоркскую «Трибюн» от 15 февраля.

1) *Опровержение доктором Аментом сообщения в нью-йоркской «Сан» от 24 декабря, послужившего основанием для критики по его адресу в Вашей статье, опубликованной в февральском номере «Норс Америкен ревью».* 2) Поправка, присланная в редакцию «Сан» собственным корреспондентом из Пекина по поводу статьи от 24 декабря.

Принимая к сведению Ваше заявление в «Трибюн» о том, что «претензии к мистеру Аменту отпадут сами собой», *если будут выполнены оба условия, а именно: мистер Амент опровергнет первое сообщение «Сан» и телеграфное агентство «Сан» в Пекине подтвердит ложность этого сообщения*, я убежден, что Вы, ознакомившись с новыми фактами, будете рады отказаться от своих критических замечаний, *основой для которых послужила «ошибка телеграфа».*

Мне думается, что, если бы доктор Смит более внимательно прочитал мое заявление в «Трибюн», он не допустил бы столько искажений. В двух небольших абзацах, общей сложностью в одиннадцать строк, он позволил себе девять отступлений от истины из девяти

с половиной возможных. Разве это корректно? Я так с ним не поступаю. Когда я цитирую его, я стараюсь его не обижать и не вкладывать в его уста слова, которых он не говорил.

1) Мистер Амент не «опровергает» сообщения К. Р., а лишь меняет кое-что в одной из фраз, впрочем оставляя без изменений общий смысл, то есть внося несущественное исправление, каковое, кстати, я принимаю. По поводу остальных четырех пятых сообщения К. Р. ему не задавали никаких вопросов. 2) Я не говорил ничего о «собственных» корреспондентах, а правильно назвал по фамилии ответственного человека — мистера Чемберлена. «Поправку», о которой говорится, я, как уже сказано, принимаю: это (несущественная) замена цифры 13 на цифру $\frac{1}{3}$. 3) Я ничего не говорил о телеграфном агентстве «Сан», я называл Чемберлена. Мистеру Чемберлену я вполне доверяю, другие же лица мне неизвестны. 4) Еще раз: мистер Амент не «опровергает» сообщения К. Р., а лишь вносит кое-какие малозначительные поправки. 5) Я не говорил: «Если мистер Амент опровергнет первое сообщение», я просил о другом: чтобы мистер Амент засвидетельствовал, что он его не «санкционировал». Например, я не поверил, что католические миссионеры требуют казни 680 китайцев, но я желал знать, санкционировал ли мистер Амент это, якобы написанное с его слов, заявление, а также ряд других. Подчеркиваю: я поставил условием, чтобы мистер Чемберлен, не ограничиваясь признанием того, что сообщение К. Р. было «ложным», заявил также, что оно «не было санкционировано Аментом». Доктор Смит упускает эту важную подробность. 6) Телеграфное агентство «Сан» не заявило, что сообщение К. Р. было «ложным», оно лишь исправило одну незначительную деталь — изменило цифру 13 на $\frac{1}{3}$. 7) «Оба условия» не выполнены — отнюдь нет! 8) Те подробности, которые названы «фактами», представляют собой лишь плод воображения. 9) И последнее замечание: моя критика ни в коей мере не ограничивалась той незначительной частью сообщения К. Р., которую теперь готовы считать «ошибкой телеграфа».

Если отбросить эти девять отступлений от истины, то я согласен признать, что все остальное, изложенное в одиннадцати строках, точно и правильно. Я не виню доктора Смита в допущении неточностей, это было бы с моей стороны нечестно. Я учитываю обстоятельства. Он никогда не был журналистом, как, скажем, я. А это такая профессия, при которой тебе столь часто достается от других газет за неточное изложение фактов, что постепенно ты начинаешь как огня бояться такой практики. Со мной по крайней мере дело обстоит именно так. Раньше я имел склонность говорить то, чего нет. Уж такой я человек, да и все мы такие! Но теперь я избегаю этого: я понял, что это небезопасно. Но доктору Смигу все это, разумеется, совершенно чуждо.

Документ 7

Мне хотелось докопаться до истины в отношении сообщения К. Р., и я сам запросил из Китая сведения, когда узнал, что Бюро не намерено это сделать. Но меня торопят и не позволяют дожидаться ответа. А ведь возможно, что обстоятельный отчет о всех событиях позволил бы мне извиниться перед мистером Аментом, — и эту возможность я, даю слово, честно бы использовал. Впрочем, ладно. Если весь остальной текст этого чудовищного сообщения не тревожит Бюро, то мне и подавно нечего тревожиться! Священникам, требующим от меня извинений, я ответил, что попросил прислать мне подробную информацию из Китая, ибо считаю это единственным способом выяснить правду и найти справедливое мерило; но двое из них мне ответили, что ждать нельзя. Иными словами, лучше блуждать в потемках, ища выхода из джунглей путем предположений и догадок, чем выйти прямо на солнечный свет фактов. Странная идея!

Тем не менее по-своему — и с точки зрения Бюро — эти два священника до некоторой степени правы, если они хотят ограничиться двумя вопросами:

1. *Получил ли доктор Амент компенсацию за убытки плюс штраф в тринадцатикратном размере?*

О т в е т. Нет. Он получил штраф лишь в размере одной трети.

2. *Употребил ли он эту треть на «распространение евангелия»?*

Исправленный ответ. Он употребил ее на «церковные расходы». Остальная же сумма, оказывается, пущена «на оказание помощи вдовам и сиротам». Очевидно, церковные расходы и оказание помощи вдовам и сиротам не подходят под рубрику распространения евангелия. А я-то думал, что да, и, хотя это не имеет значения, я предпочитаю старую формулировку — она не так груба, как другая.

По мысли этих двух священников и самого Бюро, *только эти две детали* из всего сообщения К. Р. имеют значение.

Хорошо, согласен. Посему давайте отбросим все прочее, что там сказано, как не имеющее отношения к делу доктора Аменты.

Документ 8

«Оба священника и Бюро вполне удовлетворены ответами доктора Аменты по этим двум пунктам».

Я же хотел бы задать риторический вопрос по первому пункту:

Взыскивая с «Б» (силой или просто предъявив ему требование) хотя бы пенни в качестве компенсации за убийства и грабежи, был ли доктор Амент совершенно уверен, что это «Б», а не кто-нибудь другой, повинен в грабежах и убийствах?

Или скажу так:

Не могло ли произойти — случайно или по неведению доктора Аменты, — что он заставил безвинных людей платить за тех, кто виноват?

В своей статье, озаглавленной «Человеку, Ходящему во Тьме», я развил эту мысль, приведя выдержку из воображаемого учебника истории Маколема:

«Когда белый боксер убивает человека из племени поуни и уничтожает его имущество, другие поуни даже не пытаются отыскать убийцу, а приканчивают первого встречного белого; потом они заставляют какую-нибудь деревню, населенную белыми, возместить наследникам денежную стоимость убитого человека, а также всего уничтоженного имущества; и вдобавок обязывают жителей внести сумму, в *тринадцать раз*¹ превышающую эту стоимость, в фонд распространения религии поуни, которая, по мнению этого племени, лучше всех других религий смягчает людские сердца и внедряет гуманность.

Поуни не сомневаются в том, что заставлять невинных отвечать за виновных справедливо и честно и что лучше пусть девяносто девять невинных пострадают, нежели один виновный уйдет от наказания».

Всем нам известно, что доктор Амент не привлекал подозреваемых им лиц к суду и не судил их по справедливым христианским обычаям, принятым в цивилизованных странах. Нет, он предъявлял свои «условия» и получал контрибуцию и с виновных и с безвинных, не прибегая к помощи суда². О том, что «условия» ставил он сам, а не деревенские жители, мы узнали из его (уже однажды цитированного) письма от 13 ноября, в котором он писал, что *на сей раз* обошелся без солдат. Вот его текст (курсив мой):

«После того, как стали известны наши *условия*, многие крестьяне явились добровольно и принесли с собой деньги».

¹ Читай: на одну треть. — М. Т.

² В цивилизованных странах, если во время беспорядков в каком-нибудь городе гибнет частное имущество, за это расплачивается городское казначейство; налогоплательщики не несут непомерной доли расходов, мэр не имеет права распределять это бремя по собственному усмотрению, то есть избавлять от расходов себя и своих друзей и облагать неугодных ему лиц, как это практикуется на Востоке, а те граждане, которые так бедны, что не платят налогов, вообще освобождены от такого обложения. (Прим. автора.)

Не все, но «многие». Бюро и вправду поверило, что эти несчастные, замученные бедняки не только были готовы снять с себя последнюю рубаху, чтобы покрыть убытки, вызванные восстанием, не вдаваясь даже в вопрос, их ли это обязанность, но делали это с восторгом. В своем письме мистер Амент заявляет: «Крестьяне были чрезвычайно благодарны, что я не привел иностранных солдат, и были рады уладить дело на предложенных мною условиях». Кое-кто из этой публики разбирается в богословских вопросах лучше, чем в людях. Я не помню такого случая, когда бы даже христианин «с радостью» отдавал деньги, которые он не был должен, не говоря уже о китайце, что было бы совершенно невыносимо. Всем нам приходилось встречаться с китайцами, со многими китайцами, но таких мы еще не встречали. Это какой-то новый сорт: вызванный к жизни миссионерским Бюро... и «солдатами».

ПО ПОВОДУ ВОСТРЕБОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИИ

Что представляла собой «одна лишняя треть»? Чей-нибудь долг? Нет. Так, значит, это была кража?

Если не считать «лишней трети», что представляла собой основная контрибуция, взысканная с тех, кто, возможно, и не должен был ее платить? Кражу, грабеж? В Америке так бы и считалось, и в христианской Европе тоже. В отношении этой детали я вполне полагаюсь на доктора Смита, а он сам называет ее «воровством и вымогательством», даже в условиях Китая, — правда, он употреблял столь выразительные термины в то время, когда имел в виду штраф в тринадцатикратном размере¹. Это он высказал мысль, что

¹ В своем Открытом письме доктор Смит цитирует послание доктора Амента от 13 ноября, где описывается поездка для сбора контрибуции, а затем делает такое замечание: «Там ничего не говорится о получении суммы, превосходящей убытки в тринадцать раз». Далее доктор Смит приводит похвальные отзывы о докторе Амента и его деятельности (из письма его преподобия доктору Шеффилду) и добавляет уже от себя: «Доктор Шеффилд не стал бы так хвалить воров, вымогателей и хвастунов». Речь идет о штрафе, в тринадцать раз превышающем фактические убытки (*Прим. автора.*)

когда заставляют и виновных и безвинных крестьян — всех подряд — платить контрибуцию, а затем требуют с них *еще тринадцать раз* столько, то это равносильно «воровству и вымогательству».

Из чего же состояла «одна треть»? Как он ее называет? Мелкой кражей, вымогательством в малом масштабе? Как оправдывалась девушка, родившая ребенка: «Но ведь он такой маленький!»

Когда речь шла о штрафе в тринадцатикратном размере, доктор Смит расценил это как воровство и вымогательство и был шокирован. Но когда доктор Амент заявил, что востребовал всего лишь одну треть лишку, у доктора Смита сразу отлегло от сердца — он обрадовался, повеселел. Право же, я не вижу причины для этого. Так же вот радовался и редактор газеты, статью из которой я цитировал, и тоже непонятно почему. Он советовал мне «честно и незамедлительно принести извинения». Кому и за что? Нет, для меня все это слишком мудрено!

Доктору Смигу штраф в тринадцатикратном размере показался явным «воровством и вымогательством», и он был прав, безусловно, несомненно прав. Но он, очевидно, думает, что когда цифра 13 превратилась в $\frac{1}{3}$, то такая мелочь перестала быть «воровством и вымогательством». Почему? Одному Бюро ведомо! Постараюсь разъяснить эту сложную проблему, чтобы для Бюро кое-что стало ясно. Если бедняк должен мне один доллар, а я, застав его врасплох, вынуждаю отдать мне четырнадцать, то получение мною лишних тринадцати есть «воровство и вымогательство»; если бы я потребовал у него только доллар и тридцать три цента с третью, то это было бы такое же «воровство и вымогательство». Могу объяснить это даже еще проще. Если человек должен мне одну собаку, все равно какую — порода здесь не играет роли, а я... Впрочем, не надо. Бюро никогда этого не поймет. Оно *не в состоянии* понять таких сложных и тонких вещей.

Но *если бы* Бюро могло это понять, тогда я изложил бы еще некоторые мысли на сей счет, а именно: одна треть, полученная при помощи «воровства и вымогательства», — это *грязные деньги*, и их нельзя от-

мыть, даже если они будут употреблены на «церковные расходы» или на «оказание помощи вдовам и сиротам». Они должны быть возвращены тем, у кого были взяты.

А вот еще и другая точка зрения. Согласно нашему христианскому кодексу, моральному и юридическому, если доллар и тридцать три цента с третью отняты у человека, чья вина за убытки официально не доказана, то взыскание всей этой суммы тоже есть «воровство и вымогательство», и такие деньги не могут быть употреблены ни на какое честное дело. Они должны быть возвращены тому, у кого были взяты.

Так неужели нет способа оправдать воровство и вымогательство, перелицевав их в нечто честное, благородное? Такой способ есть. Это можно сделать — так делали раньше и делают теперь: переиначьте только десять заповедей, приспособьте их к употреблению в современных языческих странах. Например, так:

Не укради — за исключением тех случаев, когда это является национальным обычаем данной страны.

Подобный способ принят и одобрен виднейшими авторитетами, включая Бюро. Назову свидетелей:

Цитированная мною на первой странице газетная статья, в которой говорится: «Доктор Амент заявил, что штраф был наложен им с одобрения *китайских* властей». Редактор газеты доволен.

Телеграмма доктора Амента доктору Смит: «Все взыскания санкционированы *китайскими* властями». Доктор Амент вполне доволен.

Письма восьми священников, все на один лад — мол, доктор Амент поступил лишь так, как поступают *китайцы*. Священники тоже довольны.

Мистер Уорд из «Индепендент».

Его преподобие доктор Вашингтон Гладден.

Не знаю, куда я засунул письма двух последних джентльменов, и не могу воспроизвести в точности их высказывания, но они тоже вполне довольны.

Его преподобие доктор Смит, который говорит в своем Открытом письме, помещенном в «Трибюн»: «Весь его (доктора Амента) образ действий соответ-

ствует обычаю *китайцев*: если в какой-нибудь деревне совершено преступление, то за это карают всех жителей, а особенно сурово — местного старосту». Доктор Смит доволен. Это означает, что и Бюро довольно.

Староста! Что ж! Значит, этот бедняга, будь он виновен или нет, должен сам уплатить по счету, если не сумеет выжать требуемое из своих несчастных односельчан. Тут уж можно не сомневаться, что он постарается это сделать, даже если придется отнять у соседа последний медяк, последнюю рубашку, последнюю корку хлеба. Да, уж он постарается выколотить контрибуцию, хоть и придется пустить в ход кулаки и плети, и это будет стоить его односельчанам кровавых слез и рубцов на теле.

СКАЗКА О КОРОЛЕ И КАЗНАЧЕЕ

Как все это отдает романтикой, Востоком, сказками Шахразады, каким кажется странным и далеким, да и не только кажется, но и есть. Вспоминаются старые забытые сказки, нам слышится голос короля, повелевающего своему казначею:

— Принеси мне тридцать тысяч золотых туманов!

— Аллах да помилует нас, сир! Наша казна пуста.

— Ты слышал мое приказание. Даю тебе срок — десять дней. Иначе присылай свою голову в корзину!

— Слушаю и повинуюсь.

Казначей призывает к себе старост из сотни деревень. Первому он велит: «Доставь мне сто золотых туманов!» Второму: «Доставь пятьсот!» Третьему: «Доставь тысячу. Даю вам сроку десять дней. Иначе головы долой!»

— Покорные рабы целуют стопы твоих ног! О мудрый, могущественный повелитель, помилуй наших несчастных крестьян: они бедствуют, не знают чем прикрыть свою наготу, они умирают с голоду. Это же неслыханные деньги! Даже половину...

— Ступайте! Выжмите, высосите из них эти деньги, превратите в деньги кровь отцов, молоко матерей, слезы младенцев. Иначе пеняйте на себя. Понятно?

— Да будет воля того, кто есть источник любви, милосердия и сострадания, того, кто через своих помазанников налагает на нас столь тяжкое бремя, благословенно его святое имя! Пусть отцы истекают кровью, матери падают без чувств от голода, младенцы гибнут у высохшей груди! Божьи избранники приказали, да будет их воля...

Я не намерен возражать против замены христианских обычаев языческими в тех случаях, когда христианские оказываются неподходящими. Наоборот, мне это нравится. Я и сам так поступаю. Я восхищен проворством Бюро, как оно всегда умеет вовремя сменять христианские добродетели на китайские, извлекая для себя наибольшую выгоду из этой мены; ведь я и сам не терплю этот народ, они все желтые, а желтый цвет, по-моему, никому не идет. Я всегда был такой, как Бюро: полон благих намерений, но лишен нравственных устоев. И этот коренной недостаток Бюро является главной причиной, почему невозможно втолковать ему, что в нравственном отношении между крупной кражей и мелкой кражей нет никакой разницы, а есть разница только юридическая. В нравственном отношении к воровству не применимы никакие степени. В заповеди сказано только: «Не укради!» — и больше ничего. Заповедь не признает никакой разницы между кражей одной трети и кражей тринадцати целых. Если бы я мог как-нибудь объяснить все это нашему Бюро простым и...

А Р Б У З Ы

Есть, придумал. Много лет тому назад, когда я был кандидатом на виселицу, у меня был товарищ, правда не похожий на меня, но все же очень славный парень, хоть и хитрый. Он собирался устроиться в Бюро, зная, что лет через пять там кто-то уйдет на пенсию. Дело было на Юге, еще во времена рабства.

И негры тогда, как и сейчас, любили воровать арбузы. Они стащили три самых лучших арбуза с бахчи моего названного брата. У меня было подозрение на трех негров, принадлежащих соседу, но доказательств я не имел, а кроме того, на собственных грядках этих негров арбузы были маленькие и неспелые, что не соответствовало стандарту контрибуции. Но на грядках у трех совершенно других негров было много отличных арбузов. Я посоветовался с моим приятелем, который готовил себя для работы в Бюро. Он сказал, что, если я не буду возражать, он все устроит. Я ответил: «Считай, что я Бюро; я не возражаю, действуй!» Тогда он взял ружье, пошел и сорвал три больших арбуза для моего названного брата и еще прихватил один лишний. Я был весьма доволен и спросил:

— А лишний для кого?

— Для вдов и сирот.

— Вот это молодец. Отчего ж ты не взял тринадцать?

— Это был бы грех; более того — преступление: воровство и вымогательство.

— А разве одна лишняя треть, вот этот четвертый арбуз, не то же самое?

Это заставило его призадуматься. Но результата не принесло.

Мировой судья был человек строгих правил. Во время суда он раскритиковал наш замысел и потребовал, чтобы мы объяснили наше странное поведение — так он это назвал. Мой приятель заявил:

— Мы следовали обычаю чернокожих. Они все так делают.

Судья, забыв о своем достоинстве, снизошел до сарказма:

— Обычаю чернокожих? Неужели нам не хватает своих нравственных правил и мы должны занимать их у чернокожих? — Затем он обратился к присяжным. — Пропало три арбуза; чтобы вознаградить владельца, отняли три других арбуза у человека, чья вина не доказана, — значит, это воровство. Их отняли силой — это вымогательство. Потом взяли еще один — для вдов и сирот. Этот уже не представлял собой вообще ника-

кого долга. Стало быть, тоже воровство и тоже вымогательство. Верните его владельцу вместе с остальными. У нас не разрешается использовать ни для какой цели добро, добытое нечестным путем, — даже для питания вдов и сирот, ибо это загрязнит и опозорит благотворительность.

Он сказал это на открытом заседании суда, во всеуслышание, и мне это показалось не очень вежливым.

В своем письме один священник напоминает мне с укором, что-де «многие миссионеры хорошие люди, добрые, честные, преданные своему делу». Конечно! Никто этого и не оспаривает. Вместо «многие» он мог бы сказать «почти все», и это, вероятно, тоже было бы правдой. Я знаю многих миссионеров, я встречался с ними во всех уголках земного шара, и разве только один или два не подходили под это описание. «Почти все» — это характерно, пожалуй, и для юристов, писателей, редакторов, торговцев, фабрикантов — для всех профессиональных и ремесленных групп. Можно не сомневаться, что доктор Амент поступил так, как считал правильным, и я признаю, что, если человек поступает так, как он считает правильным, это говорит в его пользу. Я не согласен с доктором Аментом, но это только потому, что он прошел свою выучку в Бюро, а я — в другом месте. Ни он, ни я не виноваты, что мы такие.

РЕЗЮМЕ

Впрочем, подводить итоги нет надобности. Мистер Амент подтвердил получение «лишней трети», и других свидетелей уже не требуется. Его преподобие доктор Смит тщательно обдумал этот поступок и дал ему суровое название; к его приговору, пожалуй, не придерешься. Все выполнено по правилам китайской морали и нашло признание Бюро, а также некоторых священнослужителей и некоторых газет, как важное усовершенствование христианской морали, что заставляет меня замолчать, хотя сердцу моему от этого больно.

Считаю ли я, что поведение доктора Амента и некоторых его коллег-миссионеров обусловлено свойствами их характера? Нет, не считаю. Они продукт своего воспитания, и теперь, когда я разобрался во всем и увидел, откуда они черпают свои идеалы, мне стало понятно, что они — слуги своего начальства, скорее сообщники, чем зачинщики, и их поступки суть заблуждения неправильно обученной головы, но не злобного сердца. Поэтому я считаю, что главный виновник — Американское Бюро. Подчеркиваю еще раз: его голова, но не сердце. Никто не станет отрицать и оспаривать наличия у Бюро доброго сердца, — тому свидетельством вся его прошлая деятельность. Надо судить не сердце Бюро, а его голову.

А голова эта очень странная. Как она мыслит — непонятно; откуда берутся ее идеи — загадка; почему она выбирает тот, а не иной способ действий — тайна для человеческого разума; что побуждает ее принимать определенные решения — непостижимо. Когда вы думаете, что она заговорит, что ей полезно было бы сейчас заговорить, она хранит молчание; когда вы думаете, что она помолчит, что ей полезно сейчас помолчать, она вдруг начинает говорить. Притроньтесь пальцем к тому месту, где, по всем правилам, ей положено быть, — вы там ее не найдете; притроньтесь пальцем к тому месту, где ей быть не положено, — и она там окажется.

Когда слуга этой головы в Китае сам себя обвинил в неслыханных проступках на страницах солидной газеты и многие другие органы печати воспроизвели это сообщение, Бюро хранило гробовое молчание — как покойник, которому кричат, что горит его дом. А ведь так легко было обменяться телеграммами и уже дня через два — возможно — доказать всему миру, что слуга головы не замешан в этом непристойном деле. Но голова молчала и ничего не спрашивала.

Она молчала 38 дней. И вдруг это сообщение снова очутилось в центре внимания. Виновником — по чистой случайности — оказался я. Тишина была нару-

шена. Что взорвало ее? Может быть, телеграфная переписка, доказующая, что непристойное сообщение не было санкционировано доктором Аментом? Нет. Тишину нарушил своим Открытым письмом секретарь Американского Бюро доктор Смит, который силился *доказать мне*, что доктор Амент никогда бы не сказал и не сделал того, что ему приписано в газетном сообщении.

Это, конечно, была неразумная тактика. Одно телеграфное опровержение было бы полезнее, чем целая библиотека доказательств.

Вообще же, мне кажется, разумнее было бы помолчать, чем печатать это Открытое письмо. Я это подумал сразу. Уже и так достаточно наплели и напутали! Со стороны доктора Смита это был едва ли благоразумный поступок: мне не верилось, что доктор Амент сумеет опровергнуть свое интервью, и я даже высказал эту мысль в телеграмме доктору Смигу. Лично против доктора Амента я ничего не имел тогда и сейчас не имею.

И тут снова благоразумно было бы вспомнить, что молчание — золото. Но где там! У Бюро на сей счет свои понятия, одно из них — делать глупости, как только к тому представляется случай. Прождав 56 дней, оно послало доктору Аменту телеграмму. Непонятно, почему нельзя было это сделать на 56 дней раньше¹. Бюро получило убийственный ответ, но не поняло этого. В этом ответе содержалось удивительнейшее признание, что получена «лишняя треть», которая употреблена не на «распространение евангелия», а лишь на «церковные расходы» и оказание помощи вдовам и сиротам; кроме того, всплыл наружу невероятнейший факт: что наши миссионеры, отправившиеся в Китай внедрять там законы христианской морали и справедливости, вместо этого сами переняли языческие законы. *Не телеграмма, а просто динамит!*

¹ Телеграмму послали в тот день (18 февраля), когда было опубликовано сообщение мистера Джорджа Линча о грабежах (см. документ 2). Жаль, что в ней не потребовали опровержения и этих материалов! (Прим. автора.)

Весьма странно, что Бюро не заметило вреда, причиненного ему этой откровенностью. До сих пор существовало спасительное сомнение, оно защищало Бюро, как Гибралтар, и надо было всячески его поддерживать. Зачем же Бюро допустило, чтобы такое признание попало в печать? Почему Бюро не скрыло его, не промолчало? Оно и тут решило, что сейчас самое время заговорить. Так родилось последнее письмо доктора Смита ко мне, в котором он требует, чтобы я тоже заговорил, — правильное письмо, если не считать указанных выше девяти ошибок, но лишний раз подтверждающее, что голове Бюро далеко до его сердца.

Миссионер — это, можно сказать, сплошное сердце, иначе он не избрал бы профессию, требующую от него огромных и разнообразных жертв. Он соткан из веры, энергии, бесстрашия, эмоций, энтузиазма; в нем слились поэт, фанатик и странствующий рыцарь. Он покидает родной дом и близких, рвет милые его сердцу связи и терпеливо переносит все неудобства, лишения и неудачи; храбро встречает опасность, зная, что рискует жизнью, и идет на смерть, сознательно жертвуя собой ради своей идеи.

Иногда такой человек не блещет умом, и в силу этого, как нам пришлось убедиться, он допускает ошибки. Вот тут-то, казалось бы, за спиной у него должно стоять Бюро, способное мгновенно распознать ошибку и вовремя указать ему правильный курс, с которого он сбился. Иными словами, необходимо, чтобы капитан корабля знал толк в мореплавании. Ведь так или иначе ему придется нести ответственность, если его команда приведет корабль к гибели.

I

22 февраля. Сегодня — знаменательная дата. Ее настолько широко отмечают всюду на земном шаре, что из-за разницы в поясном времени получилась забавная штука с телеграммами, в которых воздаются почести нашему великому предку: хотя все они были отправлены почти в один час, иные из них оказались вчерашними, а иные завтрашними.

В газетах мелькнуло упоминание о генерале Фанстоне.

Ни Вашингтон, ни Фанстон не были созданы в один день. Материал для их личности копился в течение долгого времени. Костяк сложился из врожденных склонностей человека — вечных, как скала, и не претерпевающих существенных изменений от колыбели до могилы. А моральная плоть (я имею в виду характер) наращивалась вокруг этого костяка и принимала определенную форму благодаря воспитанию, общению с людьми и жизненным обстоятельствам. Если костяк человека от рождения искривлен, то никакие влияния, никакие силы на свете его уже не выправят. Воспитание, общество и жизненные обстоятельства могут послужить ему подпорками, костылями, корсетом, они могут сжать его и втиснуть в красивую искусственную форму, которая сохраняется

порой до последнего дня, обманывая не только окружающих, но даже и самого человека. Однако все тут искусственное, и стоит лишь убрать костыли и подпорки, как обнаружится врожденная кособокость.

Вашингтон не сам создавал костяк своей личности, а с ним родился, поэтому не его заслуга, что натура его представляла собой совершенство. Натура, и только она, заставляла Вашингтона искать людей, близких ей по духу, и отдавать им предпочтение перед всеми другими; принимать влияния, которые ей нравились и казались достойными, и отталкивать или обходить стороной те, которые были ей не по вкусу. Час за часом, день за днем, год за годом она находилась под воздействием бесчисленных мельчайших влияний и автоматически притягивала и задерживала, как ртуть, все частицы золота, с презрением отбрасывая частицы пустой породы, игнорируя все неблагоприятное, что соседствует с золотом. У нее была врожденная тяга к благим и возвышенным влияниям, и она радушно принимала их и впитывала; у нее было врожденное отвращение ко всем дурным и грубым влияниям, и она уклонялась от них. Это она подбирала своему подопечному друзьям и товарищам, это она подбирала ему влияния, это она подбирала ему идеалы и из тщательно, кропотливо собранных материалов лепила его замечательный характер.

А мы воображаем, что это заслуга самого Вашингтона!

Мы считаем заслугой бога, что он — всемудрый и всемогущий, и воздаем ему хвалу за это, но тут — совсем иное дело. Богу никто не помогал, он не получил своих качеств в дар при рождении, а создал их *самолучно*. Вашингтон же *родился* с готовой натурой, которая была зодчим его характера, а характер в свою очередь был зодчим его великих дел. Если бы я родился с натурой Вашингтона, а он с моей, то весь ход истории был бы другим. Наше право — восхищаться великолепием солнца, красотой радуги и характером Вашингтона, но нет оснований восхвалять их за это, ибо не сами они породили источники своих достоинств: солнце — свой огонь, радуга — свет, преломляющийся

в дождевых каплях, а отец нашей страны — свою натуру, чистую, разумную, добродетельную.

Так надо ли ценить такого человека, как Вашингтон, если мы не признаем его личной заслугой то, чем он был и что сделал? Обязательно надо, ибо ценность его неизмеримо велика. Благоприятные внешние влияния явились тем материалом, из которого натура Вашингтона вылепила его характер, подготовив его для славных дел. Предположим, что таких влияний не было бы, предположим, что он родился и вырос бы в воровском притоне, — тогда, без подходящего материала, не создался бы характер Вашингтона.

К счастью для нас и для всего человечества — и для будущих веков, — Вашингтон родился в таком месте, где нашлись подходящие влияния и общество, где оказалось возможным наделить его характер самыми прекрасными, возвышенными чертами и где благодаря удачному стечению обстоятельств перед ним открылось такое поприще, на котором он мог полностью проявить свои таланты.

Значит, великая ценность Вашингтона заключается в тех делах, которые он совершил при жизни? Нет, они имеют лишь второстепенное значение. Главная же ценность Вашингтона для нас, и для всего человечества, и для будущих веков заключается в том, что он навсегда останется недостижимо высоким образцом *влияния*.

Мы складываемся — по кирпичику — *из влияний*, медленно, но неуклонно наращиваемых вокруг остова нашей натуры. Только так формируется личность, иных путей нет. Любой мужчина, любая женщина, любой ребенок является источником каких-то влияний, не иссякающих ни на час, ни на минуту. Будь то полезные влияния или вредные, частицы золота или частицы пустой породы, — человеческий характер все время, непрерывно подвергается их действию. Сапожник способствует формированию характера двух десятков человек, имеющих с ним дело; карманный вор влияет на те пятьдесят человек, с которыми он входит в соприкосновение; у сельского священника таких объектов влияния наберется уже пятьсот; взломщик

банковских сейфов оказывает воздействие на сотню своих дружков да еще тысячи на три людей, которых он в глаза не видел; старания известного филантропа и дары великодушного миллионера толкают на добрые дела и побуждают раскошелиться сто тысяч человек, совершенно им незнакомых, — влияя на окружающих, каждый из этих людей добавляет и свой кирпичик к кладке их характеров. Беспринципная газета ежедневно ускоряет нравственное разложение миллиона испорченных читателей; наоборот, газета с высокими принципами каждый день помогает миллиону других людей становиться лучше. Грабитель, быстро разбогатевший на махинациях с железными дорогами, на три поколения вперед снижает уровень коммерческих нравов целой нации. Такой человек, как Вашингтон, поднявшийся на самую высокую вершину мира, залитый немеркнущим светом и видимый отовсюду, служит для всех светлым, вдохновляющим примером; его влияние способствует совершенствованию восприимчивых к добру людей и целых народов как в Америке, так и за ее пределами; и срок этого влияния определяется не быстрой сменой поколений, а неторопливой поступью столетий.

Вашингтон был не только отцом нации, но также — что еще важнее, — отцом патриотизма, патриотизма в самом высоком, в самом лучшем смысле этого слова; и такова была сила его влияния, что этот чудесный патриотизм оставался непомеркшим и незапятнанным целое столетие — без одного года, — и это длительное облагораживающее влияние заложило такие основы порядочности в нашем народе, что сегодня он уже отворачивается от чужеродного, импортированного патриотизма и обращает свои взоры к патриотизму, унаследованному его предками от Вашингтона, к единственному истинно-американскому патриотизму, который выстоял девяносто девять лет и имеет все основания выстоять еще миллион лет. Сомнение в том, справедливо ли поступили Соединенные Штаты по отношению к Филиппинам, все сильнее разгорается в сердцах американцев; за сомнением последует уверенность. Народ скажет свое слово, а воля народа —

закон, иного властелина нет на нашей земле; и тогда мы исправим то зло, которое сотворили. Мы перестанем раболепно цепляться за мантии европейских коронованных захватчиков, и Америка делается опять, как прежде, подлинной мировой державой и самой главной из них всех. Если у нее, единственной, окажутся чистые руки, не замаранные порабощением беззащитного народа, если она отмоет их в патриотизме Вашингтона, — только тогда посмеет она без стыда предстать перед обожаемой Тенью и коснуться края ее одежд. Влияние Вашингтона создало Линкольна и других настоящих патриотов нашей республики; его влияние создало солдат, которые спасли Соединенные Штаты в годы Гражданской войны; и оно будет всегда служить нам защитой и путеводной звездой.

Как же должны мы поступать, когда судьба посылает нам Вашингтона, Линкольна, Гранта? Мы ведь знаем, что один яркий образец доброго влияния стоит больше, чем миллиард сомнительных, а значит — мы обязаны беречь это влияние, всеми силами поддерживать его неугасимый, чистый огонь всюду — в детской, в школе, в университете, в церкви, на страницах газет и даже в конгрессе, если только это возможно!

Потребовались врожденные склонности, чтобы возникла основа характера Вашингтона, затем потребовались благоприятные внешние влияния, подходящие обстоятельства и широкое поле деятельности, чтобы личность его приняла законченный вид. То же самое можно сказать о Фанстоне.

II

«Война позади», — так писали газеты в конце 1900 года. Месяц спустя было обнаружено горное убежище побежденного, затравленного, обессиленного, но все же не павшего духом вождя филиппинцев. Армии у него уже не было, республика больше не существовала, наиболее выдающиеся государственные деятели были высланы, генералы сошли в могилу или попали

в плен. Память о его благородной мечте сохранится в веках и будет вдохновлять на подвиги более удачливых патриотов; но в тот момент эта мечта была мертва и казалась невоскресимой, хотя сам Агинальдо не мог в это поверить.

И вот его поймали. Об обстоятельствах этого дела сочувственно рассказывает Эдвин Уайлдмен в своей книге «Агинальдо». Уайлдмен заслуживает доверия, ибо он правильно суммирует сделанные в свое время генералом Фанстоном добровольные признания. Цитирую (курсив мой):

«Вплоть до февраля 1901 года место, где скрывался Агинальдо, не могли обнаружить. Ключ к тайне дало письмо Агинальдо, в котором он приказывал своему двоюродному брату Бальдомеро Агинальдо прислать ему четыре сотни вооруженных людей. Проводником этого отряда Агинальдо назначил того человека, которому было поручено доставить письмо. Приказ был зашифрован, но среди трофеев, захваченных в разное время, оказался код повстанцев. Гонцу внушили новое понятие о его долге (какими средствами — об этом история умалчивает!), и он согласился провести американцев в убежище Агинальдо. Перед генералом Фанстоном открывалась возможность приключений, ни в чем не уступающих тем, о которых пишут в грошовых бульварных романах. Именно такая сногсшибательная авантюра была ему по сердцу. Разумеется, не принято, чтобы бригадный генерал покидал свой высокий пост и превращался в разведчика, но Фанстон славился настойчивостью. Он разработал план поимки Агинальдо и обратился к генералу Макартуру за разрешением действовать. Отказать в чем-нибудь этому дерзкому смельчаку, герою Рио-Гранде, было невозможно; и вот Фанстон приступил к делу, начав с изучения своеобразного почерка Лакуны, повстанческого офицера, о котором шла речь в письме Агинальдо. У Фанстона имелось несколько писем Лакуны, перехваченных незадолго до того вместе с кодом филиппинцев. Научившись в совершенстве подделывать почерк Лакуны, Фанстон написал два письма Агинальдо,

якобы от имени этого филиппинца, — одно 24-го и другое 28 февраля, — в которых он сообщил, что, в соответствии с приказом, он (Лакуна) посылает вождю часть самых отборных своих войск. Не ограничившись этой ловкой подделкой, Фанстон заставил одного бывшего повстанца, а ныне своего подчиненного, написать под диктовку, как бы от собственного имени, письмо к Агинальдо, в котором сообщал, что по дороге отряд внезапным налетом захватил группу американцев и взял в плен пятерых, которых и ведет к Агинальдо, ввиду их особой важности. Это было сделано для того, чтобы объяснить наличие в отряде пяти американцев: генерала Фанстона, капитана Хазарда, капитана Ньютона, лейтенанта Хазарда и адъютанта генерала Фанстона — лейтенанта Китчела.

Ядро фанстонского отряда составили семьдесят восемь человек из племени макабебов, исконных врагов племени тегалогов. Эти смелые, воинственные туземцы охотно приняли участие в осуществлении намеченного плана. В отряд вошли также три тегалогов и один испанец. Макабебов одели в старые повстанческие мундиры, американцы же нарядились в поношенную солдатскую форму. Каждый получил винтовку и паек на трое суток. Храбрые искатели приключений отплыли на судне «Виксберг», с тем чтобы сойти на берег где-нибудь вблизи Паланана, где скрывался Агинальдо. Их высадили у Касиньяна, недалеко от тайной столицы повстанцев. Трех макабебов, свободно изъяснявшихся на языке тегалогов, послали в город с поручением сообщить туземцам, что они ведут к Агинальдо подкрепления, а также важных американских пленных, и потребовать у местных властей содействия и, в частности, проводников. Вождь повстанцев дал согласие, и скоро отряд, подкрепившись и продемонстрировав американских пленных, начал девяностомильный переход к Паланану, лежащему в прибрежном горном районе провинции Изабелла. По крутым подъемам и каменистым спускам, сквозь густые джунгли, вброд через горные речки и по узким тропинкам, с трудом ступая израненными ногами, брели измученные искатели приключений, пока не иссяк у них запас продоволь-

ствия и они не ослабели до такой степени, что не могли больше двигаться, хотя до убежища Агинальдо оставалось всего лишь восемь миль. Тогда к Агинальдо был направлен гонец — уведомить его о местонахождении отряда и *попросить продовольствия*. Вождь повстанцев не замедлил откликнуться: он прислал рису, а также письмо командиру отряда, в котором приказывал хорошо обращаться с пленными американцами, но оставить их за пределами города. Мог ли даже сам изобретательный Фанстон создать более удачные условия для выполнения своего плана! 23 марта отряд достиг Паланана. Агинальдо выслал навстречу одиннадцать своих солдат для конвоирования американских пленных, но Фанстон и его подручные сумели спрятаться в джунглях, и конвоиры прошли дальше, так как им сказали, что американцы оставлены где-то позади.

Фанстон тут же вернулся в отряд и приказал своим головорезам смело идти в город, прямо к штабу Агинальдо. Здесь их встретили выстроенные, как на параде, телохранители Агинальдо в синей военной форме и белых шляпах. Оратор, выступивший от имени прибывших, так хитро провел Агинальдо, что тот не заподозрил никакого подвоха. Тем временем макабебы под командованием испанца заняли выгодные позиции и ждали сигнала. Как только испанец крикнул им: «Макабебы, ваш черед!» — они стали в упор расстреливать охрану Агинальдо...

Американцы тоже приняли участие в схватке. Два человека из штаба Агинальдо были ранены, но скрылись, а казначей революционного правительства сдался. Остальные филиппинские офицеры бежали. Агинальдо с покорностью принял плен, сильно опасаясь, однако, мести макабебов. Но генерал Фанстон заверил его, что он может чувствовать себя в безопасности. Это успокоило Агинальдо, и он согласился разговаривать. Он был чрезвычайно удручен тем, что попал в плен, и заявил, что *ни при каких других обстоятельствах* его не взяли бы живым. Эти слова придают еще больше значения подвигу Фанстона: борьба с Агинальдо была трудной, отчаянной и требовала применения особых методов».

Некоторые обычаи войны гражданскому человеку не кажутся приятными, но нас приучали к ним столько веков, что мы теперь находим для них оправдание и принимаем без протеста даже такое, от чего на сердце скребут кошки. Все, что сделал Фанстон, кроме одной мелочи, делалось во многих войнах и получило санкцию истории. По обычаю войн, в интересах операции, вроде той, какая была затеяна Фанстоном, бригадному генералу дозволяется (если ему это самому не противно!) склонить гонца на предательство — с помощью подкупа или иным путем; снять с себя почетные знаки различия и выдавать себя за другого; лгать, совершать вероломные поступки, подделывать подписи, окружать себя людьми, чьи инстинкты и воспитание подготовили их для подобной деятельности; принимать любезные приветствия и убивать приветствующих, когда руки их еще хранят тепло дружеских пожатий.

По обычаю войн, все эти действия считаются невинными, ни одно из них не заслуживает порицания, все они вполне оправданы; ничего тут нет нового, все это совершалось и раньше, хоть и не бригадными генералами. Но одна деталь здесь действительно представляет собой нечто новое, одного не делали никакие народы — ни первобытные, ни цивилизованные, — ни в каких странах и ни в какую эпоху. Речь идет именно о той детали, которую имел в виду Агинальдо, когда сказал, что *«ни при каких других обстоятельствах»* его не взяли бы живым. Когда человек так ослабел от голода, что *«не может больше двигаться»*, он вправе умолять своего врага спасти его жизнь, но уж если он отведал поднесенной пищи, то эта пища становится для него священной, по закону всех времен и народов, и спасенный от голода *не имеет тогда права поднять руку на своего врага.*

Понадобился бригадный генерал волонтерских войск американской армии, чтоб опозорить традицию, которую уважали даже лишенные стыда и совести испанские монахи. *За это мы повесили его в чине.*

Наш президент, ничего не подозревая, протянул руку своему убийце в момент, когда тот выстрелил.

Весь мир был поражен этим гнусным делом, оно вызвало много толков и печальных размышлений, заставило людей краснеть и говорить, что это убийство запятнало и опозорило человечество. Тем не менее, каким скверным ни был тот человек, он все-таки не обращался к президенту с мольбой поддержать его тающие силы, необходимые ему для совершения предательства, он не поднял руку на благодетеля, только что спасшего ему жизнь.

14 апреля. Я уезжал на несколько недель в Вест-Индию. Теперь я снова приступаю к защите генерала Фанстона.

Мне сдается, что рассказ генерала Фанстона о том, как он взял в плен Агинальдо, нуждается в поправках. При всем моем почтении к генералу, я считаю, что в своих речах на званых обедах он расписывает собственный героизм слишком щедрыми красками (если я ошибаюсь, прошу меня поправить!). Он храбрый человек, даже его злейший враг с готовностью это подтвердит. Можно только пожалеть, что в данном случае храбрости вовсе не требовалось; никто не сомневается, что у Фанстона нашлось бы ее достаточно. Однако из его собственных реляций явствует, что ему угрожала лишь одна опасность — голодная смерть. Фанстона и его людей надежно прикрывали опозоренные военные мундиры — американские и филиппинские; по численности группа Фанстона значительно превосходила личную охрану Агинальдо¹, своими подлогами и вероломством Фанстон сумел усыпить подозрения, — его ждали, ему указывали дорогу; его маршрут пролегал по безлюдным местам, где отряду едва ли грозило вражеское нападение; Фанстон и его люди были отлично вооружены, и их задачей было захватить свою добычу врасплох, в тот момент, когда филиппинцы выйдут им навстречу с радушной улыбкой, с дружески протянутой рукой. Все, что им оставалось

¹ Как заявил Фанстон на банкете в клубе «Лотос», у него было восемьдесят девять человек, а в охране Агинальдо — сорок восемь. (Прим. автора.)

тогда, — это пристрелить любезных хозяев. Именно так они и поступили. Подобная плата за гостеприимство считается последним словом современной цивилизации и у многих вызывает восхищение.

«Оратор, выступивший от имени прибывших, так хитро провел Агинальдо, что тот не заподозрил никакого подвоха. Тем временем макабебы под командованием испанца заняли выгодные позиции и ждали сигнала. Как только испанец крикнул им: «Макабебы, ваш черед!» — они стали в упор расстреливать охрану Агинальдо».

(Уже цитированное место из книги Уайлдмена.)

В том, что своими подлогами и вероломством Фанстон действительно сумел усыпить подозрения филиппинцев и застигнуть их врасплох, легче всего убедиться из нижеследующего юмористического описания этого эпизода в одной из залихватских речей Фанстона (как раз по поводу этой речи Фанстон вообразил, будто президент желает видеть ее напечатанной в газетах. Но это только померещилось кому-то, — вероятно, репортеру).

Вот что рассказывает генерал:

«Макабебы дали залп по этим людям и двоих убили на месте. Остальные отступили, отстреливаясь на бегу; и я должен сказать, что они отступали так проворно и энергично, что бросили восемнадцать винтовок и тысячу патронов.

Сигизмондо побежал в дом, выхватил револьвер и предложил повстанческим офицерам сдаться. Все они вскинули руки вверх, за исключением Вильи, начальника штаба Агинальдо, — тот имел при себе новомодный «маузер», и ему захотелось испробовать эту штуку. Но не успел он вытащить свой маузер из кобуры, как сам получил две пули, — Сигизмондо был тоже неплохой стрелок.

Аламбра был ранен в лицо. Он выскочил из окна, — дом, между прочим, стоял у самой реки, — выскочил из окна и бросился прямо в воду с берега высотой

в двадцать пять футов. Он улизнул от нас, переплыл реку и скрылся, а через пять месяцев сам сдался в плен.

Вилья, с простреленным плечом, выпрыгнул из окна вслед за Аламброй и тоже кинулся в реку, но макабебы увидели это, побежали к берегу и выгудили его. Они подгоняли его пинками всю дорогу вверх на берег и спрашивали, как ему это нравится. (Смех в зале.)».

Хотя в ту минуту фанстонские головорезы безусловно не подвергались опасности, тем не менее был такой момент, когда опасность действительно возникла: им грозила смерть столь ужасная, что по сравнению с ней быстрая гибель от пули, топора или сабли, на виселице, в воде или огне может показаться милостью; столь ужасная, что ей неоспоримо принадлежит первое место среди самых страшных человеческих мук, — я говорю про смерть от голода. Агинальдо спас их от такого конца.

Изложив эти факты, переходим к вопросу: виноваты ли Фанстон? Я считаю, что нет. И поэтому, на мой взгляд, дело Фанстона непомерно раздули. Ведь не сам же Фанстон создал свою натуру. Он с ней родился! Она, то есть натура, подбирала ему идеалы, он тут ни при чем. Она подбирала ему общество и товарищей по своему вкусу и заставляла его водить компанию только с ними, а всех остальных отвергать. Противиться этому Фанстон не мог. Она восхищалась всем, что претило Джорджу Вашингтону, радушно принимая и пригревая на груди все то, что Вашингтон одним пинком вышвырнул бы за дверь, но только она всему виной, а вовсе не Фанстон. Его натуру всегда тянуло к моральному шлаку, как натуру Вашингтона — к моральному золоту, но и здесь тоже была виновата она, а не Фанстон! Если она и обладала нравственным оком, то это око не отличало черное от белого; но при чем здесь Фанстон, можно ли винить его за последствия? Она имела врожденную склонность к гнусному поведению, но было бы в высшей степени несправедливо порицать за это Фанстона, как неправильно ста-

вить генералу в вину, что его совесть испарилась сквозь поры его тела, когда он был еще маленьким, — удержать ее он не мог, да все равно совесть у него не выросла бы! Натура Фанстона могла сказать противнику: «Пожалей меня, я гибну от голода, я так ослабел, что не могу двигаться, дай мне поесть! Я — твой друг, твой брат-филиппинец, такой же патриот, как и ты, и так же борюсь за свободу нашей дорогой отчизны. Сжался — накорми меня и спаси, больше неоткуда ждать мне помощи!» И ее марионетка Фанстон смог подкрепиться полученной пищей и вслед за тем застрелить своего спасителя — застрелить в момент, когда тот протягивал ему руку для приветствия, как наш президент. И все же, если это было предательством и низостью, в этом виноват не Фанстон, а его натура. Она одарена превосходным чувством юмора, и публика на банкетах умирает со смеху, когда она рассказывает тот или иной комический эпизод. Стоит, например, перечитать дважды, а может быть, и несколько раз, эти строки:

«Сигизмондо побежал в дом, выхватил револьвер и предложил повстанческим офицерам сдаться. Все они вскинули руки вверх, за исключением Вильи, начальника штаба Агинальдо, — тот имел при себе новомодный «маузер», и ему захотелось испробовать эту штуку. Но не успел он вытащить свой маузер из кобуры, как сам получил две пули, — Сигизмондо был тоже неплохой стрелок.

Аламбра был ранен в лицо. Он выскочил из окна, — дом, между прочим, стоял у самой реки, — выскочил из окна и бросился прямо в воду с берега высотой в двадцать пять футов. Он улизнул от нас, переплыл реку и скрылся, а через пять месяцев сам сдался в плен.

Вилья, с простреленным плечом, выпрыгнул из окна вслед за Аламброй и тоже кинулся в реку, но макабебы увидели это, побежали к берегу и выудили его. Они подгоняли его пинками всю дорогу вверх на берег и спрашивали, как ему это нравится. (Смех в зале.)».

А ведь это же был раненый человек! Впрочем, все это говорит не Фанстон, а его натура. С молодым задором она наблюдала, как гибнут простодушные люди, откликнувшиеся на ее зов, когда она, теряя силы, молила о пище. Без сожаления она читала укор в их гаснущем взгляде; но будем справедливы — это все-таки была она, а не Фанстон! Она уполномочила действовать за себя генерала Фанстона, своего верного слугу от рождения; прикрывшись формой американского солдата и шествуя под сенью американского флага, она творила свое черное дело, показывая пример чудовищной неблагодарности и вероломства. И вот теперь она возвращается домой учить наших детей ПАТРИОТИЗМУ! Уж ей ли не знать, что это такое?!

Мне ясно, и, думается, это ясно всем: нельзя винить генерала Фанстона за то, что он делал и делает, за то, что думает и говорит.

Итак, Фанстон перед нами; он существует, и мы за него отвечаем. Встает вопрос, что нам с ним делать, как бороться с этой катастрофой? Мы знаем, как обстояло дело с Джорджем Вашингтоном. Он стал великим образцом для всех времен и для всего человечества, ибо имя его и дела его известны всему миру; они вызывали, вызывают и будут всегда вызывать у людей восторг и тягу к подражанию. В данном же случае человечеству надо поступить иначе: вывернуть преступную славу Фанстона с позолоченной стороны наизнанку и раскрыть истинную черную суть ее перед молодежью нашей страны. В противном случае генерал тоже станет для молодого поколения образцом, кумиром, и — к нашей величайшей скорби — уродливый патриотизм фанстонского толка начнет соревноваться с патриотизмом Вашингтона. Собственно говоря, такое соревнование уже началось. Этому трудно поверить, но ведь факт, что находятся учителя и директора школ, которые преподносят Фанстона детям как образец героя и патрпота.

Если этот фанстонский «бум» не прекратится, то он скажется и на армии. Впрочем, и это уже наблюдается. Во всех армиях есть неумные, морально неустойчивые офицеры, которые всегда готовы усердно

копировать любые методы — и достойные и недостойные, — лишь бы добиться славы. Людям такого рода достаточно услышать, что Фанстон приобрел известность, поразив весь мир новой чудовищной выдумкой, и они рады следовать его примеру, а при первом удобном случае попытаются даже перещеголять его. Фанстон имеет уже немало подражателей: история Соединенных Штатов обогатилась множеством отвратительных фактов. Вспомним, например, о страшных пытках водой, которым подвергали филиппинцев, чтобы вынудить у них признания, — только какие, правдивые или ложные? Кто знает? Под пыткой человек может сказать все, что от него потребуют, — и правду и ложь; показания его не представляют никакой ценности. Однако на основе именно таких показаний действовали американские офицеры... впрочем, вы сами знаете о всех тех зверствах, которые наше военное министерство скрывало от нас год или два, и о прогремевшем на весь мир приказе генерала Смита проводить *массовую резню* на Филиппинах; содержание приказа было передано печатью на основе показаний майора Уоллера:

«Жгите и убивайте, теперь не время брать в плен. Чем больше вы убьете и сожжете, тем лучше. Убивайте всех, кто старше десятилетнего возраста. Превратите Самар в голую пустыню».

Вот видите, что показал пример Фанстона за такой короткий срок — даже до того, как он показал этот пример. Он продвинул нашу Цивилизацию далеко вперед, по меньшей мере настолько, насколько Европа продвинула ее в Китае. Несомненно также и то, что пример Фанстона позволил Америке (да и Англии) копировать ужасы усмирительной деятельности Вейлера. А ведь раньше и Англия и Америка с ханжеской ухмылкой, задрав к небу свои святошеские носы, называли Вейлера «чудовищем». А страшное землетрясение в Кракатау, уничтожившее остров с двумя миллионами жителей... впрочем, пример Фанстона тут ни при чем: я вспомнил, что тогда его еще на свете не было.

И все-таки я считаю виновным во всем только натуру Фанстона, но не его самого. Скажу в заключение, что я защищал его по мере сил, и не так уж это было трудно. Думаю, что я рассеял все предубеждения против Фанстона и окончательно его реабилитировал. Но вот натуру его я никак не мог обелить — это не в моей власти. И не во власти Фанстона или кого бы то ни было. Как я доказал, нельзя винить Фанстона за его отвратительный поступок; при известном старании я мог бы также доказать, что не его вина, если Америка продолжает держать в неволе человека, незаконным путем захваченного в плен Фанстоном, человека, на которого у нас не больше прав, чем у вора на украденные деньги. Он должен получить свободу. Будь он монархом какой-нибудь большой державы или экспрезидентом Соединенных Штатов, а не бывшим президентом раздавленной и уничтоженной маленькой республики, Цивилизация (с большой буквы!) не прекращала бы критики и шумного протеста, пока он не получил бы свободы.

P. S. 16 апреля. Сегодня утром президент выступил с речью, и тон этой речи не оставляет никаких сомнений. Это речь президента, произнесенная не от имени какой-то партии, а от имени народа, и всем нам она понравилась — и предателям, и прочим гражданам. Думаю, что я имею право выступать от имени остальных предателей, ибо уверен, что они разделяют мои чувства. Объясню: кличку предателей мы получили от фанстонских патрпотов бесплатно. Они всегда делают нам такие комплименты. Ох, и любят же эти молодчики льстить!

Эксперты в области биологии, по всей вероятности, примут с известной долей скептицизма сообщение д-ра Жака Лёба из Калифорнийского университета о создании живого вещества химическим путем. ...Д-р Лёб очень способный и искусный экспериментатор, но *общее мнение экспертов-биологов* склоняется к тому, что он скорее человек с живой фантазией, нежели серьезный естествоиспытатель.

(«Нью-Йорк таймс», 2 марта)

Хотел бы я снова вернуться к моей молодости, о которой все это мне напоминает. Хоть я кажусь сейчас старым-престарым, но когда-то и я был молод. Прекрасно помню — словно прошло всего каких-нибудь тридцать или сорок лет, — сколь незыблемым представлялось мне тогда это парализующее всякую мысль общее мнение экспертов-белоручек об экспертах иного склада — о тех, кто терпеливо и не жалея сил проби-вает себе путь к тайникам природы и сообщает миру о своих ценных открытиях. Общее Мнение Экспертов было для меня в те времена решающим.

Теперь, однако, дело обстоит иначе, совсем иначе. Ибо с годами я убедился, что эксперты обычно оцени-вают новое, следуя не велениям разума, а велениям

чувств. Вы и сами знаете, что я прав. А разве эти господа руководствуются добрыми чувствами? Вы же знаете, что нет. Они всё подвергают оценке лишь в свете своих предубеждений, — кто станет это отрицать?

И результаты получаются любопытные! Настолько любопытные, что диву даешься, как это их лавочка все еще держится! Можете ли вы назвать хоть один случай, когда Общее Мнение Экспертов победило? Загляните в прошлое, и вы обнаружите с пользой для себя один неписанный афоризм, сохранивший свое значение и поныне: «Что бы Общее Мнение Экспертов ни «зарезало» (разговорное, в смысле «забаллотировало»), делай ставку на это и не бойся проиграть!»

Давным-давно, еще в древней Греции, была изобретена примитивная паровая машина — и эксперты подняли ее на смех. Двести пятьдесят лет тому назад появился паровой двигатель маркиза Вустера — и эксперты подняли его на смех. Пароход Фултона начала прошлого века — его подняли на смех эксперты Франции, включая самого Наполеона. А Пристли с его кислородом? Общее мнение экспертов издевалось над ним, глумилось, забросало его камнями, подвергнуло остракизму. Но пока эксперты устанавливали при помощи подсчетов и прочего, что пароход не может переплыть Атлантический океан, пароход взял да переплыл. Все медицинские эксперты Англии потешались над Дженнером и его противооспенными прививками. Все медицинские эксперты Франции потешались над стетоскопом. Все медицинские эксперты Германии потешались над молодым врачом (как его звали? Это имя теперь всеми забыто, — всеми, кроме врачей, почтительно хранящих о нем память), который открыл и ликвидировал причину страшной болезни — родильной горячки; над ним потешались, его оскорбляли, преследовали, довели до отчаяния и убили. Электрический телеграф, телеграфный кабель через Атлантический океан, телефон — все это «игрушки», забавы, не имеющие никакой практической ценности. — таков был приговор экспертов. Геология, палеонтология, эволюция — долгой гх! — изрекли эксперты-богословы, включая всех служителей христианской церкви, которым

помогал граф Аргайлский и подпевали (на первых порах) ученые других специальностей. А вспомните Пастера и почетный список его великих дел на пользу человечества! Разъяренные эксперты по вопросам медицины и химии долгое время предавали анафеме каждое новое открытие Пастера, ни разу, впрочем, не познакомившись с его работами, как Пастер ни умолял их хоть мельком взглянуть на то, что он делает, прежде чем предать его вечному огню. Своими преследованиями и клеветой они укоротили жизнь Пастера и тем самым лишили человечество дальнейших неоценимых услуг великого ученого, который — в определенной области и в определенных границах — принес людям больше пользы, чем кто-либо другой. Потребовалось десять тысяч лет, чтобы появился такой ученый, и, пожалуй, господам экспертам потребуется еще десять тысяч лет, чтобы создать и погубить нового Пастера. Священники давно славятся тем, что упрямо, с бычьей тупостью ненавидят все новое, но им, конечно, далеко до врачей! Да, пожалуй, и до некоторых других экспертов-белоручек, которые создают Общее Мнение и губят все новое, лишь только оно выходит из рук исследователей, тружеников, вдохновенных мечтателей, Пастеров, мечущих бисер перед экспертами.

Как тут не волноваться?! У меня мгновенно подскакивает температура и пульс начинает стучать как бешеный. Я закипаю от ярости, стоит мне только в отдалении слышать улюлюканье экспертов. Я сам не раз выступал в роли такого эксперта, и уж я-то знаю это дело и все его превратности! Я специалист-наборщик с большим опытом, стреляный воробей; девятнадцать лет тому назад я изрек окончательный и бесповоротный приговор линотипу. Я заявил, что линотип никогда себя не оправдает и никого не прокормит, — а сегодня заводы, изготовляющие линотипы, занимают в Англии площадь в четырнадцать акров! Тридцать пять лет тому назад я был специалистом-золотоискателем. Вблизи моего участка находились залежи руды; считали, что в каждой ее тонне содержится на шестьсот долларов золота, но каждая крупица драгоценного металла была глубоко замурована

в твердой, неподатливой скорлупе пустой породы. Выступая в качестве эксперта по этому вопросу, я безапелляционно заявил, что человек никогда не додумается, как извлечь из этой руды хотя бы на два доллара золота, — я не предусмотрел обработки руды цианистым калием. В общем, с тех пор как я стал взрослым человеком, отвечающим за свои поступки, я частенько фигурировал в роли эксперта, но не припомню ни одного случая, когда я оказался бы прав.

Мой горький опыт научил меня относиться с недоверием к мнению экспертов. Теперь, когда я с ними сталкиваюсь, меня пробирает дрожь и я весь покрываюсь гусиной кожей. Я спешу скрыться в темный уголок, говоря себе: «Пусть на вид все в порядке, а держу пари на десять долларов, что где-то тут кроется каверза вроде цианистого калия!»

А теперь давайте поговорим о «создании живого вещества химическим путем». Читатель, мой совет: не пытайся «зарезать» эту идею! Я не говорю: делай на нее ставку, а только прошу: не пытайся ее «зарезать»! Ты видишь, Общее Мнение Экспертов ополчилось на нее. Так вот, если ты не в силах обуздать свои страсти, если чувствуешь, что твой моральный долг что-то убить, то направь удар против Общего Мнения Экспертов. Это самое верное дело, доказательством тому служит весь ход истории! Если ты молод, то, конечно, не сможешь удержаться и должен будешь примкнуть к той или другой стороне. Что же касается меня, то я уже стар и подожду новых порядков.

P. S. В том же номере газеты «Нью-Йорк таймс» доктор Функ пишет: «Недостаток веры может подвести человека не менее жестоко, чем чрезмерная вера; ведь именно упрямый скептик Фома оказался единственным из апостолов, кто был обманут!» Разве это правильный, разумный подход к вопросу? Может быть, мне изменяет память, но я всегда полагал, что Фома был единственным из апостолов, который произвел исследование и установил точный факт, в то время как остальные апостолы, подобно всяким экспертам, принимали или отвергали этот факт на веру. Если это так, то Фома неверный устранил сомнения, которые в про-

тивном случае по сей день смущали бы и тревожили человечество, в том числе и доктора Функа. Мне кажется, что упрямый (или здравомыслящий) Фома не заслужил, чтоб его так чернили. Почему доктор Функ сам *исследует* спиритизм, а в Фому бросает камень? Почему он не принимает спиритизм на веру? Неужто на Лафайет-плейс вошло в моду отсутствие логики?

Старик, боящийся Общего Мнения Экспертов.

Привожу выдержку из дневника Адама: «...И тогда состоялось совещание экспертов — самое первое. Они заседали шесть дней и шесть ночей, после чего огласили свое заключение: «Создать мир из ничего невозможно; еще такие мелочи, как солнце, луну и звезды, — пожалуй, но для того, чтобы создавать светила в широких масштабах, потребуются бесчисленные годы». Изрекли это эксперты и вышли из-за стола, а затем посмотрели в окошко. И что же! Перед ними в безграничном пространстве кружился и сверкал весь грандиозный фейерверк мироздания!

Ну и кислые же у них сделались физиономии!»

Расписался за Адама *Марк Твен.*

Дервиш. Я готов твердить снова и снова, без конца твердить, что доброе дело...

Дерзкий незнакомец. Замолчи, близорукый человек! Добрых дел не бывает...

Дервиш. О наглый богохульник!

Дерзкий незнакомец. И злых дел тоже не бывает. Бывают только добрые намерения и злые намерения, вот и все. Половина добрых намерений в итоге приносит зло, половина дурных намерений приносит добро. Ни один человек не властен над результатами и не в состоянии предугадать их.

Дервиш. Иными словами...

Дерзкий незнакомец. Иными словами, хвали людей за их добрые намерения, но не ругай за дурные результаты; ругай людей за дурные намерения, но не хвали их за хорошие результаты!

Дервиш. О безумец! Значит, ты хочешь сказать...

Дерзкий незнакомец. Вот тебе закон: *каждое* намерение — доброе или злое — порождает два начала: одно здоровое, другое губительное. Этот закон не изменился с сотворения мира и не изменится до его последнего дня.

Дервиш. Значит, если б я в гневе поразил тебя насмерть...

Дерзкий незнакомец. Или убил бы меня тем лекарством, которым ты надеялся вылечить меня и восстановить мои силы...

Дервиш. Хорошо. Продолжай.

Дерзкий незнакомец. ...то в обоих случаях результат был бы одинаков. Вечные душевные муки для тебя — дурной результат; а для меня отдых, покой, конец страданиям — хороший результат. Разбились бы три преданных мне сердца, а три моих бедных родственника получили бы богатое наследство и возликовали. Тебя посадили бы в тюрьму, и твои друзья горевали бы, но твой тихоня-помощник сел бы на твое место, зажил бы твоей сытой, беспечной жизнью и был бы очень доволен. И разве только это добро и только это зло явилось бы результатом доброго или злого намерения, послужившего причиной моей смерти? Глупец, не видящий дальше своего носа! Хорошие и дурные результаты любого поступка, даже самого незначительного, живут и множатся на протяжении веков, постепенно опутывая земной шар, влияя на судьбу всех грядущих поколений до скончания века, до последнего катаклизма.

Дервиш. Значит, раз не бывает вовсе добрых дел...

Дерзкий незнакомец. Я же тебе толкую: существуют лишь *намерения* — добрые и злые! *Результаты* предугадать невозможно. В итоге непременно получается и дурное и хорошее. Вот слушай! Это из истории Дальнего Запада Соединенных Штатов.

СЛЫШНЫ ГОЛОСА ИЗ ШТАТА ЮТА

I

Белый вождь (*обращаясь к белым людям*). Эта огромная равнина в прошлом была пустыней. С божьей помощью и собственным усердием мы запрудили реку, заставили ее воды работать на нас, превратили пустыню в цветущие поля, принесли достаток и счастье тысяче семейств, которые прежде знали лишь голод и нищету. Как прекрасна, как благодетельна Цивилизация!

Индийский вождь (обращаясь к своему племени). Эта огромная равнина, орошать которую наши отцы научились у испанских священников, была сплошным цветущим полем и приносила нашим людям достаток и счастье. Но белокожий американец запрудил нашу реку, отнял у нас воду и отвел ее на свои поля, а наши земли превратил в пустыню. Вот почему мы умираем с голоду.

Дервиш. Понимаю. Видимо, добрые намерения действительно породили здесь добро и зло в равной мере. Но все же единичный случай не подтверждает правила. Приведи еще примеры.

Дерзкий незнакомец. Прости, пожалуйста, любые факты подтверждают это правило! Колумб открыл Новый Свет и дал трудолюбивым безземельным беднякам Европы возможность обзавестись фермами, зажить в довольстве и счастье...

Дервиш. Хороший результат!

Дерзкий незнакомец. Но переселенцы принялись травить и преследовать исконных хозяев земли; они грабили их, превращали в нищих, стогнали с насиженных мест, истребляли целыми племенами.

Дервиш. Дурной результат, не спорю.

Дерзкий незнакомец. Французская революция разорила пять миллионов семейств, залила страну кровью, из богатой сделала ее бедной.

Дервиш. Дурной результат!

Дерзкий незнакомец. Но каждой крупницей великой, драгоценной свободы, которой пользуются сегодня народы континентальной Европы, они обязаны этой революции.

Дервиш. Признаю — результат оказался хорошим.

Дерзкий незнакомец. Вдохновленные благими намерениями поднять с помощью американского оружия филиппинский народ до нашего морального уровня, мы поскользнулись и пали куда ниже уровня филиппинцев.

Дервиш. Весьма дурной результат!

Дерзкий незнакомец. Но зато Соединенные Штаты превратились в мировую державу.

Дервиш. Позволь мне это еще обдумать. Пока продолжай.

Дерзкий незнакомец. Триста тысяч солдат и восемьсот миллионов долларов помогли Англии осуществить ее добрые намерения и приобщить к культуре упрямых буров. Англия сделала их чище, лучше и счастливее, чем они могли когда-нибудь стать собственными усилиями.

Дервиш. Уж это несомненно хороший результат!

Дерзкий незнакомец. Да, но из всего бурского народа осталось в живых одиннадцать человек.

Дервиш. Выходит дело, результат плохой. Но это я тоже должен обдумать, прежде чем прийти к окончательному выводу.

Дерзкий незнакомец. Вот тебе последний пример. С наилучшими намерениями христианские миссионеры уже восемьдесят лет трудятся в Китае.

Дервиш. И это дало тот дурной результат, что...

Дерзкий незнакомец. Что почти сто тысяч китайцев приобщились к нашей Цивилизации.

Дервиш. А хороший результат сказался в том...

Дерзкий незнакомец. ...в том, что благодаря милости божьей четыреста миллионов китайцев убереглись от этой участи.

От редакции журнала «Харперс уикли»: «Мы имеем основания полагать, что автором публикуемого ниже письма за подписью Сатаны на самом деле является Марк Твен».

Редактору журнала «Харперс уикли».

Дорогой сэр и родственник!

Давайте раз и навсегда прекратим этот пустой разговор. Американское Бюро заграничных христианских миссий ежегодно принимает пожертвования от меня, чего же ради ему отказываться от пожертвований мистера Рокфеллера? Всегда, во все века, три четверти даяний на благотворительные цели составляли «совестные деньги», в чем легко убедиться, обратившись к моим счетным книгам. Это определение можно с успехом применить и к дару мистера Рокфеллера. Вся лавочка Американского Бюро финансируется главным образом из могил. Посмертные дары, если угодно. «Совестные деньги» — признание старых преступлений и сознательное совершение новых: ибо когда покойник занимается благотворительностью, он тем самым грабит своих наследников. Так неужели миссионеры отвергают дары только потому, что жертвователи повинны в старых или новых преступлениях, а чаще всего — и в тех и других?

С вашего разрешения, я продолжу. Обвинение, которое наиболее упорно, злобно и безжалостно выдвигают против мистера Рокфеллера, заключается в том, что его пожертвования навеки, несмываемо запятнаны клятвопреступлением, доказанным разными судебными инстанциями. В моих владениях такое обвинение вызывает у всех улыбку! Ведь в вашем гигантском городе не найдется ни одного богатого человека, который не совершал бы клятвопреступлений каждый год, когда наступает срок платить налоги. Все они с головы до ног покрыты в десять слоев ложью, закованы, так сказать, в прочную броню лжи. Если найдется хоть один богач, неповинный в этом, то я охотно куплю его для своего музея редкостей и уплачу за него, как за динозавра. Вы скажете, что усматриваете в действиях этих богачей не нарушение закона, а лишь ежегодные попытки обойти закон? Что ж, если вам это приятно, можете тешиться тонкостями терминологии, но только до поры до времени! А вот когда вы перекочуете в мои владения, тогда я покажу вам нечто крайне любопытное: весь ад битком набит джентльменами, которые пытались обойти закон! Какому-нибудь откровенному правонарушителю нет-нет и удастся проскользнуть в рай, но господа, действующие в обход закона, — эти все достаются мне.

Однако вернемся к нашим баранам. Напомню вам, что мои миллионеры-мошенники весьма часто жертвуют деньги в пользу Американского Бюро заграничных христианских миссий, а ведь это деньги, украденные у государства, причитавшиеся ему в уплату налогов, — то есть деньги греховные, дьявольские, мои. Значит и выходит, что это — мой дар; иными словами, мое заявление правильно: раз Бюро заграничных христианских миссий каждый день принимает мои пожертвования, чего ради ему отвергать пожертвования мистера Рокфеллера?! Ведь Рокфеллер — что бы там ни говорили разные суды — ничуть не хуже, чем я!

Сатана.

Утром, после ванны, до того как начать одеваться, царь имеет привычку проводить час в одиночестве, посвящая его раздумью.

(Корреспонденция в лондонской «Таймс»)

Царь (*разглядывая себя в трюмо*). Голый, что я собой представляю? Тощий, худосочный, кривоногий, карикатура на образ и подобие божие! Посмотрите, голова как у восковой куклы, выражения на лице не больше, чем у дыни, уши торчат, костлявые локти, впалая грудь, ноги словно щепки, а ступни — точь-в-точь рентгеновский снимок: суставы, да шишки, да веточки костей! Ничего царственного, величественного, внушительного, ничего, что могло бы возбуждать восторг и преклонение. Неужели это мне поклоняются, передо мною падают ниц сто сорок миллионов русских? Разумеется, нет. Немыслимо было бы поклоняться такому пугалу. Но тогда, кому же или чему они поклоняются? В глубине души я это прекрасно знаю: они поклоняются моему платью. Без него я, как и всякий голый человек, не имел бы ровно никакой власти. Никто не отличил бы меня от священника, парикмахера или просто фертика. Итак, кто же, собственно, император всероссийский? Мое платье. Оно, только оно.

По справедливому замечанию Тейфельсдрека, чем был бы человек — любой человек — без платья? Если хорошенько поразмыслить, то станет ясно: без платья человек — ничто, платье не только красит человека, платье — это и есть человек; без него он нуль, ничтожество, пустое место.

А титулы? Эти украшения тоже ведь часть одежды. Вместе с парчой и бархатом они прикрывают убожество того, кто их носит, сообщают ему важность, величие, когда на самом деле ничего замечательного в нем нет. Они могут заставить целую нацию колено-преклоненно чтить императора, который без платья и титулов ничем не отличался бы от сапожника и, попав в толпу, немедленно затерялся бы среди простолюдинов; императора, который, появившись он голым в мире голых, ничем не привлек бы к себе внимания, не удостоился бы ни одного почтительного слова; на улице, в давке, его затолкали бы, как всякого безвестного прохожего, или еще того лучше: предложили бы ему за копейку донести кому-нибудь саквояж. А с помощью этих искусственных средств — платья и титулов — он, как-никак, император; подданные чтут его, точно божество, он же, не чувствуя никакой узды, по собственному произволу ссылает их, преследует, травит и истребляет, как истреблял бы крыс, если бы не унаследовал трона по капризу судьбы, а занимался бы иной профессией, куда более соответствующей его способностям. Да, великая сила заложена в императорской одежде и в титулах! Они повергают обывателя в благоговейный трепет, хотя ему ли не знать, что каждая династия знаменует собой узурпацию, незаконный захват власти при поддержке людей, не имеющих ни малейшего права этим распоряжаться. Ведь монархов всегда выбирала и возводила на престол аристократия; народ никогда ни одного монарха не выбрал.

Без платья нет власти. Власть платья держит людей в повиновении. Разденьте догола всех начальников, и ни одним государством нельзя будет управлять. Голые чиновники — где уж им властвовать: по виду, как и по сути, они уподобятся самым заурядным

и ничем не примечательным людям. Полицейский в штатском — это просто человек, но когда на нем форменный мундир, он стоит десятка. Платья и титулы — самое могущественное средство воздействия, сильнее чем ничего на свете. Они вселяют в человека бездумное и безоговорочное уважение к судье, к генералу, адмиралу, епископу, послу, к ветреному графу или идиоту-герцогу, к султану, королю, императору. Ни один титул, даже самый высокий, не производит впечатления без помощи платья. У дикарей, которые ходят голыми, король обычно носит в качестве священного атрибута королевской власти какую-нибудь тряпку или побрякушку, которые никому другому носить не разрешается. Как знак своей монаршей власти король великого африканского племени фанг носит на плече клочок леопардовой шкуры, в остальном он совершенно голый. Без этого куса леопардовой шкуры, назначение которого — повергать подданных в страх и трепет, ему нипочем бы не удержаться в должности.

(После паузы.) Что за странное, необъяснимое создание человек! Миллионы русских на протяжении столетий покорно разрешали нашей семье грабить их, оскорблять, попираť их права и жили, мучились и умирали единственно для того, чтобы обеспечить довольство нашей семьи! Это не люди, а ломовые лошади, хотя они носят одежду и ходят в церковь. Лошадь, у которой силы во сто раз больше, чем у человека, позволяет ему бить себя, погонять, морить голодом, а миллионы русских позволяют малой горстке солдат держать их в рабстве, хотя эти солдаты — их же сыновья и братья!

Если вдуматься, так вот что еще непонятно: за границей к царю и самодержавию подходят с теми же моральными мерками, какие приняты в цивилизованных странах. Поскольку там не полагается свергать тирана иначе как законным путем, кое-кто вообразил, будто этот порядок применим и к России; а в России вообще нет закона, есть лишь царская воля. Законы должны ограничивать — это их единственная функция. В цивилизованных странах они ограничивают всех

граждан в равной степени, и это правильно и справедливо, в моей же державе если и существуют законы, то на нашу семью они не распространяются. Мы делаем, что хотим. Веками делали, что хотели. Преступление для нас привычное ремесло, убийство — привычное занятие, кровь, кровь народа, — привычный напиток. Миллионы убийств лежат на нашей совести. А богобоязненные моралисты утверждают, что убивать нас — грех. Я и мои дядюшки — это семейство кобр, поставленное над ста сорока миллионами кроликов, мы всю жизнь терзаем их, и мучаем, и жиреем за их счет, однако же моралисты утверждают, что уничтожать нас — не обязанность, а преступление.

Не мне бы распространяться на эту тему, но ведь человек, посвященный во все тайны вроде меня, понимает, что это наивно до смешного и по существу нелогично. Наша семья для закона недосягаема: ни один закон нас не касается, нас не ограничивает, не дает народу защиты от нас. Отсюда вывод: мы вне закона. А ведь в того, кто вне закона, любой человек имеет право всадить пулю! Боже мой, что стало бы с нашим семейством, не будь на свете моралиста?! Он постоянно был нашей опорой, нашим заступником, нашим другом, ныне же он наш *единственный* друг. Как только начинаются злоеющие разговоры об убийстве, он тут как тут со своей внушительной сентенцией: «Воздержитесь! Насилие никогда еще не приносило ценных политических результатов!» И этим он нас спасает. Я допускаю, что он и сам в это верит. Но верит, скорее всего, потому, что у него нет школьного учебника всемирной истории, который доказал бы ему, что его сентенция никакими фактами не подтверждается. Без насилия никогда не была свергнута ни одна тирания, и все троны воздвигнуты путем насилия; путем насилия мои предки укрепились на троне; с помощью убийств, предательства, клятвопреступлений, пыток, тюрем и каторги они охраняли этот трон в продолжение четырех столетий, и такими же средствами я сам удерживаю его сегодня. Любой из Романовых, прошедший выучку и имеющий за плечами некоторый опыт, может так перефразировать сентенцию моралиста: «Насилие,

и только насилие, приносит ценные политические результаты». Моралисту ясно, что ныне, впервые в истории, мой трон действительно в опасности: нация пробуждается от рабской летаргии, длившейся с незапамятных времен. Но ему невдомек, что причиной тому послужили четыре акта насилия: уничтожение мною финляндской конституции, убийство Бобрикова и убийство Плеве революционерами и массовый расстрел невинных людей, учиненный мною несколько дней назад. А вот кровь, которая течет в моих жилах, ученая, догадливая кровь, умудренная мрачным наследственным опытом, кровь преемственно бдительная, кровь, которая недаром четыреста лет течет в жилах профессиональных убийц, — *эта* кровь учуяла, поняла! Свершившиеся четыре события так всколыхнули тинистую заводь национальной души, как не могли бы ее всколыхнуть никакие увещевания; ненависть и надежда ожили в этой давно зачахшей душе, и теперь уже они медленно, но верно закрадутся в каждое сердце и полностью овладеют им. Со временем они проникнут даже в сердца *солдат*, — и это будет роковой день, день нашей гибели!.. И постепенно это даст результаты!.. Плохо, очень плохо понимает кабинетный моралист, как грандиозно моральное воздействие расправ и убийств!.. Да, теперь уже не миновать беды! Нация корчится в родовых муках, рождается великан — ПАТРИОТИЗМ! Будем говорить начистоту и резко: патриотизм *истинный*, неподдельный, то есть верность не династии и фикации, а верность народу!

...В России двадцать пять миллионов семейств. На руках у каждой матери — младенец-мальчик. Если бы все эти двадцать пять миллионов матерей были патриотками, они изо дня в день учили бы своих сыновей: «Запомни одну истину, храни ее в сердце, живи ею и, если потребуется, умри за нее: наш патриотизм — устарелый, обветшалый, средневековый; современный же патриотизм, истинный патриотизм, единственно разумный патриотизм — *это верность народу неизменно и верность правительству, если оно того заслуживает*». Когда вырастут эти двадцать пять миллионов сознательных патриотов, моему преемнику при-

дется очень и очень подумать, прежде чем он решится расстрелять тысячу несчастных безоружных манифестантов, смиренно взывающих к его доброте и справедливости, как сделал это я на днях.

(Задумчивая пауза.) Да, на меня, видимо, подействовали эти неприятнейшие газетные вырезки, которые я нашел у себя под подушкой. Прочитаю-ка я их еще разок и поразмыслю над ними... *(Читает.)*

ИЗБИЕНИЕ ПОЛЬСКИХ ЖЕНЩИН

Жестокое обращение с женами запасных. Одна женщина убита. (Спец. телегр. «Нью-Йорк таймс».)

Берлин, 27 ноября

Взбешенные тем, что польские солдаты не пожелали оставить своих жен и детей, русские власти в городе Кутно на польской границе проявили невероятную жестокость.

Одна женщина забита до смерти, многие ранены. 50 человек брошено в тюрьму. Некоторых заключенных подвергали пыткам до тех пор, пока они не потеряли сознания.

Подробности расправы неизвестны, но имеются сведения, что казаки отрывали запасных от их жен и детей, а потом избивали нагайками женщин, выбежавших на улицу вслед за мужьями.

Если не удавалось найти солдата, то на улицу за волосы вытаскивали его жену и били ее. Как сообщают, главный представитель власти в этом районе и командир полка видели все происходящее.

ЦАРЬ — ПОМАЗАННИК БОЖИЙ

Перед его посещением Новгорода люди провели ночь в посте и молитве. («Таймс», Лондон; «Таймс», Нью-Йорк.)
27 июля 1904 г.

Корреспонденты лондонской «Таймс» в России приводят нижеследующее сообщение «Петербургер цайтунг» о недавнем посещении Новгорода царем, в качестве иллюстрации верноподданнических чувств, которые русские считают необходимым демонстрировать своему царю.

«Глубоко волнующим зрелищем было благословение воинства, набожно опустившегося на колени перед Его Величеством. Его Величество поднял над головой икону и благословил воинство от своего имени и от имени императрицы.

Тысячи людей рыдали от переполнявшего их души восторга. Воспитанницы женских школ разбрасывали розы по пути следования монарха.

Люди теснились вокруг экипажа, стремясь навеки запечатлеть в памяти обожаемые черты помазанника божия.

Многие старики провели ночь перед этим в посте и молитве, дабы быть достойными

Зверскому избиению подверглась девушка, помогавшая распространять социалистические листовки.

с чистой и незапятнанной душой взглянуть на царский лик.

Народ, удостоившийся лицезрения своего царя, продолжает ликовать».

Царь (*взволнованно*). Какой позор! Какая неприятность! И до чего нелепо! Подумать, что это я сотворил столько жестокостей... Тут уж не спрячешься от личной ответственности — сам виноват! А ведь это меня встречали как божество, мне они поклонялись! (*Смотрится в зеркало.*) Мне, такому чучелу, такой морковке! Одной рукой я засекал до смерти ни в чем не повинных женщин и пытал заключенных, а другой — поднимал к небесам свой фетиш, призывая небесного коллегу ниспослать благословение на покорных мне тварей, которым я и мои предки, с его святого одобрения, уже четыре долгих века доставляем все муки ада.

Ну и ну! Подумать только, что это чучело в зеркале, эту морковку, огромная нация, несметная масса людей, чтит как божество, и никто не смеется! А чучело-то заодно еще и опытный, профессиональный дьявол, однако никто не удивляется, слова не молвит по поводу такой несообразности! Неужто человечество совсем ничего не стоит! Неужто его выдумали и смастерили просто так, от нечего делать? И неужто оно само себя не уважает? Боюсь, что я тоже теряю к нему уважение, а заодно и к себе... Одно спасение — *платье!* Платье, которое дает почет, поднимает дух, самый щедрый дар небес человеку, его единственная защита от саморазоблачения! Платье, обманывающее нас, сообщающее нам благородство, которого у нас нет! О, сколь милосердно платье, сколь могущественно, сколь благотельно и драгоценно! Мое, например, может превратить ничтожное создание в колосса, в титана. Оно может заставить весь мир уважать меня, оно может вернуть мне самоуважение, которое я теряю. Пойду-ка я падену свое платье.

МОНОЛОГ КОРОЛЯ ЛЕОПОЛЬДА В ЗАЩИТУ ЕГО ВЛАДЫЧЕСТВА В КОНГО

Король (швыряет на пол брошюры, которые читал. Возбужденно ерошит пышную бороду, стучит по столу кулаком, время от времени выкрикивает нецензурные слова; в промежутках между возгласами опускает голову и, целуя крест Людовика XI, висящий у него на груди, покаянно бормочет молитвы; затем встает, весь потный, красный, и, жестикулируя, принимается шагать взад и вперед по комнате). Ох, попадись они мне! (Суетливо целует крест, бормочет.) Сколько миллионов я потратил за эти двадцать лет, чтобы заткнуть рот борзописцам обоих полушарий, а правда нет-нет да и просачивается наружу. Сколько миллионов я потратил на религию и искусство, а что получил? Ничего. Никакой благодарности. Газеты умышленно замалчивают мои щедроты. В газетах — ничего, кроме клеветы, оголтелой клеветы, одной только клеветы. Даже если все и правда — все равно это клевета, раз направлено против короля!

Все до капли выбалтывают эти злодеи: как я обивал пороги Великих Держав, со слезами твердя стихи из евангелия, источая благочестие из каждой поры своего тела, и упрашивал их доверить мне богатое обширное Свободное государство Конго с его огромным населением, дабы я мог искоренить там рабство, и положить конец работорговле, и вывести этот народ —

все двадцать пять миллионов кротких, безобидных чернокожих — из тьмы на свет, на свет нашего благословенного Спасителя, на свет, излучаемый его великим учением, на свет, озаривший нашу замечательную цивилизацию, и осушить их слезы, и влить в наболевшую душу радость и чувство благодарности, внушив им, что они уже не отверженные, не угнетенные, а наши братья во Христе; и как Америка, вкупе с тринадцатью великими европейскими державами, прослезилась и вняла моим мольбам; как представители Держав собрались на Берлинскую конференцию и назначили меня главным распорядителем и управляющим государства Конго, наделив меня властью, но указав и ее границы: были детально оговорены нравственные и имущественные права местного населения, от меня потребовали запретить торговлю виски и оружием, учредить суды, обеспечить свободную торговлю для иностранных купцов и коммерсантов, а также свободную деятельность миссионеров любой религии и вероисповедания, с гарантией им личной безопасности. Эти злодеи выбалтывают, как тщательно я подготовил свою систему управления и подобрал себе сатрапов из числа своих «друзжков» бельгийской национальности, и водрузил там свой флаг, и как поймал на удочку президента Соединенных Штатов, заставив его первым признать и приветствовать этот флаг. Ладно, пусть меня чернят по-всякому, я удовлетворен хотя бы тем, что сумел перехитрить нацию, возомнившую себя самой хитрой. Нечего говорить, обвел этих янки вокруг пальца! Пиратский флаг? Ну и что, не отрицаю. Как бы то ни было, но янки сами же первыми его признали!

Ох, уж эти мне пронырливые американские миссионеры! И эти разоблачители — британские консулы! И эти ябедники — предатели-бельгийцы, состоящие на официальной службе! Все они только и знают, что болтать, как попугай! Ведь это они выболтали, что я уже двадцать лет правлю государством Конго не как уполномоченный Великих Держав, не как их доверенное лицо и управляющий, а как император, властелин плодородного края, размеры которого в четыре раза превышают Германскую империю, как самодержец,

ни перед кем не ответственный, поставивший себя над законом и поправший Берлинскую хартию. Выболтали, что я, через посредство подставных концессионеров, прибрал к рукам всю торговлю и не допускаю в Конго ни одного иностранного купца; что я захватил и крепко держу это государство, словно свою собственность, а огромные доходы от него кладу себе в карман; что я обратил многомиллионное население в своих слуг и рабов, присваиваю плоды их труда, зачастую даже не оплаченного, забираю себе — с помощью плети и пули, голода и пожаров, увечий и виселицы — каучук, слоновую кость и прочие богатства, которые добывают туземцы, мужчины, женщины и малые дети.

Ах, мерзавцы! Так и есть, ничего не утаили! Выболтали и эти и другие подробности. Как им только не стыдно? Ведь они разоблачают короля, а это личность священная и неприкосновенная, поскольку она избрана и посажена на престол самим господом богом, — короля, критиковать которого — кощунство: ведь господь наблюдал мою деятельность с самого начала и не проявил немилости, не помешал мне, не остановил меня! Естественно, что я это воспринял как его одобрение, полное и безоговорочное. Так мне ли, удостоенному великой награды божьей, золотой, бесценной награды, тревожиться о том, что жалкие люди бранят меня и осуждают? *(Внезапно всплыв.)* Да чтоб им на том свете... *(Спохватившись, пылко целует крест и жалобно бормочет.)* Бог меня накажет за такие речи!

Да, эти длинные языки выбалтывают все! Выбалтывают, что я облагаю население непомерными, прямо-таки грабительскими налогами, и туземцы, добывая каучук в невероятно тяжких, с каждым днем все более тяжких условиях, не могут заработать даже на налоги и должны вдобавок сдавать почти все, что они вырастили на собственных клочках земли; а когда (длинные языки выбалтывают и это!), изнемогая от непосильного труда, голода и болезней, отчаявшиеся люди бросают родной кров и бегут в леса, спасаясь от наказаний, — мои чернокожие солдаты, завербованные мною из враждующих племен, по наущению и под руководством моих бельгийцев устраивают облавы, без-

жалостно убивают их, сжигают деревни, и если кого еще щадят, так только девушек. Выбалтывается во всех подробностях, что я любыми способами истребляю обездоленный народ ради собственного обогащения. Но никто из этих писак не расскажет, хоть знают прекрасно, сколько трудов я за это же время положил на внедрение религии, что я посылаю в Конго миссионеров (выгодной для меня масти, как выражаются мои критики!) разъяснять туземцам греховность их жизни и повергать их к стопам того, кто, всеблагий и всепрощающий, неизменно и неусыпно печется о всех страждущих. Никто из них словечка не замолвит в мою пользу, все только и знают, что осуждать меня!

Они оповестили мир, что Англия потребовала от меня создания комиссии для расследования жестокостей в Конго, и я, желая ублажить непрошеную заступницу с ее мерзкой Ассоциацией по проведению реформ в Конго, состоящей из графов, епископов, разных там Джонов Морли, университетских знаменитостей и прочих кривляк, которым бы только совать нос в чужие дела, назначил такую комиссию. Но разве это заткнуло им рты? Напротив, они кричат, что комиссия составлена из моих «палачей Конго», «из тех самых людей, чья деятельность требует расследования». Они заявляют, что это равносильно тому, как если бы назначили стаю волков расследовать нападение на овечье стадо. Этим проклятым англичанам ничем не угодишь! ¹

¹ По последним сведениям, миссионеры, находящиеся в Конго, признают, что комиссия, в общем, по-видимому, склонна рекомендовать проведение реформ. Один из членов комиссии — известное в Конго официальное лицо, другой — представитель бельгийского правительства, третий — юрист из Швейцарии. Но доклад комиссии будет опубликован лишь после того, как пройдет через руки короля, и лишь в том виде, как король утвердит его. Пока об этом ничего не слышно, хотя после окончания работы комиссии прошло уже полгода. Впрочем, ни для кого не тайна, что обнаружены и засвидетельствованы чудовищные злодеяния, несмотря на все усилия королевских приспешников опорочить показания миссионеров. Человек, присутствовавший на одном из заседаний комиссии, пишет: «Эти рассказы, раскрывшие перед комиссией страшную правду о том, какими путями добывается каучук, могли бы тронуть каменное сердце!» В одном месте, посещенном комиссией, приказали

А как бесцеремонно эти критики пишут о моей личной жизни! Словно я какой-то плебей, фермер или рабочий! Пишут, например, что мой дворец с первых дней был не то молельней, не то публичным домом и развивал бурную деятельность в обоих качествах; что я изводил свою супругу и дочерей, подвергая их каждодневно жестокости и унижениям, и когда королева обрела наконец покой в гробу, я не позволил дочери, молившей меня об этом на коленях, взглянуть в последний раз на материнский лик; что три года тому назад, не ограничившись нагробленным у целой нации, я отнял имущество у дочери и, с целью оправдать себя и довершить преступление, выступил на суде в качестве опекуна, покрыв себя стыдом в глазах цивилизованного мира. Говорю же я: жулики они, мошенники! Вытаскивают на свет и распространяют подобные грязные сплетни, да и любое, что может восстановить против меня людей, но скрывают те мои деяния, которые расположили бы людей в мою пользу. Я потратил на искусство больше средств, чем любой другой современный монарх, и они это знают. А рассказал ли кто-нибудь об этом? Нет! Предпочитают сочинять оскорбительные небылицы для детей младшего возраста на основе «чудовищных статистических данных», — хотят этим напугать сентиментальную публику и настроить ее против меня. Вот образчик их творчества: «Если бы кровью невинных жертв, пролитой королем Леопольдом в Конго, наполнить ведра и эти ведра поставить в ряд, то он протянулся бы на две тысячи миль; если бы скелеты десяти миллионов убитых им и умерших от голода туземцев могли встать и двинуться гуськом, то для того, чтобы всем им пройти

кое-что упорядочить, но не успела комиссия отбыть восвояси, как положение стало еще более тяжким, чем было до ее посещения. Что ж, хорошо, будем считать, что король сам себя обследовал. Часть дела выполнена. Следующее на повестке дня — расследование положения в Конго державами, несущими ответственность за создание этого государства. Одной из таких держав являются Соединенные Штаты. Подобного расследования добиваются, при помощи петиции на имя конгресса, Лаймен Эббот, Генри Ван-Дайк, Дэвид Стар Джорден и другие видные американские граждане. — *Марк Твен.*

какую-то определенную точку, понадобилось бы семь месяцев и четыре дня; если бы все эти скелеты сложить вместе, они заняли бы бóльшую площадь, чем город Сент-Луис, включая и территорию Всемирной выставки; если бы эти скелеты разом хлопнули в ладоши, то леденящий душу треск был бы услышан на расстоянии...» Фу, черт, надоело! И не менее фантастичны их примеры, когда они хотят показать, какие деньги я выручил от перегонки негритянской крови. Пирамиды египетские из монет... пустыня Сахара, усталая ими... небо, заклеенное банкнотами настолько густо, что тень ложится на землю, погружая ее во мрак. И слезы, пролитые из-за меня... И сердца, разбитые мною... Нет, эти писаки не собираются оставить меня в покое! (*Погружается в раздумье.*)

Ничего... Зато я все-таки утер нос американцам! И то утешение. (*Насмешливо кривя губы, читает Указ президента о признании от 22 апреля 1884 года.*)

«...правительство Соединенных Штатов выражает сочувствие и одобрение гуманным и благотельным целям (имеется в виду мой план захвата Конго!) и приказывает офицерам Соединенных Штатов на суше и на море салютовать этому флагу, как флагу дружественного государства».

Надо полагать, янки теперь не прочь отказаться от своего решения, но я ведь тоже не даром держу в Америке своих агентов! Да и вообще я не боюсь: никакое государство и никакое правительство не могут себе позволить признаться в своей ошибке! (*Самодовольно улыбаясь, начинает читать опубликованный доклад его преподобия У. М. Моррисона, американского миссионера в Свободном государстве Конго.*)

«Привожу несколько примеров многочисленных зверств, свидетельствующих о том, что король Леопольд ввел в систему и практикует по сей день грабежи и жестокости по отношению к этому несчастному народу. Подчеркиваю: король Леопольд, ибо он, он один, несет за это ответственность, будучи абсолютным монархом. Так он сам себя величает.

Когда в 1884 году наше правительство заложило основы Свободного государства Конго, признав его флаг, оно еще не ведало, что эта фирма, выступающая под маской филантропии, по сути дела представляет собой короля Леопольда Бельгийского — одного из самых хитрых, безжалостных и бессовестных правителей, какие когда-либо занимали престол. Вдобавок Леопольд известен аморальностью в личной жизни, что прославило его и все его семейство на обоих континентах. Наше правительство безусловно не признало бы его флаг, если бы ему было известно, что Леопольд требует Конго в качестве своего личного владения, если бы оно понимало, что, уничтожив ценою моря крови и колоссальных расходов рабство африканцев у нас в Америке, оно способствует созданию *абсолютной монархии и гораздо более тяжелой формы рабства в самой Африке*».

(*Со злым торжеством.*) Да, провел я этих янки! Теперь им стыдно и досадно. Никак не могут с этим примириться. Но для них это позор и по иной причине — более серьезной: им теперь не вычеркнуть из своих летописей того постыдного факта, что их тщеславная республика, самозванная защитница и поборница свободы, — единственная из всех демократий мира употребила свою власть и влияние, чтобы создать *абсолютную монархию!* (*Сердито смотрит на высокую стопку брошюр.*) Черт бы их побрал, этих назойливых мух — миссионеров! Изводят тонны бумаги! Вечно вертятся под ногами, шпионят, подглядывают, хотят все увидеть собственными глазами и поскорее записать. Вечно рыскают по стране, и туземцы привыкли уже считать их своими единственными друзьями, к ним идут со своим горем, им показывают раны и рубцы, которыми наградили их мои полицейские, им, плача, показывают обрубки рук, жалуясь, что руки у них были отрезаны за то, что они доставляли мало каучука. А эти руки приказано сдавать начальству, дабы оно было в курсе, что туземцы не остались без наказания. Один миссионер насчитал восемьдесят одну руку, подвешенную над огнем для просушки

перед отправкой по назначению, и сразу же, конечно, записал это, а потом раззвонил на весь мир. Шляются по стране, шляются и все высматривают. И какой бы пустяк ни заметили, тут же спешат предать его гласности. *(Берет в руки брошюру под названием «Путешествие, совершенное в течение июля, августа и сентября 1903 года английским миссионером его преподобием А. Э. Скривенером». Читает.)*

«...Вскоре мы разговорились, и, даже без побуждений с моей стороны, туземцы стали рассказывать то, что мне уже приходилось неоднократно слышать. Они жили тихой и мирной жизнью, пока не появились из-за озера белые и не начали требовать от них разных услуг. Поняв, что это означает рабство, туземцы сделали попытку оградиться от непрошенных гостей, но не сумели устоять перед их устрашающими винтовками. Пришлось смириться и привыкать к новому положению. Сперва им приказали выстроить дома для солдат, и это они безропотно выполнили. Далее от них требовали обеспечить питанием солдат и разных прихлебателей мужского и женского пола. И наконец послали собирать каучук. Раньше туземцы этим не занимались. Хотя лес был недалеко — за несколько дней можно было до него дойти, — они не знали, что растущие там каучуковые деревья представляют какую-нибудь ценность. Им пообещали небольшую плату, все и ринулись собирать каучук. «Чудаки эти белые, — удивлялись они, — дают нам материю и бусы за сок диких деревьев!» Все радовались столь неожиданному счастью. Но весьма скоро плату снизили, а еще через некоторое время приказали доставлять каучук бесплатно. Туземцы пытались протестовать, тогда солдаты, к их великому изумлению, пристрелили нескольких, а остальных бранью и тумаками заставили тотчас же отправиться в лес, пригрозив в противном случае перестрелять их тоже. Перепуганные люди пошли готовить кое-какую еду себе на дорогу, так как поход за каучуком должен был продлиться две недели. Но тут нагрянули солдаты и обнаружили, что они еще дома. «Как, еще не ушли?» Бах, бах! — и вот падает один, за ним дру-

гой, на глазах у жен и товарищей. Поднимается неистовый плач, люди просят отпустить их похоронить убитых, но им не разрешают. Всем немедленно отправляться на работу! Как, без пищи? Да, вот так! Несчастных угоняют в лес, не дав им захватить даже огнива. Многие умерли в лесах с голоду и погибли от непогоды, но еще больше пало жертвами свирепых солдат местного гарнизона. Несмотря на все усердие людей, сбор каучука падал, и многим это стоило жизни. Меня водили по всей местности, показывали, где прежде находились деревни их вождя. По точным подсчетам, здесь, в радиусе около четверти мили, жило семь лет тому назад две тысячи человек. Сейчас едва ли насчитывается двести, и они так угнетены и подавлены, что быстро вымирают.

Мы пробыли там до понедельника вечером и успели побеседовать со многими людьми. В воскресенье несколько мальчуганов рассказали мне, что обнаружили какие-то кости, и на следующий день я попросил их показать мне эту находку. Недалеко от дома, где я остановился, прямо на траве, валялось много человеческих черепов, костей и целых скелетов. Я насчитал 36 черепов и заметил также немало скелетов без головы. Подозвав местного жителя, я спросил, что это означает. Он объяснил мне: «Пока белые вели с нами переговоры насчет каучука, солдаты перестреляли столько народу, что нам надоело хоронить, а очень часто нам это даже запрещали; приходилось оттаскивать мертвецов в траву и оставлять там. Тут их целые сотни, можете посмотреть». Но я уже повидал более чем достаточно и не в силах был больше слушать рассказы мужчин и женщин о пережитых ими ужасах. Болгарская резня — пустяки по сравнению с тем, что творилось здесь! Не знаю, как они покорились, — даже сейчас, вспоминая, поражаюсь их терпению! Слава богу, кое-кому удалось бежать. Я провел там два дня и должен признаться, что сдача каучука произвела на меня впечатление. Я наблюдал длиннейшие очереди, как в Бонго. Каждый человек держал под мышкой корзиночку, каждому насыпали в ведерко из-под каучука мерку соли, а старшему в артели швыряли еще два

ярда ситцу. Я видел, как туземцы дрожат от страха, и это, вкупе со всем остальным, дало мне понять, каким террором их окружили и в каком рабстве их фактически держат».

Типичная манера: подглядеть, подслушать и сразу же бежать печатать любую дурацкую мелочь! Такой же точно и британский консул мистер Кейзмент. Нашел *дневник одного из моих государственных служащих*, и, хоть он носит сугубо личный характер и не рассчитан на посторонних читателей, у мистера Кейзмента хватило бестактности перепечатать из него отрывки. (*Читает одну из записей.*)

«Каждый раз, когда капрал отправляется за каучуком, ему дают патроны, и все нестреляные он обязан вернуть, а за каждый стреляный — доставить отрубленную правую руку. Мистер П. рассказал мне, что, если иногда удастся убить на охоте зверя, они, с целью отчитаться за израсходованный патрон, отрубают руку у живого человека. Чтобы я лучше понял объем этой деятельности, он сообщил мне, что в районе реки Мамбого израсходовано за 6 месяцев 6000 патронов; это означает, что 6000 человек было убито или ранено. Впрочем, даже больше, так как я не раз слышал, что солдаты убивают детей прикладами».

Иногда этот хитрюга-консул решает, что молчание внушительнее слов. В данном случае он предоставляет читателям сделать вывод, что тысяча убитых и раненых за один месяц — это очень много для такой маленькой точки, как концессия на реке Мамбого. На приложенной им географической карте огромного государства Конго эта речушка даже не обозначена, что без слов указывает на ее размеры. Кейзмент своим красноречивым молчанием как бы хочет сказать: «Если в таком маленьком уголке тысяча жертв, сколько же их тогда во всей колоссальной стране?» Настоящий джентльмен не унизился бы до таких уловок.

Перехожу к вопросу об увечиях. С критиками дело обстоит так: не успеешь дать ему сдачи, как он извернется и хватить тебя с другого конца. Верткие они, про-

сто акробаты! Когда в Европе начали кричать, что мы калечим людей (отрубаем им руки, половые органы и т. д.), мы тут же нашли удачный способ парировать удар, надеясь мгновенно положить противников на обе лопатки и заставить их навсегда замолчать. Мы начали храбро валить этот обычай на туземцев — это, мол, их изобретение, мы только следовали их примеру. И, думаете, мы выиграли этот раунд, заткнули им рты? Какое там! Они увернулись и употребили против нас новый приемчик: «Если король, исповедующий христианскую религию, способен найти себе моральное оправдание в том, что не он изобрел кровавые жестокости, а лишь подражает дикарям, так пусть он, бог с ним, тешится этим оправданием!»

Хитро орудует этот соглядатай консул! (*Перелистывает брошюру под названием «Обращение с женщинами и детьми в государстве Конго. Что видел мистер Кейзмент в 1903 году».*) Всего лишь два года назад! Это он нарочно, с тонким расчетом сует под нос читателям дату! Для того, чтобы опровергнуть заверения моего газетного синдиката, что я прекратил свои жестокости в Конго, что все это давным-давно уже кончилось. С каким наслаждением этот Кейзмент роется в мелочах, как злорадно носится со своими открытиями, упивается ими, обсасывает каждую глупость. Чтобы понять, к чему он стремится, вовсе не нужно штудировать эту снотворную книжицу, достаточно прочесть начало каждой главы. (*Читает.*)

«240 человек — мужчин, женщин и детей — обязаны еженедельно сдавать государству тонну высококачественных пищевых продуктов за царскую плату 15 шиллингов 10 пенсов, иначе говоря — даром!»

Неправда, это щедрая плата. Почти пенс в неделю на каждого черномазого! Консул нарочно преуменьшает, а ведь знает же отлично, что я мог бы и вовсе не платить — ни за продукты, ни за труд. Могу привести тысячу фактов в доказательство. (*Читает.*)

«Карательная экспедиция в деревню, запоздавшую с поставками. Убито 16 человек, в том числе три

женщины и ребенок пяти лет. 10 человек взяты в качестве заложников, среди них ребенок, который по дороге умер».

Мистер Кейзмент обходит молчанием то обстоятельство, что мы *вынуждены* брать заложников, если люди не могут нам заплатить. Тогда семьи, сбежавшие в леса, продают кого-нибудь из своих в рабство и на эти деньги выкупают заложников. Кейзмент отлично знает, что я и сам бы рад это прекратить, если бы нашел лучший способ выколачивать из них долги. Ух! Еще один образчик такта: консул приводит свой разговор с туземцами:

«В о п р о с. Откуда вам известно, что именно *белые* приказали расправляться с вами столь жестоко? Скорее можно поверить, что такие зверства совершали чернокожие солдаты, без ведома белых.

О т в е т. Белые говорили солдатам: «Вы убиваете одних женщин, а мужчин не трогаете. Доставьте доказательства, что убили мужчин». Тогда солдаты, убивая наших... (он смущенно замялся, указывая на...) делали так и несли белым, и те им говорили: «Теперь мы верим, что вы убили *мужчин*».

В о п р о с. Вы все это подтверждаете? И со многими убитыми это сделали?

Тут все закричали: «Нкто! Нкто!» — то есть очень много, очень много.

Несомненно, эти люди ничего не сочиняли. Такое волнение, такой гнев, такую ненависть на лицах симулировать было бы невозможно!»

Конечно, критику было необходимо раззвонить об этом: самоуважения ни на грош! Все его единомышленники набросились на меня, будто не понимая, что я сам не рад наказывать людей таким образом, а делаю это исключительно в назидание другим преступникам. Обычные меры наказания на *глупых* дикарей не действуют, не производят на них впечатления. (*Снова принимается за чтение.*)

«Опустевший район: из 40 000 жителей осталось 8000».

Кейзмент не дает себе труда разъяснить, как это случилось. Он все нарочно окутывает тайной. Надеется, что читатели и все эти господа, такие, как лорд Абердин, Норбери, Джон Морли и сэр Гилберт Паркер, ратующие за реформы в Конго, подумают, что этих людей убили. А вовсе нет. Подавляющее большинство их скрылось. Забрали семьи и сбежали в лес, спасаясь от облав, и там вымерли с голоду. Разве мы могли это предотвратить?

Один из жалостливых критиков замечает: «Другие христианские правители хоть и взимают налоги со своих подданных, но зато дают им школы, органы правосудия, дороги, воду и свет, охраняют их жизнь; а король Леопольд облагает украденную им страну налогами, *но ничего не дает народу, кроме голода, горя, позора и рабства, кроме террора, тюрем, увечий и массового истребления*». Типичная манера критиков! Стало быть, я ничего не даю? А евангелие, которое я посылаю оставшимся в живых? Ведь знают же это пасквильянты прекрасно, но скорее позволят вырвать себе язык, чем скажут правду! Я неоднократно повторял наказ, чтобы во время облав умирающим подносили целовать святой крест, и если это выполнялось, то я, несомненно, был смиренным орудием спасения многих душ. Ни у одного из моих хулителей не хватит порядочности рассказать об этом, но я прощаю им; всевышнему и так все известно, и в этом я черпаю утешение и поддержку». (*Кладет на место доклад, берет брошюру, раскрывает посередине и пробегает глазами страницу.*)

Вот он откуда пошел, этот разговор о «западне»! Еще один шпион-миссионер, его преподобие У. Г. Шепард! Беседовал с кем-то из моих чернокожих наемников после облавы и выманил у него кое-какие сведения. Вот что он тут рассказывает:

«— Я потребовал тридцать рабов отсюда и тридцать с другого берега, — сказал мне этот человек, —

два слоновых клыка, две тысячи пятьсот комков каучука, тринадцать коз, десять штук домашней птицы, шесть собак и еще кое-чего.

— А по какой причине началось побоище? — спросил я.

— Я созвал на определенный день всех вождей с их помощниками и всех жителей — мужчин и женщин, пообещав закончить на этот раз переговоры. Когда они вошли через узенькие ворота (а забор был очень высокий, как здесь водится, из жердей, привезенных из других деревень), я потребовал выполнения моего приказа и пригрозил, что в противном случае они будут убиты, но они отказались платить, тогда я велел запереть ворота, чтобы они не убежали, и мы их перестреляли. Но часть забора рухнула, и некоторым все-таки удалось спастись бегством.

— Сколько же вы убили народу? — поинтересовался я.

— Да немало. Желаете взглянуть?

Именно этого мне и хотелось.

— Думаю, что мы убили человек восемьдесят — девяносто; насчет других деревень не знаю: сам я туда не ездил, а посылал своих людей.

Вместе с ним мы вышли в степь, расстилавшуюся за лагерем. Там на траве лежали три трупа, зачищенные до костей, начиная от пояса.

— Кто это их так искромсал? — спросил я.

— Мои люди съели их, — ответил он без запинки. Потом добавил: — Только те, у кого маленькие дети, не едят человеческого мяса, остальные не отказываются.

Слева от нас лежал труп рослого мужчины без головы, с огнестрельной раной на спине. (Все трупы были голые.)

— Куда девалась его голова? — спросил я.

— О, из нее сделали миску, тереть табак и диамбу.

Продолжая осмотр, мы бродили до вечера и насчитали сорок один труп. Остальные были употреблены на еду.

На обратном пути мы заметили труп молодой женщины, убитой выстрелом в затылок, без одной руки. Я попросил объяснения, и Мулунха Нкуса ответил,

что им велят у всех отрубить правые руки и сдавать государству по возвращении из экспедиции.

— А не могли бы вы показать мне эти руки? — спросил я.

Он провел меня под навес, где тлел костер, и там я увидел все эти правые руки, висевшие над огнем; я насчитал 81.

У них в заключении томилось не меньше 60 женщин (Бена Пьянга). Я их видел. Мы считаем, что подвергли это преступление весьма тщательному расследованию. По нашему мнению, оно было совершено в соответствии с предварительным планом: ободрать туземцев до нитки, загнать этих несчастных в западню и уничтожить».

Итак, *еще одна* подробность — людоедство! С оскорбительной назойливостью теперь заговорили о людоедстве. Причем клеветники не упускают случая подчеркнуть, что поскольку я самодержец и одного моего слова достаточно, чтобы любое дело прекратить, постольку все, что совершается, совершается с моего соизволения и может быть причислено к *моим* действиям; иначе говоря, это делаю я, а рука моего агента — по сути дела моя рука! Не удивительно, что меня изображают в королевской мантии, с короной на голове, жующим человеческое мясо и возносящим благодарственную послеобеденную молитву. О господи, когда добрым людям попадаетея такая писанина, как исповедь этого миссионера, они просто трясют головой. Начинают кощунствовать — сетовать на бога: как, мол, он терпит на земле такого дьявола? То есть меня! На их взгляд, это непорядок. Их в дрожь бросает при мысли, что за двадцать лет моего владычества число жителей Конго сократилось с 25 миллионов до 15. «Король, у которого на совести 10 миллионов убийств! — шипят они и добавляют: — Рекордсмен!»

А многие уверяют, что не 10 миллионов, а гораздо больше: мол, если бы не моя деятельность, то при естественном приросте населения в Конго было бы в настоящее время 30 миллионов, — значит, на моей совести еще 5 миллионов, а в общей сложности 15 миллио-

нов. При этом вспоминают сказочку о человеке, убившем курицу, которая несла золотые яйца, — сколько бы она еще снесла, не перережь он ей горло! Таким-то образом я и вышел в рекордсмены! Вспоминают, что в Индии раза два в тридцать лет Царь-Голод уносит до 2 миллионов из ее 320 миллионов жителей, и весь мир содрогается от ужаса и проливает слезы; а потом смеют уверять, что миру не хватило бы слез, если бы я и Царь-Голод на 20 лет поменялись местами. Людская фантазия все пуще распаляется, и вот уже кто-то вообразил такое: двадцатилетний срок кончился, и Царь-Голод является ко мне и падает мне в ноги со словами: «Наставляй меня, о господин мой, теперь я уразумел, что я лишь скромный твой ученик!» Или такая картинка: приходит Смерть со своей косой и песочными часами, предлагает мне в жены свою дочь, хочет передать мне все свое дело, чтобы я его реорганизовал и возглавил. Возглавил всемирную фирму! Болезненная фантазия людей уже не знает удержу: начинают выискивать аналогии в мировой истории, штудируют биографии Аттилы, Торквемады, Чингисхана, Ивана Грозного и прочей подобной публики и, злорадно торжествуя, заявляют, что нет мне равного. Тогда принимаются изучать знаменитые землетрясения, ураганы и бури, извержения вулканов и другие катастрофы, и выносят решение: всем им далеко до меня! Но наконец они все-таки находят (так им по крайней мере кажется) одно подходящее сравнение и нехотя признают, что было такое бедствие, как я, — правда, единственное — *всемирный потоп*. Ишь куда загнули!

Но это они всегда так. При малейшем упоминании моего имени они уже не могут оставаться спокойны, как не может стакан с водой контролировать свои чувства, когда в него всыпают зейдлицкий порошок. Какая только чушь не лезет им в голову! Один англичанин предложил заключить со мной пари — на какую угодно сумму, вплоть до 20 000 гиней, — что в течение двух миллионов лет никто из других приезжих не затмит меня в аду. Слепленный злобой, этот человек даже не соображает, сколь глупа его идея. Глупа и лишена делового расчета: ни он, ни я фактически

не выиграем пари, ибо потерпим колоссальные убытки на процентах, которые за это время нарастут на наши ставки. Ведь к моменту истечения срока пари, при четырех-пяти сложных процентах, скопилось бы столько денег (мне и суммы-то не назвать!), что на них вполне можно было бы купить всю преисподнюю!

Другой сумасшедший рвется увековечить мое имя памятником из 15 миллионов черепов и скелетов и с пеной у рта хлопочет о своем невероятном проекте. Он уже все рассчитал и вычертил в масштабе. Этот мой памятник-мавзолей, сооруженный из черепов, должен быть точной копией пирамиды Хеопса: площадь основания — 13 акров, высота — 451 фут. Меня этот маниак намерен набальзамировать и установить на вершине пирамиды, в короне и королевской мантии, с «пиратским флагом» в одной руке и ножом мясника и наручниками — в другой. Пирамида должна быть воздвигнута в безлюдной местности, среди замшелых, заросших сорняком развалин сожженных деревень, где в унылый вой ветра вплетаются стоны мертвецов, замученных голодом и пытками. От пирамиды будут отходить радиально 40 широких подъездных аллей, каждая длиной в 35 миль, обсаженных обезглавленными скелетами на расстоянии полутора ярдов друг от друга. Все скелеты, по плану, скованы между собой цепями, а цепи крепятся к запястьям при помощи старого испытанного средства — железных наручников, на которых красуется моя торговая марка: нож мясника, положенный поперек креста, и девиз: «Сим богатею». На каждой стороне аллеи 200 000 скелетов, то есть всего 400 000. Автор проекта не без удовольствия отмечает, что, если вытянуть все 15 миллионов скелетов в одну линию, они займут 3000—4000 миль, что равно расстоянию от Нью-Йорка до Сан-Франциско. Бодрым тоном директора железнодорожной компании, сообщающего о блестящих перспективах строительства новых путей, он приводит такие данные: работая на полную мощность, я даю ежегодно 500 000 покойников, а значит, если мне будет отпущено еще 10 лет жизни, я обеспечу нужное количество черепов, чтобы добавить к пирамиде еще 175 футов, превратив

ее в самое высокое архитектурное сооружение на свете, и нужное количество скелетов, чтобы продолжить трансконтинентальную линию (на сваях) на тысячу миль от берега в Тихий океан. Этот идиот подсчитал, сколько будет стоить добыча материалов из моих «широко разбросанных по стране неофициальных кладбищ» и перевозка их на место, а также само строительство пирамиды и величественных аллей: это обойдется в миллионы гиней; и знаете, что нашему психопату взбрело на ум? *Чтобы я все это финансировал! ...!! ...!! (Несколько раз пылко целует крест.)* Он напоминает, что Конго приносит мне ежегодно миллионные доходы, а на осуществление его проекта, мол, требуется «только» 5 миллионов! Что ни день, то какой-нибудь маниак пытается запустить руку в мой карман, но, правда, я на это не реагирую, меня не проймешь! *А вот этот — этот беспокоит меня, действует мне на нервы, — бог знает, что еще взбредет в голову такому разболтанному субъекту!..* Еще чего доброго вспомнит Карнеги... Нет, нет, прочь такие мысли! Они отравляют часы моего бодрствования, мешают спать по ночам. Так ведь и с ума сойти недолго! *(Пауза.)* Хочешь не хочешь, а, видимо, придется купить Карнеги. *(Шагает взад и вперед, взволнованно бормочет, потом начинает опять читать брошюру консула Кейзмента.)*

«Власти заморили голодом малолетних детей одной женщины и убили ее старших сыновей».

«Безжалостное уничтожение женщин и детей».

«Лишенные надежд, туземцы окончательно впали в апатию».

«Солдаты с каучуковых плантаций заковали женщин в железные воротники».

«Женщины отказываются рожать, потому что, имея на руках детей, трудно убежать и прятаться от солдат».

«Рассказ ребенка: «Мы все побежали в лес — я, мама, бабушка и сестра. Солдаты убили очень много наших... Вдруг они заметили в кустах мамину голову и подбежали к нам, схватили маму, бабушку, сестру и одного чужого ребенка, меньше нас. Все хотели же-

ниться на моей маме и спорили между собой, а под конец решили убить ее. Выстрелили ей в живот, она упала, и я так ужасно заплакал, когда это увидел, — у меня теперь не было ни мамы, ни бабушки, один я остался. Их убили у меня на глазах».

Вообще-то, жаль, конечно, хоть они были и черномазые! Вспоминаю, когда мои дети были малы, они тоже имели привычку прятаться в кусты, заметив мое приближение. *(Читает.)*

«Вспороли ребенку ножом живот...»

«Отрубив руки, понесли их белому офицеру и выложили в ряд для обозрения».

«Солдаты оставили пойманных детей умирать в лесу».

«Друзья пришли выкупать девушку, но караульные прогнали их, сказав, что белый человек хочет оставить ее для себя, так как она молодая».

«Из рассказа девушки туземки: «По пути солдаты заметили ребенка и направились к нему с намерением убить; ребенок засмеялся, тогда солдат размахнулся и ударил его прикладом, а потом отрубил ему голову. На другой день они убили мою сводную сестру, огрубли ей голову, и руки и ноги, на которых были браслеты. Потом поймали другую мою сестру и продали ее племени у-у. Теперь она стала рабыней».

Ребенок засмеялся! *(Долгая пауза. Размышляет.)*
О, невинное дитя! Лучше бы он не смеялся, мне это как-то неприятно. *(Читает.)*

«Искалеченные дети».

«Власти одобряют работорговлю между племенами».

«Для уплаты громадных штрафов, наложенных на деревни за задержку принудительных поставок, туземцам приходится продавать в рабство детей и товарищей».

«Родители вынуждены продать своего маленького сына».

«Вдова вынуждена продать свою маленькую дочь».

Черт побери этого дотошного брюзгу, что ж, по его мнению, должен был я делать? Дать поблажку вдове только потому, что она вдова? Будто он не знает, что нынче там, кроме вдов, почти никого и не осталось! Вдовы как таковые мне не мешают, я против них ничего не имею, но деловую сторону я должен помнить, мне тоже надо жить, хоть кое-кому это неуютно! (*Читает.*)

«Мужчин запугивают пытками жен и дочерей (чтобы они быстрее сдавали каучук и пищевые продукты). Стражник сообщил мне, что он захватил этих женщин и привел сюда (заковав в железные воротники и соединив цепью) по приказу своего начальника».

«По словам агента, его заставляли ловить главным образом женщин, так как тогда мужья спешили уплатить задолженность; но он не рассказал, где достают себе пропитание дети, у которых отняты родители».

«Партия пленников — 15 женщин».

«Женщины и дети обречены на голодную смерть в тюрьме».

Голодная смерть! Страшные, нестерпимые муки, длящиеся много, много дней и еще много, много дней. Силы тают постепенно, медленно иссякая... Да, это, пожалуй, самая страшная из всех смертей. Видеть, как проносят каждый день мимо тебя еду, а тебе не дают... Конечно, малыши плачут от голода, терзая этим материнское сердце!.. (*Вздыхает.*) Ох, что же делать, иначе нельзя, обстоятельства вынуждают нас поддерживать дисциплину. (*Читает.*)

«60 женщин распяты».

Вот уж это бестактно и глупо! Христианский мир содрогнется, прочитав такое сообщение, начнет вопить: «Профанация святой эмблемы!» Да, тут уж наши христиане загудят! 20 лет меня обвиняли в том, что я совершал по 500 000 убийств в год, и они молчали, но профанация Символа — это для них вопрос серьезный. Они сразу вострепелуются и начнут копать в моем прошлом. Гудеть будут? Еще как! Я, кажется, уже

слышу нарастающий гул... Конечно, не следовало распинать этих женщин, разумеется не следовало. Теперь мне самому это понятно, и я сожалею, что так случилось, искренне сожалею. Как будто нельзя было попросту содрать с них кожу? (*Вздыхает.*) Но никто из нас об этом не подумал, — разве все предугадаешь? И кто из людей не ошибается?

Да, эти казни на кресте наделают много шума. Как уже не раз бывало, люди опять начнут спрашивать, неужто я надеюсь завоевать и сохранить уважение человечества, если буду по-прежнему посвящать свою жизнь грабегам и убийствам. (*Презрительно.*) Интересно знать, когда они от меня слышали, что я нуждаюсь в уважении человечества? Не принимают ли они меня за простого смертного? Уж не забыли ли они, что я король? Кто из королей ценил когда-нибудь уважение человечества? Я имею в виду — ценил по-настоящему, в глубине души? Если бы эти люди поразмыслили, они бы поняли, что королю просто нет смысла ценить чье-то уважение. Он вознесен на недостигаемую высоту и, оглядывая лежащий перед ним мир, видит несметные сонмища жалких людишек, которые поклоняются десятку людей и терпят их гнет и эксплуатацию, а люди эти ничуть не лучше и не благороднее их и созданы по тому же подобию, вернее — из той же грязи. Послушать их речи, так вообразишь, что они киты, но король-то знает, что они не киты, а лягушки. История выдает их с головой. Если бы люди были людьми, разве допустили бы они, чтобы существовал русский царь? Или я? А мы существуем, мы в безопасности и с божьей помощью будем и далее продолжать свою деятельность. И род человеческий будет столь же покорно принимать наше существование. Кое-когда, может быть, состроит недовольную гримасу, произнесет зажигательную речь, но так и останется на коленях.

Вообще зажигательные речи — одна из специальностей рода человеческого. Вот он взвинтит себя как следует, и кажется: сейчас запустит кирпичом! Но все, на что он способен, это... родить стишки. Боже мой, что за племя! (*Читает стихотворение Б. Г. Нэйдела в «Нью-Йорк таймс».*)

Обломок деспотий, картонный автократ,
Угрюмый отблеск гаснущих планет,
Свечи оплившей тусклый, слабый свет
В лучах зари, что небо золотит.
Прогнивший плод, который портит сад,
Покинут богом, временем забыт.

Непрочный идол ледяных широт!
Ему безгласный молится народ,
Но идол слышит, как земля дрожит.
И сквозь тяжелый, цепенящий сон
Донесся гул: то гром загрохотал,
И, руша скалы, катится обвал,
И гибель царства льда со страхом чует он.

Красиво, внушительно; надо признать, что сделано яркими мазками. Этот ублюдок владеет кистью! Все же попадись он мне в руки, я бы его распял... *«Непрочный идол...»* Правильно, это точная характеристика царя: идол, и притом непрочный, мягкотелый, некое царственное беспозвоночное; бедный молодой человек — жалостливый, не от мира сего. *«Ему безгласный молится народ...»* Суровая правда, и выражено кратко, лаконично: в одной этой фразе заключены душа и ум человечества. 140 миллионов на коленях. На коленях перед маленьким жестяным божком. Поставьте их на ноги, соберите вместе, и они заполнят необъятное пространство, теряясь в безбрежной дали, — даже в телескоп не разглядишь, где конец этой покорной массы. Так как же может король ценить уважение человечества? Для этого нет оснований! Между прочим, занятное изобретение — род человеческий. Критикует меня и мою деятельность, забывая, однако, что без его санкции не было бы ни меня, ни моей деятельности. Он — союзник монархов и мощный наш защитник. Он — наша поддержка, наш друг, наш оплот. За это он удостоен нашей благодарности, глубокой и искренней, но не уважения, нет! Пусть брюзжит, ворчит, сердится, — ничего, нас это не тревожит. (*Листает альбом, время от времени останавливается, чтобы прочесть газетную вырезку и высказаться по поводу нее.*) Как, однако, все эти поэты травят беднягу царя! Каждый поэт — французский, немецкий, английский, американский —

готов его облаять. Самые лучшие и способные из этой братии, и притом самые злые, — это Свилбурн — кажется англичанин, и парочка американцев: Томас Бейли Элдридж и полковник Ричард Уотерсон Гилдер, которых печатают сентиментальные журнал «Сенчюри» и газета «Луисвилл курьер джорнел». Эти вопят громче всех... куда это я заложил их сочинения, не нахожу... Если бы поэты умели не только лаять, но и кусаться, тогда бы, о!.. Хорошо, что это не так. Мудрому царю поэты не страшны, но поэты этого не знают. Невольно вспоминаешь собачонку и железнодорожный экспресс. Когда царский поезд с грохотом проносится мимо, поэт выскакивает и мчится следом несколько минут, заливаясь бешеным лаем, а потом спешит назад в свою конуру, самодовольно оглядываясь по сторонам, уверенный, что напугал царя до смерти, а царь и понятия не имеет, что он там был! На меня они никогда не лают. Почему? Вероятно, мой Департамент взятка подкупает их. Да, наверное это так, иначе кто, как не я, вызывал бы их яростный лай? Ведь материал-то первоклассный! А-а, вот, кажется, что-то и в мой огород! (*Читает вполголоса стихотворение.*)

Кто право дал тебе душить надежду
И темный твой народ топить в крови?

Какою властью тебе дана
Столь страшная, столь зрелая жестокость?

Ужасно... Боже, ты, кто это видишь,
Избавь от изверга такого землю!

Нет, ошибся, это тоже адресовано русскому царю¹. Но иные люди могут сказать, что это подходит и ко мне, и притом довольно точно. *«Столь зрелая жестокость...»* Жестокость русского царя еще не созрела, но что касается моей, то она не только созрела, а уже и гниет! Никак им рот не заткнешь, — они воображают, что это очень остроумно! *«Изверг!»* ...Нет, пусть эта кличка остается царю, у меня ведь уже есть своя.

¹ Луиза Морган Силл в «Харперс уикли». (*Прим. автора.*)

Меня давно называют чудовищем — это они очень любят, — преступным чудовищем. А теперь еще прибавили перцу: где-то выкопали доисторического динозавра длиной в 57 и высотой в 16 футов, выставили его в музей в Нью-Йорке и назвали Леопольд II. Однако меня это не трогает, от республики нечего ждать хороших манер. М-м... Кстати, а ведь на меня никогда не рисовали карикатур. Может быть, это потому, что злодеи художники еще не нашли такого оскорбительного и страшного изображения, какое отвечало бы моей репутации? *(После размышления.)* Ничего не остается, как только купить динозавра. Купить его и изъять! *(Опять углубляется в чтение заголовков.)*

«НОВЫЕ ФАКТЫ КАЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ (ОТСЕЧЕНИЕ РУК)».

«ПОКАЗАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ МИССИОНЕРОВ».

«СВИДЕТЕЛЬСТВО АНГЛИЙСКИХ МИССИОНЕРОВ».

Старая песня, нудное повторение и переневы затаканных эпизодов: калечение, убийства, резня и так далее и тому подобное; от такого чтения клонит ко сну!

А вот еще непрощеное явление: мистер Морел со своими излияниями, которые он мог бы с успехом оставить при себе; вводит, разумеется, для важности курсив — такие, как он, жить не могут без курсива!

«Это сплошной душераздирающий рассказ о человеческих страданиях, и произошло это совсем недавно».

Он имеет в виду годы 1904 и 1905. Мне непонятно поведение этого человека. Ведь Морел — королевский подданный, и почтение к монархии должно было бы сдерживать его разоблачительный пыл в отношении меня. Морел хлопочет о реформах в Конго. Это одно уже характеризует его в достаточной мере. Он издает в Ливерпуле листок «Вест-Африкен мейл», существующий на добровольные пожертвования разных сердобольных олухов, и каждую неделю эта газетка кипит, дымит и извергает зловоние, что должно означать последние известия о «зверствах в Конго» по образцу

того, что стряпается вот в этой куче книжонок. Надо прикрыть эту газетку! Я изъясил книгу о зверствах в Конго, когда она была уже отпечатана, а с газетой раздаться мне и вовсе просто!

(Разглядывает фотографии изувеченных негров, потом швыряет их на пол. Со вздохом.) «Кодак» — это просто бич. Наш самый опасный враг, честное слово! В былые дни мы просто «разоблачали» в газетах рассказы об увечьях, отбрасывая их как клевету, выдумку, ложь назойливых американских миссионеров и разных иностранных коммерсантов, наивно поверивших «политике открытых дверей в Конго», провозглашенной Берлинской хартией, и нашедших эти двери плотно закрытыми. С помощью газет мы приучили христианские народы всего мира относиться к этим рассказам с раздражением и недоверием и ругать самих рассказчиков. Да, в доброе старое время гармония и лад царили в мире. И меня считали благодетелем угнетенного, обездоленного народа. Как вдруг появляется неподкупный «кодак», и вся гармония летит к чертям! Единственный очевидец за всю мою долголетнюю практику, которого я не сумел подкупить! Каждый американский миссионер и каждый потерпевший неудачу коммерсант выписывает себе аппарат, и теперь эти снимки проникли повсюду, как мы ни стараемся перехватывать их и уничтожать. С 10 000 церковных кафедр, со страниц 10 000 газет идет сплошным потоком прославление меня, в категорической форме опровергаются все сообщения о зверствах. И вдруг — нате, скромный маленький «кодак», который может уместиться даже в детском кармане, встает и бьет наотмашь так, что у всех разом отнимается язык... А это еще откуда отрывок? *(Начинает читать.)*

«Впрочем, оставим попытки рассказать о всех его преступлениях! Их список бесконечен, неисчерпаем. Страшная тень Леопольда лежит на Свободном государстве Конго, под этой тенью с невероятной быстротой чахнет и вымирает кроткий пятнадцатимиллионный народ. Это страна могил, Свободное кладбище

Конго. Здесь все имеет царственные масштабы: ведь этот кошмарнейший эпизод в истории — дело рук *одного* человека, одной-единственной особы: короля бельгийского Леопольда. Он, и только он, несет личную ответственность за все бесчисленные преступления, запятнавшие историю государства Конго. Он там *полноправный* хозяин, абсолютный властелин. Достаточно было бы одного его приказа, и давным-давно кончились бы все злодеяния, достаточно ему и сейчас сказать слово, и все будет прекращено. Но он этого слова не произносит. Для его кармана это невыгодно.

Удивительно наблюдать, как король огнем и мечом уничтожает страну и ее мирных жителей — и все во имя денег, исключительно во имя звонкой монеты. В жажде завоеваний есть нечто царственное — короли извечно предавались этому элегантному пороку; мы к этому привыкли и по привычке прощаем, усматривая в этом что-то благородное; *но жажда денег, жажда серебра и медяков, самых заурядных грязных денег* — не для того, чтобы обогатить свою страну, а чтобы *набить собственный кошелек*, — это ново! Это вызывает у нас гадливое чувство, презрительное осуждение. Мы не можем примириться с такими действиями, мы называем их гнусными, неприличными, недостойными короля. Как демократы, мы должны бы издеваться и хохотать, мы должны бы радоваться, когда пурпурную мантию марают в грязи; однако мы почему-то не радуемся. Вот перед нами этот страшный король, этот безжалостный король-кровопийца, ненасытный в своей безумной алчности, на высоком, до неба, памятнике собственных злодеяний, изолированный, оторванный от всего остального человечества, убийца в целях *наживы*, каких не было даже среди его касты — ни в древности, ни в наши дни, ни среди христиан, ни среди язычников; естественный, законный объект презрения для всех слоев общества — и низших и высших, человек, которого должны бы проклинять все те, кто не жалуется тиранов и трусов; и вот, как это ни удивительно, *мы предпочитаем не смотреть* — по той при-

чине, что это король, и нам больно и неприятно, наш древний атавистический инстинкт страдает, когда монарх падает так низко, и мы не желаем слышать подробностей о том, как это произошло. А увидев их в газете, мы с содроганием отворачиваемся».

Правильно, вот это меня и спасает. И вы будете продолжать в том же духе. Я знаю человеческую породу.

О Ш И Б К А, Д О П У Щ Е Н Н А Я В С А М О М Н А Ч А Л Е

«Эта «цивилизаторская» деятельность явилась колоссальным, непрерывным истреблением людей»... «Все факты, доложенные нами депутатам этой палаты, вначале энергично опровергались, но постепенно они подтвердились документами и официальными текстами»... «Говорят, что практика отрубания рук противоречит инструкции, однако вы просите отнестись к ней снисходительно, мотивируя тем, что «мало-помалу» этот дурной обычай будет изжит; более того, вы утверждаете, что руки отрубали только у *павших* врагов, а если отрубали у тех, кто еще не умер, и эти бессовестные люди, выжив, шли показывать миссионерам свои рубки, то всему виной была ошибка, допущенная в самом начале, когда живых приняли за мертвых»... (*Из дебатов в бельгийском парламенте в июле 1903 года.*)

То было время величайшего волнения и подъема. Вся страна рвалась в бой — шла война, в груди всех и каждого горел священный огонь патриотизма; гремели барабаны, играли оркестры, палили игрушечные пистолеты, пучки ракет со свистом и треском взлетали в воздух; куда ни глянь — вдоль теряющихся вдали крыш и балконов сверкала на солнце зыбкая чаша флагов; каждый день юные добровольцы, веселые и такие красивые в своих новых мундирах, маршировали по широкому проспекту, а их отцы, матери, сестры и невесты срывающимися от счастья голосами приветствовали их на пути; каждый вечер густые толпы народа затаив дыхание внимали какому-нибудь патриоту-оратору, чья речь задевала самые сокровенные струны их души, и то и дело прерывали ее бурей аплодисментов, в то время как слезы текли у них по щекам; в церквях священники убеждали народ верой и правдой служить отечеству и так пылко и красноречиво молили бога войны ниспослать нам помощь в правом деле, что среди слушателей не нашлось бы ни одного, который не был бы растроган до слез. Это было поистине славное, удивительное время, и те немногие опрометчивые люди, которые отваживались неодобрительно отозваться о войне и усомниться в ее справедливости, тотчас получали столь суровую и гневную отповедь, что ради соб-

ственной безопасности почитали за благо убраться с глаз долой и помалкивать.

Настало воскресенье — на следующий день войска выступали на фронт; церковь с утра была набита до отказа, здесь же находились и добровольцы, чьи юные лица горели в предвкушении ратных подвигов; мысленно они уже были там — вот они наступают, упорно, все быстрее и решительнее, стремительный натиск, блеск сабель, враг бежит, паника, пороховой дым, яростное преследование, капитуляция! — и вот они снова дома: вернулись с войны закаленные в боях герои, долгожданные и обожаемые, в золотом сиянии победы! С добровольцами сидели рядом их близкие, гордые и счастливые, вызывая зависть друзей и соседей, не имевших братьев и сыновей, которых они могли бы послать на поле брани добыть отчизне победу или же пасть смертью храбрых. Служба шла своим чередом: священник прочел военную главу из Ветхого завета, потом первую молитву; загудел орган, сотрясая здание; молящиеся поднялись в едином порыве, с бьющимся сердцем и блестящими глазами, и в церкви зазвучал могучий призыв:

Господи, грозно на землю вззирающий,
Молнии, громы послушны тебе!

Затем последовала «долгая» молитва. Никто не мог бы припомнить ничего равного ей по страстности и проникновенности чувства и по красоте изложения. Просили в ней больше всего о том, чтобы всеблагой и милосердный отец наш оберегал наших доблестных молодых воинов, был бы им помощью, опорой и поддержкой в их подвигах во имя отчизны; чтобы он благословлял их и охранял в день битвы и в час опасности, держал их в своей деснице, дал им силу и уверенность и сделал непобедимыми в кровавых схватках; чтобы помог он им сокрушить врага, даровал им, их оружию и стране вечный почет и славу...

В эту минуту в церковь вошел какой-то пожилой незнакомец и неторопливо, бесшумной поступью направился по главному проходу к алтарю. Глаза его

были устремлены на священника, высокую фигуру облекала одежда, доходившая до пят, и седые волосы пышною гривой падали на плечи, обрамляя изборожденное морщинами лицо, неестественно, даже мертвенно-бледное. Все с недоумением смотрели на него, а он, молча пройдя между скамей, поднялся на кафедру и выжидающе стал рядом со священником. Смежив веки и не догадываясь о присутствии незнакомца, священник продолжал читать свою волнующую молитву и закончил ее страстным призывом: «Благослови наше воинство, даруй нам победу, господи боже наш, отец и защитник земли нашей и оружия!»

Незнакомец дотронулся до его плеча, жестом приказал ему отойти, — что изумленный священник не замедлил исполнить, — и занял его место. Несколько мгновений он сурово оглядывал потрясенных слушателей, и глаза его горели призрачным огнем, лотом низким, глухим голосом начал:

— Я — посланец престола, несущий вам слово господне!

Прихожане стояли как громом пораженные; незнакомец если и заметил их испуг, то не обратил на него ни малейшего внимания.

— Всевышний услышал молитву своего слуги, вашего пастыря, и готов ее исполнить, если таково будет ваше желание после того, как я, его посланец, разъясню вам ее смысл, точнее — полный ее смысл. Ибо, как и во многих других людских молитвах, вы, сами того не подозревая, просите о неизмеримо большем, чем вам кажется, когда вы молитесь, — если, конечно, вы заранее все не обдумали.

Слуга божий и ваш прочел молитву. Подумал ли он, прежде чем прочитать ее? И одна ли эта молитва? Нет, их две: одна — которую он произнес вслух, и другая — которой не произнес. И обе достигли ушей того, кто слышит все просьбы — высказанные и невысказанные. Поразмыслите над этим — и запомните. Если станете просить благословения своим делам и поступкам, будьте осторожны, ибо в эту минуту вы непреднамеренно можете навлечь проклятье на своего соседа. Если вы молитесь о ниспослании дождя, ибо он нужен по-

лям вашим, — тем самым вы, быть может, молитесь о бедствии для соседа, чья земля не нуждается во влаге и дождь только испортит ему урожай.

Вы слышали молитву вашего слуги — ту ее часть, которую он произнес вслух. Господь послал меня к вам, чтобы я облек в слова другую ее часть — то, о чем пастор и все вы в глубине сердца молча молили его. Не разумея и не думая, о чем молитесь? Дай бог, чтобы это было так. Вы слышали слова: «Даруй нам победу, господи боже наш!» Этого достаточно. Вся молитва, которую вы произносили здесь вслух, заключена в этих многозначительных словах. Уточнения излишни. Моля о победе, вы молили и о многих не упомянутых вами следствиях, которые сопутствуют победе, должны ей сопутствовать, не могут не сопутствовать. И вот до слуха отца нашего небесного дошла и невысказанная часть молитвы. Он повелел мне облечь ее в слова. Внемлите же!

Господи боже наш, наши юные патриоты, кумиры сердец наших, идут в бой — пребудь с ними! В мыслях мы вместе с ними покидаем покой и тепло дорогих нам очагов и идем громить недругов. Господи боже наш, помоги нам разнести их солдат снарядами в кровавые клочья; помоги нам усеять их цветущие поля бездыханными трупами их патриотов; помоги нам заглушить грохот орудий криками их раненых, корчащихся от боли; помоги нам ураганом огня сровнять с землей их скромные жилища; помоги нам истерзать безутешным горем сердца их невинных вдов; помоги нам лишить их друзей и крова, чтобы бродили они вместе с малыми детьми по бесплодным равнинам своей опустошенной страны, в лохмотьях, мучимые жаждой и голодом, летом — палимые солнцем, зимой — дрожащие от ледяного ветра, вконец отчаявшиеся, тщетно умоляющие тебя разверзнуть перед ними двери могилы, чтобы они могли обрести покой; ради нас, кто поклоняется тебе, о господи, развеяй в прах их надежды, сгуби их жизнь, продли их горестные скитания, утяжели их шаг, окропи их путь слезами, обagri белый снег кровью их израненных ног! С любовью и

верой мы молим об этом того, кто есть источник любви, верный друг и прибежище для всех страждущих, ищущих его помощи со смиренным сердцем и покаянной душой. Аминь.

(Помолчав немного.) Вы молились об этом; если вы все еще желаете этого — скажите! Посланец всевышнего ждет.

Впоследствии многие утверждали, что это был сумасшедший, ибо речь его была лишена всякого смысла.

Если мы можем создать в России республику, которая принесла бы угнетенному народу царской империи ту же степень свободы, какой пользуемся мы, то давайте возьмемся за это и поможем создать ее. Незачем обсуждать методы, которыми можно достичь этой цели. Хорошо, если вооруженная борьба на некоторое время будет отсрочена или предотвращена, но если она начнется...

Я всей душой сочувствую развернувшемуся в России движению за освобождение страны. Я уверен, что оно увенчается успехом, и оно заслуживает этого. Всякое такое движение заслуживает одобрения и самого серьезного и единодушного содействия с нашей стороны, а такое воззвание о сборе средств, о котором говорил здесь мистер Хантер, воззвание, исполненное справедливого и глубокого смысла, должно получить от всех нас и от каждого в отдельности безоговорочную поддержку. Всякий, чьи предки жили в этой стране, когда мы стремились сбросить иго тирании, должен сочувствовать тем, кто сейчас стремится совершить то же самое в России.

Проведенная мною параллель только показывает, что несущественно, жестоким является это иго или нет: люди, в жилах которых течет красная, горячая кровь, не могут мириться с тиранией и всегда стремятся ее сбросить. И если мы станем всей душой поддерживать это дело, Россия будет свободной.

Перемены, которым подвергались цивилизация и национальный характер, никогда не проходили без самого активного участия религии. Так было на протяжении всей истории человечества и, без сомнения, будет во все времена. По крайней мере до тех пор, пока человек, путем медленной эволюции, не превратится в нечто действительно прекрасное и возвышенное, на что потребуются еще миллиарды лет.

Христианская библия по существу представляет собой аптеку. Ассортимент ее снадобий остается неизменным, меняются лишь методы их применения. В течение восемнадцати веков эти изменения были едва заметны. Метод оставался аллопатическим — аллопатическим в его самой грубой и жестокой форме. Тупой и невежественный эскулап день и ночь, не покладая рук, вливал в своего пациента гигантскими, невероятными дозами самые омерзительные лекарства, какие только можно было разыскать на аптекарском складе. Он пускал ему кровь, ставил банки, давал рвотное и слабительное, вызывал слюнотечение, никогда не предоставляя пациенту возможности оправиться от болезни и восстановить природные силы. В состоянии такого духовного недуга он держал его восемнадцать веков, и за все это время пациенту не выпало ни одного светлого дня. Что касается запаса медикаментов, то он

всегда состоял поровну из губительных или расслабляющих ядов и целебных, успокаивающих лекарств. Впрочем, духовный эскулап, исходя из многолетней практики, прибегал всегда лишь к первым и в результате мог нанести своему пациенту один вред. Что он и делал.

Не так давно, уже в нашем столетии, в методах лечения произошли значительные перемены. Правда, это имело место в основном, или, вернее, только в Англии и в Соединенных Штатах. В других странах пациент в наше время либо по-прежнему пользуется средневековыми средствами, либо совсем обходится без врача.

В странах английского языка перемены, наблюдаемые в нашем столетии, были вызваны тем, что пациент взбунтовался против методов лечения; во всяком случае, эскулапом эти перемены предусмотрены не были. Пациент решил лечить себя сам, и эскулап увидел, что количество больных катастрофически падает. Тогда, чтобы не остаться без работы, он решил видоизменить свой метод. Делал он это постепенно, с большой неохотой и лишь в тех случаях, когда обстоятельства вынуждали его. Прежде всего он прекратил ежедневную выдачу ада и вечного проклятия и прописал больному принимать их только через день. Потом он стал применять их все реже и реже. Когда же он ограничился воскресеньями и решил, что на этом можно остановиться, появился гомеопат, заставил его отказаться от ада и вечного проклятия вовсе и ввел вместо них христианскую любовь, утешение, милосердие и сострадание. Уж эти-то всегда имелись в избытке в церковной аптеке, и их золотые этикетки особенно бросались в глаза среди мерзких слабительных, рвотных и ядов, рядом с которыми они красовались на длинных полках. И не фармацевтов надо обвинять в том, что они не применялись, — просто таковы были методы лечения. Для церковного эскулапа, жившего пятьдесят лет назад, все его предшественники на протяжении восемнадцати веков были только знахарями; для современного церковного эскулапа его предшественник, живший пятьдесят лет назад, — такой же знахарь. Чем станет когда-нибудь нынешний церковный эскулап в глазах

человека, который сам для себя будет духовным врачом? Если только не остановится и не окажется выдумкой эволюция, которая была реальностью еще в те времена, когда земля, солнце и все планеты солнечной системы представляли собой лишь летучую дымку метеорной пыли, то совершенно ясно, какая судьба уготована нынешнему церковному эскулапу.

Методы, к которым прибегают церковники, — весьма любопытны, а история их — занимательна. Во все времена римская церковь имела своих рабов, покупала и продавала их, санкционировала работорговлю, поощряла ее. Долгое время спустя после того, как некоторые христианские народы освободили своих рабов, церковь все еще продолжала владеть ими. Но разве можно сомневаться в том, что церковь не могла поступать иначе, — ведь все это делалось ею в соответствии с волей господина, а она была его единственным представителем на земле, полномочным и непогрешимым толкователем его библии. Существовало священное писание, которое можно было толковать только так, а не иначе; церковь всегда была права: она лишь поступала так, как предписывала ей библия. Уверенная в своей правоте, церковь на протяжении многих веков ни разу не возвысила голос против рабства. Сегодня мы наконец слышим, что папа римский объявил работорговлю грехом и даже посылает в Африку специальную экспедицию, чтобы приостановить захват новых рабов. Игак, догматы остались те же, изменилась лишь тактика. Почему? Да потому, что человечество решило подправить библию. Сама церковь никогда на это не идет, но она в то же время никогда не упускает случая пристроиться в хвост событий и приписать себе чужие заслуги. Именно так она поступает и в данном случае.

Христианская Англия поддерживала и одобряла рабство в течение 250 лет, а ее святые отцы взирали на это, временами принимая в работорговле активное участие, а временами оставаясь в стороне. Можно, конечно, утверждать, что интересы, которые Англия преследовала в этом деле, были христианскими интересами и что вся работорговля носила чисто христиан-

ский характер. Больше чем кто-либо, Англия приложила усилий для того, чтобы возродить работорговлю после долгого застоя, и в конце концов продажа рабов стала как бы христианской монополией, иными словами — оказалась в руках только христианских стран. Английские парламенты поддерживали работорговлю и покровительствовали ей. Два английских короля состояли пайщиками компаний по продаже рабов. Первый английский профессиональный охотник за рабами, Джон Хокинс, память о котором чтут до сих пор, произвел во время своей второй экспедиции такие опустошения, так успешно нападал на туземные деревни, предавая их огню, увеча, уничтожая, захватывая и продавая в рабство их безобидных жителей, что восхищенная королева пожаловала ему звание рыцаря, — то самое звание, которым когда-то награждали наиболее достойных, совершивших подвиги во славу христианства. Новойспеченный рыцарь с чисто английской откровенностью и грубоватым простодушием начертал на своем гербе коленопреклоненного, закованного в цепи негритянского раба. Деятельность сэра Джона была истинно христианским изобретением, и в течение четверти тысячелетия эта кровавая и страшная монополия оставалась в руках христиан. С ее помощью разрушали жилища, разлучали семьи, порабощая отдельно мужчин и женщин, разбивали бесчисленное число человеческих сердец, — и все это лишь для того, чтобы христианские нации могли процветать и жить в довольстве, чтобы могли строиться христианские церкви, а проповедь кроткого и милосердного Спасителя могла распространиться по всей земле. Хотя прежде этого никто и не подозревал, теперь ясно, что название корабля сэра Джона таило в себе скрытое пророчество. Ведь это судно называлось «Иисус».

Однако настал день, когда один неполноценный английский христианин восстал против рабства. Любопытный факт: когда христианин восстает против укorenившегося зла, это почти всегда христианин неполноценный, принадлежащий к какой-нибудь второстепенной, всеми презираемой секте. Разгорелась ожесточенная борьба, но в конце концов от работорговли

пришлось отказаться. Библейские поучения остались, изменилась тактика.

А затем случилась обычная вещь. Посетивший нашу страну англичанин — один из тех, что всегда видят соринку в чужом глазу, — воздел к небу свои набожные ручки, придя в ужас от нашего рабства. Горе его не поддавалось описанию, слова были полны горечи и презрения. Правда, он оплакивал именно наших рабов, которых было менее полутора миллионов, в то время как его Англия по-прежнему имела в своих заморских владениях двенадцать миллионов рабов, но это не умерило его воплей, не остановило его слез, не смягчило сурового осуждения. Тот факт, что каждый раз, когда наши предки пытались избавиться от рабства, именно Англия ставила нам всяческие преграды и разбивала все наши планы, не имел для него никакого значения: ведь все это уже стало достоянием истории и даже не заслуживало упоминания.

Но наконец и мы обратились в другую веру и тоже начали поднимать голос против рабства. Повсюду обнаружился люди с мягким сердцем, в любом уголке страны при желании можно было найти хотя бы мельчайший признак растущей жалости к рабу. В любом уголке — кроме церкви. Правда, в конце концов не выдержала и церковь. Ведь она всегда так поступала. Сначала вела отчаянную и упорную борьбу, а затем делала то же, что и всегда, — старалась ухватиться за хвост событий. Рабство пало. Писание, оправдывавшее его, осталось, изменилась лишь тактика. Вот и все.

На протяжении многих веков существовали ведьмы. Так, во всяком случае, утверждала библия. И именно она приказывала уничтожать их. Поэтому церковь, в течение 800 лет исполнявшая свои обязанности лениво и неохотно, эту свою святую миссию принялась осуществлять всерьез — с помощью виселиц, орудий пытки и пылающих костров. За девять веков повседневной усердной работы церковь засадила в тюрьмы, подвергла пыткам, повесила и сожгла целые армии ведьм, дочиста отмыв весь христианский мир их нечистой кровью.

Но неожиданно стало известно, что никаких ведьм нет и никогда не было. Тут уж не знаешь, смеяться

или плакать. Кто же открыл, что ведьм не существует? Может быть, церковники? Нет, эти никогда не делали никаких открытий. В Салеме священник с трогательным упорством продолжал цепляться за священное писание, призывающее уничтожать ведьм, даже после того, как прихожане, решившись на этот раз забыть о библии, со слезами на глазах раскаялись в тех преступлениях и жестокостях, которые их заставили совершить. Священнику хотелось еще крови, еще обличений, еще жестокостей, и именно не осененные святостью прихожане — вот кто остановил его руку. В Шотландии священник убил ведьму уже после того, как суд признал ее невиновной. А когда более сострадательные гражданские власти предложили изъять отвратительные статьи, направленные против ведьм, из свода законов, явились попы и просьбами, слезами и проклятиями пытались вынудить их не делать этого.

Ведьм нет. Но библия, которая признает их существование, остается. Изменилась лишь тактика. Нет никакого адского огня, а библия все пугает им. Оказался небылицей первородный грех, но библия продолжает утверждать, что он есть. Более двухсот статей, каравших смертью, исчезло из свода законов, но библия, породившая их, остается.

Разве не достоин внимания тот факт, что из всего множества библейских изречений, к которым прикасалось уничтожающее перо человека, он ни разу не вычеркнул ни одного доброго и полезного? А если так, значит можно надеяться, что при дальнейшем развитии просвещения человек в конце концов сумеет придать своей религиозной тактике какое-то подобие благопристойности.

Вопрос. Как удалось компании «Стандард-Ойл» поднять свои прибыли до 60 процентов основного капитала?

Ответ. При помощи высоких ввозных пошлин.

Вопрос. Что нужно сделать, чтобы снизить цены на нефть наполовину и свести прибыли «Стандард-Ойл» к 10 процентам?

Ответ. Отменить ввозные пошлины.

Вопрос. Кто ввел эти пошлины?

Ответ. Большинство американского народа, отдавшее свои голоса республиканской партии.

Вопрос. Кто поддерживает эти пошлины и обеспечивает «Стандард-Ойл» шестидесятипроцентные прибыли?

Ответ. Большинство американского народа, отдавшее свои голоса республиканской партии.

Вопрос. По чьей милости мы платим двойную цену за нефть?

Ответ. По милости большинства американского народа, отдавшего свои голоса республиканской партии.

Вопрос. Кто поклялся выбить «Стандард-Ойл» с захваченных ею позиций?

Ответ. Ее создатель и хранитель — стоящая у власти республиканская партия.

Вопрос. Нельзя ли побороть «Стандард-Ойл», взыскав с нее штраф в размере полугодичной или даже годичной прибыли?

Ответ. Нет.

Вопрос. Почему?

Ответ. Потому, что тогда «Стандард-Ойл» поднимет еще выше цены на нефть и взыщет штраф с американского народа. Штрафуя народ, не подорвешь «Стандард-Ойл».

Вопрос. Народ возмущен. Народ найдет способ побороть «Стандард-Ойл»?

Ответ. Вы заблуждаетесь. Есть только один верный способ побороть «Стандард-Ойл». Народ знает, что мог бы с успехом воспользоваться этим способом, но он также знает, что у компании есть близкий друг и могущественный покровитель, который не даст ее в обиду.

Вопрос. Вы имеете в виду правительство и республиканскую партию?

Ответ. Да.

Вопрос. Вы утверждаете, что единственный верный способ борьбы — это отмена ввозных пошлин? Вы действительно уверены, что это снизит цены на нефть наполовину?

Ответ. Я ручаюсь.

Вопрос. Так почему же правительство не заступится за народ и не отменит пошлину?

Ответ. Не задавайте смешных вопросов.

КОММЕНТАРИИ

В одиннадцатый том собрания сочинений Твена входят рассказы, очерки, наброски и публицистические произведения, относящиеся к последним полутора десятилетиям жизни художника. В этот период новеллистика Твена еще теснее, чем ранее, сближается с его публицистикой, и жанровое разделение его произведений по этим двум рубрикам, проводимое в настоящем томе, во многих случаях условно. Сюжетный «зачин» служит иногда Твену своего рода трамплином, отталкиваясь от которого он широко и свободно развивает свои мысли в публицистической форме. Так, например, в рассказе «Из «Лондонской таймс» за 1904 год» замысловатая история о мнимом убийстве, за совершение которого был безвинно казнен американец Клейтон, служит Твену своего рода сатирической аллегорией прогремевшего в ту пору дела Дрейфуса. Это ироническое иносказание позволяет писателю с наибольшей выразительностью высказать свой протест против реакционного «правосудия», отказывавшегося от пересмотра приговора, хотя невиновность Дрейфуса, клеветнически обвиненного в шпионаже, была публично доказана.

В других случаях юмористические бытовые зарисовки вплетаются в ткань политической публицистики Твена. Так, например, автор вводит в гневную аргументацию политикосатирического памфлета «Моим критикам-миссионерам» колоритный анекдот о мальчишках, воровавших арбузы, который

мог бы по праву занять место на страницах «Приключений Гекльберри Финна».

Среди поздних рассказов Твена есть такие, в которых — как, например, в «Запоздавшем русском паспорте» или в «Охоте за коварной индейкой» — живет его прежний беспечно-веселый юмор. Среди них есть и такие, как «Красный кружок» или «Рассказ собаки», в которых писатель отдает дань более или менее условной сентиментальной традиции, характерной для вкусов тогдашней американской публики. Но ведущим началом в творчестве Твена — рассказчика и памфлетиста — становится в эту пору резко выраженный дух гражданского негодования и социального обличения; это и способствует все более тесному сближению новеллистики позднего Твена с его публицистикой.

Младший современник и соратник Твена — Шоу назвал его «американским Вольтером». В этом метком определении схвачен воинствующий характер сатиры Твена, обращенной против самых священных устоев империалистического мира.

Знаменитый рассказ «Человек, который совратил Гедлиберг» может по праву считаться вершиной поздней новеллистики Твена. Тема всепоглощающей власти «голого интереса, бессердечного чистогана», проникающего во все уголки общественной и частной жизни, уродуя сознание американских граждан, волновала Твена и ранее, со времен «Позолоченного века». Здесь эта тема развита с классической цельностью и полнотой, без каких-либо компромиссов и оговорок. История девятнадцати столпов общества, именитейших людей Гедлиберга, единодушно пошедших на мошенничество и лжесвидетельство ради вожделенного мешка с долларами, вызывает в самом художнике и усмешку и скорбь: ведь речь идет здесь о моральном и социальном банкротстве того буржуазного американского общественного строя, который когда-то казался молодому Твену, как и миллионам простых американцев, оплотом прогресса и цивилизации. Разрыв с этими иллюзиями и развенчание их служат источником горького сатирического пафоса многих поздних рассказов и памфлетов Твена.

Глубокое разочарование в американской буржуазной демократии, создававшей условия для беззастенчивого разгула капиталистического хищничества и захватнических империалистических appetитов, порождало иногда у позднего Твена настроения безнадежного уныния. Эти настроения поддер-

живались сознанием собственного одиночества; антиимпериалистическая оппозиция, к которой примыкал Твен, не представляла в тогдашних исторических условиях развития США такой общественной силы, которая могла бы оказать решающее воздействие на политическую жизнь. Это создавало предпосылки для появления кризисных тенденций в мировоззрении писателя, сказывавшихся с наибольшей откровенностью в последний период его деятельности. В некоторых поздних рассказах Твен также дает волю охватывавшим его иногда безотрадным сомнениям насчет смысла самой человеческой жизни. Таков, например, рассказ «Пять даров жизни», где смерть оказывается драгоценнейшей привилегией человека.

Американские буржуазные комментаторы Твена нередко стараются трактовать все его сатирическое творчество последнего периода как выражение «универсального» пессимизма писателя, который якобы полностью изверился в человеческой природе и в смысле земного бытия вообще. Под этим удобным прикрытием можно было попытаться затушевать неприятные для буржуазной Америки обвинения Твена-сатирика, придав им более отвлеченный, всеобщий, а потому безличный характер. Так, биограф Твена, Пейн, одним из первых предпринял попытку истолковать рассказ «Человек, который совратил Гедлиберг», где типические фигуры американских дельцов и ханжей предстают в совершенно типических социальных обстоятельствах, как выражение презрения Твена к «животному, именуемому человеком» вообще. Подобные толкования искажают действительную перспективу творческого развития Твена. Внутренняя логика этого развития в рассматриваемый период заключалась в том, что Твен боролся с еамим собою, стремясь преодолеть собственные кризисные настроения, отражавшие, в широком смысле слова, и кризис позитивистской философии, и кризис буржуазно-демократической общественной мысли его времени. И его рассказы и особенно публицистика конца 1890-х и 1900-х годов дают представление о том, как страстно и целеустремленно искал он способы действенного вмешательства в общественно-политическую жизнь.

Характерно, что именно в эти годы он особенно часто останавливается в своих рассказах и публицистике на миссии писателя, на роли и значении печатного слова. Автобиографический набросок «Когда кончаешь книгу...» — своего рода стихотворение в прозе — с большой силой сдержанного и глубокого

лиризма воссоздает ту атмосферу творческого волнения и подъема, в какой жил и работал Твен. Недаром так часты и полемические, пародийные мотивы в поздней новеллистике писателя: он сводит счеты с враждебными ему антиреалистическими направлениями. Так, «Детектив с двойным прицелом» высмеивает сенсационные уголовные сюжеты «боевиков» конан-дойлевской школы; а статья «Литературные грехи Фенимора Купера», уличающая создателя эпопеи Кожаного Чулка в многословии, неправдоподобии и ложной выпренности стиля, метит не только в самого автора «Зверобоя» и «Последнего из могикан», но и в тех реакционных американских неоромантиков конца XIX века, которые, подражая Куперу, создавали накануне американо-испанской войны свои псевдоисторические романы, полные кровавых авантур и лжепатриотического пафоса.

«Я бы не мог теперь жить без работы, — писал Твен Гоуэлсу в конце 1890-х годов. — Я зарываюсь в нее по уши. Пишу подолгу — иногда по 8—9 часов подряд. Отнюдь не все это предназначается для печати, так как многое меня не удовлетворяет...» Это письмо дает представление о той духовной собранности, какая была характерна для Твена в годы создания «Человека, который совратил Гедлиберг» и замечательных антиимпериалистических памфлетов «Китай и Филиппины», «Соединенные Линчующие Штаты», «Человеку, Ходящему во Тьме», «Моим критикам-миссионерам», «В защиту генерала Фанстона», «Монолог короля Леопольда», «Военная молитва» и другие. В этих произведениях Твен говорит со своими читателями как подлинный писатель-трибун, сознающий, что в словах его звучит голос совести американского народа.

Американо-испанская война 1898 года была важным рубежом в развитии политического сознания Твена. Как и миллионы рядовых американцев, он поддался на первых порах демагогии правителей США, твердивших о праведных целях войны, начатой якобы лишь для того, чтобы бескорыстно поддержать национально-освободительную борьбу народа Кубы. Когда после захвата Филиппин недвусмысленно обнаружились подлинные агрессивные цели международной политики США, Твен был глубоко потрясен. Захват Филиппин нанес, пожалуй, последний и решающий удар по тем иллюзиям относительно «особых» демократических путей развития США в

противоположность «феодальному» Старому Свету, которыми Твен тешил себя не только в ранних «Простаках за границей», но и позже, в «Принце и нищем» и в «Янки при дворе короля Артура». Тем более бурным и гневным был протест писателя против империалистической агрессии его страны. Памфлеты Твена, написанные по живым следам событий, как непосредственный отклик на них, сохраняют поныне все свое значение и как обличительные антиимпериалистические документы, и как великолепные образцы американской прозы. Это объясняется той глубиной, с какою Твен проник здесь в существо исторических конфликтов своего времени.

Памфлеты последнего десятилетия жизни Твена как и лучшие из его поздних рассказов наглядно опровергают концепцию тех его критиков, которые хотели бы свести социально-политическую сатиру писателя к беспредметному стариковскому брюзжанию «пессимиста», изверившегося будто бы в равной степени во всех ценностях бытия. Памфлеты Твена, наперекор этой концепции, имеют свой совершенно определенный, конкретный адрес. Твен знает своих противников, он называет их по именам — будь это коронованные убийцы, как Леопольд бельгийский или Николай II, самодержец всероссийский, или хозяева американских монополий (как Рокфеллер, высмеянный в «Добром слове Сатаны»), или генералы «победоносной» американской армии, запятнавшие себя, подобно Фанстону, расправой с малочисленными и доверчивыми филиппинскими патриотами, или, наконец, церковники-миссионеры, которых Твен заклеил публично как вымогателей и насильников.

Взятые в совокупности политические памфлеты Твена, относящиеся к 1900-м годам, составляют грандиозный обвинительный акт против вершителей империалистической политики. С фактами в руках Твен воссоздает потрясающую картину нечеловеческих страданий, унижений и мук, которые терпят народы, угнетаемые и истребляемые трестом «Дары Цивилизации», — как саркастически именует он империализм. В самой страстности обвинений, какие писатель предъявляет международному империализму, слышны отзвуки накапливающегося народного гнева. Не пацифистской сентиментальной жалостью, а негодованием и возмущением дышат эти памфлеты, автор их смотрит на происходящее не со стороны, а с позиций самих угнетаемых масс, терпение которых уже истощается. В памфлете «Человеку, Ходящему во Тьме» ироническая

издка над «цивилизаторскими» претензиями колонизаторов усиливается другим многозначительным лейтмотивом. «Людей, Ходящих во Тьме, становится все меньше, и уж очень они нас дичатся. Тьма же все редет и редет,— для наших целей ей не хватает густоты. Большинство людей, Ходящих во Тьме, стало видеть теперь настолько яснее, чем прежде, что это уже... не выгодно для нас». Это прозорливое предчувствие нарастающего возмущения угнетаемых империализмом народов колониальных стран против своих поработителей составляет важную особенность публицистики Твена.

Не удивительно, что судьба этой части творческого наследия Твена оказалась особенно сложной и трудной. Сам писатель не всегда отваживался дать в печать то, что было им написано. Заботясь о душевном покое своих близких, Твен, например, долгое время держал под спудом свое вольнодумное «Путешествие капитана Стормфилда в рай». Некоторые главы этой юмористической повести были исключены из прижизненного издания 1907 года и изданы в США только в 1952 году; в настоящем собрании они впервые публикуются в русском переводе. По-видимому, по тем же причинам, учитывая особое засилье религиозного ханжества в буржуазной Америке, Твен не решался публиковать и забавные философско-сатирические диалоги маленькой Бесси с ее ортодоксально-мыслящей мамой, где простодушие ясного детского сознания одерживает верх над ханжескими доводами религии. Печатаая свои политические памфлеты, писатель наталкивался на яростное сопротивление своих противников. Далеко не все написанное Твенем — обличителем империализма — смогло увидеть свет при жизни писателя. Так, например, читателям до сих пор известен только в отрывках замечательный антиимпериалистический памфлет Твена «Великая международная процессия». Комментируя сатирический «Монолог царя», биограф Твена, Пейн, хорошо знавший рукописное наследие художника, замечает, что «на подобные темы Твен обычно писал и оставлял ненапечатанным втрое больше того, что печатал».

Но и то из антиимпериалистических памфлетов, что было напечатано самим Твенем, вызывало и вызывает поныне со стороны издателей и литературной критики в буржуазной Америке ожесточенное сопротивление. Характерно, что ни памфлет «В защиту генерала Фанстона» (напечатанный в журнале «Норс Америкен ревью»), ни опубликованный там же

«Монолог царя», ни «Монолог короля Леопольда» (который Твен напечатал отдельной брошюрой), поныне не входят ни в одно из американских собраний сочинений Твена, хотя и представляют собой шедевры американской сатиры. Страх и ненависть, вызываемые антиимпериалистической публицистикой Твена в лагере американской реакции даже через полвека после смерти писателя, служат свидетельством того, насколько жизненны и актуальны до сих пор лучшие из его произведений, созданных в последние годы его деятельности.

А. ЕЛИСТРАТОВА

Кроме особо оговоренных случаев, переводы в этом томе сделаны по собранию сочинений Марка Твена, неоднократно выпускавшемуся издательством «Харпер».

Внутри каждого из двух разделов рассказы, очерки и статьи расположены в порядке их опубликования. Если то или иное произведение опубликовано посмертно, оно занимает в томе место, соответствующее дате его написания (кроме двух случаев, когда дата написания не установлена).

Об искусстве рассказа (How to tell a Story), 1895.

Стр. 8. *Артимес Уорд* (1834—1867) — известный американский юморист.

Най Эдгар Уилсон (1850—1896) — американский юморист; *Райли* Джеймс Уитком (1853—1916) — американский поэт. В 1888 году, когда Най и Райли совместно выступали в концерте в Бостоне, Твен представил их публике как «сиамских близнецов».

Когда кончаешь книгу (The Finshed Book), 1895.— Впервые напечатано в 1923 году; написано в связи с окончанием работы над книгой «Жанна д'Арк».

Из «Лондонской таймс» за 1904 год (From the «London Times» of 1904), 1898.

Стр. 16. *Зепаник* Ян — изобретатель-самоучка, с девятнадцати лет работал сельским школьным учителем в Моравии; продал несколько своих изобретений в Англии и в Германии, но не добился признания и вынужден был вернуться к прежней работе. В 1898 году Твен посвятил ему очерк «Австрийский Эдисон снова обучает школьников».

Стр. 17. *Уэст-Пойнт* — высшее военное училище США; находится в городке Уэст-Пойнт, штат Нью-Йорк.

Стр. 20. *Иедо* — прежнее название Токио.

Стр. 26. *Дело Дрейфуса*. — В 1894 году Дрейфус, офицер французского генерального штаба, еврей по национальности, был ложно обвинен в государственной измене и по решению военного суда сослан на каторгу на Чертов остров в Французской Гвиане. Прогрессивные элементы во Франции и в других странах выступили с протестом против этого приговора. В 1899 году, то есть уже после того, как был написан рассказ Твена, дело Дрейфуса было пересмотрено, но приговор остался в силе. Борьба за Дрейфуса не прекращалась, но только в 1906 году, после вторичного пересмотра дела, он был полностью реабилитирован.

Человек, который совратил Гедлиберг (*The Man that Corrupted Hadleyburg*), 1899.

Стр. 31. *...отпускал деньги свои по водам...* — Намек на библейское изречение: «Отпускай хлеб свой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его».

Христианская наука (*Christian Science*), 1899. — Позднее, в 1903 году, Твен вернулся к этой теме. Он собрал все ранее написанные очерки, снабдил их примечаниями и положил в основу целой книги, в которой безжалостно, и уже в более серьезном тоне, развенчивает «христианскую науку» и ее основоположницу Мэри Бейкер-Эдди. Книга вышла в 1907 году.

Красный кружок (*The Death Disk*), 1901.

Две маленькие истории (*Two Little Tales*), 1901.

Исправленные некрологи (*Amended Obituaries*), 1902. (Рисунок Твена.)

Детектив с двойным прицелом (*A Double-barrelled Detective Story*), 1902. Перевод сделан по изданию Таухниц, 1902.

Стр. 132. *...эмигрировать из Седжмура с пользой для казны короля Якова...* — В 1685 году, после воцарения в Англии Якова II, герцог Монмут поднял против него восстание, поддержанное крестьянами и ремесленниками. В сражении при

Седжмуре (на юго-западе Англии) войска повстанцев были наголову разбиты.

Стр. 133. ...*кровь кавалеров*. — Кавалеры (во времена английской революции XVII века) — сторонники королевской власти, боровшиеся против парламента.

Стр. 140. *Агасфер* — герой средневековой легенды, обреченный вечно скитаться по свету.

Стр. 155. ...*безмятежность, тишина, мир божий*. — Этот рассказ Твена пародиен с начала до конца. С одной стороны, это пародия на мелодраму в литературе, с другой — на детективные рассказы и романы, входившие тогда в моду с легкой руки Конан-Дойля. Однако эпиграф и первый абзац четвертой главы, никак не связанные с дальнейшим ее содержанием, — это еще как бы пародия внутри пародии, одна из тех мистификаций, к которым Твен любил прибегать на всем протяжении своей творческой жизни. Читатели, пораженные непонятым словом «эузофагус» (латинское название пищевода), засыпали Твена письмами, умоляя его объяснить, что он имел в виду. Твен ответил письмом в спрингфилдскую газету «Рипабликен» (12 апреля 1902 г.). Приведя полностью два письма недоумевающих читателей (одно — от школьного учителя с Филиппин, другое — от филолога, преподавателя в одном из провинциальных университетов США), Твен разъясняет, что весь этот абзац — шутка, что в нем вообще нет ни капли смысла, что автор задумал сочинить кусок текста, который читался бы гладко и производил впечатление поэтичности, и что, если бы он, увлекшись, не соблазнился злосчастным словом «эузофагус», читатели так и не заметили бы подвоха: недаром его филиппинский корреспондент пишет, что особенно хотел бы узнать незнакомое ему значение этого слова потому, что весь отрывок в целом показался ему «очень красивым и трогательным».

Стр. 176. *Маттерхорн* — одна из высочайших горных вершин в Альпах.

Пять даров жизни (The five Boons of Life), 1902.

Запоздавший русский паспорт (The Belated Russian Passport), 1902.

Стр. 224. *Сара Бернар* (1844—1923) — французская трагедийная актриса.

Стр. 224. ...иудейский отрок в пещи огненной — ссылка на библейское предание о трех иудейских юношах, которых царь Навуходоносор повелел бросить в печь; однако бог охранял их, и они остались невредимы.

Стр. 227. *Колд-Харбор* (в Виргинии) — место боев в 1862 и 1864 годах.

«Привет, Колумбия!» — американская патриотическая песня Джозефа Хопкинсона (1798).

Пчела (The Bee), 1902 (?). — Впервые напечатано в 1917 году.

Стр. 233. *Метерлинк* Морис (1862—1949) — известный бельгийский драматург; является также автором научно-поэтического труда «Жизнь пчел» (1901).

Стр. 235. *Губер* Франц (1750—1831) — швейцарский естествоиспытатель; *Леббок* Джон (1834—1913) — английский естествоиспытатель-дарвинист.

Наставление художникам (Instructions in Art), 1903. (Рисунки Твена). — В этом рассказе-шутке Твен наряду с историческими личностями поминает своих современников и знакомых — писателей Гоуэлса и Эмерсона, сенатора Денью, юриста Уэйна, комического актера Джозефа Джефферсона, журналиста Уильяма Лаффана.

Сделка с Сатаной (Sold to Satan), 1904. — Впервые напечатано в 1923 году.

Рассказ собаки (A Dog's Tale), 1904.

Наследство в тридцать тысяч долларов (The \$ 30 000 Bequest), 1904.

Стр. 300 *Одно из самых богатых княжеств в Европе*. — Речь идет о княжестве Монако, занимающем территорию в 1,5 кв. км.

Стр. 301. *Морганатический брак* — брак между членом царствующего дома и лицом невладелельного рода или же вовсе нетитулованным. Дети от морганатического брака престол не наследуют.

Стр. 303. *Бауэри* — улица в Нью-Йорке.

Дневник Евы (Eve's Diary), 1905.

Безвыходное положение (A Helpless Situation), 1905.

Бильярд (Billiards), 1906.

Охота за коварной индейкой (Hunting the Deceitful Turkey), 1906.

Мораль и память (Morals and Memory), 1906. — 7 марта 1906 года Твен был приглашен в качестве почетного гостя в студенческий клуб Барнард-колледжа Колумбийского университета в Нью-Йорке. Одна из студенток, представив его собравшимся, сказала о том, сколько радости его приезд доставил ее подругам, «потому что мы все вас любим». С ответа на эти слова Твен и начинает свою речь.

Представляя собравшимся доктора Вандайка (Introducing Doctor van Dyke), 1906. — Речь на банкете в Нью-Йорке.

Стр. 352. *Аркрайт* Ричард (1732—1792) — английский изобретатель прядильной машины; *Уотт* Джеймс (1736—1819) — шотландский изобретатель парового двигателя; *Стефенсон* Джордж (1781—1848) — английский создатель первого паровоза; *Уитни* Эли (1765—1825) — американский изобретатель хлопкоочистительной машины; *Франклин* Бенджамин (1706—1790) — американский писатель, дипломат и ученый, автор ряда изобретений, в том числе громозотвода; *Фултон* Роберт (1765—1815) — американский инженер и изобретатель парохода; *Морзе* Сэмюел (1791—1872) — американский изобретатель телеграфа; *Элиас Хоу* (1819—1867) — американский изобретатель швейной машины; *Эдисон* Томас Альва (1847—1931) — американский изобретатель в области электричества; *Грэхем Белл* (1847—1922) — американский изобретатель телефона.

Путешествие капитана Стормфилда в рай (Captain Stormfield's Visit to Heaven), 1907—1952.

Главы третья и четвертая этой повести, под заглавием «Отрывок из путешествия капитана Стормфилда в рай», были напечатаны в журнале «Харперс мэгезин» в декабре 1907 и

январе 1908 годов. В 1909 году они вышли отдельной книжкой, а затем вошли в собрания сочинений Твена. Главы первая и вторая вместе с авторским предисловием впервые опубликованы в США в издательстве «Харпер» в 1952 году и снабжены статьей Диксона Уэктера, хранителя литературного наследства Твена до 1950 года.

Как указывает Диксон Уэктер, первые две главы и дальнейшие, ранее печатавшиеся главы легко воспринимаются как единое целое. Несоответствия между ними незначительны. Так, в конце главы второй Стормфилд летит (как он думает) в ад в обществе еще нескольких душ, а в начале главы третьей он несетя в пространстве один. В первой главе он представляется читателю как «капитан Бен Стормфилд из Фэрхейвена и Фриско», а в главе третьей его имя и звание — «капитан Эли Стормфилд из Сан-Франциско».

Найдена в бумагах Твена и страница, объясняющая неоднократное обращение «Питерс» в третьей главе. Это — одно из предполагавшихся заглавий: «Путешествия капитана Эли Стормфилда, небесного моряка. Записаны с его слов преподобным Джорджем Г. Питерсом из Мэрисвилла, штат Калифорния».

Над «Стормфилдом» Твен работал с перерывами с конца 1860-х годов, но решился опубликовать его, и то не полностью, только за три года до смерти.

Прототипом для Стормфилда послужил капитан Эдгар Уэйкмен, старый моряк, с которым Твен познакомился в 1866 году, а затем снова встретился спустя два года и от которого услышал рассказ о том, как ему довелось побывать в раю. Под разными именами Уэйкмен фигурирует в нескольких произведениях Твена. Так, в книге «Налегке» это Нэд Блейкли из девятой главы второй части.

Стр. 374. *Милиция* — ополчение в США. В мирное время — граждане, призываемые только для коротких военных сборов.

Стр. 392. *Муди и Сэнки* — модные в конце XIX века американские проповедники-евангелисты.

Стр. 393. *Толмедж* Томас Девитт (1832—1902) — священник главной пресвитерианской церкви в Бруклине (Нью-Йорк), на которого Твен еще в 1870 году обрушился с яростными насмешками в печати за его слова, что «запах рабочего человека оскорбителен для ноздрей более утонченных членов его паствы» (см. памфлет «О запахах» в томе X настоящего издания).

Стр. 395. *Капитан Кидд* — Уильям Кидд (1650?—1701), известный пират.

Стр. 398 и дальше. — Наряду с историческими фигурами полководцев (Наполеон, Александр), писателей и поэтов (Гомер, Лонгфелло, Чосер, Ленгленд) Твен вводит в свой рассказ вымышленных героев.

Стр. 402. *...баронет из Хобокена? Как это может быть?* — Хобокен — город в штате Нью-Джерси. Никаких титулов в США, как известно, нет.

Сэнди-Хук — мыс к югу от Нью-Йорка.

Любознательная Бессии (*Little Bessie would Assist Providence*), 1909. — Один из диалогов между любознательной девочкой и ее мамой, которые Твен писал в 1909 году и не предназначал для печати. Опубликован в качестве приложения к биографии Твена, написанной его литературным секретарем, а позднее — литературным душеприказчиком А. Б. Пейном (1912). С этого текста и сделан перевод.

Басня (*A Fable*), 1909.

ПУБЛИЦИСТИКА

Любопытная страничка истории (*A Scrap of Curious Hisotory*), 1894. — Впервые напечатано в 1914 году.

Стр. 421. *...президент Французской республики.* — Французский президент Сади Карно был убит в 1894 году в Лионе итальянским анархистом Казерио.

Литературные грехи Фенимора Купера (*Fenimore Cooper's Literary Offenses*), 1895.

Моя первая ложь и как я из нее выпутался (*My First Lie, and How I Got out of It*), 1899.

Стр. 446. *Мистер Чемберлен* — Джозеф Чемберлен (1836—1914), английский министр колоний в период англо-бурской войны.

Стр. 451. *Карлейль* Томас (1795—1881) — английский историк и философ, один из любимых писателей Твена.

«Повергни истину — она восстанет» — строка из стихотворения «Поле битвы» американского поэта Брайанта (1794—1878).

Стр. 452. *...знаменитого случая, когда Джордж Вашингтон сказал правду...* — ссылка на хрестоматийный рассказ о детстве первого американского президента: получив в подарок топорик, маленький Джордж Вашингтон срубил вишневое дерево, а затем, хоть и знал, что его ждет наказание, сознался в своем проступке отцу, добавив, что не может лгать.

...как сказал Мильтон... — шутка Твена: «Песня последнего менестреля» — поэма Вальтера Скотта.

С точки зрения кукурузной лепешки (Corn-Pone Opinions), 1900. — Впервые напечатано в 1923 году.

Стр. 460. *...что в серебре — спасение...* — В предвыборной борьбе между Брайаном (от демократической партии) и Мак-Кинли (от республиканской), закончившейся в 1897 году избранием Мак-Кинли на пост президента США, Брайан выступал как сторонник биметаллизма, то есть неограниченной чеканки серебряной монеты наряду с золотой. Республиканцы же ратовали за сохранение одной, золотой валюты.

Китай и Филиппины (China and the Philippines), 1900. — Речь на обеде в гостинице Уолдорф-Астория в Нью-Йорке. Обед был устроен в честь Уинстона Черчилля, незадолго до того возвратившегося из Южной Африки, где он был в качестве военного корреспондента.

Соединенные Линчующие Штаты (The United States of Lyncherdom), 1901. — Впервые напечатано в 1923 году.

Стр. 467. *Савонарола* (1452—1498) — итальянский монах-доминиканец, бесстрашный обличитель церковных и политических правов. Был сожжен на костре как еретик.

Стр. 468. *Хобсон* Ричмонд Пирсон — офицер флота США, во время испано-американской войны 1898 года затопивший угольное судно «Мерримак» у входа в бухту Сантьяго (Куба), в надежде запереть в бухте испанский флот.

О патриотизме (As Regards Patriotism), 1900 (?). — Впервые напечатано в 1923 году.

Стр. 473. *...два-три года тому назад...* — то есть когда английское правительство готовило войну в Южной Африке, а правительство США — на Кубе.

Стр. 473. *Мексиканская война* — захватническая война 1846—1848 годов, в результате которой США за 18 миллионов долларов приобрели у Мексики Техас до Рио-Гранде, а также территорию нынешних штатов Нью-Мексико, Невада, Аризона и Калифорния.

Человеку, Ходящему во Тьме (To the Person Sitting in Darkness), 1901.

Стр. 475. *Ист-Сайд* — район Нью-Йорка, в то время населенный преимущественно беднотой.

Стр. 477. *«Боксеры»* — участники восстания 1901 года в Китае. Это восстание, порожденное ненавистью китайского народа к иностранным державам, поделившим Китай на «сферы влияния» и покушавшимся на его суверенитет, было жестоко подавлено объединенными военными силами Англии, Японии, Франции, Германии и царской России.

Стр. 478. *...учебник истории Маколема* — вымысел Твена (см. его памфлет «Моим критикам-миссионерам»).

Стр. 482. *...эта война...* — англо-бурская война 1899—1902 годов, развязанная английским империализмом против южноафриканских республик с их богатейшими золотыми и алмазными россыпями.

Стр. 486. *...наш главный игрок...* — президент США Мак-Кинли.

...«выстрел на весь свет»... — слова из стихотворения американского поэта Эмерсона «Конкордский гимн», в котором он воспел первых борцов за американскую независимость.

Стр. 487. *Дьюи* — американский адмирал Джон Дьюи (1837—1917) во время испано-американской войны командовал военноморскими силами США и в мае 1898 года потопил испанский флот в Манильской бухте на Филиппинах.

Стр. 489. *Агинальдо Эмилио* — руководитель филиппинского восстания против испанского господства, с 1899 года — президент Филиппинской республики; в 1901 году был обманом захвачен в плен американцами и вынужден капитулировать (о нем см. памфлет «В защиту генерала Фанстона»).

Стр. 491. *...откупить у Испании оба эти призрака.* — По Парижскому миру (декабрь 1898 г.) Филиппины были «уступлены» Испанией США.

Стр. 492. *Китченер* Горацио (1850—1916) — английский маршал. В 1898 году, командуя англо-египетской армией, жестоко

подавил народное движение в Судане; во время англо-бурской войны командовал английской армией в Южной Африке.

Макартур Артур (1845—1912) — один из генералов американской армии на Филиппинах. После захвата американцами Филиппин был там военным губернатором.

Стр. 494. *Гражданская комиссия* — американская комиссия, состоявшая из бизнесменов и профессоров, была послана на Филиппины после их присоединения к США для установления контакта с филиппинской буржуазией.

Крокер Ричард — один из заправил нью-йоркской организации демократической партии, которого Твен в том же 1901 году публично обвинил в коррупции.

М о и м к р и т и к а м - м и с с и о н е р а м (To my Missionary Critics), 1901.

Стр. 499. *Сэр Роберт Харт* (1835—1911) — в течение 50 лет был главным инспектором морских таможен в Китае.

«...обирать египтян» — цитата из библии.

В з а щ и т у г е н е р а л а Ф а н с т о н а (A Defense of General Funston), 1902. — В американские собрания сочинений Твена ее вошло. Перевод сделан по журналу «Норс Америкен ревью», май 1902 года.

Стр. 516. ...*знаменательная дата*... — день рождения Джорджа Вашингтона.

Стр. 519. ...*целое столетие — без одного года*. — Вашингтон умер в 1799 году, а через 99 лет началась империалистическая война США против Испании.

Стр. 520. *Грант* Улисс (1822—1885) — командующий армией северян в Гражданской войне и президент США в 1869—1877 годах, один из любимых героев Твена.

Стр. 524. *Наш президент... протянул руку своему убийце*.. — Президент Мак-Кинли был убит в г. Буффало в сентябре 1901 года.

Стр. 530. *Самар* — самый восточный из крупных островов Филиппинского архипелага.

Вейлер Валериано (1839—1930) — испанский генерал, в 1895—1897 годах — губернатор Кубы.

Невероятное открытие доктора Лёба (Doctor Loeb's Incredible Discovery), 1902. — Впервые напечатано в 1923 году.

Стр. 532. *Лёб Жак* (1859—1924) — немецкий ученый; с 1891 года работал в США в области экспериментальной биологии.

Стр. 533. *Пристли Джозеф* (1733—1804) — английский священник-диссидент, химик и физик; открыл кислород; подвергся преследованиям как еретик и вольнодумец и был вынужден эмигрировать в США.

..над молодым врачом (как его звали?..). — Имеется в виду венгерский врач Земмельвейс (1818—1865), работавший в Вене. В результате конфликта с коллегами вынужден был покинуть клинику и уехать в Будапешт, где ему поставлен памятник с надписью «Спасителю матерей».

Дервиш и дерзкий незнакомец (The Dervish and the Offensive Stranger), 1902. — Впервые напечатано в 1923 году.

Доброе слово Сатаны (A Humane Word from Satan), 1905.

Стр. 541. *Рокфеллер Джон Д.* (1839—1937) — нефтяной магнат, основатель одной из крупнейших корпораций США — «Стандард-Ойл».

«Совестные деньги» — деньги, которые вносят (обычно анонимно) в государственное казначейство лица, ранее незаконно присвоившие какие-то суммы или уклонившиеся от уплаты налогов.

Монолог царя (The Czar's Soliloquy), 1905. — В американские собрания сочинений Твена не вошло. Перевод сделан по журналу «Порс Америкен ревью», март 1905.

Стр. 544. *Тейфельсдрек* — герой романа-памфлета Карлейля «Sartor Resartus» («Перекроенный портной», 1833), профессор, немец, автор труда «Одежда, ее происхождение и влияние».

Стр. 547. *Бобриков Н. И.* — с 1898 года финляндский генерал-губернатор, фактически упразднивший финляндскую конституцию; был убит в 1904 году террористом Евг. Шаумяном.

Плеве В. К. — с 1902 года министр внутренних дел и шеф жандармов; был убит в 1904 году эсером Е. Сазоновым.

...массовый расстрел, учиненный мною несколько дней назад... — расстрел царскими войсками мирной манифестации рабочих в Петербурге 9 января 1905 года.

В этом памфлете Твен трижды ошибочно утверждает, что Романовы правили Россией в течение четырех веков. К тому времени, когда был написан памфлет, правление их еще не насчитывало и трех веков (1613—1905).

Монолог короля Леопольда (King Leopold's Soliloquy), 1905. — В американские собрания сочинений Твена не вошло. Перевод сделан с брошюры, выпущенной бостонским издательством Уоррен и К°.

Бельгийский король Леопольд II (1835—1909) в 1876 году основал и возглавил «Международное общество по изучению и цивилизации Центральной Африки». В 1884 году правительство США признало суверенитет этого общества, переименованного в «Международную компанию Конго». В 1885 году Берлинская международная конференция по африканским колониальным вопросам утвердила протекторат Леопольда над «Свободным государством Конго». В результате многочисленных протестов против зверств бельгийских властей по отношению к туземному населению Конго в Англии была создана (под руководством Э. Д. Морела) организация, ставившая себе целью добиваться реформ в Конго. Памфлет Твена был написан по просьбе этой организации и вышел отдельной брошюрой сперва в Америке, затем в Англии. В США «Общество по проведению реформ в Конго» не имело шансов на успешную деятельность, так как крупнейшие американские капиталисты — Морган, Рокфеллер и другие — заключили с Леопольдом соглашение о дележе прибылей с эксплуатации Конго и, следовательно, не были заинтересованы в том, чтобы положение в Конго предавалось огласке.

В 1908 году бельгийский парламент объявил Конго бельгийской колонией.

Стр. 567. *Карнеги* Эндрю (1835—1919) — стальной магнат, один из крупнейших капиталистов США.

Стр. 572. *Свилбурн, Элдридж, Гилдер...* — Твен подчеркивает невежественность Леопольда, заставляя его искажать фамилию английского поэта Суинберна, американского писателя и поэта Олдрича и второе имя американского поэта Ричарда Уотсона Гилдера.

Военная молитва (The War Prayer), 1905. — Впервые напечатано в 1923 году.

Русская республика (The Russian Republic), 1906 — Речь в одном из нью-йоркских клубов, на собрании, посвященном созданию фонда в помощь революционному движению в России. Главными ораторами на собрании были Твен и Максим Горький.

Библейские поучения и религиозная тактика (Bible Teaching and Religious Practice) — Год написания неизвестен. Впервые напечатано в 1923 году.

Стр. 586 *Джон Хокинс* (1532—1595) — английский адмирал и работоторговец; трижды плавал к берегам Гвинеи, откуда вывозил негров на продажу; был пожалован гербом, который описывает Твен, а позднее — рыцарским званием.

...неполноценный христианин.. — Очевидно, имеется в виду Уильям Уилберфорс (1759—1831), евангелист по вероисповеданию, возглавивший парламентскую борьбу за отмену работорговли.

Стр. 588. *Салем* — город в штате Массачусетс, особенно прославившийся «ведьмовскими процессами».

Обучение грамоте (ABC Lesson). — Год написания неизвестен. Впервые напечатано хранителем рукописного наследства Твена Де Вото в составленной им книге «Марк Твен — негнущий вулкан» (1940), по которой и сделан перевод.

РАССКАЗЫ. ОЧЕРКИ

Об искусстве рассказа. <i>Перевод Б. Носика</i>	7
Когда кончаешь книгу.. <i>Перевод И. Бернштейн</i>	14
Из «Лондонской таймс» за 1904 год. <i>Перевод В. Лимановской</i>	16
Человек, который совратил Гедлиберг. <i>Перевод Н. Волжиной</i>	28
Христианская наука. <i>Перевод Т. Рузской</i>	84
Красный кружок. <i>Перевод Н. Дехтеревой</i>	104
Две маленькие истории. <i>Перевод Е. Коротковой</i>	116
Исправленные некрологи. <i>Перевод Е. Элькин</i>	128
Детектив с двойным прицелом. <i>Перевод Н. Бать</i>	132
Пять даров жизни. <i>Перевод С. Митиной</i>	209
Запоздавший русский паспорт. <i>Перевод Е. Коротковой</i>	212
Пчела. <i>Перевод Э. Шлосберг</i>	233
Наставление художникам. <i>Перевод М. Литвиновой</i>	237
Сделка с Сатаной. <i>Перевод М. Литвиновой</i>	247
Рассказ собаки. <i>Перевод Н. Дехтеревой</i>	258
Наследство в тридцать тысяч долларов. <i>Перевод Н. Бать</i>	271
Дневник Евы. <i>Перевод Т. Озерской</i>	307
Безвыходное положение. <i>Перевод И. Бернштейн</i>	328
Бильярд. <i>Перевод В. Лимановской</i>	335
Охота за коварной индейкой. <i>Перевод В. Хинкиса</i>	336
Мораль и память. <i>Перевод В. Хинкиса</i>	340
Представляя собравшимся доктора Ван-Дайка. <i>Перевод В. Лимановской</i>	351
Путешествие капитана Стормфилда в рай. <i>Перевод В. Лимановской</i>	357
Любознательная Бесси. <i>Перевод А. Старцева</i>	412
Басня. <i>Перевод Э. Боровика</i>	416

Любопытная страничка истории. <i>Перевод И. Бернштейн</i>	421
Литературные грехи Фенимора Купера. <i>Перевод Л. Бин- деман</i>	430
Моя первая ложь и как я из нее выпутался. <i>Перевод А. Барановой</i>	444
С точки зрения кукурузной лепешки. <i>Перевод А. Ильф</i>	455
Китай и Филиппины. <i>Перевод Б. Носика</i>	461
Соединенные Линчующие Штаты. <i>Перевод Т. Куд- рявцевой</i>	462
О патриотизме. <i>Перевод Е. Элькин</i>	472
Человеку, Ходящему во Тьме. <i>Перевод В. Лимановской</i>	475
Моим критикам-миссионерам. <i>Перевод В. Лимановской</i>	495
В защиту генерала Фанстона. <i>Перевод В. Лимановской</i>	516
Невероятное открытие доктора Лёба. <i>Перевод В. Ли- мановской</i>	532
Дервиш и дерзкий незнакомец. <i>Перевод В. Лимановской</i>	537
Доброе слово Сатаны. <i>Перевод В. Лимановской</i>	541
Монолог царя. <i>Перевод В. Лимановской</i>	543
Монолог короля Леопольда в защиту его владычества в Конго. <i>Перевод В. Лимановской</i>	550
Военная молитва. <i>Перевод Т. Кудрявцевой</i>	577
Русская республика. <i>Перевод Б. Носика</i>	582
Библейские поучения и религиозная тактика. <i>Перевод Э. Боровика</i>	583
Обучение грамоте. <i>Перевод А. Старцева</i>	589
«Рассказы, очерки, публицистика». <i>А. А. Елистратова</i>	593
Комментарии. <i>М. Ф. Лорие</i>	600

Марк Твен

Собрание сочинений, т. 11

Редактор Н. Дынник

Художественный редактор

Л. Калитовская

Технический редактор Л. Сутина

Корректор А. Иванова

*

Сдано в набор 5/VII 1960 г.

Подписано к печати 3/XII 1960 г.

Бумага $84 \times 108^{1/32}$. 19,25 печ. л.

31,57 усл.-печ. л. 28,5 уч.-изд. л.

Тираж 300 000. Зак. 1060

Цена 1 р. 05 коп.

*

Ленинградский Совет

народного хозяйства.

Управление полиграфической
промышленности. Типография № 1
«Печатный Двор» им. А. М. Горького,
Ленинград, Гатчинская, 26.